И.И.Лажечников

# ПОСЛЕДНИЙ НОВИК



И.И.Лажечников

# ПОСЛЕДНИЙ НОВИК

Роман



Москва
«Художественная литература»
1990

ББК 84Р1
Л16

Классики и современники

*Русская*
*классическая*
*литература*



*Текст печатается по изданию:*

Лажечников И. И. Сочинения в двух томах, т. 1.
М., Художественная литература, 1986

Художник
М. ПИНКИСЕВИЧ

Л $\frac{4702010101\text{-}209}{028(01)\text{-}90}$ 9-90

ISBN 5-280-01007-3

## Часть 1

### *Глава первая*
### ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Вот новость для меня! — Да кто же тот шалун,
Кто смел, без моего плана и совета,
Всю важность поддержать столь трудного сюжета?
Тут надобен язык, приятный, легкий слог!
Спросил бы у меня — и я б ему помог!

*Комедия «Говорун», Хмельницкий*

Долго страдала Лифляндия под игом переменных властителей, пока не достигла нынешнего своего благосостояния. То рыцари немецкие, искавшие иные опасностей, славы и награды небесной, другие добычи, земель и вассалов, наступили на нее, окрестили ее мечом и первые ознакомили бедных ее жителей с именем и правами господина, с высокими замками, данью и насилиями; то власти, ею управлявшие, духовные и светские, епископы и гермейстеры, в споре за первенство свое, терзали ее на части. То русские, считая ее искони своею данницею, нередко приходили зарубать на сердце ее древние права свои или поляки и шведы, в борьбе за обладание ею, душили первые силы ее общественной жизни. Война железною рукою повила ее вдоль и поперек всеми бедствиями своими. Вера без верования, с примесью идолопоклонства, невежество, бесчеловечие, самоуправство означили время существования Лифляндии до начала XVII века. Изредка оживлено было это время проблесками великих характеров — и цветущей торговли, прибавил бы я, если бы богатства ее придали тогда что-нибудь ее просвещению, а не послужили, как это случилось, к усилению ее развратной роскоши.

Только с именем Густава-Адольфа соединяется воспоминание всего прекрасного и великого, он, в одно время защищая свободу мнений и подписывая устав Дерптского университета, бережно снял кровавые пелены с Лифляндии и старался уврачевать ее раны. Но счастье ее было кратковременно. Дочь Густава, этот феномен ума и странностей, хотела только собирать дань удивления чуждых народов, а не любовь своего. Хри-

стина, покровительница ученых, отняла у Дерптского университета его земли; она хвалилась любовью к человечеству и за новые пожертвования страны отдарила ее новыми налогами. Вслед за тем нивы лифляндские были истоптаны победами русских (при царе Алексее Михайловиче). Мир в Кардисе возвратил это спорное пепелище шведам, но не водворил в него долговременного спокойствия.

С царствованием Карла XI настали самые черные годы для лифляндского дворянства. Желая поправить расстроенные финансы Швеции, он повелел *редукцию* имений, принадлежавших некогда правительству и правительством же подаренных частным лицам в потомственное владение во времена епископов, гермейстеров и королей. На этот предмет учреждена была *комиссия*. Рассуждению ее подлежало также узаконение великое и благодетельное, за которое надлежало бы человечеству благословлять память государя, творца этого узаконения, если б оно не смешивалось в одно время с своекорыстными видами. К тому же меры и способы исполнения были приняты несправедливые, насильственные и жестокие; исполнители преступили волю государя — и цель самых благодетельных видов правительства была потеряна. В позднейшее время предоставлено было миротворцу Европы сделать важный приступ к соглашению человеколюбия с сохранением прав собственности, к сближению враждующих между собою одного класса народа с другим, и тем собрать на себя еще при жизни, посвященной счастью великой империи, благословения лифляндских помещиков и землевладельцев. Не так действовал своекорыстный Карл XI. За ужасными словами: *редукция* и *ликвидация* последовало дело, и отчины, без всякого уважения давности и законности, были отрезаны и отписаны на короля. Из шести с лишком тысяч гаков, бывших во владении частных лиц, с лишком пять тысяч были взяты в казну, тысяча с небольшим оставлены владельцам и при церквах. Против начетов этих трудно было спорить: их составлял любимец Карла, председатель редукционной комиссии граф Гастфер, запечатлевший имя свое в летописях Лифляндии ненавистью этой страны; их утвердил сам государь, хозяин на троне искусный, хотя и несправедливый, который, подобно Перуну, имел золотую голову, но держал всегда камень в руках.

Оставалось угнетенным просить: они это и сделали,

послав к королю от лица дворянства лифляндского депутацию с трогательным адресом о смягчении, хотя несколько, приговора его. Ответом были новые унижения. К большему несчастью их, один из членов депутации, Иоган Рейнгольд Паткуль, увлеченный красноречием правды и негодования, пылкостью благородного нрава и молодых лет [1], незнакомых с притворством, осмелился обвинить любимца королевского, Гастфера, в преступлении данной ему свыше доверенности. Паткуль осужден к отсечению правой руки, лишению имения, чести и жизни, а товарищи его: Фитингоф, Менгден и Буденброк — только к смерти. Вскоре приговор трем последним был заменен вечным заключением; наконец дарована им свобода. Первый же успел бежать от наказания в Швейцарию, где прожил несколько лет под чужим именем. Между тем в отечестве его бедность и отчаяние во многих семействах были неизъяснимы: вспыхнул ропот, тайными путями перебежал по мызам и — погас со вступлением нового государя на престол шведский. Добрые лифляндцы умели терпеливо ждать у моря погоды.

В таком состоянии застал страну Карл XII, о котором сказать можно, что он рожден быть полководцем, но ошибкою судьбы призван царствовать. Вскоре от Бельта до Вислы развеялись победоносные знамена его. Под эти призывные знаки чести спешили завербовать себя молодые лифляндские дворяне, забыв угнетения шведского венца и горя жаждою вновь запечатлеть кровью своею благородство рыцарского происхождения, которому ни предки, ни потомки их не изменяли. Отцы новобранцев, отпущая к королю живые залоги преданности к нему Лифляндии, казалось, вверяли его великодушию свои и отечества надежды. Но двадцатилетний герой, окруженный восторженными раннею его славой офицерами и солдатами, переходя от торжества к торжеству, грезил только победами и мало заботился об утешительных ожиданиях своих подданных. Хотя и обещал он в 1700 году облегчить участь лифляндских помещиков, однако ж не думал никогда выполнить это обещание. Еще не забыта им была депутация 1692 года,

[1] Ему было с небольшим двадцать лет. (Здесь и далее примечания принадлежат И. И. Лажечникову, кроме перевода иностранных слов.)

обступившая трон отца его просьбами, похожими на требования; не забыт еще был смелый и красноречивый голос Паткуля. Он знал, что этот гордый лифляндец, унеся из-под секиры палача руку и буйную голову свою, служит тою и другою опаснейшему его неприятелю, — и поклялся в лице его унизить лифляндских дворян его партии и отомстить ему, хотя бы ценою славы собственной.

Провидению угодно было, чтоб на пути храбрых замыслов Карла остановил его соперник, явившийся с неожиданной стороны. Это был наш Петр I. Помня слова великого предка своего: *«А Лифляндския земли не перестать нам доступать, докудова нам ее бог даст»* [1] и желая стать твердою ногою на берегу Балтийского моря, чтобы сзывать в свое отечество богатства и просвещение Европы, он бросил Карлу перчатку будто за оскорбление, сделанное ему рижским комендантом Дальбергом. Где ближе было им разведаться, как не в стране, которую оба они почитали своею отчиною? Здесь-то преобразователю России определено было получить от царственного учителя своего жестокий урок и здесь же показать, с каким успехом он им воспользовался. *«Я знаю,* — говорил он после нарвской потери, — *что шведы будут бить нас еще раз несколько; но теперь мы ученики их: придет время, что мы их побеждать будем»*.

Карл приезжал, казалось, под Нарву выиграть заклад. Отважный, но слишком самонадеянный и мало рассудительный, вместо того чтобы воспользоваться успехами своими и укрепиться в Лифляндии, он посвятил зиму в Лаисе забавам звериной охоты, побил мимоходом саксонцев под Ригою и отправился в другой край Европы пощеголять своей непобедимой армией, как дитя полученною им в дар острою саблею, которою в первый раз владеет и спешит рубить все, что ему навстречу попадется. Не так действовал противник его: он пользовался временем отдыха, данного ему соперником счастливым, чтобы созидать войско и флот. Уже в конце 1701 года фельдмаршал Борис Петрович Шереметев, с остатками полков, уцелевшими от лозы шведского героя, и с корпусами, вновь образованными, сторожил от

---

[1] Грамота царя Иоанна Васильевича к Ягану, королю Свейскому. 1573/7081 января 6/18. Смотри *Древнюю Вивлиофику*.

Пскова лифляндскую грань. Схватками с малочисленными отрядами неприятеля знакомил он понемногу русского солдата с его силами, с потехою военных удач и воспитывал дух его к будущим победам. Уже зародыши русского флота брали смелость выходить из заливов Чудского озера и разгульем мимо шведской флотилии, притаившейся в устье Эмбаха, вызывать ее *на чистую воду*.

Сыну военачальника предоставлено было открыть кампанию: близ этого озера, под мызою Рапин, *волонтер* Михайла Борисович Шереметев разбил четвертого сентября 1701 года передовой отряд шведов. Потом сам фельдмаршал — в ответ на упрек своего государя: *«Полно отговариваться, пора дела делать!»* — отпраздновал первый день 1702 года первою знаменитою победой при Эррастфере, заставившей Петра I сказать: *«Благодарение богу! мы уже до того дошли, что шведов побеждать можем»*. Остальные месяцы зимы и всю весну военачальник осторожно высматривал силы неприятеля, выжидал их раздробления как последствия разносторонних слухов, лукаво пущенных в становья шведские, и, показывая некоторую робость, *надеялся* усыпить северного льва у ворот самой Лифляндии. Может быть, Шереметев — распорядитель и герой в поле, Фабий или Кутузов тех времен — простер эту осторожность слишком далеко и мог бы потерять плоды своих соображений, если б имел противника более сметливого и смелого, нежели каков ему дан был Карлом XII.

Мы видели, что нетерпеливый характер государя разогрел душу военачальника упреком. Четыре слова кстати — и в этих словах заключалась победа. Шереметев доказал, что достоин понимать их, что имеет все качества хорошего военачальника, и потом, опять увлеченный умом осторожным, холодным, погрузился в соображения, благоразумные, полезные, это правда, но уже слишком долго выдерживаемые. На этот раз полководец выведен был из бездействия внушениями Рейнгольда Паткуля, генерал-кригскомиссара и ближайшего советника его.

Надо оговорить, что Паткуль, приговоренный к казни, бежал из Швеции на берега Женевского озера. Оттуда, скучая праздною неизвестностью, перешел ко двору польского короля и неприятеля Карла XII, Августа, но, и при этом государе, вялом, ненадежном, неславолюбивом, найдя круг действий своих тесным, вступил

в службу к Петру I. Скоро исполинские дела, простота, твердость и величие души русского царя привязали к нему навсегда благородного лифляндца. С другой стороны, тому, кому нужно было все вновь творить в России, любившему, чтобы между мыслью его и исполнением не было холодных промежутков, часто уничтожающих самые лучшие намерения, нужны были люди с пылким, предприимчивым характером. Он скоро полюбил нового своего подданного, умевшего понять его. Можно сказать, что Паткуль был достоин всей вражды Карла и доверия Петра: оба чувства эти умел он равно питать, равно оправдывал. При дворе нового государя своего он был хитрый, проницательный министр, быстрый исполнитель его видов, вельможа твердый, хотя иногда слишком нетерпеливый, не знавший льстить ни ему, ни любимцам его, выше всего почитавший правду и между тем неограниченно преданный его выгодам и славе. Политические расчеты Паткуля, последствиями оправданные, доказывают, каким дальновидным умом он обладал. Он первый утвердил русского монарха в мысли завоевать *для себя* Лифляндию: он видел, что исполнение мысли этой было не по силам колебавшегося духом Августа и что одному Петру можно было сдержать и понесть ее на исполинских раменах своих. С каким восторгом, развертывая перед Великим план свой, прочел он в одном его взоре отпадение родного края от Швеции и присоединение его к возраставшему могуществу России. Этим гениальным взором Паткуль был уже отмщен за наследственные оскорбления двух шведских королей.

Вывожу его на сцену моего романа в одну из занимательных эпох его жизни: здесь-то он всего себя посвятил мщению, чувству, которое господствовало в нем над высокостью помыслов и деяний и, может статься, было единственным их источником. Не только рукою действует он против отрядов шведских, он работает сердцем и головой, приводит в движение все сокровенные пружины ухищренной политики, даже не всегда разборчивой, чтобы подрыть основание шведского могущества. Для достижения своей цели изыскивает он все средства и ни одного не отвергает. Часто действия свои сопровождает чудесностью; досаждая делом врагам, он любит еще посмеяться над ними смелыми проказами, нередко приводящими его жизнь и честь в опасность, от

которой только имя его, дорогое патриотизму, изобретательный ум и преданные друзья могут его освобождать.

На границе псковской, в средине Лифляндии, Паткуль имеет друзей, преданных, подкупленных, обольщенных, ему усердно содействующих; в знатнейших домах лифляндских агенты и лазутчики его всякого звания неусыпно обо всем разведывают и передают ему сведения о движениях шведов и замыслах их партий. Не многочисленные, но верно избранные, хитрые, благоразумные, испытанные в верности к нему, они свили гнездо врагов для Швеции в сердце самой Лифляндии. Осторожно разбужено ими чувство прав собственности, сие непобедимое в человеке чувство. Уже шепчет оно мщению, что час его настал. Сначала робко вкрадывается неудовольствие в дворянские дома; потом, усиливаемое войною без цели, без пользы для отечества, смелее говорить начинает в гостиных. Политика занимает всех: военных, студентов, женщин, купцов, духовных. Судят о действиях шведского правительства, начинают и осуждать их. Недоверие, потом некоторая холодность возрождаются между шведами и лифляндцами. Благоразумнейшие из последних предугадывают уже, что самое положение Лифляндии, отделяя ее морем от Скандинавского полуострова, должно, рано или поздно, прикрепить ее нравственно к России, как она физически прикреплена к материку ее. Они видят, что Карл явно пожертвовал отечеством их своенравному героизму; но предпочитают остаться верными законному правительству и предоставляют жестокостям войны решить судьбу их и выбор нового владыки. Многие, даже из почитателей короля, идут уже за торжественной колесницей его, как за великолепной похоронной процессией. Одна молодежь не охлаждается в энтузиазме к нему и готовится в честь его переломить не одно копье.

В эти смутные времена Лифляндии генерал-вахтмейстер Шлиппенбах, главный начальник шведских войск, оставленных на защиту Лифляндии, беспечно расположился на квартирах от Сагница до Гельмета. Небольшим конным отрядом наблюдал он близ Розенгофа, на берегу Шварцбаха, дорогу от Новгородка Ливонского (Нейгаузена), готовый протянуть крыло свое в помощь Дерпту или Риге либо, в случае неудачи, обезопасить себя уходом в одну из этих крепостей. Силы его ослаблены гарнизонами в них и несогласием начальников. Между тем, ободренный осторожностью рус-

ского полководца, которая начинала казаться ему робостью, решился он неожиданно напасть на него в нейгаузенской долине и тем загладить стыд Эррастферской битвы.

В таком состоянии, к первым числам июля 1702 года, были дела Лифляндии, колеблемой, как дерево, опаленное грозой и вновь оспариваемое противными ветрами. Последними тяжкими опытами должна она была искупить свое будущее благосостояние.

Вот несколько слов, необходимых для пояснения происшествий, о которых я рассказывать намерен.

На случай вопроса, почему избрал я сценой для русского исторического романа *Лифляндию*, которой одно имя звучит уже иноземным, скажу, что ни одна страна в России не представляет народному романисту приятнейшего и выгоднейшего места действия. Крым, Кавказ выигрывают, в сравнении с Лифляндией, красотами местной природы, но потеряют перед ней историческими воспоминаниями. В палладиумах наших, Троицком монастыре, Нижнем Новгороде, Москве, разгуливало уже вместе с истиной воображение писателя, опередившего меня временем, известностью и талантами своими. Другие края России бедны или историей, или местностью; но в живописных горах и долинах Лифляндии, на развалинах ее рыцарских замков, на берегах ее озер и Бельта русский напечатлел неизгладимые следы своего могущества. Здесь колыбель нашей воинской славы, нашей торговли и силы; здесь русский воин положил на грудь свое первое крестное знамение за первую победу, дарованную ему богом над образованным европейским солдатом; отсюда дивная своею судьбою и достойная этой судьбы жена, неразлучная подруга образователя нашего отечества и спасительница нашего величия на берегах Прута; здесь многое говорит о Петре беспримерном. Вот причины моего предубеждения к Лифляндии! Эррастфер, Гуммельсгоф, Мариенбург, Канцы, Луст-Эланд — ныне *имена* мест, едва известные русским, между тем как в них происходили те великие явления, о которых идет дело. К этим-то местам хотел бы я пробить свежую, цветистую дорогу; хотел бы, чтобы любовь к народной славе, посещая их, с гордостью указывала на них иноземцу и чтобы сердце русского билось сильнее, повторяя их имена. Чувство, господствующее в моем романе, есть любовь к отчизне. В краю чужом оно отсвечивается сильнее; между иностранцами, в толпе

их, под сильным влиянием немецких обычаев, виднее русская народная физиономия. Даже главнейшие лица из иностранцев, выведенные в моем романе, сердцем или судьбой влекутся необоримо к России. Везде родное имя торжествует; нигде не унижено оно — без унижения, однако ж, неприятелей наших того времени, которое описываю. Вот чего хотел я достигнуть, помещая героя моего в Лифляндии!

Доволен буду, если решу задачу, предложенную мне сердцем, и вместе доставлю моим читателям приятное провождение времени.

## *Глава вторая*
## ДОЛИНА МЕРТВЕЦОВ

И стала та страна с тех пор
Добычей запустенья...
И все как мертвое окрест:
Ни лист не шевелится,
Ни зверь близ сих не пройдет мест,
Ни птичка не промчится.
Но полночь лишь сойдет с небес –
Вран черный встрепенется,
Зашепчет пробужденный лес,
Могила потрясется;
И видится бродяща тень
Тогда в пустыне ночи...

*«Двенадцать спящих дев», Жуковский*

На пути от Мариенбурга к Менцену (иначе названному *Черною мызою*) останавливаешься не раз любоваться живописными видами, обстающими вас с седьмой версты и преследующими за Ней-Розенгоф. Дорога большею частию идет по горам и между гор, разнообразных, как игра воображения. То протягиваются они в прямой цепи, подобно волнам, которых ряды гонит дружно умеренный ветер; то свивают эту цепь кольцом, захватывая между себя зеленую долину или служа рамой зеркальному озеру, в котором облачка мимолетом любят смотреться; то встают гордо, одинокие, в пространной равнине, как боец, разметавший всех противников своих и оставшийся один господином поприща; то пересекают одна другую, забегают и выглядывают одна за другой, высятся далее и далее амфитеатром и, наконец, уступают первенство исполину этих мест, чернеющему Тейфельсбергу. Почти каждая гора имеет

свой особенный вид, свою привлекательность. На острой конечности одной стоит роща букетом, по другой разлилась, как по шлему, косматая грива; третью сосновый бор оградил стеной зубчатой. Там кустарник окудрявил голову горы; здесь обвил ее венцом или смело вполз на нее в разных кривизнах. Эту картину оживляют разостланные по отлогостям полосы яровой зелени или золотой жатвы, красивые мызы с их розовыми кровлями, гордо озирающие окрестность, рассыпанные там и сям одинокие хижины, которые лепятся к бокам гор, как ласточкины гнезда. Или стоят смиренно за щитом подножия их с частоколами и овощными садами. Почти во всю дорогу до Менцена (тридцать шесть верст) не перестает оглядываться на вас кирка оппекаленская — будто провожает и охраняет вас святыней своей от нечистого духа, который, по словам народа, поселился с давних времен на Тейфельсберге *(Чертовой горе)* и пугает прохожих только ночью, когда золотой петух оппекаленского шпиля из глаз скроется. Вид с высоты Ней-Лайтценской мызы очарователен: панорама ее на несколько десятков верст обставлена разнообразием гор, озер, рощ и селений. С трудом отрывается путешественник от этого места. Немного далее за мызою горы понижаются и заменяются скучным лесом и болотцами; но при появлении речки Вайдау, у грани, стоящей на мосту ее и разделяющей уезды Верровский от Валкского, природа дарит вас приятностями уединенных долин, обведенных извилинами этой речки и образуемых провожающими ее двумя цепями холмов. Всех приятнее долина близ мызы Ней-Розенгоф (в недавнем еще времени называемой *Катериненгоф*).

В начале XVIII столетия, по дороге от Мариенбурга к Менцену, не было еще ни одной из мыз, нами упоминаемых. Ныне она довольно пуста; а в тогдашнее время, когда война с русскими наводила ужас на весь край и близкое соседство с ними от псковской границы заключало жителей в горах, в тогдашнее время, говорю я, едва встречалось здесь живое существо.

Несмотря на эти опасения, в одно из первых чисел июля 1702 года, в некотором расстоянии от появления речки Вайдау, пробиралась сквозь мрачный лес красноватая карета, запряженная двумя рыжими лошадками. День был жаркий. Полуденное солнце, в одинаком величии своем протекая по голубой степи неба, на котором ни одно завистливое облачко не смело заслонить

его, лило горящие лучи свои прямо на темя земли. Ленивый ветерок пересекал эти лучи по временам и только на мгновения обдувал раскаленную ее поверхность. Расслабленная природа, казалось, потеряла движение: едва струились изредка верхи дерев; неохотно переливались волны зреющей жатвы; медленно текли воды, как будто потоки растопленного хрусталя. Все живущее спешило куда-нибудь укрыться от палящего зноя. Птицы прятались в рощах и на дне густых нив; стада бежали в воды, а где воды не было, бедные животные, оцепенев, с поникнутыми головами, одно в тени другого, искали малейшей прохлады.

С трудом ползла карета сквозь пески, нередко попадающиеся на пути. По щегольской отделке ее, особенно заметной в золотых обводках с узорами около огромных рам в виде несомкнутой цифры восемь, в золотых шишках, украшающих углы империала, в колонцах по двум передним углам кузова и розовом венке в голубом поле, изображающем на дверцах герб ее обладателя, можно было судить, что она принадлежала зажиточному барону. Две рыжие лошадки, эзельской породы, по-видимому сильные, почти отказывались тащить ее; шоры на них были взмылены. Колеса экипажа едва вертелись, погружая ободья свои в песчаную топь. Не видно было, кто сидел в нем, потому что розовые шелковые шторы были опущены. Кучер, в треугольной шляпе, нахлобученной боком на глаза, в кафтане, которого голубой цвет за пылью не можно бы различить, если бы пучок его, при толчках экипажа, не обметал плеч и спины, то посматривал с жалостью на свою одежду, то с досадою сгонял бичом оводов, немилосердно кусавших лошадей, то, останавливая на время утомленных животных, утирал пот с лица. Заметно было, что жалостный возничий мучился за себя и за них. По правую сторону кареты ехал верхом на тощем, высоком коне офицер, под пару ему долговязый и сухощавый. На нем был мундир синего цвета; треугольная шляпа, у которой одна задняя пола была отстегнута, кидала большую тень на лицо, и без того смуглое; перчатки желтой кожи раструбами своими едва не доставали до локтя; к широкой портупее из буйволовой кожи, обхватывавшей стан его и застегнутой напереди четвероугольной огромной медной пряжкой, привешена была шпага с вальяжным эфесом, на котором изображены были пушка дулом вверх и гранаты; кожаные штиблеты с привязными раструбами до-

вершали эту фигуру. Если бы не двигалось под нею высокое животное, она по важности своей походила бы на монумент. Офицер был в полном вооружении: ручки пистолетов торчали из чушек; к седлу прикреплен был карабин. Путешественники погружены были в глубокое молчание. Наконец возничий прервал его, сначала глубоким: уф! потом, видя, что это восклицание не имело желаемого действия, униженно снял шляпу и, обратившись к офицеру, сказал:

— Воля ваша, господин цейгмейстер...

— Сначала покройся, не то испечешь лысую голову твою, как яйцо, а потом начинай свою речь, — перехватил его важным голосом путешественник, ехавший верхом.

Кучер опустил шляпу в знак благодарности, потом надел ее и продолжал:

— Воля ваша, господин цейгмейстер, мои лошади не горшки, а я не горшечник, чтобы их жарить в этом пекле. Госпожа баронесса настрого приказала поберечь их, во-первых, потому, что она любит всех животных, от лошади до кошечки, от попугая до чижика, как вы изволите знать; во-вторых... эка бестия овод сел на самый крестец Арлекина!.. эти зверьки привезены с острова Эзеля на большом судне, как, бишь, его звали?

Кучер наморщился и поколотил себя пальцем по лбу, как бы выбивая оттуда память.

— Мимо название! потом?

— Потом они подарены баронессе дядей жениха...

— Фюренгофом?.. Неужели он в жизнь свою хоть раз дарил?

— Был с ним этот промах! Поохал, может статься, ночек с сотню, да с конюшни нашей воротить рыжаков уж было нельзя. Что к нам попало, то пропало. О чем, бишь, я говорил? да! об рыжаках. Вот видите, они подарены баронессе нашей дядей жениха нашей молодой госпожи... смекаете, сударь... госпожи, которую, как вы знаете, господин цейгмейстер... (увидя, что овод кусает лошадь) собака! кровопийца! перелетел на Зефирку!.. которую, заметьте, она любит, как самое себя, или себя в ней любит (из кареты послышался хохот, да и на лице угрюмого офицера мелькнула усмешка; однако ж начавший речь, не смешавшись, продолжал). Но я сам им не злодей, то есть рыжакам, Арлекину и Зефиру; говорю то есть, чтобы ваша милость не подумала, что я говорю о баронессе или о ком-нибудь из почтеннейшей фа-

милии Зегевольдов. Нет, я им не только не злодей, но люблю их и уважаю, во-первых...

— Ни первых, ни вторых, пустомеля! Твои слова как татары в сражении: рассыпаются в стороны так, что наш рейтар не знает, которого и как настигнуть. Думает уловить под палаш одного, а попадается другой. Без обиняков, скорее, к делу.

— Я хотел сказать, что лошади устали.

— Ну!

— Да уж они и нуканья не слушают, сударь. Мы проехали от Мариенбурга (тут кучер начал считать что-то по пальцам), да! именно, на этом мостике ровно четыре мили, что мы проехали. До Менцена еще добрая и предобрая миля; будут опять пески, горы, косогоры и бог знает что. Вздохните хоть здесь, на мосту, бедные лошадки, если уж к вам так безжалостливы. И пушке в сражении дают отдых, а вы все-таки создание божье!

— Ты с ума сошел, Фриц! Да кто ж, доннерветтер [1], мешает нам остановиться в ближайшей долине и покормить лошадей?

В это время одна из розовых штор у правого окна кареты поднялась, и ручка, которой удивительную белизну позволяла видеть спущенная по кисть перчатка и короткий, не доходивший до локтя рукав, по моде тогдашних времен, опустила стекло. Молодая прелестная женщина выглянула из окошка и, подозвав к себе рукой офицера, шепнула ему:

— Ради бога, Вульф, упросите господина пастора остановиться в долине, о которой я вам на днях рассказывала.

Офицер не отвечал ничего, но кивнул дружески в знак согласия, остановил своего коня, неуклюжего и неповоротливого; потом, дав ему шпоры, повернул к левой стороне кареты, наклонился к ней и осторожно постучался пальцами в раму. В ответ на этот стук выглянуло из окна маленькое лицо старика со сверкающими из-под густых бровей серыми глазами, с ястребиным носом, в парике тремя уступами, рыже-каштанового цвета, который, в крепкой дремоте его обладателя, сдвинулся так, что открыл лысину вразрез головы.

— Я слышал все сквозь дремоту, — сказало это новое лицо, поправляя свой парик, — и одобряю от души

---

[1] черт возьми (от *нем.* donnerwetter).

Фрицево желание и ваше согласие, любезный господин цейгмейстер. Мне самому так жарко, как бы я принял потогонительное. Да где ж вы думаете остановиться?

— В долине, напротив которой стоит на горе крест, — отвечал офицер, — лучшего места для отдыха нельзя найти до Менцена.

Улыбка бежала уже на губы Фрица, но он не дал ей вылиться наружу.

— В *Долине мертвецов*, господин пастор? помилуйте! — закричал он с ужасом, вытянув шею, как испуганный журавль, стоя на часах.

Молодая женщина засмеялась от души; пастор с улыбкой произнес:

— Давно ли стали мы так трусливы, Фриц? и что за новую сказку сплели здешние жители? — Потом он присовокупил вполголоса, качая головой и уставя перед маленьким лбом указательный палец правой руки. — Какое-нибудь старое поверье, грубое невежество! остатки идолопоклонства! Так! церковь далеко — духовный пастырь также. Надо придумать, как это вывести; надо разобрать это, взять меры, средства. Это наша обязанность, наш долг! Всего лучше прибрать сильный текст из «Латышской Библии», мною изданной [1]. Но речь не о том: расскажи-ка, Фриц, откуда выкопал ты название этой долины?

— Сказкой своей ты сократишь нам путь до назначенного места, — промолвила сидевшая в карете.

— Опять-таки до назначенного места, — отвечал угрюмо кучер, — вы все шутите, фрейлейн. Хорошо еще, что мы едем в полдень; другое бы заговорили, кабы проезжали Долину мертвецов ночью до кочетов. Тогда в ней деются такие чудеса, что и... кого бы назвать бесстрашнее всех?.. да, например, кто бесстрашнее шведского офицера?.. и у того, с позволения сказать, господин цейгмейстер, побегут мурашки по коже, когда увидит бесплотного барона этой долины. Осмелюсь вам поперечить, господин пастор, — со всем уважением к вашему сану, — это не сказка, не выдумка, а... (озирается со страхом кругом и вглядывается пристально в густоту

---

[1] Глику, вместе с рижским суперинтендентом Фишером, обязана Лифляндия переводом Библии на латышский, начатым в 1680 году и конченным в восемь лет.

леса) я доложу вам, во-первых, о том, что видел своими глазами. Вы знаете, что я не люблю труса праздновать.

— Знаем, знаем! — закричали в один голос духовный отец и военный. — Но бывают сверхъестественные силы... — прибавил с притворным ужасом последний, давая пастору знак головой, чтобы он подтвердил его слова.

— Конечно, бывают... мы сами не можем вовсе отвергнуть, чтобы...

— Чтобы, любезный папахен, вы не сговорились с любезным братцем попугать меня, — возразила девушка, лукаво улыбаясь. — Это вам не удастся. Может быть, приличнее мне, женщине, бояться. Вульф это часто твердит и дает мне в насмешку имена мужественной, бесстрашной; но он позволит мне в этом случае вести с ним войну, чтобы не быть в разладе с моею природой. Рабе останется тем, чем была еще дитею.

— Речь не о том, — прервал с некоторым нетерпением пастор. — Послушаем, что расскажет нам вожатый наш в царство теней.

— Готовы слушать! — вскричали в один голос офицер и девушка.

— Прошу всепокорнейше внимания, почтеннейшие господа и вы, фрейлейн, — произнес важно Фриц, раскланиваясь на обе стороны шляпой, — и верьте, что конюший баронессы, который, во-первых, никогда еще не лгал, особенно перед столь почтенными господами...

— Во-вторых, начнет теперь, — сказала сидевшая в карете.

— Слушай же, Кете! — вскричал сердито пастор, и та, к которой он обращался с этим восклицанием, смиренно опустила длинные черные ресницы на прекрасные черные глаза, полные огня и остроумия.

— Только без пунктиков, Фриц, без пунктиков, которыми ты любишь зарубать свою речь, — примолвил офицер.

— Прошу извинения, господин цейгмейстер! (Фриц снял униженно шляпу и, по знаку своего повелителя, опять надел ее.) — Привычка пуще неволи; топи ее в море слов, а все где-нибудь вынырнет. Вот, например, господин Ле... Лио... ох! эту фамилию забываю вечно.

— Фамилию мимо!

— Он был в старые годы закройщик, ныне лифляндский дворянин с прибавкою *фон*.

— Лифляндский дворянин? — прервал с горькой

усмешкой старик, сидевший в карете и терявший вовсе терпение. — Неправда! Лейонскрон из числа тех восьми графов, двадцати четырех баронов и четырехсот двадцати восьми дворян шведских, которых угодно было королеве Христине — не тем бы ее помянуть! — вытащить из грязи. Надо называть каждую вещь своим именем; всякому свое, Фриц!

— Сущая справедливость, господин пастор! Вот этот Лейонскрон был в чести, как вы изволите знать...

— Чтоб его...

— А все-таки имел привычку шевелить пальцами, как будто кроил ножницами, хотя бы на меня, грешного, кафтан. Так-то несет еще и от меня точностью фискального судьи, потому что, как вы изволите знать...

— Знаю, знаю!.. чтоб тебе... Минерва привязала замок на рот! — пробормотал с сердцем пастор и, готовый вынести только последнюю осаду своего терпения, углубился в карету.

— Я прожил у одного фискала несколько лет, а он имел привычку говорить сначала своим просителям, искавшим пропуска запутанному дельцу: *во-первых*, милостивый государь! Проситель смекал, приносил первое, тогда *во-вторых* не задерживалось в судейском горлышке, и дело пропускалось гладко и скоро, как лодка по наполненному шлюзу. Он так же строго взыскивал с меня, если я излагал ему дело о покупке овса, сена и прочего для лошадей не ясно, не по пунктам, как теперь...

— Что еще, проклятый болтун?

— Наш амтман Шнурбаух взыскивает с меня, когда не прибавляю словечка *фон*, обращаясь к нему; а перед баронессою, поверите ли, господин цейгмейстер, стоит, как натянутая струнка!

— Ха, ха, ха! спесь рыцарей меча и низость бременских купцов, все вместе!.. Вот эти patres patriae, defensores justitiae! [1] — вскричал, коварно смеясь, путник, ехавший верхом.

— Низость бременских купцов? низость... Гм! — сердито проворчал пастор сквозь зубы. — Это говорит

---

[1] Так величали себя прежде лифляндские дворяне; Карл XI им это запретил.

Отцы отечества, защитники справедливости! *(лат.)*

швед! в Лифляндии! ищет еще руки лифляндки!.. Прекрасно! бесподобно!

Девушка, видя, что между спутниками ее скоро загорится война не на шутку, поспешила еще вовремя тушить ее. Она обратилась к Фрицу с убедительной просьбой начать обещанную повесть. Догадливый кучер, сообразив время и длину пути, который им оставался до таинственной долины, спешил исполнить эту просьбу.

— В приходе Ренко-Мойс, — начал так Фриц свой рассказ, — неподалеку от развалин замка, жила когда-то богатая *Тедвен*, знаете, та самая, которая сделала дочери на славу такое платье, что черт принужден был смеяться. В этом замке живали и наши святые рыцари, и злодеи русские, и монахи, и едва ли, наконец, не одна нечистая сила, — да простит мне господь! — вы хорошо знаете Ренко-Мойс, фрейлейн?

— Ринген [1], хочешь ты сказать? Как не знать мне? я только что не родилась в приходе рингенском.

— Припомните, за болотцем, в виду замка, пригорок. Вот на этом пригорке, в затишье от ветров, за щитком березовой рощи, стояла лет сто тому назад худенькая избушка, одним углом избоченясь, другим припав к земле. Силачу стоило только ее пошевелить, так она бы и развалилась. В этой избушке поселился, неизвестно откуда пришедший, мастеровой человек, именно сапожник, еще не старый, один-одинехонек. Душонка у него была дурная, потому, во-первых, что он нищему не подал в жизнь свою даже куска черствого хлеба; во-вторых, что он не любил детей, а это худая примета! Никто в домишке его не слыхивал ни песни, ни голоса женщины, ни говора хоть забеглого мальчишки; никто не выпил с ним рюмки вина. Только и слышны были заказ сапогов, или торг, или расчеты, да тук-тук молотком, и опять все тот же тук-тук, как стук гробового червяка. Руки же у него были золотые — а может быть, помогал ему окаянный, — шивал он на славу сапоги без разреза и без тачки из цельной кожи. Ныне, благодаря нашим пасторам, такие мастера вывелись. Заказывали ему сапоги скупые бароны, чтоб были без сносу; епископы и архидиаконы, чтоб были без шуму; рыцари, чтобы отра-

[1] В Лифляндии места имеют иногда по три и четыре названия: немецкое, латышское, чухонское и русское.

жали копье татарское. Можете судить, когда такие особы заказывают что-либо, то и платят хорошо. Тогда еще не слышно было о ведьме-редукции, которая в недавнем еще времени ходила по мызам, и бароны жили попеваючи и попиваючи. Оттого наш ремесленник должен был зашибать хорошую деньгу; но божился и клялся, что гол, как облупленная липка, что он не женится за неимением чем содержать жену, что его обкрадывают, что у него в долгах много пропадает. И будто бы потому он ел черствый хлеб с мякиной пополам, жердочками подпирал валившуюся хижину свою, все кряхтел, все жаловался на свою бедность и беспрестанно завидовал богатым. Особенно, когда старики перебирали того или другого, разбогатевших от кладов, он насупливал брови, как сыч, лицо его подергивало туда и сюда, дрожь его пронимала, и наш сапожник невидимо утекал из круга рассказчиков в свою пустую избушку. Собирались смелые проказники подметить, что у него делается по ночам, собирались, да, видно, не выполнили. Храбро только языком шли на рать! В одно время он вовсе покинул работу, скрылся — и целый месяц не слышно было стуку его молотка. Приходившие с заказами со страхом отступали от пустой избушки, в которой только двери, по блажи ветра, стонали на петлях. Он пришел домой для того только, чтобы через несколько дней умереть; но лежа на смертной постелешке, — знать, ему от хорошего житья уже тошно приходило! — послал за пастором рингенским и, стуча зуб о зуб, объявил ему то, что я буду вам теперь рассказывать.

«Вы знаете или слышали, святой отец, — так говорил сапожник духовнику своему, — какая жадность к богатству одолевала меня с молодых лет, но не знаете, с каким усердием отыскивал я сокровища в горах, и, открыться уже должен, приступая к Страшному суду, отыскивал их в местах, где покоятся усопшие. Я потревожил кости трех витязей русских, схороненных в болоте близ Оденпе; сделал то же с римским рыцарем [1], который столько лет спит на высотах гуммельсгофских под баюканье лесов; всего на все разрыл я собственными руками в полночные часы одиннадцать могил; один-

[1] И доныне показывают на этом болоте три камня, под которыми лежит прах русских витязей. Гуммельсгофские крестьяне водили меня на место, где будто бы похоронен какой-то *римский* рыцарь.

надцать покойников воззвал я от сна вечного». — Тут у самого умирающего волосы встали дыбом; холодный пот выступил по нем; он закашлялся: ге! ге! ге! — так, что пастор хотел прочесть отходную, но сапожник, вздохнув немного, продолжал: «В долине за Менценом, окруженной со всех сторон лесом, — видело только небо! — была мне одна удача». — Здесь опять духовник не мог расслышать, что прошептал ему, скрежеща зубами, кающийся. Оправившись, он опять начал говорить: «Прихожу с кладом домой, в осеннюю месячную ночь. Домишка мой едва лепился на жердочках; дверью меня ударило; филин встретил меня ужасным свистом, как будто бичом полоснуло меня по сердцу; собака с развалин замка отвечала ему воем. Чтобы себя успокоить, высекаю огонь, зажигаю фонарь и спешу полюбоваться сокровищем своим: почти все золото, чистое, как луч солнечный! Только... были... пятна!.. Принимаюсь считать деньги... Вдруг одиннадцать голосов захохотали, двенадцатый вздохнул тихо; но этот вздох, отец святой, был для меня ужаснее всех. От страха... ру... полотно выпало у меня из рук, и деньги рассыпались». — Не забудьте, почтеннейшие господа и вы, фрейлейн, что это — боже меня сохрани! — не я говорю, а умирающий сапожник.

— Помним, помним! — отвечали слушатели Фрица.

Кучер помахал себе в лицо шляпой, как опахалом, потом надел ее, хлопнул искусно бичом так, что, казалось, разрезал лес пополам, и продолжал свой рассказ.

— «Было к полуночи, — говорил задыхающимся голосом сапожник духовнику, — явились ко мне, одна за другой, одиннадцать девушек в белых платьях с венками на головах. Они принялись собирать деньги с полу и в несколько минут опять наполнили... полотно; только требовали за труды, чтобы я поплясал с ними *на мягкой траве, при свете месяца.* Я должен был выполнить их волю и плясал с ними до петухов, пока не выбился из сил. Каждую ночь будем посещать тебя, сказали они мне, пока не выдашь нам двенадцатой подруги; без нее нельзя нам веселиться в прекрасной долине за Менценом *на мягкой траве, при свете месяца.* Вот уже одиннадцать дней, как они не дают мне любоваться кладом моим, рассыпают его, опять собирают, мучат меня своими плясками и грозят мне тем же, пока я жив, если не выдам им двенадцатой, а кого, — не знаю. На рассвете нынешнего дня отнес я без счету горшок с зо-

лотом в развалины замка и там заклал его в стене восточной башни, от среднего круглого окна четвертый камень вниз. Ты видишь, отец духовный, в каком я теперь состоянии. Верно, меня, двенадцатого, девы требовали к себе в долину. Ради отца небесного, похороните меня там. Чувствую, что смерть близка... но, умирая, хочу, по крайней мере, облегчить себе переход в вечность... искупив хоть часть грехов моих... добрым делом». — Заметьте, он не смел сказать — богоугодным делом. — «Отказываю половину своего сокровища бедным, а другую рингенской церкви, чтобы она...» С этими словами сапожник испустил дух так скоро, что усердный пастор не успел прочесть отходной. Немедленно созвано было множество окружных прихожан, дворян и простолюдинов и объявлено им завещание покойного. Сначала приступили к открытию сокровища в восточной башне рингенского замка. Место, где оно хранилось, было так твердо, что едва сдалось на усилия нескольких дюжих парней, вооруженных добрыми ломами. Показался горшок, вынули его: в нем лежало что-то, завернутое в каком-то полотне, раскрыли — и что же нашли? — Человеческий череп, обернутый саваном!.. Посоветовались между собой и положили: череп в саване похоронить по христианскому долгу, на высоте против долины, в которую одиннадцать дев требовали к себе двенадцатую, и поставить на могиле деревянный крест; тело же сапожника, ради отца небесного, которого он поминал при кончине, не бросать на съедение вороньям и волкам в поле, а зарыть просто, как еретика, в темном ущелье леса, неподалеку от долины. Так и сделано было. То, что я вам рассказал, слово в слово, записано тогда в рингенскую церковную книгу, сам священник тут же руку приложил.

— Что правда, то правда! — сказал пастор. — *Подобное* происшествие *действительно* записано в старинной метрической книге рингенского прихода. Мой собрат, — продолжал он усмехаясь, — управлявший тамошней паствой, лет близ ста тому назад, много чудесностей поместил в этой книге; между прочим и сказание Фрица в ней отыскать можно. Но я не знал, что долина, к которой подвигаемся, имеет с ней такие близкие сношения.

— Это не все еще, господин пастор! В долине творятся такие дела... и днем рассказывать их, так ужас берет. Надо вам прежде объяснить, что исстари, то есть

с того времени, как похоронили череп с саваном на высоте и зарыли сапожника в глухом ущелье, ходило предание, что двенадцать дев — заметьте, уже двенадцать — в белых платьях, с венками на головах, каждую полночь собираются в долине, пляшут несколько времени хороводом *на мягкой траве, при свете месяца*, и потом в разные стороны убегают. Когда девы разыграются, из ущелья показывается высокое привидение, смотрит на них, не двигаясь с места, вздыхает так, что противный берег начал оседать; а как скоро кончится пляска их, уходит опять в свое ущелье. Назад тому несколько лет завелся в здешней стороне обычай привозить на высоту утопленников и удавленников. Но поверите ли, почтеннейшие господа и вы, фрейлейн, лишь только положат одного из этих несчастных близ креста, в ту же ночь он пропадает! Видали, что длинное, как шест, привидение из ущелья выползает, идет прямо на высоту, поднимает мертвое тело на плечи и уносит его в свое домовище. Без того, сказывают, девы не пляшут в долине *при свете месяца, на мягкой траве*. Дороги к ущелью не проложено, а видны только огромные ступни, нечеловеческие, — я покажу их вам, как проедем мимо них.

— А бывал ли кто в страшном ущелье днем? — спросила девушка.

— Никто из живущих не смеет взглянуть в него, — ответил кучер, — а зашел туда невзначай (сколько лет тому назад, не упомню) прохожий егерь, нетутошный, из дальних мест. Видно, он не слыхал об этих ужасах.

— Что ж он там видел?

— Долину, темную, как глубокий осенний вечер, серые камни, обрызганные кровью и обставленные вокруг косматого привидения, которое осветило его большими нечеловеческими глазами и встретило его визгом, стоном и скрежетом. В ушах у егеря затрещало, глаза его помутились, рубашка на нем запрыгала, и он едва-едва не положил тут душонки своей. Только молитве да ногам обязан он своим спасением. С того времени всякий другу и недругу заказывает хоть полуглазом заглядывать в ущелье.

— Но тебе, Фриц, — спросил пастор, — случалось ли проезжать здесь в полночь и видеть привидение?

— Была на меня эта напасть прошлого года, когда ехал я за фрейлейн, — только я об этом ей не сказывал.

Вот видите, господин пастор, до поездки этой я и сам посмеивался над ужасами долины, как охотник не боится медведя, пока не побывает в его лапах. Думал все, что тут какие-нибудь вздоры да шашни кроются. Была ночь месячная. Зная, что до Мариенбурга придется работка рыжакам, плетуся потихоньку и, подремливая, киваю головою, будто носом рыбу ужу. Вдруг, только что спустился с косогора в долину, рыжаки захрапели, навострили уши, съежились и стали в пень; я — ну, ну! не тут-то было. Лошади мои дрожали, как будто домовой их объезжал, и ни с места. Смотрю вперед, и сам обомлел: вижу привидение, не ниже кареты, плетется через долину с мертвецом на спине. Я уставил глаза в лошадей и, куда уж он девался, ничего не видал. Лошадки фыркнули и мчали меня с четверть мили.

— А дев видал ли ты?

— Грех солгать, дев-то я ни разу не видел. Как прикажете, господа, останавливаться ли в Долине мертвецов?

— Что скажет наша Кете? — улыбаясь, спросил пастор свою соседку.

— Если за мной дело стало, — отвечала девушка, — так я просила бы вас сделать мне удовольствие остановиться в долине, страшной только ночью, а днем... это рай!.. вы увидите сами, папахен.

— Будь по-твоему, дружок! Слышишь ли, Фриц?

— Мое дело слушаться, — сказал, качая головой, кучер, — хоть бы приказали мне прикорнуть на лапках у самого сатаны; лишь бы моим рыжакам было где вздохнуть!

## *Глава третья*
## КРУПНЫЙ РАЗГОВОР

Поспорят, да сочтутся;
Итог все старый подведут!
Да мы свой счет найдем ли тут?

*«Запрос нерешенный»*

— Постараемся, — сказал офицер с видом таинственности, — свести на обратном пути знакомство с здешними духами.

Пастор, забывавший так же скоро оскорбление, как и приходил в гнев, видя, что конный товарищ искал за-

вязать разговор, посмотрел на него с дружеской улыбкой и присовокупил:

— Духи еще беда невеликая! от них можно оборониться и молитвою.

— Ваша правда, господин пастор! — сказал офицер. — Ваша правда! А вот беда, как нагрянут сюда в ужасной плоти и образе русские варвары, которые бродят по соседству.

— По соседству? это в самом деле ужасно! — лукаво произнесла та, к которой относилась речь.

— Еще хорошо бы, — продолжал конный спутник, — если б пожаловали сюда так называемые регулярные войска русские; а как, доннерветтер, сделают нам эту честь татары да калмыки! Вы, сестрица, конечно, не видывали еще этих зверьков? О! их можно показывать в железной клетке за деньги. Представьте себе движущийся чурбан, отесанный ровно в ширину, как в вышину, нечто похожее на человека, с лицом плоским, точно сплющенным доской, с двумя щелочками вместо глаз, с маленьким ртом, который доходит до ушей, в высокой шапке даже среди собачьих жаров; прибавьте еще, что этот купидончик со всеми принадлежностями своими: колчаном, луком, стрелами, несется на лошадке, едва приметной от земли, захватывая на лету волшебным узлом все, что ему навстречу попадается, — гусей, баранов, женщин, детей...

— И шведских офицеров — не правда ли? — промолвила сидевшая в карете.

— До сих пор был неудачен лов последних: не знаю, что будет вперед! Впрочем, не в первый раз получать мне щелчки из рук моей любезной сестрицы в разговоре о войске русском, которое имеет честь быть под особенным ее покровительством. Подвергая себя новым ударам, докончу то, что я хотел сказать о калмыках. Раз привели ко мне на батарею подобного урода на лошади.

— Не страшного ли Мурзенку, которого имя с ужасом твердит вся Лифляндия? — спросил пастор.

— Нет! этот разбойничий атаман, которым напуганы здешние женщины и дети, покуда гуляет еще по белу свету. Мой пленник был не такой чиновный. Как бы вы думали, сестрица, что у него было под седлом? Конское мясо, скажете вы? — Нет! Вспомнить только об этом, так волосы становятся дыбом. — Младенец не-

скольких месяцев, белый, нежный, как из воску вылитый!

— Ужасно, если это не выдумка! — сказала девушка.

— Не намерен убеждать вас верить мне: а хотел я договорить, что этим уродом шведский артиллерист велел зарядить шведскую пушку и отослать его в русский лагерь.

— Мне совестно спросить офицера великой армии шведской, при каком месте происходил этот подвиг; скажу вам, в свою очередь, что одна жестокость стоит другой. Однако ж, если бы в самом деле вздумалось этим господам татарам пробраться на дорогу нашу?

Пастор, видевший или думавший видеть, что неустрашимость его спутницы начинала несколько остывать, спешил на помощь ей против нападений офицера.

— Разве, — сказал он, — мы не имеем благородного и сильного защитника в нашем друге? От грозных орудий, которыми он запасся и умеет владеть, как ловкая швея иглою, целый десяток бедуинов рассеется.

— А если их будет сотня? Вульф один; мы с вами, папахен, не сладим и с одним уродом, какого описал нам услужливый братец. Фриц же скорее ускачет со своим Арлекином и Зефиркою, чем за нас вступится. Что ж будет тогда с нами?

Кучер покачал головой и погрозил у своего уха пальцем, как бы упрекая за несправедливые выговоры. Капитан, желая повеселиться насчет храбрости сидевшей в карете, продолжал грубые шутки свои:

— Бедному, ничтожному шведу карачун дадут, господина пастора изжарят на вертеле, а вас, бесстрашная фрейлейн Рабе, увезут в плен, в дикую Московию, может быть, к падишаху их в...

— Нет, меня не разлучат с моим вторым отцом! — возразила девушка, прижимая к себе иссохшую руку старика.

— Фуй, фуй, Вульф! — вскричал пастор, у которого лицо вспыхнуло от необдуманных слов цейгмейстера. — Вы и в шутках показываете вещи в черном виде. Нынешний день вы, позвольте вам сказать, особенно доказали, что в ваших речах нет ни Грации, ни Минервы. Еще прибавлю, сударь, — и татары имеют начальников русских; а разве русские не христиане? разве они не озарены светом Евангелия так же, как и мы, лифляндцы и шведы? И они уважают не только своих попов, но

и немецких пасторов: я слыхал многие тому примеры. Тем более имею право ожидать их снисхождения, что могу изъясняться с ними без помощи переводчика... вы знаете, что я употребил несколько часов моей жизни на изучение языка русского.

— К сожалению, знаю! — прервал офицер. — Потраченный порох!

— Нет, сударь! — продолжал пастор, все более и более горячась. — Надеюсь, что мои оружия получше защитят меня, нежели вас ваши мариенбургские заржавленные пушчонки. За меня *Ювенал*, *Четыре монархии*, *Пуффендорф* с своим *вступлением во Всемирную Историю*, *Планисферия*, весь *Политический Театр*; все, все уже они стоят у меня на страже; все заговорят за меня по-русски и умилостивят победителей! Вижу коварную улыбку вашу: «Все пустячки! об них и слухом не слыхать в Московии!» — говорите вы. Нет, сударь, — об них известен ученейший человек в России, библиотекарь патриарха, которому я уже послал переведенные мною на его родной язык «Orbem pictum» и «Vestibulum» и с которым мы условились составить славяно-греко-латинский лексикон.

— Прекрасно! вы в военное время и переписочку ведете с неприятелями своего государя, врагами нового отечества вашего!

— Народы враждуют, брань кипит — просвещение делает свое, прокрадывается хитростью, где не пускают его силою. Мечи накрест, — музы через них умеют подавать друг другу руки! Изгнанные из одного места, они поселяются в соседстве назло и к несчастью гонителей. Браннолюбивый Карл напугал их в Швеции и Лифляндии: они отправляются вереницей к Петру, умеющему приласкать их. Швеция становится близорукою, бледнеет, слабнет; Россия, просвещаясь, богатеет, мужается. Горькая истина, господин цейгмейстер, но все-таки истина!

— Школьное умствование, вылупившееся из засиженного яйца какой-нибудь ученой вороны! Налетит шведский лев, и в могучей лапе замрет ее вещательное карканье! От библиотекаря московского патриарха ступени ведут выше и выше; смею ли спросить: не удостоится ли и царь получить от вас какую-нибудь цидулку?

— А что вам до этого, львам и орлам севера?.. Да, господин из свиты львиной, мариенбургская ученая ворона надеется скоро и очень скоро посвятить Великому

Петру переводы Юлия Цесаря, Квинта Курция, «институтио реи милитарис», «Ars navigandi» и Эзоповы притчи. Он любит древних героев, потому что их в себе воскрешает. Не одни шведы будут учителями его в науке войны и мореплавания, может быть, и нашим книжечкам, и нам скажет он некогда спасибо! Эзоп — о! он, говорят, знает его наизусть и словами фригийского мудреца умеет обличать самонадеянность, невежество, бестолковое удальство, грубость, неуважение к старшим.

Здесь пастор отдохнул немного, потом, обратившись к своей спутнице, не смевшей сказать ни слова в защиту того или другого, ибо, по-видимому, уже между ними не было слова на мир, снова продолжал:

— Назло господину цейгмейстеру, чтобы он вперед не пугал тебя, Кете, и не говорил двусмысленностей, предсказываю, что в случае похищения нас ни жарить, ни печь не станут, меня — в уважение моего сана, моих трудов, тебя — в уважение твоего хорошего личика, которое и на Руси проглянуло бы, как солнышко. Напротив, нас повезли бы в Москву, там ученые люди нужны. Царь сзывает их и подалее, чем из Лифляндии. Я определился бы при немецкой церкви пастором; стал бы проповедовать слово божие, как здесь делаю; основал бы академию, scholam illustrem; [1] а ты, моя милая Кетхен, была бы украшением почтенного семейства какого-нибудь боярина... Ой, ой! Фриц, по каким кочкам ты нас везешь!

— Настоящая Московия, — пробормотал сердито офицер, — песок, лес, кочки, буераки!

— А вот мы сейчас и в пригожей долине, в которой угодно было вам остановиться, — сказал кучер. — Слышите? слышите?

— Что такое еще там? — спросил пастор, которого гнев уже растрясся по ухабам.

— Я слышу, несет из долины запахом цветов, точно от букета, что у фрейлейн на шляпке. Авось либо духи не едят травы, и моим рыжакам будет что покушать. Вот она, Долина мер... (Фриц, озираясь кругом, не договорил речи своей.)

В самом деле, начинал редеть лес, показались излучины Вайдау, зеленые лужки, холмы, рощи и, наконец, уединенная, живописная долина. Речка пересекала до-

---

[1] знаменитую школу *(лат.)*.

рогу поперек, бежа с левой стороны на правую; тут, удержанная горой, потянулась прямо, потом обогнулась влево дугой и, наконец, понесла далее свои ропщущие по камням воды, в извилинах своих все повинуясь своенравному направлению обступивших ее холмов. Дружно обсаженная деревьями, она за ними притаилась и казалась издали вьющейся по лугу тенистою дорожкой; только журчание изменяло ей. По правую сторону возвышалась гора, которой не тронутую временем отлогость покрывал с подошвы до гребня сосновый лес, немного протянувшийся по нем мрачною оградою и вдруг вразрез остановившийся; далее самая вершина горы была на довольно большое пространство обнажена, а желто-глинистый бок ее, до самого низу, обселся в виде прямого, как стена, утеса. На этой-то вершине стоял необыкновенной величины деревянный крест, почерневший от времени и непогод; он господствовал над всею долиной, а из нее, казалось, захватил полнеба. Далее по косогору начиналась роща; из чащи ее выпадала дорожка. Левую сторону долины обсели несколько зеленых холмов, иные вполовину обнаженные, другие осененные красивыми рощами, примыкавшими к густому лесу, из которого чернелось *ущелье привидения.*

Переехав мостик, карета повернула с дороги налево и стала там, где подножие холма и речка сходились углом. Сидевшая в карете выскочила из нее на мураву, не дожидаясь чужой помощи.

— Какие прекрасные места! — воскликнула она. — Если такова Московия, то...

Она хотела что-то сказать, не договорила и продолжала, смутившись:

— Тенистая роща ждет нас на этом холме; в ней, будто нарочно для нас, разостланы цветистые ковры.

— Есть из чего набрать венок для будущего победителя шведа Вульфа! — присовокупил офицер, сошедши с лошади и привязав ее к карете.

— Какие вы недобрые, Вульф! Этого я не помышляла даже в шутку. Могу ли не желать, во всяком случае, успеха тому, кто был другом моему отцу, кого любит так много мой благодетель, мой второй отец? Разве вы не принадлежите к нашему маленькому семейству?

— Полно, полно, дети! — сказал ласковым голосом пастор, которому Фриц помогал вылезть из экипажа. — Шутка пусть останется шуткой. Скорей мировую! аминь!

Прекрасная девушка протянула Вульфу руку; он спешил ее поцеловать.

— Вот так-то! — вскричал старик, всплеснув руками в знак одобрения. — Это лучше, чем смотреть друг на друга сентябрем. А знаете ли, друзья мои, все настоящие беды наши, не выключая и вашей размолвки, происходят оттого, что адрес, поданный лифляндцами блаженныя памяти королю, был худо сочинен.

— Адрес? — спросила в один голос примиренная чета с видом изумления.

— Да, точно! я вам это сейчас объясню. Если бы он написан был как должно, то есть, как я думал написать его, король принял бы его милостиво. Вспомните, что его величество, не разобрав еще хорошенько адреса, поданного депутацией, потрепал Паткуля по плечу и сказал ему: «Вы говорите в пользу своего отечества, как истинный патриот; тем больше я вас уважаю».

— И через несколько дней прозорливый государь велел палачу поласкать шею у почтенного лифляндца! — возразил с усмешкой офицер.

— Не нам — богу судить деяния царей! Новому отечеству моему от этого не было легче. Но дело не в том. Возьмите в соображение, что блаженныя памяти король, наш милостивейший господин, приказал сделать эту экзекуцию через несколько времени, то есть тогда, когда успели его величеству протолковать несообразности адреса, чего не мог он при слушании его понять. Итак, вы видите, что все зло произошло, опять скажу, от неловкого сочинения адреса. В противном случае Паткулю не погрозили бы плахою, он не бежал бы из Стокгольма от мысли, что палач будет играть головою его, как мячиком, — головою, которой, надобно признаться, подобную не нахожу более в Лифляндии. И его ж, стыжусь выговорить, наш брат духовник, Нордбек, упрекает, почему он ушел от приговора закона! Но дело не в том. Тогда бы, то есть, если бы адрес написан был, как я полагал его написать, Паткуль не находился бы в русском войске, не служил бы Шереметгофу — выговариваю имя этого полководца на немецкий лад. По-русски надобно сказать Шереметев; но дело не в том. Паткуль не служил бы ему живою лифляндскою ландкартой, не шевелил бы страстей в своем отечестве, война кончилась бы скорее, мы не боялись бы теперь соседства русских, вы не ссорились бы в разговоре о них... И бог знает, от каких бед избавил бы нас адрес, дельно составленный, об-

думанный не горячими умами, но холодным стариковским рассудком. Если бы адрес...

Конца бы не было сильному, всесокрушающему потоку, льющемуся из уст нашего оратора, для которого слово «*адрес*» было то же, что поднятие затвора у спуска воды на мельнице, — если бы не поспешил Фриц заткнуть прорыв этот докладом, что поставит карету и лошадей в уголку долины, в тени. Между тем пастор, воспитанница его и Вульф вошли в рощу; усердный конюший понес за ними несколько подушек. Чем далее углублялись они в нее, тем более жар терял силы. Ветерок вился мотыльком между деревьями и обвевал наших путешественников негою прохлады. Сплетшиеся ветви душистой липы, всегда шепчущей осины и клена широколиственного манили их под себя к отдыху; однообразное жужжание пчел склоняло к дремоте. Пастор, утомленный путешествием, охотно предался зову природы: он прилег в беседке, которую нежная заботливость его спутницы устроила со всеми возможными удобностями для него. Старец, забыв мертвецов, адрес, переводы и все великие намерения свои, вскоре заснул крепким сном душевного спокойствия. Прекрасная путешественница села не в дальнем расстоянии от него под наметом цветущей липы и занялась чтением «*Светлейшей Аргениды*», одного из «*превосходнейших романов настоящего и прошедшего времен*» (по крайней мере, так было сказано в заглавии книги), сочиненного знаменитым Барклаем. Подалее цейгмейстер задремал, прислонясь ко пню, обвитому пышным мохом и ползуном. Он имел осторожность взять с собою карабин, который поставил в приятельском отдалении. Фриц... но мы расскажем, что с ним случилось, чрез главу.

## *Глава четвертая*
## КТО ОНИ ТАКИЕ?

Уж разумеется, что это мы узнаем!

*Хмельницкий*

Отдых наших путешественников представляет нам удобный случай короче ознакомить с ними читателя нашего. Начнем со старшего лица.

Эрнст Глик был пастором в лифляндском городке

Мариенбурге, лежавшем близ границ псковских. Лифляндия не была его отечеством: он родился в Веттине, что в герцогстве Магдебургском, где отец его, Христиан, также священствовал. Дед его Иоган был некогда типографщиком в Лейпциге. От первого получил он в наследство любовь к добру, от второго — любовь к просвещению; и с таким достоянием почитал себя богатым. Занесенный разными обстоятельствами, о которых умалчиваем по незанимательности их, сначала в Ригу, потом в настоящее местопребывание свое, он везде, где только жил, приносил с собою известность почтенного имени и оставлял память о своих добрых делах. По летам и сану его, а более по уважению и любви к нему обывателей мариенбургских можно было назвать его патриархом этого городка. Но как доброе сердце его, найдя тесным этот круг деятельности, умело расширить его за несколько десятков миль от Мариенбурга, так и любовь и уважение успели найти Глика из отдаленных мест Лифляндии.

Добро делать считал он такою же потребностью, как пить и есть. Он был небогат; но догадливая любовь к нему прихожан и окружного дворянства, вознаграждая недостатки его, доставляла ему постоянные способы исполнять эту потребность. За стыд не считал он получать дары, потому что их же раздавал неимущим: в этом случае почитал он себя только посредником между благотворением и несчастьем. Не делал он такого *скрытого* добра, которое преданные люди обыкновенно, в подобных случаях, разглашают человекам двадцати; не любил он так же и открытой дележки. Зато с какою пламенною готовностью спешил он к беспомощному больному с лекарем, лекарством, пособиями всякого рода и даже хожалою (горничною, старою девкой Грете, часто заменявшею его в таких человеколюбивых подвигах), с каким усердием поддерживал он существование бесприютной вдовы, отдавал бедных сирот в учение разным ремеслам, оказывал великодушные пособия подсудимым!

— *Законы* должны делать свое, — говаривал он, — а я, как *человек*, свое.

Однако ж острый взгляд его умел почти всегда отличить в числе истинно бедных и несчастных, составляющих везде многочисленное семейство, тех самозванцев-несчастливцев, бродяг, тунеядцев, просящих милостыню по привычке, когда могли бы работой рук своих доставать себе пропитание. Опекун злополучия, велико-

душный, но не безрассудный, он отказывал последним в вещественном пособии, но преследовал их духовными благодеяниями, мерами, более действительными к исправлению порока; он успел даже многих из них отучить от бродяжничества. Этот добродетельный человек основал в городе рабочий дом, богадельню и училище, помня, как он говорил, что пороки не иначе можно изгнать из общества, как удовлетворением трех главнейших потребностей человека: укреплением тела, очищением сердца и просвещением разума. Успехи его благодетельных средств были доведены до того, что дали бургомистру возможность в одно воскресенье прибить у всех въездов в Мариенбург доски с надписью: *Здесь не позволяется просить милостыню.* В этот достопамятный день гражданами поставлены были в кирке великолепные, по тогдашнему времени, органы. Вечером же окна пасторского дома внезапно осветились необыкновенным светом. Он выставил свою лысую голову из окна и был изумлен необыкновенным зрелищем: по озеру летело с разных сторон множество двойственных огней, которые соединились у берега против дома, произвели в воздухе блестящее зарево и зажгли воды. Раздались, при звуке мечей, громкие «виваты», и пропет был охриплым голосом почтеннейших жителей кант, сочиненный в честь виновника общего их благополучия, в котором сравнивали его с Ликургом, Солоном и многими другими законодателями. Торжество это извлекло у доброго старца слезы и радостью взволновало его кровь до того, что он не мог заснуть прежде рассвета. Известно нам также по преданию, что сочинитель канта, городской школьный мастер Дихтерлихт, был несколько дней в лихорадке от одной мысли перейти в потомство с новорожденным своим творением.

Слово Глика к пастве было слово отца к детям: он поучал, увещевал, не пугая. Правда, платил он изредка дань веку своему, щеголяя в проповедях схоластическою ученостью, которою голова его была изобильно снабжена, тревожа с высоты кафедры робкие умы слушателей варварскими терминами из физики и математики и возбуждая от сна вечного не только героев Греции и Рима, но даже Граций и Минерву, с которыми он редко где-нибудь расставался. К чести его надобно оговорить, что он в конце своих речей, со скромностью христианина, почти всегда извинялся перед слушателями, что отвлек их внимание от даров небесных к дарам чело-

веческим. Но лучшее, незабвенное благодеяние, которое он сделал не только своим прихожанам, но и всему лифляндскому краю, был перевод на латышский язык Библии: с его времени закон божий стал известен поселянам на природном их языке и понятен их разуму и сердцу.

Ученость его вошла в пословицу. Он знал хорошо языки греческий, латинский и, что удивительнее всего в тогдашнее время, русский, на который он перевел множество латинских сочинений. Им хотел он сделаться известным преобразователю русского царства и занять в его истории почетное место. Чтобы достигнуть своей цели и между тем согласить чувства верноподданного шведского короля с нетерпеливою любовью к знаменитости, он ожидал мира, как жиды мессии. Страстный поклонник всего великого, являлось ли оно в лютеранине или иноверце, в соотечественнике или чужестранце, он питал уже с давнего времени пламенную любовь юноши к славе царя Алексеевича (так звали его запросто немцы) и успел напитать этим огнем воображение своих домашних. Еще в 1697 году («25-го марта» — это число было у него записано красными чернилами и огромными буквами в календаре), смешавшись в толпе лифляндских дворян, прибывших встретить русского монарха на границе своей в Нейгаузене, он видел там лично этого великого мужа, ехавшего собирать с Европы дань просвещения, чтобы обогатить ею свое государство. Там еще успел он угадать его сердцем, которое часто вернее исследований ума осязает истину, и с того времени, с целью далекою, посвятил лучшие досуги свои изучению языка русского. Мы видели по прочитанной им самим номенклатуре книг, им переведенных на этот язык, что труды его были велики; узнаем впоследствии, были ли они бесполезны.

Всякая фигура имеет свой свет и свою тень; идея человека соединяется всегда с идеей слабостей его: это сказано и пересказано уже до меня. Хорошо еще, когда свет преобладает над мраком; мы уже до того дошли, что стали говорить: хорошо б, если бы на людях, с которыми мы имеем дело, проглянуло где-нибудь белое пятнышко; а то бывают иные и такие черненькие, как уголь, который горит и светит для того только, чтобы сожигать! Этим рассуждением приговариваюсь к тому, чтобы выиграть сколько можно более снисхождения к слабой стороне нашего Глика. Пытливость ума его,

страсть к планам, нововведениям и усовершенствованиям нередко простирались на мелочи, нередко проявлялись в смешных, странных способах. В наш век назвали бы его прожектером. Но мы видели, что эта самая страсть произвела множество полезных, истинно благодетельных дел и потому не только была в нем извинительна — она заслужила даже благодарность сограждан и память потомства. Не средства, а цель достойна строгой поверки. И потому охотно отпускаем ему на суде нашем эту слабость. Но что было в нем порок истинный, так это своенравие. Когда он садился на конька своего, неугомонного, заносчивого, то никто не в состоянии был его удержать, хотя бы он скакал через рвы и плетни. Получив ли от природы направление к этому пороку, утвержденный ли в нем чувством собственных достоинств, дававших ему первенство в семействе, в училище и в обществе, избалованный ли всегдашним, безусловным согласием невежд и ученых, он забывал иногда смирение евангельское, неприметно поклоняясь своему кумиру. Если он что-либо задумал, расположил и утвердил в голове своей, то начертания свои почитал лучшими, какие только можно составить, по ним действовал и заставлял действовать людей, с ним тесно связанных и от него зависевших. Ничто не могло заставить его переменить свое намерение, даже и тогда, когда обстоятельства заранее открывали ему заблуждения и ошибки его.

— Конец венчает дело, — говаривал он иногда, желая оправдать неуспехи своих предположений и расчетов, и, приближаясь к цели, нередко узнавал прискорбным опытом, что основание их было непрочно и ложно. К счастью имевших с ним дело и не слепо выполнявших его начертания, мщение никогда не входило в сердце его.

— Близорукие! ослепленные! невежды! — говаривал он об них в пылу гнева. — Умываю себе руки в несчастиях, которые могут с ними случиться.

Если же противились ярму его своенравия люди сильные, к видам которых привил он свои услуги, то соглашался скорее потерять свои пользы и разрушить давнишние связи, чем расстаться с начертаниями своими.

Глик давно лишился жены и детей. Взамен их провидение послало ему такое существо, которое, пополнив все его утраты, подарило его лучшими утешениями в жизни. Это была воспитанница его, Катерина Рабе.

Отец ее, служивший квартирмейстером в шведском Эльфсбургском полку, умер вскоре после ее рождения (в 1684 году). Мать ее была благородная лифляндка, по имени первого мужа, секретаря какого-то лифляндского суда, Мориц. Лишившись второго мужа, она из Гермунареда, что в Вестготландии, приехала по делам своим на родину с малолетнею дочерью своею (нашей героинею) в рингенское поместье господ Розен, где и скончалась в непродолжительном времени. Малютка осталась после нее круглою сиротой, не только без покровительства, но и без всякого призрения. Роопскому пастору Дауту случилось быть в Рингене; он взял ее к себе и дал ей убежище и содержание. В Роопе жила она несколько лет в унижении под тягостным господством пасторши, женщины злой и властолюбивой. Надобно было, чтобы судьба привела нашего доброго Глика в Рооп, чтобы он увидел худое обращение этой мегеры с бедным приемышем, в котором заметил необыкновенную кротость и ум. Он легко выпросил ее у госпожи Даут, бывшей полною властелиншей в доме. С десяти лет Катерина Рабе жила у мариенбургского патриарха. С того времени расцветал этот прелестный цвет под нежными попечениями второго отца ее.

Девице Рабе минуло осьмнадцать лет. Черные глаза, в которых искрилась проницательность ума, живость и доброта души, черты лица, вообще привлекательные, уста, негою образованные (нижняя губа немного выпуклая в средине), волосы черные как смоль, которых достаточно было, чтобы спрятать в них Душенькина любимца, величественный рост, гибкий стан, свежесть и ослепительная белизна тела — все в ней было обворожительно; все было в ней роскошью природы. Душа ее была вылита по форме ее прекрасной наружности. Лишить себя приятной вещи, чтобы отдать ее бедному; помнить добро, ей сделанное кем бы то ни было; пожертвовать своим спокойствием для угождения другим; терпеливо сносить слабости тех, с которыми она жила; быть верною дружбе, несмотря на перемену обстоятельств, и особенно преданною своему благодетелю — таковы были качества девицы Рабе. Но достоинства души, редко достающиеся в удел ее полу и которыми провидение щедро наградило ее, были необыкновенная твердость и сила характера. Еще в детстве, слушая ужасные сказки, она смеялась, когда подруги ее от страха едва смели дышать. Проходя в сумраке вечера

через кладбище, дети одного с нею возраста прижимались к старшим провожатым своим, шибко стучало сердце их: ее же было так покойно, как обыкновенно; она еще старалась отстать от других, спешила полюбоваться памятником, остановившим ее внимание, и тихими уже шагами их догоняла. Ей не было десяти лет, когда у соседа случился пожар: все в доме бегали и суетились; она взяла кувшинчик с водою и, когда спросили ее, куда идешь, отвечала спокойно: *заливать огонь*. Твердость души девицы Рабе, столь рано умевшей пренебрегать опасностями, возмужав с летами, сделала ее способною к необыкновенным победам над собою и трудными обстоятельствами в решительные минуты ее жизни.

Некоторые из граждан мариенбургских, думая, что для бедной, незначительной девушки они слишком завидные искатели, заочно собирались просить руки ее, но при свидании с нею, по какому-то невыгодному для себя сравнению, решительно переменяли намерение свое. Так, пришедши в храм любоваться искусством художника, истощившего гений свой в дивных изображениях, забываешь, для чего пришел, и, в благоговении повергнувшись перед святынею, остаешься в храме только молиться. Девица Рабе одна не знала могущества своих прелестей: жива, простодушна, как дитя, ко всем одинаково приветлива, она не понимала другой любви, кроме любви ко второму отцу своему, другой привязанности, кроме дружбы к Луизе Зегевольд (с которою мы впоследствии познакомим нашего читателя).

Только один избранник осмелился простирать на нее свои виды: именно это был цейгмейстер Вульф, дальний ей родственник, служивший некогда с отцом ее в одном корпусе и деливший с ним последний сухарь солдатский, верный его товарищ, водивший его к брачному алтарю и опустивший его в могилу; любимый пастором Гликом за благородство и твердость его характера, хотя беспрестанно сталкивался с ним в рассуждениях о твердости характера лифляндцев, о намерении посвятить Петру I переводы *Квинта Курция* и *Науки мореходства* и о скором просвещении России; храбрый, отважный воин, всегда готовый умереть за короля своего и отечество; офицер, у которого честь была не на конце языка, а в сердце и на конце шпаги. На него, как на отличного артиллериста, вместе со старым комендантом мариенбургской крепости, подполковником Брандтом, возло-

жена была Карлом XII защита ее. Много прав имел он на уважение девицы Рабе: она и уважала его, любила, как друга отца ее, как брата, не более. Впрочем, он не был создан для того, чтобы возбудить в ком-либо нежную, истинную страсть, придающую часто любимому человеку достоинства, которых он не имеет, между тем как равнодушие к другому отнимает у него и те прекрасные качества, которыми его природа наделила. Старее ее двадцатью годами, с чертами лица, выражающими благородство, но грубыми, напитанный суровою жизнью лагерей и войны и потому в обращении даже с женщинами не оставлявший солдатских привычек и выражений, властолюбивый, вспыльчивый даже до безрассудства — таков был искатель руки нашей героини, любивший ее истинно, но сердцем ее не избранный.

Пастор, с своей стороны, имел также виды на цейгмейстера: здесь представлялся ему важнейший случай поработать головой и сердцем, выказать свои глубокие соображения, тонкое знание людей. Он видел, он осязал уже воображением знаменитое дерево, долженствующее изумить потомство плодами необыкновенными, — дерево, которого семя таилось в его рассаднике. Великие последствия должны были произойти от предполагаемого союза бедной воспитанницы его с незначащим артиллерийским офицером! Можно ли было упустить такой случай? Правда, к страсти его все устраивать примешивалось тогда и доброе намерение. «Кто искреннее меня желает счастья моей Кете? — рассуждал сам с собою Глик. — Что я обдумал для нее, то должно служить к ее благополучию... После смерти моей она останется в пустыне, где ни один голос друга на голос ее не отзовется, точно в таком состоянии, как была она после смерти своей матери. Неопытность ее опутают сетями. Она узнает нужду, горести. Ей необходим именно такой товарищ в жизни, каков цейгмейстер, мой приятель. Благородные и твердые его правила мне известны; он имеет состояние, которое обеспечит его навсегда от бедности. Умрет — и вдова храброго шведского офицера не будет забыта признательным королем. Наружность его не совсем привлекательна, согласиться надобно; но этот недостаток может пугать только ветреную девчонку, а не мою Кете. Луиза Зегевольд не помнит лица жениха своего; однако ж благоразумная мать, с помощью же *нашею*, умела заставить ее и заочно полюбить его и все так устроила, следуя *нашим* советам, что будущий союз их

должен быть пресчастливейший. Жениха же моей Кете я знаю, как самого себя; она видит его каждый день и должна быть к нему неравнодушной. С ним она ласковее, нежели с другими мужчинами. Еще на днях подслушал я, как они толковали о разных чувствах, между прочим делали определение любви... О! Эти верные признаки не укроются от зоркой опытности старика. Нет, нет, лучшего мужа не иметь ей; лучшего супружества, какое им готовлю, существовать не может». Так обдумывал, рассчитывал и наконец скрепил пастор словами: *быть так*, сидя на коньке своем, с которого уже не было возможности его свести. Цейгмейстер не много думал и рассчитывал и, как отважный воин, решительно атаковал Глика с предложениями. Маленькая, сухая рука пастора ударила в широкую ладонь его, и вскоре, как водится, сначала околичностями, потом открыто объявлены воспитаннице виды лучшего друга первого и второго отца ее, любимца королевского, будущего коменданта мариенбургского, любезного, благородного, умного и прочее и прочее, что воспитатель мог прибрать из словаря мнимых и настоящих достоинств жениха. Между тем, на случай нечаянного отражения, он не замедлил присовокупить, что, для ускорения ее благополучия и его собственного спокойствия, согласие с его стороны дано и что она омрачит последние дни его жизни, сведет его безвременно в гроб, если откажется от счастья, которое так решительно ее преследовало. Девица Рабе, никогда не помышлявшая о важности такого предложения, сначала испугалась, потом, сама не понимая себя, стала равнодушнее слушать повторенные вызывы своего благодетеля, который в исполнении планов своих любил в точности поступать согласно с текстом Священного писания: *толцыте и отверзется*. Наконец твердая душа ее взяла верх над боязнью неприятного союза, ей так настоятельно предлагаемого. Она повиновалась. Сказав решительное: *иду!* — она не чувствовала в себе ни сильного трепета сердечного, ни страха будущего, ни сожаления о прошедшем и сама удивлялась своему спокойствию; только просила, внутренним советником побуждаемая, отложить союз этот на два месяца. Роковой срок должен был кончиться в последних числах августа. В продолжение этого времени Вульф, жених ее, остался для нее тем же цейгмейстером Вульфом, ею уважаемым, как друг ее отца и благодетеля, любимым, как брат, не более. По-прежнему пастор беспре

станно с ним ссорился и беспрестанно мирился; по-прежнему об оселок его раздражительного характера любил Глик точить свои мнения.

Мы видели воспитателя, воспитанницу и жениха ее в дороге. Куда ж едут они? — В Гельмет, к баронессе Зегевольд, ко дню рождения ее дочери Луизы, с которою познакомил пастор свою Кете *ради* милостивого покровительства сироте на будущие времена и с которою, между тем, вопреки неравенства состояний их, соединили ее узами дружбы нежные, благородные чувства и особенное друг к другу влечение, разумом неопределяемое и часто непостигаемое. Пять лет уже, как Рабе в одно и то же время посещала Гельмет или с пастором, или, в случае важных занятий, не позволявших ему отлучиться, одна, сопровождаемая доверенным служителем баронессы, а иногда женою гельметского амтмана Шнурбауха, которую нарочно за нею присылали. Без милой Кете для Луизы день ее рождения не был праздником; не видать Луизы в этот день было для верной подруги ее то же, что потерять целый год, потому что надобно было провесть его в скуке до новой радостной эпохи. Сколько готовилось памятью сердца к этому дню таинственных узелков, развязываемых только в сладкие часы доверенности с единственным другом! Сколько нечаянностей, увеселений, игр изобретала к принятию своей бесценной гостьи молодая хозяйка, ломавшая голову для них не менее пастора Глика, когда он думал о способах просветить соседственный народ. И все эти великие думы, все планы исчезали, как облако под ударом ветра, в чувстве удовольствия при первом взгляде друг на друга! Нередко мариенбургская жительница оставалась гостить по нескольку месяцев в Гельмете. И как скоро проходили эти месяцы! Приезд и отъезд сливались в одну минуту: в первый забыта вся несносность разлуки, при втором радости свидания будто не существовали; слово «*прости!*» их все поглощало. Можно судить, с каким нетерпением ехала девица Рабе в Гельмет ныне, когда ей было столько нового рассказать и выслушать; язык их был только для них понятен, ибо это был язык сердца. Ключа к нему не могло найти холодное властолюбие, располагавшее ими, не спросясь голоса природы.

Цейгмейстеру сделано было мариенбургским комендантом Брандтом важное поручение, которое он должен был лично передать генерал-вахтмейстеру Шлиппенбаху

в Гуммельсгофе, главной его квартире; а как мыза эта была на дороге в Гельмет, то он воспользовался случаем, чтобы сопутствовать приятелю своему и невесте, пока возможно было.

Фриц, наемный кучер баронессы, находившийся у ней в услужении более двух лет, из особенного уважения к пастору, всегда вызывался ехать за ним или его воспитанницею. Он вез их и нынешний раз с тою же готовностью быть им угодным. Чтобы хотя несколько удовлетворительно отвечать на вопрос, сделанный нам в начале главы, скажем о Фрице, что, несмотря на простоту его наружности и жеманство его движений, он был лукав, как дух, прельстивший нашу прабабушку в раю. Эту старую крысу трудно было обмануть; и кто бы это сделал, недолго бы прожил, как говорит пословица. Если нужно ему было отвесть внимание желавшего проникнуть в его тайну, то он искусным оборотом речи удалялся от предмета, который желал скрыть, останавливался и вертелся над другим предметом, по виду для него чрезвычайно занимательным, глупел и путался в речах до того, что уже нельзя было добиться от него толку. В таких случаях он поступал, как пигалица, которая, желая отвлечь охотника от гнезда, где скрываются птенцы ее, кружится с жалобным криком над другим местом, как будто дает знать, что здесь таятся предметы, ей драгоценные. Где нужно было Фрицу самому выведать или получить что-либо для него занимательное, он также начинал издалека и скрытыми, извилистыми путями вкрадывался в душу, так что кругом ее обшаривал. Обыкновенно казался он простым болтуном.

## *Глава пятая*
## ПРИГОТОВЛЕНИЯ

А то, как молотком, ударить вдруг с размаха,
Так, боже сохрани! они умрут со страха,
Когда же это все улажу без труда,
Терпенью приучать примуся их тогда.

*Хмельницкий*

С версту вперед от Долины мертвецов, в виду менценской дороги, на холмистом мыску, обведенном речкою Вайдау, стоял красивый господский домик с такими же красивыми службами и скотным двором. Мыза

эта защищалась от полуденного солнца березовою рощей, примыкавшею к сосновому лесу, наполненному столькими ужасами, о которых порассказал Фриц, от северных аквилонов — высоким берегом речки. Цветники, со вкусом расположенные и хорошо содержанные; небольшой плодовитый сад, в котором каждое дерево росло бодро и сильно, будто в соревновании одно перед другим, как члены юного, мужающего народа; зеленые пажити, на которых ходили тучные коровы; стоки, проведенные с высот; исправные водохранилища; поля, обещающие богатую жатву; работники, непраздные, чисто одетые и наделенные дарами здоровья, трудолюбия и свободы, — все показывало, что обладатель этого поместья любил жить порядочно и приятно. Казалось, что сюда перенесен был один из цветущих уголков Англии. Мыза эта принадлежала господину Блументросту, известному в Лифляндии медику. В него веровали, как в оракула; практика соответствовала его славе; деньги сыпались к нему в карман сами; между тем он не был корыстолюбив; к бедному и богатому спешил на помощь с одинаким усердием. Блументрост много путешествовал, знал хорошо свет и людей, дорожил ученою славой и старался не только питать ее искусством своим, но и сделать ее известною в ученом мире разными важными по его части сочинениями и перепискою с университетами, считавшимися в тогдашнее время средоточиями наук. В Швейцарии познакомился он с Паткулем. Паткуль был несчастлив, угнетен, не имел отечества: добрый Блументрост полюбил его, помогал ему советами, утешениями и деньгами, не оскорбляя его бедности и несчастья. С того времени связи их укреплялись более и более; благоприятная перемена судьбы изгнанника, потом любимца Петрова, не переменила ничего в их дружбе.

Мыза Блументроста была под особенным покровительством генерал-вахтмейстера Шлиппенбаха, которому он успел искусством своим оказать важные услуги; и потому к воротам, ведущим в нее, прибит был в раме, опутанной проволочною решеткою, охранный лист, за подписью и печатью генерала, запрещавшего в нем, под строжайшею ответственностью, шведским войскам малейшее оскорбление жителя мызы и самовольное от них требование чего-либо. Жители ее, кроме хозяина... узнаем их сейчас, взойдя во внутренность красивого домика.

На балконе его, с которого видна была вкось высота с крестом, сидела в то время, как наши путешественники подъезжали к Долине мертвецов, прехорошенькая девушка лет шестнадцати. Томные глазки ее щурились, чтобы лучше видеть вдали. Казалось, она что-то подстерегала. Одежда на ней была, какой не носят лифляндские женщины. Голову ее дважды обвила русая коса. Вместо ожерелья, на черной ленте, перевязанной около шеи, висел золотой крест, падавший на грудь, которую открывала несколько, в виде сердца, белая косынка. Стан ее приятно означал корсет из шерстяной материи каштанового цвета, с узенькими оплечьями, стягивавшийся голубою лентою, переплетенною с одной стороны на другую наподобие углов. Весь корсет был также обложен голубою лентой; такого же цвета два банта висели у конца его в середине самой талии. Широкие, тонкого полотна, рукава доходили немного ниже локтя, где они собирались в густые манжеты. Короткая юбочка синего цвета с пунцовыми полосами, поверх нее белый передник, выходивший из-под корсета, голубые чулки, башмаки со стальными пряжками, блиставшими от солнца, в руках ее соломенная шляпка с разноцветными лентами и букетом цветов — все обличало в ней жительницу южного края Европы. Долго смотрела она в ту сторону, где крест одиноко возвышался над долиной; наконец задумалась и склонила голову на грудь. В таком состоянии оставалась она несколько минут. Неподалеку от балкона, под навесом цветущих лип и рябины, сидели на длинной скамейке трое мужчин; все они разных лет, в различных одеждах и, казалось, хотя они все изъяснялись по-немецки, — не одного отечества дети. В средине сидевший был старец. На открытой голове его небольшой ряд серебряных волос, от времени сбереженных, образовал венок; белая, как лебяжий пух, борода падала на грудь. Лицо его дышало благостыней. По-видимому, он был слеп. Широкая пепельного цвета одежда его, похожая на епанчу, с длинным, перекинутым назад капюшоном, была опоясана ремнем. На груди имел он маленькое хрустальное распятие, в котором солнышко, прокрадываясь сквозь листья дерев, по временам играло. Обувь его походила на сандалии. Двумя иссохшими руками держался он за ручку ветхой скрипки, приклоня голову на край ее, а другой конец ее опирая на колена. По правую сторону сидел крестьянин,

похожий на немецкого мызника, лет пятидесяти или без малого; он был без верхнего платья, в длинном камзоле из тонкого красного сукна, с рядом блестящих пуговиц, в синих коротких исподних платьях, пестрых чулках и башмаках со стальными пряжками. Русые с проседью волосы его подбирались со лба назад и сдерживались роговым гребнем. Лицо его было полно и румяно, как осень; движения и разговор его — свободны. Он был скучен. Левую сторону скамейки занимал высокого роста мужчина, крепко и стройно сложенный. Если б надобно было отгадывать его лета, то по приятным, тонким чертам его смуглого лица, по огню его карих глаз нельзя было б ему дать более тридцати лет; но проведенные по возвышенному челу его глубокие следы размышления, работы сильных страстей или угнетения гневной судьбы, предупредивши время, накидывали в счете лет его еще несколько. С открытой головы его бежали обильно на плечи кудри, черные как вороново крыло. Борода у него была обрита. Верхняя одежда его, из грубого синего сукна, походила на венгерскую куртку; камзол и исподнее платье такого же цвета были немецкого покроя; гибкий стан опоясывался черным кожаным ремнем с медною пряжкой; ноги до самых башмаков обрисовывались узкими шведскими штиблетами. Он был весь тревога: то погружался в глубокую задумчивость, то, вдруг встрепенувшись, как будто поражен был ожидаемым вестовым звуком, прислушивался с жадным вниманием; то вставал, прохаживался по цветнику быстрыми шагами, посматривал на девушку, сидевшую на балконе, и опять садился. Казалось, от нее должен был он услышать роковое для него слово; однако ж наверно можно было догадаться, что это не было слово любви. В глазах его выливалось нетерпение души беспокойной, грустной, которой предмет был далек, а не изъяснения нежного чувства предмету видимому. С левой стороны скамейки приставлены были к ней складной стул и какой-то продолговатый, неглубокий ящик, с приделанными к нему ремнями, вероятно служившими для поднятия и носки его. Напротив лавки лежал, развалившись на траве, огромный детина, вершков шестнадцати вышины, плечистый, сутуловатый. Это была олицетворенная доброта. Русые волосы его, небрежно распущенные по плечам, серый кафтан из

*ватмана* [1], хотя и тоньше обыкновенного, башмаки без подошв из желтой кожи, стянутые, а не сшитые, обличали в нем природного лифляндского домочадца или человека, его представлявшего. Он ничего не говорил, но объяснялся движениями рук так хорошо, что его всякий мог понимать.

— Что с тобою сделалось, Баптист? — сказал слепец, обращаясь к сидевшему по правую руку его.

— А что такое? — отвечал сухо вопрошаемый.

— Как что! ты нынче неразговорчив, как дух долины или наш немой.

— Эх, Конрад! ты не ведаешь моего горя: целые пять кругов сыру не удались, хоть брось их, а все по милости моей Розки. С некоторого времени, богу известно, что с нею делается: за что ни примется, валится все из рук! А кажется, ты знаешь, швейцарцы не любят хвастаться; мать ее считалась во всей округе Лозаннской первой молочницей; да и в девчонке виден был прок. Ныне же говоришь ей — не слышит; толкуешь — не понимает; сама говорит — путается. Бывало, резвится и прыгает, как вольная козочка наших гор; теперь быть бы ей одной да задумываться, как пастор над сочинением проповеди.

— Не больна ли она чем? Чадолюбивая природа открыла мне некоторые таинства свои на пользу моих ближних, и я постарался бы исцелить ее.

— О! кабы так, не помешкав приступил бы я к тебе с просьбою помочь моему детищу, которое, после смерти матери своей и в разлуке с родиной, заменяло мне их. Я знаю, как ты доточен на эти дела. Давно ли ты избавил меня от смерти? Порезав себе косою ногу, я обливался кровью; сам господин Блументрост не мог остановить ее: тебя подвели ко мне; ты обмакнул безымянный палец правой руки в кровь мою, текущую ручьем, написал ею на лбу моем какие-то слова...

— *Совершишася.*

— И кровь остановилась. Помню, как добрый господин всплеснул руками, ахал, пожимал плечами, обнимал тебя и обещал тебе груды золота за открытие твоей тайны.

— Я не согласился тогда; но скоро, скоро придет время сдать ее и многие другие нашему общему благо-

[1] Грубое латышского изделия сукно.

детелю. Не хочу, чтобы они умерли со мною. Да, мы говорили о бедной Розе! Спрашивал ли ты ее хорошенько, что у нее болит? не тоскует ли она по родине?

— Спрашивал, и только слышал: «Так, батюшка! ничего-с, батюшка! нет-с, батюшка!»

— Странно! (Тут слепец вздохнул глубоко.)

— Вот мы ее поставили караульщицею на балконе, а она, когда б ты видел, сидит, повеся голову на грудь, как убитая птичка. Ну право, я распрощаюсь скоро с добрым господином Блументростом, возьму котомку за плеча и утащу Розку в свою Вельтлинскую долину, в божию землю, где нет ни войны, ни печали, ни угнетения: может быть, она расцветет опять на свободных горах ее, под солнцем полудня.

Слепец еще вздохнул и примолвил, настроивая свою скрипку:

— Сделаем последний опыт!

Сладив строй бедного инструмента своего, он заиграл швейцарскую песню: *Rance de vache*. Первые звуки ее заставили Баптиста затрепетать; он вскочил со скамейки, потом зарыдал и, наконец, не в силах будучи выдержать тоски, стеснявшей его грудь, вырвал скрипку из рук слепого музыканта. Роза, казалось, не слыхала песни родины.

— Что Роза? — спросил слепец.

— Роза? — вскричал, всхлипывая, швейцарец, смотря на нее. — Она... не дочь моя!

Немой утирал себе глаза рукавом. Он плакал оттого, что другие плакали. Слепец ничего не говорил, поникнув грустно головой. В это время младший товарищ, прежде сидевший с ними на одной скамейке и теперь прохаживавшийся по цветнику, взглянул на балкон и, увидя, что Роза вместо того, чтобы исполнять должность караульщицы, сидела в горестной задумчивости, из которой не могли, как он слышал, исторгнуть ее родные звуки, подошел к балкону и произнес потихоньку одно слово: «*Фишерлинг*» так, чтобы оно только до нее дошло. Девушка от этого магического слова встрепенулась, осмотрелась вокруг себя; покраснела, увидев под балконом свидетеля ее душевной слабости; взглянула на *возвышение креста*, с испугом закричала:

— *Знамя!* — и бросилась бежать во внутренность дома. Явившись в цветнике, она остановилась перед собеседниками, как преступница. Отец сурово посмотрел на нее; убийственный взор его говорил: *ты не швейцар-*

*ка!* Видно было, что Роза собиралась плакать; но черноволосый мужчина быстро и крепко схватил ее за руку и увлек за собою. У тына, к стороне рощи, была калитка. Могучею рукою распахнул он калитку и, втолкнув в нее девушку, сказал ей:

— Узнай все вернее и скорей! Если ты уж этого хорошенько не выполнишь, что скажет, что подумает о тебе господин *Фишерлинг?*

Глаза его в это время блистали, как огонь зарницы в удушливой атмосфере; слова его казались бедной Розе громом, ужасным, хотя еще издали гремящим. Исполнение их было для нее смертным ударом. Она скрылась, и черноволосый стал на страже, как изваянный гений, прикованный к гробнице.

Пока все это происходило на мызе господина Блументроста, Фриц, сообразно местоположению, стратегически расположил свои действия. Надобно сказать прежде объяснения их, что место, где расположилось наше странствующее общество, было довольно далеко от края рощи, примыкавшей с одной стороны к ущелью привидения и простиравшейся назад на неопределенное расстояние; ибо чем далее взор в нее углублялся, тем более учащали для него преграду деревья и сети их зелени. Мимо лагеря наших путешественников проходила сквозь рощу тропа мало пробитая, которая вела, по-видимому, из Адзеля и спускалась с холма на мариенбургскую дорогу. Мы видели, что карета стала в долине там, где речка и подножие холма сходились углом. Лошадей привязал кучер к деревьям, в недальнем расстоянии, и задал им овса, которым запасся на дорогу; потом перескочил по камням через речку, пробрался сквозь рощу, в которой, сказали мы, терялась по косогору дорога в Менцен, прополз по обнаженной высоте за крестом и у мрачной ограды соснового леса, к стороне Мариенбурга, вскарабкавшись на дерево, которого вершина была обожжена молниею, привязал к нему красный лоскут, неприметный с холма, где были наши путешественники, но видный вкось на мызе. Волнующееся знамя было оставлено в этом положении на несколько минут. Сняв его, Фриц опустился проворно на землю, пробрался тем же путем назад, подошел к лошади нашего цейгмейстера, расстегнул небольшой чемодан, висевший у седла, пошарил везде и вынул куверт. Он был запечатан, но сургуч печати был так худ, что удобно ломался. Не думав много, кучер изломал печать,

положил крошки сургуча в камзол, застегнул по-прежнему чемодан и, держа крепко в руках сокровище свое, нырнул в страшное ущелье. Здесь, следя глазами известные ему приметы, он пролезал ужом сквозь кусты, перескакивал через пни, как лань, и, задыхаясь, очутился наконец у огромного, бурею разорванного дерева, далеко уронившего косматый верх свой от дупловатого корня. Там, где треснуло оно, выставились два острые клыка, повыше коих светились два отверстия наподобие глаз. Кругом возвышались столетние вязы, дружно размахнув на жилистых ветвях своих широкотенные щиты; они заслоняли от этого места солнечный свет — настоящее царство мрака и ужаса! Между деревьями и дуплом кое-где торчали памятники великого земного переворота — огромные, красноватые, будто кровью обрызганные, камни, до половины вросшие в мох и представлявшие разные уродливые образы. Ни одна пташка не смела здесь показаться, не только оживить эту пустыню своими песнями. Только изредка шелест листьев, тревожимых ветром, и пресмыкающихся животных казался шепотом злодейского заговора; лишь по временам шуркал перелет филина, и крик его или скрип сухих дерев, как стоны умирающего под ножом разбойника, жалобно раздавались. Окрестные жители разглашали об этом месте много дивных ужасов, которых и сотую долю не рассказал Фриц нашим путешественникам.

Он осторожно постучался палочкой в дупло раз, потом два, наконец три раза.

— *И*, — произнес из дупла тоненький голосок.

— *ЛИ*, — отвечал конюх.

— *Я*, — продолжал прежний голосок.

— *Муромец!* — сказал отрывисто второй.

Вслед за этим словом выскочила из дупла швейцарка. Глаза ее блистали в сумраке, как ночью два светляка на распускающейся розе.

— Порядочно я вас дожидалась, господин Трейман! — сказала девушка испорченным немецким языком.

— Не могу же я бегать, как ты, швейцарская козочка! мне уж под шестьдесят, Розхен! Да скажи мне, здесь ли наш молодой старшина?

— Вы говорите о господине *Фишерлинге?* — отвечала она, смутившись, и лицо ее вспыхнуло, потом, оправившись немного, она продолжала: — Он был вчера

здесь... ждал вас с нетерпением и уехал вчера же. Мне некогда с вами распевать. Угрюмый швед приказал узнать о новостях: кажется, он готов был перешвырнуть меня к вам, как мячик; а теперь того и гляди, что прибьет меня, если я не скоро явлюсь к его милости.

— Передай ему эти бумаги и скажи, чтоб он списал их поскорее, прислал с тобою же не медля и пришел с товарищем на адзельскую тропу; мимоходом шепни ему ж, что «звезда вечерняя» — невеста, «дорожный столб» — жених; пускай делают они из этого, что хотят! Отца попроси, чтоб он стал шагах в пятидесяти отсюда с заряженным ружьем. Не забыть мне чего. Да, да, приведи с собою *Немого*. Теперь все.

Девушка ничего не отвечала, кивнула ему дружески и юркнула в густоту леса. Фриц дожидался ее не без сердечного волнения и между тем говорил сам с собою таким образом: «Ну, если вздумается проклятому пушкарю сойти в долину к одру своему и осмотреть чемодан? Пропал я тогда! Вульф прихлопнет меня на месте, как комара, и не даст разу пискнуть. По крайней мере в последний раз дохну, служа моему господину, как приказывал мне ему служить умирающий отец его. Не своему брату, знатному дворянину, поручал он сына со смертного одра своего; нет, он поручил его слуге, дядьке, зная, что никто более меня любить его не может, что десять ножей противу сердца этого служителя не вынудят у него измены». Фриц казался тронутым: глаза его были мокры. «Некстати разнежился ты, старик! — промолвил он, утирая глаза рукавом. — Кремень должен высекать огонь, а не воду. Господин мой трудится для блага своей родины, я — для него; бог нам помощник! Ах! кабы творец милосердный выбросил из сердца его одно злое семя... Пускай проказничает он со шведами, как хочет; здесь доброе намерение — устроить судьбу его братьев-лифляндцев, как он говорит, верю ему и готов с удовольствием положить за него жизнь в этих проказах. Но... в делах любовных боюсь сердца его, мягкого как воск и так же, как он, изменчивого; боюсь, чтобы он не скушал бедной овечки! Что будет тогда с несчастным отцом? что будет со мною?..»

С этими словами Фрица одолела вещая грусть; но вскоре, приняв бодрый вид, он положил крестообразно руки на повалившееся дерево, припал ухом ко пню и сделался весь слух и внимание. Минут через пятнадцать вынырнула опять из дупла пригоженькая послан

ница. Щеки ее горели, грудь сильно волновалась; стоя возле нее, можно было считать биенье ее сердца. За нею с трудом выполз *Немой*, пыхтя, как мех; он обнял дружески Фрица и погрозился пальцем на Розу.

— Как устало милое дитя! — сказал конюх, поведя одною рукою по лбу швейцарки, а другою принимая от нее куверт.

— Скоро ли я пришла? — спросила она.

— Ты не шла, а, верно, летела, как птичка. Что швед?

— Писал, чертил что-то с ваших бумаг и потащил товарища, куда вы назначили. Бедный! он, наверно, старинушку понесет, как пастух хворую овечку, а то куда слепому? и зрячему за ним не поспеть!

— Где твой отец?

— Стоит на карауле.

— О! да я его вижу сквозь сучья; он кивает мне головой, добрый старик! Здорóво, здорóво!.. Ступай же к нему, Розхен, и скажи, чтобы он, как скоро увидит красный значок Немого на *высоте креста*, тотчас выстрелил из ружья по воздуху и воротился домой. Прощай, милое дитя! Бог и ангелы его с тобою: да избавят они тебя от злого искушения!.. Но ты побледнела, Роза. Не дурно ли тебе от беганья и жару?

— Ничего, так, ничего... пройдет! — сказала она, щипля рукою передник свой.

Фриц глубоко вздохнул и примолвил, качая головою:

— Хорошо б, если прошло! Прощай!

Он поцеловал девушку в лоб, махнул рукою дюжему латышу и погрузился с ним в чащу леса. По приметам, которые Немой еще лучше знал Фрица, потому что ни разу не останавливался, служа уже ему вожатым, они пришли к лошадям. Здесь конюх поднял глаза к небу, чтобы благодарить его за что-то, расстегнул вьюк, положил куверт с крошками рассыпавшейся печати на прежнее место и, опять застегнув вьюк, повернул его вместе с седлом на бок лошади; потом вынул из чушки пистолет, разрядил его бывшим у него инструментом, положил его по-прежнему, высек огонь из огнива, которое имел с собою, прожег и разодрал низ чушки. Все это было делом минут пяти, не более. Лошади были напоены; из них Вульфова вручена Немому с особенными, строжайшими наставлениями. Сметливый Немой кивал только и, вдруг приняв важный вид, черкнул се-

бе пальцем по шее, как будто желая дать знать, что он отвечает за исполнение головою. По расположении таким образом плана, давно придуманного, конюх спешил отнести дорожные припасы к путешественникам нашим.

## *Глава шестая*
## ПОВЕСТЬ СЛЕПЦА

Гони природу в дверь, она влетит в окно!

*Карамзин*

Солнце едва сдвинулось с полуденной точки, палящий зной, ослабевая неприметно, был еще нестерпим. Намет, под которым отдыхал пастор, не раскрывался. Девица Рабе рассказывала Вульфу, каким образом, после двадцатилетних странствий и бед, наградилась верная и нелицемерная любовь *Светлейшей Аргениды*, и вдруг, остановившись, начала прислушиваться.

— Что вы, сестрица? — спросил цейгмейстер.

— Голоса человеческие! — отвечала она. — С адзельской стороны.

— Милости просим, оттуда некому быть, кроме приятелей. Впрочем, я ничего не слышу. Не обманул ли вас ветерок? Правда, теперь и до моего уха что-то коснулось.

В самом деле, сначала невнятно долетал до слуха смешанный говор, как ропот ветерка в листах, потом стал яснее и громче, и, наконец, показались по тропе из Адзеля два человека, медленно по ней шедших. Наружность их возбудила внимание девицы Рабе. Это были слепец и черноволосый. Последний держал в правой руке круглую шляпу, между тем как другая рука служила спутнику вожатаем и опорой. Он с видимым терпением укорачивал шаги свои, соразмеряя их с ходом старца. Ящик и складной стул были прикреплены на спине его широкими ремнями, которые крестом перехватывали грудь и застегивались напереди двумя медными пряжками. Сверху стула висела еще небольшая котомка. Поравнявшись с девицею Рабе и Вульфом, он приветливо им поклонился. Воспитанница пастора попросила жениха своего пригласить странников закусить с ними, чтобы не упустить случая, как она

говорила, сделать удовольствие ее воспитателю. Вместо ответа цейгмейстер спешил перехватить путникам дорогу.

— Добрые люди! — произнес он, обратившись к ним. — Вам жарко теперь идти. Не хотите ли отдохнуть с нами и разделить нашу походную трапезу?

— Благодарю вас, господин офицер, за себя и моего товарища! — отвечал младший путник. — Мы поднялись недавно и хотели только пробраться через рощу, чтобы на конце ее присесть. С удовольствием принимаем радушное предложение ваше и прекрасной госпожи, которой, как я заметил, вы посланник. Товарищ! — продолжал он с нежной заботливостью, обратившись к слепцу. — Мы пойдем теперь без дороги; берегись оступиться.

Слепец, крепко прижавшись к руке своего проводника, побрел еще медленнее. Нетерпеливая девушка спешила к ним навстречу, подхватила старика за руку с другой стороны и провела его к месту своего отдыха, приговаривая между тем:

— Сюда, сюда, дедушка, на эти подушки; тебе здесь будет покойнее.

— Голос... точно знакомый! — сказал встревоженный слепец, прислушиваясь к речам девицы Рабе, как будто стараясь припомнить, где он его слышал. — Голос ангела! Куда бы не пошел я за ним? Сяду и буду делать, что тебе угодно. Господь да пошлет тебе свое благословение и да возвеличит род твой, как возвеличил род Сарры и Ревекки!

Товарищ его осторожно снял ношу свою, приставил ее к дереву, молча поклонился еще раз Вульфу и невесте его. Все общество расположилось, по удобности или по вкусу, кто на подушках из кареты, кто на мураве. Слепец, сидя на двух подушках, возвышался над всеми целою головою: казалось, старость председала в совете красоты и мужества.

— Откуда вы, добрые люди? — спросила Рабе.

— Мы не знаем, откуда и куда идем, — отвечал слепец, — а придем, куда всем, царю и селянину, бедному и богатому, назначена общая гостиница.

— Мы просто странники, — подхватил черноволосый, — идем из Адзеля в Менцен, оттуда проберемся, куда глаза взглянут и сердце позовет.

— Чем же вы живете? — спросила опять девица Рабе.

— Искусством нашим, — отвечал черноволосый. — Я играю на гуслях, товарищ мой на скрипке и поет.

— Попав на эту бедную землю, — продолжал слепец, — все мы живем для того, чтобы дожить; но выполнить этого не можем, не нося тяготы один другого. Он помогает слепцу ходить; мы друг друга утешаем беседою и дружбой; оба, по возможности нашей, доставляем другим удовольствие и за это награждены. Такова в мире в разных видах круговая порука!

— О, да ты и мудрец, как я вижу! — возразил цейгмейстер.

— Много чести, господин! Бродя по белому свету, видев много людей, изучая природу, можно кое-чему научиться. Впрочем, в великой книге того, кто един премудр, мы читаем еще по указке.

— Ваша родина? — спросила девушка.

— Обоим нам родина Швеция, — отвечал слепец.

Капитан пожал руку старика так, что он поморщился, и воскликнул:

— Камарады-соотечественники! не одного ли поля ягоды?

— Я из Торнео, а товарищ мой из Выборга.

— Мое же гнездо судьба свила почти на перепутье этих мест, именно в Абове. Я центр, как вы видите, а вы, фланги мои, отныне должны поступить ко мне в команду, и потому...

— Прошу заранее уволить нас от этой чести. Один, дряхлый, будет отставать, другой, может быть, погорячится и уйдет вперед, и ваша линия расстроится.

— Доннерветтер! он рассуждает, как старый капитан. Ваше имя и прозвание?

— Мы люди простые, и потому нас просто зовут: меня Конрадом из Торнео, его Вольдемаром из Выборга. Думаю, что этими именами потребуют нас в день последнего суда; разве там прибавят к ним, по делам нашим, новые прозвания!

— Не в лесу же выросли вы, как дождевики! Верно, были у вас отец и мать? Кто твои, молодец?

— Я родителей моих не знал, — отвечал Вольдемар, — впрочем, повесть сиротства, бедности и нужд не может быть занимательна ни для воина, который все это почитает вздором, ни для прекрасной госпожи, начинающей только жить.

— Но ты много странствовал, много видел? — про-

должал вопрошать цейгмейстер таким тоном, каким член комиссии военного суда отбирает по пунктам отзывы от своего подсудимого.

— Я и теперь под чужим небом; видел людей, которые везде одинаковы, — возразил младший музыкант, неплодовитый на ответы и приметно несклонный к откровенности. Голос его в этом возражении отзывался какою-то раздражительностью характера, несогласною с наружностью смиренного странника.

— Ответ короток и убедителен, как приклад часового, поставленного у поста, куда одни избранные, с паролем, имеют право входить. Дозволь, по крайней мере, спросить тебя, камрад: давно ли ты оставил Швецию?

— Лет... если не ошибаюсь... десяток.

— Столько, сколько греки осаждали Трою! Вероятно, сильное время, походы, удары неприятельские стерли с орудия шведского надпись, где оно вылито, и прочее и прочее. Я разумею, что время, странствия, несчастья твои, Вольдемар, могли истребить отечество из памяти и сердца. Ты молчишь? Да, отечество.

До сих пор Вольдемар сидел, несколько согнувшись, опустив голову на грудь; пасмурное лицо его выражало глубокую задумчивость, из которой выводил его только сильный голос вопрошателя, способный, кажется, разбудить и мертвых от сна; иногда улыбка бродила по бледным устам его; однако ж видно было, что приличие выдавливало ее на них без согласия сердечного или лукавство приправляло ее насмешкою своей. При повторенном слове «*отечество*» вся сила души его вылилась наружу, как будто в этом роковом слове заключалась единственная власть, могущая приводить ее в движение. Он затрепетал; глаза его засверкали, как мрачная туча образдившею ее молниею; лицо его, доселе помертвевшее, оживилось пробежавшим по нем румянцем; стан его распрямился; изгладились следы бедствий с лица его и заменились печатью возвышенных чувств.

— Отечество?.. Помню ли я его? люблю ль его?.. — произнес странник, и, несмотря, что голос его дрожал, он казался грозным вызовом тому, кто осмелился бы оскорбить его сомнением в любви к родине. Но вдруг, будто испугавшись, что высказал слишком много, он погрузился опять в то мрачное состояние, из которого магическое слово вывело его.

— Труба военная не красноречивее твоего голоса протрубила бы атаку перед рядами неприятельскими! — воскликнул цейгмейстер и потрепал дружески Вольдемара по плечу. — Этому коню не нужно давать шпор: видно, какой он породы. Ни слова более! — я тебя понимаю. Но добрых сынов отечества, кроме любви к нему, должно воспламенять другое, столь же святое чувство: любовь и преданность к государю. Правда, ты оставил благословенное северное царство, когда молодой государь твой не вступал еще на престол, и ты, вероятно, в странствиях своих не успел узнать и полюбить его.

— Это правда! Меня... не было тогда в... Швеции, — отвечал младший странник, несколько смутившись и потупив глаза, которыми боялся, может быть, встретиться со взорами его собеседников, чтобы они не прочли в них исповеди его помышлений. Потом, оправившись несколько, он продолжал довольно твердо: — Люблю государя своего, как могу. Чего хотеть возвышенного и постоянного от странника? Впрочем, вы не исповедник, я перед вами не кающийся грешник и не обязан давать вам отчета в делах своих, еще менее в своих чувствах. Придет, может быть, время, вы узнаете меня короче.

— Я не имею права атаковать приятельскую фортецию, где заперлась твоя тайна! — с усмешкою произнес Вульф и начал ломать голову насчет таинственного странника.

— Всякий человек есть загадка, — возразил слепец. — Добрая госпожа! мне послышалось, вы о чем-то спрашивали меня. Мы, люди старые, тугоньки на ухо.

— Нет, дедушка, — отвечала Катерина Рабе, бывшая доселе внимательною слушательницей разговора, которым жених ее завладел, и теперь обрадованная, что ей давали случай быть участницей в беседе. — Я не спрашивала, хотела бы спросить: правда ли, что на родине твоей среди лета солнце не садится, а среди зимы не бывает дня?

— Правда! Там горнило божиих чудес. Край этот очень, очень далеко отсюда.

— Как же ты, слепой, сюда зашел?

— Перст провидения указал мне друга, и он довел меня сюда. Юность любопытна; вижу, от нее не скоро отделаешься простыми ответами.

— Да, не скоро, дедушка! — примолвила собеседница с лукавой откровенностью.

— Вам хочется, добрая госпожа, узнать повесть моей жизни. Не всякому ее рассказываю; но — не знаю, почему я полюбил вас так скоро, — от вас не утаю ее.

— Расскажи, пожалуй, расскажи, мой хороший, мой добренький старинушка!

— Слушайте ж. Я родился там, как вы сказали, где среди лета солнце, не отдыхая, совершает путь свой, где несколько зимних дней — круглая ночь, как для слепца все дни жизни его. Отец мой, бедный ремесленник, жил в деревушке близ Торнео, он выделывал кожи диких зверей; матери я никогда не видал. Я был у него один как перст. Природа странно создала меня: в те лета, когда другие рвут играючи цветы на лугу жизни, я бегал детских игр, я уж задумывался и, тревожимый непонятным чувством, искал чего-то, сам не зная чего. Отроку, дома мне было тесно, мне было душно. В прогулках своих я не любил ходить по спокойным пробитым дорогам; нет, я старался быть там, где следа человеческого не видано, кроме моего, куда можно было пройти с опасением упасть и погибнуть или с радостною надеждой быть там первым. Как векша, вскарабкивался я нередко на один любимый утес мой, выдавшийся в море. По целым часам сиживал я на скале. С нее взорами скользил я по необозримой равнине вод, спокойных и гладких, словно стекло, то любовался, как волны, сначала едва приметные, рябели, вздымались чешуей или перекатывались, подобно нити жемчужного ожерелья; как они, встревоженные, кипели от ярости, потом, в виде стаи морских чудовищ, гнались друг за другом, отрясая белые космы свои, и, наконец, росли выше и выше, наподобие великанов, стремились ко мне со стоном и ревом, ширялись в блестящих ризах своих. Казалось, хотели они обхватить меня своими объятиями, которых холод я уже ощущал, и, ударяясь об утес, ропотно исчезали. От домашней трапезы убегал я смотреть на радужную игру северного сияния. Когда другие спали крепким сном, в полуночные часы спешил я украдкой, с трепетом сердечным, как на условленное свидание любви, проводить утомленное солнце в раковинный дворец его на дно моря и опять в то же мгновение встретить его, освеженное волнами, в новой красоте начинающее путь

свой среди розовых облаков утра. Сколько раз в тиши осеннего вечера, один под открытым небом, усеянным звездными очами, освещенным великолепным ночником мира, терялся я умом и сердцем в неизмерности этой пустыни, исполненной величия и благости творца! В эти дивные, таинственные мгновения никто не мешал мне беседовать с моим богом. Я забывал тогда дом, деревню, отца — все, что только знавал от рождения; мне казалось — я был один в свете, я сбросил с себя в прах земную оболочку: мне было так легко, так сладостно... Изъяснить это никто не может; чувствовать же можно только во дни отрочества, когда демон страстей не разочаровал еще нашей жизни. Со слезами на глазах засыпал я там, где заставали меня эти часы блаженства неземного. На другой день встревоженный отец, следя полуночника по мхам и кустарникам, находил меня спящим под открытым небом. Хищные звери могли бы съесть меня! За мои побеги я был строго наказываем.

— И поделом! — примолвил Вульф. — Лучше было помогать отцу работой и молиться дома, чем шататься, как сумасбродный, куда глаза глядят, без цели и пользы. Ты, верно, скоро исправился?

— Вы не отгадали, господин, я никогда не исправлялся, как лоза тростниковая, которую можно гнуть, втоптать в землю, исторгнуть с корнем, а не переломить. Отец мой думал по-вашему; так же рассуждали соседы наши, говоря: «Прежде, нежели на этом малом пуков десять розог не переломаешь, из него ничего доброго не выйдет». Они не знали, и вы, господин, не знаете, как трудно побеждать сильные врожденные склонности; вам неизвестна эта жажда удовлетворять им, эта грусть, рождающаяся от препятствий. Запрещаемое сделалось для меня еще привлекательнее: так бывает обыкновенно. Через несколько времени все, что я видел великого, ужасного, прекрасного в мире, все, что теснилось в грудь мою, я хотел высказать, но высказать не простым разговорным языком; нет, по своенравному, странному характеру своему, я хотел это выполнить каким-то особенным, размеренным языком, о котором дал мне понятие один английский купец, приезжавший каждое лето в Торнео и оттуда заходивший всегда в нашу деревушку для покупки кож. Он полюбил меня, узнав мою склонность к поэзии, как он говорил; давал отцу моему хорошие барыши, чтобы он не

наказывал меня за своевольство; нередко, в прогулках своих, брал меня с собою и читал мне что-то из книги. Он называл ее «*Потерянный рай*». Я ничего не понимал, но мне было приятно, очень приятно его слушать; не зная языка, мог я, однако ж, с помощью слуха сказать ему, что он читал: песни ли ангелов, у престола всевышнего поющих ему хвалу чистого сердца, или безумный ропот беснующихся на творца своего, бунтующий ад или красные, райские дни. Я мог, согласно понижению или возвышению голоса, разделять ударами руки моей какую-то правильную меру. Часто говорил я сам с собою, читал вслух создания восторженной души, повторял их и выучивал на память. Наконец, для меня не довольно было, что картины, мною изображаемые, казались мне живыми сколками с природы; не довольно было, что я сам наслаждался ими: я желал, чтобы и другие чувствовали все красоты их, чтобы они их хвалили. Когда я прочел на память одно из своих произведений отцу моему, он назвал меня сумасшедшим и с угрозами посадил за работу; когда я прочел его одноземцам своим, они покачали головою и молча со страхом отошли от меня, как от чумного. С нетерпением ожидал я лета. Оно пришло, и с ним явился англичанин, который один разумел меня. Услышав мои поэтические видения, как он называл их, он обнял меня крепко и, поцеловав в голову, сказал: «Ты — поэт! в Лондоне, в Стокгольме поняли бы тебя». Он присовокупил, что там выучился бы я писать и передавать бумаге творения свои так, чтобы они не умирали. Многое, очень многое говорил он мне тогда, чего теперь не припомню. С того времени слова его беспрестанно отзывались в моем сердце; они не давали мне покоя и во сне. «Ты — поэт!» — твердил мне беспрестанно какой-то демон. Я не выдержал, я бежал из дому родительского и направил путь мой в Стокгольм. Мне было двадцать лет. Много странствовал я, много терпел нужды и, за чем пошел, того не нашел. Как бродягу, в Рангедале остановили меня и записали в солдаты.

— Порядочная холодильня для стихотворного жара! — прервал речь его цейгмейстер. — Зато с этого времени повесть твоя начнет разогреваться воспоминанием солдатской жизни. Признаюсь, старик, люблю слушать рассказы изувеченного солдата о трудных походах, любимых полководцах, жарких сражениях. Полки движутся, делятся, строятся; стрелки вперед — как бе-

сенята, перекидываются мячиками; дуру-бабушку с костылей долой: мигнул ей глазом — паф! и заколыхалась колонна неприятельская. Весело сердцу артиллерийскому! Летучие сметили проказы старушки и понеслись докончить палашом, что начала пушка: поле, как мост понтонный, стонет и, кажется, — зыблется от топота конницы: врезались, смяли, сокрушили, и — наша взяла! Виват! Здесь все жизнь, все движение! Вот что я люблю послушать, доннерветтер! Вот тогда-то я ушами вижу, сердцем слышу! А что мне до мяуканья, с кашлем пополам, ваших стихотворов на козьих ножках:

Фиялочка прелестна!
Почто в лесу цветешь?

или:

Она сидит, она глядит...

и с места ни шагу!

— Иному талант, иному другой, — возразил слепец с некоторой досадой. — Привычка — вторая природа. Сколько ни стучи по натянутому на барабане пузырю, он ничего не издает, кроме однообразных звуков, прошу не погневаться.

— Старик! — вскричал Вульф, как порох, вспыхнувший от гнева. Он хотел что-то присовокупить, но девица Рабе убедительно посмотрела на него, и слова замерли на его устах.

— Оставьте меня слушать занимательную повесть старика, — сказала она, кивая цейгмейстеру, — он для меня ее рассказывает.

— Уж конечно, не для солдата! — примолвил слепец с сердцем. — На чем, бишь, мы остановились? Да, помню, помню! Волей или неволей дал я присягу шведскому королю служить ему. Казармы, стук ружей, приказы грозного капрала, военные эволюции, а иногда и экзекуции пробудили меня от сладкого сновидения. Воображение мое угасло, сердце одеревенело. Земля представилась мне смрадною глыбой; страсти, подобно гадам, выползали из нор своих и окружили меня; кандалы моего существования влачились по пятам моим. С лишком восемь лет был я под ружьем. Начальники называли меня бестолковым солдатом, товарищи — тюленем. Я искал утешений. В часы досуга я выучился играть на скрипке у органиста одной из

церквей упсальских, где полк наш стоял гарнизоном. Он же был моим учителем чтения. Первая книга, которую я уразумел, была псалтырь. Горячие слезы, капавшие на эту книгу, исполняли душу мою высшим наслаждением; с ними я обрел опять моего бога. Время искуса прошло, и я, за слабостью зрения, получил отставку. Стряхнув у городского порога всю нечистоту неволи, я полетел на родину. Но как там все переменилось! Вместо дома отца я нашел его могилу. Можете судить, что я, неблагодарный, безрассудный сын, чувствовал, припав на нее! Виновник смерти отца, думал я, куда мне было обратиться? Я хотел видеть предметы, некогда мне любезные; и что ж: море показалось мне обширным гробом; над любимым моим утесом вились вещие враны, в ожидании, что приветливая волна подарит им для снеди остатки того, что был человек; черные, угрюмые тучи застилали от меня звездное небо; стон ветра нашептывал мне проклятия отца. Я спешил удалиться от этих ужасных мест. Долго скитался я по селам; товарищ, столько же верный, как и горе, скрипка доставляла мне пропитание, песни божественные — утешение. Томимый жаждою познаний, я возвратился, свободный, туда, где жил поневоле. Сначала определен я при Упсальском университете привратником, потом, долго ли, скоро ли, сделался в нем студентом. Смейтесь, господин офицер! вы видите перед собою упсальского студента богословия и поэзии!.. Мне ль оскорбляться вашим смехом — и об Нем, чудясь, спрашивали: откуда Ему сие?.. Неужели вы никогда не читали в писании: камень, который отвергли зиждущие, тот самый сделался главою угла? От господа сие соделалось, и есть дивно в очах ваших?.. В университете любил меня особенно один профессор, Томас Бир...

— Извините меня, господин цейгмейстер и вы, фрейлейн! — сказал Фриц, подкравшийся к собеседникам и начинавший раскладывать разные блюда с закускою, на дорогу запасенною.

— Ты нас испугал, Фриц! — прервала его девица Рабе.

— Виноват! — продолжал кучер с лицом светлым, как полный месяц в морозную ночь, потирая себе ладонями по груди, будто у него что-нибудь тяжелое отходило от сердца.

— Я обрадовался, что вижу людей живых в этой

долине; между тем услышал о Бире и хотел спросить: не сын ли его наш Адам?

— Сумасшедший, как отец его! — возразил цейгмейстер. — Тот смотрел все на небо, предвещал конец мира и едва ли не уморил себя и свое семейство в богадельне; этот все смотрит под ногами и болтает беспрестанно об усовершении рода человеческого!

— Пускай это говорят те, которые сами не видят далее ядра, пущенного наторелым бомбардиром! — воскликнул слепец с негодованием. — Да, я знаю Адама; он любил меня, как родного, когда я был еще привратником. Отец его прикрыл наготу моего ума и души крылом серафима. Божий человек! Он был добр, яко голубь, и мудр, яко змий. Ему дано было свыше уразуметь таинства природы, слагать слова из великих букв ее, начертанных перстом всемогущего на небесах, на каждой былинке и камне, во взорах, на челе и руках смертного. И это называете безумием вы, слепотствующие очами душевными, вы, которые боитесь оторвать от праха звено, приковывающее к нему дух ваш? Персть и в персти погрязли. Злых зле погубит их, и виноград предаст иным делателям, иже воздадят ему плоды во времена своя.

Грудь слепца сильно волновалась; негодование перехватывало слова его; также и Вульф едва удерживал свою досаду. Вольдемар, положив руку на колено старика, ласково прервал его речь:

— Друг! ты забыл о своей повести.

— Скоро конец ее! я это знаю... Да... помню, помню... я сделался болен. Неизвестно мне, долго ли страдал я, куда девался мой благодетель, сын его, что со мною было; известно мне только, что после моей болезни я ослеп. Поверите ли, добрая госпожа, с того времени я весь обновился: казалось, спало с меня проклятие отца и с ним бремя жизни; возвратились ко мне первые дни моей юности и с ними все, что меня обворожало. Слепой, я прозрел. Не одни картины прежнего знакомого мне моря, любимого утеса, северного сияния и неба, прекрасного ночного неба во всем его великолепии, со всею божьею благодатью, обстают меня: часто представляются мне такие дивные видения, за которые цари заплатили бы грудами золота. Вскоре провидение даровало мне новое благо. Вольдемар нашел меня, где — не знаю; он так же, как и чудные видения мои, не покидает слепца. Я свободен,

счастлив. Чего мне желать более? Когда же вечный воззовет меня к себе, последняя молитва моя, чтобы в минуты смерти просияло надо мною прежнее, знакомое небо моей юности и рука единственного земного друга захватила на сердце последнюю искру жизни, этот последний завет ему любви моей. Товарищ! где ты? дай мне руку свою.

Так кончил слепец повествование свое, и высохшая рука его крепко сжала руку вождя и друга.

## *Глава седьмая*
## ВИДЕНИЕ

Что прежде сбылося, что будет вперед,
О чем ты замыслил и что тебя ждет,
Все знаю!..

*Подолинский*

Девица Рабе слушала Конрада из Торнео с видимым участием; неоднократно, в продолжение рассказа, слезы навертывались на глазах ее. Она выразила свою благодарность с таким добросердечием, к тому же в звуках ее голоса было для слепца столько могущественного, что он не раскаивался в откровенности своей...

Цейгмейстер думал: «Недаром этого чудака на родине его называли безумным — в жизни его не вижу ничего рассудительного, основательного».

Прекрасная спутница изъявила желание посмотреть на гусли, ею никогда не виданные, и Вольдемар спешил удовлетворить любопытство ее, не только раскрыв их, но и объяснив их устройство. Внимание рассматривавших этот инструмент привлекла также раскрашенная картинка, приклеенная ко внутренней стороне крыши. На ней грубо изображены были несколько густых дерев, посреди которых сидел в гнезде урод необыкновенной величины: он надувался и выпускал из огромного рта воздух наподобие снопа лучей. Против него гордо выезжал на борзом коне рыцарь, устремив на противника стрелу по натянутому луку. Под картинкою начертано было строк до двадцати на неизвестном для наших наблюдателей языке.

— Ба, ба, ба! — вскричал Вульф. — Если б не борода, я принял бы молодца на дереве за майора тра-

бантского его королевского величества полку, Фейергрока, когда он из-за батареи стаканов и бутылок пускает в подступающих к нему фузеи табачного дыма. Смерть на пуховике, если я лгу! Расскажи-ка, любезный, что изображается на этой картинке и что за тарабарщина написана под нею?

— Картина взята из русской сказки «*Илья Муромец*», — отвечал Вольдемар. — Храбрый, великодушный рыцарь, защитник родной земли, стариков, детей, женщин — всего, что имеет нужду в опоре храброго, едет сразиться с разбойником, которого называют *Соловьем*; этот Соловей, сидя в дремучем лесу на девяти дубах, одним посвистом убивает всякого, на кого только устремляет свое потешное орудие. Под картинкою русские стихи.

— Откуда ж шведу могло достаться это малеванье? — спросил цейгмейстер.

— Несколько лет тому назад я сам был в России.

— В Московии, хочешь ты сказать? Ах, это очень любопытно, — подхватила с живостью собеседница.

— Я пошатался и по России, — чего не делает нужда! — прожил несколько лет в резиденции царя, в Москве, научился там играть на гуслях и языку русскому у одного школьника из духовного звания, по-нашему — студента теологии, который любил меня, как брата, и, когда я собрался в Швецию, подарил мне на память этот ящик вместе с картиною, как теперь видите. С того времени берегу драгоценный дар московского приятеля. О! чего не напоминает он мне!

— Поэтому Московия не совсем варварская страна, как ее описывают, вероятно, неприятели ее? — спросила девица Рабе. — Поэтому и там любят искусства?

— Начинают любить, — отвечал гуслист. — Царь Алексей Михайлович и его сын Федор уж много сделали для просвещения России. Другой сын его... он враг Швеции: я не смею говорить об нем.

— Почему ж, мне кажется, не хвалить хорошего и в неприятеле? Батюшка рассказывал мне, что Петр — великий государь, достойный поравняться с нашим Карлом. Имел ли ты когда-нибудь счастье, добрый странник, видеть его?

При этом вопросе Вульф насупил густые брови. Вольдемар, приметно смутившись, отвечал:

— Да... я его видал. Наружность героя и царя в

полном смысле! Взгляд его... ах! этого взгляда никогда не забуду!

— Странник! — возразил цейгмейстер с обыкновенным жаром и необыкновенным красноречием. — Ты говоришь о геройстве и величии царей по чувству страха к ним, а не благородного удивления. Всякий говорил бы так на твоем месте, встретив в первый раз грозного владыку народа. Простительно тебе так судить в твоем быту. (Вольдемар с усмешкой негодования взглянул на оратора, как бы хотел сказать: «Не уступлю тебе в высокости чувств и суждений!» — и молчал.) — Вульф продолжал свою речь:

— Ты не смотрел в очи северному льву; ты не видел Карла в ту минуту, когда он, по колена в воде, вступал на берега Дании, встреченный тучею пуль неприятельских и с жадностью прислушиваясь к свисту их. «Отныне шум этот будет моею любимою музыкой!» — сказал двадцатилетний герой, и голубые глаза его воспламенились в первый раз огнем мужества, которое с того времени не потухало; лицо его вспыхнуло первым желанием победы и осенилось первою думою о способах побеждать. Я слышал эти слова, я видел этот взгляд, поймал на лице его выражение души великой и, признаюсь, доннерветтер, за эти минуты готов бы целую жизнь мою держать стремя у Карла. С воспоминанием о них умру сладко. Да! пока мысль может ловить эти минуты, русский не возьмет ни одной батареи, на которой я буду! Клянусь в том концом шпаги Карла XII. Вульф не отдастся живым в плен, и мертвеца с этим именем не соберут остатков на поругание его.

Все слушали цейгмейстера с особенным вниманием. За речью его последовала минута молчания, как после жаркой перестрелки настает в утомленных рядах мгновенная тишина. Каждый из собеседников имел особенную причину молчать, или потому, что красноречие высоких чувств, какого бы роду ни были они, налагает дань и на самую неприязнь, или потому, что никто из противников военного оратора не мог откровенно изъяснить свои чувства. Вульфу, после краткого отдыха, предоставлена была честь первого выстрела.

— Виват! — воскликнул он торжественным голосом. — Моя канонада оглушила вас до того, что вы стали в тупик и забыли спросить, о чем проповедует мой Фейергрок с высоты своей лиственной кафедры. Прочи

тайте-ка нам, любезный камрад, русские стихи, написанные под картиною.

— С удовольствием, храбрый и любезный капитан! — отвечал Вольдемар и начал читать стихи:

Наезжал Илья на девяти дубах,
И наехал он Соловья того,
И заслышал тут разбойник сей
Того ли топу конинова
И тоя ли поездки богатырския;
Засвистал он по-соловьиному,
А в другой зашипел по-змеиному,
А в третий зарявкал по-звериному —
Под Ильею конь окарачился...
Вынимает он калену стрелу
И стреляет Соловья-разбойника...

— Как мне нравится этот язык! — сказала девица Рабе. — Попрошу господина пастора, чтобы он выучил меня ему.

— Может быть, придет время, что вы станете учиться русскому языку; может быть, лифляндцы...

— Лифляндцы? никогда! — прервал с досадою Вульф. — Ты забыл, швед, что страна здешняя находится под владычеством непобедимого Карла. Скорей повесит он свои шпоры к большому колоколу московскому и заставит его говорить на своем языке, чем лифляндцы будут вынуждены когда-либо знать по-русски. Предоставим одной сестрице моей Рабе учиться варварскому наречию у всезнающего нашего Глика, именно для того, что я не люблю русских дикарей, или потому, что она с некоторого времени имеет особенное пристрастие к Алексеевичу.

— Шутите сколько угодно, братец Вульф, а я в своем пристрастии тверда, — возразила Катерина Рабе. — Уважаю, боюсь даже Карла, героя, победителя, с его голубыми глазами, блистающим умом военным, которого у него никто не отнимает; но люблю Алексеевича, зандамского плотника, солдата в своей потешной роте, путешественника, собирающего отовсюду познания, чтобы обогатить ими свое государство; люблю его, несмотря, что он неприятель моего короля... Может быть, я это говорю потому, что мне это натвердил и крепко внушил мой благодетель. Впрочем, что может суждение бедной, неизвестной сироты на весах, где лежат окровавленные шпаги?

Девица Рабе произнесла эти слова с особенным се-

рдечным волнением: взоры ее блистали необыкновенным огнем, щеки ее горели.

— Вот какими бреднями опутал голову моей сестрицы велемудрый господин пастор! — воскликнул цейгмейстер, пожимая плечами. — Безмолвствую перед ней... но ты, швед? — продолжал он, обратившись к младшему страннику с видом упрека.

— Не принимайте слов моих в худом смысле, господин офицер. Верьте, что никто более меня не желает долгоденственной славы моему отечеству. Я хотел сказать, что два великие народа...

— Два великие народа? Гм! Видно, свои и чужие согласились бесить меня... — возразил цейгмейстер. — Однако ж продолжай, продолжай. Хочу выпить горькую чашу до дна.

— Шведы с русскими могут помириться; тогда произойдут большие перемены в здешнем краю; торговые, дружеские сношения скрепят союз лифляндцев с соседями их; тогда, может быть, эта прекрасная госпожа захочет съездить во Псков, в Москву.

— Что ей там? чего там смотреть: не Соловья ль разбойника?.. Скорей она поедет в Стокгольм.

— Неисповедимы пути господни! — произнес слепец. — Кто знает, какой путь написан ей в книге судеб.

— Ей, Катерине Рабе, написано быть за шведским офицером. Катерине Рабе, приемышу пастора Глика, кажется, не бесчестно идти за королевско-шведского цейгмейстера. Понимаете ли вы, странники? — вскричал Вульф раздраженным голосом, который испугал даже невесту его.

Слепец, казалось, не слыхал этих восклицаний; схватив дрожащую руку девушки, он забылся в каком-то внутреннем созерцании; незрящие очи его горели; наконец, возвысив вдохновенный голос, как бы прозирая в небе:

— Вижу, — сказал он, — вижу: из сумрака выступает дева, любимица небес; голова ее поникнута, взоры опущены долу, волосы падают небрежно по открытым плечам; рдянец стыдливости, играя по щекам ее, спорит с румянцем зари утренней, засветившей восток. Встает алмазная гора, дивною рукой иссеченная. Оступилась дева на первой ступени, еще ночною тенью одетой, смиренно преклоняет колено — и вздох, тяжелый вздох, вылетает из груди ее. Вскоре, обновленная жиз-

нью неземной, встает и шествует далее, не поднимая очей своих. Еще четыре ступени, и готов алтарь... и розовый венец обвивает ее прекрасное чело. Старец совершает над нею дивное таинство. Взоры ее уже не опущены долу, волосы искусно подобраны назад. Изумленная, она озирается кругом: она не верит своему счастью, но уже его ощущает. Еще четыре ступени — и розовый венец сменен алмазною короною...

— Сумасшедший! Ха, ха, ха!

— Смейся!.. я тебе говорю: *на деве*, которую я видел, *лежит корона*! Эта рука мне знакомая. Я смотрел ее некогда у десятилетней девочки в Роопе, в пятый день апреля.

— В Роопе?.. Я там живала... — сказала испуганная и вместе изумленная девица Рабе, потирая себя пальцами по лбу, как бы развивая в памяти прошедшее. — Пятое апреля день моего рождения...

Между тем и Вольдемар обратил на нее свои проницательные взоры; он, казалось, узнавал в ней давнишнюю знакомую.

— Не припомните ли, — спросил он ее, — двух странников, похожих на нас? Один был помоложе меня, другой такой же слепец, как и товарищ мой. Может статься, что вы их видели лет восемь назад?

— Да, точно, припоминаю, как будто сквозь туман, — отвечала девушка, понемногу ободряясь, — странники были похожи на вас; они тогда зашли на двор к господину пастору Дауту, у которого я жила в услужении.

— Смиряяй себя вознесется! — воскликнул слепец.

— Подле меня стояла большая датская собака, которая напугала прохожих.

— Я вздрогнул от ужасного лая собаки; такого еще никогда не слыхивал: мне показалось, что буря заревела, сорвавшись с цепи своей. Невольно прижался я к руке своего молодого товарища.

— Тогда, — промолвил Вольдемар, — прекрасная малютка, — как теперь вижу, — приняв гневный вид и грозя пальчиками своими, повелительным голосом закричала на собаку: «Смотри, Плутон, берегись, Плутон!»

— Точно! у нас была собака этого имени, — сказала девица Рабе, покраснев.

— И лай собаки затих, как замирает буря на голос повелителя стихий!

— Грозное животное, — прибавил младший путник, — легло с покорностью у ног своей маленькой госпожи, махая униженно хвостом. Тогда-то слепой мой друг захотел увидеть поближе дитя; он взял ее за руку и осязал долго эту руку. Тут закричала на нее хозяйка дома, грозясь... даже побить ее за то, что впустила побродяг. Товарищ мой, сам прикрикнув на пасторшу, сказал то же, что он теперь говорил вам, держа вашу руку.

— Бедные! вас тогда выгнали за меня со двора и не дали вам даже напиться.

Вульф, молча, с коварною усмешкой слушал этот разговор обоих странников с девицею Рабе и вдруг разразился каким-то диким, принужденным смехом, но вскоре, одумавшись, просил у нее прощения, просил даже прощения у Конрада из Торнео. «В самом деле, над кем смеяться мне? на кого мне сердиться? — говорил он про себя. — Одна — женщина, другой — убогий, сумасшедший старик!» Катерина заметила ему только, что громким смехом своим мог он разбудить пастора. В самом деле, приметно было по движению колебавшегося зеленого намета, что Глик просыпался. Гуслист, предупрежденный догадливою собеседницей о соседстве его, посмотрев сначала на Фрица, тихо условился о чем-то с товарищем, подал слепцу скрипицу, поставил свой музыкальный ящик на складной стул, и пальцы его запрыгали по струнам. Звуки возвышенные, трогательные звуки раздались по роще. Слепец, вторя ему на скрипке, дрожащим тенором с особенным чувством запел под музыку своего товарища псалом: «*Господь пастырь мой, я не буду в скудости*». Невольно присоединила к ним голос свой девица Рабе, сначала изумленная и обрадованная нечаянным подарком музыкантов. (Надобно заметить, что в мариенбургской кирке приятный и возвышенный голос ее господствовал над многочисленным хором прихожан.) Вульф поникнул головой; сам Фриц забылся на время и, казалось, молился. Пастор, как бы обвороженный, остался неподвижно в том самом положении, в каком застал его первый стих божественного песнопения. Несколько мгновений после того, как звуки умолкли, он начал протирать себе глаза и не знал, верить ли ушам своим: ему казалось, что все это слышал он во сне.

— Папахен! тебе нездорово так долго спать, — сказал ему знакомый голос и вывел его из этого обвороже-

ния. Воспитанница объяснила ему всю тайну концерта, составленного так неожиданно; рассказала ему о старинном знакомстве своем, ныне подновленном, о занимательной повести слепца, об участии, которое оба странника так сильно возбуждали к себе, хотя один из них казался несколько помешанным в уме; и, предупредив таким образом своего воспитателя в их пользу, она спешила свести их вместе.

Пастор скоро полюбил поэтического старца и таинственного его спутника. Он терялся в различных догадках насчет последнего, тем более что странническому состоянию его изменяла благородная наружность вместе с возвышенностью мыслей и чувств, по временам блиставших из кратких ответов его, как золотая монета в суме нищего. Вольдемар был неразговорчив, и, когда примечал, что с ним хотят сблизиться откровенностью и ласками, что любопытство искало слабой стороны, куда могло бы проникнуть до тайны его жизни, он облекал себя двойною броней угрюмости и лаконизма. Догадливый товарищ его в затруднительных случаях приходил к нему на помощь речениями из Священного писания и поэтическими видениями.

Гусли были снова открыты и рассмотрены. Картина возбудила в пасторе смех; однако ж он находил в ней нравственный смысл, добирался источников ее в северном мифе и доказывал, что Московия имела свой век рыцарства; но чего он не открыл, так это внутреннее убеждение, что странное изображение Ильи Муромца и Соловья-разбойника имело отношение к единоборству двух современных, высших особ. Музыкальный инструмент сравнивал он с арфой или с *коклей* [1], положенной в ящик; полагал, что можно бы употребить его в церквах вместо органов и что играющий на одном из этих инструментов может скоро выучиться и на другом. Тотчас блеснула в сердце его счастливая мысль: «Органист мариенбургский стар и давно просится на покой — вот удобный случай заместить его молодым музыкантом! Сверх того Вольдемар будет ему хорошим помощником для усовершенствования его в русском языке. Слепца можно пристроить в богадельню». Все это скоро придумано, и предложение сделано. Конрад ничего не отве-

[1] *Кокля* — музыкальный инструмент, бывший в употреблении у лифляндцев в древние времена.

чал; он предоставлял товарищу говорить за себя и за него самого. Вольдемар и не ожидал его ответа: от имени обоих благодарил он пастора, обещал воспользоваться великодушными предложениями только для того, чтобы посетить его и побывать в Мариенбурге на короткий срок; присовокупил, что странническая жизнь, может быть унизительная в глазах света, не менее того сделалась их потребностью, что оседлость, вероятно, покажется им ограничением их свободы, всегда для человека тягостным, и что поэтический, причудливый характер друга его, которому было тесно и душно в доме родительском, не потерпит на себе и легких цепей единообразной жизни богадельни. Эти причины, и особенно привязанность его к старцу, не позволяли ему ни за какие блага расстаться с ним и оставить его снова одного в пустыне мира. Вольдемар повторил еще, что непременно скоро постараются они быть в Мариенбурге и посетить дом благословения божия: так называл он жилище Глика. Молчал слепец; но приметно было, что улыбка душевного удовольствия пробегала по устам его. Он другого ответа и не ожидал от своего товарища. Глику никогда не нравилась странническая жизнь, под каким бы видом она ни была; несмотря на это и на отказ новых знакомцев, не охладела в нем надежда пристроить их со временем около себя, продлив их пребывание в Мариенбурге всем, что могло принесть им утешение и спокойствие, заставить их полюбить семейную жизнь и таким образом сделать ручными этих гордых зверей северных лесов.

Полдник давно ожидал путешественников; он состоял из домашнего сыра, лоснящейся от копоти рыбы и пирога с курицею и яйцами, румяного, хорошо начиненного. Пастор прочитал вслух приличную случаю молитву; каждый про себя повторил ее в глубоком благоговении. После того расположились все в кружок около походной трапезы. Девица Рабе села возле слепца, которому взялась сама прислуживать. Отведавши бледного сыра, принялись за пирог, более приманчивый; сделать в нем брешь предоставлено было артиллеристу, вооруженному столь же храбрым аппетитом, как и духом; другие, уже по следам его, побрели смелее в пролом и докончили разрушение пирога. Так в малом и большом ведется на свете!

Когда дело дошло до копченых язей, пастор принял-

ся рассказывать, что эта рыба ловится только в Эмбахе, близ Дерпта.

— Некогда, — сказал он, — смиренные братья аббатства Фалкенаусского, основанного близ берегов Эмбаха первым епископом дерптским, Германом, накормили язями итальянского прелата, присланного от папы для исследования нужд монастырских, напоили monsignore [1] пивом, в котором вместо хмеля был положен *багульник* [2]. Вдобавок они свели его в жарко натопленную комнату, в которой — о ужас! — поддавали беспрестанно водою на горячие камни, секли себя немилосердно пуками лоз и, наконец, окачивались холодною, из прорубей водою. Вследствие несварения желудка своего от язей и пива с багульником прелат заключил, что монастырь крайне беден, а вследствие банных эволюций, напугавших его, приписал в донесении своем святейшему отцу следующее восклицание: «Великий боже! уж сие-то монастырское правило слишком жестоко и неслыханно между людьми!» Из этой исторической драгоценности наш пастор выводил свое заключение, что лифляндские природные жители переняли обыкновение париться в банях от русских, во времена владычества великих князей над Ливониею. От слова «*владычество*» быть бы опять раздору между археологом и Вульфом, когда б на этот раз не случилось необыкновенного происшествия, опрокинувшего все вверх дном в уме наших путешественников.

Не в дальнем от них расстоянии, к стороне, где стояли карета и лошади, послышался выстрел.

— Что бы это значило? — говорили, смотря друг на друга, встревоженные собеседники, кроме Вульфа, которого первое дело было взяться за карабин, а второе — бежать в ту сторону, откуда раздался выстрел. За ним последовал Вольдемар, также осмелился вздуть полегоньку свои паруса Фриц, доселе внимательный слушатель всего, что говорено было, и усерднейший прислужник хозяевам и гостям. Пастор со своею воспитанницей остался на твердой земле. Ему вспало на ум, что небольшой отряд русских фуражиров перебрался в Долину мертвецов и напал на баронессиных лошадей.

---

[1] его преосвященство *(ит.)*.

[2] Очень горькое и вредное растение: ledum palustre. См.: *Etat de la Livonie*, par le S. de Bray («Государство Ливонии» де Брейя).

Он спешил сам вторгнуться в арсенал своей памяти и начал опрометью рыться в нем, чтобы найти приличное оружие, если не для отражения неприятеля, по крайней мере, для убеждения и смягчения его сердца; то есть он собирал разбросанные в памяти своей русские сильнейшие выражения, какие только знал. Из них составил бы он речь ex abrupto [1], которая могла бы в несчастном случае так сильно подействовать над ожесточенными неприятелями, что они должны бы признать себя побежденными и преклонить грозные оружия к ногам оратора, как трофеи его красноречия.

Выстрелы не повторялись; все было тихо. Конечно, Марс не вынимал еще грозного меча из ножен? не скрылся ли он в засаде, чтобы лучше напасть на важную добычу свою? не хочет ли, вместо железа или огня, употребить силки татарские? Впрочем, пора бы уж чему-нибудь оказаться! — и оказалось. Послышались голоса, но это были голоса приятельские, именно цейгмейстеров и Фрицев. Первый сердился, кричал и даже грозился выколотить душу из тела бедного возничего; второй оправдывался, просил помилования и звал на помощь.

— Несчастный погибает! Чего доброго ожидать от этого бешеного пушкаря? — сказал Глик; для вернейшей диверсии позвал свою воспитанницу с собою и, оставив слепца одного на месте отдыха, поспешил с нею в долину, чтобы в случае нужды не допустить завязавшегося, по-видимому, дела до настоящего побоища. Спустившись с холма, увидели они следующее: цейгмейстер, с глазами, налитыми кровью, с посинелыми губами, кипя гневом, вцепился в камзол кучера, который, стоя перед ним на коленях, трясся, как в лихорадке. Между тем Арлекин и Зефирка, вытянувшись, мчались по лугу из стороны в другую; уши их прилегли назад, грива их поднялась, как взмахнутое крыло. Тощего Вульфова коня не было видно.

— Куда девалась моя лошадь? — вопил в бешенстве цейгмейстер, немилосердно тормоша своего пленника. — Почему не смотрел ты за нею? Говори, или ты отжил свой век — ложись живой в землю!

— По... поми... лосердуйте, господин барон фон... господин полковник... господин цейгмейстер!.. — про-

---

[1] без подготовки, импровизированную (*лат.*).

износил жалобно Фриц. — Уф! я задыхаюсь... отнимите немного вашу ручку... я ничем не виноват, вы видели сами: я прислуживал вам же. Отпустите душу на покаяние.

— Стыдно, Вульф! где у вас Минерва? — сказал пастор, с неудовольствием качая головою. — Чем терзать бедного служителя баронессы Зегевольд, который не обязан сторожить вашего Буцефала, не лучше ли поискать его? Пожалуй, вы и меня возьмете скоро в свою команду и заставите караулить целую шведскую кавалерию! Я требую, чтобы вы сию минуту отпустили Фрица, или мы навеки расстаемся.

— Сюда, сюда! — закричал Вольдемар, стоя на *высоте креста* и махая рукой, которою вместе указывал, чтобы перебрались через речку и подошли к боку горы, как будто обрезанной заступом. Этот зов остановил роковое слово, которое готово было вылететь из уст взбешенного цейгмейстера и, может быть, навсегда бы разрушило дружеские связи его с пастором и его воспитанницей. Шведский медведь выпустил из лап бедную жертву свою и гигантскими стопами поспешил туда, куда указывал музыкант. Здесь увидел он свою лошадь, но в каком жалком положении! Едва поддерживали ее на краю утеса несколько кустов различных деревьев, в которых она запуталась и при малейшем движении своем качалась на воздухе, как в люльке; под нею, на площадке, оставшейся между речкою и утесом, лежало несколько отломков глинистой земли, упавших с высоты, с которой, по-видимому, и бедное животное катилось, столкнутое какою-нибудь нечистою силой. Конь дрожал и по временам взвизгивал. Пробравшись к нему, с опасностью упасть самому, Вульф, при ловкой и бесстрашной помощи сошедшего к нему же Вольдемара, выпутал лошадь из когтей сатанинских.

— Один лукавый мог ее так угораздить, — говорил последний.

Когда седло с прибором и вьюком, перевернутые и спутанные на ней, были сняты, увидели они, что чушка была прожжена и курок у одного пистолета спущен — свидетельство, что слышанный выстрел произошел из этого оружия, вероятно, разряженного сильным трением лошади о что-нибудь твердое, и был причиною испуга ее, занесшего ее так далеко и в такие сети. Первым делом цейгмейстера было расстегнуть вьюк и осмотреть куверт: печать была сломлена; крошки ее тут же

находились; но самый куверт был невредим — и последнее успокоило его. Пакет был уже положен в камзол с величайшею осмотрительностью. На лошади следами этого происшествия остались только небольшие царапины, а в ней самой страх к *высоте креста*, ибо не было возможности заставить ее пройти в долину этим путем; и потому принуждены были провести ее сосновым лесом, по отлогости горы. Дорогой Вульф и музыкант сделались откровеннее друг к другу до того, что последний, объяснив ему причины его сурового молчания при людях посторонних и, может быть, ненадежных, показал ему какую-то бумагу за подписанием генерала Шлиппенбаха. В ней, между прочим, заключалась важная тайна, касающаяся до лица самого Вольдемара. Вульф был в восторге, обнимал шведа, честью своею клялся хранить эту тайну на дне сердечного колодезя и действовать с ним единодушно. Возвратясь в долину, новые приятели остались в прежнем холодном отношении друг к другу.

— Беда еще не велика! — сказал Вульф, подавая руку пастору в знак примирения. — Но ваш гнев почитаю истинным для себя несчастьем, тем бо́льшим, что я его заслуживаю. Мне представилась только важность бумаги, положенной мною во вьюк, — промолвил он вполголоса, отведя Глика в сторону. — Если б вы знали, какие последствия может навлечь за собою открытие тайны, в ней похороненной! Честь моя, обеспечение Мариенбурга, слава шведского имени заключаются в ней. После этого судите, мой добрый господин пастор...

— То-то и есть, Вульф, — отвечал пастор, склонившись уже на мир, ему предлагаемый с такой честью для него, — почему еще в Мариенбурге не положить пакета в боковой карман мундира вашего? Своя голова болит, чужую не лечат. Признайтесь, что вы нынешний день заклялись вести войну с Минервой.

— Не упрекайте меня так много. Я вам скажу причину, — шепнул ему на ухо цейгмейстер, несколько покраснев. — Вот видите... худо быть без хозяйки!.. в боковом кармане затаились, вероятно, какие-нибудь крошки... давнишних солдатских сухарей, и проклятые мыши прогрызли его... Я хватился ныне, хотел зашить хоть сам, но стыдился Фрица, который, как вы знаете, ночевал у меня по тесноте вашего дома и который, на беду, беспрестанно около меня вертелся с услугами своими. Вы спешили, и потому, не ожидая таких по-

следствий, вынужден я был положить куверт во вьюк. Впрочем, скажу опять, беда не велика! бумага писана моей рукой и только подписана комендантом; генерал меня хорошо знает, и подозрений никаких быть не может.

— Все хорошо; да посоветоваться бы с Минервой не худо! Вот я, например, на такие дела крайне осторожен. Со мной теперь тетрадка... о! она стоит вашего куверта: в ней заключается благо целой Лифляндии; именно это адрес королю... Берегу его как зеницу ока. Вы не можете поверить, сколько я должен был рыться в старых фолиантах; сколько законов вызвал я из мрака древности и заставил пройти мимо себя один за одним, как вы солдат своих на специальном смотру! Здесь ничего не пропущено; каждая петелька и крючочек на своем месте. Здесь изложены привилегии архиепископа Фомы, короля Сигизмунда-Августа, Радзивилла, резолюция королевы Христины и прочие и прочие постановления об утверждении прав лифляндского рыцарства и земства: все так выведено, сведено и прилажено, что если его величество, король шведский и *иных*, Карл XII, прочитав этот адрес, не соблаговолит снизойти на усерднейшие моления верноподданных своих и *сего* адреса, то...

Произнеся слово «*сего*», пастор засунул правую руку в левый боковой карман своего кафтана и, не найдя в нем бумаги, которую туда положил, вдруг остановился среди речи своей и среди дороги, как будто язык его прильнул к небу, а ноги приросли к земле.

— Что с вами сделалось, господин пастор? вы побледнели, вам дурно?

— Так! ничего, совершенно ничего!.. Маленький удар в голову!.. Вот уже и прошел.

Глик, в самом деле, старался прийти в себя и, боясь быть пристыженным цейгмейстером в том самом проступке, в котором его ж сам обвинял, скрыл причину своего замешательства. «Вероятно, — думал он, — когда я дремал дорогой, адрес выпал из бокового кармана. Тот, кто его найдет, ничего с ним не сделает без согласия лифляндского дворянства. Тетрадь вложена исправно в пакет, на котором ясно означено, кто посессор этой бумаги. Но если нашедший воспользуется моими трудами? сыщет случай?.. Я его предупрежу непремен-

но, во что бы то ни стало! К счастью, у меня остался другой экземпляр».

Этот разговор был прерван докладом кучера, что все готово к отъезду с проклятого перепутья.

— Правда, Фриц, несчастного перепутья! — отвечал со вздохом пастор, увидев, что цейгмейстер от него ускользнул.

— Разве и с вами что-нибудь случилось, как с моим крестным отцом? — сказал Фриц с видом изумления.

— Нет, Фриц, ничего; так, совершенно ничего! Не поднимал ли ты, однако ж, бумаги? так, пустячной, ничего не стоящей бумажонки?

— Не поднимал и не видал, господин пастор! Вы знаете, я читать не умею.

— Ни слова никому об этом, Фриц! Бросим в сторону этот вздор, и с богом в путь! Аминь!

— Знаешь ли, папахен? — прервала его заботливую речь девица Рабе, потихоньку подступив к нему. — Я хочу пригласить музыкантов ко дню рождения моей доброй Луизы и обрадовать ее нечаянным концертом. Лучшим подарить мне ее нечем. О! как изумит ее моя музыка! ты увидишь, как я все устрою.

Глик легко согласился сделать удовольствие своей воспитаннице, предоставив ей самой труд убедить музыкантов к путешествию в Гельмет. Легко склонились слепец и молодой товарищ его на просьбу доброй девушки, тем скорее, что они давно желали, как говорили они, побывать в поместье баронессы Зегевольд и что им приятно будет показать свое искусство на большом пиру разыгранием какой-нибудь важной штуки.

Солнце удалялось от полудня; лучи его уже косвеннее падали на землю; тень дерев росла неприметно, и жар ослабевал. Все расстались друзьями. Карета, запряженная рыжими лошадками, тронулась; и опять, по правую сторону ее, на высоком, тощем коне медленно двигался высокий офицер, будто вылитый вместе с ним.

— Добрая, прекрасная девица! — сказал Вольдемар, проводив глазами экипаж и конного спутника. — Не знаю, с кем ее сравнить. София, правда, была некогда прекраснее ее.

— Неужели София была так хороша, как ты об ней рассказываешь? — спросил слепец.

С этими словами музыканты поплелись по тропе, извивающейся в роще, из которой они пришли.

## *Глава осьмая*
## ЗАМОК ГЕЛЬМЕТ

Чванкина
Так знают во дворце об нас?
Полист
Не только знают,
Но и по комнате о вас лишь рассуждают.

*Комедия «Хвастун», Княжнин*

На замки Лифляндии смотришь еще, как на представителей феодального ее быта, дикого и романического. Это ветераны некогда знаменитого и более не существующего войска, ветераны, изувеченные, отдающие уже дань времени и засыпающие сном вечным на изломанных трофеях своих. Они имели также *свое* великое время. Разбудите их, вопросите с терпением и уважением, должным их techинам и заслугам, — и они, в красноречивом лепете младенческой старости, расскажут вам чудеса о давно *былом*; и гигантские тени их полководцев, прислушавшись из праха к словам *чести* и *красоты*, встанут перед вами грозные, залитые с ног до головы железом, готовые при малейшем сомнении о величии их, бросить вам гремящую рукавицу, на коей видны еще брызги запекшейся крови их врагов.

Чего не расскажет один замок Гельмет? Видишь только развалины; но как они доселе красноречивы! Забываешь даже, что небо служит им покрышею, а украшениями — растущие по ним пихта, рябина и береза. Кажется, и ныне отдаются по залам тяжелые стопы грозного основателя его, Юргена фон Айхштедта [1]; сквозь железную решетку косящатого окна мелькает белоатласная ручка и передает девиз победы или смерти молодому рыцарю, стоящему в овраге под смиренною одеждой пилигрима. Кажется, слышишь из отверстия подземной тюрьмы вздох орденмейстера Иоганна фон Ферзена, засаженного в ней по подозрению в сношении с русскими [2]; видишь под стенами замка храброго воеводу, князя Александра Оболенского, решающегося лучше умереть, чем отступить от них [3], и в окружных холмах доискиваешься его праха; видишь, как гер-

---

[1] 1265 года.
[2] 1472 года.
[3] 1502 года.

цог Иоган финляндский, среди многочисленных своих вассалов, отсчитав полякам лежащие на столе сто двадцать пять тысяч талеров, запивает в серебряном бокале приобретение Гельмета и других окружных поместий [1]. Передо мною проходят, как фантасмагорические явления, рыцари, епископы, русские, поляки, шведы, то осаждающие замок, то обладатели его, то геройские мученики своих победителей. Сколько приключений, ужасных, чудных, романических, разбросано на обломках Гельмета, на этих лоскутах давно прерванной летописи!

Местоположение Гельмета [2] — одно из приятнейших в Лифляндии: им одушевлялись кисть, резец, перо и лира; сотни путешественников, оставив на песчаниковых (de grès) сводах его гротов имена свои, хотели высказать, что *и они были в Аркадии*. Действительно сделала его маленьким эдемом бывшая обладательница Гельмета, госпожа Герсдорф, умевшая, со вкусом и любовью к изящному, сочетать искусство и природу. Ныне это поместье на *аренде*, довольно этого слова, чтобы выразить его невыгодное во всем изменение. Несмотря на то, и ныне любуешься по нескольку раз красотами этих мест; прощаясь с ними, хотел бы еще раз на них взглянуть.

Не ищите здесь видов обширных, в которых бы взоры и сердце рассеивались: прекрасное все здесь вместе; кажется, для Гельмета страна кругом обижена природою. Разве иногда мельком, сквозь уголок, сбереженный догадливым искусством, представляется вам возвышенная даль. Лучший вид, без сомнения, от господского дома, с краю оврага, изрытого кругом замка. Живописные развалины последнего стоят на бугристом, высоком холму. Правая сторона замка более других уцелела: длинную стену, неровно зазубренную временем, поддерживают две четвероугольные башни, еще бодро выступающие вперед на грудистых насыпях. Остаток свода от одной из этих башен, так сказать, на волоску держится. С другой стороны время было наибо-

---

[1] 1562 года.

[2] Гельмет находится от Дерпта к юго-западу в шестидесяти пяти верстах; поворот на него с Рижской дороги от Рингена или, проехав от станции Куйкац, несколько верст вправо. Последняя дорога тем приятнее, что на перепутье находится Пекгоф, где среди мрачного леса сооружен великолепный памятник фельдмаршалу Барклаю де Толли.

лее неумолимо, как бы нарочно для того, чтобы поразнообразить красоты развалин: здесь везде следы, оставленные борьбой времени с делом рук человеческих. В одном месте лежит обломок, будто брошенный на бегу огромный щит; в другом — возвышается неровною пирамидой; далее целая стена, понемногу клонясь, оперлась на другую, более твердую, как дряхлеющая старость облокачивается на родственного мужа; инде обломок, упав с высоты, покатился по холму и вдруг, отряхнувшись, твердо выпрямился в середине его и утвердился на ней. Кругом оврага обстают холмы, выступают мысы и разливаются в разных направлениях хребты небольших гор. Влево, на двух холмах, на которых зелень так ровна, как будто они облиты ею, стоят, в близком друг от друга расстоянии, красивые березовые рощицы, образующие между собою раму для одного из прелестнейших видов. На площади обширного поля представ ляются деревенька, развалины старой гельметской кирки, немного вправо — новая кирка и в небольшом отдалении — дикие и неровные берега речки, с могилами русских, падших в войну за обладание Лифляндией. Ближе речка эта разлилась озером, потом, сдержанная скатертью феллинской дороги и плотиною, суживается в ручей, пробирается под мостиком; с беспрерывным ропотом на свою неволю падает, будто из урны, серебряною струей, рассыпается о камни, наконец, заиграв на свободе, в извилинах теряется между дикими кустарниками и спешит соединиться в саду с ручьем Тарвастом. Вправо, между холмами, вид более стеснен и более протянут: разнотенные возвышения одно за другим полосятся, будто неровные бразды вспаханной нивы. Обойдите развалины замка: какие очаровательные места и виды представятся вам! С восточной стороны взгляните с высоты вниз, и перед вами — глубокий, мрачный овраг, заросший деревьями, которые, будучи лишены солнечного света, растут почти безлиственные. Тут же поднимите взоры ваши, и вас приветствуют из-за десятков верст сизые горы Оденпе. Обойдите сад, и на каждом шагу готов прелестный ландшафт, достойный кисти Клода Лорреня, и убежище, в котором Руссо хотел бы жить и умереть. Пригорки, холмы, долины открыты и затаены под сенью рощ. Ручей Тарваст то сердито прорывается пенистыми нитями между огромными камнями, то падает стекловидным порогом, то скачет с шумом по мелким камешкам. Мостики образованы

из повалившихся через ручей деревьев или искусством накинуты. Цветники, разбросанные купы дерев, гроты, утесы, подземный ход; за садом — озеро с прекрасным островком и приманчивою для диких птиц осокою, заставляющею даже их забывать, что их обманывает искусство; мельница со своим шумным водопадом; поля, испещренные рощицами, жнивами и деревеньками, — все это, повторяю, делает из Гельмета настоящий рай земной.

Господский дом стоял в начале XVIII столетия на том самом месте, где он стоит ныне, именно против развалин замка, разделенный с ними обширным двором и обращенный главным фасом в поле, и вообще построен был без большого уважения к архитектуре, по вечно однообразному плану немецких сельских и городских домов. Перемена, которую в нем сделали успехи зодчества в Лифляндии или своенравие его обладателей, только та, что готические окошки превращены в обыкновенные четвероугольные и богатая терраса — в лестницу. Должны мы также присовокупить, что там, где стоит ныне на феллинской дороге простой мостик, был подъемный.

В то время, когда происходило действие нашего романа, замок Гельмет (так будем называть вообще мызу и поместье под этим именем) *принадлежал* баронессе Амалии Зегевольд по правам *аллодиальным* [1], утвержденным редукционною комиссией, с грехом пополам, в уважение к ее родственным связям с председателем комиссии, деспотическим графом Гастфером.

Баронесса Зегевольд — от колыбели ненаглядное дитя фортуны — была избалована слепою любовью отца и матери. Единственная наследница богатого имения, которого, по смерти их, сделалась и полною обладательницей на двадцатом году веселой прогулки по пути жизни, она испытала во все продолжение ее только одно горе, не несчастие — потерю мужа кроткого, терпеливого, смотревшего в глаза своей повелительнице и любившего ее, как идолопоклонник любит свой кумир. Баронесса, всегда окруженная роем посторонних и домашних почитателей ее ума, красоты и богатства, допустила самолюбие, тщеславие и любовь к господству возобладать над ней. В душе ее засели эти страсти, так

[1] Родонаследственным.

что все, имевшее честь принадлежать ей и находиться в зависимом к ней отношении, кряхтело под бременем их. Во цвете ее молодости ей неизвестно было, что такое любовь. Если последняя находила иногда путь к ее сердцу, то это было под личиною лести; узнав обман, Амалия так сердито выпроваживала от себя амура, что он в другой раз не смел к ней показаться. Теперь же, когда ей стукнуло за сорок лет, его самого обольщениями нельзя было приманить к ее ногам. Властолюбие сделалось единственною потребностью ее души. Но действовать волею своею на тесный круг семейства, приближенных и крестьян своих казалось ей недостаточно; дышать в воздухе этой ограниченной сферы было для нее тяжело. Ей помечталось, что она имеет столько глубокомыслия и проницательности, столько знания людей и обстоятельств, такое сильное влияние на соотечественников, что может управлять ходом политических дел Лифляндии. «Кто не умеет поставить себя выше своего звания и состояния, тот недостоин пользоваться ни тем, ни другим», — повторяла она за королевою Христиной, которую во многом взяла себе в образец, как увидим после. Следуя этому правилу, решилась она показать чудесное явление, именно — женщину-дипломатку, и занять, во что бы то ни стало, порядочную страницу в истории XVIII столетия. Хитрому Паткулю взялась она противуставить себя, перехитрить его и, как он действовал в пользу России, так же действовать и для блага Швеции. С этого времени дом баронессы сделался очагом политических мнений Лифляндии и телеграфом всех новостей, имевших влияние на страну.

Добровольно возложив на себя обязанности дипломата, Амалия Зегевольд старалась привесть в движение все тонкости, с этим званием сопряженные. Не только в отечестве своем имела она лазутчиков, но хвалилась, что имеет их даже при дворах Августа и Петра. Были люди, которые верили ей на слово, что в переписке ее с госпожою Монс, соотечественницею ее и временною любимицей Петра I, заключались известия обо всех движениях русской политики. Между тем знавшие хорошо русского государя знали так же верно, что хотя он всякой прекрасной женщине старался быть приятным, но еще ни одна из них не могла прибрать ключа к его кабинету. Не совсем доверяли также, чтобы тайная корреспонденция баронессы с графиней Кенигсмарк, известной своею красотой и властью над королем поль-

ским Августом, могла быть полезною для Лифляндии. Кажется, все эти члены женского кабинета платили друг другу фальшивою монетою. Но одною из надежнейших и сильнейших пружин, которые баронесса заставляла играть для достижения своей цели, были раскольники, убежавшие из России будто бы от гонений правительства и нашедшие себе новое отечество около Чудского озера, большею частью на землях фамилии Зегевольд или, по содействию ее, во владении ее близких знакомых. Она бросила успешно виды свои на Андрея Денисова, одного из коварнейших людей того времени в России, главу и учителя поморских раскольников. В Лифляндии находился ересиарх этот уже несколько месяцев. Пришедши из Выгорецкого *скита* [1] для соглашения споров, возникших в разных зарубежных *согласиях* [2], *и для обращения на путь истинный суетных* [3] или отпадших членов своих, он умел вызнать господствующие в баронессе страсти и, несмотря на различие вер и народности, заключить с нею против русского государя оборонительный и наступательный союз. Вести, получаемые от Андрея Денисова о внутренних делах России и даже тамошнего двора, могли быть верны, во-первых, потому, что хитрые миссионеры-старообрядцы, шатаясь беспрестанно из края в край, из одного скита в другой, не упускали на местах разведывать обо всем, что им нужно было знать, и, во-вторых, потому, что ересиарх их, давно известный честолюбивой царевне Софии Алексеевне, вел с нею тайную переписку [4]. Переводчиком в чудных сношениях Денисова с лифляндскою баронессой служил *жидовин*, находившийся в числе его учеников. По тщеславию *патриотки*, так прозвали ее наконец, можно судить, сколько она старалась различными услугами поддержать эту связь.

Дружеские ее сношения с генерал-вахтмейстером Шлиппенбахом, основанные на разных пожертвованиях в пользу шведского войска, были также скреплены политикой. В минуты сердечного излияния (надобно

---

[1] Монастырь старообрядческий.

[2] Общества раскольничьи.

[3] Не исполняющие в точности правил староверческих.

[4] Смотри «Полное историческое известие о древних стригольниках и новых раскольниках», изданное протоиереем Андреем Иоанновым, 1799, стр. 115.

знать, что и дипломаты проговариваются) открыл и он баронессе, что имеет в Лифляндии поверенного умного, тонкого, всезнающего, который, под видом доброжелательства Паткулю, ведет с ним переписку, дает ему ложные известия о состоянии шведского войска и между тем уведомляет своего настоящего доверителя о действиях русских.

— Вот как, — прибавлял Шлиппенбах, — проводим мы хитреца, играющего роль министра российского! Прихлопнем, уж прихлопнем мы его в ловушку!

Доверенную свою особу называл генерал-вахтмейстер шведом, знающим совершенно языки: природный (само собой разумеется), немецкий, латышский и русский. Швед был всячески укрыт от поисков баронессы, которая могла бы им овладеть в свою пользу. Она успела, однако ж, выведать, что этот таинственный человек был музыкант, играющий на каком-то русском инструменте, и странствует со слепцом. Нам легко узнать в этих лицах Вольдемара из Выборга и Конрада из Торнео. Таким образом расставлялись сети политике русской: бедная Россия!

Какая была награда женщине-дипломату за все труды и пожертвования ее? Слава в будущем, страничка в истории, а покуда — благодарность министра Карла XII. Пипер очищал уведомления ее в горниле опытности и благоразумия и умел извлекать граны чистого золота из пудов нечистой примеси. Не менее того оставался он признателен богатой и знатной лифляндке, жертвующей своим достоянием и трудами пользе Швеции и направлявшей умы своих соотечественников к преданности шведскому престолу. С этой стороны подвиги *патриотки* не были тщетными, и потому люди, судящие по наружности, почитали ее довольно сильною у двора шведского — двора, не существующего без политики, или, лучше сказать, находившегося там, где раскидывалась ставка Карла XII, и действовавшего по направлению его шпаги. Вероятно, и сам король не имел понятия о баронессе Зегевольд, ибо он никогда ни об одной женщине не хотел слышать.

Любопытство, праздность, лукавство, желание сделать угодное баронессе, искательство, связи дружбы и родства собирали в Гельмет многочисленное, иногда блестящее общество, которое она почитала за двор свой. К удовольствию посетителей, несмотря на различие партий, она принимала всех с равным гостеприимством,

хотя с некоторым условленным этикетом, и допускала в свой круг свободу мнений, лишь бы эта любовь не посягала на тщеславные, личные права самой владетельницы замка. Особенно старалась она завлечь в Гельмет путешественников, художников, ученых, чтобы уронить в сердца их семена благорасположения к себе и выманить от них занимательные новости о тех странах, которые они проезжали. Нередко слышала она терпеливо из уст их некоторые горькие истины насчет неблагоразумия, с каким продолжалась настоящая война, и заносчивости молодого венценосного победителя — слушала и продолжала делать свое.

Мы сказали, что она во многом взяла себе в образец Христину. В самом деле, многие характерические приемы королевы шведской перешли в наследство к баронессе. И та и другая не любили женского общества; обе занимались литературою, покровительствовали ученым, ласкали предпочтительно иностранцев, были щедры без рассудительности и, между нами сказать, не думали о благе своих подданных; обе не только в своих поступках, но и в одежде вывешивали странности характера своего и, назло природе, старались показать себя более мужчинами, нежели женщинами.

Как пристали к баронессе темный галстучек, амазонское платье à la reine de Suède [1], отважная верховая езда по следам гончих, ученые словопрения с профессорами и даже чернильные пятна на пальчиках ее и манжетах! Настоящая Христина! — так говорили ее поклонники; а последних было у ней довольно, потому что желание владычествовать и *обязывать* заставляли ее быть великодушною, очень часто к собственному вреду.

Просьба ученого, особенно иностранца, намеки знатного родственника, человека значительного, о нуждах своих, искушение казаться тем, чем она в самом деле не была, прославиться высокими свойствами души, которых она не имела, развязывали ее кошелек, закрывая ей глаза насчет домашних обстоятельств. У себя со своими она была деспот настоящий: *Я* покрывало и собственные ее пользы и благо вверенных ей провидением крестьян. О состоянии последних *патриотка* не хотела знать.

— Они должны в точности выполнять положенное

---

[1] как у королевы Швеции *(фр.)*.

на них, — говорила властолюбивая помещица. — Я даю им раза два-три в год праздники, шью невестам нарядные платья, женихам — цветные кафтаны; страх как бы хотела преобразить моих латышей и чухон в швейцарцев, но упрямцы останутся вечно латышами и чухонцами. Не мне чета, Стефан Баторий хотел улучшить их состояние, но принужден же был согласиться оставить их, как они есть, чтоб не было им хуже!.. Что ж более и мне для них делать? Все прочее поручаю моим управителям, которым плачу хорошие деньги именно за то, чтобы избавляли меня от скучных обязанностей экономки и сношений с этим необразованным, грубым народом.

Взвесив эти рассуждения, можно судить, каково было состояние крестьян баронессиных. Доходы не умножались, хозяйство не спорилось; и хотя амтман Шнурбаух уверял, что финансы ее приходят день ото дня в лучшее состояние, что все подвластное ей благословляет и прославляет ее, но худо покрытые избы, хлеб пополам с мякиною и бедная, нечистая одежда поселян ее вернее сказывали истину. Надо заметить, что лифляндские помещики тогдашнего времени не одушевлялись еще тем благородным, высоким ко благу человечества стремлением, какое видели мы, к чести их, в современную нам эпоху.

## *Глава девятая*
## ДОМОЧАДЦЫ

Всех, всех давайте нам на сцену.

*Аноним*

Баронесса имела единственную дочь. Луиза душевными качествами не походила на мать свою. Казалось, природа хотела недостатки первой вознаградить достоинствами другой. Несмотря на странности данного Луизе воспитания, которым желали удивить современников (в наш век нет уже ничего удивительного), ибо с преподаванием языков шведского, французского и даже латинского учили ее не только стряпать, но и жать рожь; несмотря на то, что с малолетства ее заставляли твердить ролю богатой наследницы, она оттолкнула от себя все обольщения самолюбия. Кротостью и смирени-

ем ангельским, всегдашнею готовностью помогать несчастным, приветливым обхождением с низшими она часто заставляла подвластных баронессе забывать всю тяжесть ее господства. Как гостеприимная пальма в степи, она заслонила собою жгущие лучи гордого светила. Любовью ко всему доброму и высокому напитана была душа ее. Характер ее был создан, чтобы составлять счастье других; но в нем же заметна была степень чувствительности, опасная для нее самой. Доселе трогали ее одни бедствия ближних, которым она и поспешала на помощь без всяких вычислений ума. Надо было ожидать, что Луиза, с сердцем, приготовленным для нежных впечатлений, узнав другую любовь, кроме сострадания к ближним, предастся этому чувству, как простодушное дитя, и увлечется им с тем постоянством и силою страсти, которые отличают ее пол и выбирают из него своих несчастных жертв чаще, нежели из другой половины рода человеческого.

Мать Луизы, быв счастлива супружеством по расчету своих родителей, одолженная также спокойствием и удовольствиями жизни богатому состоянию, хотела доставить и дочери те же блага. По одинакому ж расчету Луизе, с девятилетнего возраста, назначен в супруги барон Адольф фон Траутфеттер, мальчик, старее ее тремя годами. Дядя по матери его, барон Балдуин Фюренгоф, один из богатейших лифляндских помещиков, был человек удивительный: он умел выбивать из копейки рубль комическою скупостью, необыкновенными ростовыми оборотами и вечными процессами, и успел еще при владении небольшим имением, доставшимся ему от матери, составить себе значительный капитал. Сверх того, чтобы переполнить его казнохранилище, случилось, к изумлению всей Лифляндии, что отец, отрешивший было его от наследства за беспутство и жадность к деньгам, вдруг неожиданно перед смертью уничтожил свое прежнее завещание, сделанное в пользу двух дочерей, и оставил Балдуину, по новому уже завещанию, родовое и благоприобретенное имение, за некоторым малым исключением в пользу сестер его. Балдуин Фюренгоф одолжен был баронессе утверждением за ним редукционною комиссией имения. С ним-то и тщеславная дипломатка, и пастор Глик, всегда подававший свой голос там, где шло дело об устроении чьей-либо будущности, составили некогда совет. В нем положили, для общего благосостояния, соединить законными уза-

ми Луизу и Адольфа, как скоро первой наступит семнадцать лет, а второму двадцать. Чтобы ни одна сторона не могла нарушить это положение, оно утверждено было законным актом: только смерть невесты или жениха освобождала ту или другую сторону от обязательства. С выполнением его Адольф должен был вступить во владение половинной части дядина имения, а по смерти Фюренгофа пользоваться всем, чем этот владел правдой и неправдой. Надо объяснить, что из фамилии Траутфеттеров оставались в Лифляндии только Адольф и двоюродный брат его Густав, двумя годами его старший. Матери их были родные сестры и, как они, так и отцы их, умерли еще до 1690 года. Ближайшими родственниками их оставались Фюренгоф и Рейнгольд Паткуль. Последний, до приговора его к казни, имел об оставшихся сиротах истинно отеческое попечение. Бежав из Швеции и лишась всего имения, взятого в казну, он поручил их покровительству Фюренгофа, бывшего вместе с ним и опекуном того незначительного участка, который достался сиротам после смерти их родителей. Доходами с этого участка, ощипанного усердием скупого дяди, Адольф и Густав начали пользоваться, как скоро приняты были в военную службу.

Адольф, до вступления своего в университет, нередко гостил по нескольку месяцев в замке баронессы Зегевольд, желавшей укрепить привычкою будущий союз его с Луизой. Дети любили друг друга, как дети, долго жившие под одной кровлей и сближенные привлекательною наружностью, играми, известностью их будущности, для них непонятной, но представляемой им в приятном виде родства. Милая Луиза! Милый Адольф! — были имена, которые они давали друг другу и вырезали даже в одном из гельметских гротов. Не зная, что такое любовь, они уже ощущали ее в каком-то удовольствии быть чаще вместе. Случалось даже, что маленький жених ревновал к двоюродному брату Густаву, приезжавшему иногда, хотя гораздо реже его, гостить в Гельмете. Адольф и Луиза были везде вместе: в танцах, в играх, в прогулках трудно было разлучить эту пару голубков. Была ли больна она, нездоровилось другому; видя одного грустным, можно было догадаться, что и другой в таком же состоянии. Маменька не могла налюбоваться на эту маленькую чету. Баронессе особенно нравилось, что будущий муж был уступчив и покорен воле будущей супруги. Некоторые соседы, не ос-

лепленные пристрастием, потихоньку осуждали это слишком раннее в летах развитие чувства, которое никогда не поздно узнать. Но баронесса, обольщенная мыслью, что дочка будет обладательницей огромного имения, предвидела одно ее величие и благополучие. Фюренгоф, который душевно желал бы зарыть свои сокровища в землю, чтобы они никому не доставались, объявлял между тем, что он утешается мыслью передать свое имение, нажитое многолетними трудами, сыну сестры, которую он особенно любил, и молодому человеку с хорошими надеждами. Действительно, известно было, что он терпеть не мог мать Густава за горькие истины, некогда ею сказанные, и процесс, затеянный ею по случаю оспоривания последнего отцовского завещания.

Когда Адольф принужден был отправиться в Упсальский университет доканчивать учение и начинать новую жизнь, убивать первые, чистые впечатления природы и знакомиться с тяжелыми опытами; когда нашим друзьям надо было расстаться, одиннадцатилетняя невеста и четырнадцатилетний жених обливались горькими слезами, как настоящие влюбленные. Долго не могла она забыть своего дорогого Адольфа; долго не могли истребиться из памяти и сердца студента глазки Луизы, томные, черненькие, как жучки, каштановые шелковые локоны, которыми он так часто играл пальцами своими, белые ручки ее, обвивавшие так крепко его шею при тяжком расставании, и слезы, горячие слезы его, лившиеся в то время по его щекам. Иногда профессор истории, среди красноречивого повествования о победах Александра Великого, от которых передвигался с места на место парик ученого, густые брови его колебались, подобно Юпитеровым бровям в страх земнородным, и кафедра трещала под молотом его могущей длани, — иногда, говорю я, великий педагог умильно обращался к Адольфу со следующим возгласом:

— Вижу, вижу по блестящим глазам господина Траутфеттера, что он далеко пойдет за великим полководцем.

Адольф краснел от этой похвалы, потому что огонь, горевший тогда в его глазах, зажгли не победы Александровы, но воспоминание о прогулках с Луизой по гельметскому саду. Он встречал ее в путешествиях по всем странам света, проходимым с учителем географии: свет его был там, где была милая Луиза. Она преследо-

вала его и на бастионах, которым планы чертил Адольф для математического класса. От студенческой скамьи перевели его в трабантский полк и отправили прямо в победоносную королевскую армию, не дав ему повидаться с предметом его нежных воспоминаний. На первых квартирах и даже в первых лагерях разбирал он еще *залоги дружбы*, целовал с жаром ленточку, которою некогда *милая* подпоясывалась, клочок бумажки с магическим именем *Луиза*, засохнувший цветок, ею подаренный. Но чего не делает всемогущее время и не в такие лета? Прошло два, три года, и Адольф, один из отличнейших офицеров шведской армии, молодой любимец молодого короля и героя, причисленный к свите его, кипящий отвагою и преданностью к нему, — Адольф, хотя любил изредка припоминать себе милые черты невесты, как бы виденные во сне, но ревнивая слава уже сделалась полною хозяйкой в его сердце, оставивши в нем маленький уголок для других чувств. Ветреник растерял даже залоги дружбы, для него прежде бесценные. К тому же он знал Луизу как дитя, а образ детский — не сильный проводник к сердцу двадцатилетнего пригожего воина, которому каждый побежденный городок дарит вместе с лаврами и свежие мирты. С другой стороны, Луиза, вспоминая свое прежнее обращение с женихом, начинала стыдиться детских своих нежностей. При имени Траутфеттера она краснела и показывала неудовольствие, если уже слишком красноречиво описывали ее бывалую к нему привязанность. Впрочем, они изредка вели друг с другом переписку, которую диктовала невесте мать, а жениху обязанность. Слова «*милый Адольф, милая Луиза*» заменились в письмах более холодными именами: «*любезный, любезная*». Наконец они стали помнить только *обязательство*, которое, может быть, потому не забывали, что баронесса напоминала о долге каждому из них под разными видами. Немудрено, что миг свидания мог расшевелить огонь, тлеющий под пеплом времени, и произвесть пожар, который трудно было бы затушить.

Срок, положенный для брака по расчету, наступил; но война свирепствовала во всей ее силе, и Адольф, страстно приверженный к особе и славе короля, почитал неблагодарностью, преступлением, бесчестием удалиться от милостивого лица своего монарха и победоносных его знамен. Он мог получить дозволение служить в лифляндском корпусе, но даже и этот предлог отбыть

из главной шведской армии представлялся ему каким-то постыдным бегством. Вследствие чего писал он решительно к дяде, что прежде года не может быть на своей родине. Это извещение ничего не переменило в обязательстве баронессы Зегевольд и Фюренгофа: решились ожидать терпеливо еще год и, если нужно, более. Как благоразумные кормчие, они не теряли между тем надежды, что попутный ветер скорей вздует паруса управляемого ими судна и принесет его благополучно к острову Гименея и Плутуса; простее сказать, они ожидали, что благоприятный случай доставит Адольфу возможность скорее удивить их нечаянным приездом.

Сняв очерки с матери и дочери и описав обстоятельства, в каких они находились, обрисуем и других членов придворного гельметского штата, играющих более или менее важную ролю в нашем романе. Во-первых, выступает перед нами девица Аделаида фон Горнгаузен. Она считала седьмого гермейстера Бургарда своим родоначальником и, по-видимому, упала очень низко с этого дерева; ибо от всей давнопрошедшей знатности предков удержала за собою только имя их и старый пергамент, на котором ничего разобрать нельзя было и который, будто бы, потому-то и доказывал высокий род ее. От всего же богатства гермейстерского достались ей в удел несколько гаков земли, частью под песком, частью под болотами, принятых вместе с ее особою под покровительство баронессы. Аделаида считалась demoiselle d'honneur [1] при гельметском дворе. Не только зрелая, но уж и увядающая дева, она казалась всегда сердитою, потому что некогда, а не теперь, слыла прекрасною, потому что некогда мотыльки обжигали себе крылья около ее приятностей, а ныне удалялись их, как погорелой жнивы. Она вела подробно, с математическою точностью, реестр годам своих подруг, а о своих летах умалчивала с приличною скромностью. Панегирики безбрачной жизни не мешали самой ей ожидать себе суженого с *вечною* любовью, которого вела к ней *вечная* надежда. Старое золотое время было всегдашним предметом ее разговоров. Тут являлись кстати и некстати роды знаменитых гермейстеров, кровные связи ее с магистрами и коадъюторами, высокие замки, где каждый барон был независимый государь, окруженный знатны-

---

[1] фрейлиной *(фр.)*.

ми вассалами, пригожими пажами, волшебниками-карлами, богатырями-оруженосцами и толпою благородной дворни (Hofleute). Тут выступали турниры, где красота играла первенствующее лицо, на которых брошенная перчатка любимой женщины возбуждала к подвигам скорее, нежели в начале XVIII столетия все возможные жертвы, не оправленные в золото. Она так страстно любила рыцарские романы, что за чтением их забывала общество, пищу и сон. Воображение ее настроено было этим чтением до того, что ей во сне и наяву беспрестанно мерещились карлы, волшебники, великаны и разного образа привидения. Она была и чувствительна, как цветок *недотрога*: не могла без ужаса видеть паука, кричала, когда птичка вылетала из клетки, плакала от малейшей неприятности и смеялась всякой безделице, как ребенок. Уважение связей ее с родственницею председателя редукционной комиссии и желание *протежировать* высокую отрасль седьмого лифляндского гермейстера побудили баронессу Зегевольд принять ее под свое крыло и смотреть на ее недостатки снисходительным оком. Ее берегли, как старый жетон, для редкости, а не потому, чтобы он имел ценное достоинство.

Второе лицо гельметского придворного штата был библиотекарь, Адам Бир. Отец его Томас, математик и антикварий, столько же славился ученостью своею, сколько и кабалистикой, расстроившею его рассудок до того, что он предсказывал конец мира и держал заклад с одним упсальским аптекарем, который не соглашался с ним только в годе и месяце пророчества. Чудак, уверенный в своих кабалистических выкладках, роздал свое имущество бедным и с двумя детьми умер бы, конечно, с голоду, если б его не отыскали благодеяния королевы Христины. Сын его наследовал, вместе с ученостью и умом отца, некоторые его странности — некоторые, говорю я, потому что, идя по ступеням своего века, он умел оставить позади себя те схоластические бредни и предрассудки, принадлежавшие XVII столетию. Любя науки и природу, как страстный юноша, с чувствами свежими, как жизнь, развернувшаяся в первый день творения, он чуждался большого света, в котором не находил наук, природы и себя, и потому создал для себя свой, особенный, мир, окружил себя своим обществом греков и римлян, которых был страстный поклонник. Он любил людей, как братьев, желал служить обществу своими трудами и дарованиями; но общества бе-

гал, как заразы. Воображением и сердцем Адам был в том состоянии, как одноименный ему первый человек, когда не гремели еще над ним слова: *«В поте лица снеси хлеб твой»*. Он не знал, что и насущному хлебу надобно делать *приискu*. Не говорим уже о милостях фортуны, которая давным-давно спустила повязку с одного глаза и жалует только усердных своих почитателей. Достигнувши возмужалости, он был все еще молод и неопытен сердцем, как в летах своего младенчества. Характер его можно было уподобить горному ветру, который спускается иногда в долину, но в ней никогда не удерживается. Ничего нельзя было заставить его сделать поневоле, все можно — ласкою, словами чести, уважением законов, любви к ближнему и к отечеству. Кроткий, услужливый и почтительный, пока требовали от него должного и не угнетали его, он умел даже сносить некоторые легкие оскорбления; но когда чувствовал удары, прямо направленные на доброе его имя, тогда он и сам размахивался и возвращал их без околичности, со сторицей. Белое никогда не называл он черным и черное белым, хотя требовали того собственные его выгоды и угождения людям сильным. Надо ли было молчать об угнетении — он говорил вслух и именно при тех, которые на теплых крылышках готовы были перенести его слова, как обыкновенно случается, с прибавками; надо ли было говорить о громких подвигах великих злодеев — он молчал. К довершению его портрета скажем, что он, проведя большую часть жизни в уединении, сделался застенчив, стыдлив, подобно красной девице, неловок, чужд утонченных приличий большого света и рассеян до смешного.

Этот чудак воспитывался в Упсальском университете и получил в нем кафедру по смерти отца. Но за несоблюдение будто *формы* по одному делу, а более за то, что он в избытке откровенности сказал, что университетом управляет не ректор, а ректорша, его гнали и изгнали с аттестацией человека беспокойного и ненадежного. Нужды напали на него со всех сторон: люди, не знавшие его и не принимавшие никогда на себя труда исследовать его поступки, повторяли за его *доброжелателями*, что он человек негодный. Больно было Адаму терпеть несправедливые гонения; но он не преклонил головы ни перед людьми, ни перед роком своим. Он терпел нужды, оскорбления и вражду с твердостью, истинно стоическою, находя в объятиях природы и наук

вознаграждения и утешения, ни с чем не сравненные. Судьбе угодно было исторгнуть его из бедного положения: сестра его, одна из ученейших женщин своего времени, нашла случай поместить своего брата в дом баронессы Зегевольд в должности учителя к ее дочери. Эту священную обязанность исполнил он наилучшим образом. Тщеславная обладательница Гельмета, умевшая постигнуть его познания и понять слабости, умела и сберечь его. Окончив воспитание богатой наследницы, Адам перешел в должность секретаря при баронессе. Но здесь он не годился. Частые поездки его с дипломаткой, посещения знатных домов, где он часто, от застенчивости, горел, как Монтезума на угольях, обеды, казавшиеся ему тягостнее дежурств, иногда несогласия его с баронессой в мнениях по разным предметам произвели в нем отвращение от новой должности. Сама дипломатка искала благовидного случая отказать ему от нее. Случай этот вскоре представился. Приятельница баронессина уведомляла ее, как водится, с прискорбием, о кончине шестидесятилетнего мужа своего, быв уверена, что она, по дружеским связям с нею, примет участие в ее горестной потере. Как нарочно, в то же время соседка Амалии Зегевольд извещала ее о смерти щенка знаменитой породы, которого она, по просьбе ее, достала с необыкновенными трудами и готовилась отправить к *патриотке* для отсылки известному министру шведскому, страстному охотнику до собак. Ответы, исполненные почти сходно один с другим сожаления о смерти редкого мужа и щенка с необыкновенными достоинствами, погибнувшими для света, были подписаны баронессой; но Адам, в рассеянности, улетев воображением своим за тридевять земель в тридесятое царство, перемешал куверты писем. Можно вообразить, какую суматоху наделали послания!

— Называть щенка моим мужем! — говорила одна, задыхаясь от гнева.

— Называть щенком моего мужа! Слыхана ли такая дерзость? Этого бесценного друга, ангела земного!.. — говорила другая (хотя она этого ангела при жизни терпеть не могла).

Много стоило труда баронессе помириться с приятельницами своими. Между тем секретарь уволен был от настоящей должности и определен в библиотекари гельметского замка. Здесь он был совершенно в своей сфере: мог без важных последствий ставить фолианты

вверх ногами, сближать Эпикура с Зеноном, сочетать *Квинта Курция с Амазонками из монастыря*, помещать *Награжденную пробу любви верного Белламира* между *Проповедями* и так далее, в забывчивости перемешать всю библиотеку, на приведение которой в порядок потребовалось бы целое общество библиоманов. Вместе с новою должностью Адаму дана полная свобода быть, где пожелает, и делать, что хочет. С этой эпохи почитал он себя счастливейшим из человеков.

На место его поступил секретарем к баронессе Элиас Никласзон. Не знали именно, откуда он родом, хотя выдавал он себя за немца. Иные почитали его итальянцем, другие уверяли, что он из роду, считающего своим отечеством то место, где находит для себя более денег. В самом деле, все, что особенно свойственно еврею: неутомимое терпение, пронырство, двуличность, низость и, наконец, сребролюбие, означались в Элиасе резкими чертами. Когда он имел в ком нужду, готов был в первый день своего искательства вытерпеть даже побои. На другой день он стоял уже на ступени, ближе к своей цели: если здесь он был обруган, то молчал и кланялся. На третий день он являлся в передней и дежурил в ней, не пивши и не евши с утренней зари до полуночи, несмотря на оскорбления слуг. Можно быть уверену, что к концу недели встречался он в кабинете того, в ком искал милостей, и выходил от него, получив желаемое, с гордостью набоба. В Никласзоне было два человека: внешний и внутренний. Лицо его всегда улыбалось, хотя в груди его возились адские страсти; судя по взгляду его серо-голубых глаз, приветливому, ласковому, казалось, что он воды не замутит, между тем как готовил злодейские замыслы. Черты его лица вообще были правильны, но обезображены шрамом на лбу, этим неизгладимым знаком буйной жизни. Говорили, что он получил некогда почетный рубец осколком бутылки, пущенной в него товарищем в споре за предмет, их достойный. При людях значительных он боялся прикоснуться к рюмке, не мог принимать лекарства, в котором хоть несколько капель было вина; зато в кругу задушевных, ему подобных, он исправно осушал стаканы. Разговор его был самый уступчивый и сладкий; казалось, он не находил слов для противоречия; в замену красноречие лести было в нем неистощимо. На языке носил он мед, а под языком яд. В гельметском замке он умел угодить всем, от госпожи до дворовой собачки;

один Адам Бир не терпел его и не скрывал своего отвращения. Баронесса особенно любила его за точное и усердное исполнение секретарских обязанностей, за щегольской почерк его письма и сладкий слог, угождавший всем, кому он писал, за умение питать ее самолюбие и особенно за обещание привесть к ней пленником Паткуля. Безграмотному Шнурбауху составлял он аптекарские счеты, в которых приход с расходом всегда был верен, и такие исправные, что иголки нельзя было под них подпустить; жену амтмана никогда не забывал величать госпожою фон Шнурбаух и даже дворецкому пожимал он дружески руку. Но высшие в нем достоинства, которыми покрывались все другие и с которыми можно далеко пойти в свете, были умение *выдерживать* и умение *пользоваться.* Мы должны прибавить, что он был в тесных связях с Фюренгофом и по его ходатайству попал в дом баронессин.

Остается нам взглянуть еще на парочку двуногих животных и потом запереть свой зверинец. Первый из них, амтман Шнурбаух, потому только не назывался ни возовым, ни вьючным, что ходил на двух ногах и имел образ человеческий. Он был простенек; но этот умственный недостаток вознаграждался в нем также двумя высокими качествами: *исполнительностью* и *строгостью*, которые, в некотором кругу и особенно у больших бар, выигрывают иногда более достоинств ума и сердца. Если бы приказали ему дать сто ударов, то он почел бы за преступление дать их только девяносто девять. Тот, кто платил ему деньги, мог навьючить его всякою нечистотою, неучтиво погонять его и даже заставить караулить мух, будучи уверен, что он все исполнит и снесет с подобострастием, лишь бы платили ему деньги и приговаривали притом частицу *фон.* В доказательство преданности его к особе баронессы она приводила, что он два года служил при ней из одного усердия, без всякого жалованья. Кто, однако ж, выведал его хорошо, знал, что на обманы для своей пользы он провел бы мудреца. Лишенный одного глаза взрывом пороха при учреждении фейерверка, Шнурбаух видел остальным, где было мягко упасть и сладко поесть, не хуже зрячего обоими глазами. Супруга его была столько же толста глупостью, как и *корпусом*, любила рассказывать о своих давно прошедших победах над военными, не ниже оберствахтмейстера, почитала себя еще в пышном цвете лет, хотя ей было гораздо за сорок, умела изготавливать го-

довые припасы, управлять мужем, управителем нескольких сот крестьян, и падать в обморок, когда он не давался ей вцепиться хорошенько в последние остатки его волос. Таковы были главные домочадцы гельметского двора.

## *Глава десятая*
## ОШИБКА

Душа ждала... кого-нибудь,
И дождалась... Открылись очи;
Она сказала: это он!

*Пушкин*

В один майский вечер того ж года, с которого начался наш рассказ, садились в карету, поданную к террасе гельметского господского дома, женщина зрелых лет, в амазонском платье, и за нею мужчина, лет под пятьдесят, с улыбающимся лицом, отмеченным шрамом на лбу. Это были баронесса Зегевольд и секретарь ее Никласзон. Они отправлялись по дипломатическим делам в Дерпт, откуда хотели возвратиться через двое суток. Баронесса объявила, однако ж, что если к этому сроку не явится, так это будет знаком, что она поехала в Пернов, куда ее давно приглашает университет. Бич хлопнул; карета покатилась со двора; скоро облако пыли окутало ее вдали; и все в доме оживилось, лица у всех просветлели. Толпа слуг походила на людей, выпущенных из тюрьмы: такую перемену сделало в Гельмете отсутствие властолюбивой его госпожи.

Луиза, проводив мать свою, отправилась в рощицу, на ближайший к дому холм, мимо которого пролегала феллинская дорога. Здесь предупредила ее девица Горнгаузен. Сентиментальная дева дочитывала, для большего *эффекта* вблизи развалин замка, презанимательный рыцарский роман, в котором описывались приключения двух любовников, заброшенных — один в Палестину, другой — в Лапландию и наконец с помощью карлы, астролога и волшебницы соединенных вечными узами на острове Св. Доминго. Глаза Аделаиды сверкали огнем вдохновения, щеки ее горели; временем катились по ним слезы, которые она спешила перехватить платком, чтобы сокрыть их от коварных свидетелей.

Другая спутница Луизы, домоправительница фон Шнурбаух, заняв одна целую скамейку, посреди жирных мопсов, никогда с нею не разлучных, хотела было расплодиться в повествовании о каком-то драгунском полковнике времен Христины, вышедшем за нее на дуэль, но, увидев, что ее не слушают со вниманием, должным высокому предмету, о котором говорила, она задремала и захрапела вместе с своими моськами. Для Луизы эти подруги были совершенно посторонни чувствами и образом мыслей. Умевшая ее понимать была далеко. С особенным удовольствием засмотрелась она на приятности вечера, на которые природа во всю весну не была еще так щедра. Разгоревшийся лик солнца начал склоняться на землю; около него небо подернулось розовою чешуей, а вдали по светло-голубому полю бежали в разные стороны облачка белоснежные, как стадо агнцев, рассыпавшихся около своего пастыря. Рделся гребень возвышений, между тем как тень одевала уже скат их и разрезала озеро пополам. Фас дома был облит заревом небесного пожара, стекла в окнах горели. Деревья переливались оттенками зелени, желтизны и румянца. Соловьи в разных местах сада распевали пламенные гимны любви. С кудрей черемухи теплый ветерок далеко разносил благоуханье. Вечерние мотыльки во множестве перепархивали с места на место, и рои мошек толпились в умирающих лучах солнца, спеша насладиться, может быть, остатними минутами своей дневной жизни. Все в природе, пользуясь последними его благодеяниями, радовалось и нежилось.

Облокотясь на ручку скамейки, Луиза предалась различным мечтаниям: то думала о милой Кете, то вспоминала о своем детстве, вспоминала об Адольфе, может быть, упрекала его в забвении, и — таково влияние весны! — вздохнула о своем одиночестве. В это время послышался конский топот. Вслед за тем с горы, по феллинской дороге, мелькнул кавалерист. Он ближе: можно уж заметить, что это офицер гвардейского трабантского полка, того самого, в котором служит Адольф. Кто бы это такой был? в такое время? Он дает знак сторожу у подъемного моста, чтобы его опустили. Цепи звучат; мост опущен. Статный вороной конь, испуганный шумным падением его, храпит и встает на дыбы. Луиза боится за незнакомца; но конь, покорный искусному всаднику, быстро переносит его через мост, гремящий под ним в перекатах. Офицер проезжает ми-

мо холма. Проницательные взоры осьмнадцатилетней девушки могут уж различить, что он очень недурен собой. Заметив ее, он учтиво ей кланяется, въезжает на гору, на господский двор, останавливается у террасы и слезает с лошади. Фриц принимает у незнакомца лошадь и, всмотревшись пристально в его лицо, говорит ему:

— Добро пожаловать, гость желанный!

— Кто бы это такой был? — спрашивает себя Луиза. Сердце ее необыкновенно бьется. — Маменьки нет дома: как принять без нее незнакомого мужчину?

Слуга выходит навстречу офицеру.

— Дома ли баронесса? — спрашивает последний.

— Нет, — отвечает слуга, — она уехала с час тому назад в Дерпт.

— Кто ж дома?

— Фрейлейн.

— Доложи ей, что барон Траутфеттер, приехавший из армии, просит позволения ей представиться.

Слуга, не делая дальнейших расспросов, опрометью побежал в дом искать кастеляна для доклада и дорогою, толкая встречных и поперечных, кричал как сумасшедший, что жених барышнин приехал! Тотчас по всему дому разнеслось одно эхо:

— Жених, жених барышнин приехал!

— От передней до девичьей повторялись эти слова. Вероятно, их слышал и гость. Наконец явился перед молодою госпожой своей старик дворецкий и провозгласил, как герольд, что барон Адольф фон Траутфеттер приехал из армии и желает иметь честь ей представиться. Луиза в ужасном волнении. Как с неба упал перед нею тот, кто с малолетства назначен ей в супруги, от которого зависело счастье или несчастье ее будущности, и тогда явился он, когда полагали его за тысячу верст. Домоправительница, исторгнутая необыкновенным движением из моря покоя, в которое была погружена, вскочила со стула, за нею бросились моськи с лаем. Первый предмет, ей представившийся, была Луиза, бледная как полотно.

— Что сделалось с вами, фрейлейн Зегевольд, любезная, драгоценная фрейлейн Зегевольд? Воды! Муравейного спирту! — кричала Шнурбаух, переваливая свою дородную фигуру с места на место.

Но Луиза и без посторонней помощи пришла в себя. Она отвечала дворецкому, что просит гостя пожаловать.

— Грубый, железный век! — произнесла Аделаида Горнгаузен с томным жеманством. — Любовники являются в собственном виде и еще под своим собственным именем! Фи! кастеляны о них докладывают! В былой, золотой век рыцарства, уж конечно, явился бы он в одежде странствующего монаха и несколько месяцев стал бы испытывать любовь милой ему особы. — Здесь она тяжело вздохнула, хотела продолжать и вдруг остановилась, смутившись приходом гостя, награжденного от природы необыкновенно привлекательною наружностью.

«Боже! как *она* прелестна!» — подумал Траутфеттер, встретясь с глазами Луизы. «Как *он* выгодно переменился!» — думала в свою очередь молодая хозяйка, у которой кровь от сердца быстро поднялась в щеки при первом взгляде на нее милого знакомца-жениха. Гельметские жительницы говорили про себя: «Хорошенький мальчик сделался приятнейшим мужчиною. В нем сейчас узнать можно Адольфа, хотя некоторые черты изменились. Удивительно ли? его не видали семь лет, с того времени, как он уехал из Гельмета четырнадцатилетним мальчиком». Домоправительница не совсем, однако ж, верила глазам, чтобы это был любимец ее Адольф. Казалось, у того нос был несколько более вздернут, и глаза не так черны, хотя так же живы и плутоваты, как у этого; и волосы у того были посветлее! Она хотела бы, но стыдится надеть очки: ей только под пятьдесят, а ее почтут старушкою! Но, опять, Адольф мог перемениться с того времени, как его не видали.

Милый гость говорил приятно и умно, рассказывал, что он определен в корпус Шлиппенбаха; шутя, прибавлял, что назначен со своим эскадроном быть защитником гельметского замка и что первою обязанностью почел явиться в доме, в котором с детства был обласкан и провел несколько часов, приятнейших в его жизни.

«И я помню эти часы!» — думала с удовольствием Луиза.

— Вот каковы влюбленные трабанты его величества! — говорила Шнурбаух, вполголоса и вздыхая, девице Горнгаузен. — Месяцы кажутся им часами. Ах! и я знала некогда времечко, летевшее для меня стрелою!

— Чего не могу простить этому пригожему офицеру, — произнесла шепотом сентиментальная дева, — так это холодность, с которою он явился к своей невесте! Ни коленопреклонений, ни страстных вздохов!

От него так и несет его холодным XVIII столетием. Предчувствую, что *их* любовь не будет *вечная*.

Заметно было, что Луизе не неприятен ее жених. Привлекательная его наружность, особенно глаза, которые высказывали так много и так убедительно; благородство, ум, чувство в каждом слове — все было в его пользу при сравнении его с другими мужчинами, которых она знавала. Все, что выходило из красноречивых уст его, падало на сердце Луизы, оплодотворялось и разливалось в нем. Первое впечатление над обоими сделано, и невозвратно. То, что она чувствовала к нему, не считала опасным: сердце ее повиновалось матери, слушалось обязанностей, натверженных ей с девяти лет. Любовь манила ее в храм, куда она шла с душою непорочною. Как сладостно предаваться мечтам, согласным с долгом и рассудком! Что ж чувствовал *он*?..

Мы должны открыть читателю ошибку Луизы и обитателей замка, встретивших гостя. *Он* — не Адольф, не жених ее, но двоюродный брат Адольфа, барон Густав Траутфеттер, старший его двумя годами, но схожий с ним до того, что знавшие их некоротко и видавшие их порознь принимали одного за другого. Лукавые люди не находили ничего заметить против этого редкого сходства, потому что матери их были родные сестры, также чрезвычайно похожие друг на дружку. Густав приехал из армии короля шведского в Лифляндию служить под начальством Шлиппенбаха и получил назначение командовать эскадроном драгун, расположенным близ Гельмета, в Оверлаке. Имея с собою письмо от Адольфа к баронессе Амалии Зегевольд и помня, что в малолетстве был принят в ее доме, как родной, он воспользовался первыми свободными часами, хотя уже и вечерними, чтобы скорее выполнить поручение своего двоюродного брата. Надо было, чтоб судьба, издеваясь над человеческими расчетами и планами, слишком рано затеянными, вызвала баронессу в тот же самый день из Гельмета, и, как нарочно, перед приездом Густава. Неизвестно, без умысла ли он не сказал своего имени служителю, встретившему его на террасе, или с умыслом, по случаю бывшего у него с Адольфом шуточного спора, что невеста примет за жениха постороннего человека, следственно, забыла Адольфа и перестала его любить. Густав легко заметил, за кого его принимали, и, в торжестве победы своей или, вернее, по сильному впечатлению, сделанному над ним прелестями Луизы,

вместо того, чтобы скорее обнаружить истину, старался всячески продлить ошибку, для него приятную и ни для кого не опасную — по крайней мере, так ему казалось.

Начало смеркаться. Густав, упоенный успехами первой встречи, хотел бы продлить долее свое пребывание в Гельмете; надо было, однако ж, отправляться домой.

— Маменька непременно через два дня будет назад, — сказала Луиза, прощаясь с ним, как с давнишним знакомцем своего сердца...

— Через два дня, — отвечал он, вздохнув, — буду здесь непременно.

Возвращаясь в Оверлак, Густав сбился с дороги, о которой расспросил не хуже колонновожатого, и проплутал до рассвета, как человек, одержимый куриною слепотой. Так же и в замке было что-то не по-прежнему. Домоправительница, сметливая в делах сердечных, смекнула, по какой причине Луиза необыкновенно нежно поцеловала ее, отходя в свою спальню. В минуты истинной любви всех любишь. Даже горничная заметила, что барышня до зари не могла заснуть и провозилась в постели.

На другой день в замке только и было разговоров, что о пригожем женихе; не упустили из виду, что он и с низшими был приветлив; Фрица особенно ласково благодарил за то, что подержал его лошадь, а сторожу у моста дал серебряную монету: знаки доброго, щедрого сердца! Все обитатели замка молили от души бога, чтоб он даровал будущей чете долгие лета. Видно, говорили они, за доброе сердце нашей барышни посещает ее господь своими милостями. Шнурбаух не наговорилась о достоинствах мнимого Адольфа и признавалась, перебирая трехпоколенную роспись своих поклонников, что ни одного равного ему не находила. В этом случае Луиза не сердилась на нее. И сам Бир изъявил свое желание видеть Адольфа, в детстве любившего натуральную историю, греков и римлян и потому обещавшего много доброго.

В назначенный день в замке ждали с нетерпением не баронессу, а жениха молодой госпожи. Домоправительница особенно желала ему понравиться, чтобы заслужить богатый подарок в день свадьбы, и потому, распушенная, как пава, в гродетуровый, радужного цвета, робронд, стянутая, как шестнадцатилетняя девушка,

едва двигаясь в обручах своих фижм, она поспешила предстать в этом наряде на террасу замка, откуда можно было скорее увидеть прибытие ожидаемого гостя. Казалось, что она стряхнула с себя десятка два лет; даже решилась она, по просьбе Луизы, сделать важную жертву и вытерпеть гнев баронессы, прогнав своих мосек в департамент супруга и пристроив по дальним отделениям замка сибирских и ангорских кошек, собачек постельных и охотничьих, курляндских, датских, многих других, различных достоинств, пород и краев, — весь этот зверинец баронессиных любимцев. Луиза, боясь насмешек домоправительницы, убедила ее не поминать даже словечка о детской привязанности ее к Адольфу и избавить тем ее от необходимости краснеть.

Мнимый Адольф не заставил долго ожидать себя. Он явился вскоре после обеда. Ему казалось, взглянув на Луизу, что в два дня, которые он ее не видал, развились в ней новые прелести. Глаза ее блистали приветным огнем, который третьего дня едва тлелся из-под длинных, черных ресниц; лицо ее, прежде несколько бледное, ныне оживилось румянцем здоровья и удовольствия; уста ее как будто улыбались встрече счастья и манили насладиться им. Она еще любезнее, еще доверчивее в обращении со своим женихом; в простосердечии невинной любви она только что не говорила: видишь, Адольф, несмотря на долгую разлуку, я люблю тебя по-прежнему! Густав, безрассудный Густав предавался также более и более обольщениям сердца. К несчастью их, баронесса в этот день не приезжала, и в этот день ничто не подало повода к разочарованию обмана, в который введены были все обитатели замка насчет мнимого Адольфа. Сам Бир, близорукий и рассеянный, признал его за того неутомимого мальчика, спутника своего по горам и лесам, который раз нашел ему редкое растение из рода Selinum, а в другой раз бесстрашно убил палкой змею из поколенья Coluber berus. Густав уверял, что он забыл эти услуги и подвиги, но Адам, в доказательство их, непременно обещал ему к завтрашнему дню отыскать растение в травнике своем и показать в банке змею. Бывший учитель Луизы очень полюбил мнимого Адольфа, уверяя, что сердце не обманывает его насчет нравственных достоинств жениха. Казалось, малейшая безделица, одно наименование кем-либо Густава Адольфом могло разрушить усилившую-

ся к нему любовь Луизы, как малейший ветерок разрушает карточные палаты. Но судьба сама сторожила очарованье.

Когда Густав возвращался домой, совесть пробудилась было в его сердце; но он старался заглушить ее следующими рассуждениями: «Ветреник Адольф мало думает о своей невесте. Еще перед моим отъездом наказывал он мне помолчать о своих проказах и божился, что если б не миллионы дядюшкины и не поход на следующий день, то он навсегда бы простился с гельметской Луизой, которая одиннадцати лет была для него мила, как амур, но которая теперь годится только в наперсницы какой-то Линхен, прелестной в осьмнадцать лет, как мать амуров. Ветрогон! не знает всей цены сокровища, его здесь ожидающего; он не знает, что для Луизы можно забыть и дядюшкины миллионы, и всех женщин на свете. Право, когда бы не благосостояние моего двоюродного братца и его потомства, я попытался бы отнять у него нареченную. Она так мила, что, ей-богу, недостанет сил человеческих отказаться от удовольствия быть ей приятным. Впрочем, невелика беда несколько минут попользоваться невинными правами жениха. Завтра легко будет поправить ошибку и привесть все в прежнее состояние; завтра, торжественно, при маменьке этого ангела, произнесу магическое имя *Адольф*, подам его письмо — и опять превращусь в бедного, ничтожного Густава. А теперь пусть не взыщет ветреник, если обстоятельства, не от меня зависевшие, не мною нарочно устроенные, дают мне приятный случай поторжествовать над ним и пошутить на его счет. Может быть, это плата тою же монетою за какие-нибудь старые долги. В первом письме к нему опишу свои проказы и решительно объявлю ему, чтобы он спешил насладиться счастьем, столько лет его ожидающим. А то немудрено, что сыщется другой избранник, который не шутя и не под именем Адольфа понравится его невесте». Так рассуждал Густав, утешая себя мыслью, что эта игра случая кончится завтра.

На другой день Густав опять в замке, для свидания с баронессой, и опять баронесса не приезжала. Говорили о любви. Надобно знать, что девушка, потерявшая право внушать это чувство, имеет право разбирать его сколько угодно, и потому девица Горнгаузен утверждала, что истинная любовь не может существовать без препятствий. На стороне ее был Густав, увлеченный го-

лосом сердца, которое в настоящем своем положении помирилось бы на большие пожертвования, лишь бы уверену быть во взаимности любимого предмета и не лишиться надежды когда-либо обладать им. Луиза молчала; она казалась оскорбленною. «Странные желания! — думала она. — Счастье, приготовленное благоразумными распоряжениями наших родителей, нам, улыбаясь, идет навстречу. Мы можем пользоваться им спокойно. Нет, это нам не нравится. Надобны несчастья, препятствия, страдания!.. Но... может быть... Адольф не любит меня? Недаром он задумывается так часто! Не грустит ли, что приехал исполнить свои обязанности?.. С радостью освобождаю его от этих обязанностей, если сердце в них не участвует. С радостью?.. Полно, так ли?.. Правда, мне будет тяжело это сделать. Я люблю... да! я должна себе в этом признаться; но желала бы, чтоб и он любил меня, свободно, без расчетов и принуждения. В противном случае союз наш будет пренесчастный».

Луиза решилась немного пококетничать, сама не зная того, и начала явно показывать свое равнодушие к мнимому Адольфу. Недолго делала она этот опыт: Густав сделался еще грустнее; между тем глаза его, нежное его обхождение только и говорили ей о страсти робкой, но истинной. В один миг все неприятности забыты: они были легки, подобно дыханию, которое тускнит на миг светлую сталь и вдруг с нее сбегает. В замке Густав был весь любовь, безрассудная, ослепленная; но, когда он терял из виду Гельмет, раскаяние вступало в права свои.

«Нет, — рассуждал он с самим собою, — нет, не буду продолжать далее обмана, опасного для нас обоих! Она не может быть *моею*. Дружба, родство, честь, долг — сто преград против меня. Хорошо, что *еще время!* Завтра не поеду в замок; послезавтра буду там: к этому сроку подъедет мать, и все откроется. Может быть, я ошибаюсь, видя к себе некоторые знаки особенного внимания; тем лучше, если ошибаюсь. Впрочем, если б *она* в самом деле могла чувствовать ко мне *что-нибудь*, то это *что-нибудь* происходит в ее сердце единственно от уверенности, что я жених ее. В противном случае она обходилась бы со мною иначе. Потеряю имя Адольфа — и потеряю все, что оно в себе заключает: все блага, которые оно с собою приносит. Мне уж двадцать два года: я знаю женщин! На бедного Густава

не будут смотреть теми глазами, какими смотрели на Адольфа, наследника миллионера. Поспешу отбросить от себя этот пагубный талисман. Слава богу, *еще время!*»

Несколько дней Густав не являлся в замок, эти дни были для него веком пытки! Он хотел быть твердым и переломить себя, так он говорил.

В замке пустота была ощутительна; скука налегла на всех; прекрасные дни казались душными; если не было грозы, так несносный жар предвещал ее; мошки кусали нестерпимо; рассказы девицы Горнгаузен о рыцарских временах были приторны, беседа домоправительницы — несносна. Все эти обстоятельства не выходили из обыкновенного круга природы и жизни обитателей замка; но для Луизы они казались необыкновенными. Только по временам, когда упоминали об Адольфе, удовольствие проглядывало на ее лице, как улыбка, вынужденная на уста больного утешением лекаря. К скуке привилось и беспокойство, что баронесса так долго не возвращалась. Решились писать к ней в Пернов, узнать об ее здоровье и уведомить, что Адольф приехал из армии. Ответом медлили; однако ж его получили, и, будто нарочно, перед самым прибытием Густава в замок. Он не мог выдержать более трех дней, не видавшись с тою, с которою должен был скоро разлучиться, может статься, навсегда. Это предчувствовал он, и между тем шел на зов собственного сердца, как на обманчивый голос крокодила. Баронесса Амалия писала к своей дочери, чтобы не беспокоились насчет ее здоровья, которое в наилучшем положении, что она радуется нечаянному приезду Адольфа, и наказывала дочери сколько можно ласковее принимать дорогого гостя, чаще приглашать его в Гельмет и *помнить*, что он жених ее. Из этого письма опытный наблюдатель нравов мог видеть, что и в начале XVIII столетия маменьки умели давать дочкам искусные наставления, как завлекать в свои сети богатых женишков, хотя в тогдашнее время наука эта не была еще доведена до такого утончения, в каком видим ее ныне. Баронесса не могла предвидеть, что самые эти наставления соберут новые грозные тучи над ее домом. Между прочим, тщеславная патриотка описывала торжество, с каким приняли ее в Пернове ученые Дерптского университета, и оканчивала свое описание изречением королевы Христины: «C'est ainsi qu'on

entre incognito à Rome!»[1] Баронесса присовокупляла, что важные дела задерживают ее в Пернове еще на несколько дней.

— Маменька здорова, — сказала Луиза, встретив Густава с лицом, сиявшим от радости и вместе выражавшим упрек за долгое отсутствие. — Она приказала вам сказать, что помнит и любит вас по-прежнему, когда вы были дитею нашего дома.

— Разве вы уж писали к ней, *кто* приехал? Кажется, такой незначащий человек, как я, не достоин был занять столько строк в вашем и ее письме, — отвечал смущенный Густав.

— Напрасно вы так думаете. Напротив, я поспешила ее обрадовать: она так много любит вас.

— Обрадовать?.. Бог знает! — возразил он, тяжело вздохнув.

— В старые годы вы были к нам доверчивее.

— Простите, я всегда был уверен в милостях вашей маменьки.

«Ага! — сказала сама себе Луиза, в простодушии истинной любви думавшая быть чрезвычайно догадливою. — Он сомневается в *моих* чувствах. Если б я могла открыть их! Но, может быть, он старается выдумывать препятствия? Неужели он находит удовольствие мучить других? Если таков его нрав, я буду с ним несчастна. Я хотела бы открытую душу мою соединить с такой же душой».

— Я имею поручение к вашей маменьке от человека мне близкого, — продолжал Густав дрожащим голосом, — поручение весьма важное, от которого зависит участь нескольких людей. (Лицо Луизы вспыхнуло от мысли, что он имеет письмо от дяди с напоминанием об утверждении их союза.) — Будьте моею судьбою! Скажите, объяснить ли теперь все, что я имею на сердце?

Она подумала немного, потом спросила в свою очередь:

– Исполнение вашего поручения сделает ли счастливыми всех людей, которых вы разумеете?

– Думаю, только один будет несчастлив. Дай бог, чтобы гроза над ним и обрушилась! Он один виноват.

– Это для меня загадка: я не понимаю вас, господин Траутфеттер! Если и один будет несчастлив, так лучше навсегда отложить сделанное вам поруче-

[1] Так то вступают инкогнито в Рим!

ние, — отвечала Луиза с гордостью и более досадой оскорбленной любви, нежели самолюбия, и, показывая необыкновенное равнодушие, обратила разговор на другой предмет.

«Виноват ли я? — сказал мысленно Густав. — Сама судьба не позволила мне открыться ныне. Впрочем, тем лучше: приготовлю ее понемногу к этому открытию».

И между тем он употребил в остальные часы дня все хитрости сердечного красноречия, чтобы скрыть роковую тайну, помириться с Луизой и приобресть у нее снова то, что он единственно по наружности потерял было. Истинная любовь сколько доверчива, столько незлопамятна: легко заслушивается обольщений, легко прощает оскорбления, лишь бы уверена была, что они происходят от истинной же любви. Луиза старалась забыть непонятные слова жениха своего, приписывая их своенравию сердца, любящего строить препятствия, чтобы усилить в ней привязанность к нему. Так соображала она, основываясь на одном месте из романа, который читала недавно, и на словах девицы Горнгаузен. Гуляя по саду, Луиза нечаянно уронила розу, которая приколота была у ее груди. Густав поднял цветок, страстно прижал к губам и спрятал в боковой карман, ближе к сердцу. Луиза, казалось, не приметила его движений. По некоторым высотам, в саду рассыпанным, трудно было одному, без помощи посторонней, взойти и сойти. В таком случае Густав подавал Луизе руку, на которую она с удовольствием опиралась и которую несколько минут не оставляла от боязни увлечься вниз тяжестью своего тела. Иногда в упоении любви, будто окаменелые в блаженнейшую минуту их жизни, они останавливались несколько мгновений посреди горы на тесной площадке, на которой едва можно было двум человекам уместиться. Шелковые локоны волос Луизы навевались ветерком на его уста; рука ее млела в его руке, щеки ее горели, глаза останавливались на нем с нежностью и потуплялись от стыда. Это все делала невеста со своим женихом: можно ли ее обвинять?.. По лабиринту песчаниковой пещеры, изрытой в одной из садовых гор, она была его путеводительницей.

— Сюда, сюда, Адольф! — закричала она в одном месте. Роковое имя, произнесенное при нем еще в первый раз с того времени, как он начал посещать Гельмет, заставило его затрепетать. Он забыл все на свете, пом-

нил только ужасное для него имя и запутался еще более в темных извилинах пещеры.

— Сюда! — повторила Луиза ангельским голосом своим, воротилась назад и, схватив его за рукав мундира, спешила вывести на свет. Густав казался смущенным, нездоровым; но один взор нежного участия, на него брошенный, оживил его на то короткое время, которое он оставался в Гельмете.

После этого посещения Густаву представился весь ужас их состояния. Страсть его казалась ему злодеянием. Он видел в себе величайшего преступника, издевающегося над доверчивым чувством милого, невинного творения; знал, что истребить в себе этой страсти было невозможно; но, по крайней мере, твердо решился при первом свидании открыть все Луизе и принести себя в жертву для ее спасения.

Тридцатого мая — это было в последнее посещение духа-искусителя — сидел он вместе с Луизой в садовом гроте. Протекавший мимо них ручей Тарваст нашептывал будто бы пени любви. С ними никого не было. В удалении Адам Бир разбирал занимательное растение до последней нити его, как пчела пьет сладость из любимого цветка до последнего его истощения. В восторге, что обогатит свой травник новым сокровищем, и в удивлении к премудрости божией, поместившей себя в таком маленьком творении, он ничего не видел, не слышал около себя, и если б сокрушилось над ним ветхое дерево, под которым он сидел, то не выпустил бы из рук драгоценного найденыша. Домоправительница не показывалась. Она заперлась в своей спальне, утопая в горьких слезах: кто мог быть несчастнее ее, жертвы мужнина своенравия и властолюбия? Вообразите ее горестное положение: в возражение на словцо, неловко сказанное ее Вулканом, она замахнулась на правую его ланиту башмаком, а он? — *ах! Боже мой! он — карбонарий*, сказали бы в наше время, — не подставил ей еще левой ланиты и вырвал из рук ее башмак! Можно ли снести такую обиду, какой не бывало с тех пор, как она сделалась его нежною половиной и полною обладательницей?.. На девицу Горнгаузен нашел тоже недобрый час: она еще не могла оправиться от чувства ужаса, произведенного в ней поутру видом бабочки, трепетавшей под смертоносным орудием *бесчеловечного* Бира (так она его называла), который готовил ее для своего энтомологического *кладбища*. По стечению этих несчастных

обстоятельств Луиза и Густав находились одни, сидя в гроте на дерновой скамье. Никогда еще не была она так прелестна; никогда еще не казалась так счастливою. Коварная любовь сама, будто бы нарочно, постаралась убрать ее в лучшие свои наряды, как в древние времена убирали дев, которых вели на жертву к алтарю разгневанного божества. Густав был скучен; она искала рассеять беспокойство его души, для нее непонятное. Глаза ее остановились на одном месте грота и пробегали с удовольствием какую-то надпись, на песчанике вырезанную; потом она спросила его с нежною откровенностью:

— Кто это писал?

Жадными взорами пробежал он надпись, несколько стертую временем, разобрал в ней слова: «*Милая Луиза!*» — имел еще силу прочесть их вслух, и потом, не отвечая прямо на вопрос ее, примолвил:

— Счастлив смертный, который без страха может выговорить эти слова! Еще счастливее, кто мог слышать ответ!

Луиза ничего не сказала, но взорами, исполненными приветом любви, остановилась на другой надписи. Трепет пробежал по всем его членам; холодный пот выступил на чело, когда он взглянул на роковые слова: «*Милый Адольф!*»

— Счастлив Адольф! — произнес он замирающим в груди голосом. — Несчастлив тот, кого принимали за Адольфа!

— Я вас не понимаю! — сказала испуганная Луиза. — Что это значит? вы бледны, вы нездоровы? Боже мой, что с вами делается?

Густав упал перед нею на колена.

— Я обманщик! — произнес он с выражением страсти и отчаяния. — Сначала ошибкою служителя и ваших домашних, потом безрассудством, наконец любовью я невольно вовлечен в обман — любовью истинною, бескорыстною, которая может только с жизнью моей кончиться. Нет достойной казни для наказания подобного мне изверга! Кляните, кляните меня: я этого достоин! Я — не Адольф!

— Кто же вы? — спросила Луиза замирающим голосом.

— Густав, двоюродный брат Адольфа.

— Густав! что вы со мною сделали?.. — могла она только произнесть, покачав головой, закрыла глаза руками и, не в состоянии перенести удара, поразившего

ее так неожиданно, упала без чувств на дерновую скамейку. В исступлении он схватил ее руку: рука была холодна как лед; на лице ее не видно было следа жизни.

— Боже мой! я убил ее! — кричал он как сумасшедший, бегая по саду и ломая себе руки.

На крик этот оглянулся Бир. Если бы мертвецы вставали, крик этот мог бы их поднять. С силою отчаяния Густав сжал его руку и увлек за собою к месту, где лежала его жертва.

— Потише, потише! — бормотал с негодованием Бир. — Вы изомнете мою находку. С тех пор как существую, я вижу в первый раз насекомое из рода Coccinella exclamationis.

— Помогите, ради бога, помогите! Я убил ее! Она умрет! — раздавались вопли несчастного.

Тут Адам очнулся и, догадавшись по виду исступления своего товарища, что дело шло не о пустяках, спешил освободиться из железных рук его и спрятать бережно своего найденыша в камзол. Когда же подошел к Луизе, то, всплеснув жалостно руками и сказав только: «Гм! гм!», — схватил шляпу Густава, почерпнул ею в ручье воды, которою и вспрыснул лицо Луизы; но, заметив, что это средство не помогало, опрометью побежал в дом, как проворный мальчик, вмиг возвратился, сопровождаемый горничною и снабженный разными спиртами, тер Луизе виски, ладони и успел привести ее в чувство.

Она открыла глаза. Первый предмет, ей представившийся, был Густав, бледный как смерть, дрожащий, как преступник.

— Попросите *его*, чтоб он удалился! — сказала Луиза едва внятным, умоляющим голосом, склонившись на плечо Бира; потом, увидев, что Густав не трогался с места, прибавила, обратившись уже к нему:
— Густав, ради бога, удалитесь.

Здесь она опять закрыла глаза руками, и рыдания заглушили ее слова.

Он обратил на нее помутившиеся взоры, пожал руку Биру и удалился от них. Так бежал из рая первый преступник, гонимый пламенным мечом ангела и гремящим над ним приговором вышнего судии. На повороте дорожки в кусты Густав остановился, еще раз взглянул на Луизу и исчез. В замке он отдал письмо от Адольфа к баронессе первому попавшемуся ему навстречу слуге.

«Что это все значит? — шептал про себя Адам. — Странно! Адольф? Густав? Да, да, помню теперь; он поговаривал мне однажды, что он не Адольф. Я пропустил это мимо ушей: проклятое рассеяние! Впрочем, как знать, что перемена имени могла иметь такие горестные последствия? Да, опять, разве зять Адольф приятнее для баронессы зятя Густава? Не лучше ли отдать дочь свою за Густава, которого дочь любит, нежели за Адольфа, которого она забыла даже в лицо? Гм, гм! не все равно для баронессы!.. Торговое, проклятое обязательство! Нужда в деньгах... тщеславие!» — Так, рассуждая сам с собою, Бир вел, с помощью горничной, или, лучше сказать, нес домой несчастную свою воспитанницу. Девица Горнгаузен, встретив печальную процессию, сначала перепугалась; но сообразив состояние, в котором находилась Луиза, со внезапным отъездом Траутфеттера, успокоила себя мыслию, что между ними начинается истинная любовь, на препятствиях основанная.

— Я это предвидела, — шепнула она на ухо Адаму, — истинная страсть не существует без...

Бир прервал ее речь таким сердитым восклицанием, что вмиг рассеялись все романтические выводы, скопившиеся в голове ее и готовые осадить Адама. Так пробившееся из окна пламя вдруг охвачено искусным ударом воды из трубы пожарной. Только что управился он с огненным явлением из теремка, другая вспышка пробилась из трехэтажного корпуса домоправительницы, которая запела на всегдашний, постоянный тон свой:

— Что с вами сделалось, милая, драгоценная фрейлейн Зегевольд?

Адам молчал, стиснув зубами свою досаду.

— Не спрашивайте меня, — отвечала едва внятно Луиза, поведя рукою по лбу, — я хочу думать, что это был сон, ужасный сон! Мне очень тяжело... голова моя горит...

Луизу спешили положить в постель, так сделалась она слаба. Стыд, что она обращалась с Густавом как с женихом и что все домашние это видели; любовь к нему, несмотря на перемену обстоятельств, и известность, что она не может ему принадлежать, — все это сделало вдруг во всем ее составе сильное потрясение, которого она не могла перенести. На следующий день она слегла в постель. Отправили нарочных в Пернов за баронессою

и к медику Блументросту. Приехала первая и, прочитав письмо от Адольфа, оставленное Густавом, тотчас объяснила себе причину болезни своей дочери. Еще более разрешились догадки баронессы собственными словами Луизы, вырывавшимися у нее по временам в бреду горячки. Тут вся тайна сердца ее обнаружилась.

— Густав!.. Густав!.. — говорила она, устремив на какой-то предмет глаза, исполненные помешательства. — Зачем ты обманывал меня? зачем в первый день не открыл своего имени?.. Теперь уж поздно, поздно!.. Я невольница! я продана!.. Меня терзают за то, что я тебя любила: почему ж не любить мне жениха?.. Как я была счастлива!.. Спросите его, зачем он стоит передо мною и манит меня сойти в какую-то бездну?.. Бедный! он думает, что мы сходим с холма... он взглянул еще на меня! Боже! Этот взгляд жжет меня... Прощай, мой... нет, не Адольф, Густав! уж конечно, Густав! Он хочет броситься в пропасть. Постой... и я за тобою. Вместе... вечно вместе!

Домашние проливали слезы, слушая эту ужасную исповедь сердца доселе скромной, стыдливой девушки, которая в состоянии здравого рассудка предпочла бы смерть, чем сказать при стольких свидетелях половину того, что она произнесла в помешательстве ума. Казалось, мать ее сама поколебалась этим зрелищем и показала знаки сильнейшей горести; но это состояние души ее было мгновенное. Она старалась прийти в себя и устыдилась своей слабости — так называла она дань, которую заплатила природе.

— Прежде чем я мать, я Зегевольд! — сказала она, показывая в себе дух спартанки. — Скорей соглашусь видеть мою дочь мертвою, чем отдать ее когда-либо за человека, так жестоко меня оскорбившего. Обязанности мои выше любви, которая пройдет с бредом горячки. Явится Адольф, и все забудется. Луиза дочь баронессы Зегевольд — прикажу, и она, узнав свое заблуждение, отдаст руку тому, кто один может составить ее счастье! Не так ли, Никласзон?

Секретарь, к которому обращалась эта речь, с ужимкою всепокорнейшего слуги, не замедлил согласиться, что все это было и будет пустячками, что первый пароксизм сердечный хотя и силен, но пройдет, лишь бы фрейлейн Зегевольд выздоровела, и что сама судьба, конечно, постарается исполнить благородные, высокие планы баронессы. Досаду и гнев свой она поспешила

излить на домашних. Слуга, прибежавший первым с повесткою о приезде мнимого Адольфа, и старый дворецкий, удостаиваемый почетного имени кастеляна, так громогласно возвестивший о женихе, были сосланы в ближайшую деревню в должности пастуха и скотника; домоправительнице не позволено было несколько недель показываться на глаза своей повелительнице, а девице Горнгаузен сделан такой выговор, что истерика и спазмы принимались мучить ее в несколько приемов. На Бира, в уважение его чудного, рассеянного характера, только что косились, как Наполеон на крепость Грауденц, оставшуюся невредимою среди всеобщего завоевания и разрушения.

Приехал доктор Блументрост. От искусства его ожидали многого, а он возлагал все свое упование на бога и на силу природы, которой обещался помогать по возможности своей. Ожидали с надеждою и страхом назначенного им перелома болезни. В эти-то часы ожидания в замке и в хижинах поселян все было полно любви к Луизе: мысль потерять ее усиливала еще эти чувства.

— *О Иуммаль, о Иуммаль!* [1] — молились в простоте сердца подданные баронессы. — Смилуйся над нашею молодою госпожой. Если нужно тебе кого-нибудь, то возьми лучшее дитя наше от сосца матери, любого сына от сохи его отца, но сохрани нашу общую мать.

## *Глава одиннадцатая*
### ВЕСТИ

Что день грядущий мне готовит?
Его мой взор напрасно ловит,
В глубокой мгле таится он.

*Пушкин*

Что делалось в это время с Густавом? Когда он выехал из Гельмета, совсем в противную сторону, куда ему ехать надлежало, и когда опустился за ним подъемный мост, ему представилось, что с неба упала между ним и Луизой вечная преграда. Сердце его раздиралось любовью, раскаянием, чувством унижения, мыслию, что та,

[1] О боже! — Иуммаль, во времена идолопоклонства латышей, был верховным их божеством.

которая была для него всего дороже на свете, почитает его гнусным обманщиком, что он оскорбил ее и возмутил ее жизнь, доселе беззаботную и счастливую. Дорого безрассудный платил за несколько дней блаженства. Приехав на мызу, где квартировал, с ужасом вошел он в свое жилище: ему представилось, что все предметы, его окружавшие, дико озирали его, что служители смотрели на него пасмурно, исполняли его приказания неохотно.

«Все отвращается от меня, как от убийцы!» — думал он. Страшно было ему взглянуть в себя, еще страшнее — обратиться в прошедшее.

Через два дня слуга вручил ему письмо от баронессы Зегевольд. Не успел он еще распечатать его, как уж сердце отгадало его содержание. Вот что писали к нему:

«Милостивый государь!..

Вы, конечно, почли мой дом домом зрелищ, где позволены всякого рода превращения и терпимы оборотни: долгом почитаю вывести вас из заблуждения, с тем, чтобы просить вас покорно в него никогда не заглядывать, даже без личины и под настоящим именем. Остаюсь... и проч.».

Густав, скрепив сердце, отвечал со всем уважением, должным матери Луизы, что он, хотя чувствует себя виноватым, но не заслуживает оскорбительных выражений, которыми его осыпали; что он обстоятельствами и любовью вовлечен был в обман и что если любить добродетель в образе ее дочери есть преступление, то он почитает себя величайшим преступником. Он просил, по крайней мере, не полагать в нем тех низких чувств, которых он не имел, и присовокуплял, что молит бога доставить ему случай доказать матери Луизы, хотя бы ценою его жизни, всю беспредельность его уважения и преданности к ее фамилии.

Через несколько дней принесли к нему письмо от Фюренгофа. «От дяди, — подумал Густав, разрывая печать. — Недаром начинает со мною родственные отношения тот, который навсегда было прервал все связи с сыном сестры, ненавистной ему». Содержание этого письма было следующее:

«Государь мой!..

Мы давно друг другу чужие: сын Эрнестины был мне всегда таков. В противном случае я сказал бы как племяннику, что вы гнусным поступком своим ввергли благородное семейство в горестное состояние, отняли у матери дочь, у брата вашего жену и у дяди лучшие его надежды. Теперь не наше дело вам об этом говорить. Оставим карать вас божьему суду и совести вашей, если вы не совсем ее потеряли. Другое важнейшее дело понуждает меня писать к вам. Мать ваша заграбила у меня в 1685 году три гака земли, смежных с...»

При чтении этих строк глаза Густава встретили ниже слова: *«нищая... сумасбродная... процесс... суд»*. Далее он не мог читать.

— Скажи, — вскричал он дрожащим от гнева голосом, обратясь к служителю своего дяди, — скажи пославшему тебя, что если б он не был братом моей матери... Нет, лучше не говори ему этого. Ответ мой: пусть владеет он теми гаками, которые почитает своими; все бумаги, присланные им для утверждения его прав на этот клочок земли, будут скреплены мною. Спроси, не осталось ли чего из имения Траутфеттера, что бы я мог уступить ему: все отдам без суда, которым он грозит мне. Но вместе с этим скажи ему, чтобы он берегся шевелить прах моей матери. В противном случае сын оскорбленной Эрнестины может забыть, что оскорбитель — дядя. — Выговоря это, Густав изорвал в клочки письмо и присовокупил посланному: — Ступай! другого ответа не будет.

Судьба, как бы нарочно, устроила летучую почту для нанесения Густаву жестоких ударов, одного за другим. Не успел он еще образумиться от дядиной цидулки, как вручили ему письмо из армии, именно от Адольфа.

«Получив твое послание[1], любезный брат и друг, — писал он к нему, — я от всего сердца посмеялся ошибке, доставившей тебе особенно ласковый прием от моей невесты и домочадцев гельметских. Пробил я заклад, но все-таки с честью для себя. Каков же твой

[1] Письма этого мы не могли отыскать в фамильных бумагах Траутфеттера.

двоюродный братец! Не только собственною персоной, он даже именем своим оковывает сердца прелестных и творит любовные чудеса! В Польше лично веду атаки и побеждаю; а в Лифляндии хлопочет за меня услужливый Сози мой. Виват Адольф Траутфеттер! Жаль, что на время этих проказ я не на твоем месте, а ты не на моем: я провел бы тогда подкоп, и черт меня возьми, если б я не взорвал на воздух все обязательства расчетливых маменек и дядюшек! Но ты... с твоим холодным, нерешительным характером, ты разом струсишь и откроешься. Ты пишешь, что Луиза прелестна. Верю, потому что она и одиннадцати лет была премиленькая девочка. И теперь еще, как два фонарика, светятся передо мною ее глазки, преумильно поглядывает на меня и дядюшкино чищеное золотце, которому надеюсь, со временем, еще лучше протереть глаза. Но все эти прелести ничто перед милою, дивно милою полечкою. Имени ее не скажу: оно заветное. Ах, любезный Густав! я влюблен, и влюблен не на шутку. Если б ты видел ножку ее!.. Ну, право, три таких уляжутся в одном башмаке наших лифляндских стряпух и экономок: от одной ножки можно с ума сойти; суди же обо всем прочем! Ты смеешься постоянству моей новой любви, Фома неверный? Божусь тебе, я страх переменился в два месяца; ты меня не узнаешь теперь. Страсть моя так сильна, так искренна, что я почитаю ее предвестием ужасного *кризиса* в моей жизни: или я *должен* буду скоро ехать в Лифляндию, куда меня выпишут, чтобы женить на твоей Луизе и дядюшкином миллионе (здесь уж об этом хлопотала патриотка); или меня убьют в первом сражении. Не перед добром мое постоянство — разумею, в любви. Тебе хорошо известно, что дружба и честь никогда не знавали меня ветреником. Отпиши мне поскорее об успехе твоих дальнейших посещений: берегись слишком скоро отступить от трофеев, дарованных тебе волшебным, всепобеждающим имечком Адольфа; помни, что ты не Август и перед тобой нет Карла XII. Верь, что ты имеешь во мне самого терпеливого соперника. Кстати, обрадуй патриотку прилагаемым *у сего* письмом к ней от Пипера, министра его величества, короля шведского. Посылая это письмо, чувствую, что у меня сердце не на месте; не заключается ли уж в нем обещания выслать меня в бедный Шлиппенбахов корпус? Предчувствую, что мне теперь не удастся подменить себя двоюродным брат-

цем, как я сделал это при отправлении тебя в Лифляндию. Надо признаться тебе, во всем этом я виноват, а как я это смастерил, при случае тебе расскажу. И без того мое письмо длинно, как нос твоего нынешнего начальника после Нового года.

Твой брат и друг *Адольф Т.*».

Немедленно послал Густав письмо Пипера по адресу, приказав своему слуге поосторожнее разведать, что делалось в замке. Письмо приняли; но как всем жителям Гельмета приказано было молчать насчет семейных дел баронессы, то посланный мог узнать только, что *фрейлейн нездорова*. Эта весть еще более растравила сердечную рану Густава. На следующий день, только что начало светать, он вскочил с постели, спешил одеться и выйти из деревни с твердым намерением во что бы то ни стало приблизиться к замку и узнать, от кого бы то ни было, о состоянии больной. Углубленный в задумчивость, потупив глаза в землю, шел он по дороге в Гельмет. Сельские девки, гнавшие скотину в поле, с боязнью глядели на угрюмого шведа и старались подале обойти его. Крестьянин, ехавший со своею сохою на пашню, распевал в добрый час, что очень редко случается у латышей, веселую песенку:

У кого такая милочка,
Как у братца моего?
Сука моет у него посуду,
Козы полют огород.

Но, приметив синий мундир, стал в тупик и, проворчав Густаву свое обычное: «*Терре омикуст*», [1] — спешил обогнать постояльца, который не только не кивнул ему, но, казалось, так ужасно на него посмотрел, как бы хотел его съесть. Густаву было не до привета людей, чуждых ему: *одна* в мире занимала его мысли и сердце. Он прошел уже более половины пути до Гельмета, как вдруг кто-то назвал его по имени.

— Куда так рано, господин оберст-вахтмейстер? — сказал ехавший верхом навстречу ему, сняв униженно шляпу и приостановив бойкого рыжего конька.

Густав приподнял голову и увидел перед собой того самого служителя баронессина, который в первое его

---

[1] Доброе утро.

посещение замка вызвался держать его лошадь и которого умел он отличить от других дворовых людей, заметив в нем необыкновенное к себе усердие. Несчастный обрадовался неожиданной встрече, как утопающий спасительному дереву, мимо его плывущему.

— Ах! это ты, Фриц? — сказал Густав. — Прекрасное утро выманило меня прогуляться, и я нечаянно очутился на этой дороге. Накройся, старик, на дворе еще свеженько.

Фриц с некоторым принуждением надел шляпу, лукаво посмотрел на молодого офицера, слез с лошади и примолвил:

— Видно, я объезжал своего коня, а вы своего, господин оберст-вахтмейстер! Иной подумает, что я к вашей милости, а вы к моей. (Тут конюх тяжело вздохнул.) Куда ж прикажете мне за вами следовать? Между бездельем я хотел сказать вам и дело.

— А какое бы? — спросил Густав с видом нетерпения и между тем, сделав несколько шагов вперед, невольно заставил Фрица следовать за собой по дороге к замку.

— Вот изволите видеть, во-первых, вы командуете эскадроном драгун?

— Так.

— Во-вторых, говорят, ваш коновал отправился на тот свет лечить лошадей. Покуда сыщется другой (Фриц снял опять шляпу, почесал себе пальцем по шее и униженно поклонился), — ге, ге, ваш преданнейший и всеусерднейший слуга, великий конюший двора ее светлости, баронессы Зегевольд, осмеливается предложить вам... ге, ге...

— Свои услуги, не так ли?

— Малую толику, господин оберст-вахтмейстер! За меня поручится вся округа, что я залечиваю менее четвероногих, нежели иной свою братью двуногую.

— Верю, верю и охотно принимаю тебя в свою команду врачом, и ныне же готов велеть показать тебе всех четвероногих пациентов; но баронесса...

— Понимаю: будет гневаться, думаете вы, что я посещаю вашу квартиру и, может быть, выношу сор из ее палат?

— Справедливо.

— Не беспокойтесь! Я не дворовая собака, которую она вольна держать на привязи: служу свободно, пока меня кормят и ласкают; не так — при первом толчке

ногой могу показать и хвост, то есть, хочу сказать, что я не крепостной слуга баронессин. К тому ж, нанимаясь к ней в кучера и коновалы, я условился с ее милостью, чтобы мне позволено было заниматься практикою в окружности Гельмета. Надеюсь, вы мне дадите хлебец и по другим эскадронам. В плате ж за труды...

— Конечно, не будешь обижен. С этого часа ты наш.

— Ваш и телом и душой.

— И совестью коновальской, не правда ли?

— Для вас не помучу ее; но когда бы пришлось иметь дело, например, с вашим дядюшкой, не счел бы за грех обмануть его.

— Почему ж нравится тебе племянник более дяди?

— Об этом скажу вам после, когда созреет яблочко, посаженное семечком в доброй земле.

— Припевом этим не ты один прельщаешь. Мне кажется, что ты сказочник.

— Мои сказки, не так как у иных, длятся тысячу и одну ночь, — того и смотри, как сон в руку. Нет, я скорей отгадчик. Давно известно, что мельник и коновал ученики нечистого. Вот, например, с позволения вашего молвить, господин оберст-вахтмейстер, я знаю, зачем вы идете по этой дороге со мною.

— А зачем бы?

— Вам хотелось бы узнать от верного человечка, что делается с тою, ге, ге, которую вы любите.

— Кого я люблю? Кто дал тебе право судить о моих чувствах?

— Желание вам добра. Коли вы обижаетесь слышать то, о чем вы хотели бы меня спросить и зачем вы шли по этой дороге, так я буду молчать. А я было спросту думал подарить вас еще в прибавок тем, в чем вы нуждаетесь, — именно утешеньицем и надеждою. Извините меня, господин оберст-вахтмейстер! (Здесь Фриц поклонился.)

— Утешением? говори же скорее, дух-искуситель! что делает Луиза?

— Потише, потише, господин! Такие вещи не по лучаются даром.

Требуй все, что имею.

— Вы не заплатите мне тем, чем разумеете. Когда я дарю вас вещьми, которых у вас нет, следственно, я покуда богаче вас. Конюх баронессы Зегевольд чудак: его не расшевелят даже миллионы вашего дяди; золото

кажется ему щепками, когда оно не в пользу ближнего. Фриц с козел смотрит иногда не только глазами, но и сердцем выше иных господ, которые сидят на первых местах в колымаге, — буди не к вашей чести сказано.

— Чего ж ты хочешь от меня?

— Безделицы! Поменяться со мною обещаниями.

— Что ж должен я обещать?

— Во-первых, молчать, о чем я буду сказывать вам за тайну ныне и впредь; во-вторых, выполнить при случае, о чем я вас прошу, и, в-третьих, все это утвердить честным вашим словом.

Густав подумал: «О чем может меня просить кучер баронессы, что б не было согласно с моими обязанностями, с моими собственными желаниями?» — подумал, посоветовался с сердцем и сказал:

— Честное слово Густава Траутфеттера, что я выполню требования твои. Говори ж, ради создателя, что делает Луиза?

— Что она делает? С тех пор, как вы скрылись из замка, она слегла...

— Боже мой!

— Не пугайтесь и помните о том, что я вам обещал. Она слегла в постель. Не скрою от вас, она больна, очень больна.

— Несчастный! что я говорю: несчастный? — изверг, я убил ее!

— Вчера я видел лекаря Блументроста.

— Что ж он говорит?

— Когда я спросил его, каково нашей молодой госпоже, он шепнул мне: *«бог милостив!»* Это слово великое, господин! Он не употребляет его даром. «Послезавтра, — прибавил он, — перелом болезни, и тогда мы увидим, что можно будет вернее сказать». — «А теперь?» — спросил я его. «Теперь, по мнению моему, есть надежда», — отвечал он.

Густав остановился, стал на колени, сложил руки и молился:

— Боже милосердый, спаси ее! Ни о чем другом не молю тебя: спаси ее! Всемогущий отец! сохрани свое лучшее творение на земле и разбей сосуд, из которого подана ей отрава.

— Встаньте, господин оберст-вахтмейстер его королевского величества, крестьяне, работающие в поле, сочтут вас помешанным — не во гнев буди вам сказано.

— Даю тебе право говорить, что хочешь, — сказал Густав, вставая. — Точно, я обезумел.

— Легче ли вам теперь?

— Фриц, друг мой, ты воскрешаешь меня.

— Вот утешенье, которое я обещал вам. Теперь поговоримте о надежде, которую я хотел вам наворожить. Во-первых, скажу: отчаяние — величайший из грехов. Я не пастор, а разумею кое-что. Худо вы сделали; но кто поручится, чтобы не сделал того ж другой молодец на вашем месте, с огнем вместо крови, как у вас? Кто знает, бароны и баронессы рассчитывали по-своему, а тот, кто выше не только их, но и короля шведского, который щелкает по носам других корольков (здесь Фриц скинул шляпу и поднял с благоговением глаза к небу), тот, может быть, рассчитал *иначе*. Еще скажу: дело не о прошедшем — его воротить нельзя, — а о будущем, которое можно предугадать и поправить.

— Особенно вам, коновалам-колдунам!

— Да, и наша милость будет тут стряпать. Завтра бог откроет нам свое определение. Если он окажет милости свои, то...

— Молю бога об одной жизни ее.

— Для меня этого мало: я хочу устроить судьбу вашу.

— Ты? опомнись, Фриц!

— С помощью добрых людей.

— Вероятно, дворецкого, камердинера и прочей честной компании.

— А хотя бы и так? Разве вы отказались бы от сокровища, которому цены не знаете, если бы помог вам найти его бедный челядинец? Может статься, на этот раз усердный холоп передал бы его господину майору-белоручке, надев перчатки на свои запачканные руки, чистившие коней.

— Ты не знаешь меня, Фриц! я обнял бы этого челядинца, как брата, хотя бы он был чернее трубочиста. Но к чему твоя сказка?

— К делу. Дочь баронессы Зегевольд будет женою того Траутфеттера, которого она любит, а не того, за кого хотят ее выдать насильно мать и дрянной старичишка.

— Вспомни, Фриц, что он дядя мой.

— Помню, что он обманщик, тать, разбойник. (При

этих словах глаза и лицо Фрица разгорелись; также и Густав вспыхнул.)

— Ты с ума сошел!

— Нет, господин оберст-вахтмейстер! я говорю в полном уме. Когда б вы знали, что этот человек наделал моему семейству; когда б вы знали, что он похититель вашей собственности!

— Он владеет тем, что следовало ему по законам.

— По законам? по законам? (Фриц с горькою усмешкою покачал головой.) Разве адским! Вы, племянник его, ничего не знаете; я, конюх баронессы Зегевольд, знаю все, и все так верно, как свят бог! У вас отнято имение; у вас отнимают ту, которую вы любите: то и другое будет ваше с помощью вышнего.

— Ты призываешь бога во свидетели?..

— Не грешно призывать его в деле правом. Давно есть у вас стряпчий, и вы должник его. Без ведома вашего, не желая от вас награды, трудится *он* для вас.

— Кто такой?

— *Он!* Более не скажу словечка; теперь нет *ему* имени. По приказу *его* поджидал я вас на нашу сторонку с нетерпением. Вспомните слова мои, когда вы в первый раз к нам пожаловали и когда я дрожащею рукой брал вашу лошадь за повода.

— Как теперь помню, ты сказал мне: «Добро пожаловать, гость желанный!»

— Так точно. Слова эти выговорили не губы мои, а сердце. Я знал тогда ж, что вы не Адольф, а Густав, и молчал.

— Зачем же не открыл ты в замке моего имени?

— Так приказал мне *он*.

— Странно, чудесно, невероятно!

— Скажу вам яснее: вы меня знавали; я держал вас маленьким на коленах; вы знавали *его*. Если вы разгадаете *его* имя, не сказывайте мне: я об этом вас прошу вследствие нашего уговора. По тому ж условию требую от вас, в случае, если б *он*, благодетель ваш, ваш стряпчий, попал в несчастье из беды и если б вы, узнав *его*, могли спасти...

— Право, смешно; однако ж даю слово выручить при случае моего названого благодетеля.

— Чтобы в делах наших было поболее чудесностей, скажу вам еще, что вы не иначе получите отнятое у вас имение и вашу Луизу, как посредством *чухонской*

*девки* и *русских*, и то не прежде, как все они побывают в *Рингене*.

— Что за вздор ты городишь? Чухонские девки! Русские! Ринген! Далека песня!.. Только этой присказки недоставало в твоей сказке. А я, глупец, развесил уши и слушаю твои выдумки, будто дело! По крайней мере благодарен тебе за утешение.

— Помяните мои слова... но вот, мы чуть не наткнулись на Гельмет. Могут нас заметить, пересказать баронессе, и тогда — поклон всем надеждам! Прощайте, господин оберст-вахтмейстер! Помните, что вам назначено сокровище, которое теперь скрывается за этой зеленой занавесью... Видите ли открытое угольное окошко? на нем стоит горшок с розами... видите? — это спальня вашей Луизы.

— Моей!.. Боже мой!.. в каком она теперь состоянии?.. Я положил это прекрасное творение на смертный одр, сколотил ей усердно, своими руками, гроб, и я же, безумный, могу говорить об утешении, могу надеяться, как человек правдивый, благородный, достойный чести, достойный любви ее! Чем мог я купить эту надежду? Разве злодейским обманом! Не новым ли дополнить хочу прекрасное начало? Она умирает, а я, злодей, могу думать о счастье!.. Завтра, сказал ты, Фриц...

— Завтра перелом ее болезни, говорил мне лекарь.

— Фриц, друг мой! об одной услуге молю тебя.

— Приказывайте.

— Могу ли завтра... Назначь место, час, где бы с тобою видеться.

— Извольте; я уж об этом думал. Вечерком, когда солнышко будет садиться, выдьте из своей квартиры. От гельметской кирки поверните вправо, к погосту; чай, вы покойников не боитесь? Пройдя мимо их келий, ступайте целиком к старому вязу, что стоит с тремя соснами, на дороге из Гуммельсгофа: тут есть камушек вместо скамьи; можете на нем отдохнуть и дожидаться меня. Да чур, быть осторожнее! Не погубите себя и меня. Слышите? собаки на дворе почуяли вас; люди начали везде копошиться. Воротитесь скорее домой и уповайте на бога. Прощайте!

Фриц, выговоря это, вспрыгнул на своего рыжака и скоро исчез из глаз Густава. Неугомонный лай собаки, все сильнее возвещавший о приближении к замку не-

знакомца, заставил Густава удалиться поспешнее, нежели он желал.

На следующий день, перед закатом солнца, выехал он на чухонской тележке с одним верным служителем из своей квартиры, переоделся в крестьянское платье у гельметской кирки, где оставил своего провожатого, нахлобучил круглую шляпу на глаза и побрел к назначенному месту, как человек, идущий на воровство. Измученный скорою ходьбою и чувствами, раздиравшими его душу, он остановился у ограды кладбища, чтобы перевесть дыхание. Последние лучи солнца одевали розовым отливом белые пирамидальные памятники. Ему чудилось, что усопшие в праздничных саванах вышли из могил навстречу новой своей гостье. «Может быть, в самую эту минуту она умирает!» — подумал он, и сердце его стеснилось в груди. «Мечта расстроенного воображения! — прибавил он потом, стараясь призвать на помощь все присутствие рассудка. — Доктор сказал, что есть надежда».

Медленно, ходом черепахи шел он, желая, чтобы тень сумрака перегнала его до места назначения. Вскоре, к досаде его, послышались ему голоса человеческие. Проклиная эту помеху, он осторожно дополз до можжевеловых кустов, шагах в двадцати от того места, откуда был слышен разговор, спрятался за кустами так, что не мог быть примечен с этой стороны, но сам имел возможность высмотреть все, что в ней происходило. Под такою защитой он увидел, при свете восходящего месяца, что под вязом, где назначено было ему дожидаться Фрица, сидели две женщины, спинами к нему, на большом диком камне, вросшем в землю и огороженном тремя молодыми соснами. Род пестрых мантий, сшитых из лоскутков, покрывали их плеча; головы их были обвиты холстиною, от которой топорщились по сторонам концы, как растянутые крылья летучей мыши; из-под этой повязки торчали в беспорядке клочки седых с рыжиною волос, которые ветерок шевелил по временам. Одна из них — может быть, услышав шорох, — оглянулась назад. Страшны были ее кошачьи глаза, прыгавшие между двумя кровавыми полосами, означавшими места, где были некогда ресницы; желтое лицо ее было стянуто, как кулак; по временам страшно подергивало его. Густав спешил отворотиться от этого безобразного явления. Грубый голос старух походил на сиповатое карканье старого, больного ворона. По-види-

мому, они кого-то поджидали из замка, потому что часто протягивали шеи в ту сторону. Из разговора их некоторые слова долетали до слуха Густава.

— Долго нейдет наш Мартышка, — говорила одна.

— Чай, заповесничался с дворовыми ребятами, — примолвила другая.

— Сорванец! негодяй! да какого добра ждать от подкидыша? Пойдет, видно, по батюшке: хорошие кусочки себе, оглодышки — другим.

— Поверишь ли, мать моя, сызмала на деньги не надышит; умеет уж хоронить их не хуже сороки. Сухари то и дело тащит беззубой старухе, а шелег чтобы принес, этого греха с ним не бывало.

— Запропастился, окаянный! Видно, лижет сковороды на кухне. До съестного ли теперь? Умрет... так получше что достанется... (Здесь ветер перехватил слова разговаривавших.) Дура, дура! что тебе в шелковом?.. Разве грешным костям на покрышу? Нам с тобой лоскут холста да четыре доски: ляжем в них не хуже королевы или баронессы. Статочное ли дело беречь для себя? (Ветер опять помешал Густаву слышать некоторые слова.) Молвят, что барышня от него-то и слегла в постель. Выдавал он себя, невесть как, за племянника, ну, того скупого хрыча — ведашь, Мартышкина отца, чтоб ему ни пути, ни дороги, ни дна, ни места!

— Знаю, знаю, Фиргофа; провалиться бы ему в преисподнюю!

— Племянник этот сговорен за барышню. Ждали его; приехал он, а был не он, шведский офицер, чернокнижник: надел на себя харю жениха и давай отводить глаза у невесты и у всех холопов. Барышне показался он таким пригожим, добрым, ласковым, ну так, что она, сердечная, умирала по нем. Раз хотела она поцеловать его, а у него и выставься из тупея два рожка. С того, дескать, часу бедняжке попритчилось, не в нашу меру буди сказано. Молодешенька была душа моя, пригожа, наподобие цветка макова, разумна, как скворушка. Подкосил цвет злой косец, запрятал ловец пташку в клетку вечную.

— Дай бог ей царство небесное, а нам что-нибудь на помин ее души!

Можно судить, что чувствовал Густав во время этого разговора: кровь начинала останавливаться в жилах, дыхание захватывало в груди. Он хотел встать и

разогнать эту адскую беседу; но, послышав топот бегущего мальчика, решился еще остаться на прежнем месте.

— Вот и Мартышка бежит! — сказала одна старуха, привстав с камня. — Какие-то вести несет нам пострел? Бежит что-то весело.

— Видно, отдала богу душку! — отвечала другая со вздохом.

Посланник их, мальчик, по-видимому, лет четырнадцати, не спешил удовлетворить желание ожидавших его и, медленно приближаясь к ним, казалось, старался их поддразнить: то кривлялся, как фигляр, то маршировал, как солдат, то скакал на одной ноге влево и вправо.

— Говори, бесенок! — закричала одна из старух, замахнувшись на него костылем. — Не то пришибу тебя этою указкой. Жива, что ли, еще, аль умерла?

Мальчик, поравнявшись почти со старухами, начал качать головою и припевать жалобным голосом:

—*Упокой душу рабы твоея! упокой душу...*

Густав более ничего не слыхал; все кругом его завертелось. Он силился закричать, но голос замер на холодных его губах; он привстал, хотел идти — ноги подкосились; он упал — и пополз на четвереньках, жадно цепляясь за траву и захватывая горстями землю.

Старухи и мальчик, увидев в сумраке что-то двигающееся, от страха почли его за привидение или зверя и, что было мочи, побежали в противоположную от замка сторону. Отчаяние придало Густаву силы, он привстал и, шатаясь, сам не зная, что делает, побрел прямо в замок. На дворе все было тихо. Он прошел его, взошел на первую и вторую ступень террасы, с трудом поставил ногу на третью — здесь силы совершенно оставили его, и он покатился вниз...

Ни одного живого существа не было в этой стороне, да и в доме все было тихо, как бы все обитатели его спали мертвым сном. Вскоре началось тихое движение. Служители шепотом передавали один другому весть, по-видимому, приятную; улыбка показалась на всех лицах, доселе мрачных: иные плакали, но видно было, что слезы их лились от радости.

Наконец Фриц потихоньку отворил дверь на террасу и начал сходить с нее. Свет из окон нижнего этажа освещал ему путь. Озираясь из предосторожности, он увидел человека, распростертого на земле и головой

поникнувшего на последнюю ступень. Кровь струилась по его лицу. Добрый конюший, спешивший с радостною вестью к месту свидания, какою горестью поражен был, узнав в несчастном Густава! Он ощупал пульс его; пульс едва бился. Звать людей на помощь было невозможно; открыться медику — опасно. Наконец блеснула в голове его мысль о доброте души библиотекаря. К утешению его, в первой комнате нижнего этажа встретил он Адама, который прохаживался по ней мерными шагами, углублен будучи в размышления о суетах мирских. Фриц схватил его за руку. Адам оглянулся.

— Человек погибает! — быстро произнес конюх. — Спасите его.

— Куда? что надобно? — воскликнул Бир.

— Тише! Есть ли с вами ланцет и бинты?

— Ты знаешь, что они всегда при мне.

— Идем! — сказал Фриц, достал где-то фонарь и увлек за собою Бира на то место, где лежал Густав. — Видите ли этого человека? Помогите мне встащить его на плеча ко мне: хорошо, так; ступайте за мной; придерживайте его дорогою, чтобы он не свалился.

Так распоряжался Фриц, и покорный ему библиотекарь с особенным усердием выполнял его волю. В поле, при свете фонаря, последний пустил страдальцу кровь. Бир узнал Густава, и как скоро этот начал приходить в себя, он удалился, потушив фонарь.

Густав открыл глаза, остановил их на Фрице, посмотрел кругом себя и не мог придумать, где он находится.

— Не вовремя вздумали умирать! — сказал добрый конюх, стараясь понемногу ободрить больного. — Я нес вам приятные вести, а вы хотели сами приступом взять их.

— Приятные вести? — спросил Густав, приподнимаясь на одну руку, не понимая, почему другая не повиновалась. — Ах! я слышал такие ужасные, не понимаю где, во сне или наяву? Ради бога, говори!

— Потише, повторяю вам, потише. Видите ли кровь? я принужден был пустить вам ее. Теперь вы в моей команде, волей или неволей, прошу не прогневаться. Спокойны ли вы?

— Да, я спокоен!

— Теперь могу передать вам радостную весть:

фрейлейн Зегевольд будет жива; перелом болезни миновался, и лекарь отвечает за ее выздоровление.

— Правда ли? Не стараешься ли меня утешить обманом?

— Верьте не мне, богу.

— Отец милосердый! — воскликнул Густав, подняв к небу глаза, полные слез. — Благость твоя неизреченна. Ты хранишь невинность и милуешь преступление.

Он схватил руку благодетельного конюха и, сколько сил у него доставало, сжал ее в своей руке; потом с отдыхами рассказал, что с ним случилось в этот ужасный для него вечер.

— Старые колдуньи! — вскричал в ужасной досаде Фриц, выслушав рассказ своего пациента. — Я отучу их собираться на поминки к живым людям. А этот бесенок, из одного сатанинского с ними гнезда, напляшется досыта под мои цимбалы! Однако ж, пока им достанется от меня, надобно подумать, как дотащить вас до кирки.

— Видно, радости не убивают, — сказал Густав, — я чувствую себя лучше и готов следовать за тобою...

Благополучно, хотя не без труда, добрели они до кирки, где дожидался слуга, начинавший уже беспокоиться, что господин его замешкался. Здесь почерпнули из родника воды в согнутое поле шляпы и дали выпить Густаву, ослабевшему от ходьбы. Прощаясь с Фрицем, он обнял его и просил докончить свое благодеяние, давая ему знать о том, что делается в замке. Фриц обещал и сдержал свое слово.

После этого происшествия нередко прилетал он на любимом рыжаке своем в Оверлак и каждый раз привозил с собою более и более утешительные вести: «Фрейлейн Зегевольд лучше; фрейлейн Зегевольд сидит на креслах, ходит по комнате, порядочно кушать начинает», — и так далее, согласно с успехами ее здоровья. Наконец вестник уведомил Густава, что, кроме бледности, заменившей на лице ее прежний румянец, и грусти, в ней прежде незаметной, никаких следов от болезни ее не оставалось. Мысль, что Луиза здорова, успокаивала Густава, и хотя она подавляема была нередко другою горестною мыслью о безнадежности любви своей, но вскоре приобретала вновь свое прежнее утешительное влияние. «Она забудет меня, — думал Траутфеттер, — но, по крайней мере, будет счастлива,

сделав счастие Адольфа». С другой стороны, добрый, но не менее лукавый Фриц, привозя ему известия из замка и прикрепляя каждый день новое кольцо в цепи его надежды, сделался необходимым его собеседником и утешителем; пользуясь нередкими посещениями своими, узнавал о числе и состоянии шведских войск, расположенных по разным окружным деревням и замкам; познакомившись со многими офицерами, забавлял их своими проказами, рассказывал им были и небылицы, лечил лошадей и между тем делал свое дело. Так прошел с небольшим месяц. Однажды — это было в первых числах июля — Фриц уведомил Густава, что он отправляется в Мариенбург за пастором Гликом и воспитанницей его, девицею Рабе, лучшею приятельницей Луизы. Он прибавлял, что скоро наступит день рожденья последней, что ко дню этому делаются большие приготовления в замке и что со всех концов Лифляндии должны съехаться в него сотни гостей: баронов, военных, профессоров, судей, купцов и студентов; а может быть, и тысячи их соберутся, прибавлял он с коварною усмешкой.

— Я один не буду там, — сказал, вздохнув, Густав и между тем просил Фрица исполнить к тому времени единственное, ничего не значащее поручение.

*Конец первой части*

## Часть 2

### *Глава первая*
### СТАН

Здесь Русью пахнет.

*Пушкин*

В нейгаузенской долине, где пятами своими упираются горы ливонские и псковские, проведена, кажется, самою природою граница между этими странами. *Новый Городок* (Нейгаузен) есть уже страж древней России: так думали и князья русские, утверждаясь на этом месте. Отважные наездники в поле, они были нередко политики дальновидные, сами не зная того.

Замок нейгаузенский построен на крутом берегу речки Лелии, передом к Лифляндии. Четыре башни по углам, соединяющая их ограда — все это грубо выведенное из дикого, неотесанного камня, довольно глубокий овраг с трех сторон, с четвертой — обделанный берег — вот вся искусственная сила этой твердыни. Зато как далеко, как зорко оглядывает она перед собою, вправо и влево, всю немецкую сторону! Все, что идет и едет от Мариенбурга, Риги и Дерпта, все движения за несколько десятков верст не укроются от сторожкого ее внимания. Только сзади господствует над нею отлогое возвышение, беспрестанно поднимающееся на две с лишком версты до гребня горы Кувшиновой; но там — сторона русская! Речка Лелия течет перед лицом замка, изгибаясь, в недальнем расстоянии, с левой стороны назад, с правой — вперед. На углу правого изгиба — насыпь (вероятно, и на левом была подобная же, но она застроена теперь корчмою); несколько таких искусственных высот, служивших русским военными укреплениями, идут лестницею по протяжению печорской дороги. Некоторые из них уцелели доныне, иные обросли рощицами, другие изрыты дождями, а может быть, и жадностию человеческою. Струи речки мелки, но шумят, строптивые, преграждены будучи множе-

ством камней, временем брошенных в нее с высоты башен.

Вид из замка обнимает Лифляндию на несколько десятков верст: перед глазами разостлан по трем уездам край ее одежды. Прямо за речкою, в средине разлившейся широко долины, встал продолговатый холм с рощею, как островок; несколько правее, за семь верст, показывается вполовину из-за горы кирка нейгаузенская, отдаленная от русского края и ужасов войны, посещавших некогда замок; далее видны сизые, неровные возвышения к Оденпе, мызы и кирки. Левее струится из мрачной дали прямо на Нейгаузен дорога рижская, еще левее чернеет цепь гор гангофских, между которыми поднимает обнаженное чело свое, как владыка народа перед величеством бога, царь этих мест Муннамегги (Яйцо-гора), наблюдающий, в протяжении с лишком на сто верст, рубеж России от Мариенбурга, через Печоры, до Чудского озера и накрест *свою* область от Нейгаузена, через возвышения Оденпе и Сагница, до вершины гуммельсгофской. Между горами видна и знакомая нам оппекаленская кирка. Все как на блюде! Русская, однако ж, сторона закрыта отсюда скатом Кувшиновой горы, как полою шатра великолепного. Чем далее поднимаешься по этому скату, тем картина расширяется и углубляется. Глаз без помощи орудия отказывается схватить все, что она предлагает ему. На вершине Кувшиновой сильнее бьется сердце русского: с нее видишь сияние креста и темные башни печорского монастыря, место истока Славянских ключей, родины Ольги, Изборск, и синюю площадь озера псковского. Здесь уже настоящая Русь! Только *полуверцы*, — обычаями, верою, языком смесь лифляндцев с русскими, — означают переход из одного края в другой.

Во время, которое описываем, замок представлял, как и ныне, одне развалины. Взорван ли он и покинут без боя шведами, безнадежными удержать его с малым *стреженем*, который он мог только в себе вмещать, от нападений русских, господствовавших над ними своими полевыми укреплениями, давним правом собственности и чувством силы на родной земле; разрушен ли этот замок в осаде русскими — история нигде об этом не упоминает. Известно только, что последние в 1072 году уже властители Нейгаузена. Здесь и у стен печорского монастыря было сборное место русских войск, главное становище, или, говоря языком нашего века, главная

*квартира* военачальника Шереметева; отсюда, укрепленные силами, делали они свои беглые нападения на Лифляндию; сюда, не смея еще в ней утвердиться, возвращались с победами, хотя еще без славы, с добычею без завоеваний; с чувством уже собственной силы, но не искусства. Здесь полководцы, обезопасенные упрямою беспечностью Карла, имели время обдумывать свои ошибки, готовить новые предначертания и учиться таким образом науке войны над непобедимыми того времени.

Стан русских оброил возвышенный берег Лелии и всю отлогость горы Кувшиновой до вершины ее. Изгибами своими казала эта отлогость, будто зыблется под многочисленным воинством. Он весь виден был с ливонской стороны: белые ряды палаток и между ними отличные, начальнические, черные нити регулярной конницы, пестрые табуны восточных всадников, пирамиды оружий, значки, пикеты — все как будто искусно расставлено было на шашечной доске, немного к зрителю наклоненной. Пушки выдвинули жерла свои из развалин замка и *раскатов*, воздвигнутых по сторонам ее и уступами в разных местах горы; бегущие из-за них струйки дыма показывали, что они всегда готовы изрыгнуть огонь и смерть на смелых пришельцев из Ливонии. Луч утреннего солнца, отзолачивая развалины замка, скользя по орудиям и теплясь в крестах походных церквей, расцвечивал эту картину.

Замок и передовые укрепления на берегу Лелии сторожили кроме полевой артиллерии драгунские полки Кропотова и Полуектова и пехотный Лимы. Везде видны были эти полководцы вместе, и в стане и против огня неприятельского. Продолговатый холм в средине горы, близ печорской дороги, где стояла богатая турецкая ставка с блестящим полумесяцем на верхушке ее, охраняла почетная стража: Преображенский и Семеновский полки и сотня дворян московских. Семеновцами командовал любимый начальник их, подполковник, князь Михайла Михайлович Голицын, преображенцами — майор Карпов; один более другого встречавшиеся на перепутьях этой войны, где только говорилось о чести русского оружия. В рядах московской сотни находился сын военачальника, *волунтер* Михайла Борисович, уже с именем храброго офицера и неизменного товарища. Старый, созданный родителем Петра I, Бутырский полк, прославившийся на приступах Азова, имевший

счастье избегнуть неудачи при Нарве, но в первой сшибке со шведами при Эррастфере изведавший сладость победы, стоял неподалеку отборной стражи, готовый заменить ее. До двенадцати драгунских полков разных имен, более или менее известных, основания трех эскадронов московских гусар, копейщиков и рейтар, несколько пехотных полков стройно расположены были по отлогости горы. Перед лицом стана, за речкою Лелией, отправлял должность передового стража знаменитый татарский наездник Мурзенко: он занял с пятисотнею своею продолговатый зеленый холм, одиноко возвышавшийся в долине. Печорский монастырь, вновь укрепленный, охранял *ертаульный* воевода Иван Тихонович Назимов.

В стане, в бесчисленных местах, закурился дымок, приятный для обоняния солдат; уже везде около котлов засуетились кашевары. Также калмыки и башкирцы готовили свой обед; вдоль и поперек долины скакали восточные витязи, запаривая под седлом нежное мясо жеребят. Затрубили к водопою, и ряды конницы, как нагорные ключи, потекли из стана. С другой стороны свистом и гарканьем отвечали на звук труб, и послушные этому зову табуны поспешали к речке. Оба берега ее оступили тысячи коней. Звонкое ржание, глухой топот, суетливый говор, крик — все слилось в какой-то тревожный гул, полный торжества жизни. Но скоро все пришло опять в прежнее положение.

Посмотрим ближе, что делалось во внутренности лагеря. Подойдем к ставке фельдмаршала. Возле нее ходил на часах преображенский солдат, статный, бравый, кровь с молоком. Походка его была мерная, движения изученные. Одежда на нем, будто он снарядился в маскерад: не к лицу ему треугольная шляпа и распущенные волосы; немецкий широкий кафтан *не по нем* сшит; исподнее платье стягивало его ноги. Но изменявшие ему по временам, хотя немедленно сдерживаемые ухватки, огонь, разыгрывающийся в глазах его, казалось, говорили: «Остригите мне волосы, сбросьте этого жаворонка с головы, скиньте с меня этот халат, подпояшьте меня крепко кушаком, который я с детства привык носить и которым стан мой красовался, дайте волю моим ногам — и вы увидите, что я не только шведа — медведя сломаю, догоню на бегу красного зверя: вы увидите, что я русский!»

По правую сторону ставки, у входа ее, стояла *коля-*

*сочка* с литаврами; тут же бродило несколько трубачей. Инструменты их были разложены на козлах. В некотором расстоянии от палатки трапезничали за длинным столом, накрытым скатертью браной, священники, офицеры и поселяне обоего пола, человек до пятидесяти. Здесь гостеприимство русского барина угощало, без разбора званий, всякого, кто не имел *своего* стола или насущного хлеба. Если самого фельдмаршала не было с ними, так это значило, что важное дело отозвало его от *хозяйничества*, которое не хвастливость, но добродетель наследственная положила себе обетом. Мало, что всякий бедный мог вкушать от его трапезы: он был еще оделяем деньгами. Так жили деды наших бар! Кругом братского стола прислуживал рой *холопов*: дворецких, мундшенков, егерей, сокольников, ловчих, гайдуков, скороходов и камердинеров, составлявших пеструю дворню вельможи того времени дома и в походе. Несколько борзых собак, вероятно любимиц, шныряли под столом и около него, выжидая себе подачи. По левую сторону ставки толпились в уважительном отдалении адъютанты, ординарцы, курьеры. Далее, в углублении сцены, нами рассматриваемой, стояла палатка, у которой раскрытые при входе полы дозволяли видеть, что в ней происходило.

В ней производился суд. На переднем конце длинного стола сидел *президент*. По месту, им занимаемому, и глубокомыслию, осенявшему его приятную наружность, видно было, что в нем пожилого возраста не ждала мудрость, которой, вопреки своенравной природе, хотят назначить постоянный срок. В глазах его с проницательностью ума спорило, однако ж, беспокойство сильных страстей; редко сходила с губ его усмешка осуждения. Одежда его показывала некоторую небрежность; по камзолу, расстегнутому почти до нижней пуговицы, висели длинные концы шейного платка; обшлаг у левого рукава был отворочен. Это был Рейнгольд Паткуль. На этот раз, по болезни генерал-аудитора, исполнял он его должность. Каковым видели его теперь, таковым бывал он в ставке фельдмаршала и во дворце. Он не старался скрыть себя; ни одежды, ни движений, ни чувств не подчинял формам; он весь был наружу. Свободные движения его в обществе высших хотя и не изменяли правилам светского образования и знанию придворной жизни, должны были, однако ж, пугать взоры и чувства людей, воспитанных в стро-

жайшей почтительности к старшим, если не в страхе к ним.

Перед главным судьею лежали накрест *белый посох* и *обнаженная шпага* — знаки чистоты суда и возмездия пороку. Во всю длину стола, по обеим сторонам его, сидели члены суда, *асессоры*, из высших офицеров разных полков; у нижнего конца стола священник в епитрахили, с крестом в одной руке, а другую — положив на Евангелие. От него неподалеку стояли трое солдат, закованных в железа: лица их говорили, что они ждали своего приговора. Засучив рукава своего засаленного зипуна, заткнув большой палец левой руки за красный кушак, спереди потонувший в отвислом брюхе, прижался к стене мужичок отвратительного и зверского лица. Он то морщился, как бы недовольный медленным судом, и огромным перстом правой руки, на котором могли бы улечься три обыкновенных, почесывал налитую кровью шею, исписанную светлыми рубцами, то важно поглаживал целою ручищею своею рыжую бороду, искоса посматривал на собрание и улыбался, едва не выговаривая: «И я здесь что-нибудь да значу!» Он ждал своих жертв. Это был палач Оська, по прозванию и отличительным признакам его мастерства — *Томила.* Глубокое молчание царствовало в заседании: можно было слышать скрип работающего пера. Вокруг стола ходила по рукам бумага, которую всякий, прочитав про себя, подписывал. Она обратилась к президенту, который, также прочитав ее еще раз, подписал и весь лист кругом *очертил узлами*, чтобы невозможно было ничего приписать в нем. Наконец президент встал и за ним асессоры. Он положил правую руку на посох и меч. Все сотворили знамение креста, кроме немцев, которые вместо того благоговейно сложили руки на грудь. Потом он отдал бумагу секретарю для прочтения и громко произнес:

— *Богу единому слава!*

Секретарь начал читать дело о порублении Андреем Мертвым татарина саблею и приговор, коим он, согласно двадцать шестому артикулу Воинского устава, должен бы быть *живота лишен* и отсечением головы казнен. Такому ж наказанию, по двадцать пятому артикулу, подвергался Иван Шмаков, дерзнувший поколоть своего полковника Филиппа Кара. Но в уважение, что раны порубленного татарина подавали надежду к исцелению и что у полковника пробиты были только мундир

и фуфайка, Мертвый приговаривался к наказанию батожьем, а Шмаков к выведению в железах перед фрунтом и к пробитию руки ножом. Важнее этих преступников был третий, казак Матвей Шайтанов, *чернокнижец*, ружья *заговоритель* и *чародей*. А как, по толкованию первого артикула Воинского устава: «наказание сожжения есть обыкновенная казнь чернокнижцу, ежели оный своим чародейством вред кому учинил или действительно с диаволом обязательство имеет»; но поелику он чародейством своим никому большого вреда не учинил, кроме заговора ружей, присаживания шишки на носу и прочего и прочего, и от *обязательства с сатаною отрекся* по увещанию священника, то приговаривался он к прогнанию *шпицрутеном* и церковному публичному покаянию. Тут палач нахмурился, по-видимому недовольный облегчением наказания. Казалось, на узком его лбу вклеймены были слова: «Ах! кабы меня сделали главным судьею, я все б усиливал приговор, чтоб нашей братье была работа». Паткуль, нечаянно взглянув на него, прочел его сожаление: он сменил этот зоркий взгляд другим, грозным, и дал знак, чтобы преступников удалили для немедленного исполнения над ними приговора.

Судейская мало-помалу начала пустеть. Остались Паткуль и три высших офицера; их заняло чтение каких-то приготовительных бумаг. Вскоре внимание их прервано было приходом *румормейстера*, блюстителя порядка на маршах и в лагере, за которым, между двумя солдатами с мушкетами на плече, следовал русский крестьянин. В глазах его горело дикое ожесточение; он не склонялся головою; уста его искривлены были презрением. Длинная борода у него делилась надвое, представляя из себя два языка; широкий серый зипун, сзади весь в сборах, спереди в двух местах застегнутый дутыми медными пуговицами, едва покрывал колена. В левой руке держал он *лестовки*, в правой — посох. Румормейстер подал Паткулю бумагу и доложил ему, что этот крестьянин втерся между братьею за общий стол, не крестился, подобно другим, садясь за него, не ел, не пил, чуждался всякой беседы, беспрестанно плевал и творил, то шепотом, то вполголоса, молитвы; потом, вставши из-за стола, бродил около фельдмаршальской ставки, хотел взойти в нее, но, быв удержан часовым, бросил в палатку свернутую бумагу.

— Фельдмаршал, — продолжал офицер, — поднял

ее и, успев прочесть только три первые слова — так именно приказано доложить мне вашему превосходительству, — повелел мне отвесть сюда подозрительного крестьянина за крепким караулом, отдать вам подметную *цидулу* и сказать, чтобы вы *поволили* исследовать, кто такой этот мужичок и не лазутчик ли от шведов или другой какой *шельм*, также и наказать его по усмотрению вашему. Он полагает, что предмет сей до вашей особы касается.

— Что это за урод? — сказал Паткуль, принимая от румормейстера бумагу.

— Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас! — произнес крестьянин. — Господи! спаси нас от нечистыя силы.

Паткуль посмотрел на него и усмехнулся, но, развернув поданное ему письмо и взглянув на первые слова, вспыхнул, вскочил со стула, подошел к крестьянину и, тряхнув его за ворот, задыхающимся голосом спросил его:

— Паткуль изменник? кто это пишет?

— Христианин зарубежный, — отвечал спокойно вопрошенный.

— Какой христианин! Лжец, обманщик, сатана! — закричал Паткуль, не в силах будучи владеть сам собою.

— Брешешь, басурман! Пославший меня учитель православныя, соборныя, апостольския церкви и мы, братья ему по духу, исповедуем закон правый. В вашем сборище, в крещении отщепенцев, беси действуют; учение ваше криво, предание отцов ваших лживо, закон ваш проклят. Ты щепотник, табачник, скобленое рыло, и с тобой сидящие никонианцы — слуги антихристовы. Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас!

Паткуль взглянул на него, пожал плечами, сел опять на стул и, хладнокровно сказав:

— Он — сумасшедший! — стал читать продолжение подметного письма.

Между тем один из офицеров, сидевших в палатке, примолвил:

— Это злой раскольник!

— Он ослушник царского величества указа! — воскликнул другой. — Осмеливается показываться в народе без желтого раскольнического лоскута на спине!

— Имеешь ли ты *бородовую* квитанцию? — сказал третий. — Ему надобно бороду обрить.

Раскольник молчал.

— Его надобно строжайше судить! — закричали двое офицеров вместе.

Крестьянин, покачав головою, отвечал:

— Аще пойду под иноверный суд, достоин есмь отлучения от церкви.

Здесь один из офицеров хотел убедить его словами из Священного писания: «Всяка душа властем предержащим да повинуется: несть бо власть, аще не от бога».

— Не претися о вере и мирских междоречий пришел я к вам, никонианцам; досыта учители наши обличили новую веру и вбили в грязь ваших фарисеев. Как видно, вы не рассмотрения и не правды ищете, но победы и одоления. Ваша правда, аки паутиное ткание, прикосновением крыла бездушныя мухи разоряется. Како бо пети господню песнь в земле чуждой, в земле бесова пленения? Несть здесь воздвигающего долу лежащих, несть руководящего. За рубежом тот, кто бы изобрел сокровище, четыредесятним пеплом загребенное, кто бы собрал воедино стадо расточенное, кто бы процвел, яко сельный крин, обогатити связанных нищетою, просветити во тьме седящия, укрепити изнемогающия, свободити бедств и скорбей исполненныя. Там образование горнего Сиона, там начертание горнего Иерусалима! Образумьтесь, суетные, откройте глаза, слепотствующие! Идите за мною и обрящете сокровища нетленныя [1].

— Благодарствуем, любезный! — сказал офицер, понюхивая табак. — Не хочу ради вашей веры ни сгореть в огне, ни голодом умереть. Ты не морельщик ли?

— Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас!

— Или из беспоповщины, где вместо попов девки служат?

Раскольник молчал.

— Нетовщик, что ли? Ну, говори, ведь мы знаем все ваши бредни. Вы не признаете православного священства и таинств в мире? Адамантова согласия, что ль? Ваша братия по каменной мостовой никогда не ходит: не так ли? Титловщик? Ну, говори, борода! (Офицер потряс его порядочно за бороду, но он молчал.) Можно

---

[1] Весь этот разговор взят почти слово в слово из старообрядческих актов, изданных в свет.

заставить тебя говорить. У Оськи Томилы немые песни поют: знаешь ли ты?

Раскольник горько усмехнулся и отвечал:

— Ешьте мое тело, собаки, коли оно вам по вкусу. Ведаем мы, православные, что вера правая и дела добрыя погибли на земли. Наступило время последнее. Антихрист настал; и скоро будет скончание мира и Страшный суд. Ох, кабы сподобился я святым страдальцем предстать ко господу!

Во время допросов крестьянина высшим офицером Паткуль продолжал читать подметное письмо. В этом письме давалось за известие фельдмаршалу, что Паткуль, изменник и предатель, связался с злодеем, который, под видом доброжелательства русскому войску, старается заманить его в сети, предать начальнику шведскому и погубить. Злодей этот кажется не тем, что он есть. Если бы фельдмаршал знал, кто он такой, то купил бы голову его ценою золота. Сам царь дорого заплатил бы за нее. Сочинитель письма обещается подвести обманщика, с тем чтобы войско русское, особенно Мурзенко, не тревожили на жительстве зарубежных христиан.

Прочтя это письмо, Паткуль задумался: какое-то подозрение колебало его мысли и тяготило сердце. «Неужели? — говорил он сам себе. — Нет, этого не может быть! Понимаю, откуда удар! Нет, Вольдемар мне верен». Окончив этот разговор с самим собою, он поднял глаза к небу, благодаря бога за доставление в его руки пасквиля, разодрал его в мелкие клочки и спокойно сказал присутствовавшим офицерам:

— Оставим эту заблудшуюся овцу. В лагере нет дома для сумасшедших; так надобно отпустить его туда, где больные одинакою с ним болезнию собрались ватагой. Что делать? Заблуждение их есть одна из пестрот рода человеческого. Предоставим времени сгладить ее. Ум и сердце начинают быть пытливы сообразно веку, в который мы живем: наступит, может быть, и то время, когда они присядутся на возвышенных истинах.

— Но подметное письмо? — спросил румормейстер.

— Пасквиль именно на меня, — сказал, усмехаясь, Паткуль. — А как мое доброе имя не может пострадать от сумасбродных людей, то я сочинителю письма и посланнику его охотно прощаю. С тем, однако ж, — прибавил он, обратившись к раскольнику, — подобных бумаг в стан русских не пересылать. Смотри! перескажи

это, закоснелый невежа, своему учителю. В противном случае Мурзенко с своими татарами отыщет его в преисподней. Тогда не пеняйте на изменника Паткуля. Вот мой ответ: слышишь ли?

— Близок час Страшного суда! — вздохнув, отвечал раскольник.

— Теперь, — продолжал Паткуль, обращаясь к румормейстеру, — передаю вам пленника. Прошу вас поступить с ним великодушно.

Румормейстер, обещав не делать ему никакого телесного истязания, принял раскольника в свое ведение; но, желая согласить веселый нрав со своею обязанностию, повелевающею ему ловить и наказывать, как нарушителей спокойствия в стане, подметчиков писем, рассевающих ложные слухи, и ослушников царских указов, решился подшутить над своим пленником. Он отвел его за караулом к высокому берегу Лелии, велел нескольким солдатам окружить раскольника, поставить его на колени и положить голову его на барабан. Во всю эту операцию крестьянин произносил только:

— О имени господа бога и спаса нашего страдахом.

Но, как скоро увидел, что цирюльник собирался брить ему бороду, он начал бороться с солдатами, проклинал всех, ревел и, наконец, умолял лучше умертвить его. Стоны его раздавались по лагерю. Сильные руки сжали ему рот, держали его за волоса, за два конца бороды, за ноги, затылок — и сокровище, которое было для него жизни дороже, — борода упала к ногам нечестивых никонианцев, которые с хохотом затоптали ее. Смертная бледность выступила на его лице; холодный пот капал со лба; пена во рту клубилась; как вкопанный в землю стоял он. Вдруг какое-то исступление оживило его черты, глаза его страшно запрыгали:

— Настала кончина века и час Страшного суда! Мучьтесь, окаянные нечестивцы! я умираю страдальцем о господе, — произнес он, пробился сквозь солдат и бросился стремглав с берега в Лелию. Удар головы его об огромный камень отразился в сердцах изумленных зрителей. Ужас в них заменил хохот. Подняли несчастного. Череп был разбит; нельзя было узнать на нем образа человеческого.

— Собаке собачья смерть! — сказал румормейстер и велел писарю изготовить *репорт* высшему начальству об этом происшествии.

— На чью-то душу грех ляжет? — роптали в унынии солдаты.

Как водится, зарыли самоубийцу в лесной глуши. Говорили в последствии времени, что на месте том видели осьмиконечный деревянный крест и слышимо бывало, раз в год, жалобное протяжное пение.

## *Глава вторая*
## ПОСЛАННИК

> Со взором, полным хитрой лести,
> Ей карла руку подает,
> Вещая: дивная Наина!
> Мне драгоценен твой союз.
> Мы посрамим коварство Финна.
>
> *Пушкин*

Суд и происшествие это отдалили нас от ставки фельдмаршальской. Возвратимся к ней и послушаем, что там говорится. В ней слышны были два голоса: долго и тихо беседовали они между собою на полурусском и полунемецком языке, как будто совещались о весьма важном деле; по временам раздавался третий, пискливый голосок. Наконец один из совещателей произнес твердо и чисто по-русски:

— Смотри же, Голиаф Самсонович! не ударьте лицом в грязь да выполните дельце чистенько.

На эту просьбу, в которую вкрадывалось повеление, отвечал тоненький голосок:

— Потолкуй еще, Борис, да потолкуй; поворожи да еще накажи. Тебя бы Августом, а не Борисом звать. Эко диво один блин не комом испечь! Ныне времена не те: послан за одним делом, сделай их пять хорошенько! Это по-*батюшкиному* да по-моему. О, ох, вы полководцы! гадают по дням и ночам на каких-то басурманских картах, шевелят, переворачивают, думают думу великую, а с места ни шагу. Добро б ломали голову, как целый край забрать; а то сидят, бедняги, повеся нос над бедной деревушкой, которую муха покроет, с позволения сказать... Тьфу!.. По-моему, взял ее, да и помарал на карте; в глазах не рябит, и в голове заботушкой меньше. Эх, Борис! кабы не пугнул тебя *батюшка* на легкий день, да на Новый год, под Ересфер, ты бы, чай,

и теперь переминался, как дать шведу щелчок и отплатить ему за нарвскую потасовку.

— Заврался, Голиаф! — произнес прежний повелительный голос.

— То-то и есть, — продолжал тоненький голосок, — теперь Голиаф, а давеча Самсонович! Недаром говорят, что бояре правды не любят. Это, видно, не чужую рубашонку дерут. Приложу к правде другую, выйдут две; локоть выше головы не будет... честь имею репортовать высокоповелительному, высокомощному господину... Прощай, Боринька! будь покоен, mein Herzens Kind! [1] все будет исполнено по-твоему. Adieu, mein Herr Patkul! [2] Большой такой, гросс? черна волос... шварц? не правда ли? o ja! o ja! gut! gut! [3] Ильза повезет меня к нему?.. Девка славная, по мне! Да скажи ему, Борис, что он будет отвечать мне своею головой, если приятель его набедокурит надо мною: ведь я не Карлуша!

С последним словом выползла из палатки маленькая живая фигурка, от земли с небольшим аршин, довольно старообразная, но правильно сложенная. Этот человек был в треугольной, обложенной мишурным галуном шляпе, из которой торчало множество павлиньих перьев, в алонжевом парике, пышно всчесанном, в гродетуровом сизом мундире с бархатным пунцовым воротником и такими же обшлагами и с разными знаками из золотой бумаги и стекляруса на груди, при деревянной выкрашенной шпаге. Это был карла Бориса Петровича Шереметева — необходимая потребность знатных людей того времени! Для сокращения походного штата он же исполнял и должность шута.

Сам государь бывал всегда окружаем этими важными чинами. В извинение слабости, веку принадлежавшей, надобно, однако ж, сказать, что люди эти, большею частью дураки только по имени и наружности, бывали нередко полезнейшими членами государства, говоря в шутках сильным лицам, которым служили, истины смелые, разveселяя их в минуты гнева, гибельные для подвластных им, намекая в присказочках и побасенках о неправдах судей и неисправностях чиновных испол-

---

[1] мое дорогое дитя! *(искаж. нем.)*
[2] Прощайте, господин Паткуль! *(фр.-нем.)*
[3] о да! о да! хорошо! хорошо! *(нем.)*

нителей, — о чем молчали высшие бояре по сродству, хлебосольству, своекорыстию и боязни *безвременья*. Карла, или шут, искал только угодить своему господину, не имел что потерять, а за щелчком не гонялся: неудовольствие посторонней знати не только не пугало его, но еще льстило его самолюбию. По наружности обиженный природою, он утешался, по крайней мере, тем, что в обществе людей не только не был лишний, но еще играл ролю судьи и критика и имел влияние на сильных земли. Нередко уважали его и даже боялись. Одним словом, шуты были живые апологи, Езопы того времени.

Карлу Шереметева любили почти все солдаты и офицеры армии его, не терпели одни недобрые. Он знал многие изречения Петра Великого и умел кстати употреблять их.

Нарядный человечек отошел несколько от палатки фельдмаршальской, стал на бугор, важно раскланялся шляпою на все стороны, вытянул шею и, приставив к одному из сверкающих глаз своих бумагу, сложенную в трубку, долго и пристально смотрел на Муннамегги. Солдаты выглядывали сначала из палаток, как лягушки из воды, потом выползли из них и составили около него кружок.

— Здравствуй, названая кума! здравствуй, душечка! — сказал карла, кивая горе головою и посылая ей по воздуху поцелуи.

— Кого ж ты, ваше благородие, с нею крестить-то собираешься? — спросили два молодых солдата Преображенского полка.

Карла начал морщиться, пожимать плечами и, закрыв глаза ручонками своими, запищал жалобным голосом:

— Остыдили, осрамили отца-командера! да еще кто ж? Кажись, гвардейцы. Эки недогадливые! Кого ж чухонке с русским крестить, как не шведенка?

— Ха, ха, ха! и дельно так! — отвечали несколько солдат.

— Да что ж названая кума не жалует к тебе?

— Спесива, ребятушки, хватики, молодцы! позывает меня к себе на крестины. Жду и ныне зова, как петух на взморье; да где ж мне... одному?

— Прикажи, отец-командер, выручим! — закричал Бутырского полка солдат с седыми усами.

— Тебя выручим, а чухонку выучим, чтобы не спесивилась, — повторили несколько голосов.

К а р л а. Уж мы ее *взъересферим!* Добро, злодейка! (*Грозится на лифляндскую сторону.*)

С т а р ы й с о л д а т. Кого ж из нас выберешь для школы?

К а р л а (*задумавшись*). Вот те и задача! Преображенцы-молодцы со крестом и молитвою готовы один на двоих; будет время, что пойдут один на пятерых. Верные слуги царские! с ними не пропадешь. Семеновцы-удальцы, потешали, вместе с преображенцами, батюшку, когда он еще был крохоткою. Теперь надежа-государь вырос: рукой не достанешь! потехи ему надобны другие, не детские! Вырвут из беды да из полымя; будут брать деревни, города, крепости, царства... Только жаль, командер у них... плохой.

М н о ж е с т в о с е м е н о в ц е в (*выступая вперед, с досадою, в разные голоса*). Плохой?

— В уме ли ты, Самсоныч?

— У нас командер не переметчик какой немчура Якушка, Крой, Брусбард или Умор, а русский боярин, князь Голицын.

— С ним мы умереть готовы.

— Голицыны всегда служили царям верою и правдою, не изветами.

— Дай бог нашему Михайле Михайловичу многие лета здравствовать!

— Дай бог роду его несчетные годы красоваться!

К а р л а. Прост, ужас прост!

Н е с к о л ь к о г о л о с о в. Докажи, бесенок!

С т а р ы й с о л д а т. Эки вороны! разве не видите, что Самсоныч балясы точит, нас морочит?

К а р л а. Солдат кормить жирно — страх нездорово животу! Кармана не набивает, государевой казны не крадет.

О д и н и з т о л п ы. То-то начальник: чист перед царем, как свечка перед образом Спасителя! Солдатская слеза на него не канет в день Судный.

К а р л а. Что ж он сделал еще доброго?

О д и н з а д р у г и м. Он первый показал нам, что шведские ружья не заколдованы.

— Он первый шел в огонь под Ересфером и прорезывал нам дорогу своею молодецкою грудью.

— А где он шел, там делалась улица из шведского полка.

К а р л а. Экой ум! лба не жалеет за матушку за церкву, за царя-надежу. Как будто у него тройной

череп! А я расскажу вам про одного: то-то разумник, то-то бисерный! Сначала, как услышал тревогу, так и убрался под пушку, а потом — знать, бомбардир ударил его банником...

Многие. Поднес ему бомбардирскую закуску! Ха-ха-ха!

Карла. Потом ускользнул он ко мне в обоз. Лишь кончилась беда, он первый рассказывал, как дело шло, где кто стоял, что делал, как он пушки брал. Послушать его, так уши развесишь, поет и распевает, как жаворонок над проталинкой.

Старый солдат. Видно, какой-нибудь матушкин сынок, вырос во хлопках да на молоке: по-телячьи и умрет! Благодарение богу! в нашем полку таким боярам не вод.

Карла. А что ваш князь Михаил? сделает дело на славу, да и молчит. Ну кто бы знал про его храбрество?

Старый солдат. Как! кто бы знал? Не все хорошей славе на сердце лежать, а дурной бежать; и добрая молва по добру и разносится. От всего святого русского воинства нашему князю похвала; государь его жалует; ему честь, а полку вдвое. Мы про него и песенку сложили. Как придем с похода по домам, наши ребята да бабы будут величать его, а внучки подслушают песенку, выучат ее да своим внучатам затвердят.

Карла (*запрыгав и забив в ладоши*). То-то молодец, то-то удалец! Умрет, да не умрет! (*Скидает шляпу.*) Станет и в царстве небесном по правую сторону. Эка слава! эка благодать! Простите, ребятушки! не помяните меня лихом за ошибку.

Старый солдат. Ничего, Самсоныч! мы ведаем, что ты пошучивал, а шутка ведь не убивает, хоть она у тебя попадает иногда не в бровь, а прямо в глаз. Иной думает — ты спросту, ан у тебя штука — да загвоздка.

Карла. За прощение покажу вам утешение. Уж то-то штука!

Несколько голосов. Покажи, Самсоныч, покажи. Ты ведь затейник большой.

Старый солдат. Да ты, чай, устал, Самсоныч? Садись ко мне на колена, а ребята в кружок около тебя.

Несколько голосов. Ко мне, ко мне, Самсоныч!

Карла (*оглядываясь*). У старика совестно сидеть: ведь я тяжел, куда как тяжел! (*Выбирает дюжего, молодого парня из драгун и располагается у него на коле-*

*нах.*) Люби ездить, дружок, люби и повозить. Слушайте же, православные, да... (*Отстраняет некоторых рукою, чтобы ему не мешали видеть Муннамегги.*)

Солдат. Что ни говори, а все кума на уме!

Карла. Зазнобила сердечушко; только вы, ребятушки, и заживите рану снадобьем пороховым, вырвете занозу штыком молодецким. (*Развертывает ландкарту Лифляндии в большом размере, с разными украшениями.*) Посмотрите-ка сюда!

Солдаты пожимаются около него, смотрят на бумагу, иные через плечо товарищей, и передают, что они видели, тем, которые сзади ничего не могли видеть.

Несколько солдат, один за другим. Вот это на одном углу — гвардейский солдат, на другом — бомбардир, на третьем — драгун, а на четвертом — калмык — ахти, ребята! точь-в-точь полковник Мурзенко! Что ж это за грамотка размалеванная, и что они делят меж собой?

Два солдата, постарше и посмышленее других. Кружки со струйками, один более другого, словно озера!

— Смотри-ка, брат, будто жилки текут, урчайки ли уж, а может, и речки.

— Здесь окрайницы, словно у Чудского, а тут перепутано нитей, нитей-то, подобно паутине. Травки, бугорки, букашки, мурашки, крестики — и все с подписями!

Карла. Это Лифлянды сведены на бумагу.

Несколько голосов. Лифлянды? Статошное ли дело?

Карла. А вы небось думали, что латышская земля и бог весть какой огромный край. Вот этого листика для него довольно, а для России надобно листов сто таких. Хотите ли знать, где Юрьев?

Молодой солдат. Юрьев? покажи, Самсоныч!

Карла (*водя его палец*). Не тут, вот здесь, поймал! Покрой же пальцем.

Молодой солдат. Не величек же; а коли ладонь разверну, так, чай, целый край захвачу.

Карла. Вестимо.

Старый солдат. Пора бы и ладонь расправить.

Карла. А вот Ересфер, где мы на Новый год пощелкали шведов.

Солдат. Эка крохотка! а, кажись, вечер и утро дрались.

К а р л а. Круг-то большой со струйками — Чудское озеро; на берегу его Рапин, откуда Михайла Борисович выгнал шведов. (*Берет карандаш и замарывает некоторые места.*)

С о л д а т. Это ты для чего делаешь, Самсоныч?

К а р л а. Все эти места из счету вон — за нами!

С о л д а т. За нами! Вот как славно! авось мы еще помараем.

К а р л а. А вот Медвежья голова, далее — Ракобор, Колывань...

С о л д а т. Имена-то все русские, а в Лифляндах стоят!

К а р л а. Эка ты башка! ведь все Лифлянды в старину были за Россиею, за домом пресвятыя богородицы; города-то построены нашими благоверными русскими князьями и платили нам дань. В смуты наши пришел швед из-за моря — вот, смотрите, из-за этого.

С о л д а т. Отколь его, окаянного, несло! Видно, братцы, из этого моря выскакивают фараоновы люди и кричат проезжающим: долго ли нам мучиться? скоро ли, скоро ли будет преставление света?

К а р л а. Швед, как пришел из-за моря, застал врасплох наших, да и завладел всем здешним краем и святую церковь в нем разорил. За что ж дерется ныне наш православный батюшка (*снимает шляпу*) государь Петр Алексеевич, как не за свое добро, за отчину свою давнюю? Видите, как она примкнута к России, будто с нею срослась. Россия-то вправо, рубеж зеленою каемочкою означен.

С о л д а т. Чуть-чуть рубчик виден, да мы его сотрем.

Д р у г о й. Стоять будем здесь, так сами скоро заплеснеем. Под лежачий камень вода не подтечет.

К а р л а. А теперь куда бы хорошо поведаться со шведом! Скажу вам, ребятушки, весточку горяченькую, только что с пыла; я слышал ее своими ушами в ставке фельдмаршальской — да не выдайте ж меня, братцы!

М н о г и е с о л д а т ы в м е с т е. Статошное ли дело, Самсоныч? Ведь мы не некрести какие!

К а р л а (*вполголоса*). Фельдмаршал сидел вчера вечером с князем Михаилом, да с князем Василием Алексеевичем Вадбольским, да с Никитою Ивановичем Полуектовым. Взяла меня охота подслушать их: я и притаился за полою ставки, как зайчик за кустом, и слышу, Борис Петрович говорит: «Поздравляю вас, го-

спода! скоро у нас поход будет. Я для этого к вам изо Пскова приехал. Шлиппенбах задремал и думает, что мы также заснули. Распустил он полки свои по хватерам и нас, нежданных гостей, к себе не чает; а мы в добрый час да со святою молитвою нагрянем на него, как снег на голову».

Несколько солдат, один за другим. Разобьем его в пух.

— Растрясем его кармашки с ефимками.

— Возьмем Лифлянды, свое старое добро, отчину царскую.

Карла. Тогда ему и воевать не с кем будет: ведь и офицеры-то у него лучшие лифляндцы; уж сказать правду-матку, служат грудью своему государю, а как нашему крест поцелуют, станут так же служить, будут нашей каши прихлебатели. Поладим с ними, забражничаем, заживем, как братья, и завоюем под державу белого царя все земли от Ледяного до Черного моря, от Азова до...

Толстый немецкий офицер, уча рекрут, находит на толпу солдат и, разгоняя их палкой, кричит:

— Форт! форт!

Солдаты расходятся, толкуя про себя: «На беду окаянного басурмана тут наткнуло! Не спросили мы, ребята, Самсоныча, когда-то скажут поход?»

Немецкий офицер (*запыхавшись*). Ряз, двиа, уф! ног више, die Spitzen nieder [1], уф! (*Сердится, что рекруты его не понимают, скидает с себя в досаде шляпу и парик, которые трясет в руках; то, вытянувшись, как аршин, ступает по-журавлиному, то, весь искобенившись, прыгает едва не вприсядку, то бьет по носкам рекрут палкою.*) О шмерц! [2]

Карла. Палочка здоров для русска. Еще, еще прибавь. Кажись, ваша братья на муштре собаку съели, а еще не дошли до хвоста. Кабы я был немец, поделал бы для ног станки, заставил бы ходить по натянутой струнке да прыгать на одной ножке.

Немецкий офицер (*продолжая сердиться*). О шмерц! о бестолков русска народ! (*Толкает с дороги карлу.*)

Карла. Эку тучу надвинуло! словно нареченная

---

[1] носки вниз (*нем.*).

[2] О горе! (*от нем.* O, Schmerz)

кума Муннамегги! Смотри, Каспар Адамович, выучишь скалозуба русского на свою голову, на беду своей братьи, имячку «шмерца». Передаст он это прозваньице, как песенку про князя Михаила, в роды родов. Ведь русский — проказник большой: зарубит присказочку языком, не сгладишь терпугом; вставит разом в рамочку и выставит напоказ на лобное место. *(Идет далее, маршируя и приговаривая.)* Ряз, двиа, ног више, спина ниже, брюко толсто, голиовко пусто! О шмерц! о шмерц!

Немного отойдя, мишурный генерал посмотрел опять в свернутую бумагу на гору Муннамегги и, как будто заметив на ней дымок, побежал опрометью в разоренный Нейгаузен. При выходе из городка ожидала карлу женщина лет сорока, высокая, сухощавая. Она одета была, как обыкновенно снаряжаются чухонские девки в праздничные дни; но, с необыкновенною наружностью ее, одеяние это давало ей какой-то фантастический вид. На ней была повязка, подобная короне, из стекляруса, золотым галуном обложенная, искусно сплетенный из васильков венок обвивал ее голову, надвинувшись на черные брови, из-под которых сверкали карие глаза, будто насквозь проницавшие; черные длинные волосы падали космами по плечам; на груди блестело серебряное полушарие, на шее — ожерелье из *коральков*; она была небрежно обернута белою мантьею. Сквозь правильные черты пожелтевшего лица ее мелькали по временам глубокая задумчивость или дикое, буйное веселье. Голос ее то резал воздух, подобно крику вещей птицы, то был глух, как отзыв гробовой. Казалось бы, это необыкновенное существо должно бы в стане русском привлечь на себя жадное любопытство толпы; напротив, ни один взор, ни одно движение не обличали этого любопытства. Чужеземка эта в стане находилась будто в своем селении, в своем семействе. Все, от высшего до нижнего чина, знали ее по имени, разными знаками изъясняли ей свою приязнь, называли ее родными именами тетушки, сестры. Кто ж была она такая? Чухонская девка Ильза, маркитантша при корпусе Шереметева, уже два года отправлявшая эту должность. Никто скорее и лучше ее не мог достать сладкого лагерного кусочка; не было для нее ни запрещенного, ни далекого, ни скрытого. Для солдата имела она всегда искрометного шнапса и табаку-папушника. Это зелье еще недавно вошло в употребление, но уже нравилось солдату своим

приятным головокружением. Высшим чинам умела она угодить хорошею анисовою водкой, животрепещущею рыбою, мастерским варением кофе, употребление которого начинали русские перенимать у немцев, и мало ли чем еще! К тому же исправляла она в стане и должность сивиллы: генерал и профос равно веровали в этого оракула. Говорили даже, что сам фельдмаршал не раз призывал ее в свою ставку гадать об успехах русского оружия. Она предсказала ему победу под Эррастфером. Иные верили этим слухам, другие — и это была самая меньшая часть — отыскивали в этих свиданиях военачальника с ворожеей причину не столь сверхъестественную: именно видели в ней лазутчицу, передающую ему разные вести из Лифляндии, которую она то и дело посещала. Мы не можем до времени подтверждать ни того, ни другого мнения. Знаем только, что она в два года умела приноровиться к русским обычаям и выучиться несколько русскому языку, на котором говорила пополам с чухонским и немецким, приправляя эту смесь солью любимых поговорок народа, между которым хотя она и не родилась, но нашла пропитание, ласки и, может быть, утешения.

Среди обгорелых стен опустошенного городка Нейгаузена видна была Ильза, одна, как привидение. Длинною, сухощавою рукой манила она к себе нарядного карлу; белый хитон ее, удерживаемый другою рукой, парусил ветер. Подле нее стояла тележка о двух колесах, в которую запряжена была оседланная гнедая лошадка с косматою гривою, круглая, как шарик. Бойкое животное выглядывало по временам из-за маленькой, едва согнутой дуги на свою повелительницу и потом нетерпеливо ударяло копытом в землю, но с места тронуться не смело, хотя и не было на привязи. По тележке разостлано было пышное ложе из свежей соломы. Пока бежал карла к Ильзе, ее обступило несколько солдат из караульни, помещенной в развалинах одного дома.

— Скажи-ка нам слово и дело.

— Поворожи-ка нам на ручке, тетушка!

— Будет ли нам талан? — кричали один за другим, протягивая к ней руки, полновесные и широкие, как у мясника.

Сивилла, с нетерпением лошадки своей, поглядывала на ожидаемый ею предмет, осматривала попеременно простертые к ней ладони и приговаривала:

— Линия карош, mein Kindchen[1], прямо в Лифлянды! Добре, очень добре! много денех, богата замок; дом такой большой! О! пожив будет велик! мой не забудь тогда, голубчик!

— Не забудем, не забудем!

— Прощай, ребятушка! (Здесь Ильза низко присела и послала рукою одному пригожему новобранцу поцелуй, заставивший его тряхнуть головой, как будто на нем волосы были острижены в кружок, и покраснеть до белка глаз.)

— Куда ж ты спешишь, тетушка?

— Все тетушка! Я молода девочка.

— Ну скажи, сестрица-голубушка, куда?

— С моей любезный Самсоныч на Муннамегги, поколдовать для большой, большой генерал.

— Ага! смекаем! поспешеньица вам желаем.

Солдаты воротились в караульню и продолжали между собой говорить:

— Видно, быть походу, братцы! линии-то выходят у всех на Лифлянды, и ветерок туда позывает.

У входа в опустошенное местечко стоял на часах солдат из рекрут, недавно прибывший на службу, а как фельдмаршал приехал только накануне из Пскова, то новобранец и не имел случая видеть его карлу. Долго всматривался он издали в маленькое ползущее животное, на котором развевались павлиньи перья; наконец, приметив галун на шляпе, украшения на груди и шпагу, он закричал:

— Кто идет?

— Солдат! — бодро отвечал Голиаф.

— Пароль?

— Троицын монастырь!

— Извольте идти, ваше благо... высоко... перевос... ходительство, как вас звать? Да простите меня, виноват! я думал, что вы птица.

— Птица, птица! только не тебе стрелять ее, молокосос! — сердито проворчал мишурный генерал и обратился с важным поклоном к Ильзе, которая, не говоря ни слова, сделала ему глубокий *книксен*, длинными руками схватила его в охапку, посадила бережно на тележку и мигом вспрыгнула на седло. Борзая лошадка, послышав на себе повелительницу свою, понеслась с

---

[1] мое дитятко *(нем.)*.

места и засыпала ногами, как по току дружная молотьба. Скоро колесница, из которой едва торчал палаш рыцаря *веселого образа* и над которой господствовала корона сивиллы, начала исчезать из виду и наконец совсем потонула в двойственном мраке отдаления.

## *Глава третья*
## ОФИЦЕРСКАЯ БЕСЕДА

Вперед, вперед, моя исторья!

*Пушкин*

Между тем в развалинах замка собралось несколько офицеров, большею частью начальников разных полков. Вместо стульев каждый избрал себе по удобности камень или отломок стены. Налево от входа из лагеря, в тени, далеко ложившейся на землю от уцелевшей в этой стороне ограды, сидели друг к другу лицом, придерживая на коленях шахматную доску, Преображенского полка майор Карпов и драгунского своего имени полковник князь Вадбольский. Наружностию своею они составляли живописную противоположность, хотя оба известны были равными душевными достоинствами. В одежде, разговорах и обращении первого замечалась если не совершенная европейская образованность того времени, по крайней мере близкое подражание ей. Кажется, он был из числа тех молодых русских дворян, которых Петр посылал путешествовать. Следуя французской моде, он носил на голове русый, со тщанием причесанный парик, с которого пышные локоны небрежно свивались и развивались по плечам; на приятном, дышащем свежестью лице его едва означались тонкие усики. Он был в темно-зеленом мундире с узеньким, в полувершок, отложным воротником, с огромными, в маленький грецкий орех, дутыми из меди и позолоченными пуговицами, прикрепленными ремешками на правой поле, на обшлагах рукавов, на клапанах и спинке, в две четверти шириной, собранной множеством складок. Весь мундир по краям обложен был золотым позументом. На правом плече вился золотой шнурок, цепляясь за такую же, в горошину, пуговицу; на груди вздувался серебряный знак с вызолоченною арматурою и с цифрою «1700», означавшей год взятия

Азова. Камзол и короткое исподнее платье, очень удобное для бального представления, были из темно-зеленого же сукна, ярко перерезывавшего красный цвет чулок. В тогдашнее время не было еще мудрых ваксоизобретателей, и потому на майоре Преображенского полка не блестели чернокожаные башмаки, вероятно вычищенные просто постным маслицем с сажею. Зато пушок не смел пасть на мундир его: в такой он содержался чистоте!

Князь Вадбольский был без мундира, без камзола и галстуха — в пестрой, распашной рубашке с косым воротом, на котором горела богатая изумрудная запонка. На косматой широкой груди его висел наперсный серебряный крест необыкновенной величины. Смуглое, рябоватое, неправильное лицо его было залито добротою и благородством души. Слова его, не подслащенные, без украшений, считались вернее крепостных актов — они заменяли в устах его: *ей-ей, да будет мне стыдно!* Зато и дружба его была не ходячая монета: ею дорожили, как бесценным оружием, которое на важный случай берегут.

Игроки углубились в игру свою. На лбу и губах их сменялись, как мимолетящие облака, глубокая дума, хитрость, улыбка самодовольства и досада. Ходы противников следил большими выпуклыми глазами и жадным вниманием своим полковник Лима, родом венецианец, но обычаями и языком совершенно обрусевший. Он облокотился на колено, погрузив разложенные пальцы в седые волосы, выбивавшиеся между ними густыми потоками, и открыл таким образом высокий лоб свой.

Круглый большой обломок стены, упавший на другой большой отрывок, образовал площадку и лестницу о двух ступенях. Тут на разостланной медвежьей шкуре лежал, обхватив правою рукою барабан, Семен Иванович Кропотов. Голова его упала почти на грудь, так что за шляпой с тремя острыми углами ее и густым, черным париком едва заметен был римский облик его. Можно было подумать, что он дремлет; но, когда приподнимал голову, заметна была в глазах скорбь, его преодолевавшая.

Ниже его сидел на ступеньке Никита Иванович Полуектов; он изредка подстерегал его движения, стараясь проникнуть в их тайну, ему в первый раз не открытую.

Довольно высоко от земли, на уступе ограды, не-

брежно расположился пригожий, молодой Дюмон. Живость, любезность и остроумие его нации блестели в его глазах; по разгоревшимся его щекам развевались полуденным ветром белокурые локоны. Он то играл на гитаре припеваючи, то любовался в задумчивости прекрасною окрестностью, перед ним разостланною.

Дюмон родился в Провансе. Бедный и предприимчивый, он приехал в 1695 году искать приключений в России, стране, еще именем варварской, попытать в ней счастия и надеялся, может быть, мимоходом наткнуться на славу. С первым шагом его на русскую землю ему предложено было вступить в ряды осаждавших Азов. Служа за честь, хотя и не за свое отечество, он был один из первых на всех приступах этого города, один из первых вошел в него победителем, за что при *случае* был царю представлен Гордоном, как отличнейший офицер его отряда.

В тогдашнее время завистливые и недостойные искатели фортуны, эти шмели государства, не смыкались еще в грозные фаланги, чтобы заслонить собою заслугу, не рассыпались по разным путям, чтобы перехватить достоинство и втоптать в грязь цвет, обещавший плод, для них опасный. Служившие головой и грудью смело шли вперед, не думая угодить единственно лицу начальника, не боясь за то названия людей беспокойных.

Петр Великий видел все своими глазами, все знал и рукою верною назначал каждому свое место по старшинству ума, труда, познаний и душевных достоинств, а не по степени искательства и рода.

— *Князь Никита*, — говорил он своему любимцу, который испрашивал одному знатному человеку место не по его способностям, — *хотя и достоин той чести и сердца доброго, только не его дело.*

Можно судить, что государь с таким суждением не замедлил наградить храброго Дюмона. При образовании регулярной конницы ему дан и назван по имени его драгунский полк. С добрым сердцем и живым умом, он не мог также не быть любим товарищами. Солдаты, одушевленные быстротою его движений и речи, преданные ему за отеческие о них попечения, за внятное и терпеливое изъяснение обязанностей службы и, особенно, за то, что он один из иностранцев их корпуса носил на шее медный солдатский крест, горели нетерпением, в честь начальника своего, окрещенного любовью их к

нему в Дымонова, скусить не один патрон и порубиться на славу со шведом. Честно и молодецки выполнили они свою обязанность при Эррастфере.

Пониже Дюмона покачивался на барабане, боком положенном, капитан Преображенского полка Глебовской, молодой и наружности привлекательной. Чистым, приятным голосом вторил он мастерски прованскому трубадуру. У ног его сидел, сложив свои под себя крестообразно, Бутырского полка солдат, небольшого роста, худощавый. Седые волосы его были острижены в кружок и кваском приглажены; густые брови нависли над серыми глазами, прыгавшими будто на проволоке. Он держал двухструнную балалайку, на которой пальцы его перебегали, как молния. Иногда вслушивался он пристально в голоса Дюмоновых песней и разом переводил на свой бедный, но послушный ему инструмент. Этот чудодей был Филя, ротный скоморох и сказочник. Несмотря на смелость его в обращении и колкость языка его, зацеплявшего иногда за живое, офицеры любили его и, по-видимому, ободряли вольное его с ними обхождение.

Правей от шахматных игроков сидели на двух скамейках, на которых постланы были *аккуратно* два клетчатых носовых платка, старые полковники фон Верден и фон Шведен, первый — в пестром бумажном колпаке, кожаном колете из толстой лосиной кожи, в штиблетах с огромными привязными раструбами, другой — с обнаженною, как полный месяц, лысиною, при всей форме пехотинца. Куря табак, они рассуждали о политике. По дыму трубок их, то усиливавшемуся, как вспышка Этны, то почти умиравшему, можно было судить о степени их душевного волнения, производимого важным разбором прав шестидесятого Генриха на наследование престола рейс-эберсдорф-лобенштейнского. К одному выходу из замка разложен был огонек, уже потухавший. Обгорелый шест, которого концы опирались на двух камнях, держал медный котелок с водою; один из этих камней обставлен был сковородою с остатками изжаренной с луком жирной почки, облупленным подносом с изукрашенным золотыми цветами карафином, с двумя серебряными чарами, расписанными чернью, работы устюжской, и узорочною серебряною братиною с *кровлею*, вероятно, жалованною царями кому-нибудь из родителей собеседников при *милостивом слове*. Широкоплечий драгун с огромными усами и в засаленной ру-

башке, стоя на одном колене, обмывал в деревянной чаше оловянную посуду. По этому уголку можно было судить, что собеседники недавно подкрепили силы свои доброю закускою. Близ походного кухмейстера стоял почтенный старец Айгустов, опиравшийся иссохшими жилистыми руками на палаш. Улыбка детской непорочности порхала на устах его; он любовался тихим пламенем, переливавшимся по угольям. Изредка шевелил он их концом палаша, стараясь разбудить дремлющий огонек. Прислонясь затылком к стене и растянувшись на голой земле, спал, похрапливая, татарский наездник Мурзенко. В угодность царю-преобразователю, он сделался по наружности казаком; но большая голова, вросшая в широкие плеча, смуглое, плоское лицо, на котором едва означались места для глаз и поверхность носа, как на кукле, ребячески сделанной, маленькие, толстые руки и такие же ноги, приставленные к огромному туловищу, — все обличало в нем степного жителя Азии. Хитрость писалась резкими чертами на лице его; казалось, она и во сне его не покидала. Мурзенко славился в войске Шереметева лихим наездничеством, личною храбростью, уменьем повелевать своими калмыцкими и башкирскими сотнями, которые на грозное гиканье его летели с быстротою стрелы, а нагайки его боялись пуще гнева пророка или самодельных божков; он славился искусством следить горячие ступни врагов, являться везде, где они его не ожидали, давать фельдмаршалу верные известия о положении и числе неприятеля, палить деревни, мызы, замки, наводить ужас на целую страну. Такими качествами успел он приобрести отличное внимание начальства и государя до того, что удостоился чина полковничьего, и умел сделать себе такое грозное имя в Лифляндии, что дети переставали плакать, когда его поминали.

Общество это было в гостях у князя Вадбольского, и в ожидании трубной повестки, по которой все начальники полков должны были немедленно явиться к фельдмаршалу, разговаривали о важных и смешных предметах, пели, играли и не забывали изредка круговой чары.

— Что ты делаешь с рукою своею? — спросил Дюмон Никиту Ивановича Полуектова, который, подняв руку, держал ее несколько времени в таком положении.

— Пытаю, откуда ветер подувает! — сказал Полуектов. — Не попутный ли для моего желания? Так точ-

но! С полудня! Помнишь ли свое обещание, соловушко французский?

Д ю м о н. Довольно хоть чиж прованский! Какое же обещание, полковник?

П о л у е к т о в. Когда ветер твоей родины подует, спеть нам песенку...

Д ю м о н. О прекрасном паже короля Рене? Помню, помню и готов исполнить желание ваше, только боюсь, чтобы меня не стал передразнивать Вадбольский, как он делал это некогда в Москве, в доме князя Черкасского.

П о л у е к т о в. Злодей! Да еще при миловидной дочке княжеской, при целой веренице пригожих девушек!

Д ю м о н. Вот это-то и лежит у меня на сердце. Правду сказать, любя Россию, пригревшую меня под крылом своим, любя ваш сладкий, звучный язык, созданный, кажется, для поэзии, я с того времени старался исправиться. Вы это знаете, господа!

К а р п о в. Мы знаем, что любезный наш полковник Дюмон не пренебрегает ни языком, ни обычаями нашими. *Король берет пешку на третьей клетке коня своего.*

Л и м а. Все кончено! Дож пропал.

К н я з ь В а д б о л ь с к и й. До времени молчок, любезный Юрий Степанович! *Ферзь на четвертой клетке ладьи: шах королю!*

К а р п о в. *Король* ретируется.

К н я з ь В а д б о л ь с к и й. Теперь и я скажу: дал зевка, брат Карпов! *Ферзь на второй клетке слона. Королю шах и мат!*

К а р п о в. Поздравляю: победа за вами!

К н я з ь В а д б о л ь с к и й. Исполать! теперь поразведаемся и с певуном. Кажется, речь была о Вадбольском, который неосторожно когда-то, во времена оны, посмеялся над тем, что нерусский коверкал в песне русский язык. Грех утаить: надрывался *аз* грешный от смеху, когда этот любезник пел: *«Прости, зеленый лук! Где ты, мыла друк?»* — и многое множество тому подобного.

Дюмон смеется.

К н я з ь В а д б о л ь с к и й. Самому теперь смешно! Тогда и мне не было грустно, и я поджимал животики. Виноват, буду и вперед то же делать, когда случай придет. А то неужели, скорчив личину, подъехать было мне к вам, сударь, с турусами на колесах и обратиться со

следующею речью: «Ах! мой милый, мой почтеннейший, мой наибесценнейший Осип Осипович! как вы прекрасно изволите объясняться на русском! Не может статься, чтоб вы прожили только четыре года в России! Не поверю этому, воля ваша. Вы настоящий уроженец здешний. По крайней мере, *тятенька* или ваша маменька не живали ли в России? Ах! сколько вы чести делаете нашему народу, — ошибся — нашей грубой, варварской нации, вставляя в такую низкую оправу такой драгоценный алмаз! Ах!..» Еще ах! Тут пошли бы иудины лобзания, братские пожимания руки... а лишь за стенку — так не только расписал бы сажею наречие друга закадышного, да и все кишочки б его вымыл. Деды и отцы не тому нас учили. По-нашему: смешно, так смейся, груди легче и сердцу веселее; дурно — поправь; а когда не слушают — плюнь да отойди от зла; нездорово — так помоги; грустно — так погрусти немного, а хандре воли не давай, как наш Семен Иваныч, буди не к вечеру сказано...

П о л у е к т о в (*обращаясь к Кропотову*). Христос с тобой! Здоров ли ты, друг?

К р о п о т о в. Телом здоров, только духом упал, как баба. Такая грусть, такая тоска на меня напала ныне, хоть бы бежать в воду.

К н я з ь В а д б о л ь с к и й. Ге, ге! не белены ли ты объелся, Семен, что собираешься не христианскою смертью умереть? Лучше положить живот на поле бранном, сидя на коне вороном, с палашом в руке, обмытым кровью врагов отечества.

К р о п о т о в. Смерти не боюсь; в жизни бывают обстоятельства мучительнее ее.

К н я з ь В а д б о л ь с к и й. Разве совесть твоя нечистенька? Не верю этому. Неизменный слуга царский, православный христианин словом и делом, хороший муж, добрый отец...

К р о п о т о в *(с горькой усмешкой)*. Добрый отец!.. Прекрасный... образец отцам!

П о л у е к т о в. Полно, князь Василий, его расшевеливать: видишь, ему не по себе.

К н я з ь В а д б о л ь с к и й Что ж? у него болит сердце, может быть, к радостной вести о походе. *(Поет.) Тра-ра-ра! В литавры забьют и в трубы затрубят*. Гаркнут: на коней! и с нашего Сени хандра, как с гуся вода.

М у р з е н к о *(протирая себе глаза)*. На коня? Кто, что?

К н я з ь  В а д б о л ь с к и й. Мимо проехали! Спи себе, Мурза, покуда есть время спать; может быть, ночью и некогда будет. Теперь мы сражаемся со своими. Дай-ка переведаться мне с Дюмоном, а там примемся за Семена: он свой брат, подождет.

Д ю м о н. А меня разве не считаете своим? Верьте, полковник, что вы хотя иногда жестконько побраниваете, но я за то не менее предан вам и готов...

К н я з ь  В а д б о л ь с к и й. Доказать? Ты уж доказал, друг, лучше слов. Помнишь, Никита Иваныч, под Эррастфером?

П о л у е к т о в. Как не помнить! Мы не в плену, в стане русском. Этим обязаны нашему храброму товарищу.

Д ю м о н. Стоит ли об этом говорить? Кто в войске нашем не сделал бы того же? Но, господа, вы просили меня о песенке...

К н я з ь  В а д б о л ь с к и й. Нет, братец, ты меня за живое задел. Теперь не взыщи, дай мне спеть свою песенку; твоя будет впереди. Мы, русские, простачки: сделай-ка нам добро, умеем чувствовать его, хоть не умеем рассыпаться мелким бесом. Фон Верден! ты еще не слыхал этой *гистории*?

Ф о н  В е р д е н *(кашляя)*. Нет еще, высокоблагородный господин полковник!

К н я з ь  В а д б о л ь с к и й. В этих высокоблагородиях да высокородиях черт ногу переломит. Иной бы и сказал: высокий такой-то, а сердце наперекор твердит — низкородный и даже уродливый. Ой, ой, вы немцы! все любите чинами титуловаться. По-нашему: *братец!* оно как-то и чище и короче. Послушайте же меня, господин полковник фон Верден: для вас эта *гистория* будет любопытна. Ведь вы под Эррастфером не были?

Ф о н  В е р д е н *(потирая себе руки)*. Не имел чести.

К н я з ь  В а д б о л ь с к и й. Мы, благодаря господа и небесныя силы, сподобились этой чести. *(Крестится.)* Да будет первый день нынешнего года благословен от внуков и правнуков наших! Взыграло от него сердце и у батюшки нашего Петра Алексеевича. И как не взыграть сердцу русскому? В первый еще раз тогда наложили мы медвежью лапу на шведа; в первый раз почесали ему затылок так, что он до сей поры не опомнится.

Вот видишь, как дело происходило, сколько я его видел. Когда обрели мы неприятеля у деревушки в боевом порядке...

Фон Верден *(обращаясь к Карпову с видом недоумения и язвительной усмешкой)*. Баевой паряток? Кашится, этого термин нет...

Карпов. По-вашему это значит — в ордере-де-баталии.

Князь Вадбольский. Ох, батюшка Петр Алексеевич! Одним ты согрешил, что наш язык и наружность обасурманил: нарядил ты оба в какие-то алонжевые парики. Ну, да за то, что просвещаешь наши умы, за твои великие дела бог тебя простит! Буди же по-твоему, фон Верден! Слушай же мой *дискурс*. Когда обрели мы неприятеля в *ордере-де-баталии* и увидели, что *регименты* его шли в такой *аллиенции*, как на *муштре*, правду сказать, сердце екнуло не раз у меня в груди; но, призвав на помощь святую троицу и божью матерь казанскую, вступили мы, без дальних *комплиментов*, с неприятелем в рукопашный бой. Войско наше, яко не *практикованное*, к тому ж и пушки наши не приспели, скоро в *конфузию* пришло и *ретироваться* стало, *виктория* шведам *формально фа-во-ри-зи-ро-ва-ла*. Желая с Полуектовым *персонально* сделать *диверсию* важной *консеквенции* и надеясь, что она будет иметь добрый *сукцес*, решились мы с ним в *конфиденции*: в *принципии* атаковать... Уф, родные, окатите меня водою! Мочи нет! не выдержу, воля ваша! Понимай меня или не понимай, фон Верден, а я буду говорить на своем родном языке. Вот видишь, нас с Полуектовым нелегкая понесла прямо на тычины, которыми окружена была мыза; мы хотели спешить своих и по-русски махнуть через забор. Не тут-то было! Шведские дуры из-за него плюнули в нас так, что мой воронок — славный конь был покойник, честно и пал! — свернулся на бок и меня порядочно придавил. Никите не было легче, как он сказывал после. Один окаянный швед собирался уже потрошить меня, а другой сдирал с шеи вот этот серебряный крест с ладанкою, подаренный мне бабушкой и крестною матерью Анфисою Патрикеевною, — дай бог ей царство небесное! «Вражья сила тебя никогда не одолеет, пока будешь носить его!» — сказала она, благословляя меня этим крестом. Я вспомнил слова ее и только что успел скусить палец разбойнику-шведу, так что и крест выпал у него из рук, вдруг зазвенел надо мною

знакомый голос: «Сюда, сюда, детушки! спасайте князя Вадбольского, спасайте Полуектова». Окаянные отскочили от меня... слышу: фит, фит, чик, чик, хлоп!.. вслед за этим назади из наших пушек попукивать стали. Узнал родных по языку их: ведь они, братцы, вылиты из колоколов московских. Вместо шведов явились передо мною два дюжих драгуна Дюмонова полка, вытащили меня из-под мертвой лошади и посадили на шведского коня. Злодей, хоть и скотина, врезал меня в басурманский полк, но тут осенили меня знамена русские. Наши гнали, швед бежал. Палаш мой на себя охулки не положил. В тот же день под сенью этих святых знамен отслужили мы благодарственный молебен спасу милостивому и пречистой его матери за первую славную победу, дарованную нам над шведами, и опричь того за избавление меня от позорного плена. Вот наш с Полуектовым избавитель! *(Указывает на Дюмона.)*

Дюмон. Не для вас, господа, а для чести моей я спешил вас выручить.

Князь Вадбольский. Что у тебя было на душе, приятель, мы не знаем и не хотим знать. Чужая душа потемки. Бог один провидец и судья ее. Человек же должен судить ближнего по делам его, а не по догадкам своего уразумения, часто кривого, и сердца, нередко ненавистного. Добро называю добром и не разбираю, почему и как оно сделано. Так и мы с Полуектовым ведаем, что мы, по милости твоей, остались живы да здоровы и не охаем в штокгольмской тюрьме, где — не нашему чета — братья доныне томятся медленною смертию, где ржа цепей грызет их кости.

Дюмон. За избавление ваше скажите спасибо еще вот этой живой кукле. *(Он показал на дремлющего Мурзенко.)*

Полуектов. Ему же за что?

Дюмон. Не его ли благодарил фельдмаршал за спасение нашего отряда с артиллерией, которую он вывел кратчайшею дорогой из снегов? не за этот ли подвиг он пожалован в полковники?

Карпов. Правду сказать, если бы не приспела в добрый час наша артиллерия, нас всех положили бы лоском на месте.

Мурзенко *(зевая)*. Аги, ага! Твоя про моя говорит? Гет, полковник, моя не знала дорог, а у моя была проводник хорош. Спроси Юрий Степанович: его шла тогда с пушкою.

Л и м а. Правда. Если б не вожатый, о котором говорит Мурза, то бог знает, что с нами бы случилось. Вот как было дело. Чуть брезжилось перед рассветом. Господин фельдмаршал подвигался с отрядом нашим к Эррастферу; но, услышав, что в авангарде начинал завязываться бой, поручил мне вместе с Мурзою привести, как можно поспешнее, на место сражения артиллерию, которая за снегом и нагорными дорогами отстала от головы войска; сам же, отделив от нас почти всю кавалерию, кроме полка моего и татар, поскакал с нею вперед. Фельдмаршал будто унес с собою хорошую погоду. Едва потеряли мы его из виду, как небо застлала огромная туча; сначала запорошил снежок, но вдруг, усилившись, посыпал решетом. С этим поднялся ветерок и завертела метелица. Дорогу начало заметать и скоро совсем заткало. Кроме снеговой сети, ничего не было видно. Лица солдат приметно изменились: они вспомнили о снеге, ослепившем их под Нарвою. К несчастью нашему, проводник, латыш, добытый Мурзою, сбился с дороги. В отчаянии он стал метаться в разные стороны и наконец, измученный, пал на снег. Кровь хлынула у него изо рта и ушей. Я подъехал к нему — он был уже мертвый; одна минута — и над ним возвышался только снежный бугор. Пораженные этим зрелищем, солдаты остановились: казалось холод его смерти перешел в них. Что до меня, признаюсь, не помню, чтобы я когда-либо испытал подобную муку. Не за жизнь, а за честь свою я опасался. Отряд был поручен мне. С морозом, думал я, русский солдат совладает; но я не мог не поспеть в дело: со мною была главная сила русского войска — артиллерия... судите о последствиях. Несчастие мое причли бы к измене: я иностранец...

К а р п о в и К р о п о т о в. Мы давно это забыли, Юрий Степанович!

П о л у е к т о в. Давно уже ты брат наш и службою и сердцем.

К н я з ь В а д б о л ь с к и й. Ты только по-нашему не крестишься.

Л и м а. Благодарю за дружбу вашу; уверен в вашем хорошем мнении обо мне; но вы... не целое войско русское. Была у меня тут мысль другая. Русские уж изведали силу свою; изведали, что побеждать могут и должны, и потому всякую неудачу, всякое несчастье причтут к измене. Начальник русского войска из иностранцев, сверх качеств, требуемых от него как от полководца,

должен еще быть счастлив. Одна неудача — и он пропал в общем мнении. Боже! не дай мне дожить до подобного опыта. Мысль, что меня почтут предателем, мучила меня более казни. Время было дорого, друзья мои! Я решился идти прямо в ту сторону, откуда слышна была пальба, все усиливавшаяся. Мы поворотили уже влево целиком и радовались, что колеса шли легче по ледяному черепу, принятому нами за дорогу, как вдруг, сквозь сеющий снег, увидели быстро двигавшуюся фигуру. «Стой!» — гаркнула она по-русски и стала передо мною и Мурзой. Здесь мог я разглядеть, что это был мужчина высокого роста, в коротком плаще из оленьей кожи, в высокой шапке, на лыжах, с шестом в руке. «Что тебе надобно?» — спросил я его, не зная, чему приписать необыкновенное явление этого человека. «Овраг — и смерть!» — произнес он глухо, ухватил мою лошадь за узду, осадил ее, сделал шага два вперед, стал на одно колено, дал знак казаку, чтобы он подержал его за конец плаща, и могучею рукою разворотил шестом бугорки, что стояли перед нами. Боже мой! в какой ужас я пришел, когда увидел вместо снежных возвышений узенький, но глубочайший овраг, заросший сверху редким кустарником; густой снег застлал пропасть. Из глубины души благодарил я бога за спасение наше; солдаты у окрайницы оврага крестились. «Кто говорит у вас по-немецки?!» — спросил меня незнакомец на этом языке. «Я, но ты по-русски объясняешься», — отвечал я ему. «Мало! Дело не в том. Время не терпит. Ваши без артиллерии пропали. За мною! я проведу вас, куда надобно», — сказал он опять по-немецки и поворотил вправо. Слова его, его движения возбуждали доверие. То, что он сделал для нас, не мог сделать недруг. Я последовал за своим избавителем и велел то же сделать всему отряду. Вожатый не шел, а, казалось, летел на лыжах; шестом означал он нам, где снег был тверже, и оставлял на нем резкие следы. Когда мы замедляли, он с особенным нетерпением махал нам рукою и указывал в ту сторону, где слышна была пальба. Нежный сын не с меньшим трогательным участием вел бы врача к одру болящего родителя. Проехав сажен двести, мы почувствовали кое-где твердость битой дороги; здесь тронулись мы маленькою рысью. Между тем снег начал редеть, скоро небо совсем очистилось, солнышко просияло, просветлели у всех и лица. Проехав еще с версту, таинственный вожатый остановился и указал мне рукою

на чернеющую вдали толпу всадников. Это были наши! «Наши!» — закричал с восторгом отряд. Я успел только, в знак благодарности, кивнуть благодетелю и бросить ему кошелек с деньгами. Мы понеслись на всех рысях. Фельдмаршал ожидал нас с нетерпением. Остальное вам известно. Честь запрещала мне принять на свой счет доставление ко времени артиллерии: я указал на Мурзу — и фельдмаршал благодарил его.

Мурзенко. Моя говорила фельдмаршалу: провожатая моя была хорош; его не слушала.

Карпов. С того времени не видал ли ты этого проводника?

Мурзенко. Просила моя Юрий Степанович отыскать его; не сыскала моя.

Лима. Да, я забыл вам сказать, что спаситель наш остановил последнего офицера в ариергарде и, отдавая ему кошелек с деньгами, брошенный мною, сказал худым русским языком: «Полковник потерял деньги; отдай их ему. С богом!» С этими словами он исчез.

Кропотов. Чудесный человек! По крайней мере, узнаешь ли ты его в лицо, если с ним встретишься?

Лима. Вряд, помню только, что он не стар, черноволос, с глазами пламенными, как наш юг.

Мурзенко. Моя увидать его, тотчас узнать.

Князь Вадбольский. Кабы отыскался он, не пожалел бы разменяться с ним по-братски крестом, подаренным мне бабушкою... те, те, те! я забыл ведь, что он немец и креста не носит. Ну, просто назвал бы я его другом и братом. Да куда ж он, чудак, девался? и что за неволя была ему таскаться по снегу в такую метелицу. Что за охота пришла немцу помогать русским?.. Тьфу, пропасть! Чем более ломаю себе голову над этим чудаком, тем более в голове путаницы. *(Творит крестное знамение.)* Оставим его, но не забудем примолвить от благодарного сердца: *дай бог ему того, чего он сам себе желает!* Теперь попросим певца Дюмона разбить нашу думушку обещанною песнею.

Дюмон *(проиграл на гитаре прелюдию и произнес с чувством, обращаясь к югу)*: Ветер полуденный! ветер моей отчизны, Прованса, согрей грудь мою теплотою твоих долин и навей на уста мои запах твоих оливковых рощ.

Князь Вадбольский *(поталкивая Карпова под бок)*. Француз без кудреватого присловья не начнет дела.

Дюмон пропел очень искусно и приятно романс, в котором описывалась нежная любовь пажа короля Рене к знатной, прекрасной девице, — пажа милого, умного, стихотворца и музыканта, которого в час гибели его отечества возлюбленная его одушевила *словом любви* и послала сама на войну. Паж возвратился к ней победителем для того только, чтобы услышать от нее *другое слово любви* и — умереть.

Когда певец кончил свой романс, иностранные офицеры в восторге захлопали в ладоши. Русские кричали:

— Славно! Прекрасно!

И Кропотова язык машинально пролепетал одобрение. Один князь Вадбольский примолвил:

— Прекрасно, братец! только жаль, не на русскую стать. Для ушей-то приятно, да не взыщи, сердца не шевелит. Это уж не твоя вина: тут знаешь, чего недостает? — *родного!*

Дюмон. Очередь за вами, Глебовской! я заплатил дань моей Франции...

Кропотов. Подай нам голос, соловей моей родины, соловей московский!

Карпов. Слышишь ли, любезный однополчанин?

Глебовской. Отговариваться не стану: я не красная девица, которую ведут к венцу; сердцем полетела бы, как перышко, а глазами показывает, будто свинцовые гири к земле тянут. Извольте, буду петь, только с тем, чтоб Филя подладил мне своею балалайкою.

Несколько голосов. Что дело, то дело!

Филя. Какую же, ваше благородие, прикажете? Надобно и нам приготовиться. Вы видели, что Осипа Осиповича обдувал теплый, родной ветерок, обливало какое-то масло прованское. *(Дюмон, смеясь, погрозил ему пальцем.)* А нам разве вспомнить свои снеги белые, метели завивные, или: как по матушке по Волге, по широкому раздолью, подымалася погодушка, ветры вольные, разгульные, бушевали по степям, ковыль-трава, братцы, расколышилась; иль красавицу чернобровую, черноокую, как по сенницам павушкой, лебедушкой похаживает, белы рученьки ломает, друга мила поминает, а сердечный милый друг не отзовется, не откликнется: он сознался со иной подруженькой, с пулей шведскою мушкетною, с иной полюбовницей, со смертью лютою; под частым ракитовым кустом на чужбине он лежит, вместо савана песком повит; не придут ни родна матушка, ни...

К р о п о т о в. Полно, Филя, ты за душу тянешь; словно поминаешь меня.

К н я з ь В а д б о л ь с к и й. Эй, брат Семен! не собирайся так скоро со здешнего света. Подожди немного: похороним с честью да со славою, только не здесь, не в стане, а там, в Лифляндии, на боевом поле. За царя и землю русскую сладко умереть и в чужбине! Благодаря вышнего, наших убитых в сражении с Нового года не топчет враг поганый, не клюет вран несытый; тела нашей братьи честно, по долгу христианскому, предаются уже земле. Кто знает, Семен Иваныч? к лифляндским землянкам, где спят наши молодцы, где, может статься, положат и наши грешные кости, придут некогда внуки; перекрестясь, помянут нас не слезами — нет, плакать бабье дело, — а словами радостными. Здесь, скажут они, лежат такой-то и такой-то. Мир праху их! Память им вечная на земли! Они были неизменные слуги государевы, верные сыны отечества: в царствование Петра Великого положили здесь живот свой. Русские — и мертвые — не хотели спать на земле чужой: они купили ее кровью своею для имени русского! Поверь мне, друг, земля, в которой мы ляжем с тобою, будет наша и останется вечно *за нами.* Отдадим ли мы иноплеменникам кладбище отцов наших? Не отдадут и наших могил на стороне ливонской дети и внуки наши; положат и на них камушки, и на них поставят кресты русские.

К р о п о т о в. Кто бы не захотел умереть под твое сладкое поминанье?

Л и м а. Грустно, может быть, Семену Ивановичу смотреть на Лифлянды, сложив руки!

П о л у е к т о в. Дай-то бог нам скорее поход, да не прогульный.

К н я з ь В а д б о л ь с к и й. Скажут поход — пойдем; не скажут — будем ждать. На смерть не просись, а от смерти не беги: это мой обычай! А что ни говори, братцы, хандра — не русская, а заносная болезнь. Ты, бедокур, своим прованским ветром не навеял ли ее к нам?

Д ю м о н *(смеясь)*. Может быть, виноват! Отдуй ее, Глебовской, русскою снеговой непогодушкой.

Г л е б о в с к о й. Давно ждал я очереди своей, как солдат в ариергарде. Ты, Осип Осипович, спел нам песню о французском паже; теперь, соперник мой в пении и любви...

Дюмон. Соперник, всегда побеждаемый в том и другом.

Глебовской. Сказать против этого было бы что, да не время. Слушай же, я спою вам песню русского *Новика*.

Как электрический удар, слово «Новик» поразило Кропотова: он вздрогнул и начал озираться кругом, как бы спрашивая собеседников: «Не читаете ли чего преступного в глазах моих?» Во весь следующий разговор он беспрестанно изменялся в лице: то горел весь в огне, то был бледен, как мертвец. Друзья его, причитая его неспокойное состояние к болезни, из чувства сострадания не обращали на перемену в нем большого внимания.

Дюмон. Новик? Это слово я в первый раз слышу: оно звучит, однако ж, хорошо! Что ж это за человек?

Глебовской. Вот это-то и хочу объяснить тебе и господам иностранным офицерам. Доныне благополучно царствующего государя Петра Алексеевича *дети боярския* и из *недорослей дворянских* начинали службу при дворе или в войске в звании «новика» [1].

Дюмон. По мнению моему, имя это прекрасно означает положение юноши, вступающего в школу придворную; он еще неопытен умом и сердцем, он в полном неведении искусства притворяться, обманывать и угождать — новик равно в свете и во дворце!

Глебовской. Когда новик поступал ко двору, должность его состояла в том, чтобы прислуживать во внутренних палатах царских или присматриваться к служению высших придворных, *стряпчих* и *стольников* [2]. Обыкновенно выбирали в новики пригожих и смышленых юношей. Еще при царе Алексее Михайловиче имя новика слышалось нередко в царских чертогах и в воинственных рядах дворян московских. Вы знаете,

---

[1] См. «Опыт повеств. о древностях русских» Успенского, часть 2, стр. 34, 49 и 242; «Дополнение к Деяниям Петра Великого», том 3, стр. 240, 255, 256 и *Древнюю Вивлиофику*.

[2] *Стряпчие* так назывались потому, что они в церемониях носили за государем *стряпню*; под этим именем разумели вообще государеву шапку, рукавицы, платок и посох; они же обували, одевали и чесали его. Достоинством равнялись они с нынешними камер-юнкерами.

Название *стольников* произошло от стола государева, у которого они имели достоинство нынешних камергеров, при царицах считались в высших чинах. Стольники не избавлялись от походных служб.

София Алексеевна домогалась во что бы то ни стало венца и таки надела его, чтобы, однако ж, вскоре сложить и вступить в чин простой инокини. Вот она и хотела, когда удалось ей править государством, иметь при себе миловидного пажика, не в счету стольников царицына чина.

Дюмон. Un joli petit mignon? [1] Не так ли?

Глебовской. Точно! Любимец ее, князь Василий Васильевич Голицын, прозванный сначала народом *великим*, а ныне в изгнании забытый и презренный им, — так, скажу мимоходом, играет судьба доведями своими! — любимец Софии Алексеевны отыскал ей в должность пажа прекрасного мальчика, сына умершего бедного боярина московского. Он был круглый сирота, не знал отца своего и матери, не помнил ни роду, ни племени. Говорили, что какая-то женщина, еще прелестная, несмотря, что лета и грусть помрачали черты ее лица, прихаживала иногда тайком в дом князя Василия Васильевича, где дитя прежде живало, а потом в терема царские, целовала его в глаза и в уста, плакала над ним, но не называла его ни своим сыном, ни родным. «О чем плачет эта пригожая, добрая женщина?» — спрашивал Новик и сам после такого свидания становился грустен. София полюбила его и — как говорят русские в избытке простого красноречия — души в нем не слышала; сначала назвала его милым пажем своим; но потом, видя, что зоркие попечители Петра смотрели с неудовольствием на эту новость, как на некоторое хитрое похищение царской власти, с прискорбием вынуждена была переименовать своего маленького любимца в новика. Желая, однако ж, отличить его от других детей боярских, носивших это название, из-под руки запретила им так называться. «Он должен быть единственным и *последним* новиком в русском царстве. Я на этом настою», — говорила она — и выполнила свое слово... За нею все, от боярина до привратника, называли его *Последним Новиком*. Имя его затвердили и за пригожим сиротою удержали; об отеческом прозвище его не смели спрашивать или по обстоятельствам умалчивали. Дитя это не по летам было умно, не по летам гордо. Нередко встречаясь с царевичем Петром Алексеевичем, которого годом или двумя был старше, измерял он его величаво

---

[1] Хорошенького любимчика? *(фр.)*

черными, быстрыми глазами своими. Петр Алексеевич, рожденный повелевать, и в детстве уже был царь. Он не мог стерпеть дерзкого осмотра сестрина любимца и раз, заспорив с ним, ударил его в щеку сильною ручкой, а тот хотел отплатить тем же. София поспешила стать между ними и с трудом вывела своего любимца из покоя. Но, чтобы подобные встречи не могли иметь худых для него последствий, она удалила его за тридцать верст от Москвы, в село Софьино, где имела на высоком и приятном берегу Москвы-реки терем и куда приезжала иногда наслаждаться хорошими весенними и летними днями. Там поручила она его другу Милославских и князей Хованских, человеку ученому, но злобному и лукавому, как сам сатана, — прости, господи! — наделавшему отечеству нашему много бед. Имя его... не хочу его выговаривать: так оно гнусно! Все жалели, что попал в такие руки юноша, которого пылкую душу, быстрый разум и чувствительное сердце можно было еще направить к добру. И в самом деле, лучшие качества его отравлены этим василиском. Новик осьмнадцати лет погиб на плахе в третьем стрелецком бунте; и сбылось слово Софии Алексеевны — он был *последний!..*

Кропотов, доселе закрывавший глаза рукою, которою облокачивался на колено, вдруг зарыдал, встал поспешно и выбежал из замка.

Вадбольский *(посмотрев на него с сожалением)*. Что сделалось с нашим братом Семеном? Бедный! Я боюсь за его головушку.

Полуектов. Ему неможется; на него нашел недобрый час; это не впервой... я чаще с ним... я это видывал. Пускай его размычет по стану кручину свою.

Филя *(бренча на балалайке, запел на печальный голос)*:

У залетного ясного сокола
Подопрело его правое крылышко,
Право крылышко, правильно перышко...

Потом, вдруг переменив заунывный голос на веселый и живой, продолжал петь:

Еще что же вы, братцы, призадумались,
Призадумались, ребятушки, закручинились?
Что повесили свои буйные головы,
Что потупили ясны очи во сыру землю?..

Дюмон. В самом деле, что вы повесили головы свои, как будто на похороны друга собираетесь? Глебовской! Волей и неволей доканчивай свой рассказ.

Глебовской. Слова два, три, и я кончу его. Говорили, что прекрасная женщина, прежде тайком посещавшая Новика, собрала его растерзанные члены и похоронила их ночью. Вот вам, Осип Осипович, повесть вместо предисловия к моей песне. Надобно еще прибавить, что Новик имел, сказать по-вашему, необыкновенный дар к музыке и поэзии; по-нашему — он был мастер складывать песни и прибирать к ним голоса. Песни его скоро выучивались памятью и сердцем, певались царскими сенными девушками и в сельских хороводах. Еще и ныне в Софьине и Коломенском слывут они любимыми и, вероятно, долго еще будут нравиться. Ту, которую я вам буду петь, любила особенно София Алексеевна. Говорят, она плакивала, слушая ее, от предчувствия ли потери своего любимца или от другой причины... Филя! ну-ка заунывную: *«Сладко пел душа...»*

Филя. *«Душа-соловушко»*. Как не знать ее, ваше благородие. Она в старинные годы была в большой чести. Красная девка шла на нее вереницею, как рыба на окормку. Извольте начинать, а мы подладим вам.

Филя играет на балалайке, Глебовской поет:

Сладко пел душа-соловушко
В зеленом моем саду;
Много, много знал он песенок;
Слаще не было одной.

Ах! та песнь была заветная,
Рвала белу грудь тоской;
А все слушать бы хотелося,
Не расстался бы ввек с ней.

Вдруг...

В это время затрубили сбор у ставки фельдмаршальской.

Фон Верден. Тс! слышите, каспада? Трубушка поет нам свою песню.

Несколько голосов *(с неудовольствием)*. Слышим, слышим! Смотри, Глебовской, за тобою долг нам всем-всем! Долг платежом красен.

Все бросились с мест своих: кто за мундир, кто за парик, кто за палаш и так далее. Минуты в три замок

опустел, и там, где кипела живая беседа, песни и музыка, стало только слышно шурканье оловянных ложек, которыми, очищая сковороду от остатков жареной почки с луком, работали Филя и широкоплечий, в засаленной рубашке, драгун. Изредка примешивалось к этому шурканью робкое чоканье чар.

## *Глава четвертая*
## СОВЕТ

Тальбот
И мой совет: с рассветом переправить
Через реку все воинство и стать
В лицо врагу!
Герцог
Подумайте.
Лионель
Но, герцог,
Что думать здесь? минуты драгоценны!
Теперь для нас один удар отважный
Решит навек: бесчестье или честь!
Герцог
Так решено! и завтра мы сразимся!

*«Орлеанская дева», перевод Жуковского*

В переднем отделении обширной ставки, с полумесяцем наверху, разделенной поперек на две половины, сидел в деревянных складных креслах, какие видим еще ныне в домах наших зажиточных крестьян или в так называемых английских садах, мужчина пожилых лет, высокого роста, сильно сложенный. Он был в лосином поверх мундира колете, расстегнутом от жару нараспашку; на груди висел мальтийский командорский крест. Нижняя одежда его свидетельствовала о наблюдении формы до того, что и широкие раструбы прикреплены были к штиблетам. Каштановые с сединою волосы, причесанные назад, открывали таким образом возвышенное чело, на котором сидела заботливая дума; из-под густого подбородка едва выказывался тончайшего батиста галстух, искусно сложенный; пышные манжеты выглядывали из рукава мундира, покрывая кисть руки почти до половины пальцев. Величавые черты лица, орлиный, хотя несколько пониклый взгляд, важная наружность и движения — все показывало в нем человека, привыкшего повелевать. Облокотясь на стол, подле него стоявший, он был углублен в рассматривание

большого листа бумаги, разложенного по столу. В почтительном отдалении стоял молодой офицер в полном мундире со шляпой в руке. Сходство лиц заставляло догадываться о ближайшем их родстве. Взгляды и все движения молодого человека показывали, что сын, воспитанный в патриархальных русских нравах, стоит перед отцом и начальником.

Русское великолепие вместе с азиятским окружало их. Снаружи над ставкою господствовал блестящий полумесяц. Внутри верх и полотно ее были изукрашены разноцветными узорами, звездами, драконами и птицами в каком-то безвкусном смешении. С правой стороны, в углублении переднего отделения, подняты были края двух персидских ковров для входа в маленький покой, обтянутый кругом такими же коврами, в котором свет со мраком спорил. Это была *опочивальня*. Через отверстие виден был в углу огонек, теплившийся в серебряной лампаде перед иконою Сергия-чудотворца [1]. К этой иконе прислонен был образ Спасителя, как жар горевший от драгоценных камней, его осыпавших. Это первое и святое богатство русских, залог их здравия и счастья, стояло на столике, накрытом белой камчатной салфеткой. Неверный, едва мерцающий свет от лампады, падая на темный лик святого, исполнял невольным благоговейным трепетом всякого, кто проникал взорами в это упокойце. На краю стола лежала книга в черном кожаном переплете, довольно истертом и закапанном по местам воском: это была псалтырь. В левом углу, на кровати, грубо сколоченной из простого дерева, лежало штофное зеленое одеяло, углами стеганное, из-под которого выбивался клочок сена, как бы для того, чтоб показать богатство и простоту этого ложа. От входа в ставку, по левой стороне главного, переднего отделения, развешаны были на стальных крючках драгоценные кинжалы, мушкеты, карабины, пистолеты и сабли; по правую сторону висели богато убранное турецкое седло с тяжелыми серебряными стременами, такой же конский прибор, барсовый чепрак с двумя половинками медвежьей головы и золотыми лапами и серебряный рог. Перед седлом, отступя от полотна

---

[1] Образ этот, писанный на гробовой доске преподобного, взят был из Троицкого монастыря и обносим во всех походах шведской войны. См. *Историческое Описание Свято-Троицкия Сергиевы Лавры.*

ставки, на стальном *кляпышке*, обвитом золотой проволокой и прикрепленном к невысокому шесту, сидел сокол, накрытый пунцовым бархатным клобуком; он беспрестанно гремел привешенным к шее бубенчиком, щипля серебряную цепочку, за которую был привязан. Кругом его рассыпаны были перья, остатки от бедной жертвы, еще недавно им растерзанной. Под столом, на богатом персидском ковре, лежала огромная буро-пегая датская собака, положив голову к ногам своего господина.

Сидевший в креслах, услышав стук хвоста ее по земле, сказал, улыбаясь:

— А! верно, кто-нибудь из домашних!

Едва он это выговорил, послышался шорох у входа в ставку, и знакомый нам крошка-генерал, со всею дипломатическою важностью и точностью военной дисциплины, держа щипком левой руки шляпу, а в правой большой сверток бумаг, который, подобно свинцу, тянул ее, мерными шагами приблизился к нему, наклонил почтительно голову и, подавая сверток, произнес:

— Высокоповелительному, высокомощному, господину генерал-фельдмаршалу и кавалеру, боярину Борису Петровичу Шереметеву, честь имеет рапортовать всенижайший раб его Якушка, по прозванию Голиаф, что он имел счастье выполнить его приказ, вследствие чего имеет благополучие повергнуть к стопам высоко... вы... высоконожным всепокорнейше представляемые при сем бумаги, которые вышереченному господину фельдмаршалу, и прочее и прочее (имя и звание персоны рек) объясняет лучше...

— Лучше и короче! — прервал карлу фельдмаршал, взял у него сверток, не показывая большого нетерпения, и, прочтя адрес, закричал стоявшему в отдалении молодому офицеру:

— Михайла! попроси ко мне господина генерал-кригскомиссара.

— Слушаю, сударь-батюшка! — отвечал молодой человек и поспешил выполнить данное ему приказание.

По выходе его фельдмаршал встал с кресел, медленно пошел в опочивальню свою, пробыл там недолго и, возвратившись, сел опять на прежнее место.

— Самсоныч! — сказал он ласково, вынув два червонца из небольшого свертка, который он с собою принес, и бросив их в шляпу маленькому посланни-

ку. — Ты привез нам что-то тяжелое, может быть, доброе: спасибо!

— Эк ты мне плюнул в шляпу, Боринька! — вскричал карла, рассматривая подарок. — Годится на подметки! Но смотри, уговор лучше денег: когда ничего доброго не найдешь в этих грамотках, так возьми свое золото назад. Сам батюшка наш, светлые очи, Петр Алексеевич, *по приказу божию к прадеду Адаму, в поте лица ест хлеб свой*, да и нам велел кушать его не даром. Помнишь — ведь это было при тебе, — когда он выковал на заводе под Калугою восемнадцать пуд железа своими царскими руками, а заводчик-то Миллер хотел подслужиться ему (дескать, он такой же царь, каких видывал я много) и отсчитал ему за работу восемнадцать желтопузиков, что ты пожаловал теперь; что ж наш государь-батюшка! — грозно посмотрел на него и взял только, что ему следовало наравне с другими рабочими, — восемнадцать алтын, да и то на башмаки, которые, видел ты, были у него тогда худеньки, как у меня теперь!

— Правда! но я плачу тебе по цене твоих заслуг; ты свое дело сделал: за чем послан, то привез, а за то, что в бумагах, не отвечаешь.

— Заслужил-то я не один.

— Что дело, то дело! Я было забыл об Ильзе: отдай ей это на новую повязку и скажи от меня *спасибо!*

Борис Петрович, произнеся это, бросил карле в шляпу несколько червонных и, послышав опять стук от хвоста и легкое мурчанье собаки, спешил надеть на себя пышный парик. Карла-дипломат догадался, что он будет лишний при новом госте, и, не дожидаясь приказа своего повелителя, неприметно скрылся из ставки.

— Добро пожаловать, господин обер-кригскомиссар, — произнес важно и ласково фельдмаршал, обратившись к вошедшему с сыном его; махнул рукою последнему, чтоб он удалился, а гостю показал другою место на складных креслах, неподалеку от себя и подле стола. — Вести от вашего приятеля! Адрес на ваше имя, — продолжал он, подавая Паткулю сверток бумаг, полученный через маленького вестника.

— Тайны я от вас не имею, господин фельдмаршал! — возразил Паткуль, садясь в кресла, развернул сверток и, не бросив даже взгляда на бумаги, подал их Борису Петровичу: — Извольте читать сами.

— За *аттенцию* благодарю! Посмотрим, что такое, — говорил с важностью русский военачальник, во всем чрезвычайно осторожный, хладнокровный и разборчивый, прочитывая бумаги про себя по нескольку раз, с остановкою, во время которой он задумывался, и потом отдавая их одну за другою собеседнику своему. Между тем в глазах последнего видимо разыгрывалось нетерпение пылкой души.

— Посмотрим, что такое! Список полкам, расположенным на квартирах и на *заставах*... Вот это я люблю! Какая *аккуратность*! какая *пунктуальность*! Число людей в *регументах*... имена их *командиров* и даже *компанионс-офицеров*... даже свойства некоторых! Право, das ist ein Schatzchen [1]. А кто составлял, господин генерал-кригскомиссар?

— Швед, о котором я имел уже честь вам говорить и который, вероятно, передал эти бумаги вашему посланному.

Фельдмаршал задумался; потом, переменив шутливый тон на важный, сказал:

— Швед!.. Изведали ль вы его хорошенько?

— Как самого себя. Настало время и вам его узнать: испытание перед вами.

— Помните, любезнейший мой господин Паткуль, что мы должны делать этот *экзамен* армиею, мне вверенною, армиею, которой вы так же со мною хранитель.

— Никогда этого не забываю.

— Извините, спрошу опять: исследовали ли вы, не кроется ли тут обмана, предательства?

— После сказанного мною другому б я не отвечал на этот вопрос; но, зная вас, присовокуплю, что честь моя порукою за справедливость и верность этих бумаг.

— И все это составил *он* один? Как мог один человек получить такие полные, огромные сведения?

— Он имеет верного, смышленого помощника.

— Кто это такой?

— Конюх баронессы Зегевольд и временный коновал в шведском рейтарском полку.

— Ein Kutscher? [2] Вы шутите?

---

[1] это сокровище *(нем.)*.

[2] Кучер? *(нем.)*

— Я никогда еще не смел этого делать с вами, господин фельдмаршал, особенно в таких делах, от которых зависит ваше и мое доброе имя, благосостояние и слава государя, которому мы оба служим. Кому лучше знать, как не главнокомандующему армиею, какими мелкими средствами можно вовремя и в пору произвесть великие дела.

— Правда! Но можно ли положиться на верность сведений, доставляемых конюхом вашему приятелю?

— Опять скажу: как на меня!

— Диковинное дело! Wahrhaftig, wunderbar! [1] Вы имеете особенный дар употреблять людей по их способностям. У вас конюх, еще и не ваш, делает то, что я не смел бы поручить иному командиру...

— Этот человек, низкий званием, но высокий душевными качествами, старый служитель отца моего, дядька мой, мне преданный, готовый жертвовать для меня своею жизнью, благороден, как лезвие шпаги, лукав, как сатана.

— И он решился из преданности к *персоне* вашей идти в услужение к женщине *амбиционной*, сумасбродной — как слышно, врагу вашему. Bei Gott [2], *неординарные* высокие чувства! Сердце и способности ума *бесприкладные*! и в таком звании!

— В наш век великие способности ума и в низком звании не диковина. Вы имеете много ближайших тому примеров: вы знаете, кто был тот, кого называет государь *своим* Алексашею, *дитею своего сердца*, чьи заслуги вы сами признали; другой любимец государев — Шафиров — сиделец, отличный офицер в вашей армии; Боур — лифляндский крестьянин.

— Um Erlaubniss, [3] люди, о которых вы говорите, каждый из них достойный, более или менее, *аттенции* и любви царского величества, с юных лет выведены прозорливостью его на ступень, ими заслуженную. Они успели уже напитаться его духом и перевоспитать себя; действуют теперь из *амбиции*, из награды, из славы! Но ваш... как вы его называете?

— Фриц Трейман.

---

[1] Действительно, чудо! *(нем.)*
[2] Ей-богу *(нем.)*.
[3] С позволения сказать *(нем.)*.

— Фриц, заслуживающий свое прозвание, из каких наград действует?

— Из одной преданности ко мне.

— Вот это-то и заслуживает удивления в *наш век*! Но... посмотрим, что скажет нам этот лоскуток бумаги. (Читает вполголоса на немецком языке, делая по временам свои замечания на русском.) «Генерал Шлиппенбах, видя, что русское войско, хотя и многочисленное и беспрестанно обучаемое, не оказывает с первого января никакого движения на Лифляндию, и почитая это знаком робости, перешедшей в него от главного полководца...» — Главного полководца! Посмотрим, увидим! Дух начальника переходит, конечно, в подчиненных: по нем выстраиваются они. Далее что? — «...решился этим состоянием русского войска воспользоваться, распускает слухи, что изнеможение и нарвский страх господствуют в нем...» — Страх? Это уж слишком много, любезный мой противник, да еще крестничек эррастферский! Правда, мы там только что отшлифовали свои шпаги; теперь не взыщите, сами напросились, господин скандинавский рыцарь: мы поменяемся перчатками на славу или стыд. Чтобы стрела, которую вы мне посылаете, не отскочила назад!.. (Краткое молчание.) Страх?.. Я вчера собирал господ начальников полков, и они засвидетельствовали, что в войске, мне вверенном, господствует только дух нетерпения, что все, от командира до солдат, горят сразиться с неприятелем. Вы сами можете засвидетельствовать...

— Скажите поход, господин фельдмаршал, и все, что носит звание воина в стане русском, почтет этот приказ наградою царскою, милостию бога. Им наскучило стоять в бездействии: они изведали уже сладость победы.

— Осторожность мою они называют...

— Тем, что ее почтет всякий, кто вас не знает, — страхом!

— Господин генерал-кригскомиссар!..

— Я говорил правду царям и не побоюсь вам ее сказать.

— Слушаю.

— Судя по пылкому, нетерпеливому характеру моему, другой на вашем месте имел бы право думать, что сведения, вам ныне доставленные, мною сочинены; но прозорливости полководца, избранного самим Пе-

тром Великим после неудачных чужих выборов, открыта и прямота этого ж характера. Вы знаете, что, для представления вам истины, я таких далеких средств не употребил бы, что мнение, которое об вас имею, не старался никогда таить от вас же. То, что я думаю, не боюсь никогда сказать и теперь подтверждаю перед вами. Ваша осторожность, плод холодного и расчетливого ума, уже слишком далеко простерла виды свои и готова превратиться в слабость.

— Слушаю.

— Вы думаете дождаться конца года, чтобы действовать, как начали его зимою, под Эррастфером. Вспомните, что шведы так же северные жители, как и русские, что они не боятся морозов, ближе к своим магазинам, ко всем способам продовольствия съестного и боевого; к тому ж зима не всегда верная помощница войны: она скорее враг ее, особенно в чужом краю. Вспомните, что мы обязаны только усердию незнакомца спасением нашей артиллерии и приводом ее на место сражения под Эррастфером.

— Вы называете уже храброго, верного Мурзенку незнакомцем!

— Нет, не ему принадлежит этот подвиг: объясню это вам в другое время.

— Теперь позвольте послушать ваш урок.

— Не урок, господин фельдмаршал, а совет человека вам преданного, человека, которого вы удостаивали иногда именем друга. Показывая, из политических видов, боязнь, вы думаете усыпить Карла насчет Лифляндии; вы уже имели время это выполнить. Самонадеянность полководца-головореза сильно помогала вашим планам; но время этого испытания, этого обмана уже прошло! Вы видите сами, неприятель почитает этот обман действительностью и подозревает уже в вас трусость. Это подозрение окрыляет дух шведов.

— Далее что будет, господин генерал-кригскомиссар?

— Все правда и правда, которую изволите принять и за что вам угодно, господин генерал-фельдмаршал! Карл успеет переведаться с поляками и саксонцами, только именем союзниками, но делом враждующими один против другого, разделаться по-солдатски и с Августом, королем только по названию, уже вполовину побежденным самим собою. Карл может с торжествующим войском прибежать в помощь Шлиппенба-

ху, и вы тогда имеете против себя вдвое, — что я говорю? — в десять раз более неприятелей, нежели сколько их теперь, числом и духом. Шлиппенбах не любим своими, а где начальник нелюбим, там уже существуют раздоры, партии, там войско разделено и слабо, там нет победы. Одно появление короля в этом войске, одно имя Карла, победителя русских, датчан, немцев и поляков, есть уже важное приращение сил лифляндской армии, есть залог в ней драгоценный, который будут защищать верные подданные любовью и восторгом, чувствами, теперь в ней уснувшими. Может быть, и появление в Лифляндии победителя при Нарве будет неприятным знамением для русского войска! Вы думаете воспользоваться временем отдыха, чтобы образовать русского солдата. Благодаря стараниям усердных собратов моих он обучен столько, сколько требуют обстоятельства. Не все сидеть ему за указкою в школе. Пора узнать, для чего его муштровали; он ждет опытов, службы настоящей; он ждет развязки рукам и духу своему; глазу и сердцу его нужна живая мишень. В стане готовится солдат; в поле, в жару битв он образуется. Вы это лучше меня знаете. Но что может быть скрыто от вас и что я должен вам сказать: дух солдат соскучился жить по деревням и в станах; он утомился покоем. Что за война без боя? Слово без дела! Что за война, в которой неприятели друг друга не видят? «Дайте нам со врагом переведаться или возвратите нас в отчизну!» — думают, едва не говорят, солдаты, но лица их это изъясняют. Господин фельдмаршал! (Здесь Паткуль встал с кресел.) От лица всего войска обращаюсь к вам. Исполните общее наше желание, поведите нас в дело, к победе, уже вам известной, и к славе, которой мы не успели еще утвердить за собою. Не дайте шведам забавляться на счет наш даже подозрением, которого не заслужили ни вы, ни войско ваше. Время года, обстоятельства, дух русских — все за нас, все ручается за успех. Идите навстречу этим обстоятельствам, вождь наш, избранный Петром и провидением! Не говорю, что шаг назад будет гибелью для чести русского народа — мы постыжены, если даже остановимся.

— Вот это-то нетерпение, которое в вас вижу, хотел я произвесть в русском войске! Приятно любоваться им в таком благородном представителе, как вы, любезнейший господин Паткуль! Может быть... призна-

юсь, я простер свою осторожность слишком далеко, свои виды слишком утончил. Кто без ошибок?.. Не могу найти пристойного вам благодарения; вы советник смелый, горячий, но не менее того полезный. Ваша голова — огнедышащая Этна; но моя — она снегами лет уже покрывается — имеет нужду в сближении с вашею. Вы истинный слуга царский! (С чувством.) Дайте мне руку вашу. Мы подумаем, мы сообразим, прочтя драгоценные сведения, посредством вашим доставленные. Что еще скажет нам приятель Шлиппенбах? (Читает.) — «...решился ударить на русское войско, когда оно менее, нежели когда-либо, ожидает его, для чего и отдал уже приказ полкам своего корпуса, 17/29 июля, стягиваться к Сагницу, а небольшому отряду идти из Дерпта к устью Эмбаха, сесть там на приготовленных шкунах, переправиться через озеро Пейпус и сделать отчаянное вторжение в Псковскую и Новгородскую провинции, не отдаляясь от Нейгаузена, который отряду и главному корпусу считать точкою соединения». — (С некоторым волнением чувств.) Стан русский точкою соединения шведских войск? Там, где мы теперь обретаемся? Прекрасно, господин Шлиппенбах! Переправиться через Пейпус? Замыслы хитрые и, прибавим слова его превосходительства, отчаянные! Хорошо сказано, так ли сделается? Мы будем учтивее; мы избавим его от трудов дальнего похода. (Встает с кресел; в размышлении прохаживается несколько времени взад и вперед, положив руки назад; потом садится опять на свое место и продолжает разбирать бумаги.) — «Копия с рапорта мариенбургского коменданта подполковника Брандта». (Читает про себя, потом говорит вслух.) — Час от часу лучше! Вообразите, любезнейший господин Паткуль, и в Мариенбурге, в этом муравейнике, закопошилось шведское самолюбие. Брандт почитает гарнизон свой по месту, обстоятельствам и духу неприятелей — они, кажется, сговорились забавляться на счет наш! (смеется) не в меру усиленным, а заставу близ Розенгофа слишком ослабленною, почему и предлагает главному начальнику шведских войск вывести большую часть гарнизона, под предводительством своим, к упомянутой заставе, в Мариенбурге оставить до четырехсот человек под начальством какого-то обрист-вахтмейстера Флориана Тило фон Тилав, которого, верно, для вида, в уважение его лет и старшинства, оставляет комендантом. Но

при этом тупом, заржавленном эфесе должен быть блестящий, троегранный клинок, с вытравленными на нем словами чести и долга, которые уничтожишь разве тогда, когда эту благородную сталь изломают в мелкие куски.

— Вы говорите, конечно, о цейгмейстере Вульфе, который, как объясняются здесь, стоит целого гарнизона. Вот маленький план крепости Мариенбургской. Я хочу сам быть при осаде ее и лично ознакомиться с храбрым ее защитником.

— Теперь в *принципии*, — сказал фельдмаршал, вступя опять в прежнее хладнокровное состояние, — постараемся разведаться с *прециозным* разумником и храбрецом Шлиппенбахом и воспользоваться собственными его умыслами. Мы предупредим его. С главными силами *авансируем* ныне ж *форсированными маршами*. Если потребно, посадим лейб-пехоту царского величества на коней черкесских, разобьем форпост при Розенгофе, приведем в *конфузию* голову его превосходительства в Сагнице и померяемся с ним в равнинах гуммельсгофских. Переправы через Эмбах будут трудны; но русский с преданностью к царю, с крепким упованием на бога и святых его чего не преодолеет? Мы посадим сильную партию охотников на лодках, под командою генерала Гулица, толкнем их на воды и увидим, как осмелится нога шведа, этой заморской погани, осквернить землю русскую, святую, великую отчину наших царей, опочивальню божиих угодников! Я хочу, чтобы в то же время, когда знамена русские водрузятся с честью на горах ливонских, развеялся флаг моего государя на водах Пейпуса и победа нашего маленького флота порадовала сердце его создателя. Или я не боярин русский, не главнокомандующий армиею царского величества! Но чем наградим мы... того?.. Не хочу называть его шведом: это название помрачает его достоинства.

— Господин фельдмаршал! Он золота не берет.

— Что ж ему надобно?

— *Нечто* драгоценнее золота, но этому *нечто* не пришла еще пора. Теперь же просит он, когда совершится с успехом настоящий поход, свидетельства руки вашей о пользе, оказанной им русской армии. Он желает со временем быть известным государю.

— Столь важной *консеквенции* сведения, нам доставленные, сами собою уже заслуги великие; они до-

стойны *аттенции* царского величества; что ж до меня надлежит, то я всегда готов дать ему требуемую *аттестацию*. Но... скажите мне, пожалуйте, для какого *резону* он от нас скрывается?

— Это тайна, которая не мне принадлежит: она лично до него касается и не относится к пользе, равно как и вреду вверенного вам войска.

— В таком случае я не имею права и не желаю исследовать эту тайну. А! вот еще бумажка! (Читает про себя и смеется.) Ха, ха, ха! Это, видно, в придачу, чтобы смешать дело с бездельем. Здесь описаны *маневры*, которыми ваш плутишка Фриц достал в какой-то *Долине мертвецов репорт* Брандта. Бедный *дефанцор* Мариенбурга! в какую попал ты ловушку! Вот какими средствами приобретаются *секреты*, от которых зависит участь нескольких тысяч! Полюбуйтесь этим описанием, как штуками из итальянской комедии или чудесами тысячи и одной ночи. (Передает Паткулю бумагу.) Это будет вам очень к сердцу. (Свищет в серебряный свисток. По знаку этому являются в одно время карла и необыкновенной величины гайдук.)

— Оба молодцы! — запищал карла, вытягиваясь возле исполина. — А я чем не гвардеец?

— Только на разную стать, — прервал, смеясь, фельдмаршал.

— Понимаю, велика Федора, да дура; мал золотник, да дорог; а я по глазам твоим вижу, Боринька, кого ты выберешь: меня!

— Отгадал; принеси-ка фитиль, — сказал Борис Петрович, и карла спешил выполнить его требование. Восковая свеча в медном подсвечнике, на козьих ногах, величиною почти с маленького исполнителя, была подана, и все прочтенные бумаги, кроме мариенбургского плана, сожжены.

— Голова есть лучший ларец для хранения подобных бумаг, — произнес Паткуль, встал со своего места, невольно обернулся в опочивальню фельдмаршала, где стоял образ Сергия-чудотворца, и, как будто вспомнив что-то важное, имевшее к этому образу отношение, присовокупил: — Я имею до вас просьбу. Такого она роду, что должна казаться вам странною, необыкновенною. Не имею нужды уверять вас, что исполнение ее не противоречит ни чести вашей, ни вашим обязанностям.

— Потому что я в этом не сомневаюсь. Готов выслушать желание ваше и исполнить его.

— На нынешний день паролем — Троицкий монастырь, лозунгом — Сергий-чудотворец.

— Точно.

— Прикажите отменить их и назначить другие, пока мы будем иметь проводником шведа нашего, который берется быть нашим путеводителем до форпоста розенгофского, а там заменит себя столь же верным человеком. Сверх того, на целую неделю, если можно — на две, надобно снабдить его паролями. В противном случае мы потеряем этого бесценного человека. Для чего это делается, скажу опять: это не моя тайна!

— Опять тайна! (Фельдмаршал задумывается; немного погодя произносит с важностию.) Господин генерал-кригскомиссар, в армии, мне царским величеством вверенной, я дал мое слово и не переменю его. Надеюсь, что моя доверенность не будет употреблена во зло кем бы то ни было.

— Паткуль, дворянин лифляндский и ныне русский подданный, Паткуль — человек просто, без всяких других титлов, чести своей не отдаст за корону. Вам известно, что он никогда не полагал этой чести на одни весы с жизнию, что он потерею первой мог купить не только вторую, но и в придачу богатства, чины, благосклонность монарха властолюбивого, и ни одной минуты не был в нерешимости выбора. И когда б я сделался не я, когда б я имел несчастие потерять это сокровище, когда б я был в состоянии забыть милости Петра Великого, государя моего и благодетеля, не должны ли б и тогда соединять меня крепчайшими узами с выгодами России и польза моего отечества, моя собственная, личная польза? Вспомните, что голова моя, которую слишком дорого ценили два короля шведских, не умел ценить польский и которой только один русский монарх положил настоящую цену, ни выше, ни ниже того, чего она стоит, что голова эта была под плахою шведского палача и ей опять обречена местию Карла. Месть, для меня сладостная, возвышающая меня в глазах целой Европы! Король, бич севера, ужас народов, мстит бедному лифляндскому дворянину! Ему не столько сладостны победы над царями, как видеть Паткуля у себя в плену! Какое удовольствие, какое наслаждение думать об этом! Вы не знаете этого чувства — я, я его знаю и не променяю на лучшие блага жизни! После того помыслю

ли я?.. Нет, господин фельдмаршал, даже намек подозрения есть уже несправедливость.

— Может быть; но вы сообразите сами, сколь странны требования ваши при стечении обстоятельств.

— Я предупреждал вас об этом; повторяю еще, тайна эта принадлежит не мне — лицу, которое составляет часть вашего войска одними заслугами ему, без всяких еще за них вознаграждений.

— Слово дано, и мы будем только помнить об исполнении его, — сказал военачальник, подавая дружески руку Паткулю. После того поспешил он сделать нужные распоряжения к немедленному походу и приказал протрубить сбор, о котором заранее извещены были полковые командиры.

## *Глава пятая*
## ТАИНСТВЕННЫЙ ПРОВОДНИК

Прекрасное свободно!

*Жуковский*

Как божий гром,
Наш витязь пал на басурмана.

*Пушкин*

И то была не битва, но убийство!

*Жуковский*

Горы гангофские покрывались уже вечернею тенью; между ними Муннамегги одна поднимала светлую голову свою, на которой любят останавливаться последние лучи солнца. В темени одной из этих гор, ближайшей к Нейгаузену, на сером мшистом камне, сидел Вольдемар, грустный, беспокойный, как преступный ангел, рукою всемогущего низверженный с неба. Он был один. Даже с ним не было и слепца, неразлучного его товарища. Кругом его страна дикая, безответная, и чем обзор ее беспредельнее, тем более пустота ее расширялась для него, тем сильнее теснило его сиротство. Не гукнет нигде звук человеческого голоса, не дает около него отзыва жизнь хотя дикого зверя; только стая лебедей, спеша застать солнце на волнах Чудского озера, может быть родного, прошумела крыльями своими над его го-

ловою и гордым, дружным криком свободы напомнила ему тяжелое одиночество и неволю его. Мрачные думы обступили Вольдемара; взоры его, полные душевной тревоги, прикованы были к стороне Новгородка Ливонского.

Потух золотой крест на печорском монастыре, по-видимому, утешавший его своим сиянием; стерлись и светлые точки, едва мелькавшие в стане русском. Тени обхватили уже и венец Муннамегги. Туманами подернулись долины и, обманывая взор, разлились обширными озерами, из которых, подобно островам, выглядывали одни верхи гор. Вскоре из мнимых вод вышел полный месяц; будто качаясь над ними, приподнимался и осветил эти верхи. Прекрасная, величественная картина! Но она не трогала, не занимала Вольдемара. В стане русском были его взоры, мысли и сердце; там он был весь. Он видел с трепетом сердечным, как зажигались там огни, все такие же бесчисленные, как и вчера. «Почему их не меньше?» — спрашивал он сам себя с горестным чувством. «Может быть, — думал он опять, себя утешая, — это военная хитрость».

Окрестность молчала, как обширное кладбище; верхи гор, рассыпанных посреди туманных вод, казались ему огромными могилами, где покоятся обитатели этого края, уже опустевшего. Но... вскоре почудился ему шум, подобный стону дальнего водопада. Он ловит его жадным слухом, прилегши головою к земле, и слышит как бы подземный гром. Яснее и яснее становится шум этот до того, что Вольдемар может уже различить конский топот. Действительно, топот приближается, еще, еще, и — умолкнул разом. Вместо его послышался ему какой-то неясный шелест, будто шептались друг с другом, будто шуршала одежда на движущемся человеке. Сердце у Вольдемара затрепетало в груди, как голубь.

— Боже! это они! — произнес он, становясь на колена и поднимая слезящиеся очи к светло-голубому небу. — Господи! подай мне силы совершить начатое.

Вдруг из мертвой тишины раздался женский голос, он пел латышскую песню:

О мой Генсхен, божье дитятко,
Что везешь ты на возу?
Лиго! лиго!

Вольдемар отвечал дрожащим, вынужденным голосом:

Золоты венцы девицам,
Парням куньи шапочки.
Лиго! лиго! [1]

— Вольдемар! — крикнула женщина, поднимая голову из тумана, как наяда из водной области своей.

— Ильза! — перекликнулся он, нахлобучил шляпу с длинными полями на глаза, окутался плащом, спустился с горы и, протянув руку маркитантше, потонул с нею в тумане.

— Я привела к тебе отряд русских, — сказала она ему на том языке, на котором пела. — Но ты дрожишь, Вольдемар?

— Ничего, это от холода. Вы заставили меня слишком долго дожидаться. Где ж...

— Здесь, близко. Вот тебе записка от начальника русского, другая — от Паткуля. Будь осторожен: тебя ищут. Беги при первом случае!

— Бежать?.. Нет, лучше умереть. Пускай казнят меня, только на родной земле! — произнес глухо Вольдемар и увлек свою спутницу к толпе, рябевшей в густом слое паров.

— Где проводник? — закричал один из толпы, казавшийся начальником татарским.

Ильза указала на своего товарища. Подвели бойкую черкесскую лошадь, и два калмыка собирались уже силою втащить Вольдемара на нее и привязать его к седлу, как они обыкновенно делывали это с другими проводниками своими; но он гордо взглянул на малорослых азиятцев, оттолкнул обоих так, что они полетели в разные стороны вверх ногами, вспрыгнул на коня и, гаркнув молодецким голосом по-русски:

— За мною! с богом! — прорезал себе дорогу сквозь толпу татар и поскакал вперед.

За ним последовали Ильза на двухколесной своей тележке и татарский всадник (это был Мурзенко), отпотчевавший сначала нагайкой тех двух негодяев, которые оскорбили проводника, и наказавши своей команде строгое к нему уважение. По следам их понеслись гусем пятисотни казацкая, башкирская и калмыцкая, Преображенский полк на лошадях, девять полков драгун, московские гусары, копейщики и рейтары. (В это

---

[1] Это буквальный перевод латышской песни. Лиго — все равно что наша Ладо. Слово это часто употребляется латышами в песнях их, особенно в тех, которые они поют на Иванов день.

же время генерал Гулиц с несколькими сотнями охотников пустился на лодках по водам Чудского озера. Семеновский полк был потребован государем к Нотебургу.)

С судорожным ропотом проснулся край, доселе спавший мертвым сном. Глухо стонала земля от топота конницы; но всадники молчали, будто окаменелые на конях своих. Казалось, эскадроны мертвецов неслись в полуночные часы на крыльях бури. Кое-где раздавалось ржание коней, и то немедленно было удерживаемо рукою, управлявшею ими; редко где стучало оружие об оружие, и тотчас стук этот замирал, как будто металл согласовался в эти часы с подчиненностью человека. В отряде из нескольких тысяч — все было память данного приказа, все было жажда победы! Тем лучше выполнялась воля начальства, что она согласовалась с чувством всего войска. Солдат, так же как и любовник, охотник до ночных приключений, сулящих ему условленную победу; вообще русский любит удалые затеи, отвагу. Вырвать, да подать; в одно ухо влезть, в другое вылезть — любимые поговорки, означающие дух народный. Ночь с ее голубым небом, с ее зорким сторожем — месяцем, бросавшим свет утешительный, но не предательский, с ее туманами, разлившимися в озера широкие, в которые погружались и в которых исчезали целые колонны; усыпанные войском горы, выступавшие посреди этих волшебных вод, будто плывущие по ним транспортные, огромные суда; тайна, проводник — не робкий латыш, следующий под нагайкой татарина, — проводник смелый, вольный, окликающий по временам пустыню эту и очищающий дорогу возгласом: *«С богом!»* — все в этом ночном походе наполняло сердце русского воина удовольствием чудесности и жаром самонадеянности.

Так несся более двух часов конный отряд, вверенный таинственному вожатому. Густой туман все еще лежал по земле; свет месяца не ослабевал. Вольдемар оглянулся кругом. Впереди было несколько рощиц и пригорков; кое-где, сквозь густые пары, окутавшие землю, мелькали огненные пятна, которые загораживали иногда маленькие тени. Он остановился, за ним весь отряд по свисту Мурзенко. С помощью переводчицы Ильзы Вольдемар объяснил татарскому начальнику, а этот передал, кому нужно было, что они сделали от Нейгаузена близ шести миль, что они находятся в трех

верстах от заставы шведской, состоящей из эскадрона рейтар и расположенной за речкою Шварцбах, что при переправе будет работа коням и что для часового отдыха не найти лучшего места, как то, где они находились. Он же, проводник, брался с несколькими казаками содержать впереди пикет. Огоньки же, видимые в некоторых местах, говорил он, не должны никого тревожить, потому что они разложены крестьянскими детьми, стерегущими в *ночном* свои стада; а хотя б между ними были и старшие, то известно, прибавлял Вольдемар, что латыш не тронется с места, пока не пойдешь к нему под нос и не расшевелишь его силою; без того целое войско может пройти мимо него, не обратив на себя его внимания. В самом деле, маленькие пастухи обоего пола, топорщась в кружок около разложенных огней, едва светящихся в тумане, беззаботно перекликались по рощам песнями своими, как ночные соловьи; в одном месте пели стих, в другом продолжали другой, так далее, и вдруг в разных местах соединяли голоса свои в один дружный хорный припев: *«Лиго! Лиго!»* Разнообразные звуки колокольчиков, привешенных к шее пасущихся стад, покрывали эти песни каким-то чудным строем.

Лукавый татарский наездник, Мурзенко, сквозь щели глаз своих, успел выглядеть проводника в лицо и с того времени имел к нему полное доверие.

— Моя знаят, его не обманет, — говорил он начальнику отряда.

Как сказано, так и сделано. Всадники облегчили лошадей. Возможная тишина продолжалась между ними. На пикете было совещание, как напасть на заставу неприятельскую. Совет составляли Мурзенко, Паткуль и какой-то высокий воин, которому все оказывали особенное уважение. Вольдемар передал им через своего толмача, Ильзу, предложение, чтобы, как скоро отряд подъедет к реке, небольшой его части отчаянно перенестись прямо вплавь через реку, зажечь форпост, испугать и занять неприятеля, а другой части, которой он, проводник, укажет брод, переправясь через него, завернуть неприятелю в бок и в тыл и докончить его поражение. Предложение это принято высоким воином, который, по-видимому, соединял в себе верховную власть над отрядом. Хотя любопытство, сродное всякому, в настоящих обстоятельствах согласовалось с обязанностию полководца, он не показывал вида, что старается прони-

кнуть таинственного советника. Действиями своими сображаясь с главным начальником, каждый из офицеров, чувствовавший сильное желание узнать, кто был таинственный проводник, не смел этого домогаться.

Прошел добрый час. Туманы зашевелились, свет месяца начинал ослабевать; песни латышские затихали. Дан знак свистом. Всадники сели опять на коней и в прежнем порядке тронулись вперед. Как скоро отряд начал подъезжать к Шварцбаху, означенному полосою сгущенного дыма, Мурзенко махнул своей пятисотне и бросился с нею вплавь через реку. Караульные шведские, стоявшие за Шварцбахом, не понимали, что за шум они слышат вдали. В беспечности, утвержденной шестимесячным спокойствием, они думали, что плотина у ближайшей мельницы прорвалась; потом, увидя что-то движущееся по реке и услышав пыхтение лошадей, почли их заблудившимся стадом из Розенгофа. Они еще не успели одуматься, как несколько татар и казаков были уже на берегу. Закричал один и другой караульный; но крик их, разделенный метким ударом сабли, уже принадлежал жизни и смерти вместе. Прибежавшие в беспорядке на послышавшийся шум были окружены, смяты и переколоты. Рогатки были раздвинуты, огонь брошен на крыши сараев и изб форпоста, и Мурзенко, посреди своих, с ужасным воплем:

— Руби! коли! жги! — ворвался в стан шведский, как голодный волк в овчарню, и не только в неприятеле, но и в лошадях успел произвести ужас.

Наконец затрубили тревогу в форпосте. Устрашенные шведы хватались кто за одежду, кто за оружие, закладывали рогатки, тушили огонь, бросались на коней, еще не оседланных и худо им повинующихся. Испуганные животные отрывались от своих коновязей и умножали суматоху. Однако ж начальник форпоста, полуодетый, прибыв на место сражения, собрал около себя несколько сот рейтар верхами, восстановил между ними возможный порядок и с возгласом:

— Бог и король! Умрем! смертию сотрем наше бесчестие! Умрем! бог и король! — ринулся на Мурзенкову команду, сшибся с нею и завязал бой вместо драки.

Сначала бой этот поддерживаем был остервенением, равным с обеих сторон; гиканье татар еще заглушало командные слова шведского начальника. Вскоре твердый возглас:

— Бог и король! Друзья, победим или умрем! — пе-

ресилил беспорядок этих криков. Азиятцы, не привыкшие долго выдерживать верной сечки палаша и правильно поддерживаемого огня, стали показывать тыл. Вдруг застонала земля, как двинутое бурею море, и два русских драгунских полка врезались в сечу. Нескольких минут было довольно, чтобы склонить и утвердить легкую победу за русскими. Шведы, не побежденные, но задавленные, пали почти все мертвые. Из трехсот с лишним человек два офицера и несколько рейтар взято в плен, и те сильно израненные. Заря начинала заниматься и открыла полусветом своим кровавое зрелище.

Когда Вольдемар привел драгунские полки к месту битвы, он стал поблизости ее на холму, откуда можно ему было все видеть, что в ней происходило. Кровь его кипела; огонь зажигался в глазах; не раз поднималась рука, чтобы ухватиться за оружие, которого с ним не было. С какою радостью полетел бы он в пыл этой битвы! Но мысль, что он чужой тем, для которых трудится с таким пламенным усердием, исторгала тяжелые вздохи из груди его. Какой-то рядовой заметил, будто он перекрестился, когда победа утвердилась за русскими; но никто не хотел верить, чтобы басурману пришла охота творить по-русски крестное знамение, и все смеялись под нос вестовщику этой чудной новости. По окончании сражения не видали, куда проводник девался.

Военачальник русский с остальною конницею, не бывшею в деле, переправясь вброд через Шварцбах, поблагодаря участников победы за добрый начаток и приказав похоронить с подобающею честию своих и чужих, решился отдохнуть близ места сражения. Здесь же предположено дождаться пехоты и артиллерии, для которых и начали устраивать мост. Не успели еще обделать фельдмаршалу ставку из деревьев, сучьев и ковров посреди березовой рощи, на скате пригорка, с которого можно было видеть за несколько верст кругом, как явился к нему калмык с запискою от генерал-кригскомиссара. Она была следующего содержания: «Высокоповелительный господин генерал-фельдмаршал! С дозволения вашего отправился я далее для исполнения моих обязанностей. Полковник Мурзенко со мною и через час доставит все нужное в стан. Возможные меры приняты, чтобы пресечь вести о снятии форпоста шведского; а на случай, если б земля и воздух проговорились, пущен мною искусно слух, что господа шведы на форпосте изволили тешиться учебною пальбою и что в со-

седней деревушке случился пожар. Послезавтра буду иметь честь ожидать вас в Гуммельсгофе, где, предполагать надо, стянет свое испуганное войско самонадеянный Шлиппенбах и где удобнейшего ему места для главного сражения не предвидится. Русским нужна только встреча с ним: после нее имя шведское не будет иметь постоянного места в Лифляндии, кроме крепостей. В Сагнице вы изволите найти магазин шведский, обильно всем снабженный. В Гуммельсгофе войско не затруднится снабжением провианта: пятьсот возов выставит непременно семнадцатого числа к двум часам пополудни родственник мой Фюренгоф. *Язык* [1] и вместе нынешний проводник, швед, имеет нужду в отдыхе: он свое дело сделал. Ныне в полдень явится к вам *латыш*, высокого роста, белокурый, молодой и, для соглашения пользы вашего войска с любовию моею к чудесности, этот *язык* и проводник будет *немой*. Он представит вам записку с словами: *«Илья Муромец»*. На вопросы по-немецки будет он отвечать письменно. До Сагница проведет он отряд ближайшими и сколь можно скрытыми дорогами. Ручаюсь за познание и верность его. Надеюсь, что от Сагница ужас шведов покажет вам точнее других место свидания с их начальником».

Прочитав это письмо, фельдмаршал сказал:

— Не будем неблагодарны: тайнам господина Паткуля обязаны мы за драгоценные известия, нынешнюю победу, бодрость войска и добрую надежду.

Между тем приказал он, кому следовало, принять *честным* образом нового проводника, а старого не тревожить, если он и покажется.

Все ликовало в войске. Сама природа будто радовалась; утро было прекрасное; солнце, выступив на небосклон, заиграло, как говорят у нас в простонародии, и сдернуло с долин туманное покрывало, носившееся до-

---

[1] *Язык* означал в тогдашнее время человека, который мог доставить сведения о состоянии неприятельского войска, о местах, им занимаемых, и тому подобном; это был род шпиона. Известно, по преданию, что впоследствии времени, именно в царствование Анны Иоанновны, преступники были называемы *языками*, когда им следовало указать на участников их преступлений или *оговаривать* кого в этом участии. Для таковой цели *язык* был водим по городу, и на кого он указывал, тот забираем был под стражу. Обыкновенно при вести, что *он* идет, запирались лавки и народ, стараясь укрыться от встречи с ужасным оговорителем и крича: *«Языка, Языка* ведут!» — бежал опрометью, кто куда попал.

селе над ними. Затрубили *побудок* у ставки фельдмаршальской, и тот же сигнал повторился во всех полках. Офицеры и солдаты спешили принести господу сил дань благодарности за победу, им ныне ниспосланную. Все молились от теплоты радостного сердца.

За небольшим оврагом, который граничил со станом русским и опушен был с обеих сторон густым, довольно высоким кустарником, стоял Вольдемар, никем не видимый, как ему казалось, но видя, что делалось в войске, поблизости врага. Скомандовали к *молитве*. Трепет пробежал по всем членам его. Со словами: *«Отче наш»* — пал он на колена, в трогательном благоговении повторял молитву за солдатом, читавшим ее в ближайшем от него полку, и с словами: *«Остави нам долги наша»* — горько зарыдал. Несчастный! он не смел молиться с другими; отчужденный от общества каким-нибудь преступлением, он не смел присоединиться к людям, свято исполнявшим обязанности христианина и подданного. Одна строка из его жизни могла бы вооружить против него тех, кого вел он ныне к победе. И *ближним* своим служить он может только ночью, потаенно! Мысль эта испугала его, как будто в первый раз приходила ему в голову. Он поспешил удалиться; но, лишь отошел несколько шагов, чувство, сильнейшее этой мысли, заставило его воротиться на прежнее место и приковало его к нему. Он сел. Как сладостно было прислушиваться ему к звукам языка, давно не потрясавшего его слуха! С какою жадностью перехватывал он сердцем эти звуки! «Что ни будет, — думал он, — пробуду еще с *ними* несколько времени».

Последний полк, расположенный у оврага, был князя Вадбольского. Хлебосольство и радушие хозяина собирали к нему приятельские беседы чаще, нежели к другим полковым начальникам. Товарищи его, составлявшие вчерашнее общество в развалинах нейгаузенского замка, кроме некоторых и, в числе их, Кропотова, говорившего, что он не принадлежит уже этому миру, что он приготовился по долгу христианскому к переходу в вечность, — товарищи эти пировали и ныне у Вадбольского, расположившись в кустах у оврага. И ныне, так же как и вчера, оживлялся разговор пением и музыкою. Скоморох Филя исполнял должность мундшенка вместо драгуна в засаленной рубашке, который, постряпав на форпосте палашом, прилег там же отдохнуть сном вечным. Чара круговая обошла приятельский

круг уже три раза, сперва за здоровье живых, потом за упокой убиенных и наконец за *викторию.* А как походный кравчий, и вместе музыкант, жаловался, что от проклятого тумана струны отсырели на балалайке да пальцы у него свело, то и ему поднесли *жизненной водицы.* Он взял чару в руки и произнес громко, поклонившись на все стороны:

— Во здравие, во славу честной компании!

Князь Вадбольский. Заметьте, братцы, уж наш проклятый скоморох, из какой-нибудь деревушки Подосиновки, изволит щеголять чужестранными словами. Вот какая чума — пример высших! Чай, у нас лет через сто чумаки в деревнях заговорят на басурманском языке.

Филя *(продолжает, не смешавшись).* Во здравие, во славу честной беседы! Долгие лета им жить и заздравную чашу пить! Сколько капель проглочу я в этой чаре, столько б шведов каждому отпустить на тот свет! Как я люблю винцо, так любили бы нас верно и нелицемерно приятели и жены... Гм! *(Смотрит на Дюмона.)* Вижу, вижу по глазам, чего хочется, — и так полюбили бы вас московские красные, чернобровые девушки! *(Выпивает чару разом и выливает оставшиеся в ней капли на маковку головы своей, которую и приглаживает рукой; потом берет балалайку и оборачивается с поклоном к Глебовскому.)* Ваше благородие! недоконченная борозда хуже, чем нетронутое поле.

Полуектов. Правда, за тобою долг: ты начал нам песню Новика, и тебе помешали докончить ее.

Послышался шорох с другой стороны оврага в кустах. Филя стал прислушиваться и сказал:

— Господа командеры! кто-то вздохнул за оврагом, да так вздохнул, что по сердцу подрало.

Князь Вадбольский. Полно врать.

Филя. Ей, ей, право, велико слово! Вы знаете, какое у меня ухо: чуть кто на волос неверно споет, так и завизжит в нем, как поросенок или тупая пила. Не сбедокурил бы над нами проводник. Молодец хоть куда! Пожалуй, на обе руки! Да еще не жид ли: и *нашим* и *вашим*... Нас подвел ночью шведов побить, а днем подведет их, чтоб нас поколотить.

Князь Вадбольский. Врешь, Филька! С холма, где раскинут фельдмаршальский шалаш, видно все

за десяток верст; форпосты наши стоят далеко. А если удалой проводник — дай бог ему здоровья да поболее охоты помогать нам! — подвел против нас один вздох, так еще беда не велика. Ну-тка лебединую!

Филя заиграл, корча по временам плаксивое лицо; Глебовской запел следующую песню; Дюмон изредка вторил ему голосом:

Сладко пел душа-соловушко
В зеленом моем саду;
Много, много знал он песенок,
Слаще не было одной.

Ах! та песнь была заветная,
Рвала белу грудь тоской;
А все слушать бы хотелося,
Не расстались бы ввек с ней.

Вдруг подула со полуночи,
Будто на сердце легла,
Снеговая непогодушка
И мой садик занесла.

Со того ли со безвременья
Опустел зеленый сад:
Много пташек, много песен в нем,
Только милой не слыхать.

Слышите ль, мои подруженьки?
В зеленом моем саду
Не поет ли мой соловушко
Песнь заветную свою?

«Где уж помнить перелетному, —
Мне подружки говорят, —
Песню, может быть, постылую
Для него в чужом краю?»

Нет! — запел душа-соловушко —
В чужедальной стороне
Он все горький сиротинушка,
Он все тот же, что и был.

В то самое время, когда Глебовской доканчивал куплет, за оврагом повторили последний стих. Он замолчал; Филя перестал играть; все собеседники смотрели друг на друга в изумлении. Кто-то дрожащим, исполненным тоски голосом продолжал петь:

Не забыл он песнь заветную;
Все про край родной поет,
Все поет в тоске про милую;
С этой песнью и умрет.

Здесь голос умолк.

— Что это значит? — говорили друг другу собеседники.

— Уж это не вздох — целая весточка от родины!

— Не подшучивает ли кто над нами? — Глебовской готов был побожиться, что он один в отряде знает эту песню. Требовали от Фили, чтобы признался, не выучил ли он ей кого?

— Чтоб язык отсох! по маковому зернышку меня бы разорвало! — возразил Филя. — У меня самого песня эта была заветная; я берег ее за теплою пазушкой для света-радости, красной девицы в тоске, в разлученьице, по добром молодце, по офицерчике. Гм! (*Кашляет.*) За нее подарила бы она меня словом ласковым, приветливым и рублевиком серебряным. Господа командеры! Дайте мне ордер разведать, какой окаянный певчий передразнивает нас?

— Разведаем, разведаем. И мы с тобой! — закричали в один голос Дюмон и Глебовской.

Но лишь только встали они с мест своих и собирались идти, как на другой стороне оврага мелькнул между кустами высокий мужчина, в круглой шляпе с широкими полями, закутанный в плаще. Утренняя тень ложилась от него длинной полосой там, где не пересекали ее деревья. Он махнул собеседникам рукою, давая им знать, чтобы они не трудились его преследовать, скрылся в кустах, и пока наши стрелки успели — двое обежать овраг, а третий спуститься в него кубарем и вскарабкаться по другому краю его, цепляясь за кусты, — таинственный незнакомец был уже очень далеко на холму, скинул шляпу и исчез. Преследовать его было невозможно. Досадуя на свою неудачу, Дюмон, Глебовской и передовой их Филя возвратились в круг товарищей. Все опять принялись вертеть Пандорин ящик и приискивать к нему ключ.

Л и м а. Рост, черные волосы напоминают мне проводника моего при Эррастфере. Да тот худо говорил по-русски, как мне докладывал ариергардный офицер, которому он отдал кошелек с деньгами. Правда, мне, сколько припомнить могу, он довольно речисто произнес. «Стой! овраг — и смерть!» И теперь эти слова отдаются в ушах моих.

Д ю м о н. Напев не делает музыки.

К н я з ь В а д б о л ь с к и й. Не проводник ли это нынешний?.. Говорят, что он швед; как же заморской птице этой распевать так хорошо по-нашему?.. Из какой причины швед помогает неприятелю своего отечества?.. Разве из мести?.. Не преступник ли какой?.. Может быть, изгнанник?.. Слышали ль вы, братцы, как он ночью покрикивал: *«С богом!»* — и в голосе его что-то было не басурманское!.. Жаль, что Мурзы нет с нами. Мышиными глазами своими он видит ночью, как днем, и, наверно, успел его разглядеть. Без того не ручался бы он за него так, как за калмыцкую свою лошадь.

П о л у е к т о в. Да вот он и на помине легок: несется с холма, за которым скрылся таинственный певец, и ведет за собою целый обоз провианта.

Д ю м о н. Может быть, и чудесного пленника приведет к нам.

К н я з ь В а д б о л ь с к и й *(махая рукою Мурзенке, кричит ему)*.Сюда, сюда, окаянный татарин!

Настоящая дорога, по которой тянулся черною нитью на двуколесных тележках обоз, как встревоженный муравейник, перебирающийся на новоселье, огибала далеко овраг, разделявший Мурзенку с нашими собеседниками. Для нетерпеливого азиятского наездника кратчайший путь есть лучший: он не думал, который ему избрать. В замену шпор, подобрав немного поводья у своего черкесского коня, горбоносого, поджарого и невидного, он полетел прямо на овраг. Подъехав к нему, он привстал немного на седле, поотдал поводов, гикнул, и конь, соединив под себя ноги свои, как бы собрав воедино всю свою силу, вдруг раскинул их, развернул упругость своих мускулов, мелькнул одно мгновенье ока на воздухе, как взмах крыла, как черта мимолетная, фыркнул и, осаженный на задние ноги ловким всадником, стал, будто вкопанный, перед собеседниками. Только брызги земляные полетели из-под него в глаза их.

— Зачем моя нужна? — спросил с нетерпением татарский наездник.

К н я з ь В а д б о л ь с к и й *(протирая себе глаза)*. А забыл, полковник-молодец, свою порцию водки?

М у р з е н к о *(усмехаясь)*. Добра, добра!*(Выпивает, не слезая с лошади, поднесенную ему чару.)* На

этом спасибо! За то я ваша хлебца привезла, моя ныне выручили.

Князь Вадбольский. Бьем челом тебе за хлебец, ради стараться вперед, любезный товарищ, лишь бы ты начинал. Да что у тебя на щеке, полковник?

Мурзенко *(хватаясь в забывчивости за щеку, разрезанную ударом палаша)*. Эй, эй, раздразнила моя щека: моя было заговорила. Прощай! нет время.

Полуектов. Подожди немного, полковник! *(Хочет ухватить за узду лошадь, которая бросается на него, чтобы укусить, так проворно, что он едва увертывается.)*

Мурзенко. Лошадка моя любит только своя господина да вольная луга. Говори твоя скорей, зачем моя надобна.

Полуектов. Не взял ли ты кого в плен на форпосте?

Мурзенко *(качая головой в знак отрицания)*. Нет.

Дюмон. Не видал ли хоть проводника ночного?

Мурзенко. Нет.

Князь Вадбольский. Тьфу, пропасть! не видал ли кого там чужого?

Мурзенко. Моя никого не видала, ничего не знает. Прощай!

С этим словом тронул он повода лошади и поскакал к фельдмаршальской ставке.

Князь Вадбольский. Заметили ли вы, братцы, как он корчил свою плутоватую татарскую рожу? И чествованье ему наше не в честь. Злодей! не в заговоре ли уж он с певцом!

Дюмон. Чего бы я не дал, чтоб узнать, кто этот чудесный человек.

Глебовской. Послать на форпост проведать об нем все равно что не посылать: там стоит Мурзенкова команда. Если он молчит, так и она не заговорит, хоть жги горячим железом. Сотни его только члены этого животного.

Дюмон. Уже не пропустили ли кого татары без дежурного офицера?

Князь Вадбольский. Офицер с отрядом драгун только теперь отправился сменять калмыков да башкирцев. Впрочем, грех сказать и об Мурзенковой

команде, чтобы она не исполняла свято обязанности караульщиков.

Д ю м о н. Так же хорошо, как и обязанности зажигателей и грабителей; а между тем слава падает на регулярное войско!

Л и м а. Что делать, господа? Они незнакомы с честолюбием, не знают, что такое преданность к государю, любовь к отечеству, что такое слава; честь их — надежный конь, владыка — Мурзенко, почитаемый ими более царя, потому что нагайка того нередко напоминает им о своем владычестве, а царская дубинка еще на них не гуляла; удовольствие их — лихое наездничество, добыча грабежом — их награда. Зато летучим коням их реки как нам гладкая дорога; по скалам они, как козы, прядают. Какой драгун осмелился бы пуститься на две трети расстояния, которое Мурзенко перемахнул сейчас будто ни в чем не бывало? Везде татарин составляет наше передовое войско; везде очищает нам путь к неприятелю ужасом имени своего. Подчините их дисциплине, и войско это будет для нас бесполезно.

Д ю м о н. Не задаривайте их также...

П о л у е к т о в. А разве забыл ты, братец, слово нашего великого государя, да не мимо идет: *«А сии пистоли и в Европе много пользуют, не только что у варваров»*.

Д ю м о н. Так; да я сердит ныне на них.

Л и м а. Это дело другое.

Г л е б о в с к о й. Особенно на Мурзенку, чтоб...

К н я з ь В а д б о л ь с к и й. Чтоб конь его хоть раз в жизнь свою спотыкнулся на ровном месте! Пропустить из-под ног зайца, а может быть, красного зверя — в самой вещи досадно. Только что хвостиком мигнул! Да не век же горевать, друзья! Если чудак любит русские песни, так мы его опять заловим на эту приманку; если он любит нас, так сам пожалует; а недруг хоть вечно сиди в своей берлоге!

Так кончилась занимательная беседа, прерванная шумом прибывшей пехоты и артиллерии. Весь день прошел в отдыхе. К полудню явился немой *вож* [1], представив, кому следовало, свой пропуск со словами: *«Илья Муромец»*. Никто не был довольнее Ильзы приходом его: она обнимала, целовала его, называла милым

---

[1] Так звали проводников.

братцем, а он, со своей стороны, показывал красноречивыми движениями, что был очень рад свиданию с нею. Не наговорились они, Ильза на своем языке, немой на своем. Мы узнали в нем того самого детину, которого видели на мызе Блументроста в слезах от того, что другие плакали.

Вечер наволок густые тучи, в которых без грозы разыгрывалась молния. Под мраком их отправился русский отряд через горы и леса к Сагницу, до которого надо было сделать близ сорока верст. Уже орлы северные, узнав свои силы, расправили крылья и начинали летать по-орлиному. Оставим их на время, чтобы ознакомить читателя с лицом, еще мало ему известным.

## *Глава шестая*

## НОЧНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

Все подозрительно, и все его тревожит:
Чуть ночью кошка заскребет,
Ему уж кажется, что вор к нему идет,
Похолодеет весь, и ухо он приложит.

*Крылов*

А этот точно плут, и плут первостатейный!

*Хмельницкий*

Была ночь. Окрестность мызы рингенской слилась во мрак, сгущенный черною тучей, задвинувшею небо.

Подойдя к самому пригорку, на котором стояли развалины замка и господский дом, ничего нельзя было различить, кроме нескольких черных, безобразных громад. Только по временам, когда в черной туче загоралась длинная красноватая молния, освещавшая окружность, видны были на возвышении влево, под сенью соснового леса, бедные остатки замка и правей его — двухэтажный дом. О прежнем великолепии дома свидетельствовали еще множество статуй Нептунов, Диан, Флор и прочих сочленов Олимпа с разбитыми головами или обломанными руками; остатки на фронтоне искусной лепной работы и два бесхвостых сфинкса, еще, впрочем, в добром здоровье, охранявших вход в это жилище. В то же время и настоящее жалкое положение его выказывали пестрая штукатурка, выпавшие из углов кирпичи, поросшие из-под кровли кусты и разбитые

стекла, залепленные бумагою или обтянутые пузырями. За домом видна была купа дерев, огражденная двойным валом, сходившим с возвышения до самой речки Метты, которая, виясь под пригорком, разыгрывалась в проблески молнии, как полосы дружно размахнутых кос. Кругом, кое-где по холмам, стояли рощи.

Около дома рингенского барона все было тихо, будто около дома опального. Лишь к полуночи в развалинах замка расхохоталась сова, как некогда в блистательную эпоху его нечистый смеялся, когда знаменитый портной-художник, выписанный из чужих краев, снарядил дочь хвастливой Тедвен в такое платье, которому не было подобного во всей Ливонии, — той самой Тедвен, мимоходом скажем, которая умерла потом в Гапсале в такой нищете, что не на что было купить ей савана и гроба. Несколько сторожких псов лаем и воем своим отвечали изредка крикливой сове, и летучие мыши, ныряя в воздухе туда и сюда, писком своим показывали, какое веселое раздолье приготовили им мрак ночи и безлюдство этой пустыни. В верхнем этаже нарушал тишину один ветер, жужжавший в лоскутах бумаги, которыми некоторые окна были худо замазаны. Когда эта музыка соединялась в адский хор и статуи, при сверкании красноватой молнии, выступали из мрака вперед, как мертвецы в своих саванах, и опять с нею убегали во мрак, тогда и молодец, с крепкими мышцами и бестрепетным сердцем, проезжая этими местами, невольно должен был прочитать молитву.

У подъемного моста, где были и ворота в замок, на берегу Метты, кто-то легонько кряхтел и покашливал по временам, от страха ли, или, может, то был сторож, желая дать знать своему господину, что он неусыпно исполняет обязанности свои.

Внутри дома, в задней угольной комнате, трепетал в медном, заржавленном ночнике огонь, скупо питаемый конопляным маслом, и бросал тусклый свет на предметы, в ней находившиеся. За столом, накрытым черною восчанкой, сидел старичок. На лысой голове его торчало несколько хлопков седых с рыжиною волос. Он не был безобразен, но черты лица его, некогда правильные, ныне искривленные злобою и подозрением, возбуждали отвращение во всяком, кто только в него всматривался. Бледное лицо его свидетельствовало, что в нем беспрестанно работали гнусные страсти; под навесом рыжих бровей, кровью налитые глаза доказывали

также, что он проводил ночи в тревожной бессоннице. На нем был кофейного цвета объяринный шлафрок со множеством свежих заплат, подобных клеткам на шашечной доске. Из-под распахнувшегося шлафрока видны были опущенные по икрам чулки синего цвета, довольно заштопанные, и туфли, до того отказывавшиеся служить, что из одного лукаво выглядывал большой палец ноги. Высокий и узкий задок стула, на котором сидел отвратительный старик, был переплетен проволокою. Комната, довольно длинная, но чрезвычайно узкая, имела только одну дверь и одно окно, изнутри запертое железными ставнями и таким же огромным болтом. По всем стенам, кроме той, в которой была дверь, стояли сплошные шкапы простой, однако ж крепкой работы. Шкапы эти были иные с дверками, другие с одними полками, уставленными штофами, банками и пузырьками, и третьи с выдвижными ящиками, из которых на каждом были следующие надписи: гвозди первого, второго, третьего и четвертого сортов, петли, замки, крючки, подковы новые и старые, ножницы стальные и медные, лом медный, железный, оловянный и так далее — все, что принадлежит к мелочному домашнему хозяйству. По стене, шкапами не занятой, висели лоскуты разных материй, пуками по цветам прибранных, тут же гусиное крыло, чтобы сметать с них пыль, мотки ниток, подметки и стельки новые и поношенные, содранные кожаные переплеты с книг и деревяшки для пуговиц — все это с надписями, иероглифами, заметками и вычислениями и все в таком порядке, что неусыпный хранитель этих сокровищ мог в одну минуту взять вещи, ему нужные, и знать, когда они поступили к нему в приход, сколько из них в расходе и затем в остатке. Похищение одной деревяшки сейчас могло быть открыто. Таков был кабинет рингенского помещика и первого богача в Лифляндии, барона Балдуина Фюренгофа, дяди Адольфа и Густава Траутфеттеров, уже нам известных.

Он встал со стула, взял ночник, запер дверь кабинета ключом, вышел в ближнюю комнату, в которой стояла кровать со штофными, зеленого, порыжелого цвета, занавесами, висевшими на медных кольцах и железных прутьях; отдернул занавесы, снял со стены, в алькове кровати, пистолет, подошел к двери на цыпочках, приставил ухо к щели замка и воротился в кабинет успокоенный, что все в доме благополучно. Храпели мальчики

и девочки у дверей разных комнат. Только тот, кто захотел бы пройти до скупого и злого барона, должен был наступить на них и произвесть тревогу в доме. Запершись в кабинете и положив ночник и пистолет на стол, подошел Фюренгоф к одному шкапу, вынул из него деревянный ящик с гвоздиками номер четвертый, засунул руку дальше и вынул укладку, на которой тоже была надпись: гвозди номера четвертого. Беспрестанно оглядываясь и прислушиваясь, он поставил дрожащими руками укладку на стол. Долго пытал он целость ее, долго разглядывал, не оказывается ли в ней щели; наконец выдвинул из нее дощечку и пожал под нею пружину, отчего из укладки отскочила крыша. Вынув из этого, по-видимому денежного, гроба несколько свертков в бумаге, положил их на стол, потом попеременно клал на ладонь и с улыбкою взвешивал их тяжесть. Потешившись таким образом, он развернул свертки — и золото одинакой величины монет заиграло в глазах его. Приметно было, что блеском некоторых он особенно любовался; другие, находя несколько тусклыми, осторожно чистил щеточкой с белым порошком до того, что они загорели, как жар. От радости он захохотал и вдруг, сам испугавшись этого судорожного хохота, с ужасом вздрогнул, посмотрел вокруг себя и старался затаить свое удовольствие в глубине сердца. Успокоившись, нарезал он из бумаги, в меру монет, несколько кружков, переложил ими вычищенные монеты, потом, вздохнув, как будто разлучаясь с другом, свернул золото в старые обвертки, с другим вздохом уложил милое дитя в гроб его до нового свидания и готовился вдвинуть ящик на прежнее место, как вдруг собаки залились лаем и, немного погодя, сторож затрубил в трубу. Скупец затрепетал как лист осиновый; руки у него с ящиком остались в том положении, в каком их застала тревога в доме; бледнеть уже более обыкновенного он не мог, но лицо его от страха подергивало, как от судороги. «Что это значит? в полуночь?» — сказал он сам себе, старался ободриться и, дрожа, спешил привести ящики, шкап и кабинет в прежнее укрепленное состояние. После того надел на себя засаленный колпак, взял ночник, положил пистолет за пазуху, попытал крепость замка у кабинета, вывел у двери песком разные фигуры, чтобы следы по нем были сейчас видны, и обошел рунтом все комнаты в доме. Все посты, кроме одного, были заняты

проснувшимися ребятишками и девочками, испитыми, растрепанными, босыми и в лохмотьях.

— Марта! Марта! — грозно закричал барон, и на крик этот выбежала женщина не старая, но с наружностью мегеры, в канифасной кофте и темной, staметной юбке, в засаленном чепце, с пуком ключей у пояса на одной стороне и лозою на другой, в башмаках с высокими каблуками, которые своим стуком еще издали докладывали о приближении ее. Это была достойная экономка барона Балдуина и домашний его палач.

— А-а! дружище! — сказал Фюренгоф и указал ей на девочку лет десяти, лежавшую, согнувшись в клубок, у одной из дверей. Мегера немилосердно толкнула несчастную жертву в спину и, не дав ей времени одуматься от страха, принялась хлестать ее лозою до того, что она упала без чувств на пол. Здесь послышался на мосту нетерпеливый крик и стук.

— Видно, пожаловал неугомонный гость! — проворчал с сердцем старик. — Марта! спроси в окно, кто осмеливается так беспокоить меня по ночам?

Экономка спешила в точности выполнить приказ своего повелителя. Сторож отвечал, что приехал из Гельмета господин Никласзон и грозится стрелять по окнам дома *милостивого* барона, если не скоро пропустят его через мост.

— Вели пустить! — сказал Фюренгоф, спустившись на тон более мягкий, когда услышал магическое для него слово, и приготовился встретить гостя, бормоча сквозь зубы:

— Ох! этот вещун полуночный! зачем нелегкая несет его так поздно?

Комната, где второпях остановился барон, походила также на кабинет, только другого рода, нежели тот, в котором мы его прежде застали. Кроме старых фолиантов, книг, большою частию без переплетов, планов и бумаг, покрытых густым слоем пыли, да двух-трех фамильных портретов, шевелившихся при малейшем стуке дверей, в нем ничего не было. Как повислое крыло ушибленной птицы, свесилась над портретом оторванная с одного конца панель, а с другой едва придерживаемая гвоздем. Здесь стоял сальный огарок, который барон поспешил зажечь. В этом кабинете ожидал он своего гостя. Явился Никласзон в плаще, опоясанном широким ремнем, за которым было два пистолета, в шляпе с длинными полями и с арапником в руке. Гру-

бая досада и коварство переговаривались на его лице. Марте дан знак удалиться.

— А-а, дружище! Откуда? зачем бог несет так поздно? — сказал Фюренгоф, обнимая Никласзона.

— Бог? не произноси этого имени! — возразил гость, принимая холодно обнимания хозяина и бросив шляпу на стол. — В наших делах нет его.

— Дружище! что с тобою? Здоров ли ты? Садись-ка, отдохни, любезный! (Придвигает ему стул.)

— Вели подать мне прежде вина, да смотри, для *меня*!

— Отвесть душку? хорошо! Венгерского, что ли? чистого венгерского, которое берегу только для таких приятелей, как ты. Масло, настоящее масло, дружище!

— Хорошо!

— А может, позволишь кипрского? Остаточек от пира, который делал король польский при переименовании Динаминда в Аугустенбург. Сладок, приятен, щиплет немного язык...

— Как твоя Марта. Что-нибудь хорошего, да поскорее!

Старик вышел в другую комнату и хлопнул два раза в ладони. На этот знак явилась растрепанная экономка с белым чепчиком на голове. Он сердито посмотрел на нее и примолвил:

— Вот что значит гость по сердцу! Гм! Наряды другие!

— Прежний чепчик... — отвечала, запинаясь, мегера, — был в... крови.

— Сатанинские отговорки! Знаем! Слышь, принеси нам венгерского первого сорта. *Понимаешь*? а?

— Слушаю и понимаю, — проворчала экономка и вышла из комнаты, хлопнув сердито дверью.

— Вот каковы ныне служители, дружище! — вздыхая, сказал барон, садясь близ своего гостя. — А сколько попечений об них! Пой, корми, одевай, заботься об их здоровье, благодетельствуй им, и, наконец, в награду тебе, хлопнут под нос дверью!

— Зачем ты сослал на пашню служителей отца своего?

— Они служили отцу, не мне; к тому ж избалованы, страх избалованы; захотели бы и меня впрячь в соху, да стали бы еще погонять; пустили бы и меня по миру. Я хочу воспитать своих служителей для себя собственно, по своему обычаю, своему нраву. Надобно дер-

жать их в ежовых рукавицах, чтобы они не очнулись; надобно греметь над ними: тогда только они на что-нибудь годятся.

— Между ними были старики испытанной верности.

— Верности? где ныне найти ее? Все тунеядцы, трутни, вольница! Только и забот, что о себе, об новой редукции, о каких-то правах человеческих, а об господине давно забыли. Вообрази, любезный, я вздумал одного из этих служителей испытанной верности легонько наказать — и то, дружище, с отдыхами, — что ж он, бунтовщик?.. Я, кричит на весь двор, старый камердинер вашего батюшки, ходил с ним в поход; да что это будет? ныне времена не те: есть в Лифляндии и суд и ландрат. Поверишь ли? Едва не взбунтовалась вся дворня.

— Хорошо! Зачем же ты согнал прежнюю любимицу свою Елисавету?

— Елисавету?

— Да, обольщенную тобою, обманутую, твою благодетельницу, по милости которой так же, как и по моей, получил ты все, что имеешь!

— Она была свидетельницею... она избаловала всю дворню, брала надо мною верх, хотела быть госпожою всего... меня уж не ставила и в пфенниг. Впрочем, господин Никласзон, к чему такие вопросы? в такое время?

— К чему? (Никласзон коварно посмотрел на своего собеседника.)

— Да, зачем тревожить прах мертвых? Разве ты хочешь забыть, что она умерла, схоронена и покоится на кладбище до будущего воскресения мертвых?

— Умерла так же, как я умер, схоронена, как я.

— Разве... ты... друг?

— Видно, ошибся одною унциею: что ж делать? И не на нас бывает такая беда, что одною лишнею унцией, или недостатком унции, убивают и оживляют.

— Что ж?.. разве есть вести?.. — дрожащим голосом спросил ужасный барон, едва держась на стуле.

— Есть. Знай, старик неразумный: бывшая служительница Паткуля, питомка отца твоего, твоя любимица, моя с тобою сообщница в злодеянии... (Взглянув на шевелившийся портрет.) Что ты не велишь снять этого бледного старика, который на нас так жалко смотрит, будто упрашивает? Также свидетель!..

— Тише, тише, друг, я слышу шаги Марты. (Он утер рукою холодный пот с лица и старался принять веселый вид.) Славное винцо, божусь тебе, славное! (Вошла экономка, у которой он вырвал из рук бутылку, рюмку и потом налил вина дрожащими руками.) Выпей-ка, дружище! после дороги не худо подкрепить силы.

— Прошу начать, — сказал твердо Никласзон.

— Между друзьями? Это уж осторожность слишком утонченная.

— Без обиняков. Мы друг друга знаем: я приехал не знакомиться с тобою.

— Будь по-твоему! За здоровье моего доброго, верного приятеля! (Выпивает рюмку вина.)

Никласзон взял рюмку и бутылку, сам налил и, произнеся:

— Да погибнут враги наши! — приложил губы к стеклу, наморщился и выплеснул вино на пол. — Твоя экономка ошиблась? Это уксус!

— Марта! что это значит?

— Вы приказали первого сорта, — отвечала экономка, — не в первый раз *понимать* вас.

— Бездельница! — вскричал старик, топая ногами. — Принеси первого нумера. *Знаешь?*

— Теперь *знаю*, — сказала Марта и вышла из комнаты.

Барон придвинул стул ближе к своему сообщнику и жалким, униженным голосом, потирая себе ладони, начал так говорить:

— Как же, любезный друг, знаете, что... она... но вы надо мною шутите? Может быть, старые долги?

— Я не приехал бы шутить в ужасную полночь к тебе, на твою мызу, где одни черти за волосы дерутся. Известно мне так верно, как сижу теперь на стуле, в доме твоем, как тебя вижу в трясучке от страха; известно мне, говорю тебе, Балдуину Фюренгофу, что Елисавета, тобою изгнанная, мною не доморенная, живет, под латышским именем Ильзы в стане русском, в должности маркитантши. — При этих словах расстегнул он верх плаща, вынул из бокового кармана две бумаги и, подавая Фюренгофу одну, произнес с злобной усмешкой: — Читайте, господин барон! полюбуйтесь, господин барон!

Балдуин придвинул к себе свечу, взял бумагу и,

разглядев заглавие и почерк, едва не выронил ее из рук.

— Что-то рябит в глазах, — сказал он, запинаясь. — Почерк знакомый! Точно, это ее злодейская рука! — Он начал читать про себя. Приметно было, как во время чтения ужас вытискивался на лице его; губы и глаза его подергивало. Пробежим и мы за ним содержание письма:

«Елисавета Трейман Элиасу Никласзону.

Как посторонняя тебе женщина, не желаю мира душе твоей: это было бы напрасное желание! Ни ты, ни твой сообщник, ни я, подлое орудие ваших преступлений, не можем уже вкушать мира ни в здешнем свете, ни в другом. Могу ли желать тебе мира по чувству ненависти к вам, которое разве гробовой камень во мне придавит? Если вам дано пользоваться хотя наружным спокойствием, — пишу к вам для того, чтобы его нарушить. Знайте, злодеи! я жива не одним телом; жива духом мщения, ужасным, неумолимым, как было ужасно, неумолимо обращение со мною твоего собрата по злодеяниям. Трепещите! день этого мщения приближается: он будет днем Страшного суда для вас, не ожидающих его и не верующих в судью вышняго. Слушайте! Подлинное завещание никогда не было уничтожено; столько же преступная, как и вы, я была умнее и осторожнее вас: я сохранила это завещание и обманула двух опытных плутов. Прибавлю еще к мучению вашему: оно лежит на земле рингенской. Стерегите его день и ночь или изройте всю область князя ада, барона сатаны, чтобы отыскать его. Ожидайте меня. Час мщения, час вашего суда наступает. Иду... скоро сподоблюсь увидеть вас лицом к лицу в адских терзаниях. О! как наслажусь я ими! — Скоро увидите перед собою с ужасною бумагой, вместо бича, *Елисавету Трейман*».

— Ну, барон, как *вам* нравится эта цидулка? — хладнокровно сказал Никласзон. (Фюренгоф не отвечал ничего и впал в глубокую задумчивость, из которой мог только исторгнуть его адский смех товарища.) — Ха-ха-ха! лукав, как лисица, и труслив, как заяц! Полно предаваться отчаянию: разве нет у тебя друзей?

— Друзей! правда, я забыл об одном. Друг! помоги мне ныне; выручи меня и требуй...

— Кислого вина, не так ли? Знаем цену ваших обещаний, знаем также, как вы их держите. Впрочем, я берусь помогать тебе с условием: слушаться моих советов, как твои маленькие мученики лозы Марты.

— Готов все сделать.

— Видишь, попавши в когти к дьяволу, нелегко из них выпутаться: надо иметь ум самого Вельзевула, ум мой, чтобы высвободить тебя из этих тенет. Чу! слышны каблучки прелестной Гебы.

Вошла экономка с бутылкою вина, хорошо засмоленною, поросшею от старости мохом и с ярлыком из бересты, на которой была надпись: *старожинский*.

— Вот это, видно, доброе венгржино! — сказал Никласзон. — Подай-ка прежде своему Юпитеру; Меркурий знает свой черед. (Старик, не отговариваясь, налил себе полрюмки, выпил ее без предисловий и тостов, потом передал бутылку и рюмку гостю.)

— Вот это винцо! — вскричал Никласзон, выпивая рюмку за рюмкою. — Помянуть можно покойников, что оставили нам это добро, не вкусивши его. Нет, в замке Гельмет люди жили поумнее и теперь живут так же: наслаждались и наслаждаются не только своим, даже и чужим; а деткам велят добывать добро трудами своими. — Он наставил себе горлышко бутылки в рот.

Старик, трясясь от жадности, предлагал ему несколько раз рюмку, которую Никласзон наконец в досаде оттолкнул от себя так, что она, упав на пол, расшиблась вдребезги.

— Что ты мне рюмочку подставляешь? Мы умеем пить изо всей. Торговаться стал, дрянной старичишка? Хочешь?..

— Кушай, любезный, на здоровье. Я думал, что венгерское пьют рюмочками.

— То-то и есть! Марта, подойди сюда. Старый хрыч! Вели ей подойти ко мне: она боится тебя.

— Марта, подойди к господину Никласзону; он тебя не укусит.

Экономка подошла к гостю; тот хотел ее поцеловать; она с притворным жеманством отворотилась.

— Барон! что это значит?

— Марта, поцелуй господина Никласзона, когда он делает тебе эту честь.

Властолюбивый гость наклонил голову на одну сторону и назначил указательным пальцем место на щеке, которое она должна была поцеловать. Экономка, с ви-

дом отвращения, исполнила повеление своего господина.

— Поцелуи Елисаветы были горячее твоих. Славная была девка Ильза! Что ты стоишь перед нами, старая ведьма? Вон!

Марта покачала головой и, поглядев исподлобья на своего повелителя, превратившегося из ужасного волка в смирную овечку, поспешила оставить собеседников одних. Никласзон ударил рукою по бумаге, которую бросил на стол перед напуганным бароном, перекачнул стул, на котором сидел, так, что длинный задок его опирался краем об стену, и, положа ноги на стол, произнес грозно:

— Первое письмо было к сведению, а это к исполнению. Читай-ка, доброжелатель мой, да потише, а то ныне и двери слышат.

Фюренгоф взял бумагу, ему подложенную, и начал читать про себя, выговаривая по временам некоторые слова и строки вслух: «Зная... ваши с моим родственником», — (взглянув на подпись, с изумлением): — Паткуль родственник? Висельник! изменник! право, забавно! — «Русскому войску... 17/29 нынешнего месяца... в Гуммельсгофе...» — Что это за сказки? Об русских в Лифляндии перестали и поминать. Едва ли не ушли они в Россию. Что ему хочется?

— Кошке хочется игрушек, а мышкам будут слезки.

— Это не прежние времена пошучивать над роденькою: кажется, было чему отбить любовь к чудесностям! — «...пятьсот возов провианта непременно... к назначенному числу». — Пятьсот возов? Безделица! В уме ли он? — «И сверх того...» — Что еще? — «16/28 числа явиться ему, Балдуину... Фюренгофу... самому... в покойной колымаге, лучшей, какую только... к соргофскому лесу. Он должен...» — Что за долг? что за обязанность? Дело другое вы, любезный друг!

— Моя судьба зависит от него: я *ему* служу.

— Ему? возможно ли? Кажется, вы преданнейший человек баронессе Зегевольд.

— По наружности! Что мне от нее? как от козла, ни шерсти, ни молока. Довольно, что я храню твои тайны; уж конечно, не обязан я тебе открывать своих. Но теперь, повторяю тебе, моя судьба ему принадлежит; с моею связана твоя участь: вот предисловие к нашему условию. Читай далее и выбирай.

— «...под именем Дионисия Зибенбюргера, иностранного путешественника, механика, физика, оптика и астролога; приметы: необыкновенно красный нос... горб назади... известен по рекомендательным письмам из Германии... с условием хранить... тайну... до двух часов пополудни того ж дня. Невыполнение... открытие фальш... заве... разорение имения... тюрьма и мучительная смерть». — Открытие! разорение! тюрьма! смерть! (Задумывается, потом опять принимается за чтение письма.) — «За верные же услуги... удовольствие посмеяться... сохранение имущества... жизни... тайны... сверх того уполномочиваю вас, господин Никласзон, облегчить налог хлебом, сколько вы заблагорассудите. Остается ему выбирать любое». — По прочтении этой записки и, по-видимому, деспотического условия барон впал опять в глубокую задумчивость, качал головой, рассчитывал что-то по пальцам, то улыбался, то приходил опять в уныние.

— И я думал, и я рассчитывал, как ты, кажется, эта башка не глупее твоей (здесь Никласзон покачнулся вперед, поставив стул на пол, и ударил себя пальцем по голове), — а пришлось свести все думы и расчеты на одно: согласиться выполнить требование Паткуля. На губах твоих вижу возражение. Тс! подожди говорить, седая, остылая голова! Я за тебя буду рассуждать и за тебя решу. Слушай же. Казалось бы с первого взгляда, что Паткуль кладет голову свою прямо в пасть северному льву, что этот сладкий кусочек, переходя через наши руки, должен бы и нам доставить высокие награды. Но, вникнув хорошенько в существо дела, назовешь себя дураком за то, что даже одну минуту мог остановиться на возможности этого предположения. Может ли статься, чтобы тот, кто избран был на двадцать пятом году жизни от лифляндского дворянства депутатом к хитрому Карлу XI и умел ускользнуть от секиры палача, на него занесенной; чтобы вельможа Августа, обманувший его своими мечтательными обещаниями; возможно ли, спрашиваю тебя самого, чтобы генерал-кригскомиссар войска московитского и любимец Петра добровольно отдался, в простоте сердца и ума, в руки жесточайших своих врагов, когда ничто его к тому не понуждает? Это невозможно! Это несбыточно. Вспомни, что баронесса Зегевольд враг его, что генерал Карла XII, Шлиппенбах, враг еще более заклятый. Потеха над ними отзовется в

сердце Карла. Вот чего хочется мстительной, властолюбивой душе Паткуля! Но если намерение его игрушка, прихоть, то она прихоть, основанная на верных расчетах ума, на тонком знании сердца человеческого, особенно твоего, — понимаешь ли? — а не на смелом, безрассудном желании удовлетворить одной любви к чудесности. Теперь примемся за другие политические виды. Кто, спрашиваю тебя, из лифляндцев, если он только не слеп, не видит, что горсть шведов, беспрестанно умаляющаяся, не в состоянии противостать многочисленному войску русскому, беспрестанно возрастающему? Что сделает эта горсть, разделенная несогласием начальников, против стотысячной армии? Я не астролог, также и ты не хватаешь звезд с небосклона политического; но угадать можем скорую участь здешней страны. Давно ли отсюда, из твоего дома, слышали мы стук русских пушек, отдаваемый покорными им вершинами Эррастфера? Давно ли видели мы тысячи семейств крестьянских и баронов, не хуже тебя, в рубищах, с плачем бежавших из опустошенных татарами сел и мыз искать в окрестностях Рингена куска насущного хлеба и крова от зимней непогоды? Не в подвале ли твоем жило благородное семейство, некогда богатое, потом обнищавшее? Напрасно тешит себя Шлиппенбах, с *своим* преданным и всезнающим *шведом*, мечтою нечаянного нападения на русских! Я имею верное известие, что он предупрежден и что бесчисленное войско русское зальет эту страну завтра или послезавтра. Объявить Шлиппенбаху, не желающему *наших* услуг, то, что я знаю, то, что ты теперь знаешь, было бы только остановить на несколько часов судьбу, которая должна скоро совершиться над нашим краем. Может статься, уже и поздно! Наше усердие придаст ли силы его корпусу, ослабит ли бурный поток, к нам вторгающийся? Какую пользу извлечем мы от того для себя? *Для себя* — заметь это, мой приятель, заметь, я и ты должны думать о себе, а прочими пустыми именами долга, чести, отечества пусть здравствует и питается кто хочет. Не правда ли?

— А-а, дружище! вы приводите расстроенные мысли мои, мои чувства в порядок. (Здесь Фюренгоф придвинулся еще к гостю и пожал ему дружески руку.)

— Выдача клевретам Карла XII личности врага есть, конечно, приобретение благодарности его величе-

ства и громкого имени. Благодарность, громкое имя... опять скажу, пустые имена, кимвальный звон! Нам с тобою надобны деньги, деньги и деньги, мне через них наслаждения вещественные. Чем долее наслаждаться, тем лучше; а там мир хоть травой зарасти. Что ж пасторы говорят о душе... ха-ха-ха! (В это время послышался крик совы в замке.) Что это захохотало в другой комнате?

— Не беспокойся, любезный, это сова поет в развалинах.

— Охота барону держать у себя этих певчих. Я давно б им шею свернул и отправил смеяться на тот свет.

— Вот видишь, она кричит, как домовой: слышишь?

— Хороши песни!

— Зато пугает воров. Но продолжайте, любезный, вашу утешительную, сладкую беседу, отогревающую мое оледеневшее сердце.

— Нам с тобою надобны деньги; не правда ли?

— А-а, дружище!

— Бедняк Шлиппенбах даст ли нам их? Сколько шиллингов отсыплет нам Карл, которому содержать нечем было бы войско без контрибуции с Польши, — Карл, который, лишь только напомним ему о награде, забудет наши услуги и помнить будет только нашу докучливость? К тому ж богатому барону не подумают дать денег. Он обязан был это сделать! — скажут тогда. «Тебя ж наградит щедрая баронесса», — возразишь ты. Чем? будущими твоими же миллионами? Вот уж более года, как я не получаю своего жалованья! Заслуги скоро забываются. Долго ли ты платил мне положенное за мои смертные услуги? да, долго ли?

— Кажется, я всегда... аккуратно...

— Полно об этом. Слово у нас о настоящем. Куда укроемся тогда от мщения русского полководца, от гнева царя, который сыщет нас в преисподней? Скажу про себя: в Швеции я, по обстоятельствам, не могу быть, в Польше — подавно. Спрашиваю: что мы тогда для себя сделаем? А теперь, будучи верны известным требованиям до двух часов пополудни двадцать восьмого числа, то есть до двух часов завтрашнего дня — хотя бы и долее, — повеселя Зибенбюргера безделкою, что мы теряем? Ничего! Мы всегда в стороне: ты да я про себя не выболтаем. Если ты получил ложные реко-

мендательные письма, то не твоя вина: тебя обманули, и только! Разочти, что мы теперь выиграем. О! я вижу лестницу блаженства. Оставляю даже свои выгоды, чтобы думать только о *ваших. Вы*, среди развалин Лифляндии, сохраняете свои земли, мызы, сокровища...

— Сохраняю! Точно ли, родной мой? Ручаешься ли ты?

— Ручаюсь головою моей. Подумайте, когда по соседству вашему везде раздаваться будут стон и плач, тогда вы, знатный господин, неограниченный властитель над вашими рабами, обладатель огромного, нетронутого неприятелем имения, улыбаясь, станете погремыхивать вашими золотыми монетами. Этот случай дает вам также способ расторгнуть ваше условие с баронессою Зегевольд.

— Ах! и это, признаться, лежало у меня на сердце, как тяжелый камень.

— С своей стороны обещаюсь вам, сверх того, за исполнение требований, нам предписанных, обходиться с вами не как равный вам злодей, но как слуга ваш, преданный вам советами, рукою и медицинскими познаниями своими, когда вам угодно... понимаете меня? Еще скажу вам в утешение, господин барон: со способами, ныне нам предлагаемыми, я уже предугадываю, как достать Ильзу и стереть этого свидетеля.

— Стереть? — вскричал барон, облегчив грудь радостным вздохом, и пожал Никласзону руку.

— Да, стереть этого беспокойного свидетеля с лица земли.

— А средства, дружище?

— Они вертятся в голове моей и утвердятся в ней, когда я буду уверен в помощи человека, которому мы ныне должны угодить. Не сослужа, можно ли требовать и наград? Покуда будьте довольны теперешним обещанием, спокойный обладатель богатства несметного!

— Несметного? Уж вы, дружище, безбедное состояние, насущный кусок хлеба называете богатством!

— Опять за старую песню! Рыбак рыбака далеко видит: нам нечего друг перед другом притворяться. Ну, что ж ответ на письмо?

— На прежде сказанном и вами, бесценнейший друг, подтвержденном условии, берусь доставить завтра, в доброй колымаге, в Гельмет, господина...

— Зибенбюргера.

— Да, господина Зибенбюргера. Сверх того, по дальнейшим моим соображениям и надежде, что при чести, которую я... со временем... буду иметь лично ознакомиться с моим дорогим родственником, генералом... министром... я буду удостоверен в сильном покровительстве его охранным листом и другими вернейшими способами, даю слово содержать тайну до трех часов завтрашнего дня. Ну вот как я щедр и великодушен! даже до четырех часов. Уф! это многого мне стоит.

— Важнее всего, что ни одного шиллинга! Статья конченая! Измена ее на волос есть знак к измене с моей стороны. Я ничего не боюсь, не связан богатством и лифляндским баронством; имею сильного покровителя; ныне здесь, а завтра в стане русском, насмехаюсь над всеми лифляндскими законами. Но ты... ты раздавлен тогда, как поганый червь! Соблюдение условия есть мое и твое счастие. Дай мне руку в знак согласия. (Собеседники пожали друг другу руки.) Теперь примемся за другую статью, то есть доставление послезавтра пятисот возов провианта к Гуммельсгофу.

— Пятисот возов! Возможно ли? Я пропал, я разорен дотла! мне придется надеть суму! Сочтите сами, бесценнейший мой, чего это будет стоить. Вы посредник в этом деле, посредник, предлагаемый великодушием самого нашего любезного родственника.

— Я не дарю ни одного воза.

— Не доведите меня до петли, спаситель мой, благодетель мой! (Хочет становиться на колена.) Никласзон, поднимая его:

— Меня не умилостивишь этими коленопреклонениями. Садись и выслушай мой совет, которым еще раз спасаю тебя от маленького убытка и большого отчаяния. Пожалуй, чего доброго, ты из одного воза навяжешь себе пеньковый галстух. Слушай же. Купи пятьсот возов хлеба и круп под каким-нибудь предлогом у своих соседей.

— Купить? где я возьму столько наличных денег?

— Хорошо, будь по-твоему. Купи на слово, что отдашь их через несколько дней. Тебе поверят хоть три тысячи возов.

— Мне? при теперешних худых обстоятельствах, при ограничении роста?

— Тс! Сторговав эти пятьсот возов, отправь их к назначенному времени по дороге в Гуммельсгоф.

Поручи это сделать своей Марте. Русские придут, нападут на провиант, скушают его, и тогда ты имеешь право не платить денег. Не так ли? Скорей: да иль нет?

— Да! только...

— Ни одной крупинки не убавлю. Будет ли выполнено?

— Будет, только не забудь о средствах, как избавиться нашего общего врага — Ильзы.

— Вот моя рука, что через неделю, поздно — две я найду способ притиснуть ей язык. Но заря занимается; кажется, и проклятая твоя сова перестала насмехаться, чтоб ее побрали... (Оглядывается кругом.) Позови теперь Марту, выпустить меня из этой западни.

— Только, пожалуй, не стыди эту девицу поцелуями своими: она у меня такая застенчивая.

— Условия наши кончены; лист оборочен.

По зову своего повелителя экономка вошла в комнату. Никласзон встал при ней со стула и произнес униженным голосом, наклонив перед бароном голову:

— Господин барон Фюренгоф! простите меня с свойственным вам великодушием, если я, человек маленький, ничего не значащий, осмелился, разгоряченный винными парами, оскорбить вас или кого из ваших приближенных, словом или делом. Из глубины кающейся души прошу всепокорнейше прощения.

— А-а, дружище! кто старое помянет, тому глаз вон. Забудем это. Ты всегда был человек мне преданный, нужный.

— Верьте, что вы по гроб мой найдете во мне усерднейшего и вернейшего слугу. Позвольте иметь честь распрощаться с вами.

Здесь хозяин и гость обняли друг друга. Фюренгоф дал знать экономке, чтобы она отперла двери и проводила гостя. Удивленная Марта, думая, что она все это видит во сне, протерла себе глаза и наконец, уверенная, что обстоятельства приняли счастливый для ее господина оборот, с грубостью указала дорогу оскорбившему ее гостю. Когда барон услышал из окна скок лошади за Меттою и удостоверился, что Никласзон далеко, обратился с усмешкою к домоправительнице и ласково сказал ей:

— Подумай хорошенько; принесло окаянного в пьяном виде, ночью и черт знает зачем! А-а, дружище!

Кажется, еще человек одолженный! и место получил через меня, и освобожден от петли.

— Что делать, сударь! — отвечала Марта, поправляя чепчик на голове и подбирая под него растрепанные волосы. — Ныне такие наступили времена тяжелые, что никто не помнит заслуг. Век живи, век учись!

## *Глава седьмая*
## НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Минута сладкого свиданья,
И для меня блеснула ты!

*Пушкин*

Еще накануне дня рождения богатой наследницы все было в движении на мызе гельметской. Суетились, бегали, толкали друг друга, требовали, отпускали и старались еще заранее праздновать день этот искусными урывками того, сего из достояния помещицы — не хозяйки, чтобы сделать себе елико возможный запасец на будущее время. Начиная с амтмана фон Шнурбауха, в некоторых случаях необыкновенно награжденного даром предвидения, до поваренка, замыкавшего фалангу дворового штата, у всех, более или менее, было рыльце в пушку. Разумеется, что, чем важнее считалось должностное лицо, чем круг надзора его был обширнее, тем шире был карман, в котором сосредоточивались подати за пропуск разных грехов против осьмой заповеди. Амтман, с важною частицею *фон*, под видом сбереженья господского интереса, откладывал в свою экономию разные плоды тонкой математической промышленности; ключница прятала недовески и привески; повара передавали женам излишки, а поваренки, облизывая преисправно сладкие остатки, отделяли от души лучшие кусочки пригожей дворовой девчонке. Самые моськи супруги фон Шнурбауха слаще поели в этот день, нежели в обыкновенные, хотя она в простые дни кормила их из собственных рук, иногда из одного с нею блюда, едва ли не лучше своей высокой половины. Между тем с верхней до низшей ступени баронессина двора читали друг другу строжайшие наставления о честности и, в пример ужасных злоупотреблений, которых избегать надо, выставляли (уж конечно, не себя! кто себе лиходей?) соседние мызы; кричали

много, грозили наказаниями (тогда, когда забывалось правило дележа) и преисправно обеспечивали себя на будущее время. Что делать? так водится не в одних баронских домах. В кухнях и приспешенных варились, жарились и пеклись всякого рода огромные припасы, как будто готовились угощать целый полк, и приятный запах от яств доносился до окна бедного селянина, доедавшего ломоть хлеба пополам с мякиной. Правда, и крестьянам баронессиным готовились угощенья и веселости: жарились для них целые быки, катились на господский двор бочки с вином, шились наряды для новобрачной четы и сыгрывались гудочники и волыночники. Чухонцы, послышав об этих приготовлениях, заранее разевали рот от удивления и с нетерпением поджидали у своего окна, когда *староста* или *кубиас* [1]

Той палкой в замок их погонит веселиться,

которая столько раз и так немилосердно гоняла их на барщину и напоминала о податях. Таков грубый сын природы! Сытное угощение, шумный праздник заставляют его забыть все бремя его состояния и то, что веселости эти делаются на его счет. Надо прибавить: таковы иногда бывали и помещики, что решались скорее истратить тысячи на сельский праздник, нежели простить несколько десятков рублей оброчной недоимки или рабочих дней немощным крестьянам!

Со времен Христины, королевы шведской, собрания в духе патриархальной простоты, называемые Wirthschaft, давали место в богатых лифляндских домах более утонченным веселостям. Студенты дерптские играли комедии, в которых роли женщин они же сами же выполняли; балы, маскерады и разные затейливые игры стали также в большом употреблении. Греция и Рим кружили тогда всем головы, и потому члены Олимпа осадили всякого рода зрелища. Соображаясь с нововведениями, тщеславная баронесса назначила дню рождения своей дочери быть цепью необыкновенных удовольствий. Для расположения этого праздника, по рекомендации Глика, выписан был уж с неделю из Мариенбурга тамошний школьный мастер Дихтерлихт, которому, говорил пастор, не найти подобного от Эвста до Бельта

---

[1] Старшина в деревне у латышей называется по-нашему *старостою*, у чухонцев (или эстов) — *кубиасом*.

генияльною изобретательностью угождать Грациям и Минерве. Адам Бир взялся выучить двух благородных девушек, соседок гельметских (избранных не по уму и образованию, а по хорошеньким личикам), ролям Флоры и Помоны, которые должны были приветствовать новорожденную приличными стихами, сочиненными мариенбургским стихотворцем. Между тем сам Дихтерлихт занялся стряпаньем похвального слова, которое хотел поднесть в тетради с золотою обложкою и узорами Луизе Зегевольд. Так как нам достался русский перевод этого великого творения, Гликом сделанный, то мы предлагаем здесь образчик из него, на выдержку взятый [1].

«Я б желал, — говорил панегирист, описывая наружность Луизы, — я б желал здесь персону сея прекрасныя дщери знаменитого баронского дома несколько начертить, коли б черные чернила способного цвета были ея небесную красоту представить: будешь ты, читатель, доволен, коли своему уму представишь одно такое лицо и тело, которых точнейшее изображение имеется без порока, белый цвет в самом высочестве, приятность же преизящную всего света. Предложи себе токмо одну удивления достойную живность, приятную во всех компаниях, рассудную умеренность, похвальную завсегда во всяких уступках и делах, и учтивое приятельство, которое зело потребно к покорению сердец. И егда ты в уме своем все помянутыя преизящныя свойства совокупишь и сочинишь им экстракт, то, конечно, можешь себе сказать: такова виду была сущая баронская дщерь, и проч.».

Праздник был расположен на отделения, расписанные в порядке по нумерам; нарушитель этого порядка подвергался строжайшей ответственности.

В то самое время, когда приготовления к этому тезоименитому дню превратили Гельмет в настоящее вавилонское столпотворение, — вскоре после полудня, приближались к замку по гуммельсгофской дороге две латышские двухколесные тележки. Прыть лошадок возбуждалась то и дело плетью верховых проводников, не жалевших ни головы и боков их, ни своей руки. Близ

---

[1] Действительно, я имею подобный перевод. В списке с него не убавил и не прибавил я иоты.

ограды остановились тележки, из коих вышли трое чужеземцев. Двое из них были в длинных русских кафтанах, подпоясаны кушаками, на которых висели *лестовки* [1], и, несмотря на жаркое время года, накрыты небольшими круглыми шапками [2]. Один был в котах, другой бос и имел за плечами котомку и два четвероугольных войлочных лоскута [3]. Третий походил на русского монаха; он окутан был в длинную черную рясу и накрыт каптырем, спускавшимся с головы по самый кушак, а поверх каптыря — круглой шапочкой с красной оторочкой. Тот из них, который нес за плечами котомку, переговоря с товарищами, отошел немного от замка и присел под большим вязом на камне. Двое же продолжали поспешно путь свой прямо в ворота, на двор и на террасу, не осматриваясь, не останавливаясь и не спрашивая никого ни о чем. Служители с уважением давали им дорогу, почтительно кланялись, не будучи сами удостоены поклоном и, между тем, не смели их предупредить, чтобы доложить о них. Так было заранее приказано, в случае прихода этих чужеземных гостей. Старший из них шел впереди. Несмотря на простоту его одежды, небольшой рост, сгорбленный летами стан и маленькое худощавое лицо, наружность его вселяла некоторый страх: резкие черты его лица были суровы; ум, проницательность и коварство, исходя из маленьких его глаз, осененных густыми седыми бровями, впивались когтями в душу того, на кого только устремлялись; казалось, он беспрерывно что-то жевал, отчего седая и редкая борода его ходила то и дело из стороны в сторону; в движениях его не прокрадывалось даже игры смирения, но все было в них явный приказ, требование или урок. Следовавший за ним чернец был средних лет, среднего роста и сухощав; из-под каптыря выпадали темные волосы, в которых сквозил красный цвет; на лице его пост и умиление разыгрывали очень искусно чужую роль; бегающими туда и сюда глазами он успевал исподлобья все выглядеть кругом себя; даже по двору шел он на цыпочках.

---

[1] Раскольничьи четки.

[2] В правилах раскольников сказано: «Растящих власы и носящих малахаи (начетверо разрезанные шапки) и шляпы запрещать и в моление не пущать».

[3] Подручники — род подушек, которые кладут раскольники во время земных поклонов на пол, под руки.

— Что за Содом! — вскричал старик с коварной усмешкой.

— Воистину земля бесова пленения, отце Андрей! — отвечал смиренным голосом чернец, положив сухощавую руку на грудь. — Ведаю, сколь прискорбно сердцу твоему взирать на сие растоценное стадо! но потрудись, ради спасения православных цад твоих, да помолятся о тебе в царстве небесном.

Путники вошли в переднюю, а из нее в зал, не скидая шапок. Здесь старик, сурово осмотревшись кругом, присел на первых попавшихся ему креслах, бросил взгляд на фамильные портреты, висевшие по стенам, плюнул, прошептал молитву и потом с сердцем постучал своим костылем по столу, подле него стоявшему; но видя, что тот, к кому относилось это повелительное извещение о его прибытии, не являлся, толкнул жезлом своим чернеца, стоявшего в задумчивости у порога, и указал ему на внутренность дома. Чернец будто вздрогнул, поклонился и пошел, куда ему указано было, тихо, осторожно, как будто ступал по овсяным зернышкам, легонько притворяя за собою дверь. Через комнату встретил его Никласзон, приметно смущенный.

— Зачем вы к нам? — торопливо спросил этот, отворив и прихлопнув опять следующую дверь, чтобы показать, будто монах в нее прошел.

— О вей, о вей! — отвечал шепотом монах, качая головой и озираясь: — Не знаю, как и помощь [1].

— Пустяки! для брата Авраама нет ничего невозможного, — сказал секретарь баронессы, втирая ему осторожно в руку до десятка червонных. — Мы с тобой одного великого племени; обманывать, а не обманутыми быть должны; ты создан не служить этой собаке, которая того и гляди что издохнет: можно тебе самому скоро быть главою раскола в России и учителем *нашей* веры. Мы делали уже дела не маленькие, были награждены; не изменим теперь друг другу, и нас не забудут.

Пока Никласзон читал это красноречивое убеждение, монах одним жадным взглядом успел пересчитать золото и спешил с удовольствием уложить его в лестовку, в которой сзади искусно была сделана сумка.

---

[1] Хотя монах говорил с Никласзоном по-немецки, но я старался в переводе Авраамовой речи удержать его выговор русского языка. — Авраам также лицо историческое.

— Мне этого и хоцется, добрый Никласзон, — отвечал шепотом монах, — но теперь не время об этом рассуждать. Скажу тебе только, сто мы присли сюда поведать баронессе, сто русские высли из своего лагеря, разбили зе в пух, в пух форпост близко Розенгофа и ныне в ноци или, конецно, заутра будут в Сагнице или в Валках. Хось и трудно обмануть старого плута, но бог Якова и Авраама тебе поруцатся, сто я цестный еврей, заставлю этого пса брешить по-моему, как мне хоцется. Теперь поди скорей и скази своей принцессе, стоб она позаловала к нам.

Никласзон подошел на цыпочках к двери, вышел через нее и прихлопнул ее слегка за собой; между тем Авраам кашлянул и пошел обратным путем к своему начальнику.

— Преподобный отце Андрей! — сказал монах, представ пред него, низко поклонившись и став опять униженно у порога. — Боярыня сейцас будет.

— Сейцас, сейцас! — вскричал старик, в шутку передразнивая вошедшего. — Долго ли тебе, Авраам, говорить по-жидовски?

— Виноват перед тобою, отче преподобный! — промолвил, вздрогнув, монах, опять низко кланяясь. — Положил бы триста поклонов до земли, лишь бы мне исправиться.

— Поклоны пускай остаются в ските да в согласиях, Авраам: ты меня разумеешь... Все будет шито да крыто, лишь бы служили нам верою и правдою, — сказал старик, смотря на своего послушника испытующим взором, которого всю силу умел последний неколебимо выдержать и отразить правдоподобием совершенной невинности и преданности. В этом случае еврей обманул русского раскольника, и притом начальника и учителя их (старик был Андрей Денисов). Надо ли удивляться? Родонаследственная хитрость текла в крови Авраама; к тому же он искусился в лицемерии, пожив несколько лет монахом в одном католическом венгерском монастыре, который успел обокрасть, и наконец пришел доканчивать курс лукавства сатанинского в звании чернеца поморского Выгорецкого скита и переводчика при Андрее Денисове. Лета изменяли уже несколько последнему, между тем как Авраам скинул с себя еще немного змеиных кож и, следственно, был в полном развитии адских сил.

— Да что запропастилась эта сучья дочь? — успел

промолвить только с нетерпением Андрей Денисов, как распахнулась дверь и вошла баронесса. Убавив своей спеси, она учтиво поклонилась ему; а он, не привстав даже с кресел, едва кивнул ей, указал своим костылем кресла через стол, у которого сидел, и махнул чернецу рукою, чтобы он подошел ближе. Кто посмотрел бы на них в это время, не зная предыдущих обстоятельств, мог бы подумать, что худенький суровый старичок хозяин у себя дома, обязывающий, и что она пришелица, одолженная и ожидающая милостей.

— Вот в чем дело, боярыня! — говорил ересиарх повелительно, отрывисто и упирая голос на некоторых словах. — Ты затеваешь здесь бесовские пляски, а того не знаешь, что послезавтра, может статься, тебе негде будет приклонить головушку, что послезавтра рада-радешенька будешь отвесть душу ломтем черствого хлеба. (Старик икнул тут, пустил густую струю воздуха прямо на высокомерную обладательницу Гельмета, перекрестил три раза рот, промолвил: — Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его, — и продолжал свою беседу.) Кабы послушалась меня прежде, да отрезала моим православным под своею клетью добрый кусок земли, так бы они оградили тебя от сетей диавольских. Авось-либо и теперь еще время исправить погаженное! За твою хлеб-соль я хочу тебе помочь. Только слышь, боярыня, исполняй разом, не мешкая, что я тебе прикажу. Во-первых, все затеи бесовские к нему и отошли назад!

Здесь старик постучал костылем так крепко по столу, что баронесса вздрогнула; потом кивнул монаху, чтобы он перевел это вступление. Авраам, сгорбившись, смиренно выступил на сцену: приказ ересиарха был выполнен им искусною речью и ловкою мимикой (последняя нужна была для убеждения в верности перевода); только, когда надо было перевесть слово *«послезавтра»*, он показал на солнышко, начертил посохом круг, выставил перст и согнул вполовину другой палец. Из этого изъяснения старик понимал полтора дня, между тем как хитрый чернец, не переменяясь нимало в лице, присовокупил к своим гиероглифам, что исполнение сказанного должно быть через десять кругов солнечных, то есть через полторы недели. Вместо «авось-либо и теперь еще время» он сказал только: «еще время!»

Баронесса отвечала, что праздник, ею затеянный, есть долг, который она платит своим друзьям и ближ-

ним и которым хочет утешить больную единственную дочь; что, кончив его, немедленно примется за исполнение приказаний своего наставника и друга. Монах перевел, что баронесса сейчас после их отбытия велит оставить приготовления к празднеству, хотя ей это очень жалко, и немедленно займется исполнением даваемых ей советов, которые она чтит за приказания.

— Слушай же, боярыня! — вскричал опять Андрей Денисов. — Русские, видно, выведали затеи вашего заморского болвана Шлиппенбаха: кто-нибудь у вас да лукавит язычком. За ваше дурачество стыд так-те и бросился мне в глаза. Разбирать вину теперь не время: спустя лето в лес по малину не ходят. Русские, говорю тебе, вышли вчера из Новгородка и разбили ныне вашу басурманскую засаду при Красной мызе. А как я это узнал, поведаю тебе: неподалеку от Черной мызы у меня свой караул, двое православных моих — стоят ваших сотен немцев, табачников, — узнали эту весточку да и давай уплетать где ползком, где кувырком, отняли у первого латыша коня и прилетели ко мне. Еще ни одна птица здесь в округе не пропела этой песенки; и по ветру-то не слыхать вони пороховой — вот каковы наши! А куда пойдут никонианцы завтра, на Сагны или на Валки, того мои не знают. Сейчас, при мне же, напиши грамотку к своему ротозею Шлиппенбаху, чтобы он очнулся, собирал крепкую силу, выслал, нимало не медля, конных потаенными дорогами, куда придумает лучше, перехватил бы ими хвост у никонианцев и бодро готовился ударить им в голову.

Это наставление было перетолковано хитрым и ловким Авраамом так мастерски, что вся польза, из него извлеченная, осталась на стороне агента Паткулева, которому нужно было выиграть несколько часов времени. Позван Никласзон и продиктовано ему, согласно с заданною монахом темою, письмо к генерал-вахтмейстеру. (Можно вперед угадать, что гонец нигде не отыскал Шлиппенбаха; да это и не могло огорчить баронессу, потому что *еще было время*, как сказал Денисов через монаха, а генерал обещался быть у ней завтра на празднике.) Андрею Денисову дарованы новые привилегии для раскольничьих поселений в Лифляндии; оставалось наградить переводчика за труды. Искали по всему дому денег, бросались то к амтману, то к Биру, но везде была или мнимая, или настоящая денежная засуха; наконец Никласзон сжалился над баронессой и от имени ее

вручил потихоньку Аврааму талер, обрезанный его же соотечественниками. Окончив все дело, ересиарх встал с кресел, кивнул баронессе и, принятый под руку усердным монахом, сопровождаемый дипломаткою до террасы, опять встреченный на дворе уважением многочисленных челядинцев, вышел из ворот Гельмета.

У большого вяза присоединился к ним дожидавшийся их раскольник, мужичище высокий и здоровый, вероятно охранитель Денисова от чаянных и нечаянных врагов. Составив втроем совет, по каким следам отыскивать одного из важнейших своих членов, отпадшего от поморского согласия, они решились ехать в обратный путь как вернейший, по их мнению, для встречи с беглецом и для избежания неприятного свидания с русским войском, особенно с заклятым губителем их, Мурзенкою. Приехавши в Валки, они могли, смотря по обстоятельствам, или выждать там развязки неожиданного нашествия русских на Лифляндию, или, в случае прихода никонианцев в избранное ими ныне убежище, отступить к своим в Польшу.

Мы должны намекнуть, что гонения Денисовым доселе неизвестного лица получили новую силу в вести о несчастной кончине раскольника, подметчика письма в нейгаузенском стане.

Между тем как все в замке ходили будто угорелые, от желания угодить доброй молодой госпоже и от страха не выполнить в точности воли старой владычицы, предмет этих забот, Луиза, мыслями и чувствами была далеко от всего, что ее окружало. Она существовала в мире прошедшего, для нее столько бедственного, но все еще ей драгоценного. Густав, назло обстоятельствам, нередко представлялся ее уму и сердцу. Так несчастная приходит, украдкою от злых людей, бросить цветок на могилу, где лежит милый ей мертвец, которого некому, кроме ее, помянуть и с которым жаль расстаться, как с живым. Посреди этих горестных мыслей блеснула одна о бедном старике кастеляне и молодом служителе, увлеченных ее судьбою в тягостное и униженное свое положение. Ей известно было, что они жили в ближайшей деревне Пебо: один в должности скотника, другой — пастуха; и она решилась посетить их.

«Ничем лучше, — думала она, — не могу встретить день своего рождения, как облегчением участи этих несчастных». Ей стоило только намекнуть Биру о своем намерении, чтобы вызвать его в спутники. Баронесса

была занята с раскольниками, следственно, лучшего времени для этой прогулки нельзя было выбрать.

Когда Луиза со своим воспитателем проходила полем, крестьяне еще издали скидали шляпу, оставляли свои работы и долго следовали за нею глазами и благословениями. В деревне приветствиям их не было конца.

— Смотри сюда, сюда! — говорила мать, высовывая из окна голову своей малютки. — Это идет наша добрая молодая госпожа. За ее-то здоровье учу вас молиться богу.

Дети оставляли игры свои и, почтительно ей кланяясь, кричали:

— Здравствуй, добрая госпожа!

Дряхлые старцы дрожащими руками силились привстать со скамейки, на которой грелись у ворот своей хижины против солнышка, и шепотом проговаривали:

— Слава богу! пришлось нам еще раз увидеть ее. Да пошлет ей мать *Лайма* [1] несчетные годы, чтобы правнуки наши могли ею радоваться.

Все возрасты встречали ее данью уважения, признательности и любви простых сердец, которых красноречие ни с каким другим сравниться не может. Видно было, что Луиза вполне утешалась этой сердечной данью. Почти каждого успела она обласкать: стариков заставляла садиться перед собой, говорила им приветливые слова, согревавшие их более теплоты солнечной; детей одаряла гостинцами; пригожих малюток, которых матери, не боясь *ее глаза*, сами спешили к ней подносить, целовала, как будто печатлела на них дары небесные. Казалось, теперь праздновала она день своего рождения, а завтра *должна* была его праздновать.

Скотный двор был на конце деревни и окнами в поле: следственно, из него не было видно, что делалось на улице. Луиза с воспитателем своим вошла в жилище скотника, никем из домашних его не примеченная. Каким же чувством поражены они были, отворив потихоньку дверь! Что ж представилось им тогда?

Густав сидел в углублении комнаты, держа на колене румяное, как спелое яблочко, дитя, двухлетнюю дочь бывшего кастеляна, которая, стиснув в ручонках своих

---

[1] Богиня счастия, которую латыши нередко и теперь поминают при желании кому добра.

кусок белого хлеба, то лукаво манила им собаку, прыгавшую около нее на задних ногах, то с хохотом прятала его под мышку, когда эта готовилась схватить приманку. Другая дочь, шестнадцатилетняя пригожая девушка, занималась у открытого окна рукодельем, изредка отрывала от него свои большие голубые глаза, чтобы посмотреть на проказы сестры или украдкой взглянуть на молодого крестьянского парня, стоявшего снаружи дома у окна, облокотясь в унынии на нижнюю часть рамы. Мать, задумавшись, чистила овощ и клала его в горшок, выдвинутый из устья печи. Отец, без верхнего платья, обратившись к ним спиною, а к стене лицом, снимал с нашести кафтан, который, вероятно, собирался надеть, чтоб идти в поле. Голубь, нахохлившись, сердито ворковал и кружился по земляному полу, часто посматривая на окно, через которое свободный вылет был ему загражден молодым крестьянином. Густав казался одним из членов этого семейства; никто, по-видимому, не заботился о его присутствии.

Первое чувство Луизы, переступя порог двери, был испуг; второе... она взглянула на Густава, на пригожую девушку и покраснела. Не зная отчего, она была внутренно довольна, увидев молодого парня, занимавшегося так пристально сельскою красавицей; тем более ей было это приятно, что она узнала в нем служителя, который, вместе с кастеляном, понес за нее такую горькую участь.

— Фрейлейн Зегевольд! — вскричала Лотхен (так звали девушку), бросивши в сторону свое рукоделье. — Фрейлейн Зегевольд! — повторила она, побежала опрометью навстречу Луизе и силилась взять у ней то одну, то другую руку, чтобы целовать их попеременно.

— Фрейл... — могла только выговорить мать. Руки ее опустились, луковица покатилась из них на пол, ножик выпал на скамейку. Хозяин, сделав пол-оборота головой, будто окаменел в этом положении. Густав побледнел, спустил дитя с колена и стал на одном месте в нерешимости, что ему делать; увидев же, что Луиза колебалась идти в комнату и сделала уже несколько шагов назад, он схватил свою шляпу, бросился к двери и сказал дрожащим голосом:

— Не удивляюсь, что мое присутствие пугает вас, фрейлейн Зегевольд! Какое другое чувство может возбудить виновник бедствий этого семейства, еще боль-

ший преступник перед вами! Я должен убегать вас, я изгнанник отовсюду, где вы только являетесь и приносите с собою счастие. Но прежде, нежели навсегда от вас удалюсь, умоляю вас об одной милости: простите меня... Одно слово ваше будет моим услаждением в час смертных мук или умножит их.

— Я никогда не обвиняла вас, Густав!.. — произнесла Луиза смущенным голосом, обнаружившим все, что происходило в ее душе, закрыла платком полные слез глаза и, дружески протянув ему руку, присовокупила: — Простите *навсегда*!

Это движение было последнею жертвою долга любви: им хотела она доказать, что любила в Густаве не Адольфа, наследника миллионера, любимца королевского, а самого Густава, бедного, ничтожного в глазах других, но достойного ее привязанности.

«Я никогда не увижу его, — думала она, — пусть это будет последнее доказательство того, что я к нему чувствовала; пусть не презирает он меня! После этой минуты я вся принадлежать буду моим обязанностям».

Густав с жаром поцеловал ее руку, на которую канули его горячие слезы, повторил роковое: *«Простите!»*; сказал то же Биру, хотел еще что-то присовокупить, но вид места, где он находился, свидетели, их окружавшие, сомкнули его уста — и он поспешил из жилища скотника. На дворе остановился он против раскрытой двери. Луиза все еще стояла на одном месте, она невольно обернулась: прощальный взгляд ее пал еще раз на Густава. Казалось, он только и ожидал этого взгляда, чтобы с новым приращением счастья удалиться. Можно вообразить себе различные чувства, попеременно волновавшие душу Луизы. С особенным удовольствием выслушала она от семейства бывшего кастеляна, каким образом Густав начал посещать их, как он благотворил им сначала тайно и, наконец, продолжал делать им добро с таким великодушием, что отказываться от этого добра значило оскорбить его.

— Он не дал нам узнать нищету: скоро заставил нас забыть и горестное наше состояние. Все, что вы видите на нас и в нашем домишке, ему принадлежит. Да пошлет ему бог то, чего он сам желает! да наградит его супругою, которая душой была бы на него схожа! — так говорила жена бывшего кастеляна, и взоры ее пристально остановились на Луизе, в смущении по-

тупившей глаза. Невольный вздох девицы Зегевольд доказывал, что не ей суждено быть наградой, о которой молила добрая женщина для своего благодетеля. По крайней мере она внутренно гордилась и утешалась тем, что если сердце ее ошиблось в предмете любви, который долг осуждал, то не ошиблось оно в нравственных его достоинствах, имеющих право на лучшую участь и вознаграждение.

Расставшись с семейством скотника, Луиза оставила в его хижине благодетельные следы своего посещения. Не видав Густава, она сделала бы то же из великодушия, из сожаления к несчастным; теперь благотворила, может быть, по влечению другого чувства; может быть, присоединилась к этому и мысль, что дары ее смешаются вместе с дарами Густава, как сливались в эти минуты их сердца. Спутник ее, смотря на радость добрых людей и слушая рассказы о благородных поступках Густава, был восхищен до седьмого неба.

— Есть, есть счастье на земле и для добрых! — говорил он вполголоса, выходя от скотника с твердым намерением, как бы испросить у баронессы прощение изгнанникам и потом женить молодого служителя на Лотхен.

Без надежды, но с утешением заснула Луиза в ночь накануне дня своего рождения.

Для связи происшествий в памяти наших читателей скажем, что свидание Никласзона с Фюренгофом случилось в эту же ночь.

## *Глава осьмая*
## ВОСПИТАТЕЛЬ И ВОСПИТАННИК

Мне ль вызывать на суд свое дитя?

*Жуковский*

О! дайте, дайте мне близ них окончить век!

*Нечаев*

Шестнадцатого июля, часам к шести утра, в недальнем расстоянии от Гельмета, близ знакомого нам вяза с тремя соснами, остановились Конрад из Торнео и Вольдемар из Выборга, оба снаряженные так, как мы видели их в *Долине мертвецов.* У корня маститого вяза, сбереженного от топора священным уважением всей округи,

сидел мальчик, по-видимому, лет четырнадцати, в одежде из лохмотьев, рыжеволосый, курчавый, с лицом безобразным, испещренным веснушками, с глазами, в которых светило коварство. Левая рука была у него сведена к плечу; ноги подогнул он под себя неестественным образом. Как скоро гуслист усадил слепца на камне и подошел к мальчику, этот начал униженно кланяться, скорчил жалостную рожу и запищал:

— Господин милостивый! дайте что-нибудь безрукому, безногому на пропитание. У матери груди высохли от голода, нечем кормить меньшого брата, который плачет, хоть вон беги из избы; две маленькие сестры целые сутки не видали во рту зерна макова. Будьте жалостливы и милостивы, добрый господин! Бог наградит вас на сем свете и в другом.

Вольдемар, вглядевшись пристально в краснобая, погрозился на него пальцем и сказал:

— Не шали со мною, бесенок, из молодых, да ранний! Меня не проведешь, я колдун: знаю, что у тебя нет ни сестер, ни брата; ты один у матери, которая боится назвать тебя своим сыном: Ильза ее имя; у тебя один дядя конюх, другой — немой, отец — знатный барон; ты живешь у старой ведьмы, такой же побродяги, как и сам. Видишь, я тебя насквозь разбираю. Протяни же сейчас ноги, расправь руку и выполни, что я тебе скажу. Да смотри!

— Если вы знаете все... — запинаясь, произнес мальчик, опуская руку и вставая на ноги, — как вас, господин, назвать?.. с здешнего ли вы света или с другого?

— Называй меня вперед просто шведским музыкантом. Вижу, что ты молодец хоть куда, а мне такие огненные ребята нужны. Вот тебе для первого знакомства добрая серебряная монета. — У мальчика от жадности заискрились глаза; но он, казалось, боялся взять деньги от колдуна.

— Не бойся; протяни, брат, руку смело, — продолжал Вольдемар, всунув ему деньги, — монета не жжется, сделана руками человеческими и такая, каких накоплен у тебя мешочек... знаешь, что лежит... — Здесь Вольдемар показал на запад; мальчик побледнел от страха. — Сослужи мне, Мартын, и о твоем мешочке никто не будет знать.

— Господин хороший, господин пригожий! — завопил рыжеволосый Мартын (именно это был тот самый,

который в известный вечер напугал так много Густава своим похоронным напевом). — Приказывайте, посылайте, делайте из меня что хотите, помыкайте мной, как помелом.

— Беги ж в замок, найди там Адама Бира. Чай, ты его знаешь?

— Кого я не знаю? Знаком мне и этот чудак, у которого рот почти всегда на замке, а руки всегда настежь для бедняков. Вот вы, господин шведский музыкант или что-нибудь помудрее, бог вас весть: вы даете с условием; а тот простак — лишь кивнул ему головой, и шелег в шапке.

— Найди же Бира, разбуди его, если он спит, и шепни ему на ухо, что один знакомый его отца ждет его здесь.

Вместо ответа *огненный* перекувыркнулся и пустился в замок, как посланная тетивою стрела. Недолго томил он ожиданием: скоро принесено донесение, что Бир явится будто красное солнышко из-за гор. Гуслист, поблагодаря его еще мелкой монетой, просил посидеть у вяза, близ слепца, и дать ему, Вольдемару, немедленно знать, как скоро подъезжать будет красная карета; сам же побрел навстречу Биру. Запыхавшись, бежал Адам, поспешая увидеть знакомца отца своего. Подошед к гуслисту, он остановился против него, изумленный, всматривался в его лицо и вдруг бросился его обнимать.

— Ты ли это, Вольдемар, воспитанник мой, друг мой? — восклицал добрый Адам, и радость пресекла его голос.

В свою очередь гуслист мог только сказать, крепко прижимая его к сердцу:

— Благодетель, отец мой!

— Полно, полно, Вольдемар! Называй меня также своим другом. Не знаю до сих пор, что я для тебя сделал доброго; но знаю, что ты не оставлял меня во время гонения сильных, что ты кормил меня трудами своих рук, когда я не имел насущного хлеба.

— Ты сделал для меня более: научил меня истинам высоким, заставил меня гнушаться моих преступлений и полюбить добродетель и указал изгнаннику отечество как цель, к которой я должен был стремиться.

— Пылкая душа твоя всегда способна была принимать добро; и если ты в юности совратился с пути

истинного, то виноваты окружавшие тебя. Но перестанем растравлять рану твоего сердца: ты в Лифляндии, следственно, рана эта не зажила еще. Не спрашиваю тебя, следуешь ли моим советам, данному тобою обещанию? Вольдемар не может себе изменить; Вольдемар достоин всей любви моей. Расскажи мне, каким образом ты в нашей стороне, в страннической одежде? что здесь делаешь? Жажду узнать повесть твоей жизни с того времени, как мы расстались.

Произнеся это, Адам увлек гуслиста в кусты, неподалеку от дороги.

— Прискорбно иметь для друга тайну, — сказал Вольдемар, когда они сели в кустах, — отдал бы тебе душу мою; но, прости мне, я не могу отвечать на твои вопросы. Скажу тебе только: помыслы высокие, заброшенные в душу твоими советами, согретые твоим учением, заставили меня надеть эту страннническую одежду, занесли сюда, сделали еще более — заставили меня быть... нет, нет! никогда не открою тебе этого имени. Разве с порога моей родины скажу тебе все, на что я для нее решился. Цель сладостная! Но средства... ты, может быть, оттолкнул бы меня, узнав их.

— Как понимать тебя, Вольдемар? как верить тебе? В звуке твоего голоса уже слышу доброе дело. Одно слово — не бойся, чтобы я хотел проникнуть твою тайну: слишком хорошо известно мне, что тайна не друзьям принадлежит, а тому единственно, кто ее вверил. Нет, не этого хочу от тебя; хочу только знать, таков ли ты, каким сердце мое тебя угадывает. Одно слово: ищешь ли ты заслужить потерянное отечество?

— Я служу ему.

— Служишь? в страннической одежде? — произнес тихо Адам, приложив палец ко лбу; потом продолжал, возвысив голос: — Совесть твоя чиста ли в этом служении?

— Что сказать ему, господи? — воскликнул Вольдемар, обратив глаза к небу. — Ты один читаешь мои намерения; ты видишь сокровенные пути мои: взвесь мои дела и дай ему ответ! Друг! могу ли успокоить тебя насчет чистоты моих дел, когда я сам весь борьба, весь тревога и опасение? Выслушай мое унижение и жертвы, мой страх и надежды и пойми меня, если можешь. Мысль загладить преступление, заслужить прощение того, кого не смею наименовать, и с этим вместе открыть себе путь в отечество зажглась в душе моей

среди бесед с тобою еще в Упсале. Не ярче пылает свеча чистейшего воска. Мысль эта овладела всем моим существом: источник ее был чист, видит бог! Впоследствии времени, может быть, примешалось к нему чувство не столь бескорыстное — я человек, более десяти лет живу в земле чужой; может быть, раскаяние мое, любовь к отечеству превратились в одну тоску по родине. Спрашиваю себя часто: все жертвы мои не происходят ли от самоугождения? не хочу ли я их выкупить удовольствием быть между своими, на земле родной? Подвиги мои добро или слабость? Как бы то ни было, не разрешая себе этих вопросов, стремлюсь к ней, к благословенной отчизне; хочу видеть ее, во что бы то ни стало, подышать ее воздухом и умереть... хотел бы ее сыном! Долго искал я средств, как утолить жажду моей души; мне встретился *один* человек... *он* предложил мне средство... дал моим устам коснуться милостивой руки, в которой заключена судьба моя, поднял края завесы, скрывающей мое отечество, — и я спешил ухватиться за то, что мне было предложено. Суди о возвышенности моих средств!.. Полюбуйся должностью своего воспитанника, своего друга!.. Пресмыкаюсь, обманываю, продаю других, себя; самое добро, которое делаю, должен похищать, как тать, приобретя, не могу назвать своим. Скажу еще более: чтобы доставить истинную пользу тем, кому служу, я должен был сначала делать им зло. Борюсь с обстоятельствами, с природою, с самим собой; хожу в черном теле, влача за собою смрадную, презренную одежду. Настоящего имени моего все гнушаются; самые те, которые думают иметь во мне нужду, смотрят на меня с презрением.

— Неужели ты?..

— Не выговаривай! ради общего милосердного отца, не выговаривай. Ужасно слышать это имя от тебя! От меня самого узнай всю повесть моего унижения и страданий: выслушай до конца и тогда произнеси надо мною приговор. (Вольдемар остановился немного, посмотрел в глаза своему другу и воспитателю, как он называл его, и, прочтя в них одно сердечное участие, продолжал.) Многолетний труженик, начинаю только собирать плоды моих трудов. Я тебе сказал, что мне до сих пор наградой одна известность презренного имени. Свои меня ищут, чтобы погубить, чужие готовы предать при первом случае на погубление. Может

быть, заутра ждет меня виселица в неприятельском стане, как изменника, или позорная казнь назначена мне среди моих соотечественников, как убийце, беглецу, переметчику. Умру — и самую могилу отчужденца палач назначит подалее от православных! Кто посетит место пугалища?.. Какое семейство, какой край и народ признают меня своим?.. У меня и родных нет в мире, кроме родины, да и та отступится от меня, даже мертвого; чужие будут обходить жилище — не скажут: усопшего. Висельника, удавленника — вот названия, которые мне по смерти дадут! Кто скажет, что сделала, что хотела сделать для искупления моего преступления и, может статься, более для свидания с отечеством неограниченная, мученическая любовь моя к ней? Кому известна эта любовь? Кому смею даже ныне открыть мои дела, мои намерения? *Одному* только вверена тайна моя, и этот *один* — чужеземец, сторонний мне чувствами и помышлениями! Он весь мщение, я весь любовь! Он один может свидетельствовать о том, что я совершил, что хотел совершить; а кто знает, что нынешний день, этот миг — его? С собою в гроб возьмет он все, что я приобрел такими трудами; земля пожрет мое благороднейшее достояние, лучшую часть меня, а на земле останется только злодей, беглец, отверженец, то, что я был еще тринадцать лет назад. Даже от ближайших мне должен я себя скрывать; не смеют они обласкать меня приветом искренности, как родные боятся открыть крышу с гроба смрадного мертвеца, чтобы почтить его братским целованием. Самый этот слепец, который, видишь, сидит под вязом, неразлучный спутник мой, исполняющий мои желания, будто очами сердечными прозирает в моем сердце, готовый жертвовать для меня своею жизнью, почитающий меня своим благодетелем, сыном, другом, заключающий во мне все, что осталось ему дорогого на немногие дни его жизни, — поверишь ли? — святой этот старец есть только темное орудие моих действий. Он не знает, кто я, откуда, кому работаю; он не знает, что с ним ходит столько лет рука об руку преступник, изгнанник из своего отечества; что товарищ, вожатый, которому он отдал душу, запер для него свою и торгует с ним лучшим даром господа — любовью к ближнему. Даже тебе, кому открыто мое злодейство, кому я всем обязан, тебе не смею поверить своих дел и намерений. Вот мои труды, мои

жертвы: видишь, они человеческие! Свыше я ничего не могу.

— Вижу, — сказал Адам с глубоким вздохом, — и понимаю, что средства, тобою избранные, могли быть верными в другом человеке, более гибком, более умеющем скрывать себя. Но для тебя, с твоею пороховою душой, — одной минуты довольно, чтобы погубить тебя! Ты не можешь выдержать угнетения; ты не способен унижаться, обманывать: а твоя должность этого требует. Страшусь за тебя: не ты — благородный, пылкий нрав твой изменит твоей тайне.

— Не раз уже навлекал я на себя подозрения. Но дело сделано; жребий брошен!

— Ты сказал, что другого выбора средств не было тебе предоставлено?

— Я искал благороднейших по твоему совету, и решительно не нашел. Мне оставалось или с моими злодеяниями возвратиться в отечество под плаху, или принять то, что мне предложено.

— Не возможно ли теперь?..

— Переменить? Нет, не думай! Этому не бывать! — вскричал Вольдемар, смотря на своего друга очами, разгоревшимися, как у львицы, у которой хотят отнять детей ее. — Нет! я зашел уже далеко; я видел грань моего отечества, слышал родные голоса — и не пойду назад. Приди отец и мать моя, если б они отыскались! приди сам господь с его небесными силами... нет! этому не бывать, говорю тебе. Одна смерть может сказать мне: остановись! Господи! Господи! дозволь мне положить хоть кости мои на родном кладбище!.. (Вольдемар горько заплакал.) Теперь, второй отец мой, оттолкни меня от себя!..

Адам был тронут. Он взял руку своего собеседника, крепко пожал ее и сказал с восторгом, необыкновенно его одушевлявшим:

— Довольно! не хочу знать более. Догадываюсь о твоей тайне; понимаю, что, обнажив ее передо мною, ты думал бы вручить мне оружие против себя. Нет! не оттолкнуть тебя хочу, но открыть тебе душу свою, чтобы ты нашел в ней новые силы совершить начатое. Не мне отговаривать тебя: ты меня знаешь!.. Когда б мои обязанности соглашались хоть несколько с твоими, я сам пошел бы с тобою рука об руку, как этот слепец, и разделил бы твое благородное унижение и бремя. Люблю видеть в делах моего воспитанника ту пламенную

любовь к великому, которую я старался очистить и утвердить в тебе. Недаром посещал я с тобою так часто благословенные земли Греции и Рима, породившие стольких героев! Не более тебя сделал бы сын их. Теперь, понимая тебя, не хочу смотреть на низость твоих средств: что мне нужды до них, лишь бы отечество и бог взирали на твои дела с удовольствием! Выключи меня из числа черни, которая судит по одной наружности. Пусть гонит это стадо бич предрассудков; пускай смотрит оно очами телесными в уровень себе и питается одним подножным кормом чувственности! В глазах его Брут есть только убийца детей своих; Курций, бросающийся в пропасть, — самоубийца. Ты знаешь этих великих мужей: мы с тобою умели понимать и ценить их подвиги. Тебе ли после этого скорбеть о мнении черни? Стань выше его! Мудрый не покоряется безрассудной воле толпы, а сам дает ей направление. Не она — совесть тебе награда; голос избранных — твой суд! Государь и отечество оценят некогда твои заслуги, если их узнают. Великий свыше мести: он позволит тебе обнять свои колена; он простит тебя. Ты увидишь родину. Сердце мое пророчествует тебе эти блага. Не почитай же себя униженным неодолимою тоской по отчизне, дающей тебе столько силы совершить великое и благородное; не помышляй также, чтобы в делах человека, сколько бы они возвышенны ни были, не примешивалось нечто от слабости человека, чтобы он мог любить что-нибудь, не любя себя хоть посредственно, с совершенным самоотвержением. Пламенное воображение твое представляет тебе некоторые предметы в черном виде. Не верю тебе, чтобы ты играл любовью к своему товарищу: слепец почитает тебя своим благодетелем, сыном, другом; ты все это действительно для него. Десять лет водишь его, служишь ему глазами, посохом, питаешь его, переносишь его немощи, согреваешь своими ласками — одним словом, ты заменяешь ему семейство, отечество, природу. Какой сын сделал бы более для отца? Какой отец в замену не воздал бы сыну некоторыми пожертвованиями? Он возвращает тебе то, что получает от тебя ж. На что ему знать, кто ты, откуда? Он — ты, потому что он только тобою существует. На что ему твоя тайна? Без нее он свободнее любить тебя может. Не продавать же ее вместе с душою своею людям, чуждым для него! Если ты обманываешь его в этом случае, то обманываешь, как нежный

сын, может быть сберегая ему то сокровище, которым сам дорожишь. Не верю также, чтоб ты, Вольдемар, захотел когда-либо жертвовать старцем для своих видов, как бы они ни были благородны и высоки. Ты говоришь мне, что он темное орудие твоих действий; не знаю его услуг, но уверен, что он ясное орудие милости к тебе провидения, пославшего тебе слепца в помощники, да не видят зрячие, чего им не должно видеть. Вот что я хотел сказать тебе в утешение, Вольдемар! Продолжай свое служение, презри униженность средств, если провидение не дозволило тебе других; взирай только на цель. Бог да благословит тебя на пути твоем и да подаст тебе силы и возможность совершить благое во имя, драгоценное всякому гражданину; да наградит тебя счастием возвратиться в свое отечество истинным его сыном! Обними меня еще раз, милый друг, и скажи мне, могу ли быть тебе чем-нибудь полезен.

Гуслист, почерпнув, казалось, на груди друга новые силы и утешения, просил его исполнить только две вещи: приискать, во-первых, местечко под окнами Луизы, где он и слепец могли бы, не видимые никем, поздравить новорожденную, как просила их девица Рабе, и, во-вторых, дать гостеприимный угол старцу на два дня, на которые Вольдемар должен был с ним расстаться. Адам все обещал. Какою неожиданною радостью изумлен был последний, узнав, что слепец есть тот самый Конрад из Торнео, на чьих руках умер его отец! С другой стороны, как изумлен был последний, когда слух его, эти очи слепого, был потрясен голосом старинного знакомца, сына его покровителя! За первыми горячими излияниями чувств последовали с той и другой стороны запросы о былом времени, протекшем уже более восьми лет. Чего не вспомнили они, не пересказали друг другу? Кого не вызвали из мрака прошедшего? Кого не оплакали в этой беседе или, лучше сказать, в этой тризне по милым друзьям, какой, может быть, никто не совершал по них? Не наговорились друг с другом, не наслушались один другого слепой старец и муж, первый уже на пороге гроба, второй не много отставший от него, предчувствуя, может быть, что один из них сам должен будет скоро сделаться *воспоминанием*, а другому придется оплакивать в нем новую утрату.

Беседа наших друзей была прервана вестью рыжего

мальчика, что карета, управляемая дядею его, уже показалась вдали. Адам и гуслист, подхватив слепца под руки, направили поспешно путь к замку. В цветнике, за кустами сиреневыми, под самыми окнами Луизиной спальни, поставлены были музыканты так, что никто не мог их видеть, да и проведены были они туда никем не замеченные.

## *Глава девятая*
## ПРАЗДНИК

И голос оскорбленной чести
Меня к отмщению зовет.

*Пушкин*

Луиза просыпалась; но длинные ресницы ее слипались еще, сжимаемые удовольствием сердечной неги. Бог любви приветствовал ее со днем рождения сладким сновидением, с которым жаль было ей расстаться: давно не была она так счастлива. Она почувствовала что-то свежее на груди и открыла глаза: это была роза без шипов, едва развернувшаяся. «От кого дар?» — думала она и, решившись расспросить о нем у своей горничной, спешила опустить цветок в стакан воды, как бы нарочно поставленный близ нее на стол. В этом занятии застали ее чудесные звуки, прилетавшие к ней из цветника. Она могла разобрать, что играли на двух инструментах и пели два мужские голоса, один нежнее другого, песню в честь ее. Очарованная неожиданной музыкой, она раздумывала, кого благодарить за нее, как дверь отворилась, и Катерина Рабе в объятиях милой подруги заградила своими поцелуями крик радости на ее устах. Все было в этом свидании: восторги сменяли слезы, слезы перемешивались со смехом; вопросы бежали за вопросами, прошедшие горести, надежды, утешения — все слилось в беспорядочном лепете дружбы. Этот первый пароксизм дружбы прерван был на несколько минут необыкновенным криком под окнами Луизиной спальни.

— Музыка в четвертом нумере! Боже мой! — кричал едва не с плачем какой-то басистый голос. — Что это будет? В четвертом нумере, говорю вам! Кто смел привесть сюда этих побродяг? Кто осмелился нарушить

священную волю госпожи баронессы? Кажется, она не первый день госпожа в своем замке.

Девица Рабе покраснела, со свойственной ей живостью бросилась к окну и закричала из него:

— Простите меня, господин Дихтерлихт! это я, я во всем виновата.

На это увещание, ласковым, обворожительным голосом произнесенное, затих ропот школьного мастера. В то же время вошла к Луизе в спальню сама баронесса Зегевольд; с нежностью поцеловала дочь, поздравила ее со днем рождения и, пожелав ей счастья, вручила корзину, в которой лежали богатые ожерелья, серьги, цепи и зарукавья, искусно отделанные; потом, обратившись к мариенбургской гостье, величаво кивнула ей и, в знак милостивого внимания к бедной, ничего не значащей воспитаннице пастора, которую дочь ее удостоивала своими ласками, дозволила Катерине Рабе поцеловать себя в щеку. Несмотря на эту милость, в глазах баронессы сквозило неудовольствие, что ее предупредили у новорожденной с поздравлениями. Луиза поспешила одеться, благодарила мать за подарки, казалась довольной, а сама думала: «На что мне они?»

В недобрый час был приход в Гельмет бедных музыкантов. Только что утихла над ними гроза мариенбургского школьного мастера и стихотворца Дихтерлихта, уже собирались новые тучи с другой стороны. Никласзон, этот верный агент Паткуля, как мы имели случай видеть, вскоре заметил Вольдемара из Выборга и почел худым предвестием эту комету, в первый раз являвшуюся над горизонтом Гельмета. «Как! лазутчик Шлиппенбахов? Этот человек, ищущий с такой неутомимостью гибели русского войска и так усердно отыскиваемый патриоткою, он здесь, это что-нибудь значит; это не к добру, тем более что Шлиппенбах должен быть ныне в Гельмет, не подозревая еще грозной тревоги! Если этот шпион, нигде не отыскав его, пожаловал сюда с известием о приближении русских, так бедняжка опоздал: время ушло! Думаю, что весь здешний край заблаговестит это через несколько часов. Взявшись за ремесло лазутчика, он должен был твердо знать, что для ловли сельдей и китов бывает одна пора; но если этот лукавый музыкант провел нас, искусников, — ибо часто в нашем ремесле случается, что тот, кто считает себя близко цели своего обмана, бывает сам обойден; на всякого мудреца бывает довольно простоты, — если тот

лукавый музыкант, говорю я, проведал, *кто* пожалует сюда на праздник с Фюренгофом, и шепнет о том не в урочный час на ушко своему доброжелателю?.. Тогда все это недоконченное и нетвердое здание прямо падет на меня!.. Однако ж чрез кого проведать ему? в одну ночь? Сомнительно! мудрено! На всякий случай надобно держать проклятого музыканта в почтительном отдалении от баронессы и Шлиппенбаха. Как на беду, Адам, этот всеобщий покровитель нищих и побродяг, успел приютить голубчиков под свое крыло. Вот уж он ведет слепца и товарища к баронессе. Буду делать, что могу, и между тем, для безопасности собственной персоны, не худо иметь в готовности оседланного коня и добрую пару пистолетов». Так рассуждал сам с собою лукавый Никласзон, решившись даже на отчаянные меры, если бы как-нибудь проникла наружу тайна Фюренгофова товарища и гостя гельметского, Зибенбюргера, и обстоятельства, не побоявшись мастера, их устроившего, пошли ему наперекор. Во-первых, он исполнил все, придуманное им для собственной безопасности; потом отдал слугам строжайший приказ без дозволения его не пускать гуслиста и слепца в дом.

Не с такою жадностью обжора вкушает перигорского пирога, несколько месяцев ожиданного, с какою баронесса пожирала беседу Вольдемара, этого таинственного агента Шлиппенбахова. Правда, вся беседа заключалась еще в одном приступе к дипломатическим сношениям, который начался, как у иного автора при всяком сочинении, с яиц Лединых. Правда, и ответы гуслиста не обещали уступчивой искренности: но, по крайней мере, дипломатка старалась голосом сирены привлечь в свою область этого нового Язона, хранящего золотое руно, то есть тайну похищения Паткуля. Лукавый Никласзон поспешил, однако ж, разрушить эту беседу, отозвав баронессу в ближнюю комнату и объяснив ей со всепокорнейшей преданностью, что она, дальнейшим сближением с пришлецом и, может быть, обманщиком, растеряет плоды вчерашнего посещения раскольников, которых изведанное усердие ныне так легковерно меняет на сомнительные виды. Если же она желает, продолжал Элиас, чтобы известие о сборах русского войска на Лифляндию было ею первою сообщено его превосходительству, господину генерал-вахтмейстеру и чтобы неожиданность этого извещения придала ему цены, следственно, таинственности и важности ди-

пломатическим ее трудам, то всего лучше держать на нынешний день музыканта в отдалении так, чтобы он никак не мог добраться до генерала.

— Ах, любезнейший мой Никласзон! — сказала дипломатка. — Вы бросаете светлый луч в мои мысли, запутанные и помраченные нынешним праздником... Как я вам благодарна! В самом деле, для мыльных пузырей потерять плоды стольких трудов! Как будто бы насмеяться над усердием и преданностью ко мне этих добрых русских моих *подданных*, пришедших ко мне с таинственною вестью из-за нескольких десятков миль! Упустить случай написать к министру Пиперу о пользе, нами принесенной в этом случае Лифляндии и, что еще важнее, войску его королевского величества! Благодарность Карла, наконец я тебя поймала... наконец этот ненавистник женщин должен будет признаться, что женщине обязан победою над Петром, спасением большого лоскута своего королевства и армии. Каковы трофеи для нас, мой любезный, верный Никласзон! Нет, этот кусочек слишком лакомый, чтобы в простоте сердца отдать его агенту Шлиппенбаха. Распоряжайте, как вы найдете лучше, чтобы он не мог схватить у нас из-под носа такую богатую добычу; будьте полным хозяином в этом деле. Как вы думаете: не запереть ли нам куда-нибудь этих бродяг?

Никласзон уверил, что он обойдется и без таких насильственных средств, и спешил привесть свои уверения в действие, утешаясь, что умел так ловко обратить на гнев и гонение скорые милости баронессы к Вольдемару. Вот как важные головы мелкими хитрецами одурачиваются!..

Баронесса, возвратясь в ту комнату, где был гуслист и товарищ его, сказала им с оскорбительною гордостью:

— Ступайте в кухню, друзья мои, вас там накормят.

Ответом Вольдемара был гордый, презрительный взгляд. Слепец произнес с негодованием:

— Нечестивый злоумышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими, но господь смеется ему, ибо видит, что приближается день его [1].

С этим вместе музыканты вышли из комнаты и побрели в сад; баронесса проводила их глазами, разгорев-

[1] Псалом XXXVI.

шимися от досады, что слепой колдун (так известен он был в краю) осмелился причислить ее к сонму нечестивых.

Между тем среди жужжания народа, на двор собравшегося, послышались шум колес, удары бича и ржание лошадей. Со всех сторон катились, неслись и ползли берлины, одноколки, колымаги, скакали верховые; все дороги заклубились от пыли, а на перекрестке стояла целая туча, как на батарее во время сражения. Все спешило, будто по пути жизни мчались ко двору фортуны ее искатели.

Иные, заключая свое честолюбие в том, чтоб быть впереди, кричали с нетерпением своим кучерам:

— Форверст! форверст! [1]

Другие, боясь излишнею ретивостью сломить себе в суматохе шею, приказывали отставать; третьи, равняясь друг с другом, менялись приветствиями, проклинали тесноту, пыль и жар и, может быть, в сердце посылали друг друга к черту; конные, объезжая стороной экипажных, едва не выговаривали: хлопочите, а мы все-таки будем впереди. У ворот замка сделалась настоящая суматоха; к крикам, на разные напевы, господ и госпож разного возраста присоединялась брань кучеров. На дворе все пришло в чинный порядок: между толпы крестьян и столов, устроенных для угощения их, оставлена была Шнурбаухом дорога, и по ней-то экипажи тянулись к террасе цепью, один за другим. На случай, где надобно было распоряжать кучерами и скотами, амтман был человек дорогой. Секретарь, на нынешний день маршал баронессина двора, с треугольною шляпою под мышкою, со шпагою у боку, с улыбкою и приветствиями на устах, встречал гостей в первых комнатах. Сама баронесса принимала их в гостиной, в которой сияли, как зеркала, и заменяли их штучные стены и колонны из разного дерева, исправно натертые маслом и воском. Она сидела в пышных креслах, с дивною резьбою, обитых малиновым бархатом; кому кивала, для иного едва привставала, для другого совсем становилась на ноги и делала шаг, два и более вперед, смотря по важности входившего лица. И на прием она имела свою дипломатию! Если бы кто из нашего века перенесся в это собрание, то подумал бы, что находится в

---

[1] Вперед! вперед! (от *нем.* Vorwärts)

маскераде или старинной портретной галерее. Большая часть мужчин были настоящие маркизы Лудовика XIV, в которых преобразилась тогда едва ли не вся Европа! Среди щеголей, одетых по последней моде, были приезжие из Риги, не стыдившиеся явиться в наряде XVII столетия. Круглая шляпа с перьями, распущенные по плечам волосы, тонкий ус и оставленный на конце бороды клочок волос; воротник рубашки, отвороченный до груди, и между ним две золотые кисточки; полукафтанье, наподобие черкесского чекменя, из черного атласа, который тянули вниз шары свинцовые, вделанные кругом полы в шелковой бахроме; белая шитая перевязь, падающая с правого плеча по левую сторону; сапоги с черными бантами на головах и с раструбами из широких кружев, туго накрахмаленных, в которых икры казались вделанными в огромные чаши: весь этот наряд, и в тогдашнее время, заставлял на себя оглянуться с невольной улыбкой. Так обычаи и даже нравы уступают всемогущему влиянию времени! Отстающие от него кажутся уродливыми.

Несмотря на то, что тогдашняя одежда женщин не красила их, хорошенькие все оставались хорошенькими. Таково могущество красоты, что, наряди ее хоть с *рожками* и в *рогожку*, она все-таки будет прельщать. Лифляндия — цветник пригожих женщин, и потому на праздник у баронессы собрались их вереницы; но всех прекраснее была Катерина Рабе, всех милее Луиза Зегевольд.

С пренебрежением смотрели на бедную воспитанницу пастора Глика приезжие гостьи, твердо выучившие от маменек свою родословную; непригожие из них отличались особенною к ней неприязнию.

— Что за охота Луизе привязаться к этой кукле? — говорила одна, золотоволосая, как Церера, и с лицом, испещренным веснушками, будто обрызганным грязью.

— Нельзя взять ее за руку, чтобы не появилась с другой стороны ее Кете: ну посуди, милая, прилично ли мне служить pendant [1] девчонке, бог знает, какого рода и звания.

— То ли дело флейлейн фон Голнгаузен! — говорила другая, пришепетывая. — Умеет делжать себя, как

---

[1] под стать *(фр.)*.

должно! Видела ли ты, каким холодным взглядом обдала она маллиенбулгскую гостью, когда эта хотела к ней плиласкаться?

— Прекрасно отпотчевала! — прибавила третья, мигавшая беспрестанно одним глазом и немного кособокая. — Заметила ли ты, какие у ней дурные манеры?

— Где было ей научиться порядочным! — перебила золотоволосая Церера. — Разве у пастора Даута, когда она нянчила детей его.

Тут расходившееся злословие было остановлено на минуту неожиданным восклицанием подруги, вновь прибывшей в круг собеседниц:

— Ах! как хороша мариенбургская Кете! — сказала с особенным восторгом пришедшая. — Я засмотрелась на нее, как на прекрасную картинку, ну так, что не отошла бы от ней!

— Уж вкус! — закричали все с хохотом.

— Не мудлено ж, милая, так судить по неопытности: она в пелвый лаз в жизни вылетела из своего гнездышка Фогельсгаузен, — прервала шепетунья.

Осмелившаяся похвалить бедную воспитанницу пастора, покраснев, принуждена была сознаться, что она шутила. Катерина Рабе не оскорблялась гордым обращением с нею знатных приезжих или не примечала его: дружба Луизы, явно дававшая ей предпочтение перед всеми гостями, вознаграждала ее за неприятности этого праздника. Когда б она знала более свет или была самолюбивой, тогда б догадалась по глазам мужчин всякого звания, по тонкой и предупредительной их услужливости, что она избрана ими царицей праздника.

Чего и кого не было на этом празднике! Сюда приехали дворяне, духовные, профессоры, офицеры, студенты и купцы. На каждом был отпечаток времени: большая часть гостей, особенно студенты, выступали с марциальным видом, как бы идя навстречу грозе военной; некоторые робко пожимались в уголки комнат, как птицы, нахохлившись, прячутся в густоту дерев, почуяв непогоду. В углу гостиной отыскали мы своего старого знакомого пастора Глика, жарконько рассуждавшего с каким-то архитектором-философом о том, каким образом удобнее созидать храм просвещения: с низу ли начинать, с середины или с верху?

— Помилуйте, — говорил архитектор, — кто ж строит здания на воздухе?

— Позвольте, я вам докажу, — прервал пастор, — я все препятствия видел наперед и отстранил их. В адресе, мною изготовленном для подачи королю, ныне благополучно царствующему, говорится ясно о способах преобразования Лифляндии.

— Но как вы могли?..

— Не спорьте, милостивый государь! Доказательства сейчас налицо, — ясны, как день! — и вы признаетесь, что... — Здесь в жару полемики пастор засунул было руку в боковой карман, но, хватившись, что он потерял знаменитый адрес дорогою, смутился до пота на лице и приведен был в такое же прискорбное состояние, в каком, по одинакому поводу, явился он нам в *Долине мертвецов*.

Напрасно искали мы по всем комнатам цейгмейстера Вульфа, вечного приятеля и антагониста пастора и жениха девицы Рабе. Вот что мы узнали о неявке его к празднику в Гельмет. Лукавый дух долины не переставал пошучивать над мариенбургскими жителями и за Менценом, затрудняя им путь то частою потерею подков у лошадей, то хромотой Зефирки, то починкою экипажа. Вульф, не награжденный от природы большим терпением, к тому ж обязанный вскорости доставить к генерал-вахтмейстеру Шлиппенбаху важное донесение (с которого, мы также видели, копьица была искусно снята и доведена по принадлежности), решился отделиться от своих дорожных товарищей и поспешить к начальнику. Отыскав последнего близ Пернова, куда этот ездил для свидетельства военных снарядов, и получив от него, по предмету своего путешествия, разрешение, цейгмейстер должен был немедленно отправиться в обратный путь, и потому, вместо посещения Гельмета, принес ему только издали дань поклоном и вздохом.

Долго искали мы также между гостями и Фюренгофа: его еще не было в Гельмете. Наконец подъехала к террасе колымага, по виду пережившая уже полвека и, по исправности своей, обещавшая еще столько же покататься по белому свету. Живые лошадиные остовы, в нее запряженные, были до того утомлены, что бока вздувались, как меха, и пот падал с них крупными каплями. Первый встретивший колымагу и отворивший у ней двери был Фриц, на лице которого, при этом действии, выражалась необыкновенная радость, смешанная с каким-то страхом. Он быстро оглядывался вокруг себя, хотел говорить, но губы его издавали непонятные

звуки. Из экипажа вышли сначала Фюренгоф и за ним мужчина странной наружности. Багровый нос его бросался всякому в глаза как по своей уродливости, так и по двум зеленым, блестящим кругам, на него надетым, или, просто, зеленым очкам, диковинным в тогдашнее время; большой горб оседлывал незнакомца. На указательном пальце правой руки богатейший солитер изменял простоте его одежды, состоявшей в паре платья на французский покрой из гладкой шелковой материи коричневого цвета. Выходя из колымаги, он пожал руку Фрицу и сказал ему шепотом:

— Лошадей верховых к восточной калитке сюда!

Когда он вошел в гостиную, насмешливый шепот пробежал по ней: красный нос так изумил всех, что должники Фюренгофа забыли изъяснить ему свое глубочайшее почтение и преданность и баронесса не могла выговорить полновесного приветствия тому, от кого тяжеловесные дукаты должны были поступить в ее род. Рингенский помещик, немного запинаясь, представил своего спутника под именем господина фон Зибенбюргера как ученого, путешествующего по разным странам света и теперь возвращающегося из России.

— Ко мне же почтеннейший господин адресован, — прибавил Фюренгоф, — одним лейпцигским моим корреспондентом.

На эту рекомендацию баронесса рассыпалась в учтивостях путешественнику-ученому, и, что важнее всего, ехавшему из России. «Красный нос» (будем так иногда звать Зибенбюргера) был умен, красноречив и ловок в обращении; богатейший человек в Лифляндии придал ему эпитет *почтеннейшего*. На вопрос, как вас титуловать (заметим, первый и необходимый вопрос каждого немца при первом знакомстве), Красный нос отвечал, что он гофрат, доктор Падуанского университета, член разных ученых обществ и корреспондент разных принцев; к тому ж игре в алмазе на руке его сделана уже примерная оценка и караты в нем по виду взвешены — все это заставило скоро забыть об уродливости носа и горбе неожиданного посетителя и находить в нем не только интересность, даже привлекательность. Баронесса, поручив хозяйничать дочери, нашла случай увлечь его в свой кабинет и предаться там с ним политическим рассуждениям. Красный нос хорошо знал ее слабую сторону и скоро успел овладеть умом патриотки, которая отдала бы свой Гельмет тому, кто шепнул

бы в это время, что с нею сидит жесточайший враг ее государя и предмет ее дипломатических забот.

Между тем все общество, собравшееся в Гельмете, было приглашено на террасу. Здесь представилось пестрое зрелище. По сторонам двора уставлены были двумя длинными глаголями столы, нагруженные разными съестными припасами; оба края стола обнизали крестьяне, не смевшие пошевелиться и не сводившие глаз с лакомых кусков, которые уже мысленно пожирали; в середине возвышался изжаренный бык с золотыми рогами; на двух столбах, гладко отесанных, развевались, одни выше других, цветные кушаки и платки, а на самой вершине синий кафтан и круглая шляпа с разноцветными лентами; по разным местам, в красивой симметрии, расставлены были кадки с вином и пивом. Крестьянки, в пестрых праздничных одеяниях, толпились позади своих супругов, отцов и братьев и составляли резервную их линию на случай осады столов; наконец, между ними волыночники и гудочники, налаживая свои инструменты, готовились по-своему торжествовать праздник и возбуждать общее веселие пирующих. Как скоро Луиза, краснея и с некоторым принуждением, явилась на террасу, народ от души закричал:

— Да здравствует многие лета наша молодая госпожа!

Амтман, вынув разложенные по квартирам своего кафтана пальцы правой руки и толкнув порядочно локтем старосту, сказал ему на ухо:

— Кричи: и матушка баронесса, наша благодетельница!

— И матушка баронесса, наша благодетельница! — закричал староста, махая по воздуху шляпою (и палкой). За ним то же повторила толпа, боясь, чтобы этот возглас позднее не был выколочен из боков. По окончании народного приветствия явился перед Луизой Аполлон, лет за пятьдесят, с лицом, испещренным багровыми шишками, в рыжем парике, увенчанном лаврами, в шелковой епанче, едва накинутой на плеча, и в башмаках с розовыми бантами. Он держал в левой руке лиру из папки. Это был мариенбургский школьный мастер Дихтерлихт, принявший на себя карикатурный вид бога поэзии. Чтобы не умереть со смеху, глядя на него, надобно было запастись всею немецкою флегмой и всем модным современным пристрастием к Олимпу на образец французский. Наш Аполлон, широко размах-

нувшись рукою, потом ударив себя в грудь и, наконец, по струнам лиры, отчего она согнулась, не издав из себя звука, с глазами, горящими, как у беснующегося, произнес громогласно с полсотни стихов. В них изобразил, как он, беседуя на Парнасе с девятью сестрами, изумлен был нечаянною суматохою на земле и, узнав, что причиною тому рождение прекрасной баронской дочери, спешил сам принесть ей поздравления от всего Геликона. В его стихах было то, чего *б нехитрому уму не выдумать и в век.*

Тут были:

В борьбе миры с мирами,
С звездами грозный сонм комет,
Пространства бездн времен с веками,
С луною солнце — с мраком свет.

Тут клокотали пропасти горящи, грохотали громы всезрящи, буревали гласы, клики, вой... и многое множество подобных этим описаний, которые нетрудно отыскать в знаменитых современных поэмах. Рукоплескания (и, прибавляет насмешливая хроника, шиканье студентов) задушили последний стих. Восхищенный этою наградою, Аполлон, со слезами умиления, поправил на себе парик и подал новорожденной тетрадку в золотой обложке. Луиза приняла усердную дань его и, желая скрыть, хоть несколько, свое замешательство от приторных похвал, которыми ее осыпали, перевернула блестящую обложку и устремила на заглавие тетради глаза; но, видя, что это творение не относилось к ней, спешила с усмешкою передать его вблизи стоявшему Глику и сказала ему:

— Не к вам ли ближе это идет, господин пастор?

При этом вопросе Аполлон выпучил глаза и открыл рот. Пастор, будто по предчувствию, дрожащими руками ухватился за тетрадь и, лишь только взглянул на первые слова заглавия, обратился с гневом к Дихтерлихту:

— Господин Аполлон! похитив у царя Адмета его овец, не вздумали ли вы прибрать к своим рукам и мое достояние?

— Ваше достояние, господин пастор! ваше?.. — произнес, горько усмехаясь, карикатурный бог. — Не благоугодно ли вам шуткою произвесть смехотворение в сем почтеннейшем обществе? Аполлон всегда готов отвечать Минерве.

— Какое неслыханное нахальство! — воскликнул пастор. — Говорю вам не шутя, что вы украли мое сочинение.

— О! когда так, то я объявляю всенародно, что это моя собственность, родное дитя мое: я, я, сударь, его отец и права на него не отдам никому! Право это готов защищать пером, лирою, законом и кровью моею, столь громко ныне вопиющею.

— Наглец неблагодарный! — кричал Глик, не помня себя от гнева. — Дерзость неимоверная в летописях мира! Как? воспользоваться моим добродушием; бесстыдно похитить плоды многолетних трудов моих! К суду вашему обращаюсь, именитое дворянство лифляндское! Имея в виду одно ваше благо, благо Лифляндии, я соорудил это творение, готовился посвятить его вам, и вдруг... Вступитесь за собственное свое дело, господа! Одно заглавие скажет вам...

— Это проект адреса королю о возвращении прав лифляндскому рыцарству и земству, — сказал кто-то, прочтя из-за плеч пастора заглавие спорного сочинения.

— Адрес! адрес! — повторили в толпе.

— О правах, давно забытых, — произнес кто-то.

— Втоптанных в грязь до того, что нельзя уж различить на них ни одной буквы, — прибавил другой.

— Следственно, вы признаете, милостивые государи, что адрес, мною... — мог только сказать пастор, как перебил его речь стоявший возле него дворянин, у которого редукциею отнята была большая часть имения:

— Без голоса нет права, — сказал он иронически, — а наш голос давно заглушен воинским боем, или, лучше сказать, мы служим только барабанною кожею для возвещения маршей и торжеств нового Александра до тех пор, пока станет ее.

— Теперь-то и время подать адрес, — произнес умилительно Глик.

— Время! — воскликнул кто-то. — Да разве вы не знаете, господин пастор, что лучшее время говорить о правах наступит, когда они кровью и огнем напишутся на стенах наших домов и слезами жен и детей наших вытравятся на железе наших цепей!

— Тише, тише, господа! — перебил насмешливо студент, закручивая усы и побренчивая шпагою. — Здесь есть шведские офицеры.

— Благородный воин никогда не берется за ремесло

доносчика, — возразил с негодованием один шведский драгунский офицер, покачивая со стороны на сторону свою жесткую лосиную перчатку, — но всегда готов укоротить языки, оскорбляющие честь его государя.

— Аминь, аминь! — кричал пастор.

— Неприличное место выбрали, господа, для диспута, — говорили несколько лифляндских офицеров и дворян, благоразумнее других. — Не худо заметить, что мы, провозглашая о правах, нарушили священные права гостеприимства и потеряли всякое уважение к прекрасному полу; не худо также вспомнить, что мы одного государя подданные, одной матери дети.

— Разве одной злой мачехи! — кричали многие.

Продолжали спорить и тихомолком назначали поединки. Заметно было, что волнение, произведенное между посетителями, было приготовлено. Для утишения поднявшейся бури принуждены были наконец послать депутатов к баронессе, все еще занятой дипломатической беседой с ученым путешественником Зибенбюргером, очаровавшим ее совершенно. Многие женщины от страха разбежались по комнатам; другие, боясь попасть навстречу баронессе, следственно, из огня в полымя, остались на своих местах. Луиза, стоя на иголках, искала себе опоры в милой Кете, но не могла найти ее кругом себя; пригожие Флора и Помона дожидались с трепетом сердечным, когда Аполлон прикажет им начать свое приветствие новорожденной; народ, вдыхая в себя запах съестных припасов и вина, роптал, что бестолковые господа так долго искушают их терпение.

Что происходило в это время с самим Аполлоном? Подойдя к пастору Глику и успев пробежать глазами первый листок чудесной тетради, он, видимо, обомлел, начал оглядываться, пересмотрел еще раз тетрадь, ощупал ее, ощупал себе голову и сказал с сердцем:

— Если в это дело сам лукавый не вмешался, то я не знаю, что подумать о перемене моего «Похвального Слова дщери баронской» на адрес «Его величеству и благодетелю нашему, королю шведскому».

Явилась на террасу баронесса Зегевольд, и с ее появлением раздор утих, как в «Энеиде» взбунтовавшее море с прикриком на него Нептуна. Не подавая вида, что знает о бывшем неблагопристойном шуме, она шепнула Никласзону, чтобы он подвинул вперед богинь. Флора первая из них подошла к Луизе и, поднося ей цветы, сказала:

— Прими сии плоды...

— Плоды? Какие плоды? — перебил сердито Аполлон.

— Меня так учил господин Бир, — отвечала смущенная и оробевшая Флора.

— Да вы кто такая? — спросил грозным голосом бог песнопения.

— Каролинхен, к вашим услугам, — отвечала опять простодушно девушка, приседая. При такой видимой неудаче Аполлон шлепнул свою лиру о пол, схватил себя обеими руками за парик и, стиснув с ним лавровый венец, вопил:

— Чтобы всех Флор и Помон побрал лукавый вместе с моим «Похвальным Словом»! Чтобы земля разверзлась и поглотила меня и позор мой! О зависть! о злоба человеческая! вы достигли своей цели. Иду, удалюсь, спешу, бегу от этих ужасных для меня мест. Тасс! темница была твой Капитолий. Гомер, о ты, слепец хиосский, ты умер странником. И я, и я, — радуйтесь, зоилы! — униженный перед почтеннейшим обществом лифляндских дворян, перед целым синклитом ученых, направляю стопы мои в изгнание. Но знайте, за меня потомство! Оно мститель мой и грозный судия моих врагов.

Выговоря это, Аполлон, в измятом лавровом венке, с епанчой на плечах, продрался сквозь толпу зрителей и слушателей, устремился с террасы, раздвинул с жестокостью толпу, окружавшую его на дворе, поколотил некоторых ротозеев и насмешников и бежал из Гельмета. Ни увещания, ни просьбы баронессы, ни усилия амтмана его удержать не имели никакого успеха. (Рассказывали после, что поселяне, встретившие его в таком наряде за несколько миль от Гельмета, почли его за сумасшедшего и представили в суд и что он только приближению русских обязан был освобождением своим из когтей судейских.)

Флора и Помона, которых роли Бир из рассеяния действительно перемешал, скрылись; и хотя сентиментальная Аделаида Горнгаузен, в фижмах и на высоких каблуках, готовилась предстать в виде пастушки, держа на голубых лентах двух барашков, но и та, побоявшись участи, постигшей ее подруг, решилась не показываться. Таким образом был испорчен праздник тщеславной владетельницы Гельмета. Сильно досадовала она, но старалась скрыть это чувство.

Оставалось Луизе принять сельскую свадьбу. По данному амтманом знаку, показался издали свадебный поезд. Впереди трусил верхом волыночник, наигрывая на своем инструменте нестройные песни, в которых движения его лошадки делали разные вариации. Его сопровождали два дружка с шпагами наголо (которыми должны были открыть вход в дом новобрачного, нарубив крест на двери, после чего следовало им, по обряду, воткнуть орудия в балку прямо над местом, где он садился). За музыкантом и дружками, верхами ж на бойкой лошадке, ехали разряженные: жених и, позади него, боком, на той же лошади, невеста, ухватившись за кушак его правой рукой. Две медные монеты, вложенные в расщеп палки, которую он держал в руке, должны были служить ему пропуском в дом брака. Невеста бросала красные ленты по дороге, особенно на перекрестках, где хоронились некрещеные дети. Многочисленный верховой поезд из крестьян, жен их, сыновей, работников и служанок довершал процессию. На дворе толпы народные, раздвинувшись, очистили для нее широкую улицу. Перед террасою весь поезд сошел с лошадей и прокричал новорожденной многие лета. В то же время дружки изо всей силы стучали шпагой об шпагу. Невеста и жених подошли к Луизе: первая была черноволосая красавица, второй — пригожий, статный молодец. Лишь только крестьянская девушка хотела поднести своей молодой госпоже пучок полевых цветов и сказать по-своему приветствие, Луиза, всмотревшись на нее, бросилась ее обнимать. Невеста была — Катерина Рабе. Жених подошел к Луизе; взглянув на него, она побледнела. Черты слишком знакомы! Глаза ее в первый миг признали было его за Густава; но сердце тотчас отвергло это обольщение и сказало ей, что это не кто иной, как роковой Адольф. Действительно, жених-крестьянин был истинный жених Луизин, барон Адольф Траутфеттер. Как все это случилось? Каким образом девица Рабе, нежная, догадливая, знавшая все задушевные тайны своей подруги, могла согласиться быть орудием для нанесения ей такого нечаянного и жестокого удара? Что заставило вдруг приехать из армии Адольфа, доселе с необыкновенным упрямством отдалявшего от себя всякий случай к посещению Лифляндии? Мы это сейчас узнаем, сделав с ним маленькое путешествие.

## *Глава десятая*

## ЕЩЕ НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ

> **Неприятель кутит, гуляет... а ты из-за гор крутых, из-за лесов дремучих налети на него, как снег на голову...**
>
> *Слова Суворова*

В то самое время, как меч и огонь неприятелей поедали собственные владения Карла XII, чужие царства падали к его стопам и подносили ему богатые контрибуции. Столица Польши одиннадцатого мая приняла в свои стены победителя и ожидала себе от него нового короля. Важные головы занялись тогда политикой, военная молодежь — веселостями в кругу обольстительных полек. Можно догадаться, что Адольф не пропускал ни одного редута. Раз вечером, возвратившись очень рано домой, он сидел, раздосадованный, в своей квартире и записывал в памятной книжке следующий приговор: «Польская нация непостоянна!» Такое определение характеру целого народа вылилось у него из души по случаю, что одна прелестная варшавянка, опутавшая его сетями своих черно-огненных глаз и наступившая на сердце его прекрасной ножкой (мелькавшей в танцах, как проворная рыбка в своей стихии), сама впоследствии оказалась к нему неравнодушной, сулила ему целое небо и вдруг предпочла бешеного мазуриста. Едва докончил он свой приговор, ужасный для народа и особенно для известной ему особы, как трабант загремел у его двери огромными шпорами и объявил приказ короля немедленно явиться к его величеству. Некогда ему было думать, зачем. От самого короля узнал он, что отправляется курьером к Шлиппенбаху с известием о новых победах и обещаниями скоро соединиться с Лифляндским корпусом в Москве. Вместе с этим поручением велено Адольфу, до нового приказа, остаться на родине своей при генерал-вахтмейстере: так умела все мастерски уладить дипломатика баронессы Зегевольд. Отпуская Траутфеттера, король сказал, что они не надолго расстаются. Неверность польки все еще сверлила сердце Адольфа, как бурав; образ Луизы начал представляться ему в том обольстительном виде, в каком изобразил ее Густав; поручение короля было исполнено милостей, и Адольф в ту же ночь распрощался с Варшавою.

Курьер северного героя, которого одно имя бичевало кровь владык и народов, не ехал, а летел. Все шевелилось скорее там, где он являлся, — и люди, и лошади.

— Помилуй, паноче! — говорили польские извозчики почтовым смотрителям, почесывая одною рукой голову, другою прикладываясь к поле их кафтана. — То и дело кричит: рушай да рушай! коней хоть сейчас веди на живодерню.

— Цыц, бисова собака! — бывал ответ смотрителя. — Разве ты не знаешь, что офицер великого короля шведского, нашего пана и отца, делает нам честь скакать на наших лошадях, как ему заблагорассудится? Благодари его милость, что он не впряг тебя самого и не влепил тебе сотни бизунов, собачий сын!

Красноречивые убеждения шведского палаша разогревали и флегму немецкого почтальона. То печально посматривая на бездыханную трубку, у груди его покоившуюся, то умильно кивая шинкам, мимо его мелькавшим, посылал он мысленно к черту шведских офицеров, не позволявших ему ни курить, ни выпить шнапсу, и между тем чаще и сильнее похлопывал бичом над спинами своих тощих лошадей-дромадеров.

— Не Траутфеттер, а Доннерветтер надобно бы ему прозываться, — говорили сквозь зубы немецкие станционные смотрители, подавая рюмку водки бедному страдальцу почтальону, и со всею придворною вежливостию спешили отправить гостя со двора.

Провожаемый такими приветствиями, Адольф прискакал на четвертые сутки в Ригу; узнав, что Шлиппенбах находится в Пернове, отправился туда, передал ему от короля бумаги и, желая удивить своим нечаянным приездом баронессу и невесту, которая, по мнению его, должна была умирать от нетерпения его видеть, полетел в Гельмет. Здесь у корчмы остановился он, заметив свадебный поезд. Пристальный взгляд на лица крестьян, необыкновенно развязных, и другой взгляд на миловидных крестьяночек, шушукавших промеж себя и лукаво на него поглядывавших, объяснили ему сейчас, что эта свадебная процессия была одна шутка баронессиных гостей.

Желая скрыть свое настоящее имя, он выдал себя за трабантского офицера Кикбуша, только что вчера прибывшего из армии королевской с известиями к генерал-вахтмейстеру о новых победах и теперь, по ис-

полнении своего дела, возвращающегося в армию; присовокупил, что между тем ему дано от генерала поручение заехать по дороге в Гельмет и доложить баронессе о немедленном приезде его превосходительства; что он остановлен у корчмы видом необыкновенной толпы, угадал тайну актеров и просит позволения участвовать в их шутке. Офицеры и студенты, представлявшие чухонцев, охотно согласились принять Адольфа в свой поезд; а как офицер, игравший жениха, был чрезвычайно услужлив, то, с позволения девицы Рабе, уступил Адольфу свою ролю, прибавив, что в народном празднике первое место принадлежит вестнику народного торжества. Таким-то образом явился Адольф в виде крестьянского жениха перед своею невестою; таким-то образом подруга ее сама представила Луизе того, которого эта, может быть, никогда не желала бы видеть. Каково же было изумление и ужас Катерины Рабе, когда Луиза, при взгляде на мнимого Кикбуша, побледнела, когда трабантский офицер, бывший до того чрезвычайно смелый и ловкий, смутился, произнеся крестьянское приветствие новорожденной, и, наконец, когда он подошел к баронессе Зегевольд и вручил ей письмо.

— Рука приятеля моего Пипера! — вскричала баронесса, взглянув на адрес; потом вгляделась пристально в посланника и бросилась его обнимать, приговаривая задыхающимся от удовольствия голосом:

— Адольф! милый Адольф! этой радости я не ожидала.

— Адольф Траутфеттер! — раздалось в толпе гостей.

Фюренгоф, внутренно желавший племяннику провалиться сквозь землю, спешил, однако ж, прижать его к своему сердцу. После первых жарких лобызаний и приветствий со всех сторон, Адольф просился переодеться и явиться в настоящем своем виде. Кто бы не сказал, смотря на него: Антиной в одежде военной! Но для Луизы он был все равно что прекрасная статуя, хотя ей дан исподтишка строжайший приказ обходиться с ним как с милым женихом.

— Ты должна его любить, — прибавлено к этому грозному наказу. — Смотри, чего ему недостает? Он все имеет: ум, прекрасную наружность и богатство. Ты была бы ворона, если б и без моих наставлений упустила такой клад! Да что ж ты ничего не говоришь?

— Буду стараться исполнить вашу волю, — отвечала Луиза, опираясь ледяною рукою об руку своей милой Кете.

С другой стороны, влюбчивый Адольф, сравнивая свою невесту с теми женщинами, которыми он пленялся так часто в каждом немецком и польском городке, на марше Карловых побед, разом вычеркнул их всех не только из сердца, даже из памяти своей, и поклялся жить отныне для единственной, избранной ему в подруги самою судьбою. «Она сейчас узнала меня: это добрый знак! — думал он. — И меня испугалась; это что значит?.. Ничего худого! Как не испугать это робкое, прелестное творение появлением нежданного жениха, который, того и гляди, будет муж ее! Сердце мое и ласки матери говорят мне, что мы в дальний ящик откладывать свадьбы не станем».

Желая скорее описать свои новые чувства двоюродному брату, он искал его между гостей, но, к удивлению своему не найдя его, спросил у одного из своих молодых соотечественников о причине этого отсутствия. Вопрошаемый, бывший дальний родственник баронессе, объяснил, что она отказала Густаву от дому за неловкое представление им роли жениха, даже до забвения будто бы приличия.

— Это было в отсутствие маменьки, — продолжал вестовщик, — невеста заметила ошибку и вольное обхождение посетителя, рассердилась и рассказала все матери и...

— И загорелся сыр-бор! — сказал смеясь Адольф. — Ну, право, я не узнаю в этом деле моего двоюродного братца, скромного, стыдливого, как девушка! А все я виноват, — продолжал уже про себя Адольф, — невольный мученик! навел я тебя на след сердитого зверя моими наставлениями и погубил тебя; но этому скоро пособить можно. Мой верный Сози будет у меня шафером на свадьбе, и мы тогда заключим мировую с баронессою.

Рассуждения эти были прерваны необыкновенным криком на дворе. Адольф оглянулся и увидел, что народ сделал решительное нападение на съестные припасы. В один миг столы были очищены и бык с золотыми рогами исчез. Всех долее покрасовалась круглая шляпа с цветными лентами на маковке столба, намазанного салом, и всех более насмешили усилия чухонцев достигнуть ее; наконец и она сорвана при громких вос-

клицаниях. Чернь веселилась потом, как обыкновенно веселится. Лишь только гости возвратились во внутренность дома, амтман возвестил о приезде его превосходительства генерал-вахтмейстера.

— Его превосходительство! — перенеслось из одной комнаты в другую. Кроме нескольких собеседников, в том числе и Красного носа, все засуетилось в гостиной, все встало с мест своих, чтобы встретить его превосходительство. Зибенбюргер остался преспокойно в креслах, как сидел: коварная усмешка пробежала по его губам; движения его, доселе свободные, сделались напоказ небрежными. Фюренгоф, при вести о прибытии главного начальника шведских войск, задрожал от страха; вынул свои золотые, луковкою, часы из кармана и сказал:

— До двух часов остался еще час?

— Да! — отвечал хладнокровно Красный нос.— Впрочем, если указательная стрелка и заврется, есть средства ее остановить.

Ответ этот был так же хорошо понят, как и напоминание времени, и рингенский барон, оправившись несколько от испуга и приосанившись, спешил засвидетельствовать свое глубочайшее почтение прибывшему генералу.

Вошел мелкорослый мужчина, погруженный в огромный парик, в лосиные перчатки и сапоги с раструбами до того, что из-под этих предметов едва заметен был человек.

— Здравствуйте, мои милые лифляндцы! Как можется? Каково поживаете? — произнес он, не сгибаясь и протягивая руку или, лучше сказать, перчатку встречавшим его низкими поклонами. — Все спокойно, все хорошо небось по милости нашего короля и нас? А! Через нашего вестника вы именно слышали уже о новых победах его величества?

— Честь и слава ему на тысячелетия! — воскликнули два или три голоса, между тем как все молчали.

— Может быть, в эту самую минуту, как я с вами говорю, новый польский король на коленах принимает венец из рук победителя. Каково, meine Kindshen! [1] Надобно ожидать еще великих происшествий. Кто знает? Сегодня в Варшаве, завтра в Москве; сегодня Авгу-

---

[1] ребятушки! *(нем.)*

ста долой; завтра, может быть, ждет та же участь Алексеевича.

— Последний поупрямее и тяжел на подъем, — сказал кто-то из толпы. Генерал, казалось, не слыхал этих слов: обратившись к медику Блументросту, ударил большою перчаткою по руке его и произнес ласково:

— А, мой любезный медикус! Довольны ли вы моею бумажкою? Ну, есть ли заказы? Вы меня понимаете? Я говорил о вас профессору анатомии в Пернове: да вот он сам здесь. — Потом, не дав Блументросту отвечать, продолжал, кивая Фюренгофу: — А, господин рингенский королек! к вам приехал племянничек, женишок, молодец хоть куда, любимец его величества: все эти звания требуют... понимаете ли меня? (Здесь генерал показал двумя пальцами одной руки по ладони другой, будто считал деньги.) Мы люди военные; ржавчину счищаем мастерски со всякого металла. Ха-ха-ха! (На все эти приветствия Фюренгоф униженно кланялся.) А это что за урод? — спросил Шлиппенбах Фюренгофа на ухо, показывая огромным перстом на Зибенбюргера, небрежно раскинувшегося в креслах.

— А-а! ваше превосходительство... Гм!.. это... а, а... как бы вам доложить, ваше превосходительство... — проговорил, запинаясь, рингенский барон, проклиная мысленно приятеля своего Никласзона, поставившего его в такое затруднение особою Зибенбюргера.

— Вы крепки на все, — сказал маленький генерал, махнув своею огромной лосиной рукавицей, которая раструбами едва не зацепила за нос Фюренгофа; обратился к баронессе и спросил у ней вполголоса: — Скажите мне, маменька! откуда выкопали вы этого уродца?

— Ах, мой почтеннейший генерал-вахтмейстер! — отвечала баронесса. — Ради бога говорите потише, чтобы не оскорбить этого великого человека. Барон Фюренгоф сделал мне честь привезти его ко мне.

— Гм! потом?

— Если б вы знали, что это за сокровище! Он доктор Падуанского университета, корреспондент разных принцев...

— Конечно, и шпион их.

— Физик...

— Не сомневаюсь.

— Математик...

— Когда марширует.

— Астролог...

— Может быть, подагрик и предугадывает погоду; наверно, еще и алхимист: без того не терся бы около него наш барон. Вернее всего, какой-нибудь шарлатан, который показывает истину не по-старинному, на дне кладезя, а на дне кошелька, ха-ха-ха! как ваш стригун, русский козел Андреас Дионисиус.

— Да, мой козел, — возразила баронесса с сердцем, но все-таки вполголоса, — проблеял мне вчера то, что вашему соловью шведскому никогда не удастся пропеть. Знайте... однако ж я вам не скажу этой тайны до тех пор, пока вы не дадите мне честного слова довесть до его величества мое усердие, мою неограниченную преданность, мои жертвы.

— Вы уже недоверчивы ко мне, милая мамаша? — сказал Шлиппенбах, нежно грозясь на нее огромным пальцем своей перчатки.

— Услуга так важна...

— Повинуюсь. Честное слово шведского офицера, что я исполню ваше желание.

— Теперь вы, наша армия, Лифляндия спасены! — сказала шепотом баронесса и пригласила было генерала в другую комнату, чтобы передать ему важную тайну; но когда он решительно объявил, что голова его ничего не варит при тощем желудке, тогда она присовокупила: — Будь по-вашему, только не кайтесь после. Между тем позвольте мне представить вам ученого путешественника. Господин доктор Зибенбюргер! господин генерал-вахтмейстер и главный начальник в Лифляндии желает иметь честь с вами ознакомиться.

Шлиппенбах, не вставая со стула, протянул было руку Красному носу; с своей стороны этот едва покачнулся телом вперед, кивнул и сказал равнодушно:

— Очень рад!

— Очень рад! — повторил Шлиппенбах голосом оскорбленного самолюбия, привыкшего, чтоб все падало перед ним, и неожиданно пораженного неуважением иностранца. Опустив руку, столь явно отвергнутую, он покраснел до белка глаз и присовокупил насмешливо: — Вы едете, конечно, других посмотреть и себя показать.

— Вы не ошиблись, — отвечал хладнокровно Крас-

ный нос, — составляя не последний оригинал в физическом и нравственном мире, я люблю занимать собою исполинов в этом мире! люблю сам наблюдать их; но до мелких уродцев мое внимание никогда не унижалось.

— Господин доктор едет из Московии, — подхватила баронесса, желая облегчить путь пилюле, стоявшей в горле генерала. — Он был несколько времени при дворе тамошнем и в лагере Шереметева; видел и нашего приятеля Паткуля, которого изобразил мне так живо, как бы с ним никогда не расставался.

— Следственно, *он* присоединился там к порядочному зверинцу, — сказал с горькой усмешкой маленький генерал.

— Не полному! — возразил спокойно Красный нос. — Дорогою имею случай дополнять недостающие экземпляры.

Шлиппенбах опять принял посылку по адресу, надулся, как клещ, думал отвечать по-военному; но, рассудив, что не найдет своего счета с таким смелым словодуэлистом, у которого орудия не выбьешь из рук, и что неприлично было бы ему, генералу шведскому, унизиться до ссоры с неизвестным путешественником, отложил свое мщение до отъезда из Гельмета, старался принять веселый вид и спустил тон речи пониже:

— Так вы удостоились лицезрения Паткуля, господин доктор? Что вы о нем разумеете?

— Что я о нем разумею? На это отвечать трудно при шведском генерале, подданном государя, которого он враг, и среди общества лифляндских дворян, которых права он защищал — как слышно было — так горячо и так безрассудно.

— Горячо, может быть, — возразил кто-то из гостей твердым голосом, — но благородно и не безрассудно!

— Лифляндия должна гордиться таким патриотом, и кто думает противное, недостоин имени благородного сына ее, — присовокупил граф Л-д (тот самый, который в царствование Екатерины I был ее любимым камергером и впоследствии времени, играя важную политическую роль в России, исходатайствовал своим соотечественникам права, за которые пострадал Паткуль).

— Кто смеет спорить с патриотизмом некоторых лифляндцев? — сказал насмешливо Шлиппенбах. — На-

добно плотину слишком твердую, чтобы удержать разлив его, который, мне кажется, найдет скоро путь и в Московию.

— В этом случае, ваше превосходительство, крепко ошибаетесь, — сказал граф Л-д. — Между нами нет ни одного изменника своему государю: лифляндцы доказывали и доказывают ему преданность свою, проливая свою кровь, жертвуя имуществом и жизнию даже и тогда, когда отечество не видит в том для себя пользы. Не в Россию, а разве из России вторгнется к нам бурный поток, и, конечно, щепками вашего отряда не остановишь его и погибели нашей!

— Новое, не слыханное доселе красноречие! Щепки! великие жертвы! бурный поток! погибель Лифляндии! Какие громкие имена, граф! Мне, право, смешно слышать их, особенно от вас, в разговоре о таком ничтожном предмете, каков Паткуль. Скоро и очень скоро избавим мы Лифляндию, этого великодушного пеликана, от великих, тяжких жертв ее, перенеся театр войны подалее от растерзанного шведами отечества вашего.

— Ничтожный предмет? Не думаю, — сказал граф Л-д.

— Может быть, я ошибаюсь в названии: ничтожный, это неприлично сказано об изменнике, переметчике, бунтовщике. (При этих словах Красный нос сильно повернулся на креслах.) Кажется, теперь настоящее имя ему приискано.

— Ваше превосходительство, назвав его порядочным именем, оскорбили бы верноподданных его величества, — сказал один из гостей.

— Ни дать ни взять, ваше превосходительство вылили его в настоящую форму, — прибавил другой, низко сгибаясь.

— Приговор вашего превосходительства есть приговор потомства, — присовокупил третий, потирая себе ладони.

— Вот истинные сыны отечества! — воскликнул генерал.

— Гм! Низкие льстецы! — произнес громогласно Бир.

Шлиппенбах оглянулся, искал, кто это произнес; но дерптские студенты загородили библиотекаря.

Граф Л-д презрительно посмотрел на низкопоклонников и сказал:

— Я давеча наименовал уже этих господ, и пусть один из них осмелится когда-либо назваться при мне лифляндским дворянином. Еще могли б они сохранить благородное приличие хоть молчанием!.. Кто вынуждал, кто выпытывал у них собственный их позор? Преданность государю, скажут они. Преданность!.. Пускай доказывают они ее, идучи на смерть за него, и не боятся так же смело идти на смерть за истину! Клеветники и низкие люди всегда худые подданные, так же как и худые сыны отечества. И кто ж, в угодность мелкой власти, называет презренными именами того, который пожертвовал собою для защиты их собственных прав, выгод, благосостояния? Не те ли самые, которые называли его некогда своим благодетелем, спасителем, вторым отцом? Едва не лобызали они тогда краев его одежды, едва не к божеству его причли и не ставили ему алтарей! А теперь, когда он для них не может идти в другой раз под плаху, теперь... Нет, я не могу быть с ними вместе; мне душно здесь! — Сказав это, граф Л-д взял шляпу, извинился перед баронессою и вышел; за ним последовало несколько дворян.

— Что скажете вы об этом, маменька? — спросил Шлиппенбах баронессу.

— Я враг Паткулю, не языком, а делом, — отвечала дипломатка. — Впрочем, вы знаете, что я люблю политические споры. Не из возмущенного ли моря выплывают самые драгоценные перлы? Ловите их, ловите, почтеннейший генерал, как я это делаю, и простите благородной откровенности моих соотечественников, этих добрых детей природы, любящих своего государя, право, не хуже шведов.

— Прекрасно! — воскликнуло множество голосов. — Благодарим нашу защитницу.

Приметно было, что баронесса отдыхала на лаврах, между тем как маленькому генералу, повелителю Лифляндии, подсыпались со всех сторон тернии. Казалось, что при новом толчке, данном его самолюбию, он должен был разразиться на собеседников громовым ударом; напротив того, в нем оказался неожиданный перелом: с крошечного лба сбежали тучи, его обвивавшие; на лице проглянуло насмешливое удовольствие, и он, рукоплеская, примешал к восклицаниям собеседников и свое:

— Вот это я люблю, meine Kindchen! Спорьте всегда в любви и преданности к королю своему. Про-

должайте, господа, анатомировать Паткуля, который нам многим сделал глубокие операции; но между тем не забудьте, маменька, что для нас, солдат, есть лагерные часы обедать, выпить рюмку и спать. За кем далее черед? Да, что скажет нам почтеннейший мариенбургский патриарх?

Проговорив это, Шлиппенбах прислонился затылком к высокому задку стула, воткнул стоймя огромную перчатку в широкие раструбы своего сапога, как бы делал ее вместо себя соглядатаем и судьею беседы, сщурил глаза, будто собирался дремать, взглянул караульным полуглазом на Фюренгофа и Красного носа, захохотал вдруг, подозвал к себе рукою Адольфа и шепнул ему на ухо:

— Дядя ваш обманут: он привез к нам шпиона. Не правда ли, — продолжал генерал вслух, — дядя ваш не догадался, что он потерял свою перчатку, именно правую?..

Фюренгоф засуетился было искать свою перчатку, но повелитель Лифляндии дал ему знак, чтобы он оставался на своем месте, и, зевая, сказал Глику:

— Мы ждем вашего голоса.

Пастор, который по первому вызову успел только поправить на себе парик, выпрямиться и кашлянуть, по второму вызову произнес довольно протяжно:

— Хотя поздненько меня спрашивают, может быть, тогда, когда все голоса собраны, когда кормчие разговора довели его до Геркулесовых столпов, да не посмеет никто идти далее; однако ж дерзнем на челноке наших понятий пуститься хоть по водам, обозренным моими высокопочтенными собеседниками. Igitur [1], скажу об Иоганне Рейнгольде Паткуле, лифляндце родом, сердцем и делами, бывшем изгнаннике, ныне генерал-кригскомиссаре московитского монарха, гениятворца своего государства, вождя своего народа ко храму просвещения — вождя, прибавить надобно, шествующего стопами Гомеровых героев.

— Хватающегося за все и ничего не совершившего, — сказала баронесса.

Катерина Рабе, услыхав из другой комнаты тонким своим слухом, что воспитатель ее говорит о московитском царе, привстала со стула, подошла на цыпочках

[1] Итак *(лат.)*.

ближе к разговаривавшим и низала на сердце каждое слово, сказанное о Петре.

— Неправда! — возразил пастор, одушевленный необыкновенным восторгом. — Он много, очень много сотворил. У Алексеевича нет колеблющихся начинаний, нет попыток: мысль его есть уже исполнение; она верна, как взгляд стрелка, не знавшего никогда промаха. Стоит ему завидеть цель, и, как бы далека ни была, она достигнута. Другие садят желудь и ждут с нетерпением годы, чтобы дуб вырос: он из чужих пределов могучею рукой исторгает вековые дубы, глубоко врывает на почве благословенной, и дубы вековые быстро принимаются и готовы осенить Московию.

— Придет молодой шведский завоеватель, — перебила опять баронесса, — несколькими ударами грозного меча обсечет ветви великого дерева московитского, и что от него тогда останется? Безобразный столб для смеха проходящих!

— Я сказал, высокородная госпожа баронесса, я сказал, что древо просвещения посажено не руками мальчишек-верхоглядов, а врыто глубоко в землю рукою могучею. Отсеките ветви, срубите самый ствол, появятся через несколько времени отпрыски, которые некогда будут также дубы. Поверьте мне, на исполинском твердом пути Алексеевича ничто его не остановит. Скорее не ручаюсь, чтобы пылкий, воинственный дух молодого героя, всемилостивейшего нашего государя и господина, — но дело не в том — не ручаюсь, говорю я, чтобы дух этот не занес шведского Ахиллеса в ошибки невозвратимые, которые послужат к большему величию Петра. Впрочем, да не оскорбится верноподданнический слух вашего превосходительства и ваш, господа высокоименитые лифляндцы и шведы, если скажу вам по чувству истины: пылкость характера не есть добродетель в царях; она скорее в них погрешность. Обдуманная твердость, ничего не начинающая без цели, никогда не полагающаяся на счастие, одним словом, Минерва в полном вооружении — прошу заметить, в полном... — вот что составляет истинное достоинство государей и благоденствие вверенных им народов. А твердостию такою московитский государь обладает в высшей степени. Еще осмелюсь прибавить... присовокупить, кстати или некстати... в последнем случае, вы меня извините... нигде не покидает Карла мысль о славе, для которой он, кажется... мнится мне...

так мне сдается... готов все забыть; нигде не покидает Алексеевича мысль о благе отечества. Алексеевич в Вене, в Стокгольме, в Париже будет всегда близок своего народа. Отважный Карл, занеся ногу в Московию...

— Дело не в том, отец Полиний из Веттина! — перебил Шлиппенбах, потягиваясь и передразнивая пастора в любимой его поговорке, — дело не о вашем возлюбленном Алексеевиче, которого новый толчок шведским прикладом, сакрамент, подобный нарвскому, отобьет от кукольных его затей. Мы спрашивали вашего мнения насчет беглеца Паткуля.

— Виноват, господин генерал-вахтмейстер! виноват, я несколько отдалился от заданной темы. Что касается до высокоименитого Иогана Рейнгольда Паткуля, то я должен предупредить о следующем. Знаменитые юристы галльские, в том числе сам Христиан Томазиус, это солнце правоведения, и, наконец, лейпцигская судейская палата решили до меня чудесный казус, постигший именованную особу, то есть: имел ли право верноподданный его величества желать сохранить себе жизнь и честь, отнимаемые у него высшим приговором, и предложить свое служение другому государю и стране? был ли приговор шведского суда справедлив и прочее? Галль, Лейпциг, Томазиус решительно оправдали его на немецком и латинском языках, в известной дедукции, изданной in quarto[1] прошлого, 1701 года февраля пятнадцатого дня. После того мы, сидящие на последней ступени храма Фемидина, какое посмеем сделать определение? Разве примолвим: головы, подобные Паткулевой, надо государям беречь, а не рубить. Правда, не лишним будет еще упомянуть, что в пятом и восьмом пунктах известного адреса он не имел аттенции к юриспруденции, и сожалеть надо, что он не посоветовался с людьми знающими. Вот, например, если позволите, я докажу из конспекта моего...

Здесь пастор вынул из бокового кармана тетрадь в золотой обложке и хотел было почерпнуть в ней свидетельство доводам своим; но генерал, махнув повелительно рукою, сказал:

— До другого времени, отец-юриспрудент и оратор

[1] в четверть бумажного листа *(лат.)*.

из Веттина! Сакрамент, маменька, лагерный час обеда пробил!

— До обеда я имею еще важное дело вам передать, — возразила баронесса, — оно касается, как я сказала давеча...

— Прошу уволить, высокопочтенная баронесса! — перебил генерал. — Мы поедим, попьем, поспим и тогда примемся за важные дела. Но если для лучшего аппетита необходимо привесть в движение механизм языков, то попытаемся заставить говорить вашего почтенного свата. Гм! например, господин барон Фюренгоф, что бы вы, добрый лифляндец и верноподданный его величества, что бы вы сделали, встретив изменника Паткуля (генерал посмотрел на Красного носа) в таком месте, где бы он мог быть пойман и предан в руки правосудия?

На вопрос Шлиппенбаха язык Фюренгофа прозвучал подобно колокольчику, сжатому посторонним телом:

— А-а, господа!.. что до меня... то я, конечно... вы знаете мою преданность его величеству... но я не знаю, известно ли вашему превосходительству, что он... хотя... но он...

— Кто он? — спросил резко Шлиппенбах.

— Как доложить вашему превосходительству, не смею...

— Вы, дядюшка, хотите сказать, что Паткуль ваш родственник, — подхватил Адольф, — и не имеете духа выговорить это.

— А-а, Адольф, любезный друг, так же как и тебе; но ты знаешь, я плохой оратор, и ты помог бы мне, когда бы объявил свое мнение, свои чувства.

— Вы меня вызываете к ответу, и я дам его, — сказал с твердостью Адольф. — Солдатский ответ короток. Если я, как рядовой воин шведской армии, встречу Паткуля посреди неприятелей, то не пощажу о него благородной стали. Уничтожить жесточайшего врага моего законного государя почту тогда особенною для себя честью. Но, — прибавил Траутфеттер с особенным чувством, — если б я нашел его беззащитным, укрывающимся в отечестве, где бы ни было, то я пал бы на грудь моего благодетеля и второго отца, оросил бы ее слезами благодарности, и горе тому, кто осмелился бы наложить на него руку свою!

— Зараза везде проникла! — воскликнул со вздохом Шлиппенбах. — Тяжкие, горькие времена!

— Благородный молодой человек! — сказал в то же время Зибенбюргер со слезами на глазах. — Кто в эти минуты не желал бы быть Паткулем, чтобы обнять вас? Жаль, что возвращаюсь из Московии, а не еду в нее; а то с каким удовольствием рассказал бы я ему, что он имеет еще в Лифляндии соотечественников, друзей и родного.

Все с каким-то недоумением обратили взоры на путешественника, принимавшего такое живое участие в родственных и гражданских связях Паткуля.

— Что ж? можно, не ехавши в Московию, видеться с генералом московитским, — сказал значительным голосом Шлиппенбах, коварно посматривая на Красного носа. — Говорят, что он здесь...

— Как здесь? — спросил Адольф, изменившись в лице.

Фюренгоф при этих словах был ни жив ни мертв; колена его ходили туда и сюда. Он колебался уже открыть генералу тайну своего спутника и представить его живьем; но Паткуля спасло новое восклицание Шлиппенбаха.

— Да, он скрывается в Лифляндии, — отвечал с таинственным видом генерал, — однако ж, несмотря, что ученые шпионы его следят меня даже на празднике моих знакомых, надеюсь скоро дойти до логовища этого красного зверя.

Баронесса перемигнулась с Зибенбюргером и сказала таинственным голосом:

— У кого есть верный маршрут, сделанный по некоторому астрологическому наведению, до некоторой резиденции в глуши лесной... не правда ли, господин доктор... тот может не надеяться, а исполнить?

— Увидим, увидим, кому скорее удастся, — воскликнул Шлиппенбах, — а для приступа к нашим поискам...

Красный нос подошел к открытому окну, и почти в тот же миг раздалось на дворе среди шума народного:

— Генерал, господин генерал-вахтмейстер! ради бога! дело важное имею до тебя.

На этот возглас Шлиппенбах бросился на террасу; гости вылились за ним. Баронесса, приметно смешавшись, искала около себя Никласзона; но верного ее секретаря давно не было не только в доме, даже в Гель-

мете; он умел заранее убраться от опасности. Дипломатка догадывалась, что не кто иной взывает к генералу, как преданный ему швед, Вольдемар из Выборга. Сведения о скором выходе русских из лагеря, благодарность Пипера, милостивое внимание самого государя — все похищено у ней в одну минуту.

Пользуясь общею суматохою, произведенною любопытством, Адольф бросился к Зибенбюргеру, схватил его за руку, отозвал в другую комнату и торопливо сказал ему вполголоса:

— Вы Паткуль! Голос второго отца, при первом его звуке, отозвался в моем сердце. Бегите, за вами примечают. Фюренгофу сделают допрос, и вы пропали. Кто знает? через несколько минут я только шведский подданный!

Выговоря это, Адольф бросился назад и смешался с толпою на террасе. Зибенбюргер, или Паткуль (читатели, вероятно, давно догадались, что это одно и то же лицо), имел только время пожать руку Адольфу, пробрался через внутренние комнаты и задним крыльцом в сад. Тут он услышал в кустах тихий голо́с:

— Ау, ау, Красный нос!

Он пренебрег этим насмешливым зовом, углубился в сад; но, забыв расположение его, ошибся дорогами, отбился к северной стороне и опять пришел к дому. На дворе была необыкновенная тревога. Не думая долго, побежал он прямо на восточную сторону, но тут заградил ему путь крутой овраг.

— Боже! я пропал! — воскликнул он.

— Ау, ау, Красный нос! — опять раздалось около него.

— Леший ты или человек, волею или неволею, ты проведешь меня к восточной калитке, — закричал Паткуль, вынул шпагу из ножен и устремился на куст, откуда слышался голос.

— За мною, я твой проводник! — сказал кто-то, выпрыгнув из куста, как заяц. Это был рыжеволосый мальчик, Мартышка.

Паткуль, по сделанному ему описанию, тотчас узнал племянника Фрицева, вздохнул свободнее и ухватился за Ариаднину нить, ему так кстати предлагаемую. Мыртышка, махая ему рукой, указывал путь между деревьями и кустами, по камням через ручей Тарваст и мигом довел его до восточной калитки. У ней с нетерпением и страхом дожидался верный слу-

житель его, Фриц, держа двух оседланных бойких лошадей, лучших, какие были когда-либо на конюшне баронессиной.

— Слава богу, вы здесь и спасены! — сказал верный служитель, помогая Паткулю садиться на лошадь.

— Я отмщен, добрый мой Фриц, и месть моя откликнется в сердце Карла. С меня довольно! — отвечал Рейнгольд, вынул из кармана лоскут бумаги и, написав что-то на ней, вручил ее рыжеволосому вместе с крупною серебряною монетою. Забыть наградить ею было бы опасно: месть неминуемо последовала бы за этим забвением.

Маленькому проводнику поручено отдать эту бумагу генералу Шлиппенбаху, — шпоры вонзены в бока лошадей — и скоро перелески к стороне Пекгофа скрыли Паткуля и его конюшего, кончившего уже свою роль в Гельмете. Через минуты две, три всякая погоня за ними была бы напрасна.

Обратимся к террасе.

— Вольдемар, Вольдемар, чего ты хочешь от меня? — кричал генерал-вахтмейстер гуслисту, который, продираясь сквозь толпу, выбивался вместе с тем из рук двух дюжих служителей, его удерживавших.

— Генерал, меня не допускают до тебя! — вопил умоляющим голосом Вольдемар.

— Мошенники! плуты! — продолжал кричать Шлиппенбах. — Отпустите его, или я велю повесить вас на первом гельметском дереве!

Угрозы генерала немедленно подействовали, как удар из ружья над ястребами, делящими свою добычу; освобожденный пленник прорезал волны народные и взбежал на террасу. Величаво, пламенными глазами посмотрел он вокруг себя; тряся головой, закинул назад чёрные кудри, иронически усмехнулся (в этой усмешке, во всей наружности его боролись благородные чувства с притворством) и сказал Шлиппенбаху:

— С того времени, как ты приехал, ищу к тебе пробраться, но меня не допускали до тебя по чьему-то приказанию. Ты ничего не знаешь. Русские в Сагнице.

Слова эти разлились по толпе, окружавшей генерал-вахтмейстера, подобно электричеству громового удара; многие смотрели друг на друга и, слыша беду, уж оглушенные уведомлением о ней, еще ей не верили.

— Русские в Сагнице? — вскричал Шлиппенбах. —

Что ты говоришь, несчастный? Если ты сказал мне неправду, то завтра ж велю тебя повесить на первом дереве.

— Нет, не отдам я костей своих здешним воронам. Лежать им на стороне другой! — возразил Вольдемар, одушевленный необыкновенным чувством. Грудь его сильно волновалась. — Говорю тебе: русские в Сагнице. Того и жди гонца с этим известием; но помни, что я первый принес его тебе.

Генерал, нахмурившись, позвал вестника за собой в ближайшую комнату и сделал знак рукою, чтобы никто за ним не следовал. Недолго продолжалась потаенная беседа. Когда он показался вновь обществу, маленькое, сухощавое лицо его, казалось, вытянулось на целую половину; однако ж, стараясь призвать на него спокойствие, он сказал собравшимся около него и выжидавшим его слов, как решения оракула:

— Мой добрый швед пересолил своим усердием. При поверке выходит, что татары вздумали похрабриться и выползли из своего нейгаузенского разбойнического притона. Шереметев только что собирается надеть львиную кожу! Впрочем, удивляюсь, почему не допускали до меня верного моего шведа.

Сказав это, Шлиппенбах повел мышачьими глазами своими вокруг себя и, не найдя Красного носа, приказал нескольким дюжим офицерам открыть его в доме, во что бы ни стало. Досада его была ужасная, когда ему доложили, что ученый путешественник скрылся внезапно невидимкою, вероятно помощию волшебства. Сделан был допрос Фюренгофу. На этот раз рингенский барон, рассчитав так верно, как свои проценты, что приближением русских исполняются обещания нового его патрона, обладая уже драгоценным охранным листом и надеясь впредь великих и богатых милостей от родственника своего, генерал-кригскомиссара московитского государя, укрепился духом против девятого вала, на него хлынувшего. Приосанившись, он отвечал с твердостию, что если, паче всякого чаяния, был он обманут сведениями, доставленными ему из Лейпцига, о господине Зибенбюргере, то не считает себя ни в чем виноватым; но что, впрочем, его превосходительство сам мог ошибиться в ученом путешественнике, принимая его за шпиона Паткулева; он же, с своей стороны, видел в нем любезного и умного собеседника, неприятного только для тех, которые не любят истины и бли-

зоруки. Что ж касается до внезапного отъезда Зибенбюргера, то Фюренгоф предписывал его разным оскорблениям, будто бы ему сделанным.

Баронесса, обиженная требованиями от нее отчета в ее поступках, решительно заступилась за рингенского барона. Таким образом, в общей перебранке отыгрался Фюренгоф и поспешил было заранее уплестись из Гельмета, над которым стояла такая грозная туча; но, вспомнив, что он лишился на поле битвы перчатки, воротился искать ее. Адольф заметил это: дал ему свою пару новых перчаток и едва не вытолкнул его из дому.

Через несколько минут Мартышка, пользуясь приказом впускать к генералу всех, кому нужно было с ним переговорить, подал ему записку следующего содержания:

«Господин генерал-вахтмейстер шведский! благодарю вас: вы дали мне случай поторжествовать именем покорного вашего слуги над вами и королем шведским. Поблагодарите от меня и хозяйку Гельмета, почтеннейшую дипломатку двора шведского, за лестный прием, мне оказанный и мною не ожиданный. Ласки ее так обольстили меня, что я назначаю у ней мою главную квартиру на двадцать девятое и тридцатое нынешнего месяца. Что ж касается до ваших мне личных оскорблений, то мы сочтемся в них завтра на чистом поле.

Генерал-кригскомиссар его царского величества

*И. Рейнгольд Паткуль*

Писано в Гельмете 16/28 июля 1702».

Шлиппенбах, прочтя эту записку, едва не заскрежетал зубами, подал ее неучтиво баронессе и примолвил иронически:

— Плоды вашей дипломатики!

Баронесса, в свою очередь читая сладкое послание, изменялась беспрестанно в лице: то белела, как полотно, то краснела, как сукно алое. Но скоро оправившись от первого впечатления, она разодрала записку в мелкие лоскутки и произнесла с гордостию и твердо:

— Плоды вашей беспечности, вашей лени, господин генерал-вахтмейстер! Вы проспали мои заботы и надежды и ваше доброе имя. Дело важное, которое я хотела вам втайне передать, есть известие, сообщенное вам верным вашим шведом: может быть, слаще было

вам услышать это известие при свидетелях. Впрочем, величие души познается в трудных обстоятельствах. Кто не умеет поставить себя выше своего состояния, тот недостоин быть даже — женщиною! Амтман! — продолжала она, обратившись к своему управителю. — Поставь перед въездом в Гельмет виселицу и прибей к ней вывеску с надписью крупными буквами: *«Главная квартира Иогана Рейнгольда Паткуля»*. Через час приди получить от меня новые приказания. Если достанется когда Гельмет московитам, то он достанется им дорого: пусть помнят они, что госпожа его — лифляндка Зегевольд. Народу позволь веселиться, сколько хочет: завтра мы употребим его в дело.

С последним словом она важно поклонилась обществу и тихими, твердыми шагами выступила в другие комнаты.

— Кто дал тебе эту бумажку? — спросил генерал рыжего мальчика, трясясь от гнева.

Огненный низко поклонился, почесал себе голову, утер нос рукавом кафтана и сказал, протяжно выговаривая слова:

— Какой-то господин с большим носом, будто клевал все черешню. Он садился у ворот на лошадку, ну вот, ведашь, на вороненькую, белоножку, с господской конюшни, что грива такая большая, как у тебя на голове.

— Говори дело, дурак!

— Вот уж и дурак! Хе-хе-хе... тлли... Красный нос сидел браво на лошадке, как деревянный солдат, дал мне грамотку и сказал: отнеси, умница, эту грамотку маленькому дурному офицеру, которого хуже нет, в больших сапогах и в больших рукавицах, и попроси с него за работу.

— Подожди, я дам!.. потом?

— Потом я все искал маленького дурного офицера в больших сапогах и в больших рукавицах, нашел тебя... тлли... Господин пригожий, пожалуй за работу.

— Из ада, что ли, ты, бесенок, вынырнул ныне с другими бесами? — закричал генерал, топая маленькими ногами в больших сапогах. — В которую сторону поехал Красный нос?

— Я... не виноват, господин хороший... я вот сейчас тебе скажу. Кажется, как бы тебе не солгать... да, он поскакал прямо на Оверлак, ну, туда, где живет офицер, что уморил было барышню... тлли... — Тут

мальчик, играя шпагою стоявшего возле него офицера, запел жалобно:

Горько, горько пела пташечка,
Сизобокая синичка...

Шлиппенбах отдал приказания пуститься в погоню за Красным носом (настоящего имени его он не открывал) и собрал около себя военный совет; между тем Мартышка продолжал распевать:

Ты сходи, послышь, сестрица,
Что за песенку поет
Сизобокая синица.
Ах! поет синичка песню:
Братец, тебе на войну!

— Братец, тебе на войну! — повторил он, прихлипывая и кивая генералу; как вьюн, проскользнул между слушателями своими и скрылся; только на дворе слышно было еще, как он распевал:

Курляндцы вялые ребята,
Все крадутся ползком в кустах.
Лифляндцы молодцы стрелять;
Подстрелили раз курляндца,
За ворону принимая.
Ха-ха-ха! ха-ха-ха!

В военном совете, после многих разногласий, едва было решено собрать шведские войска при Гуммельсгофе и дать там отпор набегу русских, когда к гельметскому двору прискакал шведский офицер, так сказать, на шпорах и шпаге, ибо измученное животное, в котором он еще возбуждал ими жизнь, пало, лишь только он успел слезть с него. Случай этот принят был за худое предвестие для шведов. Гонец подтвердил слова Вольдемара.

Надо было видеть суматоху, произведенную между гостями, слугами их и жителями Гельмета известием о приближении русских.

— Лошадь такого-то! Карету такого-то! одноколку! колымагу! — кричали все в разные голоса.

Кучера толкали друг друга, второпях брались за чужих лошадей; лошади были расседланы, подпруги и уздечки порваны у иных, у других постромки экипажей подрезаны, сбруя разбросана и перемешана. Госпожи ахали, метались в разные стороны, плакали, ло-

мали себе руки (падать в обморок было некогда); господа сами бегали в конюшни и по задним дворам, чтобы помочь служителям оседлать лошадей, выгородить экипажи и сделать разные низкие работы, за которые, в другое время, не взяли бы тысячей.

Медик Блументрост, до этого времени тщательно отдалявшийся от знакомства с мариенбургским пастором, предложил ему теперь свой экипаж, который, по стечению благоприятных обстоятельств, стоял у самой террасы во всей готовности. За неимением лучшего способа перенестись в Мариенбург предложение медика, этого соседа *Долины мертвецов*, было принято с удовольствием. Луиза и Катерина Рабе, прощаясь, плакали, как дети.

— Кто знает, — говорили они, — когда мы увидимся?.. Может быть, никогда!

Пастор поставил уже ногу на подножку экипажа, чтобы сесть в него; но, подумав, что баронесса чертит, может быть, план защищения Гельмета, приложил палец ко лбу, спустил ногу и воротился назад, чтобы подать дипломатке свои советы. Но так как она не приняла его и приказала ему сказать, что умеет обойтись без советников, то Глик решился отомстить ей немедленным отъездом.

Наконец Гельмет опустел, и представителями великого праздника, которым хотели удивить всю Лифляндию, остались одни пьяные латыши.

— Госпожа позволила нам веселиться, — кричали они, — после того не боимся не только московитов, самого черта!

Куда девались Вольдемар и слепец? Преданный генерал-вахтмейстеру швед поскакал вслед за ним, а товарищ его нашел приют, как обещано было, в комнате Адама Бира.

До свидания в будущей части, друзья мои! Праздник баронессин меня так замучил, что я — насилу досказал.

*Конец второй части*

## Часть 3

*Глава первая*

### ИСПОВЕДЬ ДРУЖБЫ

И страшен день, и ночь страшна,
И тени гробовые;
Он всюду слышит грозный вой;
И в час глубокой ночи
Бежит одра его покой,
И сон забыли очи.

*Жуковский*

Мы оставили русских на марше от пепелища розенгофского форпоста к Сагницу. Немой, как мы сказали, служил им вожатым. Горы, по которым они шли, были так высоки, что лошади, с тяжестями взбираясь на них (употреблю простонародное сравнение), вытягивались, как прут, а спалзывая с них, едва не свертывались в клубок. Вековые анценские леса пробудились тысячами отголосков; обитавшие в них зверьки, испуганные необыкновенною тревогой, бежали, сами не зная куда, и попадали прямо в толпы солдат.

Немой, ведя русских, потому что приказано ему было вести их, горевал при мысли, зачем такое множество людей идет на убой себе подобных. Но когда передовой отряд, при котором он находился, ворвался в корчмы, одиноко стоявшие в анценском лесу и служившие шведам отводными караульнями; когда раздались в них вопли умиравших или просивших пощады, он плакал, стонал, бросался в ноги к русским начальникам, обнимал их колена и разными красноречивыми движениями молил о жизни для несчастных или грозил, в противном случае, бежать и оставить войско без проводника. Ему возражали, что его самого убьют за побег, а он — обнажал грудь свою. Таким трогательным и смелым посредничеством спасена жизнь нескольким шведским солдатам, застигнутым ночью в корчмах. Редкие из них успели выпрыгнуть из окон и разбежаться по лесам. Страх придал легкости ногам их и предупредил русских в Сагнице.

Надо сказать, что эта мыза облокачивается к западу

об гору, довольно далеко протягивающуюся, к северо-востоку смотрит на ровные поля, а к полдню обогнута болотом, на коем ржавела еще в недавнее время осадка потопных вод. Ныне, когда человек неутомимо допытывает все стихии на свою службу, он выжал эти воды, отвел им пути, да не выйдут из них, и в первобытном, холодном их ложе добывает огонь для своих очагов и новые источники богатства. Пирамиды и квадраты земляного угля веселят взоры там, где, бывало, самое легкое животное не смело поставить ноги своей. В то время, которое описываю, была устроена по болоту узкая, бревенчатая гать, такая удобная и покойная, что езду по ней можно было сравнить разве с речью заики. По этой-то дороге утром шестнадцатого июля в беспорядке тянулся к Платору отряд шведский, испуганный вестью о приближении нечаянных гостей. Отважиться на бой неравный нельзя было и думать. Начальник отряда решился, в ожидании известий от Шлиппенбаха, перебраться в добром здоровье за Платор, разрушить там переправу, потом разрубить мост на Эмбахе и тем задержать, хотя на несколько часов, ужасную лаву, втекающую с такою быстротой в Лифляндию. Но едва успел он вывесть на гать огромнейший обоз с тяжестями, как показались у сагницкой кирки шапки татарские. Чтобы спасти отряд от поражения, оставалось бросить обоз и тем заградить неприятелю единственную за собою дорогу. Так и сделано.

Русский военачальник, не видя возможности немедленно начать боевой переговор с неприятелем и желая дать отдых войску, утомленному трудным походом, и приготовить его к решительному сражению, развернул многочисленные силы свои по пространству поля, как искусный игрок колоду карт по зеленому столу. Между тем выслал значительные отряды, чтобы занять мызу, осмотреть около нее все мышьи норки, очистить дорогу через болото и тем установить сообщение с неприятелем.

Крики торжества раздавались при расхищении обоза и мызы. Они отдались в стане, и тогда ничто не могло удержать войска, в нем оставшегося. Как при виде жертвы срываются гончие псы со свор своих, так понеслись на добычу тысячи разнородные и еще худо знакомые с дисциплиною. В несколько минут весь обоз разбит; а там, где стояла богатая мыза, возвышались одни безобразные трубы, как на пожарище, хотя она и не горела. Зато многие, перебивая друг у друга лучшие кусочки, иные из вещи ничтожной, сталкивали и увлекали друг

друга с тесной гати в трясину, где усилия вырваться из нее еще более в нее погружали. Добычник и добыча, нападавший и защищавшийся равно погибали. Вид торчащих из болота рук, ног и голов, ужас и безобразие смерти на лицах утопленников, самая жизнь, беснующаяся в исступлении страстей, вопли радости, ругательства борющихся, хохот победы — все соединилось, чтобы составить из этого грабежа адский пир. С трудом могли высшие начальники унять его, тем более что некоторые офицеры сами подали пример беспорядка. Из числа попавшихся в трясину немногие вытащены из нее христианским состраданием товарищей.

День прошел в отдохновении. В стане молились, пировали, пели песни, меняли и продавали добычу. Офицеры разбирали по рукам пленников и пленниц, назначали их в подарок родственникам и друзьям, в России находившимся, или тут же передавали, подобно ходячей монете, однокорытникам, для которых не было ничего заветного.

К вечеру прибыл в стан и Паткуль без носа, разумею, красного, и без горба, разбросанных им по дороге, но, в замену, с планом гуммельсгофских окрестностей и с новыми средствами для мщения. С ним прибыло лицо новое для русских — верный служитель Фриц, а вслед за тем прикатила на своей тележке маркитантша Ильза. Она отлучалась на целые сутки из войска Шереметева для развоза вестей, которые нужно было Паткулю распустить по Лифляндии. Многих в это время заставила она горевать по себе.

Нынешний день она не в обыкновенном своем духе; она грустна и не может скрыть своей грусти. Ее не утешают подарки, отделенные для нее из военных трофеев. Ринген и месть одни в сердце ее. Она льет вино через край мерки, забывает брать деньги, ей следующие, или требует уж заплаченных, отвечает несвязно на вопросы, часто вздрагивает, говорит сама с собою вслух непонятные речи и без причины хохочет. Только Мурзенке старается она особенно угодить: ухаживает за ним, как нежная дочь; готова отдать ему даром все, что имеет на своей походной тележке, — и немудрено: Мурзенко, наверно, будет первый в Рингене.

Ночь на семнадцатое — последняя для многих в русском и шведском войсках. Как тяжелый свинец, пали на грудь иных смутные видения; другие спали крепко и сладко за несколько часов до борьбы с вечным сном. Ум,

страсти, честь, страх царского гнева, надежда на милости государевы и, по временам, любовь к отечеству работали в душе вождей.

Было гораздо за полночь. Петухи, уцелевшие на развалинах Сагница, уже в третий раз перекликались с ночными стражами в стане русском. В шатре полковника Семена Ивановича Кропотова светился огонек. Грустный, измученный душевными страданиями и бессонницею, он сидел, согнувшись, на соломенном ложе. Черный пышный парик был снят с головы, и на обнаженной голове ветер, врывавшийся по временам в палатку, шевелил два серебряные локона, как иссохшие былия на могильном черепе. Перед ним на коленах лежала доска с листом бумаги (недавним указом запрещено было употреблять столпцы): это было духовное завещание. На краю его дописывал он последние строки. Крупные капли слез падали из помутившихся глаз его. Нередко прерываемый в своем занятии ветерком, силившимся потушить огарок, освещавший его труд, он охранял дрожащею рукою огонек. Кончив свой труд, долго, очень долго смотрел он с какою-то заботливостью на Полуектова, спавшего крепким сном в одной с ним палатке. Вдруг последний, вздрогнув, приподнялся с ложа своего, осмотрелся кругом и спросил товарища, он ли его спрашивал и что ему надобно.

— Сердце мое спрашивало тебя, — отвечал Кропотов, творя крестное знамение, — но голоса я не давал.

— Странно! — сказал Полуектов, тоже крестясь. — Меня кто-то во сне толкнул под бок тихонько, в другой раз шибче, в третий еще сильнее, у самого сердца, и проговорил довольно внятно: «Встань... друга режут шведы... поспеши к нему на помощь. Слышишь? Он зовет тебя». Но какой ты бледный, Семен Иванович! Опять-таки всю ночь не спал и опять что-то писал?

— Наверно, голос, тебя звавший, был голос моего ангела-хранителя. Да, сон твой не лжив; режут меня, только не шведы — собственные мои грехи. Помоги. Время для меня дорого. Скоро забелеет утро, может статься, последнее в жизни моей... и нашей беседе могут помешать.

— Что затеял ты нового, безрассудный? Мученик своих черных дум, ты везде видишь смерть или беды. Чего доброго! накличешь их.

— И та и другие идут без зова, Никита Иванович! Дни наши в руце божией: ни одной иоты не прибавим к

ним, когда они сочтены. Верь, и моему земному житию предел близок: сердце вещун, не обманщик. Лучше умереть, чем замирать всечасно. Вчера я исповедовался отцу духовному и сподобился причаститься святых тайн; ныне, если благословит господь, исполню еще этот долг христианский. Теперь хочу открыть тебе душу свою. Ты меня давно знаешь, друг, но знаешь ли, какой тяжкий грех лежит на ней?

Полуектов молчал.

— Нет, никакими страданиями, никакими молитвами не искуплю своего преступления! Как тяжелый камень, лежит оно на сердце моем, давит мне грудь, не дает на миг вздохнуть свободно.

— Искупитель простил и разбойника, а ты...

— Хуже его! Ведай, я погубил свое родное детище.

— Не может статься, Семен Иванович! Ты не в уме своем; ты клеплешь на себя напраслину.

— Нет, друг, воистину говорю тебе, как духовнику своему: я погубил свое детище, и за это наказал меня бог. Из многочисленного семейства не осталось у меня никого на утешение в старости и по смерти на помин души.

Он вынул письмо из кожаной сумочки, висевшей у него на груди вместе с крестом, дрожащими руками подал письмо Полуектову и произнес могильным голосом:

— Этот подарок пришел ко мне третьего дня вечером от старушки жены из Москвы; прочти и суди, мог ли я вчера утром быть половинщиком в вашем веселии?

Полуектов читал послание с каким-то внутренним судорожным чувством; видно было, что он снедал грусть свою.

— Последнего! — произнес Кропотов голосом отчаянной скорби. — Хоть бы одного господь оставил — не мне — престарелой матери опорою и кормильцем. Но... прости мне, боже мой! мне ль роптать на тебя, неизреченное милосердие? Ты наказываешь меня.

— Последнего! — повторил Полуектов, качая головой; слезы заструились по щекам его. — И мой пригожий, разумный крестничек. Сеня!.. А мы ждали уже его на смену отцу!

— Он служит теперь царю небесному.

— Велико твое испытание, господи! Наслал ты тяжкие раны на сердце моего доброго Кропотова.

— Ведомо тебе, что двух еще прежде взял он сам. Тот, кому владыки земные противиться не могут. Но ты

не знаешь: у меня был четвертый — и того я сам погубил. Я... продал его! Ты смотришь на меня с удивлением и ужасом, ты не веришь, чтобы христианин мог продать свое родное детище? Но это было так!.. Перед тобой торгаш своими кровными — этот ваш вчерашний верный слуга царский, добрый, нежный отец, православный христианин! Ты все глядишь на меня и сомневаешься, как могла земля до сего времени носить такое чудовище? Да, меня носила она, как мать мертвого, гнилого младенца во чреве, пока ей не пришло время разрешиться от мерзостного бремени. За сколько, думаешь, продал я его?.. Нет, не скажу, не смею сказать; ты на бумаге (он указал на лист) лучше все увидишь. О! эти таланты пришли мне дорого, как Иуде-предателю! А ведаешь ли, кому я продал свое детище? — Коварной Софии Алексеевне! От нее перешел он к отступнику православной веры князю Мышитскому, а от него — прямо к палачу. Как они все пестовали его, как лелеяли!

— Успокойся, друг! Ты с горя мешаешься в уме.

— Нет, я в полном уме, я говорю тебе правду. Знавал ли ты последнего Новика?

— Мало, но знавал.

— Кто он такой был?

Полуектов молчал.

— А! этого и ты не знаешь? Последний Новик, воспитанный царевною Софиею, умерший на плахе, — сын мой.

— Я это слыхал, но не верил...

— Знаю, не ты один слышал и не верил! Такого чудовища на Руси, как я, не было и не будет. Диво ли, что веру не имели к этим слухам? Так знай же: последний Новик был сын, законный сын русского боярина, Семена, Иванова по отце, Кропотова.

Вдруг мутные глаза Кропотова неподвижно уставились против входа в палатку.

— Видишь,— вскрикнул он:— голова моего несчастного сына и теперь висит на перекладине; видишь, как с нее каплет кровь преступника!..

Трясясь, закрыл он глаза руками и упал на солому.

*Ординанц* [1] вошел в это время в палатку и доложил Полуектову, что его требует к себе фельдмаршал. Получив ответ, он вышел.

---

[1] Ординарец, вестовой.

— Горе помутило твой разум, — сказал Полуектов, поднимая своего товарища, — голова *ординанца* показалась тебе бог знает чем. Успокойся; отчаяние величайший из грехов. Кто ведает? может статься, обман... тайна...

— Обман! тайна!.. Какая тут тайна? Не воры же ночью их унесли. Господь, сам господь двух положил перед глазами матери их: мать не могла же ошибиться в своих детищах. Обман!.. Ге! что ты мне говоришь, Никита Иванович? Она сама обмывала их тела, укладывала в гробы, опускала в землю. Правда, четвертый был тайна для многих; но и того обезглавленный труп мать узнала и сама похоронила.

— Успокойся... хоть ради Христа-спасителя, пострадавшего за наши грехи.

Полуектов оделся.

— Я совсем одет и иду, — сказал он, — фельдмаршал требует меня к себе. Может статься, пошлют меня в передовые. Ты просил меня о чем-то?

При этих словах Кропотов очнулся; он посмотрел на друга с сожалением, будто хотел сказать: зачем шлют тебя? Потом взял бумагу, которую писал, сложил ее бережно, перекрестился и, отдавая ее Полуектову, примолвил:

— Возьми это духовное завещание, и если меня не станет, будь хоть ты моей старушке кормильцем и сыном, будь поминщик по душам нашим.

Полуектов взял бумагу, спрятал ее осторожно в боковой карман мундира, помолился перед медною иконою, висевшею в углу палатки, прижал друга к сердцу, еще крепко прижал его, и — оба заплакали. Семен Иванович надел епанчу и проводил друга за шатер.

Заря уже разыгрывалась по небосклону.

— Посмотри, — сказал Полуектов, — как хорош божий мир!

— Хорош таков, каким господь его создал, а не таков, каким сделали его грехи наши, — отвечал Кропотов, вздыхая.

Друзья обнялись еще раз и молча простились.

Полуектов отправился к фельдмаршалу и не возвращался более в шатер свой. Действительно был он назначен в авангард. Семен Иванович с каким-то предчувствием проводил его глазами по дороге в Платор и послал за своим духовником.

Через полчаса по всей армии затрубили побудок; ба-

рабанный бой перекатился по всем линиям — и пятидесятитысячное русское войско, помолясь отцу всеобщему и вкусив насущного хлеба, тронулось и загремело по гати. Знамена развеялись, гобои, трубы, литавры и фаготы зазычали, и песни, без которых русский нейдет на веселье и на горе, на торжество и на смерть, раздались по полкам.

## *Глава вторая*
## БИТВА ПОД ГУММЕЛЬСГОФОМ

Кому-то пасть?..

*Пушкин*

Как прекрасно встало солнце семнадцатого июля! Будто после сна расправился этот небесный великан: первый луч его, как блестящий клинок меча, устлался по ровной, широкой лощине, простирающейся на несколько верст от Эмбаха до Гуммельсгофа, и осветил поставленные уступами шведские полки. Едва считается в них до четырнадцати тысяч. Переправу у Эмбаха охраняет небольшой отряд. Все они с душою бесстрашною готовы встретить неприятеля, в несколько раз сильнейшего числом. Дух их окрыляют имя воинов Карла, везде победителя, народная и личная честь, чувство преимущества выгодной позиции и воинского искусства, мщение за смерть братьев, зарезанных на розенгофском форпосте, и вид родных жилищ, откуда дети, отцы, жены просят не выдавать их мечу или плену татарскому.

Лощина к Гуммельсгофу кажется высохшим руслом широкой реки: по обеим ее сторонам, в прямом направлении от Эмбаха, тянутся возвышения, как берега. Правое возвышение круто, ощетинилось мрачным лесом и оканчивается холмами, на которых ель редко и нехотя растет; левое — отлого, усеяно небольшими, приятными рощами, оканчивается бором и примыкает к горе, довольно высокой и, как ладонь, обнаженной. На ней стоит полуразрушенная мельница. Природа и искусство сильно укрепили ее: орудия обглядывают с нее лощину и выжидают оттуда своих жертв. О нее должны опираться все силы шведские: это палладиум их чести и благоденствия. Потеря ее — есть потеря всего войска, гибель целой Лифляндии.

К подошве горы прислонилась мыза Гуммельсгоф. Все на ней спокойно: экономка выдает по-прежнему корм для кур; чухонец в углу двора беспечно долбит горбушку хлеба, начиненную маслом; по-прежнему дымок, вестник человеческих забот о жизни, вьется из труб. Ни одного солдата не видно на мызе.

Глубокая, тяжелая тишина царствует в рядах, как будто сам бог налег на них своим таинственным всемогуществом. Войско в томительном ожидании первого выстрела; и вот... он раздался за Эмбахом! Офицеры и рядовые невольно содрогнулись и сняли шляпы. В это время подъехал к ним Шлиппенбах. Он, кажется, переродился и вырос: в нем нельзя узнать маленького, крикливого хлопотуна и полухитреца баронессина праздника. Дух геройства говорит в его глазах, в речи и каждом движении.

— Дети! — восклицает он, обращаясь к войску. — Ваши товарищи начали победу; мы докончим ее. С кем имеем ныне дело? С татарами, калмыками и, пожалуй, с московитами, которые мало чем посмышленее их. Много их, говорят; эка беда! тем больше выроем яму для них в память будущим векам, чтобы незваные гости не совались в Лифляндию. Вспомните, как мы ощипали эту сволочь под Нарвою: тогда еще не было нам где развернуться, а теперь лихое раздолье штыку и палашу. Не забывать: по лощине каре и каре — стоять плотно, дружно, как эфес при клинке, как голова при теле. В рощах засели наши стрелки: по затылку выскочек пощелкают орешки. Драгуны-молодцы! хе-хе-хе! прошу вас, битого мяса из московитских быков!.. Знайте, на вас смотрит его величество Карл в слуховое окошко из Варшавы и просит вас потешить его геройское сердце. Да здравствует король!

Все отвечают генерал-вахтмейстеру радостным криком:

— Да здравствует король!

— Не худо бы, — сказал один полковник, — поставить отряд на пекгофской дороге для наблюдения за нею.

— Пустяки! Московиты ломят всегда прямо и не умеют пользоваться извилинами: я знаю их хорошо! — вскричал Шлиппенбах и, видя, что другой полковник хотел что-то представить ему, махнул с нетерпением рукой и поскакал вперед.

В свите генерал-вахтмейстера находится Вольдемар

из Выборга. Нынешний день он в шведском мундире, на коне и с оружием. Генерал, шутя, называет его своим *лейбшицом*[1]. Вольдемар усмехается на это приветствие, и в черных глазах его горит дикий пламень, как у волка на добычу в темную ночь.

Калмыки, башкирцы и казаки первые прискакали с ужасным криком на правый берег Эмбаха, обсеяли его и первые закусили смертную закуску, посланную им с левого берега. Толпы валятся, как муравьи, облитые кипятком. Несмотря на эту встречу, азиятские наездники бросаются с конями в реку, десятками гибнут в ней, румяня ее воды, и сотнями переплывают ее в разных местах. Здесь шведские стрелки встречают их и ссаживают метким свинцом и удалым штыком. Но бой, каков ни есть, уже завязался на левом берегу, и этого довольно, чтобы русским укрепиться на правом. Пушки их на нем расставлены; драгуны спешились и посылают шведам свои посылки на разрешение; знамена веют по воздуху; литаврщик в своей колясочке бьет переправу; плотники с топорами и кирками стоят на зубьях разрушенного моста; работа кипит под тучею пуль и картечи; перекладины утверждены; драгуны перебираются по этому смертному переходу, и — *пасс* Эмбаха завоеван. Честь этого подвига принадлежит Мурзенке и Полуектову. Несколько сотен казаков гарцуют уже позади шведского полка, оставленного на защиту пасса. Шведы, не в состоянии будучи противиться силам неприятеля, беспрестанно возрастающим, как головы гидры, и сделав уже свое дело, образуют каре и среди неприятеля, со всех сторон их окружающего, отступают медленно, как бы на ученье. Это движущаяся твердыня: усилия тысячей конных татар не могут поколебать ее. Полуектов остается на левом берегу, пока не наведен мост и не переправлены через него регулярная конница, артиллерия и тяжести его отряда. Но толпы башкирские, татарские и казацкие, ободренные отступлением неприятеля, преследуют его, вьются и жужжат около него своими стрелами и пулями, как рои оводов. Уже Гуммельсгоф в виду. Баталион останавливается, укрепляется на одном месте и на смертном расстоянии обдает огнем нестройные толпы. Вместе с этим выстрелом текут с обоих возвышений

[1] Телохранитель, оберегательный стрелок или денщик. — См. *Воинский Устав*.

эскадроны шведские и опутывают их со всех сторон. Куда ни обернутся всадники азиятские, везде грозит им погибель. Одно мужество казаков поддерживает еще сечу; но искусство шведов одолевает. Поражение ужасно. Все, что может избегнуть огня и меча шведского, спасается бегством. Полуектов со своим полком и несколькими орудиями спешит на помощь; за ним вслед и Кропотов; им навстречу толпы бегущих; свои сшиблись со своими, смяли их и внесли между них на плечах ужас и торжествующего неприятеля. Все связи между русскими разрушены; голоса начальников не слушаются, начальники сражаются, как рядовые; пушкари бросают свои пушки; знамена отданы, и там, где еще веют по воздуху два из них, защищают их лично со своими лейбшицами Кропотов и Полуектов. Ни один из них не бежит от верной смерти. Первый, кажется, ищет ее. Наконец, весь израненный, он обхватывает древко знамени и вместе с ним падает на землю, произнося имя друга, Новика и бога. Шведы дают знак Полуектову, чтобы он сдался в плен. — Не отдамся живой; не расстанусь с тобой, Семен Иванович! — восклицает он, отправляя на тот свет несколько переговорщиков о плене. Утомленный, истекая кровью, он спорит еще с двумя палашами и наконец, разрубленный ими, отдает жизнь богу.

Фельдмаршал устроивал тогда переправу в трех местах и, по вызову Паткуля, отряжал его в обход через мрачные леса Пекгофа (где через столетие должен был покоиться прах одного из великих соотечественников его и полководцев России [1]). Узнав о поражении своих, Шереметев посылает им в помощь конные полки фон Вердена и Боура. Они силятся несколько времени посчитаться с неприятелем; но видя, что мена невыгодна для них, со стыдом *ретируются.*

— Тут надобно бы горячего князя Вадбольского, — говорит фон Верден своему товарищу, завернувшись в епанчу и навостривая лыжи. Вадбольский легок на помине, где спрашивают его долг и честь. Он летит с полком навстречу торжествующему неприятелю. Мундир и камзол его нараспашку; на мохнатой груди его мотается серебряный крест. Он пышет от досады; слезы готовы брызнуть из глаз.

— Стой! — кричит он львиным голосом, поравняв-

---

[1] Барклая де Толли.

шись с отступающими полками. — Кто носит крест, стой, говорю вам! или я велю душить вас, как басурманов.

Полки фон Вердена и Боура, без команды своих начальников, останавливаются и оборачивают коней.

— С крестом и молитвою за мною, друзья! — прибавляет Вадбольский.

Все творят крестное знамение и, как будто оживленные благодатию, несутся за вождем, которому никто не имеет силы противиться. Вера сильна в душах простых. Неприятель сдержан, и вскоре бой восстановлен. Вадбольский творит чудеса и, как богатыри наших сказок, *«где махнет рукой, там вырубает улицу, где повернется с лошадью, там площадь»*. Конница неприятельская опозорена им; но то, что он выигрывает над нею, похищает у него славная пехота шведская. И ему не устоять, если не приспеет помощь!..

Три часа уже шведы победители.

В это самое время пронесся голос в рядах их:

— Назад! назад! главная армия московитская идет в обход от Пегкофа.

Какое-то привидение, высокое, страшное, окровавленное до ног, с распущенными по плечам черными космами, на которых запеклась кровь, пронеслось тогда ж по рядам на вороной лошади и вдруг исчезло. Ужасное видение! Слова его передаются от одного другому, вспоминают, что говорил полковник генерал-вахтмейстеру об охранении пекгофской дороги — и страх, будто с неба насланный, растя, ходит по полкам. Конница шведская колеблется.

— Назад! — раздаются в ней сотни голосов.

— Вперед, братцы!— кричит Вадбольский.— За нас господь с его небесными силами.

Дюмон, очутившись подле него, меняется с ним дружеским взглядом. Удары палаша русского учащены. Конница шведская показывает тыл и обращена в совершенное бегство. Тщетно стараются оба Траутфеттера [1] ободрить их: слова не действуют. Нескольким солдатам, оставшимся около них и сохранившим еще присутствие духа, приказывают они стрелять по бегущим: ничто не может остановить бегства. Окровавленное привидение будто все еще гонит криком: «Назад!» Сами офицеры

[1] По истории, это сделал храбрый лейтенант Цеге.

собственными лошадьми увлечены за общим постыдным стремлением. Между тем завязался бой у пехоты шведской с тремя русскими пехотными полками, приспевшими на место сражения. Ими предводительствуют Лима, Айгустов и фон Шведен. Лима указывает солдатам на Кропотова и Полуектова, истоптанных лошадиными копытами.

— Врагам не ругаться долее телами наших полковников! — кричит пехота русская и творит чудеса храбрости. Пехота шведская берет над ней верх искусством. Лима убит; Айгустов тяжело ранен. Но сила русская растет и растет, как морские воды, в прилив идущие. Действиями ее управляет уже сам фельдмаршал.

Вадбольский близко гуммельсгофской горы. Преследование неприятеля поручает он Дюмону; сам с остатками своего полка спешивается. Жерла двадцати пушек уставлены на его отряд и сыплют на него смерть. Вадбольский невредим.

— Дети! — восклицает он своим. — Видите знамена на этой содомской горе? Они наши родные; на них лики святых заступников наших у престола божия; им молились наши старики, дети, жены, отпущая нас в поход. Попустим ли псам ругаться над ними? Умрем под святыми хоругвями или вырвем их из поганых рук, вынесем на святую Русь и поставим вместо свечи во храме божием.

Солдаты отвечают ему:

— Не владеть басурманам нашими угодниками. Укажи нам только, батюшка князь Василий Алексеевич, куда идти.

— За мной, дети, со крестом и молитвою! — кричит Вадбольский и вносит остатки своего полка на середину горы.

На ней, у разрушенной мельницы, стоит Шлиппенбах, мрачный и грустный; он сам управляет артиллериею: этою последнею нитью, на которой еще держится судьба сражения. В защиту горы осталась рота, не бывшая в деле; вся масса шведского войска в бою или в бегстве. Близ него Вольдемар. Перемена успехов сражающихся отливается на лице последнего: то губы его мертвеют, холодный пот выступает на лбу его и он, кажется, коченеет, то щеки его пышут огнем, радость блестит в глазах и жизнь говорит в каждом члене. Град пуль и картечи и вслед за тем холодное оружие встречают Вад-

больского, ряды его редеют; он невредим. Голос его все еще раздается, как труба звончатая.

— Я поклялся Кропотову похоронить его здесь. Здесь, на этом месте, будет его могила и моя, если меня убьют. Так ли, друзья?

— Пускай всех нас положат с тобою, батюшка! а что наше, того не отдадим живые, — кричат солдаты.

В жару схватки рукопашной он один отшатнулся от своих; лейбшицы его убиты или переранены. Трое шведов, один за другим, нападают на него. Могучим ударом валит он одного, как сноп, другому зарубает вечную память на челе; но от третьего едва ли может оборониться. Пот падает с лица его градом; мохнатая грудь орошена им так, что тяжелый крест липнет к ней.

— Дети! — восклицает он с усилием. — Кто любит свою родную землю, тот подаст мне святое знамя, хоть умереть при нем.

Слова его долетают до Вольдемара; он оглядывается на знамена русские, дрожит от исступления; с жадностью выхватывает из ножен свой палаш и смотрит на него, как бы хочет увериться, что он в его руках. Глаза его накипели кровью. Шлиппенбах, пораженный дикими, исступленными взорами, отодвигается назад; но Вольдемару не до него. Он спрыгивает с лошади, бросает ее, исторгает из земли первое русское знамя, не охраняемое никем (даже шведские артиллеристы с банниками принимают участие в рукопашном бое), и в несколько мгновений ока переносится близ сражающихся. В то самое время Вадбольский падает от изнеможения сил. Могучая рука шведа уже на него занесена. Рука Вольдемара предупредила ее: швед падает мертвый. Русское знамя водружено в землю и развевается над князем Василием Алексеевичем.

— Друзья, братья мои! — восклицает Вольдемар. — Со мною! Еще один удар, и все *наше*!

В голосе его, во взоре, в движениях нельзя ошибиться: во всем отзывается его родина.

— Он русский! он наш! — говорит Вадбольский ослабевшим голосом, силясь приподняться с земли; смотрит на знамя со слезами радости, становится на колена и молится. В этот самый миг прибегает несколько русских солдат. Еще не успел Вадбольский их остеречь, как один из них, видя шведа с русским знаменем и не видя ничего более, наотмах ударяет Вольдемара прикладом в затылок. Вольдемар падает; солдат хочет довершить

штыком. Вадбольский заслоняет собою своего спасителя.

— Дети мои! Наш он, наш, говорю вам! Что вы сделали! — кричит князь и, заметив, что в несчастном остались признаки жизни, ищет, чем возбудить ее.

Миг этот — миг решительной победы русского войска. На гору входит Карпов с преображенцами; бегут последние защитники ее; по лощине бегут главные силы шведские, поражаемые Шереметевым. С холмов противного возвышения, со стороны Пекгофа, Паткуль встречает их, сечет, загоняет в леса, втаптывает в болота и преследует до самого Гельмета. Шлиппенбах, видя уничтожение своего корпуса, поверяет свое личное спасение лошади своей и первой попавшейся ему тропинке. Распоряжать уже нечем: пушки, знамена, обозы — все покинуто в добычу его. Крики торжества русских раздаются на высоте у разрушенной мельницы и в долине.

Грустный Вадбольский стоял над бесчувственным Вольдемаром, в кругу офицеров и солдат; с нежностию отца старался он оказать ему возможную помощь, развязал галстух, расстегнул его камзол. При этом движении открылась у Вольдемара грудь, и литый из червонного золота складень ярко блеснул пред глазами изумленных зрителей. На главной доске складня изображены были великомученица София с дочерьми своими, а на другой стороне святой благоверный князь Владимир. Вадбольский спешил задернуть ворот рубашки, застегнуть камзол на таинственном незнакомце и тем закрыть богатый залог любви и веры от любопытных глаз толпы. Вольдемар наконец пришел в себя. Ударом приклада отшиблена у него была память. Когда он оправился и стал различать предметы, немало встревожился, увидев себя в кругу русских! Каким образом попался к ним, не мог себе растолковать. Наконец мало-помалу начал припоминать себе происшествия настоящего дня. Привстав с земли, робко осязал он руку то у того, то у другого из окружавших его и, потупив взоры в землю, дрожал, как преступник, пойманный на месте преступления. Его ободряли, ласкали, спрашивали с нежным участием, кто он такой, откуда родом, зачем в войске шведском. От этих вопросов, от привета и ласки простых сердец хотел бы он бежать, хотел бы уйти в землю...

— Братцы! я русский... — едва мог он произнести, скидая с себя шведский мундир и бросая его под ноги. — Ради бога не спрашивайте меня более.

Вадбольский спешит его обнять.

— Ты спас меня от смерти: чем тебя возблагодарить? — говорит он ему.

— Вспомнить об этом при случае, — отвечает Вольдемар.

Его хотят вести в торжестве к фельдмаршалу. Он отговаривается, просит именем господа отпустить его и наконец объявляет им, что не может явиться к Шереметеву — он злодей!

— Это мой братец, ребятушки! — закричал кто-то в толпе, и вдруг перед изумленными русскими воинами явилась высокая женщина, окровавленная, с распущенными на плечах черными волосами.

— С нами крестная сила! — переговаривались солдаты, крестясь.

— Не бойтесь! это сестра Ильза, — прибавляли другие. — Да тебя узнать нельзя!

— Моя также ныне дралась за русской. Не забудь Ильзы, когда ее не будет, — сказала она печально.

— Мы помолимся за тебя, добрая сестрица! — раздалось несколько голосов дружно и с чувством.

— Молиться! да, много молиться! — присовокупила она со вздохом, качая головой; но вдруг, взглянув на Вольдемара, грозно вскричала: — Отдай мне братца! — и, не дожидаясь ответа, раздвинула толпу — и увлекла его за собою в ближайшую рощу.

Долго, задумавшись, следовал за ними Вадбольский глазами; припоминал себе таинственного провожатого к Розенгофу, таинственного певца, спасителя Лимы и русского войска под Эррастфером; соображал все это в уме своем, хотел думать, что это один и тот же человек и что этот необыкновенный человек, хотя злодей, как называл себя, достоин лучшего сотоварищества, нежели Ильзино.

— Злодей? злодей? — твердил про себя добрый Вадбольский. — А не любить его не могу. Кабы он был в такой передряге, как я ныне, ей-ей, вырвал бы его из беды, хотя бы мне стоило жизни.

Солдаты переговаривали также промеж себя:

— Хорошо, братцы, что мы его скоро отпустили. Пожалуй, разом налетел бы какой мастер: цап-царап под военный артикул да и к ручке Томилы. Не посмотрят, что отнял русское знамя у шведа и спас нашего князя. Ау, братцы!

Ударили сбор; полки построились в лощине у самой мызы. «Фельдмаршал, проезжая их, изъявлял офицерам и рядовым благодарность за их усердие и храбрость, обнадеживал всех милостию и наградою царского величества; тела же храбрых полковников, убитых в сражении: Никиты Ивановича Полуектова, Семена Ивановича Кропотова и Юрья Степановича Лимы, также офицеров и рядовых, велел в присутствии своем предать с достойною честию погребению» [1].

В боковом кармане мундира у Полуектова нашли завещание: оно было отнесено к фельдмаршалу, а этот передал его князю Вадбольскому, как человеку, ближайшему к покойному завещателю. Когда тайна Кропотова была прочтена, князь сильно упрекал себя, что накануне так бесчеловечно смеялся над его предчувствиями. Трудно было исторгнуть слезы у Вадбольского, но теперь, прощаясь с товарищем последним целованием, он горько зарыдал.

Тела трех храбрых полковников, убитых в гуммельсгофском сражении, преданы земле на том самом месте, которое завоевал для них герой этого дня. Оно тогда ж обделано дерном; на нем поставлены камень и крест. И доныне, посреди гуммельсгофской горы, зеленеет холм, скрывающий благородный прах; но камня и креста давно уже нет на нем.

## *Глава третья*
## ТОТ ЖЕ ПОЛДЕНЬ В ДРУГОМ ВИДЕ

...И слабостьми людскими
Не надобно пренебрегать:
Во время, в пору нужно знать
Лишь пользоваться ими.

*Аноним*

Неподалеку от Гельмета, за изгибом ручья Тарваста, в уклоне берега его, лицом к полдню, врыта была закопченная хижина. Будто крот из норы своей, выглядывала она из-под дерна, служившего ей крышею. Ветки дерев, вкравшись корнями в ее щели, уконопатили ее со всех сторон. Трубы в ней не было; выходом же дыму служили дверь и узкое окно. Большой камень лежал у хижины

[1] Подлинные слова из *Дополн. к Деян. Петра I.* Кн. 6, стр. 13.

вместо скамейки. Вблизи ее сочился родник и спалзывал между камешков в ручей Тарваст.

С незапамятных времен хижина эта была родовым имением нищеты, передававшей ее в наследство нищете без судов, без актов и пошлин. Ныне принадлежала она бабке Ганне, как звали ее в округе по ремеслу ее; не одна сотня людей вошла в мир через ее руки. Но как в мире этом все подлежит забвению, еще более человек, в котором перестали иметь нужду, то и Ганне, прежде жившая в достатке и всеми уважаемая, ныне хилая, была забыта и кое-как перебивалась подаянием. В обладании ее дворцом был половинщиком мальчик, внук ее. Чтобы скорее ознакомить читателя с этими лицами, скажем, что Ганне была одна из старух, которые в роковой для Густава вечер поджидали своего посланного у вяза с тремя соснами, внук был рыжеволосый Мартышка.

На дворе чуть брезжилось, а в хижине слышался уже говор. Дверь, растворенная настежь от духоты, пропускала в нее слабый свет занимавшегося утра. В углу, на кровати из нескольких досок, положенных на четырех камнях и пересыпанных излежавшеюся соломой, сидела хозяйка. Безобразие старости выказывалось на ней теперь сильнее, потому что шея, сморщенная, как подбородок индейского петуха, была открыта. В другом углу, на соломе, постланной просто на земле, возился Мартышка: то ложился он, то вставал опять, то, сидя, дремал. Глаза его были мутны от бессонницы; на лице изображалось беспокойство. Старуха, заправляя под платок хлопки седых волос, бормотала сквозь зубы утреннюю молитву и между тем бросала сердитые взгляды на товарища.

— Аль ты меня съесть хочешь? — сказал злой мальчик, передразнивая ее.

— Авита Иуммаль! (Господи помилуй!) — проворчала старуха. — Нелегкое держало тебя ныне в замке; целую ночь напролет шатался.

— Чтобы тебе самой нелегким поперхнуться! Разве ты не знаешь, что московиты и татары будут ныне сюда?

— Татары! Московиты!.. А нам какая до них забота? Чай, и им до нас дела не будет. Придут да уйдут, как льдины в полую воду. В избушке нашей не поживятся и выеденным яйцом.

Злая насмешка выползла из сердца Мартына и блеснула в глазах его.

— Сказывают, — перебил он с коварною улыб-

кой, — что московиты, лакомые до красоток, увозят их с собою на свою сторону: берегись и ты, любушка! хе-хе-хе!

— Эх, Мартын! грех тебе ругаться над старостью: господь не даст тебе долгого века. Пришибет, уж пришибет тебя за то, что моришь меня с голоду по целым суткам. (Старуха постучала сухим кулаком по доске своей кровати.) Смотри, чтобы твоих голубушек в кубышке не отыскали! Перекладывай с места на место, а врагу достанутся. (Мальчик задумался.) Сама не возьму, не притронусь, а укажу, укажу... чтоб убил меня дедушка Перкун [1], коли я лгу!..

У мальчика глаза разгорелись и запрыгали. Он вскочил с земли, схватил лежавший подле него булыжник и, подняв руку на старуху, закричал:

— Попытайся, попытайся-ка; тут тебе и дух вон!

— Что ты делаешь, проклятое семя? — вскричала женщина, вошедшая в избу так тихо, как тень вечерняя. Взглянув на пришедшую, мальчик обомлел и выпустил камень из рук.

— Ты это, Елисавета Трейман? — спросила старушка с радостным лицом. — Голос-ат твой слышу, а глазами плохо тебя смекаю.

— Я, бабка Ганне! — отвечала Ильза, поцеловав старушку в лоб, села возле нее на кровать, развязала котомку, бывшую у ней за плечами, и вынула кадушечку с маслом, мягкий ржаной хлеб и бутылку с водкой. — Вот тебе и гостинец, отвесть душку.

Старушка дрожащими иссохшими руками схватилась за подарки, не зная, за который прежде приняться; потом бросилась было целовать руку у маркитантши.

— Ну, что нового, бабка Ганне? — продолжала Ильза, отняв у ней руку.

— Нового, нового, мать моя? Дай, господи, мне память! — сказала голодная старуха, вынув с трудом из стены заржавленный нож и подав его маркитантше, чтобы она отрезала ей хлеба. — Да, у скотника в Пебо отелилась корова бычком о двух головах.

— Э, бабка, это случилось в запрошлом лете.

---

[1] Перкун — славянский бог Перун, которого и теперь латыши нередко поминают. «Дедушка Перкун сердится, Перкун стучит», — говорят они, слыша гром.

— А мне, кажись, в прошлом месяце. Ахти, мать моя, как времечко-то летит! Постой же, вот тебе новинка горяченькая. Знаешь девку Лельку, что на краю деревни живет?

— Знаю, ну что ж?

Прислонившись к уху гостьи, старушка шепотом проговорила:

— К ней летает по ночам огненный змей...

Ильза махнула рукой в знак нетерпения и обратилась к мальчику, все еще неподвижно стоявшему на одном месте, как будто пригвожден к нему был суровым взором матери.

— К тебе, сынок баронский, чай, вести ползут свыше? Что слышно в ваших краях?

Приосанясь, отвечал Мартын:

— По крепкому наказу твоему подбирать все, что простачки роняют, я наполнил со вчерашнего дня мешочек вестей. Придумай сама, на что они тебе годятся.

— Развязывай, малый, да смотри, ни одной нечистой порошинки!

— Вот видишь: вчера, когда бароны с кучерами высвободили своих лошадей из путов, в которые мы, с дядею Фрицем, их загнали; когда двуногие гости баронессины ускакали на четвероногих, поднялась в замке пыль столбом. Выкопали из кладовых заржавленные пушки, вычистили их песочком, расставили в развалинах, против господского дома, против дороги в Гуммель, роздали дворовым и крестьянам ружья, пистолеты, кинжалы, большие, большие шпаги, которые только двум с трудом поднять. Баронесса говорила им, бог весть что, о короле, о любви к отечеству, о преданности к господскому дому; а новобранные, вместо всего этого, требовали вина. Правду сказать, многие сделали побоище прежде настоящего сражения, так что вынуждены были отобрать у них оружия и с трудом могли унять их воинский жар. Воротились в Гельмет многие студенты и дворяне, как будто для того, чтобы опорожнить недопитую бутылку, и вызвались защищать его, пока голова будет держаться на плечах. С вечера расставили часовых по всем дорогам: теперь и мышонку не пробежать в замок. Слышишь, как мяучат они, словно черт их давит? Давай-ка, думал я, обманем этих драбантов, как обманул Красный нос маленького шведского генерала, которому и от меня досталась порядочная закуска; посмотрим, что делается в крепости. Близко к часу духов, крики становились ре-

же. Пополз я на брюхе оврагом, кустами, через лазейку под ограду и очутился в синели, у амтманова окошка. Ни одна бешеная собака меня не приметила. Вижу, окно раскрыто и огонек светит. Слышу и голос амтмана. «Благодарю, — сказал он, — за гостинец: только напрасно, право напрасно убытчились. Вперед, смотрите, этого не делайте». А я себе на ус: где заказывают да принимают, там примут и в другой раз.

— Полно орехи щелкать; рассказывай дело, — сказала сердито Ильза.

Мартын, заметя, что шуточками не угодить матери, продолжал просто:

— «Вот видите, — говорил амтман, — таких добрых госпож, как наша баронесса, под землею искать надо. Она прощает вам вашу глупость, принимает вас к себе в верховые, по-прежнему, и позволяет малому жениться на твоей дочери, лишь бы вы ей сослужили теперь службу». Потом стал он говорить что-то шепотом, так что мне расслушать нельзя было. «Ради за нее голову положить!» — отвечали два голоса. Голоса были знакомые, а чьи — вдруг разобрать я не мог. Немного погодя застучали ключами и вышли из дому с фонарем амтман, да — кто еще? Как бы ты смекала? — скотник, бывший кастелян Готлиб и товарищ его, пастух Арнольд.

— Может ли статься? Их ли ты видел?

— Их или людей во плоти и образе Готлиба и Арнольда. Я сам диву дался. Пошли они по дорожке, прямо к кладовой, что в саду. Прыг, прыг и я за ними между кустами. Отперли кладовую и выкатили оттуда несколько бочонков. «Поосторожнее с огнем!» — говорил амтман.

— С огнем? — вскричала Ильза, вдохновенная необыкновенною догадкой. — Это были, наверно, бочонки с порохом. Злодейка! Она хочет подорвать Паткуля, Шереметева, русских! Нет, этому не бывать, не бывать, говорю... пока в Елисавете Трейман есть капля крови для мщения, пока блаженствует рингенский асмодей.

— Что с малым сделалось, — сказала старуха, — не дурману ли он объелся, что выпучил так белки свои?

В самом деле, Мартын повел вокруг себя дикими глазами и, повторив раза два: «Подорвать! подорвать!» — бросился вон из двери.

С бешенством посмотрела маркитантша вслед сыну, но след его уже простыл.

«Негодяй! — думала она. — Верно, боится, чтобы

вместе с замком не взлетели на воздух любезные денежки его. Иначе не может быть! или он не сын отца своего». Догадываясь также, что Паткулю предстоит в Гельмете опасность, если победа окажется за русских и он явится к баронессе вследствие обещания своего, Ильза ощупью хваталась за разные способы помочь этой беде. Большая часть средств по обстоятельствам не годилась. Думать да гадать, и наконец она придумала: не теряя времени, отправиться с бабкою Ганне в замок, откуда ей, кстати, надо было выпроводить слепца и доставить его к Вольдемару и где надеялась подробнее разведать о замыслах баронессы через Аделаиду Горнгаузен, которой она некогда предсказывала суженого. Как рассчитано, так и сделано.

Гарнизон гельметский был врасплох застигнут нашими посетительницами. Начальники и солдаты, вероятно после сильного ночного сопротивления Морфею, заключили с ним перемирие: пушкари исправно храпели у своих орудий; стражи в отводных пикетах около замка, зевая, перекликались. Караульный у подъемного моста, через который надобно было переходить двум подругам, чухонец лет двадцати, обняв крепко мушкет и испустив глубокий вздох, вместо оклика, только что хотел, сидя, прислониться к перилам, чтобы в объятиях сна забыть все мирское, как почувствовал удар по руке. Это был камешек, искусно брошенный Ильзою с противного берега. Чухонец встрепенулся, изловил падший из рук мушкет, привстал, готовился взбудоражить весь страшный гельметский гарнизон; но Ганне успела отвесть тревогу вопросом, нежно произнесенным:

— *Июрри, Июрри! йокс ма туллен?* [1]

Названный по имени и слыша родные слова, караульный ободрился, потер себе глаза и, выглядев, от кого шло воззвание, протяжно отвечал, усмехаясь:

— *Арра тулле, эллакенне!* (Нет, милочка, не приходи!) *Мы* сердиты: голова болит с похмелья; еще ж на карауле и за себя не ручаемся, чтобы не прожгли вас обеих одним поцелуем этого дурачка (он показал на мушкет). Бултых, бабка, в воду козьими ногами вверх; ступай принимать деток у водяных рожениц.

— Что ты, Юрген, душечка, в уме ли? — сказала

---

[1] Начало чухонской песни: «Юрген, Юрген! не пора ли мне к тебе?»

старуха нежным голосом, вынув из-за пазухи бутылку с водкою и показав ее чухонцу. — Голова болит? полечим.

— Оно так бы; чего лучше? — пробормотал караульный, почесывая себе голову. — Да кто с тобой?

— Я иду принимать... смекаешь? А это у меня школьница.

Убежденный чухонец опустил мост. Разумеется, что Харону за пропуск заплачено несколькими добрыми глотками водки и столько же обещано на возвратном пути. Подруги очутились за углом господского двора, у первого окошка в сад. Оно отворено. Все тихо. Только неугомонный сверчок, назло властолюбивой баронессе, тешился, распевая барски в ее палатах. Старушка легонько постучалась в раму раз, два и три; на стук этот выглянула из окна горничная Аделаиды. Переговорщицы были в связях, и переговоры не длились. Помешанная на гаданьях и волшебстве, дева была вне себя, услышав, что Ганне привела к ней ту самую ворожею, которая за год тому назад обещала ей суженого, богатого, знатного, пригожего, только что не с крылышками, и теперь, отправляясь за тридевять земель, мимоходом принесла ей вести, по приказанию благодетельной волшебницы, об ее суженом оберсте. Пудрамант кое-как накинут на плеча, и посланница феи со своею подругою осторожно впущены задним крыльцом в спальню Аделаиды.

Ильза, вошедши в комнату, подняла сухощавую руку над головой Аделаиды, наклонившейся в глубоком смирении, и, не зная, какое приличное варварское имя дать волшебнице, нашлась, однако ж, следующим образом:

— Илья Муромец, — сказала она, — моя повелительница, живущая в Карелии, прислала меня сюда из особенной любви к тебе. Слушай. Русские будут ныне или завтра в Гельмете. Но не бойся и не огорчайся: судьба замка совершается, но вместе с этим до́лжно совершиться твоему счастию. Так положено в совете высшем. В русском войске при фельдмаршале Шереметеве находится брат моей повелительницы, столетний карла. Как скоро он явится в замок, улови его, хватай, не выпуская из рук, щекочи и не давай ему покоя. Знай, он во злобе своей запер твое благополучие. Измученный тобою, он должен будет привесть сюда твоего суженого, оберста... оберста Балтазара фон Вердена, который несколько лет тому назад видел тебя во сне, умирает от любви по тебе, странствует везде, чтобы тебя отыскать; сражается, проливает кровь и бедствует, лишь бы получить руку и

сердце твое. Полюби его: вы оба созданы друг для друга. Да будет союз ваш счастлив! Этого желает моя высокая повелительница.

В удостоверение своих слов, Ильза взяла из рук старухи белый посох, вынула уголь из камина, положила его к себе на голову и, очертя посохом круг по воздуху, произнесла таинственным, гробовым голосом:

— Клянусь в истине слов вами, духи невидимые! Если не сбудется, пусть клятва моя поразит мое тело и душу и род мой по девятое колено; пускай почернеет и истлеет, как уголь, этот посох, я и утроба моя.

Аделаида знала, что в простонародии нет ужаснее этой клятвы, внимала ей, дрожа, как в лихорадке, верила обещанию, но еще более верила своему сердцу.

В награду за добрую весть требовала Ильза: во-первых, послать горничную немедленно отыскать путь в спальню Бира, откуда вызвать слепца именем волшебницы Ильи Муромца и сказать ему, что сестра Ильза ждет его у вяза с тремя соснами; во-вторых, дать ей перо, чернильницу и бумагу и, в-третьих, прежде свидания с карлою, вручить по принадлежности письмо, которое напишет она генералу Паткулю, начальнику фон Вердена. Легковерная девушка должна была клясться хранить тайну.

В исполнении этого требования всего труднее было выучить имя, конечно халдейское или арабское, Ильи Муромца. Затруднение наконец преодолено, и немедленно приступлено к вызову слепца.

Между тем Ильза употребила всю хитрость свою, чтобы выведать, какие были намерения баронессы в случае, если русские придут в Гельмет.

— Она хочет защищать Гельмет, — сказала Аделаида, — но в случае неудачи останется дома, чтобы принять и угостить победителя.

— Но зачем же, — спросила Ильза, решась на последнее, — назначать ему заранее квартиру на виселице? Хорошее угощение после такого приема не поможет.

— Я ей сделала тоже этот вопрос и по намекам ее догадалась, что виселица — дипломатическая ловушка; что по ней увидят только глупую месть женщины, а по защите Гельмета — дух геройский в теле женском; но что всю ее, лифляндку Зегевольд, узнают по следствиям. «Хитрость за хитрость. Время покажет, кто кого победит», — вот слова госпожи баронессы, как я их слышала; а что они значат...

— Все, все мне известно до подноготной, — перебила хитрая маркитантша, — я хотела только испытать тебя, дочь моя. Еще один вопрос. За несколько десятков миль отсюда слышала я вчера вечером, что дочь кастеляна Лота выходит замуж?

— И после того, — вскричала Аделаида, смотря на свою гостью с особенным уважением, — после этого придут мне сказать, что нет людей, награжденных чудесным даром предвидения! Только вчера вечером объявлена нам эта неожиданная новость, и ты в то же время проведала о ней?

— О! мы знаем многое, что еще впереди, — таинственно произнесла Ильза и принялась писать на лоскутке бумаги немецкими буквами по-русски послание такого рода:

«Любезнейший мой каспадин Фишерлинг! здесь недобре твой, бочонок порох под дом, и ты умереть. Велеть твой поймать молодой, нынче женил, и отец девки. Смотреть, о! смотреть все: боярыня недобре твой. Здесь в замок девка Аделаида письмо это отдать: очень хочется замуж. Послать твой карла Борис Петрович. Мой сказал: сто лет карла, сыскать ей жених богат, полковник фон Верден. Пожалуй, хорошенько женить. — Верная *Ильза*».

— Отдай эту записку, чтобы никто не видел, — примолвила она, — и помни, что твое благополучие зависит от верного и благоразумного исполнения моего поручения. Будь счастлива.

С последним словом Ильза важно простерла длинную, сухощавую руку над головою правнучки седьмого лифляндского гермейстера, махнула Ганне, чтобы она за нею следовала, и, обернувшись в хитон свой, спешила к месту свидания, назначенному для слепца. Сам Бир проводил Конрада из Торнео и сдал его маркитантше с рук на руки.

Как покорное дитя, старец шел всегда, куда его только звали именем друга. Ныне путеводимый своею Антигоною, он ускорял шаги, потому что каждый шаг приближал его к единственному любимцу его сердца. Сначала все было тихо вокруг них. Вдруг шум, подобный тому, когда огромная стая птиц летит на ночлег, прорезал воздух.

— Что такое? — спросил слепец.

— Вдали к Гуммелю мчится эскадрон шведский, — отвечала Ильза.

Опять все утихло, и опять через несколько времени послышался как бы подземный гром, глухо прокатившийся.

— Это что такое? — спросил слепец.

— Туда ж несутся пушки шведские, — отвечала Ильза.

Снова нашла тишина, как в храме, где давно кончилось богослужение, и вдруг раздался в отдалении первый удар пушки.

— Война! битва! — произнес Конрад с глубоким вздохом, торопясь вперед.

— Война! битва! — повторила его спутница с диким удовольствием. — Пусть дерутся, режутся; пусть сосут друг у друга кровь! и я потешусь на этом пиру.

Слепец, казалось, не слышал этих слов; беспокойство надвинуло тень на лицо его.

— Где-то теперь мой Вольдемар? — сказал он, покачав головой. — Дни его начинают быть бурны. Он чаще покидает меня.

— Он у своего места; мы к нему идем, — отвечала Ильза. — Работай, друг! И я для тебя довольно поработала! Пора и награду!.. Мне Ринген, погибель злодея, его страдания; Вольдемару...

— Не отравляй устами порочными святой награды моего друга, — перебил Конрад, — не прикасайся к чистому венку его рукою, оскверненною злодеяниями. Ильза! ты не имела никогда родины.

Хохот был ответом ее; будто отголоски нечистого духа, он раздробился в роще, по которой они шли. Сильная стрельба покрыла адский хохот.

Вскоре поравнялись они с гуммельсгофскою горою, над которой качалось облако порохового дыму. Обошед ее, путники остановились в одной из ближайших к ней рощей, откуда можно было видеть все, что происходило в лощине.

— Боже! — вскрикнула Ильза голосом отчаяния, протянув шею. — Они бегут!

— Кто? — спросил с тревожным духом слепец.

— Русские бегут! нет спасения! — продолжала Ильза, ломая себе руки. — Злодей будет торжествовать! злодей заочно насмеется надо мной!.. Оставайся ты, слепец, один: меня оставило же провидение! Что мне до бедствий чужих? Я в няньки не нанималась к тебе.

Иду — буду сама действовать! на что мне помощь русских, Паткуля; на что мне умолять безжалостную судьбу? Она потакает злодеям. Да, ей весело, любо!

Глаза Ильзы ужасно прыгали; отчаяние перехватывало ее слова. Не слушая молений старца, она бросилась к гуммельсгофской горе, целиком, сквозь терновые кусты, по острым камням.

— Ильза, Ильза, где ты? — спрашивал жалобно слепец, ловя в воздухе предмет, на который мог бы опереться. — Никто не слышит меня: я один в пустыне. Один?.. а господь бог мой?.. Он со мной и меня не покинет! — продолжал Конрад и, приклонив голову на грудь, погрузился в моление.

Ильза явилась на горе, в изодранной одежде, вся исцарапанная и израненная шиповником, без повязки, с растрепанными по плечам волосами — прямо у боку Вольдемара. Дорогою бешенство ее несколько поутихло.

— Вольдемар! — сказала она голосом, который, казалось, выходил из могилы. — Мы погибаем!

Вольдемар и без того был бледен, как смерть; слова, подле него произнесенные, заставили его затрепетать. С ужасом оглянулся он и окаменел, увидев маркитантшу.

— Что это за женщина? — спросил Шлиппенбах, заметив ее.

— Сумасшедшая чухонская девка. Я с нею скоро справлюсь, — отвечал Вольдемар, поворотил свою лошадь и махнул Ильзе, чтобы она за ним следовала. Долго думал он, что предпринять, отведя ее за мельницу, откуда не могли они быть видимы генерал-вахтмейстером. Счастливая мысль блеснула наконец в его голове.

— Не спрашиваю, откуда ты в таком виде, — сказал он маркитантше, — довольно; мы погибаем; но ты можешь спасти русских, меня и себя.

— Спасти?.. говори, что нужно сделать. Вели идти прямо в огонь, и ты меня там увидишь. Мне все равно умирать. Буду убита, ты отмстишь за меня. Клянись всем, что для тебя дорого, ты отмстишь тогда.

— Клянусь!

— Приказывай.

— Видишь, конь не имеет седока: излови его и лети на нем прямо в ряды шведские, промчись только мимо них, как дух, и пронеси весть, что главная армия русских идет в обход от Пекгофа.

Ильза на коне; она мчится, как вихрь, в пыл самой

битвы; она сеет ужасную весть по рядам шведским. Мы видели, какое действие произвела между ними эта весть. Вдали, на противном возвышении, Ильза свидетельница поражения шведов. Ринтен и месть опять в сердце ее; опять зажглись ее черные очи адскою радостию. В торжестве она забывает свои раны, но вспоминает о слепце, которого оставила одного. «Лошади бегущих и поражающих могут истоптать его!» — думает она; скачет обратно на гуммельсгофскую гору, бросает свою лошадь и, как мы также видели, вырывает Вольдемара из толпы русских, его обступившей.

Свидание последнего со слепцом было самое радостное. Мир, опустевший для Конрада, снова наполнился и оживился. Все трое принесли благодарение вышнему, каждый от души, более или менее чистой. Вольдемар то погружался в сладкие думы, положив голову на колена слепца, который в это время иссохшими руками перебирал его кудри; то вставал, с восторгом прислушиваясь к отголоскам торжественных звуков русских; то изъяснял свою благодарность Ильзе. Казалось, он в эти минуты блаженства хотел бы весь мир прижать к своему сердцу, как друга.

Отдохнув несколько часов, музыканты поплелись по направлению к Менцену; Ильза провожала их до cooргофского леса, где она оставила свою походную тележку у тамошнего угольника.

## *Глава четвертая*
## КОМЕДИЯ И ТРАГЕДИЯ

С п о р к и н а
Ах! я охотница большая до комедий.
С в а х и н а
А я до жалких драм.
Ч в а н о в а
А я так до трагедий.

*Комедия «Говорун», Хмельницкий*

Не стану описанием осады Гельмета утомлять читателя. Скажу только, что крестьяне-воины при первом пушечном выстреле разбежались; но баронесса Зегевольд и оба Траутфеттера с несколькими десятками лифляндских офицеров, помещиков и студентов и едва ли с тысячью солдат, привлеченных к последнему остав-

шемуся знамени, все сделали, что могли только честь, мужество, искусство и, прибавить надо, любовь двух братьев-соперников. Между тем как женщины, собравшись в одну комнату, наполняли ее стенаниями или в немом отчаянии молились, ожидая ежеминутно конца жизни; между тем как Бир под свистом пуль переносил в пещеру свой кабинет натуральной истории, своих греков и римлян и амтман Шнурбаух выводил экипаж за сад к водяной мельнице, баронесса в амазонском платье старалась всем распоряжать, везде присутствовала и всех ободряла. Наконец, видя невозможность сопротивляться отряду Паткуля и страшась не за себя — за честь и жизнь своей дочери, она решилась отправить Луизу под защитою ее жениха. Русские с ужасным криком перелезали через палисады, окружавшие замок. Один из студентов, преданных дому Зегевольдов, послан был в ряды сражавшихся для вызова Адольфа и вместе для переговоров с начальником русским о сдаче замка на таких условиях, чтобы позволено было дочери баронессиной выехать из него безопасно, сама же владетельница замка предавалась великодушию победителя.

Предводитель осаждающих на этих условиях приказал остановить наступательные действия и не занимать дороги к Пернову.

— Иди, спасай Луизу, пока еще время, — кричал Густав своему брату, сплачивая у главного входа в замок крепкую ограду из оставшихся при нем солдат. — Спасай свою невесту.

— Пускай бегут женщины! — возразил с твердостию Адольф. — Мое место здесь, возле тебя, пока смерть не выбила оружия из рук наших.

— Видишь, что все потеряно.

— Все, милый Густав! Что скажет о нас король?

— Король скажет, что лифляндцы сражались за него честно до последней возможности... Но Луиза?.. но... твоя невеста? Дай ей, по крайней мере, знать, чтобы она бежала.

— Сделай это ты.

— Когда бы мог! Тебя требуют. Слышишь? крик женщины!.. Это она. Ради бога, беги, спасай ее. Разве ты хочешь, чтобы татары наложили на нее руки?

В самом деле послышался крик женщины: несколько русских солдат всунули уже головы в окошки дома и вглядывались, какою добычею выгоднее воспользовать-

ся. Адольф, забыв все на свете, поспешил, куда его призывали. Баронессу застал он на террасе; Луизу, полумертвую, несли на руках служители.

— Спаси дочь мою! — закричала баронесса Адольфу умоляющим голосом. — Поручаю ее тебе, сдаю на твои руки, как будущую твою супругу. Не оставь ее; может быть, завтра у ней не станет матери.

Луиза открыла глаза.

— Вот тебе муж, — продолжала Зегевольд, поцеловав с нежностию дочь. — Люби его и будь счастлива. Благословляю вас теперь на этом месте, как бы я благословила вас в храме бога живаго.

Луиза, пришед в себя, хотела говорить — не могла... казалось, искала кого-то глазами, рыдая, бросилась на грудь матери, потом на руки Бира, и, увлеченная им и Адольфом, отнесена через сад к мельничной плотине, где ожидала их карета, запряженная четырьмя бойкими лошадьми. Кое-как посадили в нее Луизу; Адольф и Бир сели по бокам ее. Экипаж помчался по дороге к Пернову: он должен был, где окажется возможность, поворотить в Ринген, где поблизости баронесса имела мызу.

Между тем у главного входа в замок началось вновь сражение. Несмотря на то, что баронесса махала из окна платком, давая знать, чтоб прекратили неровный бой, и приказала выставить над домом флаг в знак покорности, Густав не хотел никого слушаться, не сдавался в плен с ничтожным отрядом своим и, казалось, искал смерти. Раненный в плечо и ногу, он не чувствовал боли. Почти все товарищи его пали или сдались. Наконец он окружен со всех сторон русскими, которые, как заметно было, старались взять его в плен, сберегая его жизнь. Командовавший ими офицер пробрался к нему с словами любви и мира. Густав ничему не внимал: отчаянным ударом палаша выбил он шпагу из рук его, худо приготовившегося.

— Густав! — закричал русский офицер. — Именем Луизы остановись. (Будто околдованный этими словами, Густав опустил руку.) Видишь, храбрые твои товарищи сдаются в плен.

— Именем ее бери и меня, — вскричал Густав, бросив свой палаш. — Не спрашиваю, кто ты, что мне нужды до того! Ты должен быть Паткуль; но я не Паткулю сдаюсь! Теперь влеки меня за собою в Московию, на край света, куда хочешь — я твой пленник!

Паткуль спешил его успокоить, сколько позволяли обстоятельства, и, зная, как тяжело было бы несчастному Густаву оставаться в Гельмете, велел отправить его под верным прикрытием на мызу господина Блументроста, где он мог найти утешение добрых людей и попечение хорошего медика. Сам же отправился к баронессе, чтобы по форме принять из собственных рук ее ключи от Гельмета.

— Вы приготовили мне квартиру слишком высоко и слишком воздушную; признаюсь вам, боюсь головокружения, — сказал Паткуль дипломатке, вступив с многочисленною свитой в комнату, где она ожидала его. — Но я не пришел мстить вам за вашу насмешку; я пришел только выполнить слово русского генерала, назначившего в вашем доме свою квартиру на нынешний и завтрашний день, и еще, — прибавил он с усмешкою, — выполнить обещание Зибенбюргера: доставить к вам Паткуля живьем. Кажется, я точен. Слишком постыдно мне было бы мстить женщине; я веду войну с королем вашим, и с ним только хочу иметь дело.

Баронесса, преклонив голову, отвечала с притворным смирением:

— Вверяю свою участь и участь Гельмета великодушию победителя.

— Будьте спокойны, — сказал Паткуль; потом присовокупил по-французски, обратившись к офицеру, стоявшему в уважительном положении недалеко от него, и указав ему на солдат, вломившихся было в дом: — Господин полковник Дюмон! рассейте эту сволочь и поставьте у всех входов стражу с крепким наказом, что за малейшую обиду кому бы то ни было из обитателей Гельмета мне будут отвечать головою. Помнить, что почтеннейшая баронесса не перестала быть хозяйкою дома и что здесь моя квартира! Я уверен, что вы успокоите дам с тем благородством, которое вашей нации и особенно вам так сродно.

Дюмон поспешил было исполнить волю своего начальника; но Паткуль, остановив его, сказал ему по-русски:

— Не забудьте, полковник, что мы имеем дело не с женщиною, а с бесом. Хозяйка в необыкновенном духе смирения: это худой знак! Прикажите как можно быть осторожнее и не дремать!

В самом деле, казалось, великодушие Паткуля победило дипломатку и вражда забыта. Вскоре завязался

между ними разговор живой и остроумный; слушая их, можно было думать, что они продолжают вчерашнюю беседу, так нечаянно прерванную. Дав пищу уму, не заставили и желудок голодать; кстати, и обед вчерашний пригодился. Сытно ели, хорошо запивали, обещались так же отдохнуть и пожалели, что бедный генерал-вахтмейстер, любивший лакомый кус и доброе вино, начал и кончил свои дела натощак. Этому замечанию всех более смеялась баронесса.

— Зато вы, генерал, — говорила она Паткулю, — исполнили обет нашего пилигрима, захромавшего на пути к хорошему столу и к храму славы: вам, конечно, сладко будет и уснуть на миртах и лаврах.

За столом, подле Паткуля, сидели с одной стороны хозяйка, с другой Аделаида Горнгаузен. Последняя, видимо, искала этого почетного места. Победив свою сентиментальную робость, она решилась, во что бы то ни стало, вручить соседу роковое послание, потому что начинало смеркаться и день ускользал, может быть, с ее счастием. Паткуль заметил ее особенное к нему внимание, слышал даже, что его легонько толкало женское колено, что на ногу его наступила ножка.

«Чем не шутит черт, превратясь в амура! — думал он. — Соседка ведет на меня атаку по форме. Ага! вот и цидулка пала ко мне в руку. Конечно, назначение места свидания!»

— Будет прекрасный вечер! — сказала баронесса.

— Да, — отвечал Паткуль, обернувшись к окну, будто рассматривая небесные светила, — звезда любви восходит, отогнав от себя все облака. Она сулит нам удовольствие; но, признаюсь вам, приятнее наслаждаться ее светом из своей комнаты, нежели под открытым небом, в нынешние росистые ночи.

Аделаида покраснела. Паткуль начал особенно любезничать с ней; но, к удивлению его, соседка вдруг обернула лист.

— Знаете ли вы Илью Муромца? — спросила она.

Это роковое имя, этот пароль, известный только преданнейшим его агентам, обдал его холодом. Куда девалось его остроумие? До окончания стола он сидел как на иглах. Загадка разрешилась после обеда, когда он, удалясь в другую комнату, развернул врученную ему так осторожно записку и прочел в ней предостережение Ильзы. Как обязательно умел он отблагодарить Аделаи-

ду! При ней же тотчас послано было за карлой Шереметева.

— Еще раз спасен я от погибели! — говорил он наедине Дюмону. — Этому нельзя иначе быть: час мой не приспел! Знаете ли, полковник, — продолжал он таинственным голосом, показывая ему ладонь правой руки своей, — знаете ли, что судьба моя здесь давно прочитана мне одним астрологом так ясно, как мы читаем дороги на ландкартах. Вы смеетесь! Верьте, что я не шутя говорю. Надо только быть посвящену в астрологические тайны, чтоб уметь различать бредни от истины. Вот, например, как не смеяться было мне предсказанию прусского тайного советника Ильгена, который по моей ладони пророчил мне насильственную смерть!.. Знаю, звезда моя должна пасть, но не здесь, в Лифляндии. Видите черточки: одна, две, три, четыре, пять... потом сближение двух венцов, и наконец... Но что будет, то будет! По крайней мере, я поживу довольно, чтобы отмстить Карлу и не умереть в истории.

С трудом мог Дюмон поверить, чтобы Паткуль, хитрый, благоразумный дипломат, храбрый полководец и человек просвещенный, мог до такой степени запутать свой рассудок в астрологических бреднях; но, как вежливый француз, согласился с ним наконец, что астрология есть наука, напрасно пренебрегаемая людьми нового века.

Допросили молодого служителя, который за будущие заслуги успел только сделаться мужем пригожей Лотхен: грозили увезть его подругу в Московию, если он не откроет заговора. Чего не выпытали бы телесные муки, то высказала любовь. В самую полночь, когда все улеглись бы спать, баронесса должна была на веревочной лестнице спуститься из окна, бежать через сад, там переодеться крестьянином и под этим видом достигнуть ближайшей рощи, где должен был ожидать ее проводник с надежным конем; между тем огонь, по проведенной неприметно пороховой дорожке, пробежав сквозь разбитое в подвале окно, коснулся бы нескольких бочонков с порохом. Из рощи баронесса видела бы взрыв дома и свое торжество. Хороши расчеты, но человеческие!

Разумеется, что счастливым соперником ее приняты были все меры к уничтожению этого замысла; но дипломатке не показывали, что тайна открыта. Русские офицеры, собравшиеся в замке, и хозяйка его, как дав-

но знакомые, как приятели, беседовали и шутили по-прежнему. К умножению общего веселия, прибыл и карла Шереметева. С приходом его в глазах Аделаиды все закружилось и запрыгало: она сама дрожала от страха и чувства близкого счастия.

— Туда ли я попал, братцы? — сказал карла, кланяясь умильно и важно на все стороны. — Меня звали в главную квартиру генерала русского; а здесь, эге! вижу я, один иностранец между вами. Не мигай мне, Иван Ринальдович, на молодиц: дескать, забыл ты немецкое учтивство. Понабрались и мы его, около немцев-русских и русских-немцев с утра до ночи. О! мы знаем политику: умеем не хуже каспадина обриста фон Верден улизнуть назад, когда жарконько бывает в иной час; зато на приклад в таких хоромцах, где есть фрау фон и фрейлейн фон, постоим за себя.

Здесь карла охорошился, поправил свой парик, расшаркался и, как вежливый кавалер, подошел к руке баронессы и потом Аделаиды. Первая от души смеялась, смотря на эту чудную и, как видно было по глазам его, умную фигуру, и охотно сама поцеловала его в лоб; вторая, вместе с поцелуем, задержала его и, краснея от стыда, который, однако ж, побеждало в ней желание счастия, полегоньку начала увлекать его в другую комнату. Он — выпутываться из рук ее; она — еще более его удерживать.

— Что ты делаешь? — спросила с сердцем баронесса.

— Мне нужно сказать ему слово, — отвечала решительно Аделаида, боявшаяся упустить в карле свою судьбу.

— Барышня желает поговорить с тобою в другой комнате, — сказал Паткуль по-русски, — невежливо не исполнить ее желания.

Со страхом пополам решился Голиаф отдаться в плен своей Цирцее, которая, осторожно притворив за собою дверь и не выпуская его из рук, села на кресла и посадила его к себе на колена.

— Покуда не худо! — говорил карла, покачиваясь на коленах Аделаиды. — Что-то будет далее? Жаль, что коню не по зубам корм.

Сначала все шло хорошо. Аделаида упрашивала, умоляла его жалобным голосом, чтобы он отпустил к ней ее суженого, целовала его с нежностию, целовала даже его руки; но когда увидала, что лукавый карла не

хотел понимать этих красноречивых выражений и не думал выполнить волю благодетельной волшебницы, тогда, озлобясь, она решительно стала требовать у него жениха, фон Вердена, щекотала, щипала малютку немилосердно. Бедный мученик защищался сколько мог, но потом, выбившись из сил, начал кричать не на шутку и, когда на крик его отворили дверь, возопил жалобным голосом:

— Помогите, родные мои, помогите! Спросите эту русалку, чего она хочет? Уф! она меня замучила, защекотала, защипала. Батюшки мои! да, видно, в здешнем краю нет вовсе мужчин. Пошлите хоть за Верденом, которого она то и дело поминает: малой дюжий, ражий, не мне чета!

Все, не выключая баронессы, хохотали до слез, смотря на эту сцену. (За тайну было объявлено многим из присутствовавших, что воспитанница ее помешана на карлах, рыцарях и волшебниках.)

Комедия была искусно приготовлена. Доложили о прибытии фон Вердена, и сцена переменилась. При этом магическом слове карла был выпущен из плена, и Аделаида поспешила исправить свой туалет, несколько поизмятый упорством Голиафа. Между тем Паткуль вытвердил фон Вердену его роль. Но кто бы ожидать мог? При появлении отрасли седьмого лифляндского гермейстера у нашего Марса разгорелись глаза, как у кота на лакомый кусок. Он признался, что никто не *приходил* ему так *по нраву* и что он непременно завтра же возьмет ее к себе в обоз.

— Помните, господин полковник! — сказал Паткуль. — Она хотя и дальняя мне родственница, но все-таки родственница, и вы не иначе получите ее, как в церкви.

— А почему ж и не так, ваше превосходительство? — говорил фон Верден, лорнируя глазом свою красавицу. — Почему ж и не так? Когда-нибудь мне жениться надо; случай предстоит удобный: лучше теперь, чем позже, и тем лучше, что я вступаю в родство вашего превосходительства.

Представили суженого невесте. Жениху считали под пятьдесят, но он был свеж, румян и статен, к тому ж оберстер, ждал с часу на час генеральства, которое едва ли не равнялось с контурством; страдал, резался за нее несколько лет и, вероятно, оттого и состарился, что слишком подвизался в трудах за нее; вдобавок, оста-

вленный с Аделаидой наедине, объяснился ей в любви с коленопреклонением, как следует благородному рыцарю. Достоинства эти оценены. Рыцарь осчастливлен вздохом и признанием во взаимной любви. Оставалось веселым пирком да и за свадебку; но Аделаида хотела еще испытать своего жениха и не иначе решилась идти с ним в храм Гименея, как тогда, когда Марс вложит меч в ножны свои. Такая отсрочка, несносная, особенно для военного, который любит все делать на марше, пахнула зимним холодом на счастливого любовника, и с этого рокового объявления он уже только из угождения своему начальнику играл роль страстного рыцаря.

— Теперь, — сказал Паткуль иронически, — мы отпразднуем сговор достойным образом. Почтеннейшая хозяйка была так любезна, что приготовила нам чудесный фейерверк. Мы не будем дожидаться полуночи, не допустим какого-нибудь слугу зажечь его, но, как военные, сами исполним эту обязанность. (Баронесса побледнела.) О! стоит его посмотреть; только издали эффект будет сильнее. Программа этой потехи: здешний замок и с ним ваш покорнейший слуга — на воздух.

— Господин генерал-кригскомиссар! Я только теперь признаю вас таким, — произнесла баронесса с видимым смирением. — Вы победили меня. Горжусь, по крайней мере, тем, что, имев дело с могучим царем Алексеевичем и умнейшим министром нашего века, едва не разрушила побед одного и смелой политики другого. Надеюсь, что для изображения этой борьбы история уделит одну страничку лифляндке Зегевольд.

— Покуда скажу вам, госпожа баронесса, что сороке нейдет мешаться там, где дерутся коршуны. Впрочем, будьте спокойны: Паткулю постыдно мстить женщине. Это самое избавляет вас от качель, которые мне приготовили. Как бы то ни было, дело кончено. В доказательство же искреннего к вам расположения предлагаю вам немедленно выехать из Гельмета и взять с собою кого и что почтете нужным. Охранная стража проводит вас до черты, нами не занятой. Предупреждаю вас, что завтра утром замок ваш будет разграблен: добыча эта принадлежит солдату по праву победы.

Можно догадаться, что баронесса воспользовалась таким великодушным предложением, дав себе слово не мешаться впредь ни в какие политические дела.

Через час после ее отъезда все уже спало в замке; только одни усталые стражи русские перекликались по

временам на тех местах, где вчера еще охраняли немцы и латыши. Так все на свете сменяется: великие и малые входят в него только на часовой караул. Все спало, сказал я; свет месяца, пригвожденного к голубому небу, как серебряный Оссианов щит, переливался на волнующейся жатве и зелени лугов, охрусталенной густою росой; но вскоре и месяц, казалось, утратил свой блеск. Новый, красноватый свет разлился по земле, и кругом небосклона встали огненные столбы: это были зарева пожаров. Из тишины ночи поднялись вопли жителей, ограбленных, лишенных крова и тысячами забираемых в плен. Таков был еще способ русских воевать, или, лучше сказать, такова была политика их, делавшая из завоеванного края степь, чтобы лишить в нем неприятеля средств содержать себя, — жестокая политика, извиняемая только временем!

— Подожди еще гореть ты, Ринген! подожди, пока месть Елисаветы Трейман не погуляла в тебе! — говорила Ильза, приближаясь вторично в один и тот же день к Гельмету. Поутру она была пешая: теперь катила на своей походной тележке, далеко упреждавшей о себе стуком по битой дороге. Стражи окликнули маркитантшу; но, узнав любимицу свою, тотчас ее пропустили и доложили ей именем Мурзенки, что он, взяв проводника, поскакал опустошать окрестные замки и что к утру ждет ее в Рингене.

В виду стояла хижина бабки Ганне. Отправляясь в поход против злейшего своего врага, не проститься с нею, может быть, прощанием вечным, почитала она за грех. Вздумано — сделано. Конь привязан к кусту, и маркитантша на пороге хижины. Дверь была отворена настежь; зарево пожаров вместе со светом месяца освещало вполне все предметы. Ильза переступила порог. Все было тихо гробовою тишиной; хоть бы вздох или дыхание сонного отозвались жизнию! На кровати лежала Ганне; она смотрела в оба глаза с кровавыми полосами вместо ресниц и улыбалась, как будто хотела говорить: «Юрген, Юрген! не пора ли мне к тебе?» На левом ее виске было большое темное пятно. Ильза подумала сначала, что это тень, отбрасываемая с потолка круглым предметом. Она подходит ближе, будит Ганне... но Ганне спит сном непробудным. Она берет ее за руку: рука — лед...

— Умереть ей когда-нибудь надо было, — говорит

сама с собою Ильза, — но черное пятно на виске не тень. Злодейская рука ее убила!

Она смотрит на пол — роковой голыш у кровати; оглядывается — вдоль стены висит Мартын... Посинелое лицо, подкатившиеся под лоб глаза, рыжие волосы, дыбом вставшие, — все говорит о насильственной смерти. Крепкий сук воткнут в стену, и к нему привязана веревка. Нельзя сомневаться: он убил Ганне по какому-нибудь подозрению и после сам удавился. Русским не за что губить старушку и мальчика, живших в нищенской хижине.

— Сын разврата! — восклицает ожесточенная Ильза, не проронив ни одной слезинки, потому что слезы подавлены были камнем, стоявшим у сердца ее. — Ты умер настоящею своею смертью: тебе иначе и умереть не должно! Но зачем погубил ты эту несчастную?

Она бежит на ближайший пикет, берет из костра пылающую головню, упрашивает трех солдат идти за нею. Солдаты ей повинуются; один из них берет головню в руки.

— Видите ли этого злодея? — сказала она, приведя их в хижину. — Он убил свою бабку и сам удавился.

Солдаты, привыкшие к ужасам смерти, с робостью отступили назад при виде мертвецов; но, вскоре ознакомившись с этим зрелищем, подошли к ним ближе.

— Черту баран! — закричал один, вглядываясь в мальчика.

— А, да это знакомец? — прибавил второй со смехом, светя головнею в лицо удавленника и опаливая у него волосы. — Ведашь, рыжий, бойкой мальчик, у которого Удалый из третьей роты отнял подле разломанной башни кувшин с мешочком, набитым серебряными копеечками.

— Он и есть, — продолжал третий. — Диву дались, где он, окаянный, эку пропасть денег набрал. Хоть бы у боярина немецкого столько поживиться. Этакой добычи Удалому спать было не выспать.

— И то правду сказать, — перебил второй, — кабы мы с тобой не пришли на помощь, изъел бы его мальчишка зубами; вишь, и теперь скалит их, будто хочет укусить. На, ешь, собака!

Тут солдат ткнул головнею в зубы мальчику.

В каком-то безумном молчании Ильза смотрела на

старушку; но, когда услышала, что солдаты ругаются над ее сыном, природное чувство не любви — нет! — но крови пробудилось в ней — и она оттолкнула рукой солдата, вооруженного головнею.

— Прочь! — он сын мой! — вскричала исступленная, вытащила клин, на котором висел удавленник, положила Мартына на землю, сбегала за своей тележкой и уложила его на нее.

— Куда ж везешь дитятку? — спросили солдаты.

— К отцу-сатане в гости! — отвечала она. — Теперь помогите мне похоронить старушку. Пускай же дом, в котором она жила, будет и по смерти ее домом. Не доставайся ж он никому в наследство.

Тут она просила солдат отнять два столбика, подпиравшие крышу; желание ее было выполнено, и в один миг вместо хижины остался только земляной, безобразный холм, над которым кружился пыльный столб. Солдатам послышался запах серы; им чудилось, что кто-то закричал и застонал под землей, — и они, творя молитвы, спешили без оглядки на пикет.

Ильза, сев на свою лошадку и погнав ее по дороге в Ринген, запела протяжным похоронным напевом следующую старинную песню; к ней, по временам, примешивались вопли ограбленных, разносимые ветром:

Отворяй, барон, ворота́:
Едем в гости к тебе.
Высылай навстречу ты нам
Кастеляна с ключом,
Меченосца в латах златых,
Пажа, нес чтоб привет.

Отворяй, барон, ворота́:
Едем в гости к тебе.
Ты задай на славу нам пир!
Вот как, скажут, барон
Угощает сына, жену,
Столько лет не видав!

Отворяй, барон, ворота́:
Едем в гости к тебе.
Ты поставь на стол, у тебя
Что ни лучшего есть:
Свое сердце в желчи, в крови,
Очи милой своей.

Отворяй, барон, ворота́:
Едем в гости к тебе.

Двухколесная тележка шумела по битой дороге; долго горело зарево пожаров; месяц глядел в открытые очи мертвеца; и раздавался в отдалении похоронный напев Ильзы.

## *Глава пятая*

## ПРИГОВОР

То было привиденье,
Враждебный дух, изникнувший из ада,
Чтобы смутить во мне святую веру!
Но мне, с мечом владыки моего,
Кто страшен? Нет, иду, зовет победа!
Пусть на меня весь ад вооружится:
Жив бог — моя надежда не смутится!

*«Орлеанская дева»,*
*перевод Жуковского*

Через несколько дней после Гуммельсгофской битвы, в глухое ночное время, пробирались к стороне Менцена (русскими названного *Черною мызою*) слепец и его товарищ. С самой роковой победы русских, избегая мести Шлиппенбаха, Вольдемар избирал это время для своего путешествия. Ночь была темная; но он знал хорошо местность и не боялся заплутаться. Весело и легко шел он, ведя одною рукою своего спутника, другою помахивая узловатым дубовым кистенем. Оставалось им до Менцена близ полумили; но путь их не туда был: за оврагом отделялась от большой дороги тропинка в леса. Там, под густою сенью их, в бедной хижине лесника, ожидало наших странников спокойное перепутье. Следующий день должен был их увидеть на мызе господина Блументроста, близ Долины мертвецов.

Слепец начал приостанавливаться.

— Что с тобою? — заботливо спросил его младший путник.

— Чудные видения обступили меня теперь, — отвечал Конрад. — Я видел край, доселе неведомый мне. Каменная зубчатая стена белелась на берегу реки; за стеною, на горе, рассыпаны были белокаменные палаты, с большими крыльцами, с теремами, с башенками, и множество храмов божиих с золотыми верхами в виде пылающих сердец; на крестах их теплился луч восходящего солнца, а крыши горели, подобно латам рыцаря; в храмах было зажжено множество свечей. Я слышал: в

них пели что-то радостное; но то были песни неземные...

— Друг! — сказал Вольдемар, пожимая товарищу руку. — Ты видел мою родину.

При этом слове оба путника поникнули душою, как перед святынею. Молчал благоговейно слепец; молчал младший странник; слезы омочили его лицо, и сладостные видения друга перешли в его сердце вместе с надеждою, залетною гостьею, еще никогда так крепко не ластившеюся к нему.

Не заметил Вольдемар, как поднялась черная туча, как насунулась на них. Сделалась темь, хоть глаз выколи. И слепой и зрячий видели почти равно: оба вели друг друга, ощупывая дорогу ногами и посохом. Они подошли к оврагу и почти сползли в него. Вправо были кусты, в них мелькнул огонек, еще раз мелькнул и скрылся; черные тени ходили, поднимались и упадали. «Что бы это значило? — думал Вольдемар. — Волк не сверкает так глазами, ища добычи. Разбойников не слыхать в Лифляндии. Может быть, нечистые бродят в полуночные часы?» Кровь у него потекла быстрее. Три раза перекрестился он, три раза прочел: *«Да воскреснет бог и расточатся врази его!..»* — и успокоился. Выбравшись из оврага, он невольно оглянулся. Что ж? Таинственный огонек показался опять, вышел из кустов в овраг и следил его. Вольдемар от него по тропе в лес — он повернул за ним, но вдруг на новом повороте исчез. Бесстрашный в самых трудных и грозных случаях, когда имел дело с живыми людьми, гуслист оробел перед духами, которые его преследовали. Ему казалось, что его хватают сзади за плеча, что его кличут; увлекая старца, он торопил свои шаги, нередко спотыкался и читал про себя молитву.

Туча сдвинулась с полнеба, звезды заискрились, предметы несколько выступили из земли, и вход в лес означился. Вольдемар с трудом поворотил шею, сжатую страхом: нигде уж не видать было огонька. Члены его развязались, грудь освободилась от тяжести, на ней лежавшей; ветерок повеял ему в лицо прямо с востока, и сердце его освежилось. Смело вошел он в лес и через несколько минут очутился в хижине лесничего.

Дверь в нее, по обыкновению латышей, была отворена; лучина горела в светце и тускло освещала внутренность дымной избы, зажигая по временам на воздухе сажу, падавшую с закоптелого потолка. Сквозь дым, по

избе расстилавшийся, можно было еще различить доску на двух пнях, заменявшую стол, на ней чашу с какою-то похлебкою, тут же валяную белую шапку и топор, раскиданную по земле посуду, корыто для корма свиней, в углу развалившуюся свинью с семьею новорожденных, а около стола самого хозяина-латыша, вероятно только что пришедшего с ночного дозора, и жену его. Оба подпарились древностию лет, распущенными по плечам волосами, светлыми, наподобие льна, и одеждою, столь нечистою, что можно было высечь из нее огонь, как из трута. Они прихлебывали из чаши и при отдыхах вели нехитрую речь. Услышав, что вошли в избу, старуха велела мужу *нишкнуть*, сняла лучину со светца, обломала нагар, выставила ее вперед и приложила левую руку над глазами, чтобы лучше видеть.

— А! это *старшина* [1], — сказала она, вложив опять лучину в светец, и по-прежнему стала вкушать от скромной трапезы и приправлять ее беседою. Хозяин едва кивнул вошедшим и, не заботясь о них, продолжал хлопотать около чаши с похлебкой.

Вольдемар усадил слепца на одной из скамей, к углу избы прислоненной, и сам сел подле него.

— Не слыхать ли в вашем краю солдат? — спросил он после краткого молчания.

— Авита, Иуммаль, авита! (Помилуй, господи, помилуй!) — отвечал латыш, не поворачиваясь. — Давеча, только што солнышко пало, налетело *синих* на мызу и невесть што, словно весною рой жуков на сосну.

— Не видал ли, откуда шли *синие*? — с беспокойством спросил опять Вольдемар.

— Отколь? Да, кажись, из *Алуксне* [2].

Вольдемар задумался. Он догадывался, что пришедшие в Менцен шведы принадлежали отряду, вышедшему из Мариенбурга вследствие путешествий цейгмейстера Вульфа; он знал также, что русский отряд должен был вскорости явиться под Менцен, чтобы не допустить крота возвратиться в свою нору, и спросил крестьянина, не слыхать ли об *зеленых*? Долго ждал он ответа. Латышу и разговор был в тяжелый труд. Выручить его решилась наконец его нежная половина и верная помощница.

---

[1] Так называют латыши тех, кого они уважают.
[2] Латышское название Мариенбурга.

— Чуть было намнясь, — сказала она, зевая и потягиваясь, — катали они с синими чертовы шары. С того денечка ни гугу о них, *братец*, будто мухи померли в бабье лето.

— Не заходили ль к вам еще нечаянные гости?

— В потаенность тебе сказать, — продолжала хозяйка, — толкнулись к нам позавчера...

— Старуха! а старуха! — закричал латыш. — Повесь язык на палку.

— Беда невесть какая! — продолжала супруга его, качая головой. — Чай, мы от старшины не с эсту-ста дрянь видали. Не потачь, *братец*, вот видишь, позавчера...

В стену застучали палкой, и раздался со двора жалобный голос:

— Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас!

Будто кипятком обдало сердце Вольдемара. Голос этот объяснил ему тотчас, кто был злой дух, его недавно преследовавший; в этом голосе прочел он целую старинную повесть, которую несчастный хотел бы забыть навеки.

— Ну, завыли, окаянные! — закричала старушка с неудовольствием; потом, наклонившись назад к младшему страннику, присовокупила шепотом: — Они-то и есть, мой родной! все о тебе поспрошали; видно, така луна нашла!

Не было зова новым гостям, не было и отказа; но без того и другого вошли они в избу. Это были русские раскольники. Впереди брел сутуловатый старичок; в глазах его из-под густых седых бровей просвечивала радость. За ним следовал чернец с ужимками смирения. Трое суровых мужиков, при топорах и фонаре за поясом, остановились у двери.

Старичок, кряхтя, сел на пустую скамейку, прочитал шепотом молитву, потом, обшарив сверкающими, кровавыми глазами во всех углах, остановил их с ужасом на Вольдемаре, медленно, три раза перекрестился двуперстным знамением и воскликнул:

— С нами крестная сила! Владимир! тебя ли очи мои видят?

— Да, князь Андрей Мышитский! — отвечал с твердостию Владимир (так будем звать его с этого времени). — Наконец-то ты нашел свою жертву.

Андрей Денисов (ибо это он был) обратился к своим

спутникам. В одном из них, чернеце, легко нам узнать Авраама. Старик приказал им отойти несколько от хижины, одному стать на страже, другим лечь отдохнуть, что немедленно и с подобострастием выполнили они, исключая Авраама, который возвратился прислушивать сквозь стенку. Сам хозяин, не заботясь о гостях, ушел спать на житницу.

Опираясь на посох обеими руками и на них подбородком, осененным пушистою бородой, сидел слепец. Не зная, кто говорил с его товарищем, и не понимая языка их, он в звуках их разговора, которому степени страстей давали различную силу, ловил для себя близкий смысл и верные образы. В собеседнике своего друга видел он уродливого, лукавого старичишку с рогами; постигал, что этот бес — хранитель тайны, располагавшей судьбою Владимира, и потому страх, грусть и негодование попеременно отзывались на лице святого старца, как на клавишах разнообразные звуки равно печальной песни. Товарищ его хотел казаться твердым; однако ж заметно было, что в прямой дуб ударил гром; он стоял еще прямо, но, сожженный огнем небесным, представлял только остов прежнего своего величия. Губы несчастного помертвели; два багровые пятна, подобные тем, какие видим у чахотных, выступили на его щеках; глаза его горели тусклым пламенем: все в нем сказывало, что появление нечаянного гостя убило его надежды. Прямо против него сидел ересиарх. По удовольствию, проницавшему в глазах его сквозь оболочку сожаления, видно было, что он поймал жертву, долгое время от него ускользавшую. Она в сетях его; трудно, может быть, невозможно ей вырваться из них; но лукавый показывал, что она свободна и что от нее самой зависит быть зарезанной или белым светом наслаждаться. Не о благе Владимира хлопотал он, но о том, чтобы угодить своим страстям и отчасти своей покровительнице. Между тем он показывал, что счастию других жертвует собою. Андрей Денисов не простой раскольник. Из роду князей Мышитских, наученный искусству красноречия в Киевской академии и всем приемам ухищренной политики при дворе коварной Софии, которой был он достойным любимцем, умевший поставить себя на степень патриарха поморских раскольников, он знал очень хорошо, с кем имеет дело, и потому оправлял свое лицемерие, властолюбие и вражду к роду Нарышкиных в сладкую, витиеватую речь, в чувства любви, призна-

тельности и святости. Присоедините к этой группе лицо хозяйки, на котором свет от горящей лучины озарял вполне глупость, неудовлетворенное любопытство и по временам сожаление о молодом страннике, по-видимому обижаемом.

Несколько времени с сожалением смотрел Андрей Денисов на Владимира; наконец, покачав головой, произнес:

— Ни в уме было, ни в разуме, гадать бы, не разгадать, чтобы моего питомца, того, который был некогда золотою маковкою царевнина терема, зеницу ока ее, от кого надрывались завистию боярские дети, стольники, сам Петр, кому готовил я передать ключи выговского вертограда... чтобы его найти мне в курной латышской избе, в сонме нечестивых, на одной веревочке со слепым бродягою!..

Андрей Денисов остановился, опять с сожалением долго осматривал Владимира и продолжал:

— Помню еще, как ты, статный, гордый, красивый, бегал по теремам Софии Алексеевны. Словно теперь вижу, как ты стоял перед ней на коленах, как она своей ручкой расчесывала кудри твои. О! как вилось тогда около нее вверх твое счастие, будто молодой хмель около киевской тополи! А теперь... худ, состарился, не дожив века... в басурманской одежде, бос... Господи! легче было б мне ослепнуть до дня сего. (Тут Денисов утер слезы, показавшиеся на его глазах.)

Владимир молчал.

— Ты ничего не говоришь, сын мой?

— Пожалуй, — сказал Владимир с усмешкою, — давай перекидываться вопросами. Так, в свою очередь, скажи мне, по какому случаю в этой самой курной избе, в нищенском виде, в образе отступника своего отечества и веры, с какими-то разбойниками, встречаю князя Мышитского, украшение Киевской академии, сподвижника князей Хованских и Милославских, задушевного друга той же царевны, наконец, преподобного отца Андрея, светильника поморской церкви и главу ее?

— Отступника! с разбойниками! Вот чем платят ныне тому, который на руках своих принимал тебя в божий мир, отказался от степеней и чести, чтобы ухаживать за тобою! И я сам не хуже твоего Бориса Шереметева умел бы ездить с вершниками, не хуже его упра-

влял бы ратным делом, как ныне правлю словом божиим; но предпочел быть пестуном сына...

— Что еще? прибавь.

— Да, сына греха, говорю тебе, неблагодарный! Хороша за все награда!.. Вот чему обучили тебя супостаты наши!.. Оголив, изуродовав твое обличие, данное тебе по образу и подобию Иисуса Христа и спасителя нашего, они в то же время содрали с души твоей все благолепие, ее украшавшее. Оскорбляй меня, именуй чаще князем; ибо ты ведаешь, что мне давно ненавистны лжеименные почести мира сего, что я променял их на смиренное отшельничество и служение моему господу и единому владыке. Пожалуй, назови меня князем ада! Называй разбойниками братьев моих, твоих братьев о господе, за то, что они носят орудия, которые земному отцу бога и спаса нашего, Иосифу-древоделателю, не были в стыд. Ругайся надо мною; мечись, как василиск, на грудь, согревшую тебя от смерти телесной и душевной: я открою тебе эту грудь. Все, все тебе прощаю. Иисус Христос то ли еще терпел от своих? Что ж, ты видишь меня здесь странником, между латышскими псами и погаными немцами, но знай, неблагодарный! для тебя, собственно для тебя покинул я паству, Христом мне вверенную, этих агнцев божиих, бежавших из России от кровожадного волка, этот народ православный, отделившийся от народа развращенного. Я, владыка и брат их, старец, глядящий в гроб, вместо того, чтобы последние дни жизни моей провести в молитве и изготовиться ко дню предстоящего нам всем Страшного суда, — я таскаюсь по чужим землям, где на каждом шагу или встречают меня соблазны, укоризны и оскорбления, или готовится мне насильственная смерть. Чего б в смиренной обители не видели очи мои в полвека, на то должен я ныне взирать беспрестанно. С басурманами, с содомитянами, новщиками должен я нередко вести беседу, служить им, угождать... и все это для того, чтобы возвратить на путь истинный заблудшуюся овцу! Все это для тебя, неблагодарный!

— Неблагодарным я и буду. Напрасны твои труды, твои подвиги и жертвы; я останусь, я хочу остаться при моем заблуждении: оно для меня сладко, составляет мое счастие, и я не променяю его ни на какие блага, которые ты мне готов посулить и можешь дать. Узнал я довольно хорошо твою истину. Она вооружила руку мою на злодеяние, привела меня под плаху, переброси-

ла в скит твой, гнездо заблуждения и невежества, и заставила двенадцать лет шататься из края в край безродным сиротою. Кто ж, как не твоя истина довела меня до того состояния, которым меня упрекаешь?.. Не пришел ли вложить снова в руку мою нож, из нее выпавший? Теперь, думаешь, эта рука не отроческая, отвердела в несчастиях, искусилась в делах крови — не сделает промаха. На кого направляешь ее теперь? где укажешь мне жертву? Не опять ли у алтаря бога живаго освятить ее?.. Посули опять плаху! Авось теперь не увернусь.

Андрей Денисов покачал головой, встал, посмотрел у двери, не видать ли кого; но так как лукавый Авраам, остереженный его походкою, успел завернуть за угол избы, то ересиарх, успокоившись, что никто не услышит его беседы с Владимиром, сел опять на свое место и продолжал:

— Не вмени ему, господи, словес его в прегрешение, — сказал он, возведя очи к небу и перекрестясь: — *суетный* не ведает, что говорит и что творит. До того еретики отуманили его разум и опутали душу его, что он забыл все святое на земле. Отщепенец православной церкви, сообщник слуг антихристовых, он и благодарность, и кровь топчет в грязи. Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас! То, что он сделал, что обязан был сделать из любви и преданности к своей законной царице, благодетельнице, одним словом... второй матери своей, называет он злодейством?

— Да, злодейством и все-таки злодейством, для кого бы я его ни сделал. Неужели ты, князь Андрей Мышитский, или, просто, Андрей Денисов, думаешь говорить ныне с отроком и по-прежнему медоточивыми устами отравлять его неопытную душу? Вспомни, что прошло много лет с того времени, когда ты играл моими помыслами и сердцем, как мячиком, когда я слушал тебя, как безрассудное дитя. Вглядись-ка в меня хорошенько: ты говоришь с мужем, на голове моей проглядывают уж седины, я был в школе несчастия, научился узнавать людей и потому тебе просто скажу: я тебя знаю, ты обмануть меня не можешь. Оставь для других свою хитросплетенную речь. Говори просто: чего хочешь от меня?

— Спасти тебя, несмысленный, назло тебе же, спасти твое тело от казни земной, а душу от вечного мучения.

Владимир с горькою усмешкою перебил речь Денисова:

— Благое же начало ты этому спасению сделал, послав своего *старца* в стан русский под Новый Городок с подметным письмом! Чего лучше? В нем обещал предать меня, обманщика, злодея, беглеца, прямо в руки палача Томилы. Я копаю русским яму; голову мою Шереметев купил бы ценою золота; сам царь дорого бы заплатил за нее! И за эту кровную услугу ты же требовал награды: не тревожить твоих домочадцев зарубежных. То ли самое писал ты тогда?

— То самое, — отвечал с наружным спокойствием Андрей Денисов.

— Что ж ты говоришь теперь?

— То же самое хотел я сказать и теперь. Но прежде, нежели я решился погубить тебя, я послал к тебе старца Афиногена, этого мученика, положившего за Христа живот свой.

— Скажи лучше: за свою бороду.

— Что предлагал он тебе?

— То, чего не исполню никогда: возвратиться в скит твой.

— Я и ныне пришел тебе то же предложить: вот путь к твоему спасению. А буде не послушаешь, я должен тебя извести; да, я должен тогда сам, своими руками, предать ослепленного, *засуетившегося*, достойной казни. Одна строка твоему же Шереметеву — и ты пропал.

— А бог?..

Это слово, с твердым упованием выговоренное, смутило и пустосвята. Он старался освободиться от уз, в которые сковало его это великое слово, сотворив обычную свою молитву:

— Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас! — молитву, разрешающую, по мнению раскольников, все их напасти. Потом, оправившись несколько от своего смущения, он присовокупил: — Прежде, нежели вымолвлю твой приговор, спрошу тебя: кому ты служишь?

— Лукавый должен бы тебе это сказать.

— Неправда. Дух вразумляяй и старца и младенца, побораяй по верным своим, сказал мне, кому ты служишь: вестимо, русскому воинству!

— Кому ж иному может служить русский? Иссуши, матерь божия, руку того, кто поднимет ее на помощь

врагам отечества! И ты, если истинный христианин, если любишь святую Русь, должен не губить меня, а помогать мне.

Глаза ересиарха приметно разгорелись; возвыся голос, он перервал речь Владимира:

— Постой, дитятко мое, не так прытко. Служа русскому войску, не Петру ли Нарышкину ты работаешь?.. И мне пособлять тебе? Мне, целовавшему крест законной царевне Софии Алексеевне; мне, взысканному ее милостями и дружбою, православному христианину, пойти в работники к погубителю царевны, к матросу, табашнику, еретику?.. Легче отсохни и моя правая рука, чтоб я не мог ею сотворить крестное знамение! Разорви лютым зелием утробу мою! Чтобы меня в смертный час, вместо страшных Христовых таин, напутствовал хохот сатаны!..

— Только теперь узнаю в тебе прежнего князя Мышитского, врага рода Нарышкиных, друга Милославских. Вот речь, которая тебе пристала! Она твоя, не заемная. Давно бы так!

— Умирая, буду ее говорить. (Андрей от гнева трясся с судорожным движением.) Из могилы подам голос, что я был враг Нарышкиным и друг Милославским не словом, а делом; что я в царстве Петра основал свое царство, враждебное ему более свейского; что эта вражда к нему и роду его не умерла со мною и с моим народом; что я засеял ее глубоко от моря Ледовитого до Хвалынского, от Сибири до Литвы, не на одно, на несколько десятков поколений. Знай и ты, радушный человек, жертвующий собою величию Петра Нарышкина! знай!.. (Денисов лукаво посмотрел на Владимира), что в тебе самом течет кровь Милославских.

— Милославских? — повторил Владимир, в недоумении связывая в уме своем разные догадки. — Нет, нет! ты смущаешь меня! Каким образом Кропотов в родстве с Милославским? Я этого никогда не слыхал.

— В тебе Кропотова нет ни капли крови.

— Для чего ж мне в детстве сказывали за тайну, что я сын какого-то боярина Кропотова? На что ж князь Василий Васильевич Голицын и ты сам мне об этом нередко напоминали?

— Так надо было. Открою тебе более: ты родился почти в один час с сыном Кропотова; ловкая бабка подменила его тобою; он отвезен в Выговский скит, там

воспитан, и, если хочешь знать, это тот самый молодой чернец, Владимир, по прозванию Девственник.

— Этот агнец, эта непорочная душа, которая ничего не знает, никого не любит, кроме бога? Может ли статься?.. Потом что?

— Ты слыл года два сыном Кропотова; потом мнимый отец уступил тебя князю Василию с тем, чтобы никто об этом не знал; ты рос богатырски: тебе придали с лишком два года. Человека два тайно проведали все это и под клятвою рассказали за тайну Нарышкиным; ложь пошла за истину. Сами Нарышкины, по любви к Кропотову, выдавали тебя за сироту, издалека вывезенного; а всего этого мы и домогались.

— Для чего ж вся эта кутерьма?

— Нужно было вывесть тебя в люди и скрыть грех твоей матери.

— Моей матери! Поэтому я сын?..

— Беззакония.

— Сын беззакония?.. Как это любо!.. Порадовал ты меня! Сын преступления?.. Высокое отродие, достойное Милославских!

— Да, отроком ты уже чувствовал в себе кровь Милославских; тогда уже рука твоя искала вырвать злой корень.

— Час от часу не легче! Отрок-злодей!.. Эка честь! Эка благодать! Ну, пестун мой! скажи же ты мне, как я попал к царевне?

— Царевна София Алексеевна, с малолетства подруга твоей матери, взяла тебя на свои руки, когда тебе минуло десяток лет. Как она тебя любила, ты сам знаешь. Сына нельзя более любить.

— Сына? Да! стоило царевне заботиться о таком поганом семени; лучше бы втоптать его в грязь, откуда оно вышло! И тебе пришла же охота повивать грех, ухаживать за ним, чтобы он вырос на пагубу чужую, свою, твою собственную! Ты бы...

— Я друг Милославских, преданный моей благодетельнице, моей царевне... я более... — присовокупил с притворным участием и любовию Андрей Денисов.

— Не говори, не говори мне ничего, старик! — вскричал Владимир, дрожа от исступления. — Не искушай меня!.. Или — нет, благодетель мой, утешитель, порадуй меня еще ответом на один вопрос, — только один вопрос: кто родившая меня?

— На этом свете ты этого не узнаешь.

— По крайней мере, жива ли она еще?

— Жива, и в заточении.

— Видно, так же бедствует, как и я. Несчастная мать несчастного сына!.. Впрочем, так и быть должно: грехом порожден грех, что ж может произойти, кроме зла? Кто ж заточил ее?

— Петр Нарышкин.

— Царь Петр!.. (После минуты задумчивости.) Так он погубил ее.

— Он.

— Правду ли говоришь?

— Покарай меня всемогущий бог и его небесные силы, коли я говорю тебе ложь!

— От сего часа бросаю все. Иду, следую за тобою. Скажи, что мне надобно делать! Клянусь, что пойду за тобою, как ребенок за кормилицею своею, как струя за потоком. — Нет, нет! я не клянусь; я не клялся еще... Ты сказал мне, что я на этом свете не узнаю имени матери и никогда ее не увижу.

— Никогда.

— Как блестят маковицы церквей твоей родины! — произнес слепец по-шведски вдохновенным голосом. — В храме пылают тысячи огней; двери растворяются, и пастырь выходит с крестом навстречу молодому страннику.

Владимир затрепетал.

— Что говорит этот сумасшедший? — спросил ересиарх, боявшийся, чтобы жертва, которую он загнал в свои сети, не вырвалась из них: ибо он догадывался, что слепец в чем-то остерегал Владимира.

— Что он говорит?.. — отвечал гордо и с чувством Владимир. — Тебе этого не понять, черствый старик! Я не иду за тобою, искуситель; я не слушаю тебя. Что мне в матери, которая отрекается от сына, не хочет знать его, не хочет его видеть? Волчица не покидает детей своих, а моя?.. Нет у меня матери ныне, как и вчера; забытый родом и племенем, я сам забуду их. И что мне помнить, что мне любить?.. Разве слова матери, отца — звуки языка непонятного, тени невиданных вещей? Отступись от меня; оставь меня моей судьбе, отец Андрей! Сжалься надо мною: не загораживай мне пути к моему счастию; не отнимай у меня того, чего ты мне не дал, чего не можешь дать — что уже мое! Прошу тебя, умоляю тебя пречистою божьею матерью, Христом, распятым на кресте, — скажи мне, как просить те-

бя, — ты знаешь, я ни перед кем в жизнь мою не падал в ноги — пожалуй, я упаду перед тобою!..

— Я не допущу до того сына... *ее*. Чем могу тебе помочь?

— Не препятствуй мне быть на родине.

— На родине? тебе?.. Тебе не видать родины!

— Не видать!.. Кто это сказал?.. — вскричал Владимир голосом, от которого задрожали стены, и вскочил со скамейки, будто готовился вступить в бой с враждующими ему силами. — Кто это говорит: не видать? А?.. господь бог мой! стань за меня и посрами моих врагов.

— Не призывай имени господа твоего всуе, не беснуйся и прочти лучше вот эту грамотку: ты увидишь из ней, что я должен с тобою сделать.

Андрей Денисов вынул из пазухи кожаную сумочку и из нее сложенную бумагу, которую подал Владимиру. Дрожащими руками последний схватил листок и, взглянув на подпись его, произнес с восторгом и горестию:

— Рука царевны Софии Алексеевны!

— Да, — примолвил, вздохнув, лукавый старик, — бывшей царевны, ныне инокини Сусанны!

Глаза Владимира остановились на подписи. Равнодушный к имени Софии в устах коварного старца, он теперь приложился устами к этому имени, начертанному ее собственной рукой. Как часто эта рука ласкала его!.. Тысячи сладких воспоминаний втеснились в его душу; долго, очень долго вилась цветочная цепь их, пока наконец не оборвалась на памяти ужасного злодеяния... Здесь он, как бы опомнившись, повел ладонью по горевшему лбу и произнес с ужасом:

— Чего она хочет от меня?

— Твоего спасения, непокорное, но все еще дорогое ей дитя! — отвечал ересиарх. — И меня избрала она твоим спасителем. Увидишь сам из грамотки.

Листок бумаги, который держал Владимир, был следующего содержания:

«Всемогущего бога избраннейшему иерею и таин его верному служителю, благочестивому господину, господину киновиарху Выговской пустыни, пречестному и возлюбленному отцу Андрею кланяюсь: временно и вечно ему радоваться и долгоденственно светить миру с

верными всякого возраста и звания, не токмо в Помории, но и во всей России пребывающими.

А про нас изволите о Христе любовно ведать, и мы, дал бог, в добром здравии в обители пребываем.

Писание ваше через старца Митрофана, Большой нос, получили верно. И мы, прочитав то ваше писание, немало слез пролили. О, коль печаль внезапная и скорбь великая, что мой возлюбленный, мой Яков, появился в Лифляндах, связался с злодеями и, подслуживаясь им, ищет пути в отечество! В какой глубины преисполненный невод рыба сия мечется! Мой злобствующий брат и враг может ли ведать прощение? Сердце его поворотится ли на милость к тому, кого я любила и все еще люблю так много?.. Скорее обратится солнце вспять. Казнь, от коей я его спасла, ожидает его неминуемо. О! кабы я могла сказать Владимиру изустно, что для него нету родины, как для меня нету венца и царства! Злодей нас всего лишил. Во что ни стало, молим тебя, преподобный отец и друг наш, отыщи его, изжени из него всяк лукавый и нечистый дух, явный и гнездящийся в сердце; поведай ему, что для него нет родины; убеди его идти в Выговскую пустынь, сие спасительное и крепкое пристанище, где ожидают его блага земные и небесные, где он может, по смерти равноапостольного жития и чина пастыря, пасти на евангельских и отческих пажитях избраннейшее Христово стадо. От имени моего накажи ему сие по любви и по власти; а буде он явится противен, проклятие мое над его главою. Сами вы тогда суд приимите и сотворите с ним, что рассудишь, не жалея... (Здесь несколько строк было зачерчено.)

Ежели бы сердечного сокровища ключи, кроме бога, в человеческих руках обретались, тогда бы тебе, о священная глава, и братии твоей, и совокупно всем верным, в отверстых для вас персях моих возможно было прочитать, какую к вам любовь денно и нощно питаю. Во свидетельство же сей любви... (здесь опять несколько слов было помарано) понеже благочестие церковное любит благолепие.

За сим будете вы покровенни десницею вышняго бога от всякого искушения вражия до конца жития своего. Спасайтеся все о Христе в любви; бодрствуйте, укрепляйтеся, подвизайтеся, и тако тецыте, да постигнете. Сие оканчивая, пребываю грешная о вас молитвенница, недостойная сестра *Сусанна*».

Долго, в угрюмом молчании, держал Владимир прочитанное им письмо Софии Алексеевны. То представлялись ему счастливые дни его отрочества и материнская любовь Софии; то чудилось ему его преступление; то волновало его душу сожаление о слепце или манила к себе родина, к которой, ему казалось, он был так близок. Если б говорила в письме одна любовь, то он, может быть, склонился бы на убеждение ее. Но он читал в нем угрозы, проклятия — и для нетерпеливой, гордой души его, необычной носить ярмо, довольно было этого, чтобы ее раздражить.

— Что ж ты намерен делать? — спросил Денисов. — Решайся: или теперь же за мною, или ступай с проклятиями своей второй матери под плаху палача.

— Я давно решился, — отвечал с твердостию Владимир. — Прежде чем проклятия царевны гремели надо мною, я поклялся умереть на родной земле. Пиши об этом инокине Сусанне. Скажи ей, что милости Софии Алексеевны к сироте для меня незабвенны и дороги; что я лобызаю ее руки, обливаю их горячими слезами; что я ей предан по гроб, но... ее не послушаюсь! Твои ж угрозы меня не устрашат. Ты должен бы знать меня лучше. Я сам явлюсь в стан русский, явлюсь к Шереметеву, и тогда увидишь, кому бог поможет. Он станет за меня, бог сильный!

— Так ни прошение, ни убеждения ничего не могли над тобою, непреклонная душа?

— Ничего.

— Знай же, я могу тебе приказать.

Владимир с презрительною усмешкою посмотрел на Денисова и произнес:

— Ты?.. когда не могла ничего просьба самой царевны!.. ты, дрянной старичишка?..

Эта усмешка, эти слова взорвали все бренное существо властолюбивого старика; досада завозилась в груди его, как раздраженная змея; скулы его подергивало, редкая бородка его ходила из стороны в сторону, злоба захватывала ему дыхание. Он весь разразился в ответе:

— Так... Знай, бездельник!.. я... твой отец.

— Отец, отец! — вскрикнул Владимир голосом, от которого приподняло Конрада; вскочил со скамьи и дико озирался, хватая себя за горящую голову. — Скажи еще что-нибудь, старик, и я задушу тебя!

Последовало несколько минут молчания. Владимир

долго смотрел с ужасом и робостию на Денисова взором, который, казалось, обворожил его своею неподвижностью, и наконец дрожащими губами вполголоса выговорил:

— Нет... не может быть!.. ты не отец мне. — Потом, в судорожном движении схватив Конрада за руку, прибавил тихо: — Не выдержу! пойдем отсюда, Конрад!.. я продрог до костей...

Еще с ужасом и робостию посмотрел он на Денисова и, беспрестанно озираясь, вывел слепца из хижины.

Проклятия бесновавшегося Денисова долго гремели вслед Владимиру.

— Не пощажу, не пощажу крови ее! — кричал он.

На крик этот прибежали его служители. Составлено наскоро совещание и постановлено: догнать слепца и его товарища, разлучить их силою и, связав, увезти последнего с собою; но адский совет был расстроен послышавшимися издали двумя голосами, разговаривавшими по-русски. Они довольно внятно раздавались по заре, уже занимавшейся. Раскольники стали прислушиваться к ним, завернув за избу.

— Эй, брат Удалой! — говорил голос. — Послушай меня: брось добычу. Право слово, этот рыжий мальчишка был сам сатана. Видел ли, как он всю ночь щерил на нас зубы? то забежит в одну сторону, то в другую. Подшутил лихо над нами! Легко ли? Потеряли из-под носу авангардию и наверняк попадем не на *Черную*, а на чертову мызу.

— Добытое кровью не отдам, хоть бы сам леший вступился за него! — послышался другой голос. — Отложу долю на местную свечу спасу милостивому, другую раздам нищей братии, а остальными и бог велит владеть. Да вот и жилье: смотри в оба, трус!

— Вижу-ста избушку на курьих ножках. Избушка, избушка, встань к нам передом, а к лесу задом! Чур, да не баба ли яга, костяная нога, ворочается там на помеле? А что-то возится, с нами крестная сила!

Авраам схватил осторожно Денисова за рукав кафтана и сказал ему вполголоса:

— Отойдем от зла, отце Андрей, и сотворим благо.

Ересиарх успел разглядеть, что приближавшиеся к избе были два солдата русские и что один из них прихрамывал, а у другого перевязана была голова. Не говоря ни слова, он пошел им навстречу.

— Кажись, не латыши и не шведы, — говорили

между собою солдаты, — однако ж на всякий час настроим свои балалайки.

Тут солдаты остановились, изготовили свои мушкеты к бою, тронулись опять тихим шагом, и, поравнявшись с раскольниками, оба разом крикнули молодецки:

— Что за люди?

— Пустынножители! — отвечал Денисов. — Мир вам от бога, православные!

— Ай, да это наши, русские! — вскричал один солдат. — Шли на волков, а попали на баранов. Да вот и чернец. Благослови, отче!

Солдат подошел под благословение Авраама; товарищ последовал его примеру. Авраам с важностию благословил их.

— Куда же вы путь держите, добрые люди? — спросил Денисов.

— А вот изволишь видеть, — отвечал один из солдат, — в славной баталии под Гуммелем, где любимый шведский генерал Шлиппенбах унес от нас только свои косточки, — вы, чай, слыхали об этой баталии? — вот в ней-то получили мы с товарищем по доброй орешине, я в голову, он в ногу, и выбыли из строя. Теперь пробираемся на родимую сторонку заживить раны боевые.

— Ведомо ли вам, — сказал ересиарх, — что за несколько поприщ отсель, на Черной мызе, стоит отряд шведский?

— На нее-то мы и маршируем, прямо-таки на шведский караул; да, хвастать нечего, идем-то не одни, за отрядом князя Василия Алексеевича Вадбольского.

— Кой лукавый завел вас сюда! Ведь вы с дороги сбились.

— Вот те на! Удалой, говорил я тебе, что рыжий сыграет штуку...

— Коли хотите, — продолжал ересиарх, — я укажу вам путь на мызу, только попрошу за труды.

— Ну, распоясывайся, камрад!

— Господи упаси, за услуги своим братьям православным брать деньги! Нет, не об этом хочу вас просить.

— А что же надо тебе, ваше благородие?

— Экий болван! — прервал своего товарища солдат, дергая его за мундир. — Говори, преподобный отче!

— Вот видите, добрые люди, и я был некогда князь.

Солдаты сняли с почтением шляпы и стали во фрунт.

— Надевайте-ка своих жаворонков на голову и выслушайте меня. Мне есть до фельдмаршала Бориса Петровича слово и дело; царю оно очень угодно будет; узнает о нем, так сердце его взыграет, аки солнышко на светлое Христово воскресенье.

— Говори, боярин, что за дело, — сказал один из солдат.

— Ради царю нашему батюшке службу сослужить, — прибавил другой.

Здесь Денисов отвел солдат в сторону и сказал им вполголоса:

— В Лифляндах бегает один стрелец, злодей, какого мир не родил другого; подкуплен он сестрою царя, Софиею Алексеевною, избыть, во что ни стало, его царское величество. Петра Алексеевича богатырское сердце не утерпит не побывать у своей верной армии. Тут-то бездельник уловит час добраться до всепресветлейшего нашего, державнейшего государя. Я послан царскою Думою с наказом, как можно, дать знать о злодейском умысле фельдмаршалу; но боюсь с ним разойтись. К тому ж силы меня покидают: долго ли смертному часу застигнуть на дороге? и тогда немудрено, что всекраснейшее, всероссийское солнце скроется от очей наших и покинет государство в сиротстве и скорбех. Коли вы верные слуги царские и хотите получить награду, то доставьте грамотку в собственные руки Бориса Петровича. Может статься, и я встречу его; все-таки и тогда ваше усердие не пропадет.

— Беремся за это дело, — закричали оба солдата.

— Награди их господи своими милостями! — сказал Денисов, возведя очи к небу.

С ним была чернильница и все принадлежности для письма. Из хижины вынесена доска и поставлена на два пня: она служила письменным столом. Послание было наскоро изготовлено, отдано одному из солдат, который казался более надежным, и привязано ему на крест. Служивые выпровожены с благословением на дорогу к Менцену, дав клятву исполнить сделанное им поручение. С другой стороны, начальник раскольников, довольный своими замыслами, отправился с братьею, куда счел надежнее.

Хозяева хижины проснулись, когда и следы гостей их простыли. Пальба к стороне Менцена дала им знать, что синие с зелеными опять катают чертовы шары.

## *Глава шестая*

## КАЖЕТСЯ, МНОГОЕ ОБЪЯСНЯЕТСЯ

Ужель загадку разрешили?
Ужели *слово* найдено?

*Пушкин*

На мызе Блументростовой, по-видимому, не было никакой перемены с того времени, как мы ее оставили.

Так же, как и в начале повести нашей, сидела в задумчивости на балконе пригожая швейцарка; одинаково расположились в саду, на скамье, слепец, товарищ его и щвейцарец; а Немой, раскинувшись на траве, слушал их с большим вниманием и по временам утирал слезы. Будто и речь вели собеседники все ту же, что и тогда. Зато окрестности мызы во многом изменились. На огромном кресте, который господствовал над *Долиной мертвецов* и загораживал собою полнеба, сиял медный складень. Вероятно, набожные русские повесили эту святыню, чтобы охранить им от наветов нечистого могилу товарища. К стороне Менцена курился дымный столб над развалинами этой мызы, и белелся стан русский. По окольной дороге, прежде столь уединенной, вместо баронской кареты, едва двигавшейся из Мариенбурга по пескам и заключавшей в себе прекрасную девушку и старика, лютеранского пастора, вместо высокого шведского рыцаря, на тощей, высокой лошади ехавшего подле экипажа, как тень его, пробирались к Мариенбургу то азиятские всадники на летучих конях своих, то увалистая артиллерия, то пехота русская. По временам слышна была песня:

Из славного из города из Пскова
Подымался царев большой боярин,
...Борис сударь Петрович Шереметев,
Он со конницею и со драгуны,
Со пехотными солдатскими полками,
Не дошедши *Красной мызы*, становился...

Еще надо прибавить, что у ворот мызы, в раме за проволочной решеткой, прибит был охранный лист уже не с подписью генерал-вахтмейстера Шлиппенбаха, но с подписью фельдмаршала Шереметева. Все эти обстоятельства показывали, чья сторона взяла верх: так победитель все оборачивает на свою сторону и влечет за собою.

Едва я не забыл сказать, что в окошко нижнего этажа мелькали два новые лица. Одно из них был шведский офицер, молодой, привлекательной наружности, но такой бледный, что походил более на восковое изображение, нежели на живое существо. Казалось, он смотрел, ничего не видя, слушал, не внимая. Изредка глаза его оживлялись; он вздыхал и улыбался, как умирающий продолжительною болезнию, когда ему говорят, что он скоро выздоровеет. Эти признаки жизни возбуждали в нем магические слова, произносимые человеком, сидевшим против него. У этого человека сквозь сладость серо-голубых глаз и речей проницало лукавство беса — не того, который с шумом вооружался, как титан, против своего творца, но того, который вкрадчиво соблазнил первую женщину. Один был Густав Траутфеттер, потерявший все, чем красятся дни человека, — свободу и надежду, — все, кроме любви, не покидавшей его назло обстоятельствам. Утешитель был Никласзон, с осторожностию врача рассказывавший то, что знал о чувствах к нему Луизы. По временам продажный секретарь баронессы Зегевольд и подкупленный агент Паткулев с изумлением посматривал сквозь стекло окошка на Владимира, этого мнимого шпиона генерал-вахтмейстера. Мирно с ним сойтиться под кровом, равно для них гостеприимным, казалось ему чем-то чудесным. Один человек мог только объяснить эту странность, и его-то поджидал он с нетерпением.

Перемежавшаяся по дороге из Менцена пыль, которую установили было на ней шедшие мимо русские полки, снова поднялась, и сердце Розы сказало глазам ее, что едет тот, кому предалось оно с простодушием, свойственным пастушке альпийской, и страстию, редкою в ее лета. Как она любила *его!* Для него швейцарка могла забыть свои горы, отца и долг свой.

Роза была уже у ворот мызы, потому что к воротам подъехал господин Фишерлинг (имя, которое давал себе Паткуль в Швейцарии, во время своего бегства, и удерживал на мызе друга своего Блументроста, где укрывался от преследований власти и своих врагов и откуда действовал против них со своими друзьями и лазутчиками). Бледнея, вспыхивая и дрожа, швейцарка схватила за узду бойкого коня приезжего. Животное без сопротивления ей отдалось.

— Здорова ли ты, милая Роза? — спросил Паткуль, с нежностию останавливая на ней взоры.

— Теперь здорова! — отвечала она и спешила проводить лошадь, чтобы скрыть радость свою от проницательных глаз Фрица, следовавшего за своим господином.

Никласзон, чутьем узнавший о приезде своего высокого доверителя и бежавший сломя голову, чтобы его встретить, вдруг остановился; но, видя опять, что он не помеха, сделал несколько шагов вперед, превратился весь душою и телом в поклон и спешил поздравить его превосходительство с благополучным прибытием в свою резиденцию после таких трудов и одержания столь знаменитой победы над Карлом XII. Генерал-кригскомиссар, со своей стороны, поздравил его тем, что велел составить счет, сколько затрачено им собственных денег из усердия к пользе общего дела, назначил ему богатую награду, обеспечивавшую его на всю жизнь; но советовал ему скорее удалиться в Саксонию, куда обещал дать ему рекомендательные письма.

— Такие люди, как ты, — сказал Паткуль, положив ему руку на плечо, — нужны мне при тамошнем дворе. Там можешь продолжать служить мне и России. Здесь, в армии, пост мой кончился, и с этим изменяется твоя должность. Доволен ли ты? Никласзон кланялся и показывал, что от радости не в состоянии говорить. Действительно, распоряжение его патрона не могло быть для него лучше, ибо избавляло его от виселицы и давало ему способы начать жизнь *честного* и значащего человека. Видно, однако ж, было, что во все время разговора, исполненного милостей, Паткуль избегал с ним сближений: червя, на котором ловят рыбу, брать в руки гадко. На вопрос Элиаса, каким образом главный агент Шлиппенбаха находится в одном с ним обществе, ему сделали также вопрос, каким образом верный секретарь дипломатки очутился в обществе ее врага.

— Ныне люди так хитры, — сказал Паткуль, — что трудно узнать, кто какой стороны держится...

Закусив язык и внутренно негодуя, что имели для него тайну, Никласзон поспешил между тем согнать морщины со лба своего и, униженно согнувшись в дугу, последовал за Паткулем к скамейке, где сидели собеседники, о которых мы упомянули.

Владимир в глубокой задумчивости чертил палкой по песку слова: «*Софьино, Коломенское, Москва*» — слова, непонятные окружавшим его, но милые ему, как

узнику привет родного голоса сквозь решетку тюремную. Никто из них не слыхал приезда высокого гостя.

— Бог помочь! — закричал Паткуль, подкравшись сзади и ударив Владимира по плечу. — Так-то встречают друзей?

На это приветствие, родным языком Владимира выговоренное, привстал он слегка, поклонился и радостно произнес:

— Милости просим, гость желанный!

Дружеское пожатие руки было ему ответом. Товарищей его приветствовал также Паткуль ласковыми словами; но, заметив, что швейцарец холодно и угрюмо кивнул, спросил его о причине его суровой задумчивости.

— Э! господин, чему веселиться? — отозвался этот сухо. — Пора старым костям на покой; а здесь некому будет и похоронить меня, как швейцарца.

— А дочь? — перебил Паткуль.

Не было ответа; но спрашивавший прочел его в тревожной душе своей. Дипломат смешался, хотел сказать что-то слепцу, все еще сидевшему на одном месте, но, встретив также на лице его укор своей совести, спешил, схватя Владимира за руку, удалиться от доказчиков преступления, которое, думал он, только богу известно было.

Горестно пожал Фриц руку благородному сыну Гельвеции, и этот приветствовал его тем же.

Когда Паткуль остался в саду один с Владимиром, первый вынул из бокового кармана мундира две бумаги и, отдавая одну своему агенту, сказал ему:

— Не думай, друг, чтобы я не понимал тебя и не умел ценить. Чувствую, что ты сделал для меня, для России, и стараюсь отблагодарить тебя. Не предлагаю тебе денег: это цена заслуг Никласзона. Вот свидетельство за подписью Шереметева. В этой бумаге означено, чем обязан тебе царь русский. Поздравляю тебя с паспортом в твою родину.

Владимир дрожащими руками схватил бумагу и прижал ее к своим губам.

— Я оставляю армию и мое отечество,— продолжал Паткуль,— и потому спешил с тобою расчесться. (Это известие, казалось, встревожило Владимира.) Судьбе моей нужен я в другом месте: она сближает меня с Карлом к его или моей погибели. Что делать? Я дол-

жен с тобой расстаться. Холодная математическая политика Шереметева делает из моего отечества степь, чтобы шведам негде было в нем содержать войско и снова дать сражение, как будто полководец русский не надеется более на силы русского воинства — воинства, которого дух растет с каждой новой битвой. Я не мог смотреть на это обдуманное, цифирное потворство грабежу и зажигательству. Душу мою взорвало; она передала фельдмаршалу все, что ей противно было. Может статься, я сказал слишком много; может статься, я должен был более уважить в нем заслуги, благоразумие и дух истинно геройский, когда он лицом к неприятелю, а не в палатке своей; но я видел пожар моего родного края — и не видал ничего более! Мы поссорились. Давно государь предлагал мне командование корпуса в Польше или значительный пост при дворе Августа, известном мне более стана русского. Там буду представителем русского царя, а здесь я только докладчик его генерала; там мы сблизимся с моим приятелем Карлом! — Вот тебе еще письмо к самому царю. Не ищи к нему доступа через вельмож его; старайся найти случай встретить самого Петра. Прямо к нему — без посредников, кроме твоих заслуг и сердца его! Это не Карл. Верь мне, царь грозен для одного зла; великий умеет ценить все великое; он забывает себя, когда дело идет о благе отечества. Но не думай, чтобы, исполняя твое желание и свой долг, я хотел оторвать тебя от войска русского. Прошу тебя, Вольдемар, друг мой, не покидай его своею помощью. Все, кто ни служил общему нашему делу, потеряли свое назначение. Фриц более не кучер у баронессы и не коновал в шведском полку; Никласзон кончил свою роль при дипломатке; Блументросту некого лечить в земле опустошенной; любовь моего племянника не поможет нам более, а разве сама потребует нашей помощи; несчастная Ильза все для нас сделала, что могла, и, вероятно, исполняет теперь свое предопределение. Ты один у меня здесь остаешься, ты должен заменить меня в Лифляндии. Хотя кора снята с глаз Шлиппенбаха и связи с ним расторгнуты твоим нетерпением, но ты держишься еще волшебною нитью за Мариенбург. На днях начнется его осада. Об измене твоей делу шведскому там не узнают; все сношения с этою крепостью уже пресечены. Ретивый выходец Брандт захвачен со всем отрядом по милости твоей и бывшего баронессина кучера. Свидетельство, данное тебе Шлиппенбахом и

предъявленное цейгмейстеру в *Долине мертвецов*, служит ключом, которым можно еще отпереть Мариенбург. Пользуйся этими обстоятельствами; пользуйся всеми тонкостями политики, мною преподанной тебе, ученик, не всегда покорный ей! Старайся войти в милость к пастору Глику, к воспитаннице его, которых Вульф, после короля, более всех любит, хотя чувства его не пробиваются наружу сквозь тройную броню солдатчины. Все прочее довершит любовь твоя к родине.

Владимир весь горел благодарностию. Изъяснением ее доставил он Паткулю чистейшее удовольствие, какого впоследствии этот не испытывал уже более. Драгоценные бумаги положил Владимир за свои штиблеты.

— Как легко буду теперь ступать на эту ногу! — сказал он с восхищением, пожимая руку того, кто наградил его таким сокровищем.

— Кстати, — продолжал Паткуль, — я должен поздравить тебя с новым опекуном.

— Я доволен и тем, которого теперь имею, — отвечал Владимир, — не о добром ли Бире говорите вы?

— Нет, совсем не об этом благородном чудаке. Твой новый опекун русский, полковник, чудо-богатырь.

— Не отгадаю.

— Это князь Вадбольский.

— Понимаю, тот самый князь, который первый из русских взошел на гуммельсгофскую гору?

— Он в этот день стал выше всех. Только ты, верно, не понимаешь его отношений к тебе. Я не намерен тебя долее томить. Слушай же: тайна твоей жизни разоблачается. В сражении убит полковник Полуектов. Когда стали его хоронить, нашли в мундире его завещание, писанное его другом Кропотовым.

— Кропотовым? — произнес робко Владимир, побледнев.

— Да! и этот Кропотов, герой, падший вместе со своим другом на той полосе земли, где навсегда похоронен ужас шведского имени, наконец, этот рыцарь христианских и гражданских добродетелей... твой отец.

— Господи! о, когда бы это так было!.. Но нет, не верю, не может быть; есть важные доказательства против этого. Я не сын благороднейшего воина, а беззаконное отродье какого-нибудь преступника, мне подобного.

— Каких лучше доказательств нужно тебе, неверующий, как не признание самого отца? Князь Вад-

больский, по дружбе своей ко мне, давал мне читать завещание. Видя, что оно имело к тебе несомнительные отношения, я сделал из него выписку. Вот она, — присовокупил Паткуль, вынув из камзола бумагу и подав ее Владимиру, — прочти ее и удостоверься, что судьба, лишив тебя отечества и отца, возвращает тебе первое, благородное имя и мать, которой ты можешь быть еще подпорою и утешителем.

Выписка из завещания Кропотова была читана и перечитана Владимиром с нетерпением и вниманием, свойственным его положению. Вот она, почти слово в слово. Надо помнить, что Паткуль переделал большею частью слог завещателя на свой лад.

«В 16... году... дня (писал Кропотов), во время кратковременной отлучки моей из дому, жена, после трудных родов, произве на свет сына, нареченного Владимиром, по обычаю аших предков, именем святого, приходящего в осьмой день. Жена говорила, что это будет необыкновенный ребенок, потому что он, увидев свет в первый раз, закричал странным голосом, как будто два ребенка кричали разом. Ему было два года, когда приехал ко мне Андрей Денисов, из рода князей Мышитских. Нечаянно увидел он дитя на руках у мамки, долго любовался им и стал находить в нем сходство с князем Василием Васильевичем Голицыным. Мы этому смеялись; однако ж с того времени в самом деле приискивали это сходство и не дивились тому, ибо князь Василий был мне близкий родственник по жене. В скором времени он сам посетил нас из любопытства увидеть дитя, которое было на него так похоже. Маленький Владимир за ласки его платил тем же по-своему; он пошел к нему охотно на руки и неохотно сошел с них. Долго утешался им князь Василий. Чаще и чаще начал он посещать нас, что немало удивляло всех и возбудило во многих зависть; немудрено, он был тогда при царе Алексие Михайловиче во времени. Наконец он так полюбил нашего Владимира, что стал просить его к себе вместо сына, обещая вывесть его в люди, отказать ему по записи свою Красную отчину близ Рязани и мне на покупку крестьянских дворов дать тысячу рублей. Со своей стороны, я должен был таить нашу сделку не только от его жены, которую он не любил, но и от всех вообще, совершенно расстаться с сыном и никогда не сметь называть его своим, что обязывался я подтвердить клятвою. Я и жена сначала испугались было тако-

го предложения; но подумав, что у нас еще два сына, все погодки, один краше другого, надеясь, что наше семейство приумножится и вперед, и посоветовавшись с Андреем Денисовым, решился не мешать благополучию Владимира нашего. В это время нужды окружили нас со всех сторон, и к мысли о счастии сына присоединилось проклятое желание себе добра. Жена моя — таков был уговор — поехала в Коломну к своей родственнице; на дороге, именно в Софьине, оплакав Владимира, которого в последний раз назвала своим, сдала его новому отцу его; возвратясь же домой, распустила слухи, что сын ее по дороге помер. Казалось мне, только два человека, князь Василий и Денисов, знали нашу тайну; но, видно, где два человека замешаются, там вмешается наверно и лукавый. Вскоре, к удивлению нашему, дошли до нас вести, что слухам, нами распущенным, не имеют большой веры. Не смели говорить, что я уступил или продал своего сына, ибо временщик по власти своей мог тогда зажать рот железною рукой; однако ж самые приближенные Нарышкиных намекали мне глазами и усмешкою о том, что я желал скрыть. К стыду от людей примешались угрызения совести. Везде начал преследовать меня голос: ты продал своего сына! Утраты последовали за утратами: жена моя хотя и родила еще сына, но в течение пяти лет померли у нас два старшие; дворы, купленные на кровные деньги, полученные от князя Василия за наше детище, сгорели; в две жатвы собрали мы одну солому; скот падал; начались стрелецкие мятежи, и я едва не лишился тогда головы за преданность мою дому Нарышкиных; воспитатель и второй отец моего сына пал в безвременье, и село Красное, назначенное воспитаннику, отдано Гордону. Несколько лет не видали мы Владимира; однако ж вести о нем не урежали. Пригож, не по летам силен и разумен, он одолевал в борьбе мальчиков, старших его несколькими годами, за что прозвали его Ильею Муромцем, и в рассуждениях со стариками заставлял их умолкать своими убеждениями. Но он же был вспыльчив, не любил никому уступать, поднимал голову выше детей княжеских и говорил, что будет первым бояриным русским. Гордостью не в род наш, говорили мы с женою. Наконец мы увидели Владимира: жена в доме княжеском, я в храме божием! О! никогда не забуду я дня этого! Черные, живые очи его устремились раз на меня и врезались в моей памяти и сердце. Жене позволено было видать его

потаенно: она целовала его, обливала своими слезами; но, клятвы не смея нарушить, не называла его сыном. Мы мешали вместе наши слезы и казались счастливее. Раз пришли нам сказать, что воспитанник князя Василия взят в терем царевны Софии Алексеевны и что он сделался ее любимцем. Это нас огорчило тем более, что нам известен был нрав ее, избалованный отцом и матерью, и ранние страсти, не знавшие препятствий уже с четырнадцатилетнего возраста. Можно сказать, что душа и тело ее и брата ее Петра Алексеевича рано возмужали, одной на гибель, другому на славу и благо России. Жене моей, на прежних условиях, дозволено было изредка видеть Владимира. Она подарила ему маленькие гусли, на которых приклеена была картинка с изображением Ильи Муромца. Этот подарок привел его в восторг. С того времени в нем оказался необыкновенный дар музыки: со слуху разыгрывал он духовные песни и песни хороводные так, что его заслушивались. Царевна была от него без ума; но вскоре привязанность ее к нашему сыну сделалась ревнива. К 1683 году вовсе запрещен был вход жене моей в терем Софии Алексеевны».

Здесь кончалась выписка из завещания Кропотова.

— Остальное я не почел нужным приобресть, — сказал Паткуль, увидев, что Владимир кончил чтение бумаги, — повествование дальнейшего пребывания твоего у царевны и твоих несчастий не сходно с описанием, которое ты мне сделал. Отец твой, как и многие другие, получил о смерти твоей вымышленные известия. В конце завещания описывает он потерю единственного оставшегося у него сына, служившего в Семеновском полку и посланного за рекрутами в Новгородское воеводство. Этого удара не мог он выдержать и, по-видимому, искал смерти в битве. Он умолял друга своего Полуектова принять на себя попечения о матери твоей, поставить придел во имя святого, твоего патрона, в церкви Троицкого посада, где совершилась твоя мнимая казнь, учредить поминовение по душе твоей и взять на воспитание беднейшего сироту вместо сына. Что скажешь на это, друг? Ты и теперь будто сомневаешься?

— Справедливо многое, что здесь описано, — сказал Владимир, читавший доселе выписку из завещания Кропотова с жадным и грустным вниманием. — Приго-

жая, добрая женщина, подарившая мне гусли, и теперь представляется мне, как в сновидении; но и теперь скажу: она не была моя мать. Выслушайте, что открыл мне сам Андрей Денисов, встретившийся со мною на днях в хижине здешнего лесника.

Тут Владимир пересказал Паткулю разговор свой с коварным стариком. Выслушав повесть, Рейнгольд углубился в размышления; казалось, он был поражен новым открытием. Не отвечая ничего, повел он в дом Блументроста Владимира, остававшегося по-прежнему сиротою.

## *Глава седьмая*
## ИСТОРИЯ ЗАВЕЩАНИЯ

Не в первый раз мертвец дела творит,
Какие вживь ему на мысль не приходили!..

*Аноним*

Готово все: жених приходит;
Идут во храм...
Но, ах! от сердца то, что мило,
Кто оторвет?
Что раз оно здесь полюбило,
С тем и умрет.

*Жуковский*

Свидание Густава с Паткулем было трогательно. Племянник видел теперь в нем только своего ближайшего родственника, благодетеля, второго отца, единственную надежду, в объятиях его спешил скрыть свои слезы.

— Густав! — сказал Паткуль, когда они могли беседовать спокойнее. — Представлю тебе моего друга. Не смотри на бедную его одежду: под нею скрывается возвышенная душа, с которой я не смею своей поравняться; она не знает мести. Еще прибавлю: он русский!

И Владимир и Густав померяли друг друга взглядом; связи русского с Паткулем поняты Траутфеттером, и мысль о них возмутила было душу последнего; но другая мысль, что новый знакомец его сделался шпионом из любви к отечеству, и благородный взгляд Владимира заставили его с ним помириться. Оба по-

няли друг друга и единодушно пожали друг другу руки.

— Теперь, — сказал Рейнгольд, когда все они сблизились искренностью разговора, — теперь, любезный Густав, могу исповедаться тебе в своих поступках. Тяжба моя со шведским королем оканчивается. Сам бог брани за меня. Жребий моего отечества брошен, каков ни есть он: Лифляндия принадлежит уже России. Крепости среди опустошенного ее края не оплот шведам. Суди всевышний! не я первый затеял эту тяжбу. Соотечественники мои избрали меня своим представителем у престола неумолимого Карла XI и ходатаем за права их, освященные временем, законами и клятвою царей. Я исполнил, что мне поручено было, как благородный лифляндец: никто не упрекнет меня в противном. За это осужден я потерять голову и честь. Бежав от жестокого, незаслуженного наказания, ужели я сделался преступником?.. Сколько раз молил я двух венчанных судей простить мне вину, которой не знаю, и обещал честным словом Паткуля служить им верноподданнически; но я не обещал изменять обету, данному отечеству моему, любить его выше всего — и не был прощен. Мщение молодого короля за оскорбление будто бы отца не велит и теперь палачу опускать топора, занесенного на меня. Лишенный имения, прав гражданина, отечества, с одною честию, которой не в силах отнять у меня соединенные приговоры всех владык земных, я вынужден был, после нескольких лет изгнанничества среди гостеприимных, свободных Альпов, искать себе гражданской жизни. Отечества никто не мог мне заменить. Август предложил мне свое покровительство; я принял его. Из мирного круга пастухов Гельвеции перенесенный в кипучую, шумную жизнь двора, с душой пламенной и нетерпеливой, какова моя, я должен был действовать. На политической дороге своей встретил я самонадеянность Карла и ненависть его ко мне. Карл перестал быть моим государем; он сделался только личным моим врагом; я не пошел назад и стал ему поперек. На это чувствовал я в себе довольно силы: успехи оправдали мою отвагу. Отечество мое предано было своей несчастной судьбе: я хотел спасти его от совершенной гибели. Меры спасения были тяжелы, но верны, я схватился за них. С медленным умом Августа и холодной, шаткой душой его я не сошелся. Я его называл застоем прошедшего века; он меня — горячкой века нового. Надо было нам расстать-

ся. На севере вставал исполин. Подпирая под невежество России сильный рычаг, он захватил им основание Швеции и готов уже был пытать над нею силы свои. Гений Петра пленил меня: он один мог примкнуть к себе Лифляндию и сделать ее счастливою. Положение ее, ее раны, поделанные властолюбием Карла XI и растравленные удальством его сына; силы, средства, обширность России, которая, рано или поздно, должна была поглотить мое отечество своим соседством и которая — поверьте мне — не позже столетия будет могущественнейшею державою в мире; величие Петра, ручающееся за благосостояние стран, ему вверенных, — все подвинуло меня оставить Августа и броситься в объятия царя, для меня открытые. Я сделался его подданным, его другом. Нет воли его, нет желания, которых бы я не почел для себя долгом. Если бы он заставил меня смолить корабли, я выполнил бы это, потому что этого желал бы Петр. Помогая его видам, я созидаю вместе благосостояние Лифляндии. Вот мои вины перед нею! Суди меня в них, Густав, как бы судила Европа, как будет судить потомство.

— Дядюшка! — отвечал Густав. — Трудно решать дело, на которое, по чувствам нашим, мы можем смотреть с разных точек. Скажу вам только: разум мой соглашается с вами, но сердце вас осуждает. Первым будет для вас потомство, вторым — современники, еще более — соотечественники наши. Не знаю вперед судьбы своего отечества: может статься, ваша политика доставит ему счастие, которого истинно ему желаю. Но теперь истоптанные жатвы, сожженные села, скитающиеся без пристанища жители, тысячами гонимые, как стада, в Московию бичом татарина, города, опустошенные на несколько веков, — неужели все эти бедствия не вопиют против вас? Какая истина, какие надежды зажмут вопли несчастных?

— Против этих жестокостей я первый восстал в стане русском и старался облегчить участь несчастных. Скажу более: за эту бесчеловечную политику поссорился я с Шереметевым — и, чтобы не быть в ней невольным соучастником, удаляюсь к Петру. Вспомни также, Густав, что не я присоветовал войну, не я привел войска русские в Лифляндию.

— Но все в этом вас упрекают. Говорят вообще, что Рейнгольд Паткуль отмщает королю на своих соотечественниках.

— Неправда! неправда! Война была начата до меня; она прежде меня созрела в уме царя, желавшего облокотить свою державу о берег моря Балтийского. Я поспешил управлять ходом этой войны не для отягощения моего отечества, но для освобождения его от ига шведского и безумного удальства нового Дон Кихота, предавшего его собственной защите. Не от меня все эти пожары, эти переселения, о которых ты говоришь. Не было б ныне Паткуля в Лифляндии — разве она освободилась бы от этих бедствий? Они были б еще жесточе, длились бы долее. Пускай же упрекают меня теперь, клянут те, которые не хотят разобрать моих действий. Отечество мое заключается не в одном настоящем поколении; оно и в потомстве, а потомство будет благословлять имя того, кто устроил его благосостояние. Лифляндия, ныне отторженная против собственной воли ее или, лучше сказать, некоторых закоснелых баронов, связанных узами родства и подкупом со Швециею, будет счастлива под скипетром России. Голова моя в этом порукою.

— Голова! да, голова! — сказал, глубоко вздохнув, слепец, приведенный Немым в комнату, где находились наши собеседники.

Конрада посадили на кресла, и Немой удалился.

Слова, произнесенные слепцом, видимо, сделали неприятное впечатление на дух Паткуля, хотя он не мог изъяснить себе причину этого неудовольствия. Вскоре, однако ж, успокоился он и продолжал снова оправдание своей политической жизни. Густав не мог согласиться с дядею; но, зная пылкий нрав его и потому не желая ему противоречить, замолчал.

— Вижу, что ты не соглашаешься со мною, — сказал Паткуль с нетерпением.

— Я подданный Карла XII, — отвечал с твердостию Густав, — а вы неприятель его.

— То же ли ты скажешь, молодой неопытный упрямец, напитанный героизмом скандинавского рыцаря, когда узнаешь, что с судьбой твоего отечества я устраиваю твое собственное счастие? Спрашиваю тебя: любишь ли ты еще Луизу Зегевольд?

— Вы мой дядя, благодетель мой; я в плену, я весь ваш и не думаю, чтобы вы насмехались над несчастием и моими отношениями к вам.

— Дядя твой, — возразил Паткуль с иронической усмешкой, — хотя жесток до того, что привел русских в свое отечество, чтобы его жечь, палить, грабить, опусто-

шать; хотя забыл права государственные и законы божии до того, что не пожертвовал собой несправедливости и властолюбию двух королей, захотевших выпотрошить его физически и нравственно, чтобы сделать из него чучелу на позор Лифляндии; хотя он таков...

— Дядюшка! ради бога, не оскорбляйтесь моими мнениями, моими чувствами. Вы не требовали, чтобы я говорил против себя.

Паткуль не слушал его и продолжал:

— Хотя он таков; но не был никогда зол до того, чтобы смеяться над несчастием, особенно тех, кого любит больше всех после своей чести. Что говорит Рейнгольд Паткуль, то он и сделает. Я обязан тебя в этом удостоверить. Вольдемар не лишний в нашей беседе. Слушай же меня и отвечай на мои вопросы.

— Слушаю, дядюшка!

— Помнишь ли утро, когда, одолеваемый мучениями любви и жаждой узнать о состоянии Луизы, ты шел, как сумасшедший, по дороге из Оверлака в Гельмет?

Вопрос этот поразил Густава неожиданностию его. Собрав рассеянные мысли и стараясь успокоить чувства свои, встревоженные разнообразными воспоминаниями, он отвечал:

— Дорого бы я заплатил, чтобы забыть этот день!

— Нет, помни его, запиши его в своем сердце; он для тебя день счастия. Тише! не говори ничего и отвечай только на мои вопросы. Кто встретил тебя тогда?

— Кучер баронессы, Фриц.

— Фриц! — закричал Паткуль из окна, и верный служитель, который, казалось, дожидался призыва и потому находился в нескольких шагах от дома, явился пред изумленным Густавом.

Не знал последний, что говорить; слезы заструились по лицу его; глаза старика были также мокры — и Густав, бросившись его обнимать, воскликнул:

— Он, он сулил мне счастие!..

— Чьим именем обещал он тебе это счастие?

— У моего благодетеля не было тогда имени, но я узнаю его теперь. Безыменный были вы — мой второй отец!

— Теперь отвечай ты, Фриц! — посредством кого назначил ты исполнение моих обещаний?

— Через *русских* и *чухонскую девку*, — отвечал Фриц.

— Когда, говорил ты, можно будет приступить к этому исполнению?

— Когда русские и чухонка побывают вместе в Рингене.

— Дней с пять они должны быть уже там. С часу на час ожидаю известия, что перелом твоей судьбы, Густав, свершился. За это теперь отвечаю; но пока не побывал в Гельмете доктор Падуанского университета, пока я не увидал Адольфа, твой стряпчий мог еще бояться за успех своих планов. Еще один вопрос: заключаешь ли ты свое счастие в том, чтобы Луиза не принадлежала никому другому, кроме тебя?

— Если она меня еще любит, чего мне более?

— Остальное предоставим богу!

— Только изо всего этого я ничего не могу понять, дядюшка!

— А вот мы сейчас все дело объясним. Выслушай мой рассказ. Адольфу не было еще шести лет, — так начал Паткуль свое повествование, — а тебе осьми, когда отцы ваши померли, один вслед за другим, в течение нескольких месяцев. Они оставили вдовам и детям своим благородное имя, не запятнанное ни одним черным делом, и довольно большое поместье. Первое наследство, благодарение богу, вами сохранено в целости; второе — вырвано из слабых рук женских ревнивою властию Карла XI и редукционною комиссиею. Изобретательное усердие этой комиссии не столько в поправлении государственных финансов, сколько в угождении власти превзошло меру несправедливости, какую можно только вообразить себе. Чтобы обогащать казну, судьи опирались сначала на законы; далее, пренебрегая и этой благовидною опорой, стали отнимать только именем короля, даже комиссии и, наконец, одним именем Гастфера. Так несправедливость, послабленная свыше, делает быстрые успехи! Это государственный антонов огонь; он заражает все тело, если в начале его не примут мер сильных и скорых.

Мать Адольфа пережила своего мужа двумя годами: после нее сирота перешел на мои руки. В способах воспитания его помогал мне ваш дед по матери, барон Фридрих Фюренгоф. Я нарочно распространяюсь об этом достойном человеке, как для удовольствия говорить о нем, так и для того, чтобы показать тебе прекрасный образец жизни честной. Дед ваш был честный человек в строжайшем смысле этого слова. Не только делом, ду-

маю, и мыслью он ни перед кем не солгал. Редко и неохотно, по принятым им правилам, ручался он за кого; но, когда ручался, тогда не требовали залогов. Сколько он был честен, столько и бережлив: можно было б назвать его хозяйственность скупостью, если бы в домашнем быту не окружало его довольство. Во всю жизнь свою не был он никому должен; ссужал деньгами только людей точных и никогда без процентов, хотя брал самые умеренные; никому особенно не благотворил; считал своими неприятелями только тех, кто жил не по состоянию и беспорядочно. Для своего стола он не был скуп, любил угостить хорошим куском и старым вином доброго приятеля, но званых обедов не делал. Дворовые люди его были хорошо обуты, одеты, сыты; но каждый из них вознаграждал эту часть хозяйственных расходов своими трудами, потому что каждый был обучен какому-нибудь ремеслу. Все, что для дома было потребно, находилось у него в поместьях и делалось дома, все, от фундамента до черепицы, от гвоздя до щеголеватого и прочного берлина, от берды ткача до затейливой шкатулки, в которой он прятал свои деньги и над которой незнающий попотел бы несколько часов, чтобы открыть ее. Сам он был всегда одет чисто, хотя нашивал свои платья по нескольку десятков лет; роскошь знал он только одну, именно — белья, которое вовремя, через усердных должников своих, выписывал из Голландии. Старость его была приятная, потому что он опрятность считал одною из добродетелей человека. Имел он дом поместительный, но чрезвычайно странный фасадом и внутренним расположением; обделывал его постепенно, смотря по надобностям своим, из маленького домика. Все пристройки к нему делались так, что хозяин не имел никогда нужды из него выходить. Прибавление каждой комнаты было памятником какой-либо эпохи из жизни Фридриха. Собирался ли он жениться: выстраивали на дворе спальню и девичью, первую только с тремя стенами, придвигали их к одной стороне дома, подводили под них фундамент, нахлобучивали их крышею, огромными, железными связями скрепляли все с главным зданием, которое можно было назвать родоначальным; наконец вырубали, где нужно, двери и закладывали окна. Родился сын: таким же образом примыкали для него комнату. Та же история для двух дочерей, для дядек, для прислуги. Можно судить, каков был этот многоугольник. Говорят, что железо, которое пошло в него, стоило целого дома, и потому-то Балду-

ин, получа его в наследство, спешил сломать на продажу.

Кроме плодовитого сада, приносившего хороший доход, старик Фюренгоф никакого не имел; не отягощал он барщиною крестьян для вычищения дорожек, которые сам протаптывал, гуляя там каждый день аккуратно два раза, поутру и после обеда, летом и зимою, в ясную погоду и дождь. Кедр, посаженный им еще в малолетстве, служил ему приятнейшим павильоном. Он имел избранную библиотеку, и все новое в области литературы и наук делалось собственностью его пытливого ума. Соседей, без разбора состояния, принимал он ласково и умел каждого занять так, что умный и глупый отъезжали от него довольные им и собою. Сам же ездил только по разу в год к двум, трем приятелям, особенно им уважаемым, в день их рождения: ни гроза, ни буря не могли помешать ему исполнять эту обязанность. В городе же, именно в Дерпте, был он только раз в двадцать лет, и то по случаю смерти своей сестры. Это путешествие сделалось эпохою по всему протяжению дороги его; теперь еще в деревнях, через которые он проезжал, и в самом Дерпте вспоминают о его раззолоченном берлине и двух долгих егерях на запятках, как об осьмом чуде.

Окрестное дворянство, знавшее его ум, твердость и благородство души, прибегало к нему за советами и помощью: где нужно было научить, защитить от притеснений сильного, вышколить судей за несправедливость, он вызывался охотно на услугу и выполнял ее с пользой для обиженного, лишь бы не требовали от него никаких расходов. Но лучшим ему панегириком служат слезы крестьян над могилою того, кого прозвали они отцом своим. Надо заметить, что его точность в образе жизни изменилась, видимо, под конец ее, по причине, которую не замедлю объяснить.

Изо всех детей своих Фридрих Фюренгоф любил предпочтительно мать твою: это была его милая дочь, его утешение в старости, его Ревекка. Никто, кроме нее, не мог старику угодить, когда он бывал болен; никто не умел, как она, оживить его пустыню. Любовь к ней старался он выказать во всех случаях. Мать твоя не возгордилась этим предпочтением; мать Адольфа им не огорчалась. Последняя скоро умерла. Фридрих, точный во всем, заранее составил завещание, которым отказывал порядочную часть недвижимого имения Адольфу, наследнику после умершей матери его, а лучшую главную

часть и все движимое имение — своей Ревекке. Сыну же своему, Балдуину, которого он к себе на глаза не пускал за его распутство, жестокосердое обращение со своими людьми и покражу у него значительной суммы денег из комода, ничего не давал, кроме мызы Ринген, преданной беспутному на жертву еще при жизни старика. Надо сказать тебе, что, несколько времени после того, как мать твоя вышла замуж и покинула дом родительский, старик, грустя по ней и скучая своим одиночеством, выпросил у отца моего дворовую десятилетнюю девочку Елисавету, из семейства Трейман[1], которое так прозвано за наследственную верность и преданность к нашему дому. Один брат этой Елисаветы — Фриц, имеющий честь быть тебе известным; другой брат — Немой, которого ты, без сомнения, здесь до меня видел.

— Он первый оказал мне самые красноречивые услуги, — прервал Густав.

— Им-то, — продолжал Паткуль, — обязан я много в нынешнюю войну. Но об этом после; теперь слово об Елисавете. Девочка эта за живую физиономию, умные ответы и особенную расторопность чрезвычайно полюбилась твоему деду. Взяв ее к себе, он старался сам образовать ее и в четыре года успел сделать из нее маленькое чудо. В такое короткое время выучилась она читать стихотворцев бегло и с чувством, писала мастерски, как будто жемчугом унизывала бумагу, и вела счеты не хуже конторщика. Успехи ученицы радовали наставника. Сначала она служила деду твоему в уединенной старости вместо игрушки; потом привычка и польза сделали ее для него необходимою. Другого чтеца, счетчика и секретаря не имел он. Наконец, по сродной преклонным летам слабости, он начал и баловать ее. Между тем в Елисавете, упредившей возраст необыкновенными успехами в умственном образовании, развивались так же скоро и страсти. В душу ее стоило только забросить искру, чтобы они воспламенялись. Маленький деспот в доме, девчонка понемногу подбирала к себе владычество и над хозяином его: заметив, что необходима для старика, Елисавета каждый день делала новые требования; старик каждый день уступал что-нибудь из прав своих. Впрочем, она пользовалась властью не для отягощения окружавших ее служителей, а, напротив, для послабле-

[1] **Верный человек *(нем.)*.**

ния их обязанностей. В последнем находила она свое торжество. Домашние любили ее, потому что она всех их баловала. Шестнадцати лет Елисавета узнала скуку, а куда заглянет эта гостья, туда наверно приходит с нею подруга ее — желание. Балдуин воспользовался этим душевным состоянием ее и бросил на нее свои хитрые виды. Приступ сделан со всеми утонченностями любовной науки. Балдуин, хотя имел близ сорока лет, был недурен собою, красноречив на искушение, казался страстным, и девчонка, наклонная к пороку, предалась обольстителю. В это время дед твой сделался болен; он гас медленно и с каждым днем приближался ко гробу — обстоятельство, поторопившее Балдуина к исполнению его замыслов. Уверенный, что обладает совершенно любимицею отца, искуситель открыл ей свое положение, свои муки; рассказал, что обязан несчастиями своими единственно проискам сестры, которая поссорила сына с отцом и готовилась будто бы выгнать постыдным образом из Фюренгофа новую владычицу его; просил Елисавету помочь ему в этих несчастных обстоятельствах и обещал на ней жениться, как скоро только отец его умрет. Чего б не обещал он тогда, лишь бы получить желаемое! Елисавета любила обольстителя со всею силою первой и последней страсти; она носила уже под сердцем залог этой преступной любви, и потому не было жертвы, которую бы не принесла ей. Все, что только мог бы он придумать к своему благополучию, обещано ею выполнить. Составлен был адский совет, в котором главное лицо играл Никласзон, водочный заводчик в одном из поместьев Фюренгофа, молодой ловкий еврей, принявший христианство и готовый каждый день переменять веру, лишь бы эта перемена приносила ему деньги, тот самый Никласзон, которого видел ты секретарем у дипломатки Зегевольд и ныне видишь моим агентом.

— И этот злодей, — прервал с жаром Густав, — осмеливается сквернить своими устами имя ангела земного!.. и он хвалится вашей дружбой, дядюшка?

— Моей дружбой?.. Негодяй! он только мой наемщик, мой слуга. Я могу плюнуть ему в лицо, утереть ногой, бросить ему после того кошелек с деньгами — и он низехонько поклонится мне! Моей дружбой?.. Я проучу его!..

(Никто из собеседников не подозревал, что Никласзон стоит в соседней комнате и слышит все, что в ней говорили.

«Теперь *выдержу!* — рассуждал сам с собою Элиас. — Но когда-нибудь и ты, гордец, попадешься на мой ноготок!»)

— Как же вы сами, дядюшка, — продолжал Густав, — могли избрать это гнусное орудие для выполнения своих политических видов?

— О! это дело иное, друг мой! Политика неразборчива на средства, лишь бы они вели к предположенной цели. Часто ласкает она существа, которые и задавить гадко. Но мы не философствовать, а просто рассказывать намерены: возвратимся же к нашему рассказу.

Составлен был адский совет, говорил я, и в нем положено было: во-первых, Балдуину явиться к отцу своему, броситься к нему в ноги, умолять его о прощении и между тем подвинуть к посредничеству духовника барона Фридриха. Этот приступ удался. Старик, чувствуя приближение смерти и убежденный христианскими доводами пастора, вымолвил прощение; но в сердце его, не только на устах, не было помину о перемене духовного завещания. С того времени Балдуин, казалось, переродился: нежнейшие попечения о больном отце, милости окружавшим его служителям, заботы о бедных в округе — все это могло ослепить чернь, но не обмануло умного старика насчет цели, с какой это делалось. Впрочем, дед твой, желая перейти за порог жизни, не отягощенный ненавистью к сыну, показывал при всех если не нежность к нему, по крайней мере, милостивое с ним обращение. Это обстоятельство впоследствии времени немало служило к оправданию злодея. Старик ожидал со дня на день приезда милой дочери своей, жившей с твоим отцом под Ревелем. Она не ехала — и немудрено: письма к ней и от нее были перехватываемы. Мнимое равнодушие ее подтачивало последний корень, которым дед твой держался еще к земле. Как будто нарочно, для лучшего успеха злодейского плана, пришло от дочери письмо, которым уведомляли старика о безнадежности состояния твоего отца. Убийственная посылка была на время задержана. Между тем завещание искусно украдено Елисаветой, знавшей все мышьи норки в доме, и как оно было писано ее рукой, то и составлено этой же рукой новое. Этим завещанием барон Фридрих, будучи в полном уме и памяти, совершенно уничтожал старое и, в уважение раскаяния и исправления сына, также, чтобы благоприобретенное имение Фюренгофов не могло перейти в другой род, делал Балдуина главным наследни-

ком всего своего богатства, движимого и недвижимого, за исключением небольшой части, назначаемой дочери, оставшейся в живых, и сыну умершей дочери. А чтобы вновь составленный акт имел более благовидности, завещатель обязывал в нем Балдуина избрать себе в наследники, по своему благоусмотрению, одного из своих племянников, к которому уже все имение должно было перейти с фамилией Фюренгофа. Элиас, умевший мастерски подписывать под разные руки, подмахнул под руку барона Фридриха так искусно, что лучшие приятели его не могли в подписи усомниться. Когда же это было улажено, предъявили больному письмо твоей матери и новое, вслед за тем пришедшее, которым уведомляли о смерти отца твоего. Убийственная посылка имела действие, предугаданное злодеями, без всяких других насильственных средств, хотя Никласзон и уверял своего доверителя, что химия его в этом случае много помогла. Как известно сделалось мне впоследствии, это была выдумка, чрез которую хитрый поверенный думал взять более власти над душой злодея. Водяная, мучившая деда твоего, поднялась в грудь, и он лишился языка. Призваны были в комнату умирающего духовник его, несколько служителей-стариков и один из соседей, только именем дворянин, должник Балдуинов. Послано и за самим Балдуином, нарочно уехавшим дня за два в свой притон. Твой дед держал в костеневшей руке завещание; из другой только что выпало перо. Будучи еще в памяти, он с горестным видом кивнул на роковую бумагу. Пастор, простодушный и торопливый, вынул ее из руки и, увидев, что это было духовное завещание, прочел его при всех. Знаки нетерпения, которые умирающий силился показать при этом чтении, перетолкованы духовнику за желание, чтобы акт был им скорее подписан, пока сохранялась в завещателе жизнь. Дед твой навеки смыкал глаза, а духовник скреплял подложный акт; за ним подписал и дворянин, о котором я говорил. Этот между тем предостерег пастора, что, для избежания всякого сомнения со стороны наследницы, не худо б заставить старых служителей присягнуть, что они все видели и *слышали* волю покойного на засвидетельствование духовной — и это выполнено в точности простодушным пастором. Акт, сделанный по форме, представлен в суд. Судьи знали хорошо подпись барона Фридриха и удостоверили законность акта. Вскоре родились, однако ж, подозрения; мать твоя протестовала против него; но деньги, сильное

ходатайство баронессы Зегевольд, с которой в то время сделано было известное условие, и, наконец, присяга духовника и служителей выиграли спорное дело в пользу преступления, которое владеет имением твоим и доныне. Но бог, рано или поздно, карает злодеев. Час твоего дяди пробил.

Мы бранили Элиаса Никласзона: теперь расскажу тебе об одной черте его дальновидного ума, за которую он годился бы в дипломаты. Он утаил у себя, на всякий случай, истинное духовное завещание, а своему покровителю объявил, что сжег его и развеял даже его прах. Эта догадка была не лишняя. Балдуин в первый год обладания своими сокровищами был признателен к тем, которые помогли ему достать их: Никласзон возведен в степень поверенного по делам; жалованье, по условию, ему исправно выдано. Во второй год оказалась маленькая неустойка, в третий большая, и так постепенно, с каждым годом, до того, что поверенный, в один срок платежа, отпущен с руками, полными одних извинений и жалоб на неурожай, худые обстоятельства и тому подобное. Элиаса, однако ж, боялись еще и, в вознаграждение за денежные недоимки, удовольствовали его самолюбие, определив его секретарем к баронессе Зегевольд. Он казался довольным; но осадка мести лежала на дне сердца его, и стоило только дать ему сильный толчок, чтобы возмутить ядовитый настой. С Елисаветой обходились каждый год хуже. Причин много к тому было: надлежало отклонить подозрение, что она участвовала в подложном завещании; великодушием своим к дворовым людям, щедростию и желанием владычествовать в замке беспрестанно сталкивалась она с низкой душой, скупостью и тиранством Балдуина; наконец, нужно было заменить старую любимицу новой. Мальчик, которого Елисавета родила, давно сослан был на прокормление к родственнице ее, бабке Ганне, живущей под Гельметом. Это приятель твой, Мартышка, напугавший тебя так много в роковой вечер *у трех сосен.*

— Недалеко же упало семя от злой крапивы, — сказал Густав.

— Никласзон, соболезнуя об участнице его преступления, открыл ей, каким драгоценным сокровищем он обладает. Свобода не столько бы обрадовала заключенного, как Елисавету эта весть. В душе ее, измученной раскаянием, ревностию к сопернице, неблагодарностию ее обольстителя, жестоким обхождением с ней, встала

месть во всем страшном своем вооружении, со всеми орудиями казни. Бывшая любимица твоего деда, прежде столь гордая, пала к ногам Никласзона, обнимала их, умоляла осчастливить ее уступкой рокового завещания и давала клятву, самую ужасную, употребить его в дело тогда только, когда он ей это дозволит и найдет удобным, не жертвуя своею безопасностью. Никласзон сжалился над ней, или, лучше сказать, расчел выгоды и невыгоды этой уступки, и — завещание было в руках Елисаветы. Этому прошло пять лет. Могу тебе сказать теперь, что к этому времени двое моих друзей, подавая мне из Лифляндии в Лозань руку помощи, вербовали мне приверженцев и лазутчиков в моем отечестве. Они бросили виды свои на Элиаса. Потомок Иуды был скрытен, умен, лукав; золото ослепило его, и он сделался моим. С того времени, исправно получая условленные деньги и поощряемый наградами не в зачет, он верно служил мне. В этом должен я отдать ему справедливость. Перемена службы немало побудила его к уступке завещания Елисавете, которой оно принадлежало по праву злополучия. Несчастная, угадывая злодейские над собою замыслы Фюренгофа, решилась в одну ночь бежать; но, успев только сползти из окна по стене, услышала за собой погоню. Увернуться от нее было невозможно. Она спряталась в саду. Уже мелькали исполнители злодея. Что делать? Оставалось только спасти орудие своей мести. Роковая бумага завернута в платок, в другой, потом в башмак и сунута в глубокое дупло дерева, растущего под окном кабинета ринrенского властелина.

— Может быть, — произнес Густав с каким-то страхом, — дерево это давно срублено или сгнило?

— Провидение хранит его для наказания злодейства. По крайней мере, мы не теряем в этом надежды. Пойманная Елисавета заключена в особую комнату под жесточайший присмотр. Об ее несчастной участи узнал Никласзон и спешил к ней на помощь. Он уговорил Фюренгофа, только для вида, сжалиться над своею пленницею, простить ее и отпустить с ним, будто для свидания с ее сыном, в Гельмет, откуда обещал, через несколько дней, отправить в Елисейские поля этого опасного для них обоих свидетеля. Рингенский барон не знал скорейшего средства избавиться от нее и согласился. Через несколько дней получено им в самом деле известие, что Елисавета не существует. Он так обрадовался этому известию, что сшил своей новой любимице Марте тонкий чепчик, себе сделал модный парик и решился было вы-

дать Никласзону один год недоимки, но, подумав, что этот поверенный не смеет изменить ему собственно для себя, отсчитал ему только кучу благодарностей. Впоследствии секретарь баронессы, продолжавший называться преданнейшим человеком Фюренгофа, действовал заодно с Елисаветою; даже еще в недавнем времени диктовал ей красноречивое письмо, которым грозил ему и вместе себе роковым завещанием. Елисавета укрылась здесь, на мызе моего доброго приятеля доктора Блументроста. Когда же я сам явился инкогнито в Лифляндию, когда мой верный Фриц определился кучером к баронессе Зегевольд, чтобы надглядывать над Никласзоном и получать по возможности своих средств сведения о том, что происходило кругом Гельмета...

— Извините, дядюшка, что прерываю вас. Каким же образом баронесса и другие неприятели ваши не отгадали лазутчика в Фрице, которого они должны были по вас прежде знать?

— Нет, друг мой, они его вовсе не знали. Отец мой в разные времена своей жизни имел пребывание в Стокгольме и умер там. Семейство Треймана было с ним неразлучно. Там отдал он Фрица, еще мальчиком, в берейторы и ветеринары. Кончив курс учения, Фриц оставался всегда в резиденции для надзора за лошадьми, которыми отец мой особенно любил щеголять и славился во всем королевстве. Неоднократно служитель умел оказывать своему господину опыты редкой преданности и верности. Господин умел их чувствовать и ценить: со смертного одра своего благороднейший из людей и нежнейший из отцов поручал меня с братом этому служителю, как родственнику, как другу. Я путешествовал тогда. По приезде моем в Лифляндию Фриц жил у моего брата, стоявшего с полком в одной из отдаленных провинций Швеции; поступил же ко мне, когда начались мои несчастия. Теперь моя помощь вам нужнее, говорил он, и оправдал свои слова на деле. Всем был он для меня в черные дни мои: спасителем от позорной казни, меня ожидавшей, потому что он более всех способствовал к моему бегству из Стокгольма. Он питал меня во дни голода, утешал в изгнании; теперь помощник мой в освобождении Лифляндии от ига шведского. Но я замечаю, что тронул твою слабую струну...

— Не то читаете вы, дядюшка, на лице моем: я хотел спросить, почему знает меня Фриц?

— Он видел тебя в Стокгольме, у меня в доме, перед вступлением твоим в университет... Итак, когда построе-

ны были все мои политические виды в Лифляндии, куда тайно приезжал я нередко, когда русские войска вступили в здешний край, в душе Елисаветы зажглись темные надежды мщения. Войско русское могло быть в Рингене!.. Почему ж и ей не быть там вместе?.. С этою мыслью и разными видами, которые мне сообщила, она поступила маркитантшею в корпус Шереметева, под именем чухонской девки Ильзы. Чего не испытала она там в два года между солдатчины!.. Но близок час ее торжества; может быть, он уже наступил. Секира, лежавшая у корня, должна быть поднята, и древу нечестия пришло время пасть. (Паткуль в благоговении прочитал про себя молитву.) Молись богу, добрый мой Густав, и Луизу не отнимут у тебя.

— Дядюшка! благодетель мой! если б это так было!..

— Обещался ли б ты тогда оставить шведскую службу и вступить в русскую?

— Никогда, никогда, хотя б это стоило руки Луизы! Я умру верным моему законному государю.

— Даже и тогда, когда отечество твое признает своим государем Петра Великого и присягнет ему на верность?

— Тогда... Это не может быть!..

— Но если бы это случилось?

— Тогда б и я служил Петру, государю Лифляндии. (Паткуль молча пожал ему руку.) Но что я говорю? До какого слова довели вы меня, дядюшка! Я себя не узнаю. Когда мое отечество гибнет в пожарах и неволе; когда мои ближние, мои друзья идут тысячами населять степи сибирские, в то время имя Петра, виновника этих бедствий, на устах моих и, может быть, в моем сердце заменило имя законного моего государя... Луиза! — вскричал Густав, закрыв глаза руками. — Ты это все делаешь! — Потом, немного подумав, сказал он Паткулю: — Воля ваша, дядюшка, я не понимаю, какие надежды могу иметь. Получение имения?.. На что мне оно в неволе, без нее? Счастливее был бы я в тысячу раз, если бы вместо богатства пришла она без придачи в мою бедную мызу — наследство бедного отца; я принял бы ее тогда, как божество, которое одним словом может дать мне все сокровища мира.

— Я не всемогущ. Могу тебе только сказать: будь покоен. Если Ильза не умерла до прибытия русских в Ринген, так брат твой не женат на Луизе. Все прочее предоставим богу; а покуда будем ожидать благоприят-

ного послания от нашей феи, обладающей талисманом всемогущим.

Так кончился разговор, открывший многое Густаву. Нельзя выразить мучительное положение, в котором он провел целый день между мечтами о счастии, между нетерпением и страхом. Иногда представлялась ему Луиза в тот самый миг, когда она, сходя с гельметского замка, с нежностью опиралась на его руку и, смотря на него глазами, исполненными любви, говорила ими: «Густав, я вся твоя!» То гремело ему вслух имя Адольфа, произнесенное в пещере, или виделось брачное шествие брата его с Луизой...

Утром следующего дня Паткуль пришел к нему с бумагою, только что полученною от Ильзы на имя господина Блументроста. Принесший ее был чухонский крестьянин, которому заплачены были за эту услугу большие деньги, с обещанием такой же награды при доставлении.

— Друг мой! — сказал Паткуль племяннику своему. — Я не развертывал до тебя рокового послания. Возложим упование наше на бога и с твердостию, сродною нашему полу, приступим к чтению.

Здесь поднял он глаза к небу и с трепетом сердечным, как бы его собственная судьба заключалась в бумаге, развернул ее. Он обещал много... и горе ему, если он питал напрасно любовь и надежды Густава! Горе последнему, если дядины слова не сбудутся!

— Постойте, дядюшка! — вскричал Густав. — Подождите читать; не убивайте меня вдруг; дайте мне однажды перевести дух.

— Малодушный! помни: Луиза смотрит на тебя. Человек, не умеющий управлять собою, недостоин ее.

Это волшебное имя придало силы несчастному, и он готов был спокойнее выслушать свой приговор.

— Письмо это на имя Блументроста, — продолжал Паткуль, пробегая глазами бумаги и перевертывая листы. — Понимаю, предосторожность не лишняя! Но рука незнакомая и подписи не видно! Боже мой! сколько лоскутов, и что за чепуха!.. Постараемся пройти через этот дедал. Но вот письмецо, вероятно писанное женскою рукою. Оно к тебе адресовано, милый друг, и запечатлено именем, для тебя драгоценным.

Записка была уже в дрожащих руках Густава. Он пожирал на ней глазами и сердцем следующие строки:

«Густав! женщина, посланная от тебя, сказала мне, что ты ранен, болен и умрешь, если на вечное прощание не скажу тебе слова утешения. Какое утешение может дать та, которая сама более имеет в нем нужду, нежели кто-нибудь? Сказать ли мне, что я тебя люблю? Ты это знаешь; и на что тебе теперь это слово?.. что сделаешь из него?.. Повторяя его тебе, я уже преступница: через несколько часов я жена твоего брата. Велят, и я повинуюсь. Прости! Будь счастлив: мысль об этом усладит немногие дни, которые осталось жить *Луизе З.*»

— Свершилось все, дядюшка! — воскликнул Густав, целуя записку и рыдая над нею. — По крайней мере, с этим залогом умереть не тяжело. Она меня любит!.. Чего ж мне более?.. Луиза моя!.. Сам бог мне ее дал... Она придет к тебе в дом, Адольф, но не будет твоя. Ты не знаешь, что она сердцем сочеталась со мною прежде!.. Скоро уйдет она от тебя ко мне, к законному ее супругу. Ложе наше будет сладко... гроб! Из него уж не повлекут ее силою. В гробу ведь не знают власти матери.

В глазах Густава было что-то дикое; с ядовитою усмешкою он обращал их на все окружавшее его; он весь дрожал. Записка упала из рук. Паткуль поднял ее.

— Успокойся, друг мой! — сказал тот, пробежав ее, и потом, ласково взяв руку своего племянника, прибавил: — Ты прочел не всю записку. Взгляни: вот отметка, сделанная рукою твоего благороднейшего брата. Всмотрись хорошенько. Успокойся, прошу тебя именем Луизы.

При этом имени Густав вздрогнул, потер себе лоб рукою, озирался, как бы не знал, где он находится и что с ним делается. Паткуль повторил ему свое замечание, и он схватил опять записку Луизы. Действительно была на ней следующая отметка: *«Я читал это письмо и возвращаю его по принадлежности. Будь счастлив, Густав, повторяю, — вместе с Луизою. Благодарю бога, что еще время. Давно бы открыться тебе брату и другу твоему Адольфу Т.»*.

За этой запиской следовала другая: *«Я отмщена. В дни счастия своего не забудьте злополучной Ильзы»*.

Густав не верил глазам своим; читал, смотрел радостно на дядю, углублялся в думы, еще перечитывал. Глаза его просветлели; сладкие слезы полились из них и облегчили его сердце, сдавленное горестию.

— Я еще ничего не понимаю, — сказал он наконец, бросаясь обнимать Паткуля, — но уже счастлив.

— Поищем объяснения в этой бумаге; но клянись мне прежде не дурачиться более и помнить одно: тебя любят, и твоя любовь известна брату, каких мало на свете. С тебя пока довольно.

— Клянусь быть спокойным, что бы ни было написано в бумагах, еще не прочтенных: после той, которая у меня, я ничего не страшусь. Добрый, благородный, милый Адольф! я тебя постигаю.

Взглянув на Густава с усмешкой, как бы не доверяя ему, Паткуль начал читать вслух по порядку листы, бывшие у него в руках:

— «Вы удивитесь, почтеннейший господин доктор, получив от меня письмо из Дерпта, и так небрежно написанное на нескольких лоскутках. Причиною тому чудесные происшествия, случившиеся в семействе Зегевольд, и поспешность, с которою я извещаю вас о них: они перевернули весь дом вверх дном, вскружили мне голову до того, что я не в состоянии ныне классифировать порядочно ни одно растение, и так деспотически мною управляют, что я, не имея бумаги, принужден выдирать на письмо к вам листы из флоры, которую составил было во время моего путешествия от Гельмета до Дерпта. Ах, почтеннейший господин доктор! какую собрал я коллекцию драгоценных растений, по которым нередко вздыхали мы так тяжко! Если бы вы могли видеть чудесный ranunculus septentrionalis, который отыскал я — и где ж, как бы вы думали? неподалеку от salix acutifolia foemina. А вы знаете, мой любезнейший друг, что женский пол этого рода, бывший доселе у нас неизвестным, почитали только дикорастущим на берегах Каспийского моря...» — Тут Паткуль, потеряв терпение, пожал плечами и сказал:

— Спешит же чудак уведомить о делах фамилии Зегевольд!

Потом пробежал глазами несколько строк, бормоча про себя, и вдруг начал читать опять вслух:

— «Вы только можете поверить, с какою любовью обнял я эту прелестную Дафну, доселе убегавшую от моих поисков, — вы только, потому что ваше сердце бьется, как и мое, при виде этих прекрасных творений... И что ж? Злодеи, служители баронессины, выбросили...» — Тьфу, пропасть! да это целая история ивы. Сколько молчалив он на словах, столько болтлив на бумаге. Боже мой, пошли мне терпение! Брр, бр... Наконец берег, берег! — «Я, кажется, сказал вам в начале письма, что не писал бы к вам так скоро после свида-

ния нашего, если бы не просила меня об этом убедительно одна несчастная женщина, которой имя узнаете из содержания этого письма и в судьбе которой, как она мне изъяснила, вы принимаете такое же искреннее, живое участие, как и в судьбе моей воспитанницы. По-видимому, звезда одной имеет сильное влияние на путь другой. Вы должны, во-первых, знать, мой почтеннейший, что мы с Адольфом Траутфеттером едва довезли больную Луизу до Гальсдорфа, поместья гопожи баронессы, неподалеку от Рингена, — поместья, которое обладательница его близ десяти лет не видала и откуда мы выпугнули сотни летучих мышей. Одну из них, весьма замечательную по устройству головы, берегу в банке. Она, — то есть баронесса, хотел я сказать, — до сего времени не любила Гальсдорфа; но в беде пригодится иногда и то, на что мы прежде и смотреть не хотели. Все нежнейшие попечения влюбленного жениха были истощены, чтобы успокоить страждущую или, лучше сказать, умирающую невесту. Кажется, для спасения ее он пожертвовал бы жизнию. Жаль мне было доброго, благородного Адольфа! Луиза принимала его услуги с признательностию, казалась внимательною к его попечениям; между тем душевный огонь видимо пожирал остатки ее жизни. Адольф приписывал это состояние разлуке с матерью, неизвестности о ней в такое злополучное для Лифляндии, и особенно для Гельмета, время и тому подобному. Но я видел, что болезнь ее имела одинакий источник, как и та, от которой вы излечили мою воспитанницу нынешней весной. День ото дня нежней становился Адольф, день ото дня — Луиза грустнее. Худое выйдет из этого, думал я; но этому худу помочь было нечем. Приехала через двое суток баронесса, скучная, молчаливая, кажется, из доброй школы, потому что отложила в сторону все дипломатические заботы. Она помышляла, говорила только об одном: устроить скорее счастье своей Луизы. А я так думал: этим счастьем ты довершишь ее! Адольфа умела в это время дипломатка ослепить до того, что он бредил только о своем будущем благополучии. Тогда же получено нами известие, что в Ринген приходили татары с ужасным своим предводителем, и приходили, как антикварии, взглянуть на развалины замка. К удивлению общему, они были смирны там, как ягнята; никого не тронули на волос; ни у кого не взято даже нитки. Можно сказать, что Фюренгоф вышел сух из воды. Вместе с этим известием прошла в околодке нашем молва, что с войском азиятским в Рингене была какая-то колдунья, бросила мертвого золотоволосого мальчика

пред окнами барона, вынула из дупла какого-то дерева гнездо в виде башмака, с ужасными угрозами показала его издали Фюренгофу, говорила о какой-то бумаге и ускакала на черном коне вместе с татарским начальником. С того времени барон слег в постель и не допускал к себе никого, кроме своей верной Марты. Простой народ говорит, что колдунья утащила гнездо, в котором лукавый нес барону золотые яйца; с того-де и тяжело ему стало. Между тем у нас в Гальсдорфе решено было отпраздновать свадьбу и вслед за тем, вместе с новобрачными, ехать в Дерпт, куда комендант тамошний приглашал Адольфа укрыться от неприятеля и на службу. Послали к Фюренгофу с испрошением на все это его утверждения, согласно известному условию. Вместо ответа приехал он сам и, что нас немало изумило, требовал, чтобы свадьба была отправлена как можно поспешнее. Этого только и хотела баронесса. Перед роковой церемонией пришла ко мне моя воспитанница. Она была бледна как мертвец; глаза ее помутились. Она схватила мою руку своей ледяною рукою, и холод смерти сообщился мне. Я не мог удержать слез своих. «Друг мой! мне и плакать не велят, — сказала Луиза, сжимая мою руку. — Я пришла с тобой проститься и... (Тут легкий румянец означился на щеках ее; глаза ее сверкнули погасающим пламенем; она сняла с груди крошечную шелковую подушечку и подала мне ее.) Этот дар прислал мне *он* в последний день моего рождения; никто мне этого не сказывал, но я знаю, что это прислал *он*. У сердца моего хранился милый дар доныне: никто, кроме сердца моего, не знает об этом. Я хотела, чтобы его вместе со мной положили в гроб... Сделавшись женою другого, я не могу его иметь при себе. Когда меня не будет на свете — а этого ждать недолго, — возвратите его Густаву. Обещаете ли?..» Слова ее раздирали мне душу; я хотел ее успокоить, но только мог плакать. Мы плакали вместе. Я ей все обещал. Луиза хотела еще что-то сказать, но послышались шаги баронессы, преследовавшей свою жертву. Вошедши в мою комнату, она сурово взглянула на нас и повлекла несчастную к алтарю. В эти роковые минуты я не мог покинуть свою Луизу: я присоединился к ней у входа в церковь. Она едва могла с моею помощию и жениха взойти на лестницу. Адольф заметил ее состояние и спросил ее с нежным участием, не больна ли она. «Немножко!» — отвечала Луиза и едва не упала на мои руки; но грозный взор матери оживил ее. В храме находились только баронесса, Фюренгоф, я и

домашние. Баронесса была угрюма; миллионер все першил, будто страдал чахоткою. Адольф был невесел; служители плакали так, что некоторые принуждены были выйти на паперть. Церемония походила на погребальную процессию...»

— Поэтому она... — вскричал Густав задыхающимся голосом.

— Безумный! — перебил с сердцем Паткуль. — Что обещал ты мне? Разве не имеешь в собственных руках залога своего спокойствия? Начинаю сомневаться, достоин ли ты его. Не прерывай меня, или я сам замолчу.

— Нет, нет! ради бога, продолжайте.

Паткуль начал снова чтение:

— «Церемония походила на погребальную процессию. Казалось, сама природа хотела сделать ее еще пасмурнее. День уже вечерел; черные тучи собрались со всех сторон и повисли над храмом; бушевал ветер, и оторванный лист железа на кровле, стоная, раздирал душу. Пастор готов был произнести слово судьбы, как вдруг отворилась с шумом дверь церкви и перед нами появилась высокая женщина, с лицом медного цвета, с черными длинными волосами, распущенными по плечам, в нищенской одежде. Глаза ее ужасно прыгали и, казалось, издавали от себя пламень. Мы все с трепетом отступили от этого привидения; но всех более, видимо, перепугался Фюренгоф: лицо его начало подергиваться ужасными конвульсиями. «Стой!» — закричала женщина страшным голосом, которого я не слыхивал в жизнь мою, и... (Паткуль с нетерпением схватил последний лист, чтобы читать продолжение) и... Sphagnum obtusifolium настоящая губка, поглощающая...»

— Что это значит? — вскричал чтец с неудовольствием. — Наш мудрец не обернул ли в забывчивости вверх ногами лист, на котором начато было его травяное рассуждение? Нет, это не так; и это все не то, — продолжал он, оборачивая лист на разные стороны. — Посмотрим опять: «Sphagnum obtusifolium настоящая губка, поглощающая необыкновенно много воды и имеющая свойство расширять свои сосудцы до величины изумительной...» — Чтобы черт меня побрал, если я тут что понимаю! Весь последний лист исписан рассуждением об одном и том же растении; а окончания настоящего рассказа о Луизе не видно.

— Что он со мною сделал! — воскликнул Густав, который доселе едва смел дышать.

— Безделицу! От проклятого рассеяния, второпях,

он, наверно, смешал листы и вместо того, который нам нужен, всучил свою Srhagnum obtusifolium, чтоб ему самому превратиться в Srhagnum... О! если бы он попался мне теперь, я выжал бы из этой негодной губки все, что он утаил от нас! Негодяй! болван, годный только вместо бюста Сократа на запыленный шкап деревенской библиотеки!..

Паткуль ходил взад и вперед по комнате широкими шагами, пыхтел от досады и наконец засмеялся.

— И мы, — сказал он, — мы настоящие дети: сердимся на чудака, благороднейшего из людей, за слабость, которой сами причастны. Не все ли мы имеем своего конька? Не все ли поклоняемся своему идолу: я — чести, ты — любви, Фюренгоф — золоту, Адам — своей флоре? О чем ни думает, что ни делает, флора в голове его, в его сердце. И что ж? Когда мы впадаем в безумие от того, что не можем удовлетворять своей страсти, неужели не извиним в другом припадка безумия от любви, более бескорыстной, более невинной и чистой?

— Дядюшка! но он на волос повесил меч над головой моей.

— Неблагодарный! прочти еще раз записку Луизы и брата своего, — отвечал спокойно Паткуль, — и благодари судьбу за милости, которые она так явно тебе посылает. Со своей стороны воссылаю тебе, о боже всемогущий, благодарение за то, что не постыдил меня и совершил мои обеты.

Густав прочел еще раз письмо Луизы.

— Да! я виноват перед тобою, господи! — сказал он и, пав на колена, пролил слезы благодарности перед творцом своим за любовь к нему Луизы и ниспослание залога, примиряющего его с жизнию и надеждами, хотя темными, но все-таки драгоценными.

Следующий день был днем разлуки горестной. Густав отправлялся в Россию с другими офицерами, взятыми в плен в разных сражениях. При прощании с дядею ему дано слово заботиться и в отдалении о его благополучии. Что сталось с ним, когда он, сидя на двухколесной латышской тележке, подъехал к повороту в землю неприятельскую и взглянул назад на дорогу, которая вела в места, для него столь драгоценные? Едва закрывшиеся раны его сердца вновь растворились... Кто терял свое отечество и оставлял в нем любимую женщину, может судить, что он чувствовал. Когда-то он увидит их? Какие перемены могут в это время случиться! Теперь Луиза свободна: в этом уверяет письмо ее, засвидетель-

ствованное Адольфом; но Луиза еще не его! Кто поручится, что ее не принудят выйти за другого? Где она? что с нею? Какая судьба постигнет его отечество? Какие собственные его надежды?.. Запросы эти пропадали в мрачной неизвестности. Он посмотрел вперед на дорогу в Россию — в эту бездну должен был он броситься, — и сердце его замерло... Он оборотился еще раз на дорогу в Лифляндию — глаза его наполнились слезами. Тележка двигалась; с каждым шагом лошади цена его потерь делалась для него чувствительнее: он ничего не взвидел и бросился на солому.

Паткуль уехал ко двору Петра. Проводив мнимого господина Фишерлинга, швейцарка шла, рыдая, в свое отечество за угрюмым отцом своим и, казалось, готова была выплакать свое сердце. Ей назначено тайное свидание в Германии: любовь или жалость его назначили, мы не знаем, но известно только нам, что без того б Роза осталась умереть на мызе, где похоронила свое спокойствие и счастие.

Владимира и слепца давно не было на мызе. Опередив ночью русское войско, они отдыхали на последней высоте к Мариенбургу. Сзади оглядывался на них золотой петух оппекаленской кирки; впереди показывались им блестящим полумесяцем воды озера, врезанного в темные рамки берегов; чернелся в воздухе высокий шпиц мариенбургской колокольни, и за ней, как искры, мелькали по временам в амбразурах крепости пушки, освещаемые лучами восходящего солнца. Уже был слышен перекатный бой барабана, возвещающий *побудок*...

## *Глава осьмая*

## ЧТО ДЕЛАЛОСЬ В МАРИЕНБУРГЕ?

> Деревни, города пылают; тихо
> Еще у нас в долинах... но дойдет,
> Дойдет и к нам гроза опустошенья!
>
> *«Орлеанская дева»,*
> *перевод Жуковского*

Мы так привязаны к одной из героинь нашего романа, что не будем скупиться на описание местечка, оживленного ее пребыванием. Думаю, что *со временем* читатели за это не посетуют на нас.

Замок мариенбургский [1] основан в 1341 году орденмейстером Бурхардом Дрейлевеном для защиты границ Ливонии от русских. Первый комтур замка был Арнольд фон Фитингоф, по странному стечению случаев, предок и однофамилец нынешнего владетеля Мариенбурга. Как и прочие замки в Лифляндии, переходил он из рук в руки то к русским, то к полякам или шведам: все они точили об его бойницы железо своих мечей и стрел. В 1658 году Мариенбург осажден и взят русскими под предводительством Афанасия Насакина. Через четыре года сдан он шведам вследствие Кардисского договора — прибавить надо — неохотно. При исполнении его обе стороны посчитались довольно жарко, к невыгоде наших предков. В начале борьбы Петра с Карлом XII военачальник последнего, Шлиппенбах, исправил укрепления замка. Только с 1702 года Мариенбург становится для нас особенно занимательным.

Воображение, увлекаемое историческими воспоминаниями этого времени, окидывает его волшебною сетью. Еще не видав Мариенбурга, представляешь его себе каким-то садом Армидиным; увидев — не разочаруешься. Все в нем соответствует той, которая некогда украшала его своим присутствием и украшала потом... Но речь теперь о Мариенбурге. Живописнее мест я мало видывал. Для сравнения с приятнейшими местами Германии недостает ему только европейской населенности.

Хотите ли иметь лучшую точку зрения на окрестности? Ступайте на высоту, где стоит храмик, с большим вкусом сооруженный нынешним владетелем Мариенбурга. Высоты этой не было до 1702 года. Чтобы скорее овладеть замком, Шереметев, так же как и при осаде Азова, рычагом тысячей рук передвинул издалека земляной вал, за которым укрывались осаждавшие; взгромоздил бугры на бугры, засыпал ими берег в уровень замка и, с высоты громя твердыни, требовал покорности. Насыпи, исключая высшую, под храмиком, обросли густыми рощицами. Между ними проведена дорога, по которой можно добраться до него в экипаже. Думал ли полководец русский, что он своими батареями украсит владения лифляндского барона и устроит посетителям

---

[1] По-латышски *Алуксне*, по-русски — *Алист*, находящийся в уезде бывшем *Розула*, ныне Венденском, близ угла, где сходятся границы Псковской и Витебской губерний, в сорока пяти верстах от *Нейгаузена*, или *Новгородка Ливонского*, в шестидесяти верстах от Печоры.

Мариенбурга самое выгодное и приятное место для обозрения его окрестностей? Отсюда попросим читателя нашего смотреть на них.

Развалины замка, образующие неправильный шестиугольник, стоят на небольшом острове овальной фигуры, в южном заливе мариенбургского озера. Они, кажется, выплыли из вод, оставив окрайницы земли и мыски, едва заметные. Война будто нарочно взорвала крепость, чтобы сделать еще живописнее мариенбургскую окрестность: развалин красивее не мог бы создать искуснейший архитектор. Природа-зодчий, соперничая с человеком в украшении острова, с большим вкусом поместила кое-где на берегах его кудрявые деревья, которым дали жизнь семена, с материка заброшенные. Остатки замка, выступая из вод и погружаясь в воды, двоят красоты этой картины. За островом, прямо на противном берегу, возвышается кирка. Она построена в новейшие времена и славится в Лифляндии своею огромностью и изяществом архитектуры. Несколько правее, на берегу же озера, из купы дерев, разделенных цветником, выглядывает простой, но красивый домик пастора[1]. На этом самом месте стоял дом, где жили Глик и его воспитанница. Посещая жилище нынешнего пастора, забываешь, что их не найдешь более. При каждом стуке двери — думаешь: не взойдет ли прекрасная Кете? Так очаровательно воспоминание о ней! Правее от пасторского домика, на холме у загиба озера, красуется березовая, чистая рощица. Время ее засадило. На этом возвышении стояла кирка, в которой патриарх мариенбургский напутствовал свою паству к добру и Катерина Рабе певала в хоре смиренных прихожан песнь хвалы и благодарения богу, для нее столь щедрому. Здесь нынешний владетель Мариенбурга, барон фон Фитингоф, пламенно любя все изящное и высокое, предполагал поставить памятник. Вместо двух одиноких корчм, ныне разделенных целою верстою, местечко занимало берег. Левее от нынешней кирки стоит господский домик с принадлежностями; от него по берегу тянется сад, располо-

---

[1] Нынешний пастор господин Рюль, умный, любезный, достойно уважаемый и любимый своею паствою. Гостеприимство его буду всегда помнить с особенным удовольствием. С каким восторгом рассказывал он мне о тех, которые с лишком за сто лет украшали его обитель! Ему-то я особенно обязан за драгоценные о них сведения, за что приятнейшим долгом почитаю свидетельствовать ему здесь мою благодарность.

женный со всеми затеями вкуса и богатства. Берег озера с многочисленными заливами на пространстве нескольких верст то убран рощицами и холмами, как грудь красавицы пышною оборкою, то усеян рыбачьими хижинами, деревнями и красивыми мызами, которые глядятся в воды и в них умываются. Кое-где, посреди вод этих, выступают зеленые букеты дерев или волнуются по ним полосы раззолоченной осоки. В разных направлениях по временам летят большие лодки, взмахнув крыльями своих парусов, и скользят челноки, едва заметные, как водяные букашки. Иногда всплывают на озере снежные острова, образуемые стадами лебедей, или над ним тянутся они, воздушные пилигримы, длинною вереницей.

Схватывая опять нить происшествий, которую мы было покинули для описания Мариенбурга, просим вместе с этим читателя помнить, что в последних числах июля 1702 года замок существовал во всей красе и силе своей и вмещал в своей ограде гарнизонную кирку, дом коменданта и казематы, что против острова по дуге берега пестрело множество домиков с кровлями из черепицы. Из них выступало грудцой жилище пастора Глика, и на холме возвышалась кирка, довольно древняя, а вправо, где воды озера наиболее суживаются, остров сообщался с материком деревянным мостом, которого сваи и теперь еще уцелели.

Стемнело на дворе, когда цейгмейстер Вульф возвращался в свои казармы. Он только что отрапортовал, после вечерней зори, своему старому коменданту Тило фон Тилав о благополучном состоянии крепости и выслушал от него грустное сознание, ежедневно повторяемое и ежедневно приправляемое вздохами, что бойницы, в случае нападения неприятеля, не в состоянии будут долго держаться. Скучный и грустный, Вульф взошел на крепостной вал. Голубой свод неба над его головою, испещренный мириадами звезд, и другой свод, в такой же блестящей красе, опрокинутый под его ногами, образовали дивный шар, которого он составлял средоточие.

«Как мал человек в этом нерукотворном храме! — думал Вульф. — Но как возвышается он, умея постигать тебя, мой боже, и к тебе духом приближаться!»

Цейгмейстер скинул шляпу, преклонил колено и с горячими слезами на глазах молился. Никогда еще молитвы его не были так усердны. Встав, невольно взглянул он на противолежащий берег, где стоял дом пастора. Жилище Глика потонуло во мраке: ни один огонек

не мелькал в нем, потому что хозяин его еще не приезжал. Цейгмейстер и не ожидал его так скоро. Вздохнув, он собирался сойти с вала, как вдруг в доме пастора блеснул огонек, другой; огоньки начали ходить, вышли на крыльцо и осветили его. Можно было различить фигуры старика и молодой женщины. Сердце артиллериста не на месте. Это они, это Кете, нельзя сомневаться. Он хотел бы перескочить к ним через воды; но барабан пробил роковой час, и, заключенный в стенах крепости, он должен провести мучительную ночь, прежде чем их увидит.

Наступило утро следующего дня. Высокий цейгмейстер с трепетом сердечным стоял уже у кабинета пасторова, осторожно стукнул в дверь пальцами и на ласковое воззвание: «Милости просим!» — ворвался в кабинет. Глик сидел, обложенный книгами всякого размера, как будто окруженный своими детьми разного возраста. Не успел он еще оглянуться, кто пришел, как приятель его сжимал уже его так усердно в своих объятиях, что сплющил уступы рыже-каштанового парика, прибранные с необыкновенным тщанием.

— Кетхен! — закричал пастор звонким голосом, поправляя свою прическу и разводя кости, — и на этот зов прибежала воспитанница его, в домашнем, простом платьице, с черным передником, нарумяненная огнем очага, у которого готовила похлебку для своего воспитателя. Маленький, проворный *книксен* — и полная беленькая ручка ее протянута на пожирание неуклюжего цейгмейстера.

— Какая бомба принесла вас так неожиданно к нам? — вскричал последний с необыкновенным удовольствием.

— А, господин будущий комендант наш! — отвечал пастор. — Благодарите за это русских, которых вы на свою шею нам накликали.

— Русских?

— Да, они не дали нам и понюхать супу госпожи баронессы. Право, такой диеты не запомню. Зато, вероятно, теперь стряпают у нее исправно, по-своему. Едва, едва не попали мы сами под Соргофом на ветчину к татарам, как вы обещали нам в Долине мертвецов.

Вульф, полагая, что над ним подшучивают, вздумал было сердиться, но рассказ его невесты, переданный со всем убеждением истины, открыл ему глаза. Он бесился, что генерал-фельдвахтмейстер короля шведского допустил себя обмануть варварам.

— Но это еще не беда! — воскликнул Вульф, потирая себе руки. — Наши проучат их за дерзкую попытку; наши ощиплют это воронье стадо.

Пастор, вместо ответа, вздохнул.

— Мы их встретим, доннерветтер! — продолжал цейгмейстер, все более и более горячась.

— Для этой встречи и я готовлю свои орудия. Во-первых, господин цейгмейстер, во-первых, как говаривал добрый наш Фриц, возьму я под мышку «Славянскую Библию» моего перевода... Слово божие есть лучшее орудие для убеждения победителя.

— Победителя? — вскричал с сердцем Вульф. — А кой черт шепнул вам, что слава непобедимого войска нашего Карла скинет шапку перед вашими московитами? Разве сердце ваше? разве ваш пономарь московитский написал вам о том?

— Господи! пошли мне дух терпения и смирения с этим бешеным. Вот видите, господин цейгмейстер: я возьму под одну мышку «Славянскую Библию», «Institutio rei militaris» и «Ars navigandi» [1] под другую...

— Вы изменник! вы предатель страны, давшей вам гостеприимство! Вы...

Кете бросила на цейгмейстера умоляющий взгляд, схватила его за руку — и слово ужасное, готовое вырваться из уст его, не было произнесено.

— Говорите, говорите, господин пастор! — продолжал уже Вульф утихающим голосом. — Я готов слушать вас с терпением, к которому мне пора бы привыкнуть.

— Мы, изменники, в дела верных, нелицемерных сынов отечества, не мешаемся! — сказал пастор, стараясь удерживать свой гнев при виде уступаемой ему спорной земли. — Мы, вот изволите знать, бредим иногда от старости; нами, прости господи, обладает иногда нечистый дух. (Тут пастор плюнул.) Несмотря на это, мы думаем о делах своих заранее. Грете! Грете!

Служанка лет под пятьдесят, маленького роста, круглая, свежая, будто вспрыснутая росою Аврора, прибавить надобно, вечерняя и осенняя, с улыбкою на устах прикатила пред своего господина.

---

[1] «Правила военного дела» и «Искусство кораблевождения» *(лат.)*.

— Гретхен! — сказал Глик ласковым голосом. — Нам надо отсюда убираться.

Служанка, открыв заплывшие от полноты глаза и стиснув передник в руках своих, осталась в этом положении: от ужаса она не могла набрать голосу на ответ.

— Да, да, говорю тебе, убираться, и со всеми пожитками. Пуще всего надобно осторожно убрать вот эти славянские книги.

— Кто же нас гонит отсюда? — могла наконец выговорить Грете дрожащим голосом.

— Московиты заполонили нашу Лифляндию, если позволят нам еще так называть ее, заполонили, говорю тебе, по милости нашего всемилостивейшего государя и отца, который для своей славы ловит мух в Польше, между тем как мы бедствуем, преданные невежеству, презрению, беспечности *синих* наших друзей или владык. Я говорил тебе давно: помяни мое слово, Алексеевич — великий монарх. Недаром проезжал он через Нейгаузен двадцать пятого марта 1697 года; недаром изволил гневаться, что ему дали худой форшпанн, что его неловко встретили господа высокоименитые: маиор Казимир Глазенап, капитан Дорнфельд и еще какой-то дворянин безыменный, назначенный в переводчики к его величеству; а переводчик этот говорил по-русски, как я по-китайски (пастор осклабил свои румяные губки и поправил на себе парик). Вообрази, Грете, он сказал царю: «Ваше московитское государство», то есть Ihre Moskowitisches Kaiserthum, вместо того чтобы сказать: «Ваше царское величество», то есть Ihre Zarische Majestät. Понимаешь ли?

— Понимаю, господин пастор! — отвечала грустная слушательница, у которой тогда в воображении плясали кастрюли, столовая посуда, бочонки и прочая домашняя утварь, потревоженная с своей оседлости в безвестное путешествие.

— Я улыбнулся. Великий Алексеевич усмехнулся также, и через человек десяток, которых он всех был выше целою головою, — ты меня понимаешь, Грете! метафора и не метафора, как хочешь — не одною головою на плечах, хотел я сказать, но головою Юпитера, из которой выступила Минерва. Однако ж дело не в том: через десять человек Великий Алексеевич посмотрел на меня своими быстрыми черными глазами, врезавшимися в моем сердце, как будто хотел сказать: вот этот человек знал бы, как меня приветствовать! С этого времени

(здесь пастор гордо посмотрел вокруг себя) мы познакомились, мы поняли друг друга.

— Вы говорили, — возразила служанка с подобострастием, утирая передником слезу, выкатившуюся из глаз ее, — вам угодно было сказать, что нам должно отсюда... — Далее не могла она говорить и закрыла глаза передником.

— Эка ты дурочка! Хныканьем не поможешь. Что ж нам делать? Московиты, того и гляди, будут сюда; поделают из нас чучел или изжарят нас на вертеле, как говорил некогда один давнишний мой приятель...

— Да когда вам так знаком московитский царь, — прервала Грете с некоторою досадою, — почему же не напишете к нему адреса?

— Адреса! адреса! — вскричал пастор и начал с нетерпением ходить взад и вперед по комнате, двигая и передвигая беспрестанно свой парик. Вскоре он весь горел в огне энтузиазма. — Правда, это не худо б! Написать не диво; но с кем пошлем? где мы его найдем?.. Творец своего государства, он вездесущ. Гм! пошлем, найдем... Адрес! богатая мысль! прекрасное дело!.. Ты вразумляешь меня, Грете! Кабы пришли на помине странствующие музыканты... тогда б — и дело в шляпе. Грете! ты спасительница Мариенбурга. Да, сяду, сяду, буду писать.

Пастор придвинул к себе стул, взглянул сухо и сурово на Вульфа и хотел с ним раскланяться; но этот подошел к нему, взял его за руку, дружески пожал ее еще раз и сказал:

— Русские еще не пришли, господин пастор; а хотя бы и так, разве у вас нет друга ближе Алексеевича? Замок, мне вверенный, крепок: клянусь богом сил, его возьмут разве тогда, когда в преданном вам Вульфе не останется искры жизни. Но и тогда вы и фрейлейн Рабе безопасны, — прибавил он в первый раз с особенным чувством, посмотря на нее. — Предлагаю вам квартиру бывшего коменданта, которую нынешний не хотел занять.

Такое дружеское предложение и мысль, что он поставил на своем, обезоружили Глика. Определено, по получении неблагоприятных для шведов известий, перебраться в крепость, туда же переправить членов богадельни и значительных граждан местечка. Грете отпущена из аудиенции, не совсем успокоенная. Хотя и знала она, что весь придворный штат ее перевезется без тревоги через воды мариенбургского Ахерона, но кто

мог поручиться, чтоб какая сумасшедшая бомба не чокнулась в крепости с членами ее кухни и погреба, столько сердцу ее близкими?

Когда мир и любовь воцарились в семействе Глика, цейгмейстер, казавшийся спокойным, между тем как неизвестность о судьбе шведского войска щемила его сердце, вызвался рассказать свои похождения с того времени, как они расстались, похождения, говорил он, весьма занимательные. Прежде нежели он начал рассказывать их, сходил он пошептать о чем-то с Грете.

— Мое повествование, — так начал цейгмейстер, возвратясь в кабинет пастора, — будет продолжением того, которым пугал нас Фриц, когда мы подъезжали к Долине мертвецов. Вы помните, что я дал слово на возвратном пути свесть знакомство с тамошними духами. Я и исполнил его. Да, господин пастор, побывал и я в когтях у сатаны. Вы смеетесь и, может быть, думаете, что я подвожу мины под мужество моей бесстрашной сестрицы. Право, нет. Если хоть одно красное словцо скажу, так я не артиллерист, не швед! Довольны ли вы?

— Верим, верим! — вскричали пастор и воспитанница его. — Просим к делу.

— Жай! пли! вот вам вместо предисловия. Слушайте! Снабженный нужными приказаниями от генерал-фельдвахтмейстера, которого нашел я на пути в Пернов, и сопутствуемый штык-юнкером и двумя пушкарями, выбранными мне в подмогу его превосходительством из искуснейших и опытнейших в защите крепостей, я спешил в Мариенбург тем более, что хотел еще вас перенять на дороге. Через Валки проехал я в полночь, виделся тайно с Фрицем, который сказал мне, что починка экипажа задержит вас еще там на целые полдня. Дорожа вашим спокойствием, я не смел вас разбудить.

Пастор пожал руку цейгмейстеру; Кете бросила на него такой взгляд, который, вторгаясь в сердце, бьет в нем радостную тревогу. Вульф, ободренный этим вниманием, продолжал живее свое повествование:

— Весь изломанный путевой жизнью на коне и сострадая к моему Буцефалу, над которым и жало шпор уже не действовало, я приостановился в Менцене. Там отдохнул я крепким сном и проснулся, когда уже ночь порядочно разгуливала над страною. Месяц, как говорят, заставляющий духов плясать в лучах своих, прямо глядел мне в лицо своим волшебным ликом. Я вспомнил о *Долине мертвецов.* Дай-ка перемигаемся с длинным

ночным бароном ее! — сказал я сам себе и разбудил своих спутников. Храбрые у лафета и в амбразуре, они не любили возиться с духами и потому, наслышавшись об ужасной долине, неохотно собрались в поход. «Скоро полночь!» — сказал тоскливо один из пушкарей. «Это мне и нужно!» — отвечал я и скомандовал к маршу. Только что въехали мы в рощу, из которой по косогору идет дорога в Долину мертвецов, наши кони стали упираться и наконец — ни с места, как пушки без колес. Я рассердился на своего Буцефала и прочел ему палашом порядочный урок; но животное мотало головой, прядало и ворочало назад. Это меня взбесило. Кидаю лошадь, штык-юнкер бросает свою, схватываю пистолеты, и — за мною! пушкари остаются полумертвые при лошадях. Выходим из чащи, и что ж? В самом деле, при свете полного месяца, исполински шагает по долине высокое привидение, выше меня двумя головами, в саване и с мертвецом за плечами. И теперь еще, кажется, вижу, как моталась безобразная мохнатая голова. Невольно охватил меня ужас. Товарищ стоял окаменелый на одном месте, творя молитву. Это шашни! — сказал мне рассудок. Ободрившись немного, толкаю своего штык-юнкера и приказываю ему следовать за мной. Спешу за привидением по долине в ущелье; оно — от меня. Шаги его не человеческие. Казалось мне, мертвец обернул ко мне голову и страшно кивал ею, как будто звал за собою. Чтобы себя ободрить, я крикнул по лесу, и несколько голосов отвечают мне на разные манеры: тут было и вытье собаки, и мяуканье кошки, и крик совы — одним словом, весь сатанинский хор. Вдруг забегали огоньки, и деревья начали ходить. Оглядываюсь назад, ищу товарища: его уже не было. Признаюсь, волосы встали у меня дыбом, но я зажмурил глаза, подумал, что иду на сражение, и, открыв их, уже смелее шел за мертвецом. Пытаю силу руки своей над деревом, и при взмахе палаша оно с треском валится в сторону. Это меня еще более ободрило. Иду все за своим вожатым. В стороне мелькнуло косматое чудовище, обставленное уродливыми каменьями. Привидение с мертвецом от него в сторону; я все за ним через кочки, пни и кусты, то настигаю его, то от него отстаю. Уже я с ним свыкся, но усталость готова подкосить мне ноги. Впереди, шагов за пятьдесят, вижу избушку — в ней огонек. Высокое привидение в нее, я за ним, уж там, и — бряк, передо мною на полу ужасный мертвец. Привидение исчезло. Земля подо мною заколебалась, и все закружилось. С трепетом

оглядываюсь, махая без цели палашом, кругом стены несколько скелетов человеческих в разных положениях: иные держали какие-то значки, другие — большие зажженные свечи; все грозили мне костянками своими. Я слышал, как они переговаривались между собою на языке мертвых; смрадные пары окутали меня; адский хохот надо мною посыпался. Тут холодный пот меня прошиб; я обмер, споткнулся, запутался в ногах мертвеца и упал прямо на ледяную грудь его... и вдруг, слышу, схватили меня когтями и потащили...

В эту минуту рассказчик громко кашлянул, хлопнули с ужасным звуком ставни, и в кабинете, где были собеседники, сделалась темь. Кете вскрикнула и прижалась к своему воспитателю, который и сам порядочно вздрогнул. Но ставни тотчас отворились, и при свете дня испуганные слушатель и слушательница увидели смеющееся лицо Вульфа, и вслед за тем раздался торжественный хохот его. Он поздравил себя с победою над бесстрашною Рабе и признался, что внезапное закрытие с громом ставней была стратагема, устроенная им с Грете, которой за содействие в этом деле обещано безопаснейшее место в замке для ее посуды.

— Поэтому и рассказ ваш выдумка? — сказала прекрасная слушательница, стыдясь минутного своего испуга.

— А где слово шведа? — прибавил пастор.

— Я и теперь честию шведа заверяю, что ни одного слова не солгал, — отвечал цейгмейстер.

— Удивительно! — сказал Глик.

— Удивительно! — повторила воспитанница.

И тот и другая просили развязки, каким способом удалось ему выпутаться из когтей сатанинских.

— К ней-то и приступаю со стыдом пополам, — произнес цейгмейстер, вздыхая и понизив голос. — С кем на веку не бывает осечки? И лучший конь спотыкается. Иные, прошу заметить, вскрикивают от одного рассказа о мертвецах, а я оробел только перед сонмищем их. Итак, к развязке. «Что вас несло сюда, господин офицер, да еще в полночь?» — раздался надо мною человеческий голос, прерываемый смехом. Я осмелился открыть глаза: страшные видения исчезли; я лежал на канапе в чистой комнате, хорошо освещенной; подле меня сидел мужчина средних лет, приятной и умной физиономии, хорошо одетый. «Мне кажется, я был в лесу... — сказал я ему, робко осматриваясь, — и видел много ужасного. Не в сновидении ли мне это все пред-

ставилось? Но каким образом я здесь? Где я? С кем имею честь говорить?» — «Вы, милостивый государь, — сказал незнакомец, — если не ошибаюсь, господин цейгмейстер Вульф, — находитесь действительно в лесу и в анатомическом театре вашего покорнейшего слуги, доктора медицины Блументроста. А что это за театр анатомический, я вам сейчас объясню, если вы, господин офицер, оправились от испуга вашего», — прибавил он с коварною улыбкой. «Черт побери! — думал я. — Лучше попасть в цепные объятия кителей, чем под ноготок насмешливого доктора». Делать было нечего; я поручил себя знакомству господина доктора медицины и, краснея, просил его растолковать мне свою загадку. Он взял меня за руку, отворил одну из дверей той комнаты, в которой мы находились, и — как бы вы думали? — мы очутились в той самой проклятой избушке, где грозили мне скелеты. Пол из гибких досок действительно подо мною заколебался, и грозные остовы замахали свечами и значками своими. Мертвеца уже не было. Я взглянул на господина Блументроста: он смеялся от души. «Не бойтесь, господин цейгмейстер, подойдемте ближе, — сказал он иронически. — Могу похвастаться, что в Европе никто искуснее меня не белит человеческих костей, из которых делаются скелеты. С небольшим двадцать лет, как открыто это искусство Симоном Паули, из Ростока. Немалых трудов и издержек стоило мне дойти до такого совершенства, в каком вы видите мои произведения. Вот этот скелет, например, — прибавил он, указывая мне на самого большого, — отличается глянцевитостию своих костей. В свое время он водил шайку разбойников на границах псковских, а ныне, по смерти, пугает шведских воинов. Он назначен для Дерптского университета. Вот и значок с н мером и надписью, куда ему следует отправиться. Проволока, пущенная в его руки, дает им необыкновенную гибкость. От этого-то проводника мои куколки так забавно умеют помахивать руками. Заметьте, этот особенно изящен белизною костей. Он с ума сошел от честолюбия: ему хотелось попасть в старосты, чтобы иметь волю бить в селе своем палкою всех, кого ни рассудит; а как жезл сельского всемогущества обращался не от него, а на него, то он удавился. Теперь вы видите, что чудак добился своего: он играет на моем театре едва ли не первую роль. Если бы вы не скучали подробностями, я с особенным удовольствием объяснил бы вам достоинства каждого из членов этого общества. Вот и привиле-

гия, — продолжал Блументрост, указав мне на бумагу в золотой раме, — данная мне господином генерал-фельд-вахтмейстером: она охраняет мое заведение от нападений невежества. А вот одобрения разных академий, которым я доставил уже несколько таких молодцов». Действительно, прочел я привилегию моего начальника, написанную по форме, и аттестаты господина доктора. «Но позвольте мне сделать еще два вопроса, — сказал я. — Куда девалось высокое привидение, за которым я бежал, и мертвец, запутавший меня в сетях своих?» — «Немой!» — закричал доктор, хлопнув в ладоши. На этот зов явился молодой латыш, необыкновенной величины и так богатырски сложенный, что мог бы смять доброго медведя. «Немой этот, мой помощник, не в первый раз разыгрывает ролю привидения, — присовокупил доктор, — но, признаюсь, ныне превзошел себя. Немудрено! — он имел перед собою или, лучше сказать, за собою образованного зрителя. Другие довольствуются только увидеть его в долине; но вы преследовали его в самое святилище его искусства. Для чего все это делается, я вам сейчас объясню. Всякое высшее знание, непостижимое для невежественного класса людей, имеет нужду прикрыться от близоруких очей своею таинственностью. Мудрость была бы побита каменьями, если бы показалась черни в своей наготе. Необходимы и в наше время елевзинские таинства; и в наше время науки имеют свои жертвы, когда не облечены чудесностью».

— Правда, правда! — сказал, вздохнув, Глик. — Давно ли пострадал было как еретик и колдун Георг Стернгиельм за то, что показал сквозь стекло высокоименитому дерптскому профессору Виргиниусу муху с быка, а другим стеклом зажег чухонцу бороду? Едва спасся бедняга от петли, и то по милости королевы Христины: вечная ей за то слава! Ох, ох! все времена имели и будут иметь своих Виргиниусов.

— Не мое дело углубляться в рассуждения, а только передать вам, что я слышал от доктора, правду сказать, зевая. На моем месте, я выставил бы пушку против всей этой чертовщины; жай! пли! — и, доннерветтер, перестал бы у меня цирюльник пугать народ... Но вы ждете конца моего рассказа. Оканчиваю. «Искусство мое, — сказал доктор, — имеет нужду в чудесности более, нежели какое другое. Для этого воспользовался я старинною народною сказкою о здешней долине. В материялах для своего дела не нуждаюсь. Высота креста

назначена окружными жителями кладбищем для умерших насильственною смертью. Мое привидение подбирает трупы и доставляет мне ими средства приобретать богатство и славу европейскую. Я показал бы вам теперь свою лабораторию, если бы не знал, что вы более храбры против живых, нежели против мертвых. Слышите ли, как бурлит в адском котле бедняк, так умильно кивавший вам своею косматою головой?» В самом деле, я слышал, как вода клокотала в ближней комнате, и со стыдом догадался, что этот шум почтен мною говором страшным скелетов. Тут же объяснился и пар, обхвативший меня. Мне хотелось узнать, почему актеры анатомического театра встретили меня так торжественно, со свечами. «Признаться вам, — отвечал скелетчик, — мы вас поджидали. Один человек (имени его не скажу) дал мне знать о вашем намерении познакомиться с духом долины, и мы поспешили исполнить ваше желание. Кажется, все приготовлено с нашей стороны, чтобы сделать вам приличную встречу. Впрочем, хотя эти господа действующие лица были тем же, чем мы теперь, а мы будем еще тем, чем ныне они, могу догадаться, что общество их для вас не совсем приятно. Пойдем успокоить ваших спутников, дожидающихся вас на мызе с нетерпением». Охотно последовал я за своим хозяином из анатомического театра сквозь лес и на мызу. Немой и какая-то пригожая девушка, живая, как порох, освещали нам путь из царства смерти в область жизни. Обласканный и угощенный гостеприимным хозяином, забыв в обществе его, и еще более на добром матрасе, ужасы ночи и, наконец, убежденный, что не надо никогда хвастаться своим бесстрашием, выехал я уже на следующее утро из мызы господина Блументроста. Советую и вам, любезная сестрица, воспользоваться данным мне уроком.

Глик и воспитанница его смеялись много рассказу проученного храбреца.

Недолго смеялась Кете; недолго была она беззаботна: будущий комендант Мариенбурга заговорил о женитьбе и просил вычеркнуть три мучительные недели из назначенного до нее срока. Пастор призадумался. На беду Кете, пришел в минуту этого раздумья мариенбургский бургомистр и, узнав, о чем шло дело, советовал отложить брачное торжество до окончания войны.

— По крайней мере, — говорил он, — это общее мнение ваших прихожан.

Самолюбивый, упрямый Глик не любил советов; по-

словицу: *ум хорошо, а два лучше* считал он суждением робких голосов; для него то было лучше, что он в кризисы упрямого самолюбия задумал и определил.

— Вот в первый раз приход хочет быть умнее своего пастора! Я не глупее других; знаю, что делаю, — сказал он с сердцем и, сидя на своем коньке, решил: быть брачному торжеству непременно через двадцать дней. Никакие обстоятельства не должны были этому помешать. — Только с тем уговором, — прибавил он, — чтобы цейгмейстер вступил в службу к Великому Алексеевичу, в случае осады русскими мариенбургского замка и, паче чаяния, сдачи оного неприятелю. — Обещано...

Жаль нам Кете Рабе. Что ж делать? История велит нам вести ее к брачному алтарю. Скоро, скоро придется нам легкое имечко ее заменить полновесным именем госпожи Вульф.

## *Глава девятая*
## ОСАДА

Уж много бомб упало в город...
Весь Орлеан стоит над бездной
И робко ждет, что вдруг под ним она,
Гремящая, разверзнется и вспыхнет...

*«Орлеанска дева»,*
*перевод Жуковского*

Вечером того же дня пришло в местечко известие, что отряд Брандта, вышедший из Мариенбурга, не нашел на розенгофском форпосте ничего, кроме развалин, и ни одного живого существа, кроме двух-трех израненных лошадей; что Брандт для добычи вестей посылал мили за три вперед надежных людей, которые и донесли о слышанной ими к стороне Эмбаха перестрелке, и что, вследствие этих слухов, отряд вынужден был возвратиться в Менцен и там окопаться. Дней через пять послышалась и в Мариенбурге пальба к стороне Менцена; она продолжалась несколько суток; но известий ниоткуда не было, как будто смерть оцепила страну. Наконец в один вечер показалось необыкновенное зарево, пальба утихла, и вскоре прибежал шведский солдат с вестью об осаде Менцена, разорении мызы и взятии в плен отряда.

Вздрогнули сердца у жителей местечка; гарнизон приготовился к обороне. Ночь проведена в ужасном бе-

спокойстве. На следующей заре весь Мариенбург тронулся с места. Почетные жители начали перебираться в замок; надежда на милость коменданта заставила и средний класс туда ж обратиться; многие из жителей разбежались по горам, а другие, которым нечего было терять, кроме неверной свободы, остались в своих лачугах.

На главной улице, и особливо к мосту, была необыкновенная суматоха. Выбрасывали, выносили и перетаскивали из домов имущества; кричали, бегали, толпились, толкали друг друга, рассказывали, что неприятель уже за милю от города; иные едва не сажали его на нос каждому встречному и поперечному, и все старались быть первыми у моста, чтобы попасть в замок, в котором, казалось им, заключалось общее спасение. Мост трещал под тяжестью возов и людей; озеро было усыпано лодками, нагруженными так, что едва не зачерпывали воду. Все простирали руки свои к стражам замка; все молили на разные голоса о пропуске.

— Отворите! это я! — говорил хриплым голосом толстый человек с важною физиономиею и еще более важным, чопорным париком, постукивая в ворота натуральною тростью с золотым набалдашником и перемешивая свои требования к стражам замка утешениями народу:

— Что делать, дети мои! Это жребий войны! Надо поручить себя милосердию бога. Не поместиться же всем в крепостце; я советовал бы вам воротиться. Видите, и я, ваш бургемейстер, с трудом туда пробиваюсь.

— А! это вы, господин достопочтенный бургемейстер? — спросил кто-то из-за ворот и, не дожидаясь ответа, впустил важного человека с его семейством, челядинцами и толпою клиентов разного возраста и роста, потянувшимися за ним, как многочисленные дети Федула.

Надо знать, что в свете каждый немного значительный человек составляет средоточие своего круга и ведет его всюду с собою; другим же в этом кругу и места нет.

— Посмотрим, как меня не впустят! — кричала вытянутая, сухощавая женщина, в шелковой кофте радужного цвета, в чепчике, смятом на один бок. — Меня! — повторила она, подперши руки в бока. — Жену первого торговца в Лифляндии! меня, Сусанну Сальпетер!

При этом грозном имени ворота отворились. Сусанна Сальпетер с высоты своего величия гордо посмотрела на

толпу, покачала головой, помахала себе в лицо веером, на котором резвились Игры и Смехи, и, толкнув немилосердно вперед несчастную, нахохлившуюся фигуру своего мужа с приветствием: «Voraus, meinad Kätzshen!» [1], вступила важно в крепость.

— Аккредитированный погребщик его высокородия, господина коменданта, — кричал господин, поднимая вверх бутылку. И этот проскользнул в замок. Однако ж не подумай, читатель мой, чтобы в этот роковой день торжествовали только значительность сана, богатства, заслуги или услуги; нет! и дружба, бескорыстная, высокая дружба явила себя также во всем своем блеске.

— Генрих! — сказал жалобным голосом какой-то голяк с фиялковым носом и небритой бородой. — Вспомни, как мы на Иванов день, под вывескою лебедя, чокнули наши чары; что обещал ты мне тогда?

И этот вопиющий голос не был голос в пустыне: усатый Орест протащил своего Пилада сквозь щель едва отворенных ворот. Тут началась толкотня, писк, крик; некоторые с моста попадали в воду.

— Machen Sie keinen Spektakel! [2] — закричал штыкюнкер, вышедши из замка с отрядом.

Народ был прогнан на твердую землю, мост сломан и перенесен на дрова в крепость. Загремели цепи, упал затвор, и двери спасения замкнулись безвозвратно.

На эту тревогу насунулись Владимир и слепец.

— Где дом пастора? — спросил первый у женщины, бежавшей разиня рот.

— Дом? Кто имеет ныне домы! — отвечала она с сердцем.

Другой прохожий был милостивее к нашим путникам: указал им на жилище Глика и в придачу объяснил, что они не найдут там хозяина, потому что он перебрался еще прежде всех в замок под крылышко своего будущего зятя.

Владимир сел с товарищем на берегу озера. Раздумье овладело им. Он знал, что пастор и цейгмейстер не откажут ему в гостеприимстве. Но запереться в крепости для цели неверной? Заточить в ней с собою старца? Выдерживать осаду? Кто знает, какой конец ее? Подвергнуть Конрада ее жестокостям, может быть, насильственной смерти! И так уже старику жить недолго: он,

---

[1] Вперед, мой котик! *(нем.)*

[2] Не устраивайте представления! *(нем.)*

видимо, день ото дня гаснет. Владимир боялся также и за себя. Пожертвовать, может статься, собою, когда готовился увидеть родину; потерять плоды стольких трудов и лет — эта мысль убивала его. Ни одного покровителя — все исчезли: и Паткуль, и маркитантша Ильза, и Фриц. С другой стороны, какое-то предчувствие побуждало его отправиться в замок. Об этом просил его и сам Паткуль. Паткуль знает цейгмейстера; Владимир сам имел случай в Долине мертвецов распознать его свойства, провидеть его геройский дух. Он встанет, этот дух, во всей силе и величии своем, когда преданность к отечеству и королю потребуют от него подвига. Врагу, опасному для русских, надо противопоставить себя. Кто знает? Может быть, и от него самого отечество ждет последней, очистительной жертвы.

Решиться на что-нибудь надо скорее. Русские в тот же день или, по крайней мере, в следующий должны подойти к Мариенбургу, и тогда отнята всякая возможность попасть в замок.

— Друг, — сказал наконец Владимир своему товарищу, пожимая ему руку, — нам надо перебраться в замок.

— Что ж мешает? — спросил Конрад.

— Замок будет осажден.

— Иди, куда зовет тебя провидение. Мне ль, старцу, тонкою нитью привязанному к земле, задерживать тебя на пути твоем? Разрешу и полечу. Пора и мне поставить в уголок хрупкий посох. Готово сердце мое, о боже! готово!

— Для кого достанется тебе, может быть, пожертвовать собой! Знаешь ли, кто я?

— Друг мой.

— Знаешь ли, что я величайший злодей?

— Ты — друг мой.

— Я русский.

— Давно это мне известно.

— Я всегда скрывал это от тебя.

— Неужели ты думаешь, что слепцы ничего не видят? — Сердце служит им очами. Мое собрало тебя, рассеянного в словах и намеках, в пути и на перепутьях нашего десятилетнего странствия; оно составило себе из человека, который со мною ходит, которого люди называют Вольдемаром, существо особенное, отличное от других, но знакомое мне до последней нити его бытия. Я люблю его; я привязан к нему всеми способностями души моей; в сердце моем нет ему имени; он заключает

для меня весь мир, все человечество. Говори мне, что ты преступник: я не верю тебе. Преступником мог быть Вольдемар; но ты, существо, мною созданное, чист, как ангелы. Я поклонялся бы тебе, если б не знал бога! Мне ль после того не разуметь тебя?.. Сколько раз ловил я сердцем твои болезненные вздохи и читал в них повесть твоих страданий! Ты рассказывал мне о России, как о земле, тебе чуждой; но родина отзывалась в словах твоих. И ты сам сколько раз передал мне в таинственных отрывках повесть твоей жизни! Вольдемар сам не знал этого; Вольдемар спал тогда; но ты — мне все поведал: Москва, София, князь Василий, родина — все тебе драгоценное, заключенное в груди твоей во время бдения, вырывалось у тебя во сне и обличало тебя. Нередко, при опасных для тебя свидетелях, страшась, чтобы ты не изменил самому себе, я подстерегал роковые имена на твоих устах, толкал тебя и прерывал тревожные твои сновидения. Тайну твою хранил я, как будто ты сам мне ее поверил. О! каким благом почел бы я принесть себя в жертву, тебе полезную!

Замолчал слепец. Владимир пал на его грудь, и слезы счастия неподкупного оросили ее. Святой старец ничего не говорил; но вместо ответа на челе его просияла радость. Молча поднялись они и побрели к озеру.

Все лодки, по приказанию коменданта, были потоплены или сведены на берег острова. Только что застали они утлый челн и в нем переехали к замку. Еще издали заметил их цейгмейстер и приказал спустить им со стены веревочную лестницу, по которой и перебрались они в замок. Неизвестно, что открыли Вульфу наши странники; но видно было по движению в крепостце, что защитники ее приготовлялись к немедленной обороне.

Четвертого августа подошли русские к Мариенбургу. В следующие дни прорыты апроши с трех сторон залива, в котором стоял остров с замком; на берегу зашевелилась земля; поднялись сопки, выше и выше; устроены батареи, и началась осада; двадцать дней продолжалась она. Искусная оборона цейгмейстера (он распоряжал ею за старостью коменданта) долго расстраивала усилия русских взмоститься на высоты, которые могли бы господствовать над замком. Убийственный огонь, высылаемый Вульфом, снимал людей с батарей, как проворный игрок шашки с доски, подрезывал лафеты у мортир, рассыпал амбразуры и в несколько часов уничтожал труды нескольких дней. Многих русских недосчитывали в рядах: и теперь еще бугры свидетельству-

ют, что удары заржавленных мариенбургских пушчонок были метки. Несмотря на это, хладнокровие Шереметева, принявшего на себя управление осады, не изменялось: он знал, с кем имеет дело. Наконец он внес главную батарею на высоту, с которой, окинув окрестность, мог сказать:

*— Замок наш!*

С этого времени остров был осыпаем бомбами; одна сторона очень повредилась, но осаждаемые не сдавались. Такое ожесточенное мужество поколебало хладнокровие Шереметева. Велено устроить плоты и быть готовыми к штурму.

В заточении своем пастор и его воспитанница почитали приход гуслиста и слепца особенным для себя благодеянием неба. Владимир, мало-помалу, незаметно, подстрекал самолюбие Глика, представляя ему, сколько бы он полезен был преобразователю России знанием языка русского и других, какую важную роль мог бы он играть в этой стране и какое великое имя приобрел бы в потомстве своими заслугами. Что делает он в темном, тесном уголке Лифляндии? Оценены ли его познания шведским правительством? Адрес, над которым он столько трудился, мог ли, будет ли иметь ход? Все это говорилось тайком от цейгмейстера, в минуты задушевной доверенности, и так осторожно, что выговаривал эти жалобы не Владимир, а оскорбленное самолюбие пастора. Надо прибавить, что и цейгмейстер, как бы перед ужасным переломом жизни, во всех спорах, затеваемых Гликом, стал терпелив, как писчая бумага, и оказывал ему нежную, уступчивую почтительность сына, даже и тогда, когда дело шло о переходе в русскую службу. Воображение Глика, вместе с успехами осаждавших, так разгоралось, что он наконец не стал сходить уже со своего конька и написал, сидя на нем, царю адрес, которым просил о принятии пастыря и паствы мариенбургской, особенно будущего зятя своего, под особенное покровительство его величества. Адрес обещано передать по принадлежности, когда потребуют обстоятельства.

Катерина Рабе цвела и под бурею. Заключенная неприятелем в тесной засаде и готовясь надеть новые цепи, она беспечно утешалась вкрадчивыми рассказами Владимира о России и шутила по-прежнему.

— Настоящая жена храброго коменданта! — говаривал пастор.

Нередко под громом пушек составлялось восхитительное трио из Кете, слепца и гуслиста.

В каком отношении был цейгмейстер к Владимиру? О! его полюбил он, как брата, слушался даже его советов, нередко полезных. С каким негодованием внимал он рассказу его о простодушии и беспечности Шлиппенбаха, которого будто бы Владимир заранее уведомил о выходе русских из Нейгаузена! С каким удовольствием дал он убежище в своей пристани этому обломку великого корабля, разбитого бурею!

— Скитаюсь теперь без куска хлеба, без надежды! — говорил Владимир голосом оскорбления. — Вот чем заплатили за мои услуги! Ими не умели воспользоваться, а я терплю.

Попечениями своими о доставлении всех возможных выгод нашему страннику хотел Вульф вознаградить неблагодарность к нему своего главного начальника, не умевшего вовремя обеспечить благосостояние человека, столько для него сделавшего. Одним словом, Владимир стал в тех же отношениях к цейгмейстеру, в каких прежде находился к Шлиппенбаху.

Никогда еще молодой странник не тосковал так сильно по отечеству. Часто среди утешительных надежд слышался ему приговор мнимого отца его. «Отца моего? — спрашивал он себя. — Нет, не может быть! Андрей Денисов не отец мне. Слово это не говорит моему сердцу; он только испугал меня неожиданностию. Ничто во мне не двигалось к нему: во мне нет ничего с ним сходного! Когда б он был мне отец, давно бы в Москве, в Поморском ските, где-нибудь, проглянуло ко мне чувство родительское, хотя б из-под вериг пустосвятства. Отец не вел бы на казнь сына, не оставил бы матери моей. Мать моя, кто бы она ни была, не могла полюбить это чудовище. После этого придется мне самого лукавого признать своим отцом! Нет! нет! сети!..»

Так отражал Владимир мыслями и сердцем ужасное объявление ересиарха. Молчание Паткуля при поверке завещания Кропотова и ответы ясновидящего слепца, для которого несчастный не таил долее истории своей жизни, утвердили его в мыслях, что Андрей Денисов не отец его.

Между тем в лагере осаждавших случилось происшествие, весьма близкое к нашему Владимиру. В один день, когда русский военачальник с высоты, им осиленной, вперил орлиные взоры на башни Мариенбурга, уже не так бойко поговаривавшие, пришли доложить ему, что один раненый рядовой имеет объявить ему *слово* и *дело*. Фельдмаршал вошел в свою ставку, туда ж при -

зван и солдат: это был тот самый, которому Андрей Денисов поручил отдать свое послание. Оно вручено фельдмаршалу с обыкновенными солдатскими темпами уважения и подчиненности. Величаво и проницательно взглянул Борис Петрович на служивого и, прочтя на открытом его лице одно смелое добродушие, ласково спросил его, что это значит? Тут подробно рассказал ему рядовой о встрече своей с Денисовым, которого называл переодевшимся боярином. Горестная дума осенила лицо военачальника в то время, как он читал письмо. В этом письме давали знать, кто такой Владимир: довольно было этого объяснения, чтобы погубить его. К тому ж Андрей Денисов присовокуплял, что в то же время, как писал фельдмаршалу, он уведомляет о злодее и преображенский приказ. По прочтении послания Борис Петрович обратился к солдату, приметно удерживаясь от гнева.

— Хвалю твое усердие, — сказал он сурово, отдавая служивому несколько серебряных монет... — но поспешай в Россию, куда ты отпущен. Чтобы через час духу твоего здесь не пахло! и... горько тебе будет, если когда проговоришься об этом письме! Слышишь?..

Смущенный солдат спешил убраться из палатки фельдмаршальской и теми же стопами из лагеря.

Долго, задумавшись, ходил Борис Петрович взад и вперед по палатке.

— Это он! нельзя ошибиться... Поймать!.. казнить!.. заплатить за важные услуги отечеству!.. Надо его спасти!.. — были слова, вырывавшиеся у него по временам.

Скука, грусть видимо означились на важном его лице. Он приказал позвать к себе князя Вадбольского. Ему-то поверил он, как другу, тайну письма, свои опасения насчет несчастливца, служившего так верно русскому войску, и желание свое спасти его от гибели, которая его ожидает, если злодейские происки Денисова найдут себе путь в Москве. Только настоящее время дорого; впоследствии, при удобном случае, сам он, фельдмаршал, может быть ходатаем за несчастливца. Гонимый находится в Мариенбурге: об этом предупрежден Борис Петрович. Замок едва держится; он должен скоро сдаться. Надо непременно спасти Владимира. Приметы его описаны в письме: нельзя ошибиться. Вадбольский тем охотнее берется за дело, что угадывает в нем и своего избавителя. Средства спасения придуманы так, что никто об исполнении их не будет знать, кроме третьего лица, именно Мурзенки, много обязанного несчастному

(что Паткуль имел случай объяснить фельдмаршалу и что мы узнаем со временем). Душа татарского наездника скрытна, как дно морское.

## *Глава десятая*
## СВАДЬБА И ПОГРЕБЕНИЕ

Уже я думал — вот примчался!
Как вдруг мой изнуренный конь
Остановился, зашатался
И близ границ страны родной
На землю грянулся со мной...

*Рылеев*

Ночь на двадцать четвертое августа была мрачная. По временам только прорезывался этот мрак огнем, вылетавшим клубом с трех батарей русских. Казалось, его метал с неба сам громодержитель. Замок на острове извергал также с трех сторон огни: воды озера повторяли их. В эти мгновения рисовался и замок, опрокинутый в воде, будто стеклянный дворец феи, освещенный факелами летающих духов. Огоньки, унизавшие высоты, занятые русскими, казались висящими на воздухе. Гром орудий прокатывался по озеру и отдавался по нескольку раз берегами. Наконец к полуночи все померкло и стало тихо, так тихо, что с главного раската можно было слышать, как бежала волна и с ропотом издыхала на береге. Часа два продолжалась тишина. Вдруг с берега что-то свистнуло и загремело; два огненные хвостика очертили по воздуху полукруг, и вслед за тем в замке что-то с ужасным шумом рухнуло; поднялись крики и стенания.

Рассвет дня объяснил причину их: главная стена и один болверк с пушками пали. Фельдмаршал с высоты любовался разрушением крепости.

— Чистая работа! благодарствую! — сказал он, положив руку на плечо бомбардира, стоявшего подле него с улыбкой самодовольствия.

В замке все приуныло. У коменданта составлен был совет. Пролом стены, недостаток в съестных припасах, изготовления русских к штурму, замеченные в замке, — все утверждало в общем мнении, что гарнизон не может долее держаться, но что, в случае добровольной покорности, можно ожидать от неприятеля милостивых

условий для войска и жителей. Решено через несколько часов послать в русский стан переговорщиков о сдаче. Сам цейгмейстер, убежденный необходимостию, не противился этому решению.

С веселым лицом явился он на квартиру пастора. Последний одет был по-праздничному; все в комнате глядело также торжественно. Подав дружески руку Вульфу, Глик спросил его о необыкновенном шуме, слышанном ночью. (За домами не видать было сделанного в стене пролома.) Шутя, отвечал цейгмейстер:

— Московиты не такие варвары, какими я их воображал: они знали, что ныне день моей свадьбы, и хотели еще заранее, с полуночи, поздравить меня с батарей своих. Доннерветтер! ныне ж последует сдача нашей крепостцы, и тогда мы расквитаемся с ними.

— Сдача? Слава богу! — воскликнул пастор и в благоговении, сложив руки на грудь, прочитал про себя молитву. — Не отложить ли нам свадьбу до заключения мира?

— Ваше слово, господин пастор, ваше слово должно быть свято. Я хочу, чтобы Катерина Рабе вошла с моим именем в стан русский. Где ж моя невеста?

На зов Глика явилась его воспитанница. Щеки ее пылали; грусть в очах ее походила более на тоску любви; черные локоны падали на алебастровые округленные плечи; шея была опоясана золотым ожерельем с бирюзою; белоатласное платье, подаренное ей Луизой и сберегаемое ею на важный случай, ластилось около ее роскошных форм и придавало ей какое-то величие; стан ее обнимал золотошвейный пояс; одинокая пышная роза колебалась на белоснежной девственной груди. Только одну и могли найти в цветнике комендантского сада: казалось, она запоздала в нем для того только, чтобы кончить жизнь так счастливо. За невестою шел Владимир. Смуглое лицо, черные кудри, небрежно раскиданные, пасмурный взор, бедная одежда резко отделялись от блестящей, роскошной фигуры невесты.

Невеста и жених стали на свои места. Пастор с благоговением совершил священный обряд. Слезы полились из глаз его, когда он давал чете брачное благословение. С последним движением его руки отдали в стане русском кому-то честь барабанным боем... и вслед за тем в комнате, где совершалась церемония, загремел таинственный пророческий голос, как торжественный звон колокола:

— *И се на главе ее лежит корона!*

Все невольно вздрогнули и оглянулись. На пороге двери стоял слепец. Он казался необыкновенно высок; грудь его колебалась, незрящие очи горели, как в то время, когда он рассказывал свои видения в Долине мертвецов. Каким образом пришел в комнату, где совершалось таинство, слепец, один, без проводника, без посоха? Кто был его путеводитель?.. Три дня уже он сильно перемогался. С изумлением, молча, смотрели на него, как на пришельца с того света. Вдруг он начал колебаться, искал кого-то руками и, произнеся слово: «позван» — грянулся на пол. Владимир подбежал к нему; он чувствовал еще пожатие его руки; но через миг улыбка смерти порхала уже на лице старца. Владимир целовал его руку и орошал ее слезами.

Ужас объял всех. Новобрачные спешили в другую комнату, а навстречу им — штык-юнкер Готтлиг, особенно преданный цейгмейстеру, с известием, что комендант с несколькими офицерами перебрался уже на ту сторону и прислал сказать, что у него идут переговоры о сдаче замка на выгоднейших условиях: гарнизону и жителям местечка предоставлен свободный выход; имущество и честь их обезопасены; только солдаты должны сдать оружие победителям и выходить из замка с пулями во рту.

Румянец вспыхнул на лице Вульфа; видно было на лице его, что он удерживался от негодования.

— Скажи коменданту, — отвечал он довольно спокойно, — что я даю свое согласие; но требую шести часов, чтобы выпроводить отсюда жителей Мариенбурга. Залогом в выполнении условий может остаться господин комендант с товарищами! — прибавил Вульф, коварно усмехаясь.

Потом, переговорив что-то со штык-юнкером шепотом, крепко пожал ему руку, отпустил его и, увлекая с собою новобрачную, пошел с нею отыскивать Глика.

Пастора нашли они в цветнике. Дрожащею рукою бросил он горсть земли на свежую могилу и произнес:

— Мир тебе в селении праведных!

В глубокой горести, опершись на заступ и качая головой, стоял подле него Владимир: слезы струились по его щекам; взоры его как будто выражали: «Один он только в мире не покидал меня, и его у меня отняли!» Новобрачные также посыпали землею на его могилу, — и скоро земляной бугор скрыл навеки останки вдохновенного старца.

Свадьба и похороны были так смежны, неизвестность, окружавшая наших друзей, так страшна, что нельзя было им не задуматься над бедностью здешнего мира. Штык-юнкер Готтлиг вывел их из этой задумчивости, донеся цейгмейстеру, что волю его обещали исполнить, но что, против чаяния, когда он, Готтлиг, причалил лодку свою к берегу острова, войска русские начали становиться на плоты, вероятно, для штурмования замка.

— Мы встретим их! — сказал Вульф, простился с Гликом и своею супругою и отправился принять гостей, не в пору пожаловавших.

В самом деле, русские на нескольких плотах подъехали с разных сторон к острову. Встреча была ужасная. Блеснули ружья в бойницах, и осаждавшие дорого заплатили за свою неосторожность. Сотни их пали. Плоты со множеством убитых и раненых немедленно возвратились к берегу. Из стана послан был офицер шведский переговорить с Вульфом, что русские не на штурм шли, а только ошибкою, ранее назначенного часа, готовились принять в свое заведование остров.

— В другой раз не будут ошибаться! — сказал хладнокровно цейгмейстер. — Я требую, чтобы из этих самых плотов сделали мост для перехода мариенбургских жителей, которых я взял под свою защиту!

С торжественным лицом явился Вульф к Глику и застал его в больших трудах. Он высиживал речь, которую хотел произнесть перед русским военачальником, когда последует сдача замка. Госпожа Вульф в глубокой задумчивости сидела неподалеку от него.

— Друзья мои! — сказал цейгмейстер. — Я хлопочу о вашем благополучии. Бездельники вздумали было не исполнить своего слова; но кто побывал в моей школе, научится держать его. Московитские плоты к вашим услугам, и я заставлю победителей переправить вас на ту сторону. — Э, э, любезный! где ж у вас, позвольте сказать, Минерва? — говорил пастор, заглядывая беспрестанно в бумагу, перед ним лежавшую, перемешивая суетливо свой разговор на немецком обрывками русской речи и ударяя рукою по столу. — *Высокоповелительный вождь российских победоносных...* Да, да, мой любезнейший друг, берегитесь, чтобы не... *Пали под стопы ваши грозны твердыни крепкого града Мариенбурга, как некогда Троя...* чтобы не отплатили вам, говорю я! Брр, бр... Не забудьте своего слова... *Минерва несла перед вами эгиду свою...*

— О ней-то хотел я с вами переговорить, — перебил Вульф, пожав плечами, и почти насильно отвел Глика в другую комнату. Здесь, под клятвой, открыл он великую тайну. — Только вам, Вольдемару и штык-юнкеру, — прибавил цейгмейстер, — поверил я эту тайну. Спасите себя, *мою* Кете и тех, кто захочет за вами следовать.

— Вы так жестоко обманули меня? Вы оставляете вдовой ту, с которой только что сочетал вас бог? — произнес горестно пастор. — Зачем же, не любя ее...

— Другому, кто бы мне это сказал, я раскроил бы череп, — перебил Вульф. — Нет, мой добрый отец, я любил ее слишком много: эту слабость могу только теперь исповедать. Но моя любовь была чиста и возвышенна, как любовь древнего рыцаря: таковою и останется. Я хотел только, чтобы бедная, незначащая сирота носила мое имя — кажется, благородное! в этом, доннерветтер, порукою нынешний день. В шкатулке, которую вверил я вам вчера, найдет вдова цейгмейстера Вульфа, чем обеспечить будущность. Исполнив обязанности дружбы и любви, я имею еще высшие обязанности: пришло время заплатить долг мой королю и отечеству.

Глик убеждал, умолял его именем дружбы, любви, бога оставить свое намерение; но цейгмейстер был неумолим.

— Мое слово неизменно, как сам бог! — сказал последний. — В этом клянусь его святым именем!

Оставалось уступить ему не без большого неудовольствия.

От новобрачной скрыли ужасную тайну. Только при расставании с мужем она заметила в словах его и во всех движениях что-то необыкновенное. Разлука их должна быть часовая, как ей сказали; а между тем глаза его были мокры, когда он прощался с нею и ее воспитателем. Этого никогда с ним не бывало; это недаром! Еще сильнее возродились ее подозрения, когда Вульф, поцеловав ее в лоб, сказал с особенным чувством:

— Будь счастлива!

Невольно содрогнулась она от этих слов, заплакала и бросилась к нему на грудь. Она не чувствовала к нему особенной любви, но привыкла к нему, уважала его, как покровителя, брата, друга; знала, что он к ней привязан; носила уже его имя — и потерять его было для нее

тяжело. Разными обманами старались ее успокоить. Друзья расстались.

Началось шествие мариенбургских жителей из замка по мосту, составленному из сдвинутых плотов русских. Впереди всех медленно и важно выступил пастор в праздничном одеянии. Под левою мышкою нес он «Славянскую Библию», нередко покашливал и бормотал про себя, затверживая приветственную речь. За ним следовала, опустив печально голову, воспитанница его в брачном одеянии, которого не успела скинуть. Занятая мыслями о своем хозяйстве, Грете шла за нею не в меньшей горести. Она несла узел, в котором заключены были, едва выглядывая на свет, Квинт Курций, Юлий Кесарь, Езоп и прочие великие мужи древности, удостоенные, по милости пастора, преобразиться из римской и греческой тоги в русскую одежду. Полный тревоги и нетерпения, поспешал за ними Владимир. Медленность шествия досаждала ему; если б можно, он перебросился бы в стан русский. Клятва, которую он дал Вульфу, — хранить роковую тайну, — может и должна быть нарушена для блага его соотечественников. Допустит ли он своих братьев быть обманутыми шведами и погибнуть нечаянной смертию?

Вслед за нашими друзьями высыпали из ворот замка граждане мариенбургские, как овцы, выпущенные в красный день из овчарни. Часть гарнизона выступила также, малая часть осталась в замке по условию до сдачи его и всех военных снарядов русским.

Долго стоял Вульф на берегу острова, пока не потерял из глаз пастора и ту, которую он называл так долго сестрою своей и так мало своей женою. Близ моста, на авансцене русского стана, стоял благородный представитель своих соотечественников, князь Вадбольский. Ему поручено было распорядиться о приеме дорогих гостей, выступавших из замка. Неподвижный, закованный в одну думу, в одно чувство, он устремил свои взоры на подходившую к нему толпу. Позади в нескольких шагах от него находились верхом знаменитый Мурзенко, близ него два конных татарина, из которых один держал оседланную лошадь, и четверо спешенных драгун. Все они внимательно сторожили движения Вадбольского; самые лошади их, навострив уши, подняв головы, казалось, одинаково что-то выжидали. Лишь только Владимир вслед за пастором и его домочадцами спустил ногу с моста на берег и взгляд его со-

шелся с наблюдательным взглядом князя Вадбольского, как почувствовал, что его схватили за руку могучею рукою.

— Тебя ищут! — торопливо сказал ему князь.— Спасайся от беды неминучей!

— Я сам иду! Пора к концу! — отвечал Владимир, хотел еще говорить, но Вадбольский гаркнул:

— Сюда!

Налетели татары и драгуны, окружили их;. поднялось около них облако пыли, сквозь которое ничего нельзя было видеть из русского стана и мариенбургскому кортежу. Сильные руки схватили Владимира, не дав ему образумиться, посадили кое-как на лошадь и туго привязали к ней. Мурзенко свистнул и был таков; за ним помчались два татарина и лошадь, к которой прикреплен был узник. Горы, леса мелькали мимо них. Наконец они остановились. Разбитый ездою, истерзанный крепкою перевязью, изнуренный душевными страданиями, Владимир, полуживой, оглянулся. Все вокруг него ходило. Что с ним сделалось, где он был, где теперь, не понимал он. Его развязали, сняли с лошади, посадили на мураву и дали ему выпить воды. Он очнулся и увидел себя у калитки Блументростовой мызы; перед ним стоял Мурзенко; два татарина ухаживали за несколькими лошадьми.

Мурзенко, заметив, что он пришел в себя, подал ему бумагу. Владимир взял ее и прочел на ней следующие строки, рукою фельдмаршала написанные: «Спасайся, беги в Чудь, в Польшу, куда хочешь; только в России не показывайся. Не снесешь там головы своей. Злодей Денисов ищет твоей погибели и пишет о тебе в Москву, в царскую Думу. Спасти тебя теперь не могу: ты — *Последний Новик!* Молим бога и всех святых его подать нам случай оказать тебе нашу благодарность. Будем узнавать о тебе на известной мызе. Наш посланный вручит тебе знак нашей признательности, какой может тебе по времени пригодиться».

— Итак, господи, ты судил мне родины не видать!.. — сказал Владимир, прочитав записку, и зарыдал так горько, что привел в жалость татарского наездника.

Мурзенко, не понимая причины его горести, старался, однако ж, по-своему утешить его и подал ему кошелек, туго набитый золотом.

— Отдай этот дар назад тому, кто прислал

его! — сказал с негодованием Владимир, оттолкнув руку татарина. — Объяви ему, что я не наемщик. За деньги не делают того, что я сделал. Господи! о господи! за что лишил меня товарища, родителей, отечества? За что отвергаешь и смирение мое, и мое раскаяние?.. Не лиши меня хоть последней милости, молю тебя: сделай, чтобы, когда узнают о смерти Последнего Новика, русские, братья его, совершили по нем поминовение и помолились о спасении души того, кто любил так много их и свою родину!

Тут Владимир, закрыв глаза руками, опять горько заплакал; но немного погодя встрепенулся и сказал Мурзенке:

— Может быть, еще не поздно!.. Скачи назад, иди прямо к Шереметеву и скажи ему, чтобы русские не входили в замок. Там офицер шведский зажжет пороховой погреб; взорвет!..

— Пуф! — вскричал Мурзенко, показывая движениями, что он понял Владимира. — Бездельника! Собака швед! понимай моя... Добре, добре! — прибавил он, обняв Владимира и утерев кулаком слезу, навернувшуюся на щель одного глаза. — Моя твоя не забудет. По твоя милости моя пулковник. Авось моя твоя добре сделает.

С последним словом кликнул он своих татар, сел на коня и, как вихрь, взвился по дороге к Мариенбургу.

Проводив на мызу господина Блументроста Владимира, с которым судьба так жестоко поступила в минуты его величайших надежд, мы возвратимся к мосту мариенбургскому. Внезапное похищение его несколько расстроило церемониальное шествие, предводимое Гликом. Последний едва не перемешал в голове частей речи, составленной по масштабу порядочной хрии, от которой отступить считал он уголовным преступлением. Князь Вадбольский, управившись с Владимиром, поспешил к пастору и, узнав, что он говорит по-русски, обласкал его; на принесенные же им жалобы, что так неожиданно и против условий схвачен человек, ему близкий, дан ему утешительный ответ, что это сделано по воле фельдмаршала, именно для блага человека, в котором он принимает такое живое участие; и потому пастор убежден молчать об этом происшествии, как о важной тайне.

Глик с своими прихожанами и обезоруженными шведскими офицерами, вышедшими из замка с частью

гарнизона, отведен был в стан русский. Там, в богатой ставке, которую мы уже прежде описали, ожидал их фельдмаршал, окруженный многочисленным штатом. Почетные жители Мариенбурга были введены в нее, и взоры воинов русских обратились на прекрасную воспитанницу. Несмотря на присутствие главного начальника, многие единодушно вскричали: «Вот пригожая девушка!» — «Das ist ein schönes Mädchen!» Сам фельдмаршал невольно охорошился, призвал улыбку на важное лицо свое и не раз взглянул на нее глазами, выражавшими то, что уста других произнесли.

Госпожа Вульф, краснея от общего внимания, на нее обращенного, и от похвал, которыми была осыпана, казалась оттого еще прелестнее. Это внимание, не ускользнувшее от глаз пастора, и ласковый прием, сделанный ему фельдмаршалом, придали ему бодрости. Кашлянув и поправив на себе парик, он спешил изумить своих слушателей речью, произнесенною на русском языке. В ней собрана была вся ученость его, подпертая столбами красноречия и любовию его к славе Петра I — любовию, зажженною взглядом на него великого монарха под Нейгаузеном, питаемою русскими переводами, которые намеревался посвятить ему, и надеждою основать в Москве первую знаменитую академию, scholam illustrem. В заключении просил оратор повергнуть к стопам его величества адрес, им заготовленный, о принятии уж не Мариенбурга — целой Лифляндии под свое покровительство. По окончании речи Глик подал фельдмаршалу «Славянскую Библию» в огромном формате, которую держал доселе под мышкою и которая мешала ему порядочно размахнуться. Ободренный лестным вниманием и признательностию высокого русского сановника, обещавшего ему свое покровительство и денежное пособие на учреждение в Москве училища и заверявшего его в милостях царя, который умел ценить истинную ученость, пастор почитал себя счастливее увенчанных в Капитолии. Все мечты, все грезы его самолюбия сбывались! Вслед за Библиею представлены великие члены его семейства, исторгаемые один за другим из смиренного убежища, в котором держала их Грете, а за ними его воспитанница, офицеры шведские и почетные жители Мариенбурга, принятые, волею их или неволею, под покровительство восторженного оратора. Всех отрекомендованных Гликом фельдмаршал оставил у себя обедать. За столом радушный хозяин так ободрил

их, что они забыли свое горе и казались дорогими гостями на веселом пиршестве. Говорили и о Вульфе, несмотря на желание Глика отстранить от себя печальную мысль о нем. Когда узнали, что он муж и только что несколько часов муж прелестной воспитанницы, фельдмаршал сказал по-немецки:

— Ваш зять порядочно *натрубил* нам в уши: три недели не дал он нам покоя своею музыкою и недавно еще задал нам порядочный концерт. Надо бы отплатить ему ныне тем же, — прибавил он, смотря значительно на госпожу Вульф, — но мы не злопамятны. Пусть увенчают его в один день и лавры и мирты, столько завидные!

Госпожа Вульф покраснела и, прибавляет хроника, вздохнула... Комментарии не объясняют этого вздоха. Известно нам только, что с этого времени называли ее прекрасною супругою несносного *трубача*...

После обеда гости были отпущены по домам. Пастору обещано доставить его с честию и со всеми путевыми удобностями в Москву, как скоро он изъявит желание туда отправиться. Все разошлись довольны и веселы.

Настал условный час приема замка. Сначала послан был к цейгмейстеру шведский офицер с предуведомлением, что русские идут немедленно занять остров.

— Все готово к приему их! — отвечал хладнокровно Вульф.

Несколько баталионов русских тронулось из стана с распущенными знаменами, с барабанным боем и музыкою. Голова колонны торжественно входила в замок, хвост тянулся по мосту. Гарнизон шведский отдал честь победителям, сложил оружия, взял пули в рот и готов был выступить из замка... Дело стало за цейгмейстером, которого не могли сыскать. Поднялась пыль за местечком по дороге из Менцена, быстро вилась клубом, исчезла в местечке; уже на берегу виден татарский всадник — это Мурзенко. Он махал рукою и кричал что-то изо всей силы; слова его заглушены музыкою и барабанным боем...

В эту самую минуту среди замка вспыхнул огненный язык, который, казалось, хотел слизать ходившие над ним тучи; дробный, сухой треск разорвал воздух, повторился в окрестности тысячными перекатами и наконец превратился в глухой, продолжительный стон, подобный тому, когда ураган гулит океан, качая его в своих объятиях; остров обхватило облако густого дыма, испещренного черными пятнами, представлявшими не-

ясные образы людей, оружий, камней; земля задрожала; воды, закипев, отхлынули от берегов острова и, показав на миг дно свое, обрисовали около него вспененную окрайницу; по озеру начали ходить белые косы; мост разлетелся — и вскоре, когда этот ад закрылся, на месте, где стояли замок, кирка, дом коменданта и прочие здания, курились только груды щебня, разорванные стены и надломанные башни. Все это было делом нескольких мгновений. Последовала такая же кратковременная тишина, и за нею послышались раздирающие душу стоны раненых и утопавших, моливших о спасении или смерти. Немногие из шведов и русских в замке чудесно уцелели. Не скоро также были посланы люди с берегу, чтобы дать им помощь; опасались еще какого-нибудь адского действия из уцелевшей башни. Испуганное войско русское высыпало из стана на высоты и приготовилось в бой с неприятелем, которого не видели и не знали, откуда ждать.

Вульф сдержал свое слово: и мертвеца с этим именем не нашли неприятели для поругания его. Его могилою был порох — стихия, которою он жил. Память тебе славная, благородный швед, и от своих и от чужих!

История не позволяет мне скрыть, что месть русского военачальника за погубление баталиона пала на бедных жителей местечка и на шведов, находившихся по договору в стане русском, не как пленных, но как гостей. Все они задержаны и сосланы в Россию. Не избегли плена Глик и его воспитанница, может статься, к удовольствию первого. Шереметев отправил их в Москву в собственный свой дом. Местечко Мариенбург разорено так, что следов его не осталось.

*Конец третьей части*

## Часть четвертая

### *Глава первая*
### У РАСКОЛЬНИКОВ

Устал я, тьма кругом густая.
Запал в глуши мой след.
Безбрежней, мнится, степь пустая,
Чем дале я вперед.

*Жуковский*

*«Борис Петрович гостил в Лифляндах изрядно»*, — писал Петр I к одному из своих вельмож десятого сентября 1702 года. А каково было гощение, можно видеть из писем Шереметева к самому государю. Особенно два письма, знакомя нас с тогдашним образом войны русских и жалким состоянием Лифляндии, так любопытны, что мы решаемся задержать на выписке из них внимание наших читателей. «Посылал я (доносил фельдмаршал) во все стороны полонить и жечь. Не осталось целого ничего: все разорено и пожжено; и взяли твои, государевы, ратные люди в полон мужеска и женска пола и робят несколько тысяч, также и работных лошадей и скота с двадцать тысяч или больше, кроме того, что ели и пили всеми полками, а чего не могли поднять, покололи и порубили...» В другом письме доносит он же: «Указал ты, государь, купя, прислать чухны и латышей, а твоим государевым счастием и некупленных пришлю. Можно бы и не одну тысячу послать, только трудно было везти, и тому рад, что ратные люди взяли их по себе; а к Москве посылка не дешева станет, кроме подвод». К этому описанию прибавлять нечего; каждое слово есть драгоценный факт истории, жемчужина ее.

Осень подоспела, чтобы своими непогодами прибавить к мрачному состоянию этой страны. Главная русская армия давно уж покинула опустошенный ею юго-восточный край Лифляндии и перешла на север к Финскому заливу; разве мелкие наезды понаведывались изредка, не осмелился ли латыш вновь приютиться на родной земле, как злой ястреб налетом сторожит бедную пташку на гнезде, откуда похитил ее птенцов. Вслед за военными дозорщиками рыскали стада волков,

почуявших себе добычу. В это время Владимир покинул мызу господина Блументроста.

Сделаем перечень его несчастий.

Он лишился единственного своего товарища, слепца, восемь лет ходившего с ним рука об руку, восемь лет бывшего единственным его утешением; он разлучен с Паткулем, который один мог бы помочь ему и не знал безвременья для слова правды и добра перед царями; обманут он в минуты лучших, сладчайших своих надежд — у порога родины немилосердно оттолкнут от нее на расстояние безмерное. Русские, соотечественники, гонят его; шведам, призревшим его новым отечеством и братством, он изменил. Все высокое, прекрасное, им воздвигнутое, разбито в прах; все злодейское, им сделанное, воскресло новою жизнью и растет перед его совестью. Прошедшее — широкий путь крови, скитания, нужд; будущее — тесное, жесткое домовище, откуда он, живой, с печатью греха и отчуждения, вставая, пугает живых, откуда он не может выйти, не встретив топора палача или заступа старообрядческого могильщика. Что осталось ему? Плакать? Он уже выплакал свои слезы... Прочь все прекрасное, все доброе! Ад — его достояние; ад легко отыскать с таким проводником, как мщение! Отныне злобно смотрит он на жизнь и на человечество; но между последним сердце его отметило одного человека метою кровавою. Его-то радостно опутает он своими объятиями, сшибет со скудельных ног и с ним вместе рухнет в бездну вечного плача и скрежета зубов. Этот человек поднимает его поутру с ложа, ходит с ним неразлучно, сидит с ним за столом, у изголовья его постели, будит его во сне; этот человек — Андрей Денисов.

— Мщение! — вскричал Владимир, разбив свои гусли. — На что вы мне теперь? Вы не выражаете того, что я чувствую. Мщение! — сказал он Немому, расставаясь с ним и пожав ему руку пожатием, в котором теплилась последняя искра любви к ближнему. Добрый Немой, не понимая его, с жалостию смотрел на него, как на больного, которого он не имел средств излечить, крепко его обнял и проводил со слезами. После него и Немой остался на мызе круглою сиротою!..

Наружность Владимира была мрачна не менее души его. Дикий, угрюмый взор, по временам сверкающий, как блеск кинжала, отпущенного на убийство; по временам коварная, злая усмешка, в которой выражались презрение ко всему земному и ожесточение против че-

ловечества; всклокоченная голова, покрытая уродливою шапкою; худо отращенная борода; бедный охабень, стянутый ремнем, на ногах коты, кистень в руках, топор и четки за поясом, сума за плечами — вот в каком виде вышел Владимир с мызы господина Блументроста и прошел пустыню юго-восточной части Лифляндии. Он приближался к Дерпту и поворотил вправо. Глаза его разыгрались диким восторгом.

— Он велел мне приходить к себе. Иду к нему, гость не на радость! Сяду на большое место под образами, насыщусь его хлебом с солью, напьюсь медов сладких и — отблагодарю за гостеприимство. Долго не забудет званого посетителя! — Так говорил Владимир, подходя к *Носу*, одной из деревень, которыми *староверы* обсели Чудское озеро. Мертвая осенняя природа; тяжелые, подобно оледенелым валам, тучи, едва движущиеся с севера; песчаная степь, сердито всчесанная непогодами; по ней редкие ели, недоростки и уроды из царства растений; временем необозримые, седые воды Чудского озера, бьющиеся непрерывно с однообразным стоном о мертвые берега свои, как узник о решетку своей темницы; иссохший лист, хрустящий под ногами путника нашего, — все вторило состоянию души Владимира. Вот он уж и в деревне.

Латыши, чухны проводят обыкновенно унылую, тихую жизнь в дикой глуши, между гор и в лесах, в разрозненных, далеко одна от другой, хижинах, вдали от больших дорог и мыз, будто и теперь грозится на них привидение феодализма с развалин своих замков. Не видно у них, как в наших великороссийских губерниях, длинных деревень, где тысячи любят жаться друг к другу, где житье привольно, подобно широким рекам, и шумно, нередко буйно, как большие дороги, около которых русские любят селиться; где встречает и провожает зори голосистое веселье. По первому взгляду на деревню, в которую вошел Владимир, можно было сейчас узнать, что ее обитатели русские. Ее образовали вдоль узкой улицы два ряда высоких изб, расположенных уступами так тесно, что казались они взгроможденными одна на другую. Все они были с одним красным окном и двумя волоковыми, с трубами и высокими *коньками*, на которых или веялись флаги, или вертелись суда и круги, искусно вырезанные. Ворота, убитые крупными жестяными гвоздями, прикрывались длинным навесом, под которым вделан был медный *осьмиконечный* крест. Наружность домов содержалась в необыкновенной чи-

стоте; особенно вокруг окон бревна были не только вымыты, но и поскоблены. Тишина, царствовавшая в селении, не удивила бы Владимира, знавшего, что в жилищах раскольников наблюдается всегда строгое благочиние, если бы эта тишина не походила на какую-то мертвенность. Никого не было видно на улице и в огородах. У двух-трех домов брякнул он по нескольку раз с расстановкою большим железным кольцом о бляху такого же металла; несколько раз постучался довольно крепко у окон палочкою и прочитал жалостным голосом моление:

— *Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас!*

Хоть бы голос женщины откликнулся ему! Где могли быть жители *Носа* в гулевую пору, в обеденные часы?

Не мало удивился он, когда ворота у одного дома без труда отворились, лишь только он осмелился приподнять щеколду и толкнуть слегка полотно их. На дворе тощий скот пожирал навоз; собака, такая худая, что лопатки ее выставлялись острыми углами и можно было перечесть все ее ребра, шатаясь, выползла из конуры и встретила пришельца сиповатым, болезненным лаем. В сенях никого, в избе — тож. Посуда, обыкновенно содержимая у раскольников в большой чистоте, была разбросана в беспорядке по столу и залавкам. Печь, в изразцах которой наверчено было множество дыр, чтобы, во время молитв, благодать удобнее проходила в горшки и очищала кушанье, покупаемое на торгах, была не топлена. Иконы в избе ни одной. Без труда вошел Владимир на соседний двор: в нем также пустота; в третьем, в четвертом тоже. Далее нашел он умирающего младенца.

— Счастлив, что кончаешь жизнь, не понимая ее! — сказал Владимир и отвернулся от раннего страдальца.

Наконец у *звонницы*[1] представилось ему что-то похожее на живое существо. Это была молодая женщина, лежавшая на голой, сырой земле и почти недвижимая. С трудом могла она, однако ж, объяснить нашему страннику, что она дочь тутошнего *уставщика*[2], удо-

---

[1] Колокольни.

[2] Уставщик — надзиратель за порядком во время богослужения.

стоена была в *грамотницы* [1], заменяла нередко *батьку* (отца духовного) в часовенном служении; но что с недавнего времени лукавый попутал ее: полюбила молодого, пригожего *псалмопевца* и *четца*. Это бы еще не беда. Грех этот можно б искупить несколькими стами *начал* [2]; но вот что ее погубило. Отец ее любезного, побывав в другом *согласии*, вывез оттуда ересь и смутил ею некоторых из жителей деревни Носа, а именно: он стал принимать от феодосеян титлу, Пилатом на кресте написанную: IC *Назарянин, царь иудейский*. Носовцы же (поморского согласия) писали титлу: *царь славы*, IC *сын божий*, и потому, предав анафеме *новщиков* [3], выгнали их из деревни. Псалмопевец, прежде вечной разлуки с любезною грамотницею, захотел с ней проститься. Роковое свидание назначено в ближнем бору. Сердце у раскольницы такое же мягкое, как и у женщин мирских: она исполнила волю милого. *Надсмотрщица* [4] подглядела за ними и поспешила избавить несчастную из сатанинских когтей федосеевщика, рассказав обо всем отцу ее. Озлобленный родитель сам, своими руками выдал ее *согласию* Тысячи земных поклонов, ужасный пост, побои, истязания разного рода освободили грешную от мучений ада. Ноги у ней были отбиты; одною рукой она не владела; земля подернула губы ее.

— Теперь, — прибавила она, — очищенная, жду Страшного суда.

— Где ж православные? — спросил Владимир.

— В бору, — отвечала *грамотница*. — Поспешай и ты туда ж, чтобы страшный час не застал тебя в *суете*.

Не понимал Владимир, о каком часе говорила несчастная. Он сделал ей несколько вопросов, но, ослабевшая от усилий, которые употребила, чтобы рассказать о своей судьбе, она могла только указать на бор, видимый из деревни, и погрузилась в моление.

«Пойду искать следов жизни, более здоровой и сильной, — думал Владимир, обратившись, куда ему

---

[1] Грамотница читает апостол, поет на женской половине духовные песни и пишет книги, нередко с большим искусством, по-уставному.

[2] Началом называют раскольники те семь поклонов, без которых они ничего не начинают. Ежели кто в сем случае недоложит поклона или переложит его, то молитва не в молитву.

[3] Вводящие перемену, новизну в расколе.

[4] Надсмотрщик наблюдает за нравственностию мужчин, надсмотрщица — за поведением женщин.

указано было, — авось заражу ее моими страданиями или потешусь над глупым человечеством».

Еще издали представилось ему странное зрелище. Поприща [1] за два от деревни, в мелкорослом, тщедушном бору, на песчаных буграх, то смело вдающихся языком в воды Чудского озера, то уступающих этим водам и образующих для них залив, а для рыбачьих лодок безопасную пристань, стояло сотни две гробов, новеньких, только что из-под топора. Несмотря на отвращение, какое человек чувствует к трупам себе подобных, особенно чужих людей, Владимир решился подойти к этому погосту.

«Какая язва, — думал он, — уклала в домовища всех здешних жителей? Смерть, когда она не послана гневом божиим, утомилась бы в год засеять такое поле; а ныне, видно, наполнила она их так скоро, как проворный жнец укладывает снопами свою полосу, как ловкий пес загоняет стадо в овчарню. Однако почему гробы не опущены в могилы? Исчезнувший с земли должен и истлеть в ней, чтобы не оставить от себя ничего, кроме имени человека. Кто ж и когда успел построить эти домовища? Поэтому жители Носа заранее готовились умереть. Не перешли ли они в морельщики и, может быть, желая приобресть мученический венец, сами себя умертвили?» Размышления эти были прерваны ужасным воем, плачем и визгом, поднявшимся вдруг из гробов, как скоро Владимир подошел к ним.

— Грядет, грядет! — вопило множество.

— Господи, Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас! — раздалось вокруг него на разные жалобные голоса. Иные читали сами себе отходную; другие молили о помиловании; некоторые, закрыв глаза, скрежетали от страха зубами. Сначала испугался и сам Владимир, обхваченный таким хором; но, вглядевшись пристально в фигуры, укладенные, как мумии, в ящики, из которых большая часть была не закрыта, он едва не захохотал, несмотря на состояние, в котором находился. В домовищах лежали жители Носа, разного пола и возраста, окутанные в саваны и спеленутые — молодые розовыми покромками, а старшие голубыми, так что из перевязки составлялось три креста: один на коленах, другой на брюхе, а третий на груди. Бумажный блестящий венец,

[1] Тогда считали расстояние поприщами, полагая в каждом сто двадцать шагов.

с осьмиконечными крестами, обвивал их чело; в головах стояли медные литые образа. У некоторых женщин покоились младенцы на груди, у других с криком вырывались. Дети требовали хлеба, обступая отцов и матерей, которые с жестокостью их отталкивали. Владимир понял тотчас, в чем состояло дело; с важностью обошел вокруг живописного кладбища, стал потом на средине и воскликнул громовым голосом:

— Почто вы здесь?

На это воззвание закричали многие:

— Это антихрист: он смущает нас. Укрепитесь, о братия, в страшный час молитвою.

Владимир поднял вверх правую руку, из которой составил двуперстное крестное знамение, и опять воскликнул:

— От имени господа бога и спаса нашего Иисуса Христа вопрошаю вас: почто вы здесь?

— Яков Ковач! — сказал тут один с выпятившимся из гроба брюхом, дрожа от холода, а может быть, и проголодавшийся. — Он речет именем господа.

— Воистину так! — отвечал тот, к кому обращена была речь.

— Поведаем ему, почто мы здесь вкупе.

— Пора бы, — примолвил третий, выпутываясь из пелен и потихоньку выползая из гроба, — пора бы уж давно, по вычислению уставщика Антипа, совершиться пророчеству.

— Посмотрим, так ли солнце течет? Нет ли замешательства в мире часов? — присоединил свой голос четвертый, последуя примеру своих братий и посматривая на небо, на котором в это время из-за свинцовых туч проглянуло солнышко.

— Кажись, все по-старому. Антипка обморочил нас! — закричало несколько голосов.

— Подавайте Антипку! побьемте его каменьями. Бросимте его в воду! — вопили многие.

Среди этого смятения выпрыгнул из гроба один высокий мужик, разорвал на себе смертные оковы, побежал в противную от селения сторону, и, пока разоблачались братья его, спеленутые, подобно куклам, он успел скрыться из виду.

— Еретик! лжеучитель! — вскричали многие вслед ему. — Не хотел искупить своего прегрешения мученическою смертию. Достоин есть отлучения от церкви и общежительства!

— Почто смущаетесь, братия мои о господе? — сказал Владимир, приняв на себя постный вид. — Я стран-

ствовал много по святым местам, иду теперь от гроба господня к соловецким чудотворцам и несу вам, по пути, оружия, каковыми подобает подвизаться против сатаны, дышащего зельною яростию на христоименитое достояние.

Слова эти, как талисман, подействовали над живыми мертвецами. Толпы собрались около благовестителя. (Надобно здесь заметить, что раскольники имеют слепую веру к пришельцам греко-российского исповедания из дальних стран и потому часто бывают обмануты бродягами.) Иные, не успев еще разрешить ноги свои от смертных уз, но желая скорее поклониться святому мужу (которого за несколько минут были готовы побить каменьями, как Антипа), бросались вперед, запутывались в саванах, падали друг на друга и возились по земле. Другие едва переступали с ноги на ногу, имея руки связанные, и представляли таким образом движущиеся чурбаны. Некоторые, крепче прочих стянутые, лежали в ящиках своих, будто чающие движения воды, и жалостно молили о помощи. Прибавьте к этому очерку бороды разного покроя и цвета, высунувшиеся из пелен; бумажные пестрые венцы, украшавшие маститые лбы; отрывки саванов, которые тащились по пятам и на которые наступали ревностные братья, — и можете докончить смешную картину восстания носовцев из мертвых. Заметно было, однако ж, что человека два-три вовсе не показывали знаков жизни и, вероятно, от холода, голода и страха успокоились на вечные времена. Обступившие Влади́мира носовцы рассказали ему наконец, что за несколько дней прошел через их общежительство киновиарх Выговского скита и чиноначальник поморян Андрей Дионисиев. Он поведал им, что антихрист народился уже тридцать лет, три месяца и три дня и что Иисус Христос приидет вскоре на облаках судить живых и мертвых.

— Мы просили уставщика Антипа, — прибавляли рассказчики, — вычислить нам, в кой именно час подобает быти Страшному суду. Притаился было вначале собачий сын, будто боится нас перепугать, и ну отговариваться, а мы плотнее к нему: скажи-де нам, не моги утаить, всю правду-истину. Взялся еще раз вор Антипка за книги; три дня, три ночи рылся в них, отыскал якобы ключ к таинствам и поведал нам в третий день, что ныне-де, в пятницу, в полудни, неминуемо быти пришествию господню. Побросали мы все житейское,

поделали гробы и полегли в них вчера, изготовясь молитвою и постом к страшному часу. Но знать...

— Обманул вас, о братия, Андрей Дионисиев из собственной корысти, — перебил Владимир. — Обманул вас и уставщик, подкупленный им. Разойдется по христианству поморскому сеть, в кою вы попали, и лукавый возвеселится.

— Ах! он такой-сякой! — вскричала толпа. — Приди-ка он к нам!..

— Вонмите мне, — перебил опять Владимир, возвысив голос, — вы все, кои здесь предстоите и коих имена вписаны в книзе животней! Афонский монах, сто лет находящийся при гробе господнем, прислал вам со мною мир от бога и свое благословение. В беседе о временах и летах он поведал мне, опираясь на сию трость... — При этом слове слушатели бросились на посох, который держал Владимир, и в один миг с жадностию разделили его по себе на мелкие части. Владимир не смутился и продолжал: — Святой отец поведал мне, что антихрист уже шестьдесят лет народился.

— Смотри-ка, — кричали многие, — скрадено три десятка годов. Три десятка! легко молвить! Ну, счастлив, что подобру-поздорову уплелся, а то бы похлебал свежей ушицы!

— Святой отец поведал еще, что искуситель примет на себя образ киновиарха, что смуты его только в нынешних летах значились, а Страшный суд настанет не прежде сорока девяти лет, по вычислению на семи седьмицах.

Многое еще толковал им Владимир об антихристе, в которого ересиарх Денисов мог бы смотреться, как в зеркало. Слушали проповедника жители Носа, разинув рты, благодарили его за добрую весть, упрашивали его к себе в уставщики и обещали со временем произвесть в чиноначальники. Чувство мести заставило его согласиться на предложение раскольников.

Почившие вечным сном и, следственно, кончившие свою роль на этой сцене человеческих заблуждений преданы, по обычаю, при всей братии, достойному погребению; после чего гробы живых брошены в озеро. Флотилия эта, оттолкнутая от берегов благоприятным ветром, поплыла по необозримым водам и вскоре исчезла из виду. Владимир был отнесен в мирской дом, торжественно сопровождаемый многочисленным народом, с пением:

*«Вечере водворится плач и заутра радость».*

«Смотря теперь на мое торжество, — думал он, — кто не сказал бы, как легко управлять народом суеверным и невежественным! Но что скажет тот, кто видел бегство уставщика Антипа?»

Можно было заранее предвидеть, что Владимир недолго погостит у носовцев. Причину этого можно угадать. Пылкая душа его не терпела принуждения. Созданная непокорною, вольнолюбивою, умевшая, как мы имели случай высмотреть, с помощью Бира порвать на себе свивальники невежества, она не могла подчинить себя стесненной жизни раскольников. И как иначе? У них любовь к богу, исчисленная на лестовках и земных поклонах; вера, заключенная в двухперстном знамении, в осьмиконечном кресте, в поклонении старым иконам; добродетель в ужасном посте, в ожесточении против всякой новизны, как бы она ни была полезна, в унизительном презрении к ближнему, не согласному с их мнениями, — вот дух и учение, которым водились общества раскольников! Такие правила не могли не возмутить души Владимира. Он устыдился своего притворства и, обозначив себя перед носовцами, успел заслужить их неудовольствие. Часто не выполнял он *начал*, был рассеян в моленной, забывал во время каждения ладаном вынимать из пазухи крест и подносить его с поклоном к кадильнице или читать молитву над сосудом с пищею, чтобы нечистый в него не наплевал. За такое нарушение правил своего требника носовцы сначала косились на него, потом выговаривали, что он *суетится*, и, когда он им объявил, что отправляется к соловецким чудотворцам для выполнения данного обета, очень довольны были, что без дальних хлопот могут от него освободиться. Гнать его не смели, потому что он успел приобресть над ними некоторую власть своим красноречием, привлекавшим к нему слушателей даже из дальних мест, и особенно потому, что денежными вкладами способствовал к выстроению *часовни* и *столовой*. Со стороны ж Владимира цель его была достигнута. Не довольства жизни пришел он искать у раскольников, а только мести. Месть его на берегах Чудского озера выполнена. Он успел не только носовцев, но и соседние деревни возбудить против учения и владычества Андрея Денисова до такого ожесточения, что в один день деревни эти, выбрав от себя представителей, послали их в Нос и на общем сходбище положили: «С заонеги разделение иметь; с ними ни есть, ни пить, ни на молении стоять; поморских учителей не слушать». К

этому разделению много способствовала весть, что с Денисовым ходит жид под личиною чернеца поморского, обращающий православных в жидовскую веру.

Итак, Владимир, сделав свое дело между чудскими раскольниками, расстался с ними. Вся зима проведена им в странствиях по следам ересиарха, мнимым или настоящим, смотря по известиям, какие получались. Чем далее пробирался он к северу, тем более находил ожесточенного суеверия. В одном месте *запащиванцы*, утомленные поклонами, которых клали в день по триста земных и семьсот поясных, изнуренные сорокадневным постом в запертом сарае, умирали с голода или пожирали друг друга. В ином месте закупывали десятками *перекрещенцев* разного возраста и пола. Это называлось обновление водою. Обновление огнем было не менее ужасно. Желая очиститься от грехов и стяжать мученический венец, они толпою входили в одну избу, обкладывали ее хворостом, который зажигался со всех сторон, и таким образом погибали в пламени, воспевая каноны и расточая проклятия на никонианцев.

Зима по последнему санному пути убралась восвояси. Без нее то-то пир начался у природы! Песни жаворонка, шум выпущенных из плена вод, зеленые ковры, разостланные на проталинах, все заговорило о весне. Владимир по-прежнему был пасмурен и в прежнем ожесточении шел на север, чтобы найти своего гонителя. За Ямбургом встретили его слухи, что русские уже прошедшею осенью появились у Ладожского озера, осадили и взяли Орешек (Шлиссельбург), что в Корелах *олонецкий поп* (Иван Окулов) с охотниками разбил шведов, что царь своею могучею волею целиком проложил себе дорогу через леса, болота и воды от Ледовитого моря до Финского. В проезд Петра мимо Повенца пустынножители Выговского скита изготовили было в часовнях бочки со смолою, решась пострадать за *свою* веру, а другие разбежались по лесам и болотам. Царь успокоил их словами: «Пускай живут!», а когда они собрались на прежнее житье, послал их в заводы работать. Наконец Владимир услышал, что государь оглядывает берега Финского залива.

— Где только зверь ходит и рыба плавает, там идут у него войска, — говорили вестовщики, — леса режет, как траву косец, переносится через трясины, будто на ковре-самолете, а коли воды сердитых озер заблажат, сечет их немилосердно — и затихают!

При таких речах Владимир задумывался; грудь его

сильно волновалась; тяжело вздыхал он. Мысль, что он еще не испытал одного, последнего средства для свидания с милым, незабвенным отечеством, цели всех его желаний, бродила в его голове. Сердцу его отозвались слова Паткуля: «Прямо к нему, без посредников, кроме твоих заслуг и его великодушия!»

— Прямо к нему! — твердил он, как человек, которому указали следы к отысканию драгоценной для него потери.

Душа его снова вспыхнула любовию к родине и надеждою. Все опять забыто: и угроза ересиарха, и моления Софии, и месть, возобладавшая им так сильно, и казнь, ему назначенная. Он видит только Петра Великого, а за ним золотые главы церквей московских; он стоит у порога знакомого терема...

## *Глава вторая*
## ВСТРЕЧА

> К демону обеты!
> Во глубь геенны совесть, добродетель!
> Будь воля неба! мести я хочу,
> Кровавой мести!
>
> *«Гамлет», перевод М. В.*

Первое мая 1703 года подарило Петра первою морскою пристанью на Балтийском море, а русских — открытым листом в Европу: крепостца Ниеншанц, с гаванью на берегу Невы, в нескольких верстах от устья этой реки (там, где ныне Большая и Малая Охта), сдалась, после пятидневной осады, капитану от бомбардир *Петру Михайлову* (в этом звании находился тогда государь).

Немногими днями позже, утром, Владимир, пройдя *Саарамойзу*[1]. к удивлению его, не опустошенную, остановился на высоте, ближайшей к Неве, где сходились дороги из Ямбурга и Новгорода, недавно проложенные. Перед ним на великом пространстве расстилалось болото — мшистое ложе, с которого некогда сбежало море! Мрачная зелень сосновых лесов, изредка перемежаемая серебристым березником, волновалась по тощей равнине этой, отделяла черной каймой ижорский берег от го-

---

[1] Ныне Царское Село.

лубых вод Невы и моря и обрисовывала купу островов и суровый берег карельский. Нева одна роскошничала жизнию в этой мертвой пустыне. Обнимая острова *Койво-сари* [1], *Кирфви-сари* [2], *Луст-Эланд* [3] и многие другие, она то пряталась за ними, то выставлялась из-за них разбитым куском зеркала, то блистала в широкой раме берегов своих. Множество речек продиралось сквозь мхи болот и спешило в Неву, чтобы вместе с нею убежать в раздолье моря. Кое-где по островам выглядывали рыбачьи хижины. Вдали, перед устьем реки, поднимались из моря темные глыбы, обвитые утренними туманами. Волны Бельта сердито бежали на них, как бы желая стереть их с его лица. Неволя или расчеты одни могли загнать человека в эти места: так непривлекательны они казались!

От подошвы горы, на которой остановился Владимир, шла торная дорога в Ниеншанц: множество троп, разыгрывавшихся влево и вправо, вело через болота и леса к берегу моря и Невы. Подумав несколько, по которой ему идти, он назначил себе тропу, поворачивавшую тотчас с битой дороги влево.

Лишь только спустился он с горы и, взяв несколько вбок от нее по большой дороге, готовился повернуть на тропу, как послышал за собою колокольчик. С трепетом сердечным оборотился он и увидел красивую колымагу, запряженную в русскую упряжь тремя бойкими лошадьми; за колымагою тянулось несколько кибиток. Сидевшие в них, судя по одежде, были русские и, вероятно, составляли *поезд* знатного боярина. Передний ямщик так искусно владел лошадьми, что, спуская повозку с горы, одним магическим словом, для которого русский язык не имеет знаков, останавливал лошадей на самых крутизнах. Когда он подъехал ближе к Владимиру, можно было различить в нем красивого, статного малого. Румянец здоровья вспрыснул его щеки; в карих глазах, обведенных черными дугами бровей, заметен был ум и беззаботное довольство; движения его были размашисты. Он был обстрижен гладко в кружок, на голове была надета набекрень поярковая шляпа с павлиным пером, воткнутым за черную бархатную ленту. Солнышко играло на золотом галуне его кумачной ру-

---

[1] Березовый, ныне Петербургский остров.
[2] Каменный.
[3] Остров с Петропавловскою крепостью.

башки; за пестрым кушаком, туго опоясывавшим его стан, заткнуты были черные рукавицы и коротенький кнутик. Пристяжные завивались и с нетерпением грызли землю; коренная спалзывала на задних ногах и, досадуя, что ей не давали воли, потряхивала головой из-под огромной дуги, с азиятским вкусом раскрашенной яркими цветами. Выехав на большую дорогу, молодой ямщик приподнял шляпу с павлиным пером, стряхнул на себе волосы, надел шляпу на один бок, приложил к уху правую руку, и голос его залился унылою песнею:

Ты дуброва моя, дубровушка,
Ты дубровушка моя зеленая,
Ты к чему рано зашумела?

Песня его по временам прерывалась обращением к лошадям и народными поговорками. Колокольчик, *дар Валдая*, бил меру заунывным звоном.

В колымаге сидела женщина. Оттого ли, что она плакала, или старалась не быть признанною, полная белая ручка ее прижимала платок к глазам. Владимир едва заметил ее, когда повозка начала с ним равняться; он был весь погружен в слух, он боялся проронить один родной звук.

— Вольдемар! — закричал женский приятный голос. Он встрепенулся, хотел заглянуть в повозку, но удалый ямщик махнул рукой, гаркнул:

— По всем по трем, коренной не тронь! батюшки, родимые, вырвались!..

Кони помчали, зарябили круги колес, и скоро колымага исчезла из виду изумленного Владимира, не имевшего времени разглядеть, кто сидел в ней. «Голос знакомый», — думал он, но чей — не мог себе объяснить. Спросить было некого; задние повозки полетели вслед за переднею. Ломая себе голову над этой загадкой и, между тем, утешенный отечественными звуками, он повернул на тропу, им избранную.

«Может быть, — думал он, — встреча эта последний мне привет отечества, последняя моя радость на земле!»

Чем ближе подходил он к Неве, тем страшнее казался ему подвиг, на который он решался; чем сильнее было впечатление, произведенное над ним встречею с русским, не потерявшим своей чистой коренной народности, тем более ужасала его мысль, что он скоро, может быть, навсегда расстанется, вместе с жизнию, с тем, что

ему дороже жизни. Тоска безвестности надломила сердце его надвое. Не чувствуя усталости, он, однако ж, несколько раз принимался отдыхать по дороге. Между тем к вечеру он уже был на ижорском берегу Невы, у опушки густого леса, омываемого ее водами, против острова Луст-Эланда.

Робко осмотрелся он сквозь деревья по сторонам; никого не видать и не слыхать! Одни воды шумно неслись в море. На взморье стояла эскадра, как стая лебедей, упираясь грудью против ярости волн. За ближайшим к морю углом другого острова (названного впоследствии Васильевским) два судна прибоченились к сосновому лесу, его покрывавшему; флаг на них был шведский. Временем с судов этих палили по два раза; тем же сигналом отвечали с Ниеншанца.

«Следственно, — полагал Владимир, — устье Невы и крепостца заняты шведами. Ужели царь, никогда не начинавший того, чего не мог исполнить, снял осаду?..»

Не зная, что придумать, наш странник решился переночевать на твердой земле, а между тем, до заката солнца, приискать себе челнок или старый пень дерева, на котором мог бы утром переправиться на *Койво-сари* к чухонским рыбакам, чтобы проведать у них о том, что происходило в окрестности. Для исполнения своего намерения пошел он вдоль берега.

Вечер становился пасмурен. Тучи вились и развивались черными клубами; наконец они слились в темную массу, оболочившую небо, начали спускаться на землю грядами — и воды Невы отразили их, превратясь в мутный поток. Вскоре послышался и дождик: то капал он по листам мелкою дробью, то лил ведром, шумя тревогою бунтующего народа. Владимир хотел было от непогоды приютиться в лесу, но, увидев не в дальнем от себя расстоянии челнок, погрязший в тине, решился подвергнуться еще неприятностям дождя, чтобы завоевать челн и тем обеспечить себе переезд на *Койво-сари*. Немного труда стоило ему вытащить свою добычу из тины. Но как дождь усиливался, то он собирался было, пообчистив челнок, положить его вверх дном на куст, который, несколько нагнувшись от этой тяжести, образовал бы таким образом кров для нашего странника; но вдруг остановлен был прикриком на него:

— Не тронь, окаянный!

Он оглянулся, и что ж — за ним, с поднятым на него веслом, чернец Авраам, спутник и переводчик Андрея Денисова.

То была судьба Владимирова!..

Они узнали друг друга, хотя мало видались.

Владимир забыл свои надежды, родину, все на свете; он весь не свой! Ужасным, исступленным взором окинул он чернеца. Взора этого не мог выдержать Авраам, задрожал, преклонил весло в знак покорности и опустил в землю свои глаза. Но для ученика Вельзевулова довольно одной минуты, чтобы обдумать все, что ему надо делать и говорить.

— А!.. видно, рок ищет моей и вашей головы! — вскричал Владимир. — Где твой?..

Он не договорил; месть захватила ему дыхание. Чернец скоро оправился, принял на себя вид доброжелательства, сделал Владимиру знак рукою, чтобы он молчал, и, возведя глаза к небу, сказал потихоньку:

— Благодарение господу богу, что он послал меня к тебе! Помнишь ли ноць в доме лесника?

— Да, помню слишком хорошо!.. Что ж тебе из этого, еврей поганый?

— А вот цто, цестный боярин! я хоцу спасти тебя от конецной гибели.

— Хороши спасители, с петлей в руках!.. Послушаем, однако ж!

— Станем мы под это деревцо; здесь доздицек не так моцит. Вот этак, хорошо. Все, все тебе рассказу до подноготной; только прошу ради создателя, потише, а то разбудишь пса нецистаго (цтоб его бесы сзарили на сковороде)!

— Ну, слушаем, ваше преподобие!

— Изволь припомнить себе крупные словецки, которые говорил тебе в доме лесника седой плут. Я подслушал все тогда сквозь стенку: цто делать? таков наш обыцай! По цести, хотелось мне тогда шепнуть тебе, цтоб ты пришиб ему язык одназды на веки веков, аминь! но бог Иакова и Авраама свидетель, цто мне не было никакого на то способа. Как скоро ты ушел, наш седой плут давай проклинать тебя. О! лихо тебе будет, сказал я ему, цто ты обизаешь этого праведника.

— Некогда мне слушать твоих канонов... Чу! как гудит небо!.. Знаешь ли, чего оно просит?..

— Сейцас, сейцас! «не посмотрю я», крицал разбойник, «цто он сын князя Василия...»

— А, этим хоть легче!.. Бездельник, как он обманывал меня!.. Что ж далее?

— «Не посмотрю», крицал он, «цто он сын»... ну,

право, цестный господин, язык не поворацивается про такую высокую особу...

— Ни полслова более!.. Так, я понял твою тайну, воспитатель мой! Понял я твое молчание, благородный Паткуль!.. Вижу, не мои проступки, а преступления моей именитой матери лежат между мною и отечеством.

— Это еще не все. На беду твою в ту зе ноць наткнулись на нас два солдата. Проклятый Андрей назвался бояриным, посланным из Москвы от царской Думы для поимки беглого стрельца, злодея, подкупленного будто бы царевною Софиею Алексеевною, цтобы убить дерзавного, великого государя нашего. Андрюшка сказал им, цто он узе не в силах тащить ноги свои и просит добрых солдатушек сослузить царю слузбу, отдать Шереметеву письмецо от него, посланника ясновельмозной Думы. Солдаты вызвались вруцить письмо прямо в руцки фельдмаршала, и — как думать надо — они это верно исполнили. Мы в скором времени узнали церез шпионов наших в русской армии, цто под Мариенбургом какого-то вазного пленника схватили и увезли, куда ворон костей не заносит. — Это он! — сказал смеясь сын Люциферов. — Наша взяла! — Вот отслузил он за упокой твоей душки панихиду и весело побрел с нами в скит свой; но душа его недолго была на пирушке; за Цудью узнал он, что в деревне Носе появился странник, который цитает проповедь, будто он, Андрей Денисов, лзеуцитель, обмансцик, сам антихрист. Этот странник, рассказывали нам, обратил всех на свою сторону, ввел многие новизны в расколе, так цто и царя Петра Алексеевица стали поминать на молении, и успел совершенно отделить от заонезского притона все *согласия*, посевшие около Цудского озера. «Это он опять! — вскрицал, трясясь от злости, Андрюшка. — Дает мне работу, видно зе последнюю!..»

— Так, последнюю!.. отгадал!.. Потом очередь придет наша!

— «Кто кого перемозет!» — прибавил он и потащил нас за собою на восток к Новгороду. Там посыпал он деньги по властям, объявил наместнику слово и дело и показал ему какие-то письма Софии Алексеевны. «Не детей мне с нею крестить! Довольно, цто и одного вынянцили цертенка!» — говорил он. Вот поскакали гонцы к царю в Архангельск, и вот полуцен указ царского велицества отыскать твою милость хоть под землею и казнить без оправданий. Видишь, боярин, к цему они тебя ведут: о вей! о вей! — прямо под топор. Седого

плута за этот донос похвалили, брата его и многих раскольников, содерзавшихся в новгородской тюрьме, выпустили на волю и обещали милости Выговскому скиту. Теперь безим мы без оглядки восвояси на покой.

— И все правда? — спросил Владимир, трясясь от гнева.

— Не веришь, взгляни на *противень* с указа, который я имел благополуцие списать слово в слово.

Тут с подобострастием вынул Авраам бумагу из пазухи и подал двумя пальчиками Владимиру. Действительно, в списке с указа сказано было, между прочим, что воспитанник и любимец царевны Софии Алексеевны, по имени *Володька*, по прозванию Последний Новик (приметами такой-то и такой-то), во время одного из стрелецких бунтов вкрался между прислуги в Троицкий монастырь, где царский дом нашел тогда убежище от разъяренных стрельцов. Сей-то Новик умышлял на жизнь царевича Петра Алексеевича в соборе Святой Троицы, у самого алтаря; но что изволением господним и покровительством святого Сергия-чудотворца напущен необычный страх на убийцу и царевич спасен. Злодей вместе с другими стрельцами осужден был к смертной казни посажением на кол и отсечением головы; но ухищренными стараниями Софии Алексеевны выпущен из-под стражи; вместо ж него безвинно казнен другой.

— Святой мученик! — горестно воскликнул Владимир при чтении этого места. — Кровь твоя на мне и злодеях, проливших ее!..

Конец бумаги заключал в себе объявление, что Последний Новик бежал и с того времени и скитался по разным землям, ныне же оказался в Чуди у раскольников, похваляется быть сыном царевны Софии Алексеевны и возжигает против законной власти новые мятежи народные. В указе назначалась большая награда тому, кто поймает его и представит первому местному начальству, которое обязано было, сличив пойманного с означенными приметами, немедленно казнить отсечением головы.

Бумага произвела свое действие; яд мщения разлился по всему составу Последнего Новика (так будем звать Владимира, в котором узнали мы это несчастное, гонимое судьбою существо). Рассудок его помрачился; всякое чувство добра заглушено в его душе. От пят до конца волос он весь — мщение; он ничего не видит, кроме своего гонителя.

— Где *он*?.. — спрашивает исступленный чернеца.

Авраам, молча, берет его за руку, ведет в чащу леса, останавливается, указывает на огненное пятно, видимое вдали в лесу ж, и, пользуясь безумным положением, в которое ввергнул несчастного, скрывается за деревьями.

Последний Новик не спрашивает о числе спутников и защитников Андрея Денисова, не крадется; он идет прямо на огонь; шаги его — как стопы медведя, когда он, разъяренный, бежит на свою добычу.

Андрей Денисов был один. Служители его, находившиеся с ним из числа чудских раскольников, давно возвратились в свои *согласия*. Последний товарищ, при нем оставшийся, *жидовин* Авраам, ожидал только удобнейшего случая ограбить его и бежать под Тулу, где возращен был некиим *Селезневым* раскол, основанный на чистом законе Моисеевом. В пустынных лесах невских назначил Авраам исполнить свои злодейские замыслы.

Старик сидел под деревом, которого густые ветви, сплетшись дружно с ветвями соседних дерев, образовали кров, надежный от дождя. Против него был разложен огонь; груда сучьев лежала в стороне. Ересиарх дремал, и в самой дремоте лицо его подергивало, редкая бородка ходила из стороны в сторону. Услышав необыкновенный треск сучьев, он встрепенулся. Перед ним лицом к лицу Последний Новик, грозный, страшный, как смертный час злодея.

— Узнал ли ты меня? — вскричал Владимир ужасным голосом, смотря на него исступленными глазами. В этом голосе, в этих глазах Андрей прочел свой приговор. Дрожа, запинаясь, смиренно отвечал он:

— Узнал!

— Ты ли звал меня к себе?

— Да... я звал... во время...

— В свое время я пришел! Был и на твоей улице праздник, названый отец! Теперь пора на другой пир...

Владимир вынул топор из-за пояса. Холодный пот закапал со лба старика.

— Подумай! — простонал он и бросился на колена перед ужасным судьею своим.

— Поздно!.. Ты отнял у меня все... все, что только для меня дорого было в жизни, что я доставал тринадцатью годами унижения и кровавых трудов... все!.. Расплачивайся! Час настал!

Старик бормотал молитву.

— Не дам тебе и помолиться... Пускай в ад напутствует тебя хохот сатаны! Слышишь?.. — вскричал ужасный судья.

Блеснул топор... и убийство совершено.

Дождь лил ливмя; погода бушевала.

— Бушуй! шуми!.. Любо ли тебе?.. Ты этого хотело!.. — кричал Владимир, глядя в исступлении на небо.

Земля горела под ним; огненные пятна запрыгали в его глазах. Когда дождь хлестал по лицу, ему казалось, что сатана бросал в него пригорщины крови. Шатаясь, побрел он, сам не зная куда. Образ на груди давил его; он его сорвал и бросил в кусты.

Во время ужасного разговора убийцы и жертвы Авраам стоял за кустами. Когда ж совершилось злодеяние и Последний Новик скрылся, чернец вышел из своей засады и подкрался к убитому, истекавшему кровью из плеча, в котором сделана была глубокая рана. Скорою, усердною помощью можно было б еще возвратить его к жизни.

— А! старый пес подурацился довольно на своем веку, — сказал чернец, припав к нему, и только что начал обшаривать его, когда услышал глухой стон.

— О! живуць, как долгоногий паук! — проговорил Авраам и принялся облегчать Андрея от лишней тяжести при переходе из этой жизни в другую, то есть вынул из-за пазухи его порядочную кису, туго набитую деньгами, и обобрал на нем все, что имело дорогую ценность: за тряпьем он не гнался.

Потом?.. потом он хладнокровно положил своего благодетеля на огонь, в который имел догадку набросать порядочный костер сучьев; когда ж увидел, что умирающий дрягает ногами, начал приговаривать, усмехаясь:

— Коси сено! коси сено!.. — подобрал свою рясу выше колен и, обремененный богатою добычею, пустился бежать, куда знал вернее.

Долго бродил Последний Новик по лесу, по берегу реки и наконец пал в изнеможении сил. Только в глубокую полночь он очнулся, когда не стало на нем сухой нитки. Все члены его окоченели, будто скрученные железными связьми; в голове его был хаос, в ушах страшно гудело; ему казалось, что били в набат. Он старался припомнить себе, где он, что с ним сделалось, — и ужасное злодеяние первое пришло ему на память. Он приподнялся и осмотрелся кругом. Перед ним роковой челнок; кто-то стоял в нем, манил его к себе на другую

сторону... Шатаясь, пошел он на зов незнакомца; вошел в челнок... в нем никого!.. Волосы встали у него дыбом. Рукою злодейскою не смел он сотворить крестного знамения. Вдруг слышит он плеск весел... плывет множество лодок... поравнялись с ним... остановились... Это уж не видение... Слышны голоса, один внятнее прочих.

— Алексаша! — говорил кто-то. — Разведай, что за человек!

Вслед за этими словами одна лодка отделилась от других и понеслась прямо на челн, в котором стоял Последний Новик. Его окружает толпа людей.

— Что за человек? — спрашивает один из них, по-видимому офицер.

Последний Новик молчит.

— Я из тебя выколочу ответ! — говорит опять прежний голос, и удары сыплются на несчастного.

Молчит тот, кто, за несколько часов назад, свободный от преступления, горько отплатил бы за малейшую обиду!

— Нечего с ним долго толковать! — вскричал опять офицер. — Привяжите его челн к нашей лодке, а его самого хорошенько скрутите и бросьте в его конуру.

Приказание это выполнено немедленно и в точности. Лодка и к ней причаленный челнок отправились и вскоре присоединились к целой флотилии шлюпок, на которых в темноте чернелось множество голов.

## *Глава третья*

## НОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

— Ну, Алексаша, ездил ты *за московским тотчасом*? — нетерпеливо сказал сидевший у кормила передовой лодки.

Офицер, привезший Последнего Новика, вошел в эту лодку и объяснил говорившему с ним капитану (ибо он его так называл), что нашел какого-то подозрительного человека, который, сколько мог различить в темноте, должен быть раскольник, и что он, для всякой предосторожности, почел нужным связать его и привезти с собою.

— Доброе дело! — сказал капитан. — Причальте его челн к нашей шлюпке, и с богом!

Повелительно-грозный голос его раздался по водам, и маленькая флотилия поплыла к устью Невы, держась острова, названного впоследствии Васильевским.

Дождь, на несколько минут утихший, опять засеял; темнота была необыкновенная.

— *Аще бог с нами, никто на ны!* — сказал капитан с благоговением. — Дождь всегда к благополучию, а нашей экспедиции темнота и подавно благоприятствует.

Солдаты скинули шляпы и перекрестились. С двух шведских судов, стоявших на устье Невы, послышался лозунг двумя выстрелами из пушек; через несколько минут отозвались два удара со стороны Ниеншанца.

— *Сия игрушка их не минет!* — воскликнул капитан с удовольствием, которое ясно отзывалось в голосе. — Mein Herr Leutenant, [1] — сказал он, немного погодя, обратясь к офицеру, подле него стоявшему, — кажись, к делу подцепили мы раскольника. Немудрено, что он стоял караульщиком от шведов. Этот род, закоснелый в невежестве, не желает нам добра: я уверен, что они мои начинания задержать весьма стараются, не говорю уже о том, что они меня персонально не жалуют.

— Да, великий государь! Они царей и на молении не поминают, — отвечал на немецком лейтенант, по-видимому хитрый придворный.

В капитане, сидевшем у руля, мы сейчас имели случай узнать самого Петра I; в лейтенанте, по отчеству его и дружбе, оказываемой ему монархом, узнаем Меншикова. Кстати заметим, что разговор их продолжался, смотря по предметам его, то на немецком, то на русском.

— *Ты забыл уговор, Данилыч! пожалуй, без великого!* — сказал Петр. — Народу и потомству, а не персоне дозволено так чествовать государей. *Может статься, некогда и наше имя воскресит славу свою, но теперь, веруй, не довольно к тому наших дел: все еще початки!*

— Государь! — продолжал лейтенант. — Настоящая война вводит уже тебя в храм бессмертия.

— *Нет, мало еще отмстили мы укоризну шведам; больше требует слава, народу славянскому достойная, и обида, нанесенная отечеству отъятием земель. Видишь Лифляндию: это член России отсеченный. Если его не возвратим, так напрасны и початки наши. Только великую надежду имеем на правосудие божие, которое неоднократно нас викториями благословлять изволило.*

— Принося божия богови, повелитель русского цар-

---

[1] Господин лейтенант *(нем.)*.

ства не откажет своим подданным принесть цесарю цесарева.

— *Что к моему лицу надлежит, я повелитель их, но по моей любви к ним и к отечеству друг их и товарищ во всем.* Легко, Данилыч, властителю народа заставить величать себя; придворные и стиходеи чадом похвал и без указу задушить готовы: только делами утешно величие заслужить. Впрочем, не о себе хлопочу, mein Herzenskind [1], а о благополучии вверенного мне богом народа.

— Государь, ты для благополучия России ни здоровья, ни живота своего не щадишь, и ныне...

— *Затем и царь я,* — перебил Петр, — *что должен сам во всех случаях пример являть. Закон я чту наравне с последним из моих подданных;* в строю я только солдат фланговой — по мне вся линия выстраивается; в баталии я должен быть напереди. *Слыхал ты сам, сколько под Нарвою приклад начальствующих беды причинил. Да и ныне еще наши господа надмеру себя берегут и немногим ближе становятся от крепости, как наш обоз; но я намерен сию их Сатурнусову дальность в Меркуриев круг подвинуть.* У меня Катенька боится, право, менее иного полковника.

— Я говорил вам, что твердость ее души равняется с ее красотою. Она, кажется, прибыла ныне в ваш обоз, господин капитан...

— Как похорошела моя голубушка... В конфиденции объявить, без ней весьма скучать ныне начинаю. Да, кстати, Алексаша, я не рассказывал тебе нынешней истории?

— Не удосужился слушать.

— Застал я ее давеча, при разборке ее багажа, в страшном испуге. Спрашиваю, что за притча? Развернула она передо мною узелки свои, показала мне складни, серьги дорогие, жемчуг и объявила мне, сердечная, что не знает, как они тут очутились; ибо-де у ней таких вещей от роду не бывало, да и в доме Шереметева и твоем никто ее не даривал ими. Я рассмеялся и сказал ей: *«Не бойся, Катенька! это все твое; Данилыч догадлив...»* А, min Herz [2], твое дельце!

— Виноват, государь.

---

[1] мое дорогое дитя *(нем.)*.
[2] мой дорогой *(искаж. нем.)*.

— Из твоей вины можно богатую шубу сшить и спасибо притачать. *На такую потребу, правду молвить, у меня теперь и денег не нашлось бы. Вот как получу по чину капитана от бомбардир и капитана корабельного жалованья из воинской казны, то волен в них ко всякому употреблению, потому что я службою для государства, как и прочие офицеры, те деньги заслужил; а народные деньги оставляются для государственной пользы, и я обязан в них некогда отдать отчет богу.* Но слово было о Катеньке: что у кого болит, ведаешь, тот о том и говорит. Просит она меня, отдыху не дает, разведать от Вадбольского Семена, какого шведского пленного Вольдемара схватил он ни за что ни про что под Мариенбургом и угнал куда-то с татарами. Мне об этом и Борис Петрович не говорил. Пожалуй, узнай повернее и утешь меня и ее весточкой о нем: может статься, и родной ей какой!

— Воля твоя будет выполнена, государь!

Несчастный, лежавший в челноке, тяжело вздохнул.

— Что-то наш пленник стонет... — сказал Петр.

Меншиков стал на колено, нагнулся через край шлюпки и, ощупав Последнего Новика, отвечал:

— Он мокрехонек, как мышь, купавшаяся в воде, и дрожит так, что рука на нем не удержится...

— Теперь он нам не опасен. Развяжи его; да на, возьми, Алексаша, мою епанчу и накрой многострадальца; может статься, он и без вины виноват.

— Государь!.. ты сам... в такой дождь...

— Возьми, говорю! — сказал с твердостью человеколюбивый государь, скинув с себя епанчу и подавая ее Меншикову. — Что до нас, мы скоро, с божьей помощью, обсушимся и отогреемся.

Воля Петра была выполнена: развязали пленника и покрыли его царскою епанчою. Слезы благодарности и вместе горького раскаяния полились из глаз несчастного; слова монарха удерживали в нем последнюю искру жизни, готовую погаснуть...

Лодки плыли самою тихою греблею; несколько раз приказано было им останавливаться. В это время предметы разговора государя с его любимцем беспрестанно менялись. Где не побывал тогда его гений? Куда в это время, между заботами простого семьянина, не заброшены были семена его бессмертных дел, которыми Россия доныне могуща и велика? Под сенью Кавказа садил он виноград, в степях полуденной России — сосновые и дубовые леса, открывал порт на Бельте, заботился о

привозе пива для своего погреба, строил флот, заводил ассамблеи и училища, рубил длинные полы у кафтанов, комплектовал полки, *потому что*, как он говорил, *при военной школе много учеников умирает, а не добро голову чесать, когда зубья выломаны из гребня;* шутил, рассказывал о своих любовных похождениях и часто, очень часто упоминал о какой-то таинственной Катеньке; все это говорил Петр под сильным дождем, готовясь на штурм неприятельских кораблей, как будто на пирушку!

— Herr Kapitän![1] — сказал вдруг Меншиков.— Две огненные точки светятся неподалеку от нас; это должны быть фонари на кораблях неприятельских.

В самом деле, сквозь сетку дождя показались два огненные пятна, и вскоре зарябили две темные массы, из коих одна носом вдвинута была в устье речки, вытекавшей из острова. Петр немедленно приказал всем лодкам, числом до тридцати, построиться на два отделения; одному, под командою Меншикова, пристать у берега острова в лесу с тем, чтобы это отделение, по первому условленному сигналу, напало на ближайшее неприятельское судно; а сам, по обыкновению своему, предоставя себе труднейший подвиг, с остальными лодками отправился далее на взморье в обход неприятеля. Челнок, в котором находился Последний Новик, отвязан от шлюпки; несчастному брошено весло; но он не воспользовался этим даром, и ладья поплыла по течению реки прямо на взморье.

Пока эти распоряжения приводились в исполнение, тучи разбрелись, и к стороне Ниеншанцев на небосклоне заструилась палевая полоса. С неприятельских судов (из которых одно была четырнадцатипушечная шнява «Астрель», а другое — десятипушечный адмиральский бот «Гедан») заметили русские лодки, с двух сторон по волнам скачущие прямо на них дружно, правильно, как ряды искусной конницы. Тревога на судах: слышны свистки начальников, командные слова, крики матросов; снимаются с якоря, поднимают паруса; эскадре, стоящей близ острова *Рету-сари*[2], дают сигнал, что находятся в опасности. Спросонья и с испуга действия исполняются торопливо. Кажется, самые стихии в заговоре с неприятелем; мокрые ветрила

---

[1] Господин капитан! *(нем.)*
[2] Котлин — остров, на котором построен Кронштадт.

едва шевелятся. Экипаж смотрит на них, как на звезду своего спасения; состоя только из семидесяти семи человек, он понимает опасность вступить в бой с многочисленным неприятелем на открытом море. Если б можно было пробраться к эскадре, тогда спасена честь шведского флага и русские осмеяны! Каждый из экипажа хотел бы надуть паруса своими желаниями — криками хотел бы подвинуть суда. Суда трогаются; но уже поздно. Семеновцы и преображенцы, эти *потешники* царя в играх и боях, одушевленные примером своего державного капитана, настигают, обхватывают их, впиваются в бока их крючьями, баграми, бросают на палубу гранаты, меткими выстрелами из мушкетов снимают матросов с борта, решетят паруса. Пушки ничего не могут сделать нападающим; ядра летают через головы русских и только тешат их, срезывая или роя волны. Собственные бока судов служат защитою неприятелю. Шнява более всего стеснена русскими лодками; медленно тащит она их за собою, не имея сил оторвать от себя. Так огромный зверь, со всех сторон окруженный маленькими, разъяренными животными и выбившийся из сил, в бегстве влечет их с собою до тех пор, пока сам падет или их утомит. Усиленная ложная атака, сделанная с одной стороны шнявы, отвлекает на эту сторону почти весь экипаж; между тем к другому борту прикреплены веревочные лестницы. По ним, как векши, цепляются русские, — и первый на палубе Петр.

— Ура! силен бог русских! — восклицает царь громовым голосом и навстречу бегущих шведов посылает горящую в его руке гранату. Метко пошла роковая посылка, разодралась на части и каждому, куда дошла, шепнула смертное слово; каждый кровью или жизнью расписался в получении ее. Со всех сторон шведы с бешеным отчаянием заступают места падших; но перед Петром, этим исполином телом и душою, все, что на пути его, ложится в лоск, пораженное им или его окружающими.

Шведы дерутся отчаянно; ни один не прячется в убежища корабля. Палуба — открытое поле сражения; отнято железо — ноготь и зуб служат им орудиями; раненые замирают, вцепившись руками в своих врагов или заплетаясь около ног их.

Эскадра шведская заметила несчастное положение двух судов своих. Уже трепещут в виду крылья ее парусов. Вот друзья, братья готовы исторгнуть бедные

жертвы из неприятельских рук!.. Надежда берет верх над отчаянием. Но одно мощное движение державного кормчего, взявшегося за руль, несколько распоряжений капитана русского — и шняве нет спасения!

В самую суматоху боя Петр не теряет головы, все наблюдает, везде отдает приказания, убирает сам паруса, отправляет шведского кормчего в море ловить рыб, остановляет на бегу судно, правимое к эскадре, и оборачивает его назад. Он в одно время капитан, матрос и кормчий. Во всех этих маневрах видны необыкновенное присутствие духа, быстрое соображение ума и наука, которой он с таким смирением и страстью посвятил себя в Голландии. Старый моряк не постыдился бы признать его действия своими. Русские солдаты, спущенные в лодки, уводят шняву назад в устье Невы, а шведская эскадра не допущена мелководием. Сам бог за Петра. Почти весь экипаж шнявы перебит и перерезан; редкий из составляющих его решается купить жизнь ценою плена. Командир шведский тотчас узнал, с кем мерился.

— Петр один мог сделать такое дело! — говорит он и в ответ на мирное предложение от имени царя, схватив переговорщика за грудь, стаскивает его с собою в море.

Лишь только победа очистила русским палубу шнявы, Меншиков прибыл к своему капитану с донесением о взятии адмиральского бота «Гедан». Победа над этим судном легче была куплена.

По сказке пленных, оба судна отправлены были к Ниеншанцам с письмами от начальника шведской эскадры и потому так беспечно остановились у острова, что обмануты были дружескими сигнальными ответами из крепостцы.

— Я сказал, что эта игрушка их не минет! — восклицал Петр вне себя от радости; благодарил бога за первую победу русских на Балтийском море, обнимал офицеров, изъявлял свою признательность солдатам, называя их верными товарищами, друзьями.

С того времени, как Последний Новик был освобожден из плена, челнок его несся по произволу речного течения; попав на взморье, встречен противными волнами и наконец прибит ими к корельскому берегу за несколько верст от устья Невы. Там чухонские рыбаки заметили челнок и, осмотрев его, нашли в нем умирающего человека. Они принесли несчастного к себе в хижину; попечения добрых людей и травы колду-

на, которого они постарались отыскать в окрестности, привели к жизни того, кто в ней ничего отрадного не имел, для кого она уже была в тягость.

## *Глава четвертая*
## ПРИ ОСНОВАНИИ ГОРОДА

На что в России ни взгляни, все его началом имеет, и что б впредь ни делалось, от сего источника черпать будут.

*Журнал Ив. Ив. Неплюева*

Что прошло — невозвратимо.

*Жуковский*

Что собралось седьмого мая так много народа на острове Луст-Эланд, прежде столь пустом? Бывало, одни чухонские рыбаки кое-где копышились на берегу его, расстилая свои сети, или разве однажды в год егери графа Оксенштирна, которому этот остров с другими окружными принадлежал, заходили в хижину, единственную на острове, для складки убитых зверей и для отдыха. По зеленым мундирам узнаю в них русских и — гвардейцев по золотым галунам, на которых солнце горит ярко.

Приветствую вас, преображенцы и семеновцы, властителями Бельта! Земля, на которой стоит Петербург, взята вами с боя и ныне крепка за вами.

В одном месте составился из офицеров блестящий полукруг. Впереди, на барабане, сидит человек исполинского роста, в колете из толстой лосиной кожи, сшитом наподобие иностранного купеческого камзола, только без пуговиц, клапанов и карманов. Этот наряд оторочен ровною полосатою тесьмою и завязан в нескольких местах нитяными шнурками. Смоляные пятна испестрили его; почетный рубец свидетельствует, что он был в боевой переделке. Одежда простого моряка, но вид носящего ее исторгает уважение. Черты его смуглого лица отлиты грозным величием; темно-карие глаза, прикованные к одному предмету, горят восторгом: так мог только смотреть бог на море, усмиренное его державным трезубцем! Черный, тонкий ус придает его физиономии особенную привлекательность. Голова его от-

крыта, темными кудрями его бережно играет ветерок. Треугольная шляпа у ног. Английской породы собака рыжей шерсти с бархатным, зеленого цвета, ошейником, на котором вышиты слова: «За верность не умру!», стережет шляпу и по временам смотрит в глаза своему господину. От устья Невы ведут бот и шняву, взятые у шведов. Несколько десятков лодок, разделенных на две линии, плывут впереди и провожают их с песнями и музыкою. Это первый флот, входящий торжественно в русские пределы. Вот что, по-видимому, занимает высокого моряка, сидящего на барабане.

По левую сторону его, немного подавшись назад, стоят, не изгибаясь, два офицера. В одном мы узнали сейчас Бориса Петровича Шереметева, в другом храбрейшего из воинов и благороднейшего из вельмож Петра I, князя Михайлу Михайловича Голицына, которому Россия обязана за доставление ей ключа к Бельту. Семь слов, переданных им посланному царя, когда этот, в пылу осады Шлиссельбурга, приказывал отступить; семь слов: *«Скажи ему, что я принадлежу теперь богу!»* — могли бы увековечить его имя; а целая жизнь его была возвышенна, как эти слова!.. По другую сторону моряка, несколько наклонившись вперед, как будто хочет поймать на лету думу его, стоит молодой гвардеец приятной наружности, с открытыми серо-голубыми глазами, статный, величавый, облитый золотом. По улыбке самодовольствия на устах его видно, что это любимец счастия. Спрашиваю: кто такой? и мне сказывают, что это лейтенант от бомбардир, тот самый, с которым мы имели случай ознакомиться в последнюю ночную экспедицию. Это Меншиков, фортуною схваченный с улицы ко двору и умевший возвыситься умом, отвагою и верностью до степени первого любимца государева. За ними с удовольствием отличаем в первых рядах старинных наших знакомцев: князя Вадбольского, Мурзенку, Дюмона, Карпова и Глебовского. И ты, мишурный генерал Голиаф Самсонович, играешь не последнюю роль на этой сцене с каким-то франтом среднего роста, в малиновом бархатном кафтане, в пышном напудренном парике, с умильною рожицею и глазами, плутоватыми, как у лисицы! Ты называешь своего товарища Балакиревым, а это имя принадлежало любимому шуту Петра I. За вами неотлучно ходит великан Буржуа и образует с вами лестницу о трех ступенях, из которых на верхней оказывается одутловая, румяная, глупо смеющаяся образина. Все необыкновенное составляет свиту

необыкновенного человека. Карла и Балакирев расхаживают по берегу и бросают камешки поперек реки, стараясь, чтобы они, делая по воде рикошеты, долетали как можно далее. Если скачки были скорые и высокие, то говорили, что это меншиковские прыжки. Когда пущенный камень делал медленный переход и оставлял большой круг на воде, тогда называли это шереметевским шагом. Пузыри, болтуны, верхогляды, недолеты, перелеты имели также свои приноровления.

Наконец два друга и соперника уселись...

— Растолкуй мне, пожалуйста, — сказал Голиаф своему товарищу, — что значит надпись на ошейнике Лизеты: *«За верность не умру!»*? Ведь когда-нибудь и она протянется. Что ж тогда из нее сделают?

— Бессмертную чучелу! — отвечал Балакирев. — По словам нашего *батюшки* Петра Алексеевича, такую же сделают и из *великого* Буржуа.

— Видно, за то, что верен своей глупости!

— Ступай к нам во двор, Самсоныч, у нас недостает карлы.

— Пошел бы, если бы ты был глупец: два медведя в одной берлоге не уживутся.

Так и многое подобное говорили шут и карла; но обратимся к кругу офицерскому.

Кто, как не сам Петр, может быть высокий моряк, сидящий на барабане. Около него с уважением стоят почетные сыны Русского царства. Отчего ж восторг горит в его глазах?.. Он забыл все, его окружающее; гений его творит около себя другую страну. Остров, на котором он находится, превращается в крепость; верфь, адмиралтейство, таможня, академия, казармы, конторы, домы вельмож и после всего дворец возникают из болот; на берегах Невы, по островам, расположен город, стройностью, богатством и величием спорящий с первыми портами и столицами европейскими; торговля кипит на пристанях и рынках; народы всех стран волнуются по нем; науки в нем процветают. Через ворота Бельта входит многочисленный флот, обошедший старую и новую гемисферы. Остров Рету-сари на взморье служит городу шлагбаумом.

Великий мыслит — и бысть!.. Что для других игра воображения, то для него подвиг.

Петр встал. Он схватил с жаром руку Шереметева и говорит:

— *Здесь будет Санкт-Петербург!*

Все смотрят на него с недоумением, как бы спрашивая его, что такое Санкт-Петербург. И тут с красноречием гения творческого, всемогущего, поведает он окружающим его свои исполинские планы. Холодный, расчетливый Шереметев представляет неудобства: он указывает на дремучие леса, непроходимые болота и, наконец, на маститое дерево, служившее туземцам для отметки высоты, по которую в разные времена невские воды выходили из берегов своих.

— Леса рубятся на дома, — говорит Петр, — руками шведскими осушим шведские болота; а дерево...

Он махнул рукою Меншикову; этот понял его — и памятник, враждующий гению, уже не существует! Железо блещет по кустарникам и в роще; со стоном падают столетние деревья, будто не хотят расставаться с землею, столько лет их питавшею, — и через несколько часов весь Луст-Эланд обнажен. На ближнем острове Койво-сари возникает скромное жилище строителя, *Петра Михайлова*:

...Ковчег воспоминаний славных!
Свидетель он надежд и замыслов державных:
Здесь мыслил Петр об нас. Россия! здесь твой храм [1].

Между тем флотилия приветствована несколькими залпами из ружей и артиллерии; из пушек шнявы и бота поздравили царя с первой морской победой.

Отпраздновав победу, государь немедленно принялся за созидание Санкт-Петербурга в виду неприятеля, на земле, которую, может быть, завтра надлежало отстаивать. Не устрашила его и грозная схватка со стихиями, ему предстоявшая в этом деле. Воля Петра не подчинялась ничему земному, кроме его собственной творческой мысли; воле же этой покорялось все. Мудрено ли, что он с таким даром неба не загадывал ни одного исполинского подвига, который не был бы ему по плечу, которого не мог бы он одолеть?

Для исполнения своего намерения первым его делом было в тот же день разбить план новой крепости. Ходя с саженью в руках по берегу Луст-Эланда и сопровождаемый в своих занятиях Шереметевым и князем Голицыным, он сошелся в одном месте с Вадбольским.

---

[1] Князь Вяземский.

— А, дорогой куманек! — закричал он этому. — Я до тебя давно добираюсь.

— Меншиков сказал мне только сейчас, зачем я тебе нужен, государь! — отвечал Вадбольский. — Я сам искал тебя.

— Так мы кстати столкнулись: авось высечем огонь! Вот в чем дело. Дошли до меня весточки в некоей конфиденции... а с какой стороны ветер дул, не могу тебе поведать — в другое время, ты знаешь, я с своих плеч снял бы для тебя рубашку, — вот изволишь видеть, кум, дошли до меня весточки, что ты под Мариенбургом спровадил какого-то голяка, шведского пленного, куда, на какую потребу, бог весть!..

— Коли тайна эта дошла до тебя, государь, то солгать перед тобою не могу. Приношу тебе повинную голову. Этот человек был не швед, а русский, изгнанник, именно Последний Новик.

При этом слове Петр вспыхнул.

— Последний Новик! мой убийца!.. и ты, видно, такой же злодей!.. — закричал он и, не помня себя от гнева, замахнулся на Вадбольского саженью, чтобы его ударить.

— Остановись!.. — воскликнул Шереметев. — Он исполнил только мое приказание.

Петр опустил сажень и остановил изумленные взоры на фельдмаршале.

— Открою тебе более, — продолжал этот, — но прежде выслушай, а потом буди твой суд над нами. Во время осады Мариенбурга злой раскольник дал мне знать письмом, что в крепости скрывается Последний Новик под личиною шведа Вольдемара из Выборга. Все приметы Новика были верно списаны; злодейство его мне было ведомо: злодей был в моих руках, и я сам дал ему свободу.

— Всеконечно, ты имел на то важную причину или ты с ума сошел, Борис Петрович!

— А вот сейчас объясним тебе, надежа-государь! Князь Василий Алексеевич! подайте его величеству бумаги, которые вам поручено отдать от бывшего генерал-кригскомиссара.

Мы не имели еще случая сказать, что Вадбольский, в глубокую осень 1702 года, объезжая дозором покоренный край Лифляндии, заглядывал на мызу господина Блументроста и расспрашивал Немого о Владимире. Вместо известий получил он бумаги, которые поручено было Новиком отдать первому, кто придет о нем наве-

даться: бумаги эти, как он выразился тогда, изгнаннику более не нужны. Из числа их письмо Паткуля к русскому монарху и свидетельство Шереметева о заслугах, оказанных Владимиром в кампанию 1702 года, поданы теперь государю Вадбольским. Видно было в этом случае, что избранные ходатаи за несчастного действовали согласно условию, между ними заранее сделанному.

— От злодея через вернолюбезного нам министра? Час от часу мудренее! — сказал Петр I, взявши бумаги.

Во время чтения лицо его то светлело, то помрачалось. Прочтя их, он внимательно посмотрел на Шереметева, стал ходить взад и вперед в сильном волнении чувств, выражавшем их борьбу, и потом спросил фельдмаршала:

— Так вы дали это свидетельство, господин фельдмаршал?

— Государь, — отвечал Борис Петрович, — все, что в этом свидетельстве, мною данном, заключается, есть только слабое изображение заслуг Последнего Новика тебе и отечеству. В лета безрассудной молодости он мог быть преступником; но со временем познал свою вину и искал загладить ее жертвами великими. Если я в прошедшую кампанию сделал что-нибудь достойное аттенции царского величества, то этим обязан ему.

Петр, не отвечая, стоял в глубокой задумчивости.

— Милость красит венец царский! — произнес с жаром князь Михайла Михайлович Голицын. — Государь! ты прощал многих злодеев, посягавших на твою жизнь, а чем заслужили они это прощение? Одним раскаянием!.. Последний Новик же, как мне известно ныне стало, сделал то, чем мог бы гордиться первый боярин русский. Мы все, сколько нас ни есть в войске твоем, ему одолжены нашею доброю славой и умоляем за него.

— Когда бы только память злодеяния!.. — сказал Петр. — Нет, нет, друзья мои! вы не знаете... вы не можете знать...

Мурзенко, невидимо подкравшись к царю, упал к ногам его и жалобно завопил:

— Прикажи, Петр Алексеевич, твоя моя разжаловать: без Новика моя не була б пулковник! Борис Петрович твоя все рассказать. Куда ее голова, и моя туда.

— И ты, Мурза?.. Все, все за него!.. Коли б знали, чье он отродье непотребное!.. — повторил государь.

— Отродье? Неправда! — возразил с благородным гневом Вадбольский. — Полковник Семен Иванович

Кропотов был его отец. Кропотов служил тебе верою и правдою и честно положил за тебя живот свой под Гуммелем. Какого тебе благородства более надобно?..

— Не постыдился бы я назвать его своим братом, Семен Алексеевич! но чем докажешь, что Последний Новик был сын его?

— Его завещанием, которого сделали меня исполнителем воля фельдмаршала и сам бог! Пусть очи твои сами удостоверят тебя в истине слов моих. Вот завещание, писанное рукою Семена Ивановича: она должна быть тебе известна.

Тут Вадбольский вынул из бокового кармана мундира бумагу и подал ее царю. Петр взял ее, жадно пробежал глазами и потом задумался. Вадбольский продолжал:

— С того света указывает он тебе на кровь, пролитую за тебя и отечество, на старушку вдову, оставленную без подпоры и утешения, и требует, чтобы ты даровал жизнь ее сыну и матери отдал кормильца и утешителя. Не только как опекун Последнего Новика, но как человек, обязанный ему спасением своей жизни, умоляю тебя за него: умилосердись, отец отечества! прости его или вели меня казнить вместе с ним.

— Могу ли вас наказывать, — воскликнул растроганный государь, — вас, верные мои слуги и товарищи?.. Для вас забываю собственную персону... забываю все — и прощаю Последнего Новика.

Радостный возглас: — Да здравствует государь — отец наш, многие лета! — вырвался из груди участников этой сцены и обошел весь остров, по которому офицеры и солдаты были рассыпаны.

Признательность народная скоро сообщается и любит выражаться в громких восклицаниях; одна ненависть скрытна и молчалива.

Петр продолжал, обратясь к Шереметеву:

— Письмом от имени моего попросите его величество кесаря [1] обнародовать указ о прощении Последнего Новика ради его заслуг нам и отечеству; пошлите приятеля Мурзу отыскать его по Чуди — кстати, не удастся ли где прихлопнуть нагайкою шведского комара — и дайте знать во дворцовый приказ, чтобы отписали Владимиру, сыну Кропотова, десять дворов в Софьине; но горе

[1] Известно, что в отсутствие государя Ромодановский уполномочен был правами царскими и носил титло кесаря.

ему, если он... захочет отыскивать себе другой род, кроме Кропотова!..

Защитники Последнего Новика благодарили государя, каждый по-своему; хвала Петру переходила из уст в уста. Все поздравляли друг друга, как с необыкновенным торжеством; рассказывали, кто такой Новик, что он сделал преступного и какие великие услуги оказал отечеству. Он-то спас под Эррастфером артиллерию русскую, давал фельдмаршалу через Паткуля известия не только о движениях шведской армии, но и намерениях ее предводителя, навел русских на розенгофский форпост и так много содействовал победе под Гуммельсгофом. Как изумились Дюмон, Карпов и Глебовской, узнав, что Последний Новик, неумышленно составлявший в нейгаузенском стане предмет их разговоров и вину горьких слез Кропотова, был именно сын его и то самое таинственное лицо, игравшее столь важную роль в войне со шведами и так часто служившее загадкою для его войска! Помнили еще певца-невидимку под Розенгофом, докончившего песню, начатую Глебовским; каждый повторял куплет, столь трогательно выражавший любовь к родине. Сблизиться с этим необыкновенным человеком, услышать повесть его жизни было общим сильным желанием офицеров.

Не одних явных, но и тайных приятелей имел Последний Новик. Мы это сейчас увидим.

Перед отъездом своим в Лифляндию Мурзенко позван был в домик Петра I, выстроенный на острове Березовом, так переименованном из финского Койво-сари . У крыльца встретил татарина карла Голиаф и вручил ему записку и богатый перстень, сделанный в виде короны, под которой на оправе было вырезано: *«5 Апреля»*. Все это, от имени неизвестной, но близкой к царю особы, просил ловкий маленький агент передать Владимиру, как скоро его отыщет. От кого шел дар, мы не смеем до времени сказать, но можем догадаться, прочтя записку, писанную по-немецки:

«Радуюсь твоему благополучию, Вольдемар! — так сказано было в ней. — Чужестранка в России, я уже люблю ее, как мое отечество; люблю всех, кто оказывает ему истинные заслуги; а сколько мне известно, более тебя сделал и делает ей добро только *один* человек, *мой* и *твой* повелитель... мой кумир с юных лет!.. В знак удовольствия, какое доставила мне весть о перемене твоей судьбы, и на память нашей дружбы, посылаю те-

бе безделку. Ты оскорбишь свою давнишнюю знакомую и новую соотечественницу, отвергнув этот дар. Напротив, приняв его, обрадуешь ту, которая и в унижении тебя любила, и на высоте не забудет».

Мурзенке приказывали еще через карлу сказать, что Владимира искать далеко не надо; еще недавно видели, как он шел от Саарамойзы к Неве. И потому операционная линия татарского наездника должна была покуда ограничиться обоими берегами этой реки.

Ах! когда бы знали благодетели, друзья Последнего Новика, что тот, кто был предметом их жаркого участия, не мог уже пользоваться ни дружбою, ни благодеяниями их! Ходатайство, прощение, залоги дружбы — опоздали!..

## *Глава пятая*

## ПОВЕСТЬ ПОСЛЕДНЕГО НОВИКА

О милой родины страна!
Какою тайною прелестной
С душою ты сопряжена!

*Нечаев*

Между тем как работы кипели на острове Луст-Эланд, несколько рот Преображенского полка под начальством Карпова и драгунские полки князя Вадбольского и Дюмона поставлены были на ижорском берегу Невы, близ устья ее, для наблюдения, не сделает ли неприятель высадки с эскадры. Как скоро обязанности службы выполнены были начальниками, они собрались вместе у хлебосола Вадбольского на чару анисовой водки, на пирог и кус, еще более лакомый, — на чтение истории Последнего Новика, отданной опекуну его вместе с другими бумагами. Несколько дней уже обещал Вадбольский передать своим приятелям исповедь его жизни. В этом греха теперь не было. Глебовскому, распевавшему так хорошо песни Новика, поручено читать его повесть в услышание всей честной беседы.

В старину у русских крест был приступом ко всему. Следуя этому святому обычаю, Глебовской перекрестился и начал чтение:

— «Судьба, видимо, гонит меня. Ни мое раскаяние, ни жертвы и заслуги мои отечеству не могли ее удовлетворить. Чувствую, или грехи моих родителей, или

кровь, за меня безвинно пролитая, запечатлели меня клеймом отчуждения от родины. Большего наказания нельзя придумать. Конец моим страданиям близок. Горькая смерть на чужбине, труп, не орошенный слезою друга или соотечественника, не отпетый священником, оспориваемый дикими зверями, — вот очистительная жертва, от меня ожидаемая! Русский придет некогда в эту страну; во имя Христа и, может быть, дружбы захочет отыскать мои кости и поставить над ними крест; но не найдет он и места, где лежал прах несчастного изгнанника... Крестом будут мне четыре страны света. Разве один голос всемогущего соберет прах мой и сплотит кости мои в день судный!

По крайней мере, часть себя хочу оставить на родине. Пусть частью этой будет повесть моей жизни, начертанная в следующих строках. Рассказ мой будет краток; не утомлю никого изображением своих страданий. Описывая их, желаю, чтобы мои соотечественники не проклинали хоть моей памяти. Я трудился для них много, так много сам любил их! Друзья! помяните меня в своих молитвах...

Не знаю, где я родился. Помню только, с тех пор как себя помню, высокий берег Москвы-реки, светлые излучины ее, обширные луга с высокою травою, в которой запутывались мои детские ноги, озера, с небом своим оправленные в зелень этих лугов, на возвышении старинные хоромы с теремками, поросшими мохом, плодовитый сад и в нем ключ. Журчание его и теперь отзывается моему слуху вместе с пением коростеля, раздававшимся по зорям. Для других неприятен крик этой птицы, но я, в каких странах ни слышал ее голос, всегда чувствовал в груди сладостное томление, задумывался о родине, о райских, невозвратных днях детства и слезами кропил эти воспоминания. Помню, что по обеим сторонам нашего жилища тянулась деревня, разделенная оврагом, через который весною седые потоки с шумом бросались в реку; позади деревни, вдали чернелись леса, дремучие леса, населенные будто лешими, ведьмами и разбойниками, а впереди через реку, на высоком берегу ее, стояла деревянная церковь и кругом ее кладбище. Не забыл я даже, что глава церкви была насквозь разодрана временем или молниею и что месяц, багровый от предвестий непогоды, поднимаясь от земли, по временам входил в эту главу в виде пылающего сердца. «Прогневали мы, родной, господа! — говаривала мне мамка моя, указывая на это явление. — Наста-

нут смуты, побоища, и много крови будет пролито! Боюсь за твою головушку, дитя мое! Кровь у тебя кипучая; глаза твои разгораются, когда рассказываю тебе о похождениях богатырей и могучих витязей; все у тебя стрельцы да стрельцы на разуме; мальчик крестьянский не стань перед тобою в шапке — сейчас готов ты сорвать ее и с макушкой. Смири, дитя мое дорогое, свое сердце; ходи стопами тихими по пути господню; не гордись, не превозносися; не то не сносить тебе своей головушки. Ох, ох! вещун недобрый кровавый месяц, и все в день твоего ангела! Молись усерднее богу, клади поболее земных поклонов, не ленись творить кресты, и он помилует тебя своею благодатью».

Худо слушался я наставлений мамки, и слова ее сбылись...

Деревню, в которой провел я первые годы моего детства и которую описываю, называли *Красное сельцо*. Часто говаривали в ней о Коломне, и потому заключаю, что она была неподалеку от этого города. Не знаю, там ли я родился, но там, или близко этих мест, хотел бы я умереть.

Семи лет перевезли меня в Софьино, что под Москвою, на берегу же Москвы-реки. С того времени дан мне был в воспитатели Андрей Денисов, из рода князей Мышитских. Говорили много об учености, приобретенной им в Киевской академии, об его уме и необыкновенных качествах душевных. Но мне легче было бы остаться на руках доброй, простодушной моей мамки, которой память столько же для меня драгоценна, сколько ненавистно воспоминание о Денисове, виновнике всех моих бедствий.

Пылкие страсти мои росли с моим телом, так сказать, не по годам, а по дням. Им старались дать опасный блеск, а не хорошее направление, не усмирять их. Воспитатель мой баловал меня, льстил моим прихотям, усердно раздувал в сердце моем огонь честолюбия и самонадеянности. Я был бешен, горд, властолюбив, все проступки мои извинялись; всем моим порокам находили благовидный источник или возвышенную цель. Несмотря на это потворство, я не чувствовал привязанности к своему развратителю: какая-то невидимая сила всегда отталкивала его от моего сердца. Не говорю уже о покорности; я не знал ее никогда. Я находил удовольствие управлять тем, который, впоследствии времени, раскрыл в себе душу необузданную, жаждущую одних честей и власти. Никогда, в самые мгновения величай-

шего на меня гнева, когда я подставил ему ногу, чтоб он упал, или когда изорвал в клочки переложенную им с латинского книгу о *реторической силе*, — никогда не осмелился он поднять на меня руки своей. Кажется, я вцепился бы в коварные очи его и вырвал бы их, если бы он дерзнул сделать эту попытку. Прибавить надо, что Денисов всячески старался питать во мне ненависть к роду Нарышкиных, которого он был заклятый враг по связям своим с Милославскими. Наталью Кирилловну, умную, добродетельную, описали мне ненавистною мачехою, чарами и происками изводящую пасынков и падчериц своих, чтобы родному сыну доставить право на венец. Говорили, что Петр... но язык немеет, перо не повинуется, чтобы передать все гнустные выдумки, которыми ухищрялись сделать из меня с малолетства заклятого врага царице и сыну ее. Еще не видав их, я питал к ним неодолимую ненависть.

Подчинив себе всех мальчишек в деревне, я составил из них стрелецкое войско, роздал им луки и стрелы, из овина сделал дворец, вырезал и намалевал, с помощью моего воспитателя, царицу Наталью Кирилловну с сыном на руках и сделал их целью наших воинских подвигов. Староста разорил было все наши затеи, называя меня беззаконником, висельником: я пошел со своею ватагою на старосту, взял его в плен и казнил сотнею горячих ударов.

Стрельцы мои называли меня своим атаманом: это имя льстило мне некоторое время, но, узнав, что есть имя выше этого, я хотел быть тем, чем выше не бывают на земле. Наслышась о золотых главах московских церквей, о белокаменных палатах престольного города, я требовал, чтобы меня свезли туда, а когда мне в этом отказали, сказал: «Дайте мне вырасти; я заполоню Москву и сяду в ней набольшим; тогда велю казнить всех вас!..» Так-то своевольная душа моя с ранних лет просилась на беды!

Только одного человека слушался я и любил: это был князь Василий Васильевич Голицын; имя его и доныне не могу произнесть без благоговения. В первые годы моего пребывания в Софьине редко навещал он меня; но каждый раз оставлял в детском сердце резкие следы своего посещения. Он ласкал меня такими отеческими ласками, так искренно учил меня добру, что я не мог не почувствовать всей цены его любви и наставлений. Одно слово его действовало на меня сильнее многоплодных, витиеватых речей Денисова. Раз, пробыв

несколько дней в Софьине, он успел высмотреть дикое состояние, в котором я находился, и ужаснулся его. С того времени он чаще стал навещать меня и старался понемногу обрезывать побеги страстей, готовые заглушить мою душу. Он убеждал меня слушаться, уважать, как отца, моего воспитателя, который, вероятно желая скрыть настоящую причину худого воспитания моего, жаловался, что я выбился из рук.

Мне минуло десять лет: помню, черемуха и синель тогда расцвели. В один из красных дней весны приехала к нам гостья, молодая, как она, привлекательная, как божья радость. Ничего прекраснее не видывал я ни прежде, ни после, во всю жизнь свою. Когда она вошла неожиданно с князем Васильем Васильевичем в мою светелку, мне показалось, что вошел херувим, скрывший сиянье своей головы под *убрусом* и спрятавший крылья под парчовым *ферезем* и *опашнем*, чтобы не ослепить смертного своим явлением. Кто мог бы ожидать, чтоб это была... царевна София, хитрая, властолюбивая?.. Нет, нет! пускай ни один упрек, ни один ропот не отравляют сладостного воспоминания о первой встрече с нею! Хочу воображать ее теперь со всем очарованием ее красоты, сбросившей с себя то, что она имела земного; пускай хоть теперь воспоминание о ней горит одною любовию!.. О! каким пером описать впечатление, произведенное на меня первым взором ее, встретившимся с моим? Куда девалась тогда моя самонадеянность? Я не мог выдержать этого взора; я потупил глаза в землю; сердце мое шибко билось в груди.

«Владимир! да будет над тобою благословление божие!» — сказала она дрожащим голосом, обняла меня, закрыла концами своего шелкового покрывала, крепко прижала к своей груди, целовала, и горячая слеза капнула на мое лицо. Ласки ее меня ободрили; я сам стал ласкаться к ней, как умел, со всею искренностью детской, но пылкой души. Вскоре послышался стук тяжелой повозки, и царевна, приказав мне не выходить из моей светлицы, бросилась из нее вместе с князем Васильем Васильевичем. Я слышал, как замкнулась за ними дверь; но не роптал на свое заключение, потому что посажен в нее был по воле моей новой владычицы. Осторожно взглянув из окна, увидел я на дворе две раззолоченные колымаги; понял, что приехали гости, которым я не должен показываться, сидел смирно и готов был для спокойствия неизвестной, но милой мне особы притаить свое дыхание. Через несколько часов колымаги

укатили со двора по дороге в Москву. Андрей Денисов освободил меня из заключения, но та, которую полюбил я так много, не являлась; и долго, очень долго не видал я ее; по крайней мере, так мне показалось!

Вслед за этим посещением я стал изредка получать от нее письма, исполненные нежной любви ко мне, и подарки, в коих тоже отсвечивалось чувство. Почерк ее руки был красивый, остроумие, блеск, нежность выражений вкрадывались в душу. Иногда приписывала она мне стихи, которых красоты объяснял мне Денисов, знаменитый ритор своего времени, а более сердце мое. Впоследствии я сам получил неодолимую охоту слагать стихи. Учителем моим был он же. Любовь к природе, живое воображение, пылкие страсти, свобода развернули мои дарования. Я должен прибавить, что переписка с моею благодетельницею сколько усилила мою преданность к ней, столько и поощрила во мне ненависть к Нарышкиным, виновникам всех горестей и несчастий Софии Алексеевны, — так часто выражалась она в письмах своих, не давая мне, однако ж, знать, кто она именно, а подписываясь просто *Боярыня Милославская.*

В первую за тем зиму я был в доме князя Василья Васильевича, в Москве. Только что подъезжал я к престольному граду, меня поразили блеск несчетных золотых глав его, будто повешенных на воздухе, как небесные паникадилы, и громада строений, которой не видел конца, и звон колоколов, показавшийся мне торжественным, духовным пеньем целого народа. В самой Москве раскрылся для меня новый мир. Святыня в храмах, волнение на площадях, церковные праздники, воинские смотры, великолепие двора царского — все это вдруг ослепило меня и на время смирило мои пагубные наклонности, невольно покорившиеся такому зрелищу. Надолго ли? Через несколько времени честолюбие мое начало разыгрываться в детских мечтах, как сердитый родник, который сначала бьет из-под земли, бежит потом ручьем, рекою и наконец, бушует морем, выливаясь через берега, будто его стесняющие. То хотелось мне быть предводителем совета или войска, то патриархом, то любоваться, как от одного слова моего кипят тысячи, как от одного слова немеет целый народ — настоящий конь троянский, огромное изделье великого художника, и все-таки кусок дерева, пока управляющий им не отопрет ужасных сил, в нем заключающихся! Такое сравнение делал некогда мой воспитатель, и я узнал вскоре

верность его. Бывший предводитель крестьянских мальчиков в Софьине набрал себе войско уже из детей боярских и довел их до строгого себе повиновения — иных из любви к себе, других из страха к своей силе, за которую прозвали меня Ильею Муромцем. В кулачном бою я смело шел один на трех, равных мне летами; побороть сильнейшего из своих товарищей было для меня лучшим торжеством. Могущество других не изумляло, не пугало меня, но возбуждало во мне досаду; над кем сила моя не брала, тому старался я искусно подставить ногу и свалить его. Не только большие, сильные люди, даже высокие домы были мне неприятны; если б я имел волю, то сломал бы их или поселился бы в самом большом.

На новоселье моем стала посещать меня тайком, с позволения, однако ж, моего благодетеля, женщина средних лет, пригожая и предобрая. Князь Василий Васильевич называл ее моею близкою родственницей, моею кормилицей; но заказывал мне говорить кому-либо об ее посещениях. «Где ж моя мать, мой отец?» — спрашивал я князя. «Они давно померли», — отвечал он. «Как их звали?» — «Кропотовыми. Только не говори об этом никому, потому что я сам могу в этом обманываться. Ты еще в пеленках подкинут к моему дому; а узнал я о твоем роде недавно, тайным случаем, может статься, еще несправедливо. Покуда не в состоянии буду обнаружить достоверно твое происхождение, называйся Владимир Сирота. Под этим условием боярыня Милославская, которую ты столько полюбил, содержит тебя, воспитывает и хочет сделать тебя счастливым, определив со временем ко двору царскому».

Я выполнил точно волю своего благодетеля, потому что хранить тайну умел с детских лет. Ах! почему не мог я назвать тогда своею матерью пригожую женщину, посещавшую меня тайком, в которой узнал я со временем Кропотову, жену Семена Ивановича? Она кормила меня своею грудью, любила меня, как сына, и, может статься, была настоящая моя... Нет, не хочу обманывать себя этою приятною мечтою. Скольких бедствий избавился бы я тогда!

При всяком посещении своем Кропотова целовала меня с нежностию матери, всегда приносила мне дорогие подарки и всегда расставалась со мною, обливая меня горячими слезами. Слезы эти, не знаю почему, надрывали мне сердце, впрочем не слишком склонное к

нежным ощущениям; после нее мне всегда становилось грустно, хотя и не надолго. Боярыню Милославскую, или, что одно и то же, царевну Софию Алексеевну, которую только видел раз, любил я более ее; но о Кропотовой более жалел: она казалась мне такою несчастною!

Однажды подарила она мне гусли, на которых приклеена была картинка с изображением Ильи Муромца. Как дорожил я этим даром, можно судить по тому, что я не покидал его в самые черные дни своего изгнанничества, во всех странствиях своих. Все, что ни имел я лучшего, готов был отдать товарищу; но с гуслями ни за что не согласился бы расстаться.

Кто не помнит кончины царя Федора Алексеевича? И старый и малый оплакивали доброго государя, которого любили одни по опытам на себе его благих дел, а другие, мало жившие на свете, по сочувствию народному. Еще врезан у всех в памяти и первый бунт стрелецкий, взволновавший вопрос: кому из двух детей-наследников сидеть на престоле? — вопрос, решенный только великим духом Петра Алексеевича, когда он угадал, что ему надобно царствовать. Я не знал тогда причин возмущения; но радовался, слыша о гибели Нарышкиных и торжестве прекрасной и умной царевны из рода Милославских. Моя софьинская знакомка была также из этого же рода. «Любо ли?» — кричали стрельцы, возвращаясь с кровавого пира, на котором торжествовали победу своей владычицы. «Любо!» — отвечал я с восторгом, стоя у ворот нашего дома, и стрельцы, радостно предрекая мне великую будущность, брали меня на руки и с криками поднимали на воздух. В день венчания на царство двух братьев Андрей Денисов повел меня в Кремль. Стоявший у входа сотник провел нас к самым дверям Успенского собора. Здесь мы, в ожидании торжества, как бы приросли к своим местам. Вдоль дороги, по которой надо было идти царям, тянулись с обеих сторон, будто по шнуру, ряды стрельцов с их блестящими секирами. Двинулось торжественное шествие. Протопоп кропил путь святою водой; золото парчовых одежд начало переливаться; загорели, как жар, богатые царские шапки, и вот пред нами цари: один [1] — шестнадцатилетний отрок, бледный, тщедушный, с безжизненным взором, сгорбившийся, едва смея дышать под тяжестью своей одежды и еще более своего сана; дру-

[1] Иоанн.

гой [1] — десятилетнее дитя, живой, цветущий здоровьем, с величавою осанкою, с глазами, полными огня, ума и нетерпения, взирающий на народ, как будто хотел сказать: *мой* народ!.. Казалось, одного гнали за державою, ему насильно вручаемою, — другой, рожденный повелевать, шел схватить бразды правления, у него отнимаемые. Признаюсь, я, бедный, ничтожный сирота, воспитываемый благодеяниями князя и боярыни, осмелился завидовать державному дитяти!.. За царями шла... кто ж? Моя тайная благодетельница, боярына Милославская!.. Но здесь я узнал свою ошибку. «Вот царевна София Алексеевна!» — сказал воспитатель мой, дернув меня за одежду, и возглас удивления и радости, готовый вылететь из уст моих, замер в груди. Очами изумления, любви, благодарности смотрел я на царевну. Она то ласково кланялась стрельцам, то легким наклонением головы давала знать боярам, чтобы ускорили шествие; то смотрела с какою-то неприязненною усмешкою и будто б с завистью на царевича Петра; но когда поравнялась со мною, удостоила меня и воспитателя моего особенным поклоном, так что всю милость этого поклона присвоил я одному себе без раздела.

«Владимир! — сказал мне Денисов, когда мы с торжества возвращались домой. — Я нарочно водил тебя смотреть на венчание царей, чтобы ты узнал, кто твоя благодетельница. Ведай, господу угодно взыскать тебя новыми милостями: на днях вступишь ты в услужение к царевне; тебя ожидают высшие степени, богатство, слава. Не спрашивай ни меня, ни другого кого, за что царевна тебя любит; может статься, обет, данный твоей матери... может быть, другое что-либо... этого я ничего не знаю, — довольно, что она любит тебя, бедного, безродного сироту... Так угодно богу; видно, ты родился в сорочке! вот что можно мне сказать на вопросы о твоей таланливой судьбе. Помни: твое благополучие зависит от твоей скромности и верности дому Милославских. На вершине не забудь и своего воспитателя: немало потрудился он для тебя».

В восторге от милостей прекрасной царевны голова у меня кружилась: я все обещал. О своем же происхождении не только не хотел, я боялся даже знать более того, что слышал от самого князя. Действительно, через несколько дней князь Василий Васильевич повез меня

---

[1] Петр.

в Коломенское, куда отправились царевичи тешиться соколиной охотой, а царевны наслаждаться прогулками по садам, исстари славившимся. Я был предупрежден, чтобы мне, при виде царевны Софии Алексеевны, показывать, будто вовсе не знаю ее. С нами повезли мои маленькие гусли, на которых я уже довольно искусно играл. Когда мы вступили в коломенский дворец и пока докладывал о нас стольник царицына чина, мы слышали из одного терема приятное пение женских голосов. Вскоре голоса умолкли, и я позван был один в этот самый терем. Несмотря на мое удальство, сердце у меня затрепетало. Стольник нес впереди меня гусли мои, потом сдал их и меня царевниной постельнице Федоре Семеновой, по прозванию Казачке, которая, приласкав и ободрив меня по-своему, отвела во внутренние покои. В одном из них, отличавшемся от других величиною и убранством, сидела царевна София Алексеевна, окруженная сестрами своими, молодою, пригожею царицей Марфою Матвеевной, узнавшею столь рано печаль вдовства [1], и многими знатными девицами, приехавшими делить с подругами своими радости сельской, свободной жизни. Как теперь вижу, София Алексеевна сидела на стуле с высокою узорочною спинкой, немецкого мастерства, и держала в руке тросточку, расписанную золотом, у которой рукоятка была из красного сердолика, украшенного дорогими каменьями. Прочие собеседницы все сидели на скамьях и занимались плетением кружева для полотенцев. Я отличил тотчас свою благодетельницу, как различают первую звезду вечернюю от прочих звезд. И здесь, посреди красавиц московских, она была всех их прекраснее, хотя ей было уже двадцать пять лет. Я помолился сначала святым иконам, сделал потом ей низкий поклон и наконец раскланялся на все стороны. София Алексеевна подозвала меня к себе, дала мне поцеловать свою ручку и сама поцеловала меня в лоб; все осыпали меня ласками, называя пригожим мальчиком. Но всех более, после моей благодетельницы, ласкала тогда и впоследствии всегда оказывала мне искреннюю привязанность царица Марфа Матвеевна. Память об ее милостях расцвечала черные дни моей жизни; неоцененное благодеяние, ею мне однажды

---

[1] Дочь Матвея Васильевича Апраксина, сочетавшаяся пятнадцатого февраля 1682 года с царем Федором Алексеевичем, по прозванию *Чахлым*, и овдовевшая, двадцати лет, двадцать седьмого апреля того ж года.

оказанное и которого не смею объяснить, усладит мой смертный час!..

На вопросы, деланные мне с разных сторон, отвечал я смело, стараясь всем угодить. Меня просили сыграть что-нибудь на гуслях. Раскрыли их, и собеседницы, с позволения Софии Алексеевны, присыпали смотреть картинку, изображающую богатыря Илью Муромца, едущего на ретивом коне сражаться против Соловья-разбойника, усевшегося на семи дубах. Это была одна из первых картин русского изделья. Многие смеялись от всего сердца, особенно девица Праскевия Федоровна Салтыкова [1], живая, веселая, говорившая, что она на святках видела в зеркале жениха своего, будто похожего на урода, сидящего на деревьях. Хорошенькая, но не привлекательная ни лицом, ни разговорами, девица Евдокея Федоровна Лопухина [2], взглянув из-за других на картинку, плюнула и с неудовольствием отворотилась, сказав, что грех смотреть на такое дьявольское искушение. Я играл на гуслях то заунывные, то веселые песни и видел с торжеством, как все довольны были моею игрою.

Когда София Алексеевна объявила желание свое взять меня к себе в *пажи* и когда, на вопросы боярынь, объяснила им, что такое *паж*, все упрашивали ее исполнить это поскорее и не оставить своею милостью пригожего, разумного сироту (так угодно было им называть меня). С этого часа судьба моя решена: князю Василью Васильевичу объявлено о воле царевны — и через несколько дней я со своими гуслями и мечтами честолюбия водворился в царских палатах. Не стану распространяться о милостях ко мне царевны Софии: кому из московских жителей они не известны? Скажу только, что они росли вместе с возвышением ее власти. Я сделался баловнем ее и всех придворных женщин. От природы тщеславный, непокорный, я возмечтал о себе столько, что стал ни во что считать царицу Наталью Кирилловну, а с сыном ее, бывшим мне почти ровесником, искал всегда причин к неудовольствию. Дитя рано обнаружило в себе царя; во всех случаях Петр Алексеевич давал мне чувствовать свое превосходство, в самих

---

[1] Девятого января 1684 года выдана замуж за царевича Иоанна Алексеевича.

[2] Впоследствии нелюбимая супруга Петра I.

играх напоминал мне долг подданного. Это бесило меня.

После второго стрелецкого бунта Наталья Кирилловна, видя, что честолюбивая падчерица каждый год очищает себе новую ступень к престолу, искала со своими советниками предлога открыть ей войну за права, похищаемые у Петра, который еще только учился защищать их. Безделица бывает обыкновенно придиркою к ссоре людей сильных и знатных, как для начинания боя, где должны стена на стену сразиться славные бойцы целого города, высылают всегда мальчиков. Так сделали и в том случае, о котором говорю. «Именем пажа, данным подкидышу, — говорила Наталья Кирилловна, — хочет новая царица начать новый двор; это явное оскорбление русских обычаев и законности. Скоро у ней появятся неслыханные должности, замещаемые ее приверженцами, и нам с сыном между ними и места не будет». София Алексеевна, всегда умная и на этот раз осторожная, притворилась слишком слабою или в самом деле не чувствовала еще в себе довольно силы явно идти навстречу сделанному ей обвинению: она старалась отыграться от него переименованием меня в Новика — звание, которое дети боярские переставали уже носить, вступая в службу. Впоследствии честолюбие Софии Алексеевны утвердило за мною придачу Последнего, доставившую мне слишком пагубную известность.

С 1683 года запрещено было посещать меня пригожей женщине, известной мне под именем Кропотовой. Князь Василий Васильевич, оберегатель царственной большой печати и государственных посольских дел, ближний боярин и наместник новгородский, неся на себе все бремя правления государством, был столько занят, что не мог посвятить мне много времени, и потому вся моя любовь сосредоточивалась в царевне Софии Алексеевне, которая, со своей стороны, старалась платить мне милостями, какие можно только любимцу оказывать. Ах! зачем так поздно узнал я, безрассудный, что чувства ее ко мне, вместе с потворным воспитанием Денисова, готовили из меня орудие их страстей?

Мне минуло шестнадцать лет. Предмет зависти боярских детей, окруженный довольством и негою, утешая царевну и придворных ее игрою на гуслях и пением, нередко, среди детских игр, похищая пыл первой страсти с уст прекрасных женщин, которые обращались тем свободнее со мною, что не опасались ни лет моих,

ни ревнивого надзора родственников, не дерзавших следовать за ними ко двору властолюбивой правительницы; вознагражденный тайною любви одной прекрасной, умной, чувствительной женщины, которой имя знает и будет знать только один бог, — на таком пиру жизни я не мог желать ничего, кроме продолжения его. Но беспокойная душа моя просила бед, и беды не заставили меня долго ждать.

Мы проводили лето в Коломенском. Петр Алексеевич со своими *потешными* осаждал крепостцу, построенную им из земли на высоком берегу Москвы-реки, при загибе ее. Однажды, восхищенный успехами своего войска, он пришел к царевне Софии, рассказывал о подвигах своих, шутил над женским правлением; говорил, что для рук, привыкших владеть иглою и веретеном, тяжела держава, с которою надо соединять и меч; грозился некогда своими новобранными наказать врагов отечества и наконец, увидев меня, приглашал вступить к себе в службу. Каждое слово его было ударом ножа в грудь Софии Алексеевны; я видел, как глаза ее разгорались, как грудь ее волновалась от досады. С быстротою молнии кровь и у меня начала перебегать по всему телу. С нами в комнате была царица Марфа Матвеевна. «Полно быть девичьим прихвостником! — продолжал Петр, положив руку на мое плечо. — Ты здесь Последний Новик; у меня можешь быть первым потешником». — «Пускай потешают тебя немцы, — отвечал я угрюмо, сбросив с плеча своего руку Петра. — Я русский, лучше хочу быть последним слугою у законной царевны, чем первым боярином у хищника русского престола». Царь-отрок вспыхнул, и сильная оплеуха раздалась по моей щеке. Не помня себя, я замахнулся было... но почувствовал, что меня держали за руки и что нежные руки женские обхватили стан мой, силясь увлечь меня далее от Петра, все еще стоявшего на одном месте с видом гордым и грозным. София Алексеевна приказывала мне удалиться немедленно. Марфа Матвеевна, не выпуская меня из своих объятий, со слезами на глазах умоляла не губить себя. На крик их прибежали *комнатные* люди и меня вывели из терема, но не прежде, как я послал в сердце своего обидчика роковую клятву отмстить ему. Это происшествие имело последствием изгнание меня в Софьино, где я опять глаз на глаз с моим развратителем Денисовым. На этот раз я предался ему совершенно: я упивался его беседами. В них, кроме не-

нависти к Петру, я ничего не слыхал; я дал олицетворенному сатане кровавую запись на свою душу.

Были кончены походы крымские, затеянные (так объяснилось мне после) царевною Софиею, чтобы ознаменовать свое правление военными подвигами и отвесть благородного князя Василия Васильевича от присмотра за ее умыслами на жизнь Петра. Известны последствия этой войны: бесполезная трата людей и денег, слезы тысячей, бесчестье войска, небывалые награждения военачальников и неудовольствие сильных единомышленников младшего царя. Одни победы нынешние могли прикрыть своим блеском постыдные имена *Перекопа, Черной и Зеленой долин*. В оба эти похода я был при князе Василии; возвратясь из них, жил опять в Софьине. У всех современников моих еще на памяти государственные перевороты, следовавшие один за другим в последние годы правления Софии так быстро, что не позволяли ей установить свои коварные замыслы, а Петру более и более расширяли круг его державных действий. С досадою видела правительница, что все ее начинания обгоняли сила душевная юного царя и возраставшая к нему любовь народная или, лучше сказать, воля провидения. Униженная всенародно в церковном ходе восьмого июня 1689 года, царевна поспешила решительно грянуть в своего брата и соперника третьим стрелецким бунтом, где в залог успеха была положена ее собственная голова. Я ничего не знал о ее новых кознях. Восемнадцатого августа, с рассветом дня, получаю от нее записку, в которой приказывали мне немедленно явиться в Москву. «Жизнь моя в опасности», — прибавляла она между прочим. Не думаю долго; нож за пояс, слово Денисову о причине моего отъезда, от него слово, что час мести настал, и совет, как действовать, чтобы уничтожить врага Софии и моего; беру лошадь, скачу без памяти. В теснине *Волчьих ворот* [1], поперек дороги, лежит сосна, взъерошившая свои мохнатые сучья и образовавшая из них густой частокол. Ищу в лесу места, где бы мне перебраться на дорогу, как вдруг из-за кустов прямо на меня несколько молодцов с дубинами и топорами; одни повисли на устцах моей лошади, другие меня обезоружили. Но как внезапно напали они на меня,

[1] Так называется и доныне место в лесу, по коломенской дороге, в двадцати трех верстах от Москвы. За несколько еще десятков лет оно было заставою разбойников.

так же скоро от меня отступили. «Последний Новик! Последний Новик! — закричало несколько голосов. — Ступай своей дорогой! Мы хлеб-соль царевны Софии Алексеевны помним; знаем, что она тебя жалует, и не хотим ни твоего добра, ни головы твоей. Поспешай: нам и вам в Москве худо; немцы берут верх; царевне несдобровать!» Не слышу ничего более; скачу опять без ума; во всю дорогу видения разгоряченного воображения меня преследуют. Вижу, народ зыблется в Кремле; слышу, кричат: «Подавайте царевну!..» Вот палач, намотав ее длинные волосы на свою поганую руку, волочит царевну по ступеням *Красного крыльца*, чертит ею по праху широкий след... готова плаха... топор занесен... брызжет кровь... голова ее выставлена на позор черни... кричат: «Любо! любо!..» Кровь стынет в жилах моих, сердце замирает, в ушах раздается знакомый голос: «Отомсти, отомсти за меня!..» Смотрю вперед: вижу сияющую главу Ивана Великого и, прилепясь к ней, сыплю удары на бедное животное, которое мчит меня, как ветер. Вот я и в городе! Концы Москвы пусты; Москва вся на площадях и в Кремле. Видения мои сбываются: народ волнуется, шумит, толкует об открытии заговора, о бегстве царя Петра Алексеевича с матерью и молодою супругою в Троицкий монастырь; войско, под предводительством Лефорта и Гордона, собирается в поход; сзывают верных Петру к защите его, проклинают Шакловитого, раздаются угрозы Софии. Лечу во дворец, прямо в комнаты царевнины. Толпа служителей встречает меня слезами, похоронными возгласами, рыданиями. Не помню ног под собою; хочу и боюсь спросить, что делается с моею благодетельницею; наконец осмеливаюсь — и мне отвечают только, что она в крайней опасности. Услышав из ближней комнаты мой голос, она отворяет дверь и кличет меня к себе. Вхожу. Она одна. Лицо ее помертвело; на нем ясно отражается последняя борьба душевного величия с отчаянием; голос, привыкший повелевать, дрожит; честолюбивая царица — только несчастная женщина. «Друг мой! — сказала она, обняв меня и обливая слезами. — Петр Алексеевич ищет моей конечной гибели. Распустил слух в народе, будто я готовила заговор, которым хочу истребить меньшого брата, мать его и всех его приближенных, и скрылся в Троицкий монастырь. Враги мои подкупают народ, стрельцов; все покидают меня, все винят несчастную в злодеянии. И на уме не имела... Разве вынудит меня защита собственной жиз-

ни... Меня ожидают монастырь или плаха. Скажи, что делать мне?» Исступленный, я предлагаю ей свою руку, своих приятелей, решаюсь отправиться с ними к Троице, пока войска туда еще не пришли, даю клятву проникнуть в обитель до Петра. София благословляет меня на это злодеяние, снабжает меня золотом, драгоценными вещами, письмом, советами, и я, с десятью, по-видимому, преданными мне стрельцами, в следующую ночь у стен монастыря. Только через сутки отворяют нам вход в него сквозь трещину *Каличьей* башни: деньги и драгоценности, данные мне Софиею, оставлены у приятеля Денисова, жившего в посаде Троицком. Из десяти товарищей остается у меня половина; прочие упились вином или разбежались, услыша, что войска на дороге из Москвы. В оставшихся товарищах вижу нерешительность; они, однако ж, следуют за мной. Позади церкви Смоленской божией матери скрываемся в ветхой, необитаемой келье *монаха оружейного*. Отсюда видно всех, кто ни выходит из *Государевой палаты*; отсюда сторожим свою жертву. Петру со своею матерью идти на утреннюю молитву в одну из церквей монастырских (молодая супруга его нездорова); в храме божьем должно совершиться злодеяние. Время дорого; рассуждать и откладывать некогда. Мне, как любимцу Софии, предоставлена честь быть мстителем ее и убийцею Петра. Ласточка встрепенулась и щебечет на гнезде, прилепленном к окну, у которого стоим; заря занимается. Взоры мои сквозь решетку окна устремлены на *Государеву палату*, ищут адской цели и встречают одни святые изображения. Божия мать улыбается улыбкою неба, смотря на предвечного младенца; Иисус на вечери учит апостолов своих любви к ближнему и миру; далее несет он с покорностию крест свой; ангелы радостно порхают около престола своего творца... и все кругом меня говорит о добре, о невинности, о небе, и все тихо святою тишиной. А я, несчастный, к чему готовлюсь? В жилах моих кипит кровь, в груди возятся дьяволы. Отвращаю взоры от святых предметов, и предо мною гробница Годунова; на ней стоит младенец с перерезанным горлом, с кровавыми струями по белой одежде, и грозит мне. Совесть! ты это была; ты предстала мне в виде святого мученика и встревожила все мое существо. Еще руки мои чисты; еще не вступал я в права творца своего! Есть время одуматься... В колокол ударили к заутрени. Я встрепенулся. «Идут!» — сказал один из моих товарищей. Смотрю: царица Наталья Кирилловна, опираясь

одною рукою на посошок, другою крестясь, пробирается по тропе между гробницами; за ней — Петр Алексеевич, отряхивая черные кудри свои, как будто отрясая с себя ночную лень. С другой стороны, покашливая, бредет старик монах. Сердце у меня хочет выскочить из груди. Забыто все; вижу только своего врага, помню только клятву, данную Софии. «Не здесь ли?» — говорю своим товарищам. «Видишь, сколько мелких камней на кладбище, — отвечает один, — есть чем оборониться, да и монахи бегут... лучше в церкви». — «Не отложить ли совсем?» — прибавляет другой. Прочие молчат; я молчу и гляжу, как монах, дрожащий от старости, большим ключом силится отворить дверь в Троицкий собор, как нетерпеливый Петр вырывает у него ключ и железные, огромные двери с шумом распахиваются. Выбегаю стремглав из кельи, пролетаю двор и — в церкви. Святыня, вместе с холодным, сырым воздухом, веющим от стен, обхватила меня; темный лик Спасителя грозно на меня смотрел; толпа праведников двигалась, росла и меня обступила. Невольно содрогнулся я и остановился посреди церкви. Оглядываюсь: три товарища, следовавшие за мной, стояли у входа в нее, не смея войти. В это время царица Наталья Кирилловна и сын ее молились на коленах перед царскими дверьми. Вероятно, услышав за собою необыкновенно смелую поступь, она оглянулась, вскрикнула: «Стрельцы! злодеи!» — с ужасом ухватила Петра за руку и прямо опрометью бросилась с ним через царские двери в алтарь. Я за ними через порог святая святых, с ножом в руке. Престол нас разделяет. Петр останавливается; то грозно смотрит на меня, то ищет, чем оборониться. Мать силится загородить его собою, указывает мне на распятие, на образ Сергия-чудотворца, умоляет меня именем бога и святых пощадить ее сына и лучше убить ее, если нужна кровь Нарышкиных... Я вполовину побежден; но делаю над собою усилие, преследую Петра, настигаю... уже заношу нож... Раздается крик матери, ужасный крик, разодравший мне душу, поворотивший мне всю внутренность, крик, отзывающийся и теперь в груди моей... Движением, которое я сделал, чтобы поймать свою добычу, падает с жертвенника распятие... Один из моих товарищей грозно взывает ко мне: *«Постой, не здесь, не у престола; в другом месте он не уйдет от нас!»* Бьют в набат — и все в одно мгновенье!.. Я упал духом; рука, не искусившаяся в делах крови, осталась в нерешительности действовать. Этот миг спас Петра и Россию!.. Слышу, несколь-

ко монахов хватают меня сзади и вырывают нож. Связанный, я брошен в какой-то погреб. Сколько времени я пробыл в нем, не знаю: перемены дня там не означались; помню только ночь, длинную, как вечность, жажду, голод, постель в луже, ледяное прикосновение гадов, ползавших по мне, и муки душевные, последствия злодеяния бесполезного!

Наконец я услышал глухой стук в стене. Была ли то весть казни или спасения? Сердце мое замерло при этой мысли. Несколько камней упало близ меня, и вслед за тем что-то тяжелое втащили, развязали и бросили на землю. Это брошенное захрапело ужасно. Голос произнес тихо, но твердо: «Где ты, Последний Новик? Именем царевны Софии Алексеевны дай мне руку». — «Вот она!» — сказал я, ощупав незнакомца, на голос которого пошел. «Теперь разденься и брось здесь свой кафтан», — продолжал он. Мне пришло на мысль, что для спасения моего хотят заменить меня другим, что этот другой вместо меня должен положить свою голову на плаху, и я сначала поколебался было исполнить волю незнакомца; но любовь к жизни превозмогла — я предался своему избавителю. Мы продрались через лазейку, сделанную довольно высоко в стене, нашли за стеной другого человека, нас ожидавшего, заклали искусно отверстие каменьями, поползли на четвереньках по каким-то темным извилинам, очутились в башне; с помощью веревочной лестницы, тут приготовленной, взлезли на высоту, в узкое окно, оттуда на крышу, карабкались по ней, подражая между тем мяуканью кошек, и потом впрыгнули в слуховое окно. Темная ночь, не позволявшая различать предметы, способствовала нашему побегу. Не скажу, где и у кого я очутился: тайна эта умрет со мною. Несколько недель жил я под полом, слышал оттуда барабанный бой пришедшего к монастырю войска, вопли, исторгаемые пыткою на монастырском дворе, радостные восклицания народа; слышал рассказы, как около монастыря поднялась такая пыль, что одному другого за два шага нельзя было видеть, когда свели преступников из обители и из Москвы на одно место; как Шакловитый, снятый с дыбы, просил есть и, наконец, как совершилась казнь над злодеями. Кому отрубили голову или вырезали язык, кого били кнутом, сослали в вечное заточение. В числе последних был князь Василий Васильевич, виновный в том, что с обстоятельствами не изменил своей преданности к

царевне и благодетельнице своей; в числе первых был — Последний Новик. Можно было судить, что я чувствовал, слушая такие рассказы.

Когда я хотел узнать, каким образом могли заменить меня другим в тюрьме и на плахе, избавитель мой объяснил мне, что мой двойник был один из моих товарищей, прискакавший со мною к Троице для убиения царя, что Андрей Денисов, приехавший вслед за мною по приказанию Софии Алексеевны, нашел его у постоялого двора в таком мертвом опьянении, что если бы вороны глаза у него клевали, он не чувствовал бы ничего. Состоянием этим воспользовались, положили его в мешок и притащили в мое заключение. Монахи пришли взять меня оттуда, и хотя тотчас догадались о подмене заключенного, но, видя, что вход в тюрьму был в прежнем крепком состоянии, приписывая этот случай чуду или напущению дьявола и более всего боясь открытием подмена заслужить казнь, мне приготовленную, сдали моего двойника, под моим именем, солдатам, а эти — палачу. К обману способствовала много густая пыль, о которой я говорил, и приказ царский казнить меня без допросов. Исполнители казни работали живо, прибавлял мой избавитель: им все равно было, чья голова или чей язык летели под их рукою, лишь бы счет головам и языкам был верен. Немудрено также, что палача задарил Денисов.

Я не мог быть выпущен из монастыря тем путем, которым в него вошел; у всех башен стояла уже крепкая стража. Надо было дождаться выезда царя с его семейством из обители. Я дождался этого выезда; буря миновала; днем, во время обедни, выпустили меня из моей засады и ворот монастырских. Узнать меня нельзя было в рубище, с искривленною на одну сторону шеею, со спущенными на лицо волосами; я проскользнул в толпе убогих, которых мой избавитель собрал для раздачи им милостыни. В ближней деревушке нашел я Андрея Денисова, имевшего в готовности двух бойких лошадей, — и... с этого времени я изгнанник из родины!»

На этом месте остановился чтец, как для того, чтобы отдохнуть, так и дать своим товарищам сообразить рассказ Новика со слухами о происшествиях тогдашнего времени. Исполнив и то и другое, принялись снова за чтение.

## *Глава шестая*
## ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОВЕСТИ

То песнь про родину мою:
Я день и ночь ее пою.

*Барон Розен*

«Пусть запретят вам выезжать в какой-либо город, и это запрещение покажется вам мучительным наказанием: что ж должен чувствовать тот, для кого навсегда заперта дорога в отечество? Изгнанник, подобный мне, может только понять мои чувства. Теперь только узнал я цену того, чем обладал и что потерял безвозвратно. Эта ужасная известность переменила мой нрав. Куда девались мечты честолюбия! «О боже мой! — говорил я, обливаясь слезами. — Сделай меня самым бедным, ничтожным из смертных, хоть последним крестьянином села Софьина, и за это унижение отдай мне ее, отдай мне родину». Тринадцать лет, каждый день с усили вающеюся по ней тоскою, творю эту молитву, и доныне по-прежнему странником в чужбине.

Мы ехали все на север. Дорогою по временам обгоняли толпы раскольников, пробиравшихся по тому же направлению. При виде моего спутника они останавливались, испрашивали его советов, помощи и никогда не оставались без того и другого. Андрей знал хорошо пути к человеческому сердцу и мастерски умел пользоваться его слабостями; от природы и учения красноречивый, он был богат убеждениями духовными; также и в вещественных пособиях не нуждался. Все драгоценности и деньги, данные мне Софиею Алексеевною, получил он обратно, по назначению моему, от того человека, кому я их вверил, да и сам товарищ мой напутствован был такими же щедрыми дарами царевны. Дорог й имел я случай выведать, что переселение на север нескольких сот семейств русских делалось вследствие видов Денисова, давно обдуманных и искусно расположенных, и имело целью со временем противопоставить на всех концах России враждующую силу царю из рода Нарышкиных. Этою силою, неколебимою своим невежеством, руководствовала нередко София в свою пользу, но, не приобретя для себя ничего, удовлетворила только жадному властолюбию своего клеврета. Впоследствии узнал я, что главным условием ее богатых милостей как ему, так и основанным им поморским скитам, которых он сделался патриархом, была передача мне в наследст-

во этого чиноначальства. Разрыв его со мною должен был увлечь за собой и разрыв с ним Софии: тем важнее было для него не потерять меня.

По прибытии нашем за Онегу возникли мало-помалу русские селения из болот и лесов; жизнь общественная заговорила в пустынях. Меня ничто не занимало, даже и сулимое мне владычество. Я не мог выдержать более года в Выговском ските. Проклиная виновников своего несчастия, для которого они меня с младенчества воспитывали, с тоскою, которую не в силах вырвать из сердца, как будто стрелу, в него вонзенную и в нем переломленную, я бежал... назад идти не мог... я бежал в Швецию. Ничего не взял я с собою, кроме гуслей, неоцененного дара доброй Кропотовой, освященного чистою, бескорыстною любовью ко мне (они доставлены мне в скит через одного раскольника, совершенно преданного Софии Алексеевне).

Переходя из страны в страну, убегая от родины и находя ее везде в своем сердце, я провел несколько лет в Швеции. Игра на гуслях и пение доставляли мне насущный хлеб. Песни, сочиненные мною на разные случаи моей жизни, переносили меня в прошедшее и облегчали грудь мою, исторгая из очей сладкие слезы. Молва о московитском музыканте переходила по горам и долинам; на семейных праздниках, на свадьбах мне первому был почет; все возрасты слушали меня с удовольствием; старость весело притопывала мне меру; юность то плясала под мою игру, то горько задумывалась. Везде есть добрые сердца; в Швеции я нашел их много, очень много. Гостеприимство и любовь приглашали меня не раз в свои семьянины. В горах Далекарлии, у одного богатого мызника, меня особенно ласкали. Он был в преклонных летах и, кроме дочери, не имел детей. Старик уговаривал меня войти к нему в дом вместо сына. «Остался бы, добрый старик,— говорил я,— кабы мог забыть здесь родину». Дочь его, прекрасная, статная, рослая, как бы от земли тянуло ее к себе небо, каждый день более и более опутывала меня своею любовью. Часто, слушая мои песни, она с нежностью останавливала на мне свои черно-огненные глаза, от которых хотел бы уйти в преисподнюю; нередко слезы блистали на длинных ресницах прекрасной девушки. «Добрый странник! — сказала она мне однажды, победив свою стыдливость. — Останься с нами, я буду любить тебя, как брата, как...» Потупленные в землю очи, дрожащие уста, волнение девственной груди договори-

ли мне все, что она боялась вымолвить. «Не хочу обманывать тебя, милая! У меня в России есть уже невеста; не снять мне до гробовой доски железного кольца, которым я с нею обручился», — отвечал я ей и спешил удалиться из жилища, где, на место невинных радостей, поселил беспокойство. Так один взгляд сатаны побивает жатвы, чумит стада и вносит пожары в хижины!

Судьба привела меня в Стокгольм в 1694 году, когда весь город шептал (говорить громко истину при Карле XI не смели) о жестокостях редукционной комиссии, о явке к верховному суду депутатов лифляндского дворянства, о резких возражениях одного из них, Паткуля, отличавшегося своим красноречием, умом и отвагою, и, наконец, о приговоре, грозившем этим представителям народным. Любя все необыкновенное, я старался узнать этого великого противника неправосудной власти. Игрою на гуслях перед его окнами я привлек на себя его внимание. Он полюбил меня с первого дня, как увидел, разгадал меня, исторгнул из унижения своим вниманием и дружеским обращением и умел возбудить во мне такое участие, что я вскоре поверил ему тайны моей жизни. Эта откровенность и несчастия, ему грозившие, скрепили еще более союз наш. Со своей стороны, он старался, по возможности времени, образовать меня и рассказами о подвигах Петра с того дня, как я оставил Троицкий монастырь, успел возбудить во мне удивление к этому государю. Иностранец раскрыл для меня все, что козни царевны Софии Алексеевны имели в себе ужасного; от него узнал я, в какую бездну повергнул бы Россию, убив с Петром ее просвещение и благоденствие.

Смертный приговор Паткулю был подписан. Он бежал, письмом своим вверяя меня приязни хорошего знакомца своего, Адама Бира, профессора в Упсальском университете.

Бира не застал я уже в университете, из которого изгнала его несправедливость, существующая, как видно, везде, где есть люди. Я нашел его в бедности, однако ж не в унынии. Он учил детей своего прихода читать и писать и этой поденщиной едва снискивал себе пропитание. Письмо Паткуля сблизило нас скоро. С простодушием младенца Бир соединял в себе ум мудреца и благородство, не покоряющееся обстоятельствам. Счастливым себя считаю, если мог сделать что-нибудь для него в черные дни его жизни. За о чем не заплатил он мне! Он научил меня истинам высоким, раскрыл для

меня таинства природы, обошел со мною рука с рукой весь мир, заставил полюбить великие образцы Греции и Рима — одним словом, показал мне человека, каков он был и есть, и человечество, как оно будет некогда. В купели его мудрости я обновился; я полюбил добродетель для нее самой и отечество мое с самоотвержением. Мысль очистить себе путь на родину благородными подвигами, служением ей истинно полезным заброшена мне в сердце его уроками. Во сне и наяву я только мечтал, как осуществить эту мысль.

Скоро наступил конец искушению, которое угодно было провидению послать моему второму отцу. Сестра его, одна из ученейших женщин своего века, знавшая несколько языков, в том числе и латинский, как свой родной, призвала его в Стокгольм, откуда отправила в Лифляндию, в воспитатели к дочери баронессы Зегевольд. Наследство, лучшее, какое он мог мне оставить, было поручение моему дружескому вниманию одного необыкновенного создания. Сын бедного кожевника из-под Торнео, с душою, пожираемою небесным огнем вдохновения, бежавший от объятий отца и ласк родины, чтобы сообщить другим этот огонь, солдат, странник, студент и, наконец, слепец в доме умалишенных — вот дивное творение, которое наследовал я после Бира. Имя его Конрад. Сильные душевные потрясения, кипучее воображение, занятия ума, никогда не довольного тем, что знает, и пытающегося добраться по цепи творения до высочайшего знания, расстроили его рассудок. Голос мой первый воззвал его к деятельности; это был первый сочувственный звук, ударивший по струнам его сердца. Оно уразумело меня, и с того времени слепец шел всюду за мной, как будто привязанный ко мне невидимою цепью. Оба с пламенною душой и воображением, с одинаковыми наклонностями, оба несчастные, униженные судьбою, но не терпящие унижения от подобных себе, мы сопряглись на земное житье и рука с рукой пошли по миру. Как он любил меня! Родство, друзей, родину, свет божий — все заключил он во мне. Семь лет ему ничего не было известно обо мне, кроме моего имени и мнимого моего отечества, Выборга; но слепец внутренними очами прочел мои тайные страдания, узнал из моих бесед о России (в которой, по словам моим, я столько странствовал), узнал, что она мое отечество, и похитил заключенные в сердце моем роковые имена людей, имевших сильное влияние на жизнь мою. Желания мои угадывал он, как провидение, волю мою исполнял, как

раб, купленный благодеяниями. Он был у меня последнее, единственное благо на земле. Судьба и в этом мне позавидовала. Его уже нет. Горькие слезы льются из глаз моих: начертывая эти строки, стою, мнится мне, с заступом перед его могилою и готовлюсь засыпать его навеки землею.

Сердце влекло меня в Лифляндию; там я мог быть ближе к своему отечеству. Мы переплыли сердитые воды Бельта; мы в стране, где имена Юрьева, Новгородка Ливонского, Ракобора напоминали мне о владычестве над нею русских. Долго новый край и люди не приносили ничего нового душе изгнанника; в ней все та же тоска по родине. Одною отрадою мне было ходить по нескольку раз в год за Новгородок Ливонский на гору Кувшинову, как бы на поклонение моему отечеству: оттуда я мог видеть крест Печорской обители, зажигаемый лучом солнечным; оттуда мог я молиться русской святыне. По целым часам смотрел я на эту звезду утешительную, и только ночь уносила с нею мои радости; поутру дожидался я, когда опять взойдет мое светило и даст мне приветный знак от родного края.

В виде странствующих музыкантов мы протоптали перекрестные следы по всей Лифляндии. На мызах баронских, в шведских лагерях и казармах, в латышских и чухонских хижинах я был известен под именем Вольдемара из Выборга; твердое знание языка шведского много способствовало мне к сокрытию настоящего моего отечества. К удивлению моему и даже страху, в одно посещение мое лекаря Блументроста на мызе его, близ Мариенбурга, он начал говорить мне наедине о России, о готовившейся войне, о пользе, какую мог бы я извлечь, служа в это время (кому, не объяснил); говорил мне о Паткуле, как о человеке, ему весьма известном, и, наконец, дал мне знать догадками, кто я такой. Именем бога умолял я его объясниться. С меня взята клятва, самая ужасная, молчать обо всем, что я ни увижу и услышу. «Мне ничего не известно, — сказал доктор Блументрост. — Но вот человек, который угадал в Вольдемаре из Выборга, по приметам, мною описанным, кто он, и который откроет тебе более». Он снял картину со стены и ударил три раза в ладони. Отворилась маленькая дверь, и передо мною явился — Паткуль. Мы обрадовались друг другу: сердце мое предугадывало в нем моего спасителя; он не скрыл, что на мне основывает великие надежды свои. Уверясь в постоянстве и твердости моих чувств, Паткуль открыл мне, какими жертвами я могу

купить прощение Петра Алексеевича и приобресть свое отечество. Душа моя взыграла надеждами: я на все решился; я закабалил себя в шпионы...»

Чтобы не наскучить читателям повторением того, что они уже знают из предыдущих частей нашего романа, оставляем здесь рассказ Последнего Новика; но извлекаем из этого рассказа только то, что нам нужно дополнить для ясности и связи происшествий.

Новик, от природы строптивый, пылкий, нетерпеливый, взялся нести на себе ярмо ужасное и постыдное; притворствовать, обманывать, продавать себе подобного — такова была его обязанность! Но в награду ему обещано отечество, и нет жертвы, на которую бы он не решился за эту цену.

Предвестники Северной войны разыгрывались. Согласно наставлениям Паткуля, Новик явился к генерал-фельдвахтмейстеру Шлиппенбаху, знавшему его прежде и любившему за игру на гуслях; открыл, что он русский, любимец Софии, беглый стрелец, хотевший убить Петра I, что он и теперь питает к царю сильную ненависть, которую желает и может доказать услугами своими шведам. Он подкуплен Паткулем, прибавлял Новик, выведывать движения войск в Лифляндии и дух тамошнего дворянства; он должен вести с ним переписку; в доказательство представил несколько писем, полученных от него будто бы через раскольников, и, наконец, брался, несмотря на предосторожности хитрого изменника и врага Швеции, заманить его со временем в западню, откуда ему не вырваться. В искренности речей Последнего Новика нельзя было сомневаться: драгоценный образ на груди его, дар царевны, письма Софии в Выговский скит, которыми она убеждала своего питомца не покидать своей цели и надеяться, что правое дело скоро восторжествует; письма самого Паткуля — каких лучше свидетельств мог требовать Шлиппенбах? Генерал-фельдвахтмейстер всему поверил и предался своему лазутчику. Чтобы лучше обманывать Паткуля, обещано передавать ему время от времени известия о том, что делалось в шведском войске. Денежных наград шпиону не жалели; милостей безденежных насулено еще более в случае хорошего исполнения; за измену обещана виселица. Но какая польза была Новику изменять? В России ожидает его плаха, а здесь, в Лифляндии, под покровом шведского могущества, он может выйти в люди и разбогатеть! Условия сделаны, и

Последний Новик, под именем Вольдемара из Выборга, снабжен от Шлиппенбаха охранным листом, которым, по высочайше дарованной военачальнику власти, велено по всей Лифляндии и в шведском войске *чинить* предъявителю всякое пособие и покровительство. Первый опыт усердия его к пользе шведов был, по виду, жесток для противной стороны.

Война Северная все еще таилась под личиною дружеских уверений. Посланник польский (Карлович), исполнив с Паткулем свои дела в Москве, возвращался санным путем через Ригу. Товарищ его обходил южный край Лифляндии, засевая везде неудовольствия к шведскому правительству, и, среди забот политических, увлеченный сердцем, не оставил заплатить дань природе и взглянуть на свое родное пепелище. Посланник просил коменданта рижского Дальберга пропустить через крепость обоз его, вслед за ним ехавший. Дано обещание. В обозе скрывалось множество оружия; при въезде его в крепость должен был ворваться в нее отряд польских драгун, стоявший на границах Курляндии; от недовольных и подкупленных в Риге ожидали помощи. Стратагема оказалась неудачною, и потому Владимир дал о ней знать коменданту. Взяты все предосторожности встретить неприятеля; последствия известны: незваных, но жданных гостей встретили и с уроком проводили; война открылась. С этого времени Последний Новик приобрел полную доверенность той стороны, которую обманывал. В продолжение же войны неоднократно утверждал он Шлиппенбаха в этом чувстве к нему новыми опытами своего усердия, большею частью запоздалыми, не имевшими значительной ценности, но выставленными так искусно, что принимались в высоком курсе. Мы видели, какой перевес имели перед этими действиями верность и преданность стороне русской, которой он доставлял вовремя неоцененные сведения через Паткуля, Ильзу и — кто подумал бы? — через Мурзенку. Управляя всеми движениями сокровенной политики своего истинного доверителя, он все знал о действиях прочих лазутчиков его, но сам, с глубокими тайнами своей должности, известен был только одному ему и его служителю, Фрицу. Даже Никласзону, усердному, но коварному агенту его, выставлен Вольдемар шпионом от шведов. Жертвы, принесенные Последним Новиком на алтарь отечества, куплены дорогою ценою унижения, необыкновенных трудов телесных и умственных, сильных душевных страданий — достойные

жертвы для искупления его проступка и получения награды, столь пламенно преследуемой! Но судьба обвила свою жертву крепкими, нерасторгаемыми узами, как змеями, которыми опутаны были Лаокоон и дети его...

Объяснив действия Владимира, столько способствовавшие русским к завоеванию Лифляндии, дополним из его жизни небольшие промежутки в происшествиях, которые помешали ему насладиться плодами своих трудов.

Бегство из Выговского скита очень встревожило Денисова, боявшегося потерять с ним милости Софии, все еще продолжаемые скиту на прежних условиях. Царевна-инокиня, уму которой удивлялся сам Петр Великий, знала все, что делалось за стенами монастыря не только в отечестве ее, но и при дворах иностранных. Известно, какие слухи распустила она в Вене, во время путешествия своего брата по Европе, и сколько эти слухи поколебали было политику Австрии. Удивительно ли после того, что София проведала о бегстве своего питомца из скита и потом о появлении его в Лифляндии? Преследуя народные слухи, она отыскала солдата, бывшего под Эррастфером и отпущенного за ранами из армии Шереметева на свою родину в Москву. Он рассказал ей все обстоятельства сражения, и София в спасителе отряда Лимы угадала своего любимца. Догадки устрашили ее тем более, что во время бунта 1698 года, кончившегося ужасным зрелищем несколько сот человек, повешенных перед ее окнами, постельница ее под клещами пытки открыла правительству важную тайну, касавшуюся до царевны и Последнего Новика, и потому, боясь за него, боясь за себя и негодуя, что ее любимец предался стороне, ей ненавистной, София писала к Денисову убедить Владимира возвратиться в скит, а если убеждения не подействуют — употребить самые сильные меры к недопущению его в Россию, хотя б это стоило ему жизни. Денисов, ободряемый милостями царевны, дружбою к роду Милославских (*коего семя росло в России*, как изъяснялся Петр I) и, наконец, ненавистью к Нарышкиным, оттеснившим его некогда от важной государственной должности, начал усердно отыскивать Владимира по Лифляндии и послал для преследования его староверов, преданных своему чиноначальнику. Старцу Афиногену первому удалось встретить его. Вестник этот открыл ему волю и угрозы царевны, увещания Денисова, страшную будущность, ожидавшую его в отечестве, и неизъяснимое блажен-

ство, приготовленное в ските покорному сыну православной церкви. Когда ж послание его не имело никакого успеха, отправился, согласно данным ему наставлениям, в русский стан, под Нейгаузен, с подметным письмом. Мы видели, как он умер за бороду свою; видели, какие последствия имело самое свидание патриарха поморских изуверов с Владимиром в доме лесника. Остальное нам также известно.

Последний Новик кончил свое повествование признанием, что он изнемог под усиленными ударами судьбы, и просьбою к своим соотечественникам помолиться о спасении его души. Повествование было адресовано на имя князя Вадбольского, как человека, принимавшего в нем, по-видимому, сильное участие, — человека, от которого, за услугу свою под Гуммельсгофом, ожидает он ходатайства за него у отечества.

Чтение истории Последнего Новика оставило грустное впечатление в сердцах собеседников. Вадбольского более всего тревожило сомнение, что тот, коего взялся он быть опекуном, не сын Кропотова; не менее того остался он верен своей привязанности к несчастному.

Усилили поиски по Новике, и все без успеха. Наконец, в один день, при очистке леса на ижорском берегу, солдатам попался на глаза богатый складень, дар царевны, сорванный убийцею с груди своей в минуту величайших его страданий и брошенный в кусты. Драгоценная находка представлена фельдмаршалу; объявлено по войску, не отыщется ли хозяин. Как скоро Вадбольский взглянул на образ, тотчас отгадал, кому он принадлежит. Место, где он найден, освидетельствовано. Близ него, по разным частям леса, валялись человеческие кости. (Вероятно, что тело Денисова в мучениях предсмертных свалилося с костра, на который положил его *жидовин*, и потом расхищено зверями.) Не оставалось сомнения для друзей Последнего Новика, что он или убит раскольниками и растерзан волками, или просто сделался жертвою последних. Мурзенко, узнав об этом, бросился палить раскольничьи селения и забирать их сотнями, отсылая в Россию.

Долго горевали о Последнем Новике, еще дольше о нем говорили и наконец забыли его, как забывают в мире все, что в нем не вечно.

## *Глава седьмая*

## ДВЕ СЦЕНЫ ИЗ 1704 ГОДА

Родная! Где же ты? Увидимся ль с тобой?
Приди; я жду тебя все так же сиротою —
И все на камне том, и все у церкви той,
Где я покинут был тобою!

*Козлов*

Носилки, гроб, да заступ, заступ,
Да черное сукно.
Да три шага земли, земли,
Нам нужны всем равно.

*«Гамлет», перевод М. В.*

В один летний день 1704 года, когда звон вечерний тяготел над Москвою, шел нищий, один-одинехонек, по обширному полю, расстилавшемуся от города до Новодевичьего монастыря. Этот нищий не походил на своих собратьев: рубищам и суме изменяло какое-то благородство душевное; оно изображалось на его лице и нередко вспыхивало в его помутившихся глазах. Ему могло быть с небольшим тридцать лет; но заметно было, что удары гневной судьбы, наперекор времени, означились на всем его существе следами раннего разрушения. Это свидетельствовали лоб, изрытый глубокими бороздами, седины, пробивавшиеся сквозь смоль его волос, падавших в беспорядке по плечам, сгорбленный высокий стан, дрожащие руки. Он нередко останавливался на пути своем, скидал шапку, как бы мыслил о святыне, осматривался кругом; казалось, то любовался зрелищем Москвы, возносившей золотые главы своих церквей из бесконечного табора домов, то восторженным взором преследовал блестящие излучины Москвы-реки и красивые берега ее, то прислушивался к звону колоколов. В это время стан его распрямлялся, пасмурное лицо светлело, слабый румянец пробегал по щекам, улыбка порхала на помертвелых губах, и в глазах его блистали слезы. В одно мгновение ока все изменялось. Как человек, смотря на солнце, вдруг ослеплен его блеском, он вздрагивал, опускал голову и взоры в землю и опять медленными шагами пробирался по тропе к Новодевичьему монастырю, нередко спотыкаясь о камни, попадавшиеся ему под ноги. Лицо его подергивалось облаком уныния; тяжелый вздох потрясал его грудь, и губы лепетали молитву покаяния.

Вот он у ворот монастырских осматривается кругом; руками, дрожащими более обыкновенного, творит крестные знамения перед образом божией матери; вот уже проходит монастырский двор и становится на паперти в ряду своей нищей братьи. Между глубокими вздохами изученной скорби его товарищей не слышно его вздоха; он недвижим, как плита гробовая. Вечернее моление кончилось. Монахини выходят из церкви, и между ними одна... Кто под иноческим покрывалом и рясою, под наружностью старухи не узнал бы в ней той, которая несколько раз силилась вырвать державу из могущих рук Петра Великого, которая чувствовала себя столько способною царствовать, но не была на то определена провидением? Инокиня Сусанна видом все еще царевна София. Взор ее по-прежнему повелевает и очаровывает; невольным уважением преследуют ее ныне равные, подруги; кажется, все, ее окружающее, страшится еще в затворнице будущей владычицы России. Она раздает милостыню нищим; рука ее протянута к тому, которого мы изобразили... взоры их встречаются... деньги падают из дрожащих рук его... Она... Боже мой! на устах ее замирает слово, которое готова была произнести; смертная бледность покрывает ее лицо, и Сусанна падает на руки монахинь. С поспешностью уносят ее в келью.

Народ давно вышел из монастыря; храм пуст; нищий все еще стоит на прежнем месте. Кажется, он чего-то ожидает.

И вот — подходит к нему старая монахиня и шепотом зовет его за собою. Он повинуется; он в келье инокини Сусанны!

Они остались вдвоем; никто не слыхал их разговора. Видели только, что, когда таинственный нищий выходил оттуда, слезы струились по разгоревшимся его щекам, прежде столь бледным.

С того времени Сусанна опасно занемогла.

Третьего июля, в шесть часов утра, в Новодевичьем монастыре ударили три раза с протяжною расстановкою в большой колокол. Таинственный нищий сидел на лавке у ворот монастырских; он вздрогнул, привстал и судорожным движением три раза перекрестился, возведя к небу полные слез глаза.

Скоро пронеслась весть, что инокиня Сусанна скончалась. Перед смертью она приняла схиму под именем

Софии — именем, которое носила, быв царевной и владычицей России!..

Пятого июля великолепная похоронная процессия наполняла пространство Новодевичьего монастыря. Множество народа сопровождало ее. Таинственный нищий шел за гробом.

Когда гроб стали опускать в землю, нищий хотел продраться к нему ближе. Его отталкивали; но он сделал усилие... вскрикнул:

— *Пустите! она мне...* — Более не мог он ничего говорить и без чувств упал на землю.

Таинственный нищий был — Последний Новик. Он не выдержал; он пришел на родину.

## *Глава осьмая*
## ПИСЬМО ИЗДАЛЕКА

Какая б ни была вина,
Ужасно было наказанье.

*Пушкин*

Дерпт и Нарва — последние твердые связи, которыми сердце Лифляндии держалось еще шведскому правительству, — были взяты, и вслед за тем русские торжествовали над своими неприятелями ежегодно по нескольку побед на суше и водах. Сбывались предсказания Паткуля: мщение его делами отвечало на угрозы двух королей; почти вся Лифляндия принадлежала уже России. Вот все, что мы находим нужным сказать о происшествиях в четырех годах, последовавших за смертью Софии. Теперь попросим читателя на ковре-самолете воображения перенестись в 1707 год.

Шведские пленные были рассыпаны по многим городам России. Густав Траутфеттер проводил время своего скучного заточения в Коломне (за сто верст от Москвы). Квартира ему была назначена у одного богатого купца, смотревшего на постояльца своего, как обыкновенно невежественный класс русских смотрит на иностранца — существо, которое в глазах их есть нечто между человеком и животным. С ним вместе никогда не ели, не пили; для него была даже собственная посуда, оскверненная устами басурманскими. Впрочем, хозяин ласкал его, исправно натапливал печь в его

комнате и потчевал его пирогами, говядиной и медом хоть до упаду. Надо прибавить, что щедрые денежные присылки от неизвестной особы давали ему способы жить прилично своему званию и даже помогать товарищам плена, большею частию содержавшим себя трудами рук своих. Нередко дочери хозяина, две пригожие девушки, из затворнических своих светлиц то бросали цветы в милого незнакомца, то нежили слух его заунывными песнями. Но Густав был равнодушен к этим знакам сердечного внимания.

— Как! — скажут некоторые светские люди. — Как, быть верну пять лет? C'est presque le siège de Troie! [1]

Да, милостивые государи, он любил Луизу, как никогда еще: в разлуке, в плену, в обществе людей непросвещенных, образ ее, не покидая его, всегда стоял у него на страже от всех искушений. Сердце Густава помнило только один дар любви, привет одних глаз, понимало только одно уверение, которое, казалось ему, произносила Луиза своим волшебным голосом: *«Густав! сказать ли мне, что я тебя люблю? Ты это давно знаешь!»* Взамен попечений о нем Паткуля, находившегося уже несколько лет посланником от российского двора при короле польском, не оставляли его благодеяния скрытого гения, присылавшего уже несколько раз известия о Луизе: «Луиза здорова. При взятии русскими Дерпта с нею ничего худого не случилось. Есть верные известия, что она вас по-прежнему помнит и любит. Надейтесь!» Вот что писали к нему в разные времена, услаждая таким образом грустное его изгнанничество. Рука была незнакомая. Сначала довольно поломал он себе голову, чтобы открыть, кто давал ему эти известия; но впоследствии оставил эту заботу, довольный, что есть человек в России, который желает ему добра. В 1707 году прекратились вдруг сведения о фамилии Зегевольд. Истомившись в надеждах на лучшую будущность и не видя им исполнения, он предался отчаянию. Все помрачилось в его глазах: и природа и люди. В первой, казалось ему, времена года изменили свой порядок, земля лишалась уже теплоты солнечной, отброшенная гневом провидения в низшую сферу миров. Человек представлялся ему существом несчаст-

---

[1] Это почти осада Трои! *(фр.)*

нейшим, пущенным на эту земную глыбу для страданий. Неожиданное письмо, им полученное, сколько обрадовало его сначала почерком руки, написавшей адрес, столько же содержанием своим переполнило чашу горести, поднесенную ему судьбою. Письмо было от двоюродного брата его.

«Немалого труда стоило мне сыскать случай доставить тебе это послание, милый брат и друг! — писал Адольф. — Оно сделает большие извилины, пока дойдет до тебя. Но, завоевав этот случай золотым орудием, не знаю, с чего начать письмо. Голова моя идет кругом, сердце так преисполнено горести, досады, негодования, что я не приберу для них выражений. *Суета сует и всяческая суета!* — вот слова, которые я, ветреник, каковым ты знавал меня, редко заглядывавший в Священное писание, ныне твержу беспрестанно; вот слова, вырывающиеся у меня теперь из груди и служащие мне якорем для утверждения на них моего послания.

Ты счастлив! да, повторяю тебе, ты счастливее меня во сто раз. В скучном изгнании своем, в разлуке с милыми сердцу, ты вознагражден любовью Луизы, о которой — прости мне! — не могу говорить и до сих пор без того, чтобы средь бела дня у меня в глазах не мутилось и сердце не поворачивалось, как в смоляном кипятке. Ты знаешь, что прелестнейшая из женщин тебя любит; ты обладаешь еще благом, ни с чем не сравненным — надеждою! А я?.. растеряв свое сердце по всем дневкам наших походов, убегая отечества, разоренного и едва ли не завоеванного русскими, убегая мест, где каждый шаг напоминал мне стыд нашего оружия, еду в главную армию, чтобы отдохнуть хотя среди побед моего короля и славы шведов, — и что ж?.. Как будто нарочно, приезжаю к цели своих желаний для того только... Ты знаешь, я не трусливого десятка, видал довольно хладнокровно смерть в разных ее карикатурных образах на полях битв; но, собираясь начертать тебе роковые слова, дрожу, как в лихорадке, и не могу совладеть с пером. Дай мне настроить свои силы, чтобы приступить к ужасному описанию; собери и ты все присутствие своего духа, чтобы читать его. Начну издалека и опять обопрусь на якоре священных слов: *суета сует и всяческая суета!*

После письма, которое я старался доставить тебе надежными путями и в котором описывал подробно

все, со мною или, лучше сказать, с нами случившееся с того времени, как мы расстались[1], заключен я был в Дерпте до взятия его русскими. Лифляндцы отстаивали крепость, как любовник милую ему особу от нападения соперников; однако же не устояли против множества осаждавших, личного мужества и искусства венчанного героя. Да, милый друг, и я теперь скажу: Петр — герой истинный! Гарнизон, по условию, должен был выйти из крепости без знамен и оружия; но великодушный победитель, уважив в неприятелях необыкновенное мужество, с которым они противились ему, возвратил офицерам шпаги и третьей части солдат их ружья. Признаюсь, такой поступок от повелителя диких народов тронул, восхитил меня. Я смотрю теперь на Петра другими глазами, без предубеждения, которое мы привыкли питать к нему.

Приехав в главную армию, я застал короля на торжественной колеснице, отнимающего венцы и раздающего их. Все трепетало имени шведского. Что ж из этого для нашего отечества? — думали лифляндцы и по-прежнему шли проливать свою благородную кровь за упрямство короля.

Август, скитаясь изгнанником по Польше, старался малодушными жертвами умилостивить победителя: преклонив колена, он молил о пощаде. Карл требовал, чтобы противник его навсегда отказался от польской короны в пользу Станислава Лещинского, и — кто б помыслил, чтобы завоеватель царств, даривший их, как игрушки, жадничал более всего приобретения одного человека? — он потребовал выдачи Паткуля. Министры Августовы не любили нашего дяди за его резкий, благородный до излишней смелости характер и особенно за то, что он, быв предан выгодам своего нового государя, Петра I, всегда предупреждал козни поляков против него. Это был гром, заставлявший грешников перекреститься. Сам Август видел в Паткуле зоркого, неподкупного соглядатая всех своих действий, слабых, двусмысленных и не всегда благородных. Его польско-саксонское величество имело крепко на сердце, что посланник при дворе его потребовал от него некогда отчета в *субсидных* деньгах, присланных верным союз-

---

[1] Письмо это не было доставлено Густаву по причинам, не известным автору.

ником и употребленных королем на подарки разным женщинам; он знал также, что Паткуль следил все намерения его сблизиться с Карлом и своею политикою мешал этому сближению. Одним словом, Паткуль был пожертвован малодушию Августа, зависти и недоброжелательству его министров и мщению Карла.

Все, что будешь читать теперь, почерпнуто из следственного дела, находившегося у меня в руках, и из сведений, изустно мне переданных лицами, разыгрывавшими ужасное происшествие, какому не было еще примера. Многое, что описываю, видел я собственными глазами.

Оставив неудачное командование над русскими войсками в Польше, Паткуль находился то в Дрездене, то ездил в Берлин. Возвратясь из Пруссии к саксонскому двору, в занятиях литературных находил он сладостный отдых от трудов политических. Как бы предчувствуя скорый конец своего бурного поприща, он написал несколько сочинений, служащих к оправданию его действий с того самого времени, как избран был ходатаем за права своих соотечественников у престола шведского. Хиромантия, которую, как известно тебе, любил этот необыкновенный человек, похищала также не мало времени из жизни столько деятельной, которая бы могла быть столько полезною для его отечества, если бы своекорыстные расчеты одного короля и мщение другого не отняли его у нашей бедной Лифляндии. Наконец на сорок втором его году Гименей готовился поднести ему самый роскошнейший цветок, который родился в садах мира: прелестная саксонка Ейнзидель уже с кольцом обручальным отдала ему свое сердце. Между тем коварная судьба, усмехаясь, точила свои орудия на жертву, которую за несколько часов сама окружила всем очарованием земного счастия. Девятнадцатого декабря [1] 1705 года, в одиннадцать часов вечера, только что успел он лечь в постель и уснуть, вероятно с приятными грезами, исполнители власти, слишком малодушной и несправедливой, чтобы действовать днем, вторгаются в квартиру нашего дяди, будят его без всякой жалости и снисхождения, обыкновенно в этом случае оказываемых даже преступникам, не дают ему времени одеться и за строгим караулом

[1] Новый стиль.

увозят его в крепость Зонненштейн. Там бросают его за железную решетку и оставляют несколько дней без пищи. Бумаги его запечатаны, секретари, кроме Никласона, умевшего и на этот раз выпутаться из беды, и служители заключены также по разным отделениям крепости. Один Фриц, обреченный еще раз служить его избавлению, находился в то время, по делам своего господина, в Берлине. Слух о необыкновенном заточении посланника бежал скоро по всем дорогам и встретил верного служителя на возвратном пути его. Он прибыл-таки в Дрезден, но, укрываясь у друзей своего господина, посвятил всего себя его спасению. Взялась содействовать ему в этом деле — кто? как бы ты думал? — дочь пастуха! Да, любезнейший друг, теперь только узнал я, что может женщина, которая *любит!..* Это дивное создание, перед которым все возвышенное, все благородное должно пасть на колена, швейцарка Роза. Дочь бедного пастыря, вызванная вместе с отцом своим из Альпийских гор, где Паткуль укрывал некогда свою изгнанническую голову, она имела несчастье предаться всею душою этому обольстительному сыну рока. Отца, родину, долг поменяла она на любовь; весь свой мир вместила в нем одном. Когда Роза, вместе с отцом, возвращалась с мызы Блументростовой в Швейцарию и когда узнала, что он ни за что не решается идти в Дрезден, где любовником ее назначено ей было свидание, она бросила старика и понесла свои великие жертвы к ногам своего идола. Один взгляд любви заставил бы Розу все забыть, кроме этой любви. Каков же был для нее удар, когда она с трепетом сердечным, с мечтами о сладостной награде, прибыв в Дрезден, узнала на пороге Паткулевого жилища, что он сговорен на Ейнзидель! Эта весть была для нее ударом громовым. Несколько дней ходила она как полоумная, без сна, без пищи; мальчишки начали бросать в нее грязью, приветствуя ее именем дурочки; сострадательные сердца готовились пристроить ее в дом умалишенных. Весть о несчастии Паткуля оживила ее; все к ней возвратилось: рассудок, силы телесные и душевные, воля, все побеждающая, — воля любви. Прекрасная Ейнзидель долго плакала по женихе своем (говорят, что она и теперь не замужем!), Роза действовала. Давши руку Фрицу на жизнь и смерть для спасения человека, им столь драгоценного, она не словами, а делом начала доказывать свои чувства. Никласон взялся также им

помогать, как он говорил, в изъявление признательности за великие благодеяния, оказанные ему Паткулем.

Труды их не остались тщетными. Роза умела, под видом торговки сыром, пробраться в крепость, найти доступ к коменданту и, наконец, к затворнику. При свидании с Паткулем она забыла его вины; благодарность, казалось, возвратила ей любовь друга, но это была только благодарность. На груди Розы несчастный вздыхал об Ейнзидель. Комендант, из сожаления ли к своему пленнику или задаренный деньгами, начал обходиться с ним милостивее и даже позволил вести переписку с доверенными ему особами. Следствием ее были жаркие представления посланников разных дворов саксонскому курфирсту, в том числе князя Голицына, об оскорблении, нанесенном государям их в лице представителя русского монарха. Август боялся Петра, боялся мнения света и потому колебался было освободить своего пленника; но, испуганный новыми победами Карла, оставил по-прежнему Паткуля в заключении. Переписка открыта; пленник переведен в Кенигштейн под строжайший присмотр, а человеколюбивый комендант зонненштейнский казнен. Мщение не извиняет жалости.

Ты слыхал, что такое Кенигштейн: твердыня на скале неприступной, куда нога неприятельская никогда не клала своего следа и, вероятно, никогда не положит. И туда умели пробраться любовь Розы и верность Фрица. Рассказывают, что комендант кенигштейнский, несмотря на ужасный пример, в его глазах свершенный, склонился было за тельца золотого освободить нашего дядю, но что Паткуль слишком понадеялся на заступление Петра, на важность своего сана и великодушие Августа — и отказался купить себе свободу ценою денег.

Однажды, в час свидания, дорого купленный, Роза приносит пленнику письмо — от кого, думал бы ты? — от Ейнзидель. Роза поймала в глазах своего друга желание и спешила исполнить его; сходила в Дрезден, объявила невесте Паткуля, что несколько строк ее руки утешат затворника, получила от нее письмо, несла несколько миль свинцовое бремя у сердца своего и эту новую жертву положила к ногам своего кумира, чтобы в глазах его прочесть себе награду. Я не прибавляю ничего; слова недостаточны для изъяснения этого подвига: твое сердце оценит его!..

Быв в свите нашего короля, я узнал о заточении дяди только в Гутсдорфе, где Карл и Август имели свидание на квартире нашего министра Пипера. Не думай, чтобы два соперника, столь различные, однако ж, своим положением, сошлись так близко для беседы о важных делах государственных. Карл, после обыкновенных приветствий с обеих сторон, начал разговор своими сапогами, продолжал сапогами и кончил ими же. Несмотря, что речь шла только о ногах, Август должен был снять с головы корону и, скрепя сердце, поздравить с нею нового польского короля, указанного мечом победителя. Этим свиданием решена и передача нашего дяди в полное распоряжение Карла. Я попытался просить его величество о помиловании; но он был неумолим. Северный лев не мог удержать своего восторга, что поймал жертву, столь долго издевавшуюся над его силою; он решился продлить еще на несколько времени жизнь ее, чтобы насладиться долее своим мщением. Поверишь ли, как был низок великий Карл XII в эти минуты!.. Если попадутся его величеству эти строки, пускай насытит он вновь жажду крови над благородным лифляндцем, не раз проливавшим ее за него.

(Здесь рукою Карла XII написано было: *«Читал и велел доставить письмо по адресу. Траутфеттер — не Паткуль».*)

Отряд шведский под начальством двух лифляндцев (барона Ротгаузена и капитана Стакельберга) принял в свое заведование Паткуля и отвел его в Рейхардсгримм, где находилась шведская главная квартира. Королевское мщение, поручив надзор за пленником лифляндцам, казалось, хотело посмеяться над отечеством нашим. Бедная Лифляндия! Мало тебе, что за твою верность предали тебя огню и мечу неприятельскому: над тобою еще бесстыдно ругаются. Но — бог милостив: час твоего избавления наступает.

Друг мой! я видел *его* — сердце замирает от одного воспоминания этого зрелища, — я видел благороднейшего из лифляндцев, прикованного к позорному столбу. Капитан дежурный не мог отказать мне в свидании; но легче б мне было не испрашивать его. Страдания истомили тело несчастного; он походил на мертвеца; ржавчина железъелась в его руки, но какой сильный дух еще в нем обитал! Рыдая, пал я в его объятия. «Друг мой! — сказал он. — Ты плачешь, увидя

меня в таком положении. Знаешь ли, что эти цепи — мое торжество? Это обрывок тех цепей, которыми я опутал вашего Карла и под которыми он скоро изнеможет. Звук их, — прибавил он, гремя железами, — есть отголосок мира, приговор потомства несправедливой власти. Свет был ослеплен насчет Карла XII: я доказал, что можно его победить; мой плен открыл глаза свету. Слава его пала навсегда — навсегда! не воскресят ее тысячи побед. Напротив, моя возвышается этим унижением, этими цепями; они говорят сильнее за меня, нежели само предстательство Петра Великого и дворов европейских. Впрочем, я не потерял еще надежды... Да! голос Великого не ходатайствует нигде вотще! Но если погибну жертвою мщения, то завещаю будущим векам позор Карла XII и величие моих несчастий. Лифляндия! о мое отечество! я желал тебе добра: бескорыстный защитник твоих прав это доказал; я желаю тебе добра! — будут последние слова, которые произнесу, умирая за тебя».

Несчастный говорил много, с необыкновенною силой и жаром, глаза его горели, грудь сильно поднималась. Звуки цепей, по временам потрясаемых, казались мне громовыми текстами, которыми он придавал своей проповеди особенную силу. Вдруг, посреди его движений, сустав на одной руке его от худобы хрустнул, кисть сдвинулась с места. «Друг мой! — сказал он довольно твердо. — Справь мне руку, по-солдатски. Это не первый раз!» Скрепя сердце, я взял на себя должность костоправа и помог несчастному, сколько умел. «Как тело немощно! — прибавил он. — Одно легкое движение изменяет его; но дух — о! его перенесу я с земли к ногам творца моего в целости, в том виде, в каком получил его от творца!..» Потом расспрашивал он меня долго о тебе, о Луизе, присовокупил, что он не будет спокоен и на том свете, если твоя судьба не устроится по обещанию его и твоему желанию. «Густав любит так много и равно любим, — сказал он, тяжело вздохнув. — Мне писали, что одна особа, близкая царю, продолжает устраивать его счастие. Ах! и я думал наслаждаться подобным счастием!.. Друг мой! если будешь в Дрездене, скажи моей Ейнзидель, что я, умирая, думал о ней, что у позорного столба... нет, нет, не говори последнего! Робкая любовь ее вообразит себе все ужасы моего положения, и Паткуль предстанет ей в виде презренном, ужасном... Презрение!.. Мысль об

этом чувстве поворачивает вверх дном все мое существо. Страсть, дружба не боятся такого зрелища; но его испугается чувство, воспитанное в неге, в роскоши придворной, окруженное лучами славы и удовольствий. Скажи только моей невесте, что ее воспоминание обо мне усладит последние минуты моей жизни». Из глаз несчастного закапали слезы на иссохшую грудь его и оттуда пали на железо. Я плакал с ним вместе.

Голос дежурного офицера прекратил нашу беседу. Нас разлучили. При выходе из сарая (нельзя иначе назвать место, где содержался Паткуль) я встретил доброго Фрица и подле него увидел Розу — можно было угадать сейчас это дивное творение. Она сидела на голой земле, сложив голову на грудь и потупив томные взоры туда, где душа оставляет навсегда свои телесные оковы. Поверишь ли, милый друг, что она с Фрицем откупала себе место подле тюрьмы или большими деньгами, или трудами, несвойственными ее полу? Присовокупи к этим жертвам грубые ласки и насмешки солдатчины... Как скоро имя дяди нашего коснулось ее слуха, она встрепенулась, начала ловить в глазах моих чувство, которое я нес из заточения несчастного, и с жадным вниманием прислушивалась к нашему разговору. Видно, что сильная любовь особенно изощряет чувства; ибо некоторые слова, сказанные мною так тихо, что старик, подле меня стоявший, едва мог их слышать, отпечатывались верно на лице ее. Прелестное душой и телом творение! ты достойна была б лучшей участи.

Фриц намекнул мне о надежде... Высшая власть уже приговорила Паткуля к казни; между тем, для обряда, желая казаться справедливою, приказала военному суду заняться процессом несчастного. Можно было заранее угадать, какое зрелище последует за этой комедией!..

Из Саксонии вывезли Паткуля в закрытой повозке, в которой проверчено было несколько скважин для воздуха. Тридцать солдат генерала Мейерфельда, полка, состоявшего из одних лифляндцев, прикрывали его путешествие в Польшу. Двадцать седьмого сентября должен был печальный поезд прибыть в Казимир, где тридцатого числа назначено колесовать несчастного.

На другой день по прибытии Паткуля в Казимир, где он был заключен в городовую тюрьму, полковой священник, магистр Гаген, получив тайное повеление

приготовить его к смерти, пришел к нему в три часа пополудни. Явление духовной особы разъяснило несчастному его судьбу. «Я пришел утешить вас дарами Священного писания», — сказал Гаген. «Благодарю вас, отец мой! — отвечал Паткуль дрожащим голосом, взяв его за руку. — С этим вместе несете вы мне, конечно, другие важные вести». Гаген поклонился офицеру, тут же находившемуся, шепнул ему что-то на ухо и, когда он вышел, обратился с чувством и твердостию к дяде нашему: «Выслушайте от меня, благороднейший господин, то, что произнес некогда пророк Исаия царю Езекию: *устрой свой дом, ибо ты должен умереть* и до вечера завтрашнего ж дня оставить мир сей». Эта весть, казалось, поразила узника, не терявшего до сего времени надежды; он бросился на постель и плакал. Но это малодушие было только мгновенною данью природе. Вскоре успокоился он, присел на скамейку к пастору и с красноречием, ему свойственным, излил перед ним оправдание своей политической жизни. «Несправедливая редукция и личная ненависть временщика, Гастфера, — вот мое преступление! — говорил он. — Швеция упрекает меня, что я пошел служить ее неприятелям. Но оставил ли я ее, счастливый, в честях, с насмешками и угрозами? Я бежал из нее, как изгнанник, спасая свою голову. Куда было деваться мне? Не в землю же укрыться! По вере своей, и в монастыре не мог я найти убежища. Я все употребил, чтоб умилостивить двух королей; но мою преданность, мою покорность презрели. Не этого хотела самолюбивая власть: она хотела примерно наказать меня за то, что я осмелился возвысить пред нею голос на защиту прав моего отечества, что я вздумал изобличить несправедливость ее избранных и ее самой. В позоре и смерти моей видела она свое личное торжество и унижение смелой истины...» Здесь духовник прервал Паткуля, напомнив ему, что не время заниматься делами земли. Осужденный с жаром взял руку Гагена и сказал: «Дайте мне малый срок заплатить дань земному; после того не услышите от меня ни слова о презренных вещах здешнего мира». Паткуль говорил еще о своих услугах прусскому королю и римскому императору; говорил, сколько тысяч талеров роздал он шведским пленным в Москве, разразился негодованием на малодушие Августа и наконец, почитая себя оправдан-

ным в своей политической жизни, отпустил духовника до ближайшего свидания.

В семь часов вечера Гаген посетил опять узника. На этот раз застал он его совершенно успокоенным. «Добро пожаловать! — сказал Паткуль с веселым видом. — Вы, как ангел божий, приходите к затворнику. С сердца моего спало тяжелое бремя; я чувствую в себе большую перемену. Радуюсь, что должен умереть: неволя мучительнее смерти! Лишь бы смерть была скорая!.. Не знаете ли, к чему я приговорен?» Гаген отвечал, что приговор остается для него тайною и только известен высшему начальнику. «Ах! и это почитаю милостью! — воскликнул несчастный. — По крайней мере, сделают ли мне судебным порядком допросы?» — «Думаю, — возразил магистр, — что вам *все* объявят на лобном месте». После этих нерешенных вопросов осужденный занялся с ним духовной беседой. «Путем терновым должны мы идти в царство небесное, — говорил он. — Я уверен, что страдания мира сего ничтожны в сравнении с блаженством, ожидающим нас за пределами гроба».

На предложение духовника сделать перед смертью какое-либо письменное распоряжение дядюшка попросил бумаги и прибор для письма и, когда подали ему то и другое, продиктовал Гагену духовное завещание, которым отказывал третью часть своего движимого имущества [1] верному и преданному секретарю Никласзону; другую часть назначал на выкуп родового имения в Лифляндии с тем, чтобы оно перешло к ближайшим наследникам завещателя, а остальную часть — ты отгадаешь, любезный друг, что он не забыл нас в этом случае. Подписав завещание и передав его духовнику, он задумался; потом, глубоко вздохнув и качая головой, произнес: «Да, да! в отечестве своем и на чужбине Паткуль имеет друзей, которые будут жалеть о нем. Что скажет о моей смерти старая курфирстина и... (со слезами на глазах договорил он) моя бедная невеста?.. Ради бога, отец мой, передайте Амалии Ейнзидель мой предсмертный поклон... Обещаете ли?» Магистр дал слово выполнить его желание. (О Розе не было слова;

---

[1] Почти все имущество его находилось в долгу за Августом, который никогда не думал уплатить его. Немудрено, что этот долг служил одним из низких побуждений выдать Паткуля.

но в тайной исповеди его грехов эта несчастная жертва, конечно, заняла первое место.) Тут узник не без труда убедил своего духовника, в знак благодарности за усердное напутствование из этой жизни в другую, принять от него сто червонных и сверх того подарил ему редкое издание Ветхого завета, которое, как он изъяснился, было лучшим его утешением в черные дни его жизни. Побеседовав еще о разных благочестивых предметах, дядюшка изъявил желание успокоиться. «Мне нужно сном подкрепить тело свое, — сказал он, — завтра должен я бодрствовать». Духовник оставил его одного».

Продолжение письма было написано не рукою Адольфа; вот его содержание:

«Милостивый государь!

Нет нужды сказывать вам мое имя; оно покуда останется для вас тайною. Довольно вам знать, что я приятель вашего брата, что он, быв неожиданно потребован королем, с которым и отправился в Польшу, не успел, по этому случаю, кончить письмо свое к вам и просил меня сделать это вместо него. Исполняю волю вашего брата; продолжаю его повествование и сказанными путями отправляю письмо к вам.

Вслед за тем, когда духовник вышел от Паткуля, Никласзон тихими стопами вошел к нему и открыл, что преданные ему все приготовили к его спасению. Эта неожиданная весть сначала перепугала Паткуля: совсем приготовясь к смерти, стоя уже одной ногой на пороге гроба, он, казалось, неохотно возвращался назад. Но друзья его сделали такие большие пожертвования, жизнь взглянула ему в лицо очаровательными глазами Ейнзидель, ведя за собою столько радостей; насмешка над властолюбием Карла еще льстила ему так много, что он согласился с волею своих друзей. «Буду готов!» — сказал Паткуль, отпуская своего бывшего секретаря, и жизнь с мечтами любви и честолюбия разыгралась снова в этой пламенной душе.

Выше объяснено, что Мейерфельдский полк состоял весь из лифляндцев. Негодование и сожаление одушевили ряды их; многие из них громко вопияли против жестокости короля; во всю дорогу из Саксонии до Казимира оказываемо было пленнику снисхождение разного рода; друзьям его позволено с ним видеться и

беседовать; из скважин в его повозке поделаны окна; пища давалась ему самая вкусная; дорогой он, видимо, оправился. Наконец составлен заговор спасти осужденного; но как все еще ожидали милости королевской, о которой доходили слухи во время путешествия, то и отложили привесть этот заговор в исполнение уже по прибытии в Казимир.

Все слажено к вечеру двадцать девятого. В этот роковой вечер должна решиться судьба Паткуля.

Вот план заговора: Роза каждое утро и вечер посещает заключенного; ее пропустят, по обыкновению. За корсетом у ней две пилы: одною рушатся железы на пленнике, другою — слабая решетка из двух связей у окна тюремного. Бечевку, которую она прикрепит под свое платье, спустят в окно. Внизу, у стен тюремных, Фриц привяжет к концу бечевки веревочную лестницу. Бойкие лошади расставлены, где нужно; дежурный офицер, неподкупный ни с какой стороны, употчеван вином. Стража, которая, по расчислению времени, должна стоять у дверей Паткулевой комнаты и под окном ее, у стен тюремных, предалась всею душою заговорщикам. Побег обеспечен: Никласзон устлал дорогу червонцами.

Главное дело должна совершить Роза. Приступая к нему, она падает на колена и, подняв к небу полные слез глаза, молит бога об успехе. «Дай мне спасти его! — восклицает она. — И потом я умру спокойно! Мне, мне будет мой Фишерлинг обязан своим спасением; он вспомнит обо мне хоть тогда, когда меня не станет; он скажет, что никто на свете не любил его, как я!»

Было к девяти часам вечера. Роза подходит к тюрьме; сердце у ней бьется необыкновенно. Она сказывает пароль страже у входа; ее пропускают. Но в караульне навстречу ей дежурный капитан, исполин, плечистый, рыжеволосый, отекший от вина. Огонь, горевший в сальной плошке, бросал полусвет кругом себя и только изредка, забрав вдруг пищи в светильню, ярко вспыхивал. Тогда выставлялись ломаными чертами то изувеченное в боях лицо ветерана, изображавшее осуждение и грусть, то улыбка молодого его товарища, искосившего сладострастный взгляд на обольстительную девушку, то на полном, глупом лице рекрута страх видеть своего начальника, а впереди гигантская пьяная фигура капитана, поставившего над глазами щитом ог-

ромную, налитую спиртом руку, чтобы видеть лучше пред собою, и, наконец, посреди всех бледное, но привлекательное лицо швейцарки, резко выходившее изо всех предметов своими полуизмятыми прелестями, страхом и нетерпением, толпившимися в ее огненных глазах, и одеждою, чуждою стране, в которой происходила сцена. Но когда свет в плошке, ослабевая, трепетал, как крылья приколотой бабочки, тогда все фигуры погружались в какую-то смешанную, уродливую группу, которая представляла скачущую сатурналию и над нею господствующую широкую тень исполина-капитана.

«Милости просим, милости просим, залетная райская пташка! — сказал он, устремив на девушку помутившиеся взоры. — Что к нам после зари попало в западню, то наше по всем правам... черт меня побери, да я такой красотки давно не видал!»

«Ваше благородие! — сказала Роза голосом, в котором выражались смущение и боязнь подпасть гневу ее властителя. — Позвольте мне к заключенному... вам известно... я, презренная тварь, люблю... связи давнишние...»

«Ого! знаем все ваши шашни! — прервал, смеясь во все горло, капитан. — Только что вышел от превосходительного нашего арестанта целитель душ, как является врач... Гм! гм! Ну, конечно, оно легче отправляться на тот свет. Чтобы меня самый главный из чертей, барон, граф, князь-черт заполонил, коли я лгу! Если бы мне пришлось знать свою смерть за несколько часов, я сделал бы наоборот».

«Вы так добры, вы так милостивы...» — говорила Роза, сложив свои руки в виде моления. Она стояла на раскаленных угольях; но сойти с них не было возможности. Своевольный капитан, стащив с нее неосторожно косынку, положил широкую, налитую вином руку свою на плечо девушки, белое, как выточенная слоновая кость. Это был пресс, из-под которого трудно было освободиться.

«Ну, превосходительная, поцелуй за пропуск...»

Каждый миг дорог; рассуждать некогда — Роза исполнила волю пьяного деспота и, думая, что этим умилостивила его, сделала движение вперед; но геркулес наш обнял девушку так крепко, что пилы, бывшие на ней, вонзились в грудь и растерзали ее.

Роза вздрогнула, выдираясь из объятий капитана.

Ад был в груди ее; но она выдавила улыбку на свое лицо, называя мучителя милым, добрым господином, целовала его поганые руки.

«А вот сейчас, касаточка! Не думай, однако ж, чтобы прелести твои нас так ослепили, что мы забыли службу его королевского величества, нашего всемилостивейшего... Черт побери, не несешь ли чего запрещенного колоднику?»

У стен тюремных раздался с тремя перерывами голос часового: то был знак, что все изготовлено Фрицем. А Роза еще ничего не сделала! Она затрепетала всем телом; из раны на груди кровь забила ключом. Несмотря на свои страдания, она старалась оправиться и отвечала довольно твердо: «Разве я полоумная! разве мне виселица мила?»

«О! мы не допустим до чужих зубков такое сладкое яблочко. Мы, понимаешь... по военному регламенту... пункт... (капитан приставил толстый перст к своему лбу) дьявол побери все пункты! их столько вертится в глазах моих... Гей! капрал! по которому?..»

«Наш регламент приказ начальника!» — отвечал браво усатый капрал.

«Славно отвечал! Люблю молодца. Ну!..»

Капитан показал головою и рукой, чтобы раздели швейцарку.

«Позвольте ж, я сама...» — прервала Роза, отталкивая первого, подошедшего к ней солдата, села проворно на скамью, скинула башмак, потом чулок... он был в крови!

«Кровь, ваше благородие!» — закричал солдат.

«Кровь! кровь! — подтвердил, качая головой, капитан. — Что это такое?»

«Вот видите, — отвечала, запинаясь, Роза, — у меня проволока... по нашему швейцарскому обычаю, в корсете... а вы, господин, бог вам судья! так крепко меня обняли... Ах! сжальтесь, ради создателя, сжальтесь...»

«Фуй! пропустить ее!» — заревел капитан, и Роза, помня только о спасении милого ей человека, бросилась, босая на одну ногу, в двери, которые вели, через коридор, в комнату Паткуля.

В коридоре встретили ее насмешки и проклятия нескольких преступников, расхаживавших взад и вперед. На ужасных лицах их можно было читать их злодеяния. «Поищи правды! — говорил один душегу-

бец. — Нас морят с голоду, а у Паткуля — чем он лучше нас?.. изменник! у него беспрестанно пиры да банкеты! То летят сладкие кусочки и стклянки, то шныряют приятели да девки...»

«Не тюрьма, а рай! — прибавил другой, разбойничавший на больших дорогах. — Эх, приятель! давно говорят, что правда сгорела».

Роза мелькнула мимо этих проповедников истины. Слово страже у одной двери на конце коридора, и — в комнате Паткуля.

«Роза!..» — мог только вымолвить несчастный от избытка и смеси разных чувств, подняв взоры и руку к небу.

Награда ее была в нем самом, а он, неблагодарный, показывал на небо!..

Мысль о спасении помутила взоры Паткуля; он не заметил крови на ноге избавительницы своей. Роза имела предосторожность вытереть пилу, которую ему подала.

Он становится у окна, Роза — у ног его. Принимаются за работу. Пилы ходят усердно. Звено, прикрепленное к одной ноге пленника, уже разрушено; распилена и одна связь в окне. Надежда придает сил Паткулю; он загибает конец связи и принимается за другую. Роза трудится также над другим звеном, обняв крепко ногу своего друга.

«Цс! — говорит вполголоса Паткуль, дрожа всеми членами. — Кажется, стража у дверей сменяется!..»

Сердце замирает у Розы; она боится пошевелиться; она вся превратилась в слух.

Все тихо.

«Ничего!.. Тебе почудилось!» — отвечает она после нескольких мгновений молчания, облегчив грудь вздохом, и снова пилы живо ходят по железу. Но тут работа идет медленнее: силы ее ослабели от труда, потери крови и страха опоздать.

Вдруг двери тихонько отворились и затворились. Паткуль этого не видал; но Роза... она видела, или ей показалось, что она видела.

«Это страх действует! это мечта!» — думает она и пилит, сколько сил достает. Уже кольцо едва держится в цепи. Она просит Паткуля рвануть его ногою. Он исполняет ее волю, но звено не ломается. Роза опять за работу. У пленника пилка идет успешнее: другая связь в окне распилена; бечевка через него заброшена;

слышно, что ее поймали... что ее привязывают... Роза собирает последние силы... вот пила то пойдет, то остановится, как страхом задержанное дыханье... вот несколько движений — и...

И сквозь полурастворенные двери выставилась ужасная голова со шрамом на лбу... запрыгали серо-голубые глаза... и рассыпался адский хохот... Потом?.. Потом молчание гроба!

«Измена!» — закричали под окном — то был голос Фрица, и вслед за тем послышался выстрел...

Ударили тревогу.

Узник остолбенел. Сердце Розы поворотилось в груди, как жернов; кровь застыла в ее жилах... она успела только сделать полуоборот головою... в каком-то безумии устремила неподвижные взоры на дверь, раскрыла рот с посинелыми губами... одною рукою она обнимала еще ногу Паткуля, как будто на ней замерла; другую руку едва отделила от звена, которое допиливала... В этом положении она, казалось, окаменела.

«Ваше превосходительство! — произнесла сквозь полурастворенную дверь голова, на коей нежилась адская усмешка. — Наемщик ваш, негодяй, которому на мызе господина Блументроста за кровные труды обещали вы плюнуть в лицо и утереть ногою, пришел поблагодарить вас за милости ваши. Покорнейший ваш слуга платит вам свой долг с процентами. Мы расквитались, прощайте!»

Это говорил Никласзон, преданнейший, вернейший, покорнейший секретарь того, кто благодетельствовал ему на всю жизнь и еще недавно завещал треть своего имущества, наравне с своими племянниками.

Демонское лицо скрылось; но Паткуль, будто оглушенный громом, стоял все еще на одном месте.

Стража с офицером, вновь наряженным, вошла. Роза в безумии погрозила на них пилою и голосом, походившим на визг, заговорила и запела: «Тише!.. не мешайте мне... я пилю, допилю, друга милого спасу... я пилю, пилю, пилю...» В это время она изо всех сил пилила, не железо, но ногу Паткуля; потом зашаталась, стиснула его левою рукою и вдруг упала. Розу подняли... Она... была мертвая.

«Смерть! скорее смерть! — воскликнул Паткуль задыхающимся голосом; потом обратил мутные взоры на бедную девушку, стал перед ней на колена, брал попеременно ее руки, целовал то одну, то другую и орошал

их слезами. — Я погубил тебя! — вскричал он. — Я, второй Никласзон! Господи! Ты праведен; ты взыскиваешь с меня еще здесь. О друг мой, твоя смерть вырвала из моего сердца все чувства, которые питал я к другой. Роза! милая Роза! у тебя нет уже соперницы: умирая, я принадлежу одной тебе».

Несчастному показалось в этот миг, что теплота жизни заструилась в руке девушки, что она судорожно пожала его руку... Он хочет удержать эту теплоту своим дыханием. Напрасно! Роза — умерла...

Офицер учтиво подошел к Паткулю и сказал ему: «Позвольте мне исполнить свою должность!» — и потом дал знак головою солдатам. Два из них надели новые цепи на пленника, другие понесли из комнаты мертвое тело швейцарки, как поврежденную мраморную статую прекрасной женщины уносят навсегда в кладовую, где разбросаны и поношенные туфли, и разбитые горшки.

Легко догадаться, что преданнейший секретарь Паткуля был участником заговора для того только, чтобы открыть его и заслужить новые милости от министров Августа. Награда превзошла его ожидание: он определен тайным советником ко двору саксонскому.

На другой день казнили Паткуля... но я избавлю вас от описания последних минут его жизни. Стыд Карла совершился».

Так кончилось письмо к Густаву; но я вижу, что этим не отделался от любопытства своих читателей. Со всех сторон слышу клики: подавай нам Паткуля на сцену Лобного места! На сцену! Мы хотим изображения последних минут его жизни!

Случалось ли вам видеть трагического актера, который, окончив свою роль, сколько сил и уменья его достало, по опущении занавеса вызывается неугомонными, беспардонными возгласами публики? Утомленный, едва переводя дыхание, актер является на сцену и лепечет свою благодарность. Так и я принимаюсь за иступленное перо, чтобы исполнить волю своих читателей.

На другой день, рано поутру, неподалеку от польского городка Казимира, на площадке, огражденной с одной стороны лесом, с другой стороны окаймленной рвом дороги, собралось множество народа, чтобы полюбоваться, как будут колесовать и четвертовать измен-

ника шведскому королю и вместе посланника от русского двора. Народ жадничал смотреть эту потеху, как медвежью травлю; все теснились к колесу и четырем столбам, трофеям казни, охраняемым тремястами конных драгун. Были охотники, платившие деньги и даже искавшие рукожатия палача, чтобы стоять поближе к роковому колесу. Множество форшпанок и несколько колымаг, в которые запряжены были статные жеребцы, отягченные богатою сбруей, показывали, что не одна чернь именем жадничала смотреть на пир кровавый. Чепчики и шляпки, убранные цветами, также изредка мелькали. Иногда раздавались знаки нетерпения увидеть скорее жертву, но укрощались неучтивым приветствием шведских палашей. Не довольно, что зеленая площадка с трех сторон отделялась черными стенами народа, самые деревья унизаны были любопытными.

— Каково окована готовальня! — сказал стоявший впереди, неподалеку от колеса, человек большого роста в запачканной рубашке, с кожаным фартуком. — Как въедет, так не бывало руки или ноги.

— Ну, товарищ! — прервал другой в белом зипуне, на котором цеплялись еще кое-какие стружки дерева. — И дуб-то отделан по железу!

— Дело мастера боится, — подхватил первый. — Мы с тобой...

Откуда ни возьмись еврей, тряхнул своими пейсиками и, посмотрев сурово на мастеров, как бы хотел сказать: «Вы, поляки, без моих денежек меньше, чем нуль!» Околдовал их этим взором так, что они безмолвно потупили свои в землю и униженно сняли с себя белые валяные шапки.

Подле колеса стоял плечистый мужик с зверскою рожей. Услышав похвалу орудию казни, он насмешливо оборотился к панегиристам и с высоты своего настоящего величия удостоил их следующею речью:

— Все зависит от возничего, который будет управлять колесницею. Можно заколдовать колесо и потомить, — прибавил он, коварно улыбаясь, — можно и разом отправить!

— Казнь делается не для потехи исполнителей власти, а для примера общественного, — сказал сердито школьник, высокий, сухощавый.

Палач важно посмотрел на него, как бы хотел выговорить: увидим!

Бедный Паткуль! кто подумал бы, что слово школьника, произнесенное не вовремя, усилит муки, тебе назначенные?

Несколько зрителей, окруживших философа-смельчака, при взгляде его антагониста, отхлынули назад так, что они двое остались впереди сцены, измеряя друг друга неуступчивыми взорами, как гладиаторы перед боем.

— Ах, матка божья! — пищала толстая писарша, выдираясь локтями из толпы и таща подругу. — Такая судьбина пала нашему Казимиру, а то ведь, оборони господи! должно было колесовать его в Слупце. Невежа! — продолжала она, изменив свой нежный голос на грубый и толкая одного молодого человека, порядочно одетого. — Не имеет никакого уважения к званию.

— А что ж панна не привинтила вельможного звания к своему лбу? — спросил хладнокровно молодой человек.

— Колесовать и четвертовать! — подхватила подруга писарши, увлекая ее от ссоры, готовой возгореться. — Ведь казнить-то будут генерала, изменщика, который бросил своего слугу из окна и зарезал любовницу.

— Не диво, что народ кишмя кишит! А вот Марианна, моя раба. Марианна! Марианна! подь сюда и остерегай нас от грубиянов.

Испитая служанка, с подбитым глазом и босая, поспешила сделать из себя щит против невежд, которые осмелились бы обеспокоить ее панну.

— Чу! что-то кричат? не везут ли уж его?.. Умру с тоски, коли не удастся его видеть. Говорят, что у него на шее бочонок с золотом, за который он было хотел, мати божия! продать своего короля: колесо-то проедет по нем, бочонок рассыплется, и тогда народ смело подбирай червончики!

Между тем как толкам народным не было умолку, Паткуль просил духовника своего, прибывшего к нему в четыре часа утра, приступить во имя Христа-спасителя к святому делу, пока около тюрьмы шум народный не увеличился. По принятии святых тайн он выглянул в окно, посмотрел на восходящее солнце и сказал, вздохнув:

— Где-то я буду при закате твоем?.. О! скорей, скорей из этого мира сует, где каждый миг для меня несносен! скорей к тебе, о моя Роза, мой Фриц! —

Когда ж услышал шум колес, приближавшийся к тюрьме, он прибавил: — Слава богу, спешат!

Караульный поручик явился, Паткуль надел епанчу и вышел за духовником своим, окруженный стражею.

Проходя коридором, он невольно взглянул сквозь растворенную дверь в какой-то подвал, довольно освещенный, чтобы видеть все, что в нем происходило, и глаза его встретили... Боже мой! тело нечастной Розы лежало на двух скамейках; грудь ее была изрезана... и человечек, приметный только своим пунцовым носом, возился с окровавленным ножом и рукой в широкой ране, в которую глаз непосвященного боялся бы взглянуть: так отвратительна для человека внутренность человека! Свет от лампы скользил на оконечностях лица швейцарки, заостренных смертию, падал на черные, длинные косы, сметавшие при движении лекаря пыль с пола, на уста, подернутые землею, истерзанную грудь и будто из воска вылитую ногу, опоясанную черною кровью. На стене висела соломенная шляпа, увитая цветами... Как хороша была некогда Роза в этой шляпе! На этих чертах останавливался страстный взор любовника; эти черные косы расплетала, резвясь, его рука или нежилась в шелковых кудрях; на этих устах упивалась любовь; эту ногу покрывали жаркие поцелуи — а теперь... служитель Ескулапа бормочет над Розою отходную латынь, и от всего, что она была, несет мертвецом.

В углу подвала, на соломе, лежало тело Фрица, покрытое солдатским плащом, награда за верность!

— Пощадите, если вы не звери, ради бога, пощадите! — вскричал Паткуль, силясь броситься в подвал.

Стража его удержала; ему даже не дали проститься с друзьями своими.

Лекарь, испуганный криком несчастного, оставил на минуту свои занятия, покачал головой и потом снова принялся потрошить Розу, доискиваясь в ее внутренности тайны жизни, как в древние времена жрец читал тайны провидения в жертве, принесенной его божеству.

Не слыхал Паткуль, как его посадили в повозку; не видал, как мчалась она, в сопровождении сильного конного отряда, сквозь аллею народа. Когда его вытащили из повозки, подвели к колесу и сняли с него це-

пи, он затрепетал и сказал духовнику судорожным голосом:

— Теперь-то, господин пастор, молите бога, чтоб он подкрепил меня!

Приготовляясь к зрелищу казни, народ шумел и, казалось, ожидал чего-то веселого; но, увидев жертву, он был объят сожалением и страхом. Человечество взяло свои права. Все замолкло.

Наряженный в экзекуцию капитан (Валдау) вынул из кармана бумагу и прочел по ней громогласно:

— Да будет ведомо всем и каждому, что его величество, всемилостивейший наш государь...

— Хороша милость! — воскликнул иронически Паткуль, пожав плечами и взглянув на небо.

Капитан, смущенный этим восклицанием, остановился было среди своей речи, но, тотчас оправившись, продолжал:

— ...наш всемилостивейший государь, Карл XII, повелел сего изменника отечеству...

При слове *«изменник»* Паткуль вскричал с негодованием:

— Неправда! я служил отечеству своему слишком усердно и верно.

Капитан старался заглушить это восклицание, продолжая читать громче:

— ...колесовать и четвертовать за его преступление в пример другим, да страшится каждый измены и служит верно своему королю.

Осужденного раздели и привязали к четырем столбам. Духовник просил зрителей читать вслух молитву: *«Отче наш!»*

— Да, — сказал Паткуль, — молитесь, друзья мои, молитесь!

И народ прерывистым голосом молился. Стенания, жалобы, вздохи стояли в воздухе.

После первого удара колеса несчастный простонал:

— Господи, помилосердуй!

За каждым ударом страдалец призывал имя бога, пока обе руки и ноги были раздроблены. Пятнадцать ударов — бытописатели о числе их спорят, — пятнадцать ударов нанесены ему так неловко или с такою адскою потехою, что он и после них остался жив. Капитан сжалился над несчастным и закричал палачу, чтобы он проехал колесом по груди. Паткуль бросил взор благодарности на офицера и жалобно завопил:

— Скорей голову! голову!

Между тем как, по приказанию капитана, палач собирался приступить к решительному удару, несчастный собрал всю свою жизненность и сам положил голову на плаху.

В это время кумушки прикусили язык; мастера, трудившиеся над колесом, побледнели, как полотно... вся масса народа безмолвствовала, как будто вместе с Паткулем положила свою голову на плаху.

Изо рта у него хлынула кровь.

— Плюю в лицо Карла... Роза... — прохрипел страдалец...

Палач ударил раз, два, три, и голова отвалилась. После того туловище, разрубленное на четыре части, воткнуто на четыре высокие копья, поставленные в один ряд. Голова имела почет: ее вонзили на особенный шест.

«Растерзанные члены Паткуля, — говорит Вольтер, — висели на столбах до 1713 года, пока Август, снова вступив на польский престол, велел их собрать. Их доставили в ящике в Варшаву. При этом случае находился Бюзенваль, посланник французский. Король, указывая на ящик, сказал: *«Вот члены Паткуля!»*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

### *Глава девятая*

## ЗУБНОЙ ЛЕКАРЬ

И города берет,
Как зубы рвет.

Густав, прочтя описание последних дней жизни своего дяди, возненавидел Карла и просился немедленно в русскую службу. Следствием этого прошения был вызов его в Москву. Здесь нашел он многих соотечественников своих из лучших фамилий, снискивавших себе пропитание разными искусствами. Иные давали уроки танцевания, другие учили чистописанию, языкам и математике. Несколько приятелей своих застал он в разрисовке стекол для подмосковного села Покровского.

— Благодаря попечениям о нас короля шведского, — говорили они, — вот чем должны мы занимать руки, пожинавшие для него славу! Русские, заказав-

шие нам эту работу, любуются в ней намалеванными медведями, орлами, башнями, как затейливой игрой нашего воображения; но потомство наше, увидя на стеклах этих знакомые им гербы, прочтет по ним печальную историю нашего плена.

Негодование пленников, приготовленное несчастным положением их, вспыхнуло при рассказе о казни Паткуля. Все они охотно последовали примеру Густава и дали заручное прошение на имя Петра I о принятии их в подданство русское. Вскоре за этим решением Траутфеттеру велено явиться во дворец.

Простота Петра I, великого человека на престоле, чуждая слишком утонченных приличий и всяких притязаний на этикетное угождение своему лицу, позволяла ему заниматься и подвигами государственными, и домашними мелочными делами. Ему доставало время на все: оттого-то оставил он нам бесчисленные памятники своего гения и рук своих. Иной государь не сделал того в целое свое царствование, что Петр сотворил в один день.

Без посредников, кроме дежурного денщика, Густав явился во дворец. Его ввели в кабинет, загроможденный моделями кораблей, крепостей, мельниц, орудиями математики и хирургии. Прямо против двери сидела на стуле женщина средних лет, которая умоляла о чем-то со слезами. За стул держался мужчина с плутовскою миною и качал головой. Спиною к Густаву и лицом к женщине стоял другой мужчина, высокий, в поношенном французском кафтане из толстого сукна серого цвета, в тафтяном нижнем платье, с полотняным фартуком, в цветных шерстяных чулках и башмаках на толстых подошвах и высоких каблуках, с медными пряжками. Он расправлял щипцы для выдергивания зубов.

— Полно, баба, выть! — говорил мужчина в сером кафтане, вероятно лекарь. — Стерпится — слюбится.

— Богом божусь, — вопила женщина, — у меня ничего не болит.

— Что ж ты, Полубояров?.. — сердито вскричал лекарь.

— У страха глаза велики, ваше величество! Поверите ли? всю ночь проохала и простонала белугой, так что семья хоть беги вон, — отвечал стоявший за стулом; потом, обратясь к женщине, ласково сказал: — Чего бояться, дурочка? Только махнет батюшка

Петр Алексеевич своею легкою ручкою, так болесть, как с гуся вода.

— Злодей! окаянный! полно издеваться надо мною! — проговорила, всхлипывая, женщина.

— Ну, видно, с ней добром не сделаешься, — прервал Петр I, в котором мы узнали лекаря, — подержи ее за голову и руки, и мы справимся.

Камердинер спешил выполнить волю государя с необыкновенным усердием и ловкостию.

— Говори же, баба, который зуб у тебя болит? — продолжал государь, разевая ей силою рот.

— Ваше царское величество... ваше пре... восходительство... помилосердуйте... у меня зубки все здоровехоньки... я изволила вам докладывать...

— Не дурачься, баба! а то, знаешь меня?

— Воля ваша, рвите, какой благоугодно! — отвечала полумертвая от испуга женщина. (У нее в самом деле не болели зубы. Муж ее, государев камердинер Полубояров, желая отмстить ей за некоторые проказы и зная, что Петр I большой охотник делать хирургические операции, просил его вырвать у ней будто бы больной зуб. Впоследствии, когда открылась истина, Полубоярову за эту шутку порядочно досталось.)

— А, а! вижу сам! вот этот! — сказал Петр с удовольствием, ярко отливавшимся на его лице, и выдернул мастерски зуб, который казался ему поврежденным более других.

После этой операции женщину отпустили в сопровождении услужливой ее половины, утешавшей ее с красноречием искренней любви. В это время государь, вытирая свои инструменты и укладывая их в футляр, заметил Густава и ласково произнес:

— А, min Herr, Траутфеттер, добро пожаловать.

Выслушав просьбу Густава и обласкав его, он обратил речь на смерть его дяди.

— Бог судья Августу! — говорил Петр, тяжело вздыхая. — На его месте я лучше бы сам погиб, чем выдал бы человека, которого взял под свое покровительство [1]. Не люблю этих политических уверток. Мои приятели голландцы говорят о них поделом: «dat benen niet met all Klugheden, maar Betrügeryen» *(в них*

---

[1] Петр I доказал это, когда, в худших его обстоятельствах при Пруте, Порта требовала от него выдачи Кантемира.

*более обмана, чем благоразумия).* Дорожу тобою; ведь ты достаешься мне будто по духовной от дяди. Тебя и твоих товарищей определяю с добрым трактаментом в полки моей гвардии. Служите мне так же верно, как служили моему брату Карлу.

Разговор этот был прерван приходом генералов и министров, вошедших в кабинет без доклада. Каждому сказал Петр несколько слов; в каждом слове виден был творец. Он схватывал важнейшие предметы, касающиеся до устройства государства или политики, как орел, уверенный в своей силе, налетом схватывает предмет, им взвиденный. За смелую истину благодарил советника, за хитрую ложь тотчас сбивал с ног докладчика.

Аудиенция кончилась скоро. Отпустив своих министров, Петр надел другой кафтан, поновее, на стуле висевший, отпер комод, вынул из него пять серебряных рублевиков и сказал, отдавши их Густаву:

— Вот тебе на первый случай; годятся на потеху в «Аустерии» [1].

— Ваше величество, простите мне, если...

— Пустое, — перебил государь, — всему свой час, и поплакать и повеселиться.

Тут послышался из соседней комнаты женский голос, произносивший по-русски на немецкий лад:

— Петр Алексеевич! подите сюда на мою аудиенцию...

На этот зов государь поспешил в другую комнату, и в то время, когда он отворял дверь, Густав увидел сквозь нее прелестную молодую женщину с пестрым чулком на левой руке, который, вероятно, заштопывала, и заметил даже, что она взглянула на него с тем увертливым искусством, какое одни женщины умеют употреблять, когда есть препятствия их любопытству или другим чувствам. Немного погодя раздался поцелуй за дверьми, и Густав услышал голос Петра, выговаривавший довольно внятно:

— Ты знаешь, Катенька, тебе ни в чем отказу нет.

Вслед за тем государь возвратился в кабинет и спросил ласково своего гостя:

---

[1] У Курятных ворот, в том доме, где сперва открыт был Московский университет, находилась гостиница «Аустерия»; и доныне слывет под этим названием крайний проход по Скорняжному ряду от Ильинки на Никольскую, где ныне харчевни и лавки.

— Ты, конечно, давно не был на исповеди?

— Государь! — отвечал Густав. — Я каждый вечер исповедуюсь богу в грехах дня моего; но посредником в них не брал пастора за неимением его в том городе, где я содержался.

— С пастором-то я и хочу тебя свести. Знаешь ли Глика из Мариенбурга?

— Видывал я его в малолетстве моем, но с того времени уважение и любовь к нему моих соотечественников сблизили меня заочно с этим почтенным человеком.

— Будь у него ныне же в шесть часов после обеда: ты увидишься там с приятелями и, может статься, — прибавил государь, усмехаясь, — с приятельницей. Живет он в Кокуевой слободе, — спроси только немецкую школу — всякий мальчик тебе укажет. Теперь поди, успокой своих камрадов, попируй с ними в *адмиральский час* [1], а там подумаем, что еще сотворить с вами. Открой мне, не придет ли тебе по сердцу в Москве пригожая девка: я твой сват.

Сказав это, государь показал Густаву на дверь, которую и запер за ним. С сердцем, обвороженным простотою, ласками и величием царя, с сердцем, волнуемым каким-то сладостным предчувствием, возвратился Густав домой, где ожидали его пленные офицеры. Можно угадать, что они спешили запить свою радость в «Аустерии», где тосты за здравие нового их государя не раз повторялись.

## *Глава десятая*

## К РАЗВЯЗКЕ

> Вдруг слышит — кличут: милый друг!
> И видит верного Руслана.
>
> *Пушкин*

В назначенный час Густав был в Кокуевой [2] слободе. Навстречу ему вереница мальчишек, занимавшихся гимнастическими играми, вероятно, после умственных трудов, ибо некоторые, сидя чехардою на своих товари-

---

[1] Одиннадцать часов утра.
[2] Немецкой.

щах, читали с них, будто с кафедры, заданную лекцию; другие искусно перекидывались бомбами, начиненными порохом премудрости, или просто книжками и тетрадями. О! как раскричался бы великий основатель школы, которую он называл schola illustris, если бы увидел и услышал все, что происходило за чертою его академии! На вопрос Густава, где живет пастор Глик, десятки голосов закричали:

— Пастор Глист? Знаем, знаем!

— Вам надобно школьного учителя на соломенных ножках?

— С ястребиным носом?

— С кошачьими глазами?

— С войлоком на голове?

— Чтобы не замерз последний цыпленок ума, который в ней остается!

— Третий дом от угла, ворота с надписью мелом: *Немецкий поп.*

— И с крестом!

— Чтоб черт не ушиб его пестом!

Густав отворял уже калитку пасторова жилища, а насмешки насчет великого педагога все еще сыпались, как беглые огоньки в цепи стрелковой.

Старик, по-видимому упрежденный о приходе Траутфеттера, принял его сначала с важною ласкою покровителя; но мало-помалу спустился с высоты своей на самый дружеский тон и обращение.

— Вы, конечно, слышали, господин Траутфеттер, — говорил Глик, в котором от нескольких лишних лет на плечах усилилась болтливость, — вы, конечно, слышали, как некогда тезоименитое дворянство и рыцарство лифляндское, в том числе и бывший мой зятик... гм! часовой... (прибавил Глик, осматриваясь) мир праху его! Моя Кете не была ему сужена... я погубил бы ее... характер трудный, упорный, бестолковый; только я один мог его сносить...

— Благороднейший сын отечества! — перебил Густав.

— О! что до благородства, то на этот счет никто не отдаст ему более меня справедливости. Это-то благородство оковало меня, восхитило, увлекло... Жаль только, что Минервы не всегда слушался; но дело не в том, я хотел говорить... гм! (Пастор кашлянул и поправил свой парик.) Да, да, я хотел сказать, что мно-

гие во время оно смеялись над моей любовью к русскому языку и горячей преданностью к Великому Алексеевичу, которому, мимоходом сказать, — это случилось в Нейгаузене, именно двадцать третьего марта 1697 года, при первом нашем с ним знакомстве, — предсказывал я будущую его славу. Потом — не могу и этого дня забыть — осмелься кто после этого уверить, что в пасторе Глике не было крошки предведения, предведения, одним словом, вдохновения Минервы! Я хочу опытом подтвердить вам, молодой человек, что эти запасы никогда не лишние. Итак, в первых числах июля 1702 года подъезжали мы с покойным цейгмейстером, как теперь его вижу и беседую с ним, к Долине мертвецов, что близ Менцена... Надо вам объяснить, что, по милости его величества царя и бывшей моей Кете, в этой долине устроена ныне прекрасная мыза *Катариненгоф*, принадлежащая вашему покорнейшему слуге. (Пастор осклабил свои розовые губки и приосанился.) Но не в том дело, вот, вздумалось цейгмейстеру попугать мою Кете, которую, мимоходом сказать, я один имею право так называть и, может статься, еще один... но тому чего не позволено? И московиты-то не христиане, говорил Вульф, и вот поймают нас арканом, меня, покорнейшего вашего слугу, изжарят на вертеле, а мою воспитанницу уведут-де к падишаху московитскому... Фуй, фуй! краснею от этих слов; но de mortuis aut bene aut nihil, то есть о мертвых или добро говори, или молчи.

— Господин пастор! — перебил Густав, выведенный из терпения словоохотливостию Глика. — Его величество, царь российский, адресовал меня к вам.

— О молодость, молодость! как стала ты ныне нетерпелива! К его-то величеству и вашему благу, государь мой, веду я речь. Слушайте же меня, или я откажусь от устройства судьбы вашей.

— Простите — это было в последний раз, теперь я вас слушаю.

— Упрямцу Вульфу предсказывал я, что, если мы будем взяты русскими, которых, заметьте, доныне неправильно называли московитами, я определюсь в Москве при немецкой кирке пастором, заложу краеугольный камень русской академии, а моя Кете... сделается украшением семейства знаменитого русского боярина. И что ж, достопочтенный гость мой, все это сбылось по предсказанию глупого, упрямого старика. Вы

видите меня, мариенбургского пастора, в Москве при немецкой кирке; основанная мною академия, schola illustris, есть первый знаменитый рассадник наук в России. Образователь обширнейшего государства в мире нередко удостаивает советоваться с *нами* насчет просвещения вверенных ему народов, и, наконец, Кете — о! судьба ее превзошла мои ожидания! — старик возвел к небу полные слез глаза; потом, успокоившись, произнес вполголоса, почти на ухо Густаву: — Я вам скажу тайну, которая, правду сказать, с мая почти всей России известна, — моя бывшая Кете первая особа по царе...

Густав, полагая, что Глик от старости рехнулся с ума, отодвинул назад свой стул и остановил на своем собеседнике неподвижные от изумления взоры.

Глик засмеялся и тоном покровителя продолжал:

— Она может сделать очень много для вас; она уже много для вас сделала... Прибавлю еще, хотя скромность ее запечатывала мне уста, невидимый благотворитель и корреспондент ваш во все время вашего плена — есть бывшая моя воспитанница.

— Все это каким образом?

— Узнаете позже. Кто мог бы угадать ранее будущую судьбу сироты? Странно! чудесно! это правда; но чего богу не возможно? Иногда угодно ему удивлять мир делами любви своей к избранным от него творениям. Но дело теперь не в том. Его величество, наш всемилостивейший государь, Петр Алексеевич, прислал вас ко мне, говорите вы?

— Точно так, господин пастор! — отвечал Густав, убежденный голосом и выражением лица Глика в истине слов его и между тем блуждая мыслями как бы в мире волшебном.

— Я должен исполнить волю моего государя и близкой ему и мне особы, о которой вы говорили. Вы присланы услышать от меня, что, по воле его, семейство баронессы Зегевольд вызвано из Дерпта сюда...

Густав вскочил со стула и, дрожа всем телом, едва мог выговорить:

— Вы шутите надо мной, господин пастор?

— Боже меня сохрани, особенно когда дело идет об участи людей, мне столько любезных. Минерва не покинула меня на старости до того, чтобы рассказывать вам сонный бред за существенность. Узнайте более: баронесса, дочь ее и добрый Бир в Москве со вчерашнего утра и квартируют за два шага от меня.

— Господин пастор! господин пастор! что вы со мною делаете?.. — вскричал Густав. — Я готов упасть к ногам вашим; я готов целовать ваши руки. Луиза! Государь! Кто еще?.. Боже! Боже! Я как помешанный.

Густав обнимал пастора и плакал от радости.

— Здорова ли она? помнит ли меня? — расспрашивал он, сжимая в своих руках руку Глика.

— Что она здорова, это мне известно; остальное предоставляю ей самой рассказать вам. Впрочем, чтобы вас долго не томить, мы пошлем тотчас за Биром. Грете! Грете!

Явилась пасторова экономка, сделавшаяся от беззаботной жизни в ширину то же, что была в вышину. Велено Грете сходить за Биром — и Бир не заставил себя долго ждать. С восторгом дружбы и неожиданности бросился он в объятия Траутфеттера.

— Гм! гм! — сказал наконец растроганный Бир. — Господь ведет нас сюда, видно, к развязке. Пора, право, пора; а то моя милая, добрая Луиза пала бы под бременем своей судьбы.

— Любит ли она меня? помнит ли, по крайней мере? — спросил Густав.

— Любит, как в первые дни вашего знакомства.

— О, как я счастлив! Кому теперь могу позавидовать? Все прошедшее забыто. Но расскажите мне, ради бога...

— Все, что с нею случилось с того времени, как мы расстались, не правда ли? Вы знаете, я не мастер говорить... когда бы можно было на письме?.. это бы дело другое.

— Вы имеете снисходительного слушателя. Рассказывайте, как можете. Я затруднять вас много не стану, а попрошу только раскрыть мне, что случилось с Луизою после того, как ее привели в церковь для венчания. Что прежде было, известно мне из письма вашего к доктору Блументросту: оно-то привязало меня еще к жизни, но оставило в большой неизвестности, потому что перепутано было на самом любопытном месте описанием болотного моха.

Бир покраснел, как девушка, и сказал, запинаясь:

— Виноват... эта любовь к натуральной истории... эта рассеянность мне дорого стоили: я мучился за чтеца и за себя вместе. Как я перемешал все — не знаю; только знаю, что лист с концом интересной для вас истории очутился у меня в флоре. Хотел было я с досады отка-

заться от моей любимицы; но — судите по себе, мой любезнейший Густав, — страсть — все страсть: даешь слово изгнать ее из сердца, из головы, а все к ней возвращаешься. Но вы ждете, чтобы я успокоил вас, — извольте. На бумаге бы оно лучше; однако ж... как-нибудь расскажу.

Густав уверил снова чудака, что он не будет взыскателен за выбор и порядок слов, и Бир начал так свой рассказ:

— Мы ввели кое-как полумертвую Луизу в церковь. Адольф, смотря на ее страдания и не понимая их причины, просил отложить свадьбу, но баронесса и Фюренгоф настояли совершить ее без отлагательства. Уже приступлено было к священному обряду, как в церковь вбежала женщина, высокая, худая, шафранного цвета, с черными, длинными волосами, распущенными по плечам, в изорванной одежде чухонки, — настоящее привидение! Глаза ее горели, как раскаленные уголья; от усталости она задыхалась. Церемония остановилась; мы все перепугались, но всех более Фюренгоф. Он начал делать такие ужасные гримасы, как будто ломала его нечистая сила. «Стой! — закричала женщина странным голосом, обратясь к Адольфу. — Ты кругом обманут! Твоя невеста тебя не любит, и ты погубишь ее и себя, если на ней женишься. Ее выдают за будущее богатство твое; а богатство это не может тебе принадлежать, разве ты захочешь получить незаконно, ограбив своего брата. Этот злодей, — продолжала ужасная женщина, указывая на Фюренгофа, — воспользовался наследством, принадлежащим Густаву, подменив настоящее завещание своего отца подложным. Я, сообщница его злодеяний, составляла эту бумагу. Предаю себя в руки правосудия и с собою этого мошенника. Призываю бога во свидетели слов своих; а тебе, Траутфеттер, вручаю законные тому доказательства. Когда б не знала тебя, я представила бы их в суд». Фюренгоф бросился было вырывать бумаги, во время передачи их Адольфу, угрожая своему племяннику вечною ненавистью и отчуждением от наследства, если он послушает сумасшедшую ведьму, как он называл чудесную женщину, и приказал было слугам схватить ее. Слуги не повиновались, услыша клятву Адольфа, что он берет ее под свою защиту и что тот, кто до нее дотронется, будет отвечать за нее жизнию своей. Чудесная женщина подала клочок бумаги Адольфу и произнесла вполголоса: «Эта записка касается до тебя именно. Отойди к окну и прочти ее. Все прочее буду иметь

время объяснить тебе и суду. А ты, мошенник, — продолжала она, возвысив голос и с яростью обратясь к Фюренгофу, — смотри на меня, осязай меня: это я, я, Елисавета Трейман, твоя бывшая приятельница, твоя сообщница в злодействах, тобою изгнанная, недоморенная тобою. Земной суд твой начался: допросы, тюрьма, цепи, казнь вместе, вместе со мною! Ха-ха-ха! любовники верные, на жизнь и смерть! Вместо чищеных червончиков мы, о друг мой, перечтем с тобою по нескольку раз в день звенья цепей; позор, злоба, раскаяние будут терзать твою грудь, как ты терзал человечество; но в объятиях моих ты все забудешь... даже милую Марту... не правда ли?.. ха-ха-ха! О, сладко будет задушить тебя в них!» И сатанинский хохот исступленной, при общем молчании, ужасно раздавался под сводами церкви, и оторванный лист железа на кровле стонал, как вещая птица. Луиза прижалась ко мне и скрыла свое лицо на моей груди; сама баронесса дрожала; побледневший пастор хотел было вывесть Елисавету из храма, но от одного вскрика ее оторопел. Исступленная продолжала: «Подожди немножко, пастор! подожди, любезный, твоя очередь после. Дай мне досказать свою проповедь: она стоит твоих вялых поучений — режет, пилит, жжет, — только что с адского очага! Разве спрошу тебя: бывал ли у тебя на исповеди злодей ужаснее этого?.. Он убийца своего отца, делатель фальшивых завещаний, развратитель дев, грабитель, кровопийца, гробный тать, сдирающий последнюю одежду мертвеца, — это все — вот он, Балдуин Фюренгоф! С ним-то волею и неволею сочеталась я на здешнюю и будущую жизнь. Да, злодей! не оставлю тебя и в другом мире: и там вопьюсь когтями своими в твою душу и не покину тебя вечно... Вечность! Слышишь ли ты это слово? а?.. Ты не верил ему; но скоро, скоро поверишь, голубчик!»

Пока Елисавета осыпала своего подсудимого ругательствами, Адольф успел прочесть данный ему лоскуток и прочие бумаги, упал со слезами на колена перед распятием, благодарил в несвязных словах бога за спасение свое и брата и потом, встав, объявил пастору, что свадьбе не быть. Поцеловав с жаром руку у Луизы, он сказал ей: «Будьте счастливы с тем, кого любите! об этом берусь хлопотать всеми силами. Слава богу, что еще время!» Адольф хотел еще говорить с баронессою, но она, бросив на него сердитый взгляд, повлекла из церкви дочь свою, приметно обрадованную переменою

своей судьбы; я за ними. Не знаю, что после того говорено оставшимися в церкви; только слышал при выходе шум, ссору; люди Фюренгофа не хотели долее ему повиноваться. Когда мы сели в карету, любопытство подстрекнуло меня выглянуть из окна: я увидел, что Фюренгофа насильно втащили в карету Адольфа, а этот с Елисаветой сел в колымагу Фюренгофову; затем оба экипажа поскакали по дороге в Дерпт.

Мы возвращались в Гальсдорф, нам навстречу слуга с известием, что туда прискакали татары: всё там жгут и грабят. Дышло на поворот, и мы тоже прямо в Дерпт.

Через несколько дней позван я был в городскую тюрьму к Елисавете Трейман. Она рассказала мне, что суд, вследствие ее доноса, посадил в тюрьму ее и Фюренгофа, разделенного с нею одною перегородкою, и просила меня, разведав о действиях Адольфа, отписать подробно обо всем случившемся к господину Блументросту. Я обещал все несчастной. Вслед за тем Адольф сообщил мне, что правительство строжайше исследовало злодеяние Фюренгофа, который уже и признался в нем, и что имение, похищенное у вас, мой любезный друг, будет возвращено немедленно по принадлежности. Благородство и твердость души вашего брата в этих обстоятельствах не могу довольно превознесть. Самый усердный стряпчий, из видов богатой корысти, не хлопотал бы столько за своего клиента, как он действовал за вас, против собственной пользы: ибо после этой тяжбы, где он был в одно время истцом и ответчиком, остается он таким бедняком, каким знали вас до сего времени.

— Все пополам, и мы будем равно богаты! — сказал тронутый Густав.

— Позвольте, для маленького отступления, воспользоваться вашим восклицанием, — сказал с робкою ужимкою Бир, смотря на горшок с цветами, стоявший на окне. — Мне хотелось давно спросить господина достопочтенного хозяина: балсамины, impatiens hortensis, которые я вижу здесь в Москве почти на каждом окошке, не есть ли предмет особенного религиозного почитания между московитами?..

Пастор захохотал.

— За кого ж принимаете вы русских? — сказал он. — Нет, достопочтенный гость мой! обитатели здешние никому не поклоняются, кроме как иконам своих святых. Балсамины же находятся почти в каждом доме

и подсолнечники в каждом саду, потому что других цветов русские почти не держат, а цветы здесь любят. Impatiens hortensis выписан еще недавно семенами из Голландии рассадителем всего полезного и приятного в России. Но любезнейший собеседник наш ждет с нетерпением продолжения вашего рассказа.

— Виноват, виноват! — сказал, оправясь от своего смущения, Бир. — На чем же я остановился? Балсамин, гортензия, шафран... (Он имел привычку добираться по аналогии цветов до предмета, им забытого.) Да, да, шафран! Елисавета, сказал я, просила отписать обо всем к господину Блументросту. Исполнив это, я вложил в письмо свое лоскуток бумаги, данный ею же, а какого содержания, мне неизвестно; мне строго запрещено было заглядывать в него. Все это препроводил я, куда назначено, с чухонцем, которому Адольф заплатил хорошие деньги за услугу. Виноват только в ошибке... но судьба уже сама все поправила. Что случилось после? — спросите вы. После... в одно роковое утро нашли Фюренгофа в тюрьме, задушенного собственными цепями, чему Елисавета Трейман за перегородкою много хохотала; потом и несчастная Елисавета умерла в сумасшедшем доме, проклиная своего обольстителя и изъявляя надежду соединиться с ним в аду; имение, у вас похищенное, утверждено за вами силою законов. По взятии Дерпта русскими брат ваш уехал в Польшу к королю шведскому; воспитанница моя снова расцвела душою и телом, как роза centifolia, тем живее, что вспрыснута была росою надежды, которая, втайне вам сказать, присылалась ей нередко в записочках по почте... извините сравнение... гм! виноват... да, да, о чем бишь я говорил? Вот видите, я сказал, что собьюсь с толку; оно лучше было бы на письме...

— Вы говорили о Луизе, — подхватил Густав. — Как же вы здесь очутились?

— Как семена, переброшенные бурею на чуждую им землю; но и тут умеют они приняться, лишь бы родное солнышко их согревало и питало. Иначе вам скажу: баронесса, отказавшаяся было от дипломатики после урока, данного ей при расставании с Гельметом, вздумала в последние годы опять за нее приняться, замешалась будто в заговоре против русского правительства и по этому случаю принуждена была совершить с нами маленькое путешествие в Москву. Мне и здесь хорошо. С будущею весной надеюсь делать в окрестностях ботани-

ческие экскурсии; а всего лучше то, что судьба моей доброй Луизы, надеюсь, развяжется здесь. Вижу вас и забываю все прошедшие неприятности...

Кукушка на стенных часах прокуковала семь часов.

— Гостьи наши должны скоро быть здесь! — произнес, усмехаясь, Глик. — Да вот и они!

Сердце Густава затрепетало. Послышался стук в ворота, потом скрип калитки, шорох в передней: дверь растворилась — и... кто ж перед глазами Густава?.. Луиза во всем блеске своей красоты, со всем очарованием, которое окружало ее в первую встречу с другом ее сердца. Она была несколько бледнее, нежели тогда; но эта бледность и несколько лет, накинутых на нее временем, не вытеснили ни одной из ее прелестей. Если бы Густав видел ее теперь в первый раз, он готов бы был снова в нее влюбиться. Белое, простое платьице, обвивавшее стан, стройно перехваченный, придавало ей какое-то эфирное свойство, тем более что она, опрометью вбежав в комнату и, вероятно, не думав никого найти, кроме пастора и Бира, вдруг, при виде нового лица, остановилась, отдала назад свою прелестную голову и приподнялась на цыпочках. Вглядевшись в Густава, она вскрикнула.

— Что такое, что такое? — ворчала баронесса, шедшая за дочерью. — Боже мой! да нас завлекли в сети; это западня, позор, унижение! Вот что делают ныне пасторы, служители алтарей! Потворствуют слабостям, помогают дочерям против матерей! Пойдем отсюда, Луиза!

Между тем как она читала эту проповедь, Луиза и Густав смотрели друг на друга в каком-то сладостном упоении... смотрели и... невольно пали друг другу в объятия.

— Теперь не расстанемся! теперь не разлучат нас! — говорили они, обливаясь слезами и держа друг друга крепко за руки.

— Матушка! госпожа баронесса! благословите нашу любовь или мы умрем завтра! — воскликнули они, упав к ногам ее и обнимая ее колена.

— Что это за комедия? — сказала сердито дипломатка.

— Госпожа баронесса! — произнес важно пастор. — Его величество, всемилостивейший наш государь, Петр Алексеевич, приказал вам сказать, что он принял на себя должность свата господина Траутфетте-

ра, и сверх того повелел мне отдать вручаемую вам при сем цидулку.

Госпожа Зегевольд дрожащими руками взяла поданную ей бумагу, подошла к свече и прочла следующее:

«Min Frau! [1]

Я, cesar [2] и полковник от гвардии российской, взялся быть сватом капитана Густава Траутфеттера. Дочь ваша ему нравится, он вашей дочери: чего более? прошу не претендовать. В приданое ей даю все лифляндские поместья, отнятые у вас в военное время, и дозволяю вам управлять ими до вашей смерти. Со временем обещаю вам и зятю вашему особенную мою царскую аттенцию. По делам вашего отечества даю вам право, ради нашего интереса, вести с нами прямо корреспонденцию; за добрые известия буду вам всегда reconnaisant [3]. На свадьбу дарю вам табакерку с моею персоною и тысячу рублев. Кажись, уконтентовал вас порядком; а упрямиться долее вам ради какой причины?

*Piter*» [4].

Можно было прочесть на лице честолюбивой баронессы, какая строка из этого послания произвела на сердце ее приятнейшее впечатление. Право относиться по дипломатическим делам к повелителю обширнейшего государства — право, дающее ей опять сильное влияние на ее соотечественников, поколебало твердость ее души. Кончилось тем, что она благословила чету любовников и обняла своего будущего зятя.

На другой день баронесса, жених, невеста, пастор Глик и Бир позваны были во дворец. Петр I, не заставив их долго ждать себя, явился в голубом гродетуровом кафтане, шитом серебром, с андреевской лентою через плечо. Только в особенные торжественные дни государь показывался в таком блестящем наряде; но в настоящем случае он хотел угодить одной милой особе, которой, говорил он, ни в чем не мог отказывать. Все посетители были им обласканы, особенно Бир. Разговаривая с ним о важных предметах натуральной истории, он нашел в нем необыкновенные, глубокие сведения и по другим наукам, которые сам любил, и до того привязался к до-

---

[1] Госпожа! *(искаж нем.)*
[2] царь *(лат.)*
[3] признателен *(фр.)*
[4] Петр *(нем.)*.

брому педагогу, что забыл предмет посещения его спутников и увлек его с собою в кабинет. Там показал он ему гербарий, собранный царскими трудами. Бир, восторженный ласковым обхождением государя и любовью к своему предмету, вскоре беседовал с Петром, как с равным себе ученым.

— Вот этаких людей люблю! — говорил Петр, целуя его в лоб. — Не хвастунишка, а настоящий делец.

В каком-то невольном благоговении к простоте великого мужа стояли баронесса и ее спутники, когда в приемную залу из задних апартаментов вступила прелестная молодая женщина.

— Милая Кете! — едва не вскрикнула Луиза и хотела было броситься в объятия ее, но баронесса остановила дочь свою за рукав.

— Милая Луиза! — сказала со слезами на глазах и в некотором смущении бывшая воспитанница пастора Глика. — Не бойся!.. обними же меня скорей, скорей, милый друг!

Екатерина спешила прижать к сердцу гельметскую приятельницу свою. Они плакали вместе от радости; перемена состояний не изменила их чувств.

Госпожа Зегевольд от изумления не могла прийти в себя; но во время дружеских изъяснений государыни с Луизою пастор рассказал дипломатке со всею немецкою пунктуальностию и нежностью отца, что бывшая его воспитанница, по взятии ее в плен под Мариенбургом, попала в дом к Шереметеву и оттуда к Меншикову. Здесь, в 1702 году, Петр I увидел ее и влюбился в нее так, что никогда уже с нею не расставался. Сначала знали ее под именем Катерины Скавронской — именем, которое угодно было государю ей придать. В 1703 году приняла она греко-российское исповедание; крестным отцом ее был наследник престола, царевич Алексей Петрович, и по нем-то названа она Екатериною Алексеевною. В мае 1707 года государь сочетался с нею браком.

Так объяснял пастор дивную судьбу своей воспитанницы, наблюдая месяцы и числа каждой эпохи в ее жизни. Когда Екатерина заметила, что он кончил свое объяснение, она подошла к баронессе и ласково, но с величием, царице свойственным и будто ей врожденным, обратила речь к дипломатке и уверила ее самыми лестными выражениями в своем будущем благорасположении к ней.

— А! вижу, что твое сердце не выдержало, Катень-

ка! — сказал Петр, вошедши в приемную залу. — Люблю тебя за то, душа моя, что ты не забываешь прежних друзей своих. Теперь, Frau баронесса! могу открыть вам секрет: супруга моя хлопотала о благополучии вашей дочери, как бы о своем собственном. (Тут подошел он к Луизе и поцеловал ее в лоб.) Я ваш гость на свадьбе и крестный отец первому ребенку, которого вам даст бог.

— Удивительно! удивительно! Я все это вижу, как во сне! — говорила баронесса, возвращаясь с своим семейством и Гликом домой в придворной, богатой карете и кивая важно народу, который скидал перед каретою шапки за четверть версты.

Благоговейно сложив руки на грудь, пастор произнес:

— Неисповедимы судьбы господни! Недаром говорил о моей Кете слепец Конрад из Торнео в Долине мертвецов: *«Кто знает, какой путь написан ей в книге судеб?..»* — и сбылось!..

— Великий государь! — восклицал Бир. — Как он знающ в натуральной истории!

Густав и Луиза не говорили ни слова; но, смотря друг на друга глазами, выражавшими упоение счастия и пламенной любви, жали друг другу руки и забывали весь мир.

## *Глава одиннадцатая*
## КАРТИНА

Один только полковник Траутфеттер!

*«История Карла XII», Вольтер*

Знойно летнее небо; облака порохового дыма клубятся по нем и хмурят его, будто раскаленное от гнева. Вправо отрывок широкой реки; противный берег ее мрачен и обнажен, как могильный бугор в степи, наброшенный над бедным странником. Поперек реки плывет судно. На лицах гребцов видна боязнь, в движениях их — торопливость. Бедная повозка, у которой колеса скреплены рванями, стоит на судне: в ней лежит воин, накрытый синим плащом. Лицо его подернуто мертвою

бледностью; заметно, что болезнь и горесть оспоривают жертву свою у твердости душевной, видимо уступающей. Вокруг повозки, на палубе, стоят и сидят несколько воинов. В числе их казак; подавая пить из шляпы больному, в повозке лежащему, он смотрит на него с нежною заботливостию родного или друга. Прочие все лица в иностранных мундирах. Положения, в которых они находятся, показывают, что несчастие поравняло все звания. Один, преклонив голову к колесу, спит; другой перевязывает товарищу руку; далее, ближе к корме, два воина, со слезами на глазах, берутся за голову и ноги, по-видимому, умершего товарища и собираются бросить его в речную могилу, уносящую столь же быстро, как время, все, что ей ни поверят. К носу теснится группа в унынии и отчаянии. Иные со страхом смотрят на повозку, где, кажется, умирает их последняя надежда; другие, подняв к небу взоры, молятся. За большим судном торопятся рыбачьи лодки. Несколько всадников, отталкивая немилосердно несчастных, хватающихся то за гриву, то за хвост коней их, или подавая погибающим руку спасения, перерезывают реку. Кое-где мелькают борющиеся с волнами; утопленники показывают, как стрелка, течение вод. Впереди сцены идет сражение: оно уже при последнем издыхании. Бой неравен между воинами в синих мундирах с воинами в зеленых. Число первых невелико; они утомлены, нехотя дерутся врукопашную, толпами сдаются в плен и бросают оружия; путь их устлан изломанными лафетами, взорванными ящиками, грядою мертвых и раненых. Воины в зеленых мундирах глядят победителями: удовольствие торжества пышет в их взорах; сила и уверенность в каждом их движении; кажется, лицо одного, замахнувшегося прикладом ружья на упавшего неприятеля, четко выражает: *лежачего не бьют!* Совершенно на авансцене выступает из группы сражающихся фигура молодого офицера в синем мундире; он пал, раненный в грудь. Из ней бьет кровь струей. Правою рукою стиснул он рукоятку меча, как будто не хочет отдать его и самой смерти. По лицу офицера, чрезвычайно выразительному, бежит уже смертная бледность; оборотив голову к стороне реки, он устремил на небо взоры, исполненные благодарности; слезы каплют по щекам; уста его силятся что-то произнести.

Вот картина, на которую я засмотрелся в доме одного любителя изящного! Меня так заняло главное лицо, что мне стало жаль его, как человека, соединенного со мною узами дружбы. Он умер героем, но умер далеко от

родины, видя уничтожение ее славы. Хозяин картины застал меня в этом положении.

— Замечаю, что это художественное произведение оковало ваше внимание, — сказал он мне. — Знаете ли, что представляет картина?

Я просил рассказать мне сюжет ее.

— Это переправа Карла XII через Днепр после Полтавской битвы, — отвечал мне любитель изящного. — Днепр был гранью, где победа распрощалась с ним навсегда. Войско его уничтожено. Последние обрывки этого войска, ужасавшего некогда север, силятся купить королю свободу. Едва не захвачен он неприятелем, следящим его по горячим ступеням. Оставшиеся при нем служители и воины добывают с трудом повозку; в нее кладут короля-беглеца — того, который некогда отнимал царства и раздавал их. Карл ранен; лихорадка и лютейшая болезнь великих людей — унижение пожирают его; он, видимо, упал духом. Последнее его спасение — переправа через Днепр: он совершает ее в том положении, в каком видите на холсте. Остаток войска бросает оружия; многие силятся спастись вплавь. Один полковник Адольф Траутфеттер с своим баталионом отчаянно задерживает натиск торжествующего неприятеля. Раненный в грудь, он падает, благодаря провидение за спасение короля и за то, что не переживает унижения шведского войска. Если хотите, он произносит имя родины, друга и просит стоящего подле него воина передать им последнее свое воспоминание.

## *Глава двенадцатая*
## СХИМНИК

Край милый увидишь — сердца утраты
И юных лет горе в душе облегчишь;
И башни, и храмы, и предков палаты,
И сердцу святые гробницы узришь!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И ласково примут отчизны сыны,
И ты дни окончишь в тиши безмятежной
На лоне родимой страны.

*Рылеев*

Императрица Екатерина Алексеевна, на другой день после коронации своей (это было восьмого мая 1724 года), захотела воспользоваться приятностями ве-

сны, чтобы посетить, с самыми близкими ей особами, подмосковное дворцовое село Коломенское и, если хорошая погода продолжится, погостить там несколько дней. В одной карете с нею сидели дочери ее, Анна и Елисавета, цветущие наследственной красотой, и супруга русского генерала Густава Траутфеттера, Луиза Ивановна. В другом экипаже находились шестидесятилетний старец князь Василий Алексеевич Вадбольский с детьми Траутфеттера, сыном и двумя дочерьми, которые были хороши, как восковые херувимы, выставляемые напоказ в вербную субботу, или как те маленькие, прелестные творения с полными розовыми щечками, с плутоватыми глазами, изображаемые так привлекательно на английских гравюрах. Генерал Траутфеттер ехал верхом, то впереди заботливо осматривая худые места, то подле самых экипажей, где заключались залоги, равно для него драгоценные. Любовь подданного, супруга и отца ясно выражались в его взорах и поступках. Старостью уравненный с детством, князь Вадбольский забавлял своих маленьких собеседников разными шутками или занимал их внимание, рассказывая о своих походах в Лифляндию. Дети слушали его, как веселого сказочника; а когда он кончал, с нежностью бросались к нему, жали его мохнатые, жилистые руки в своих ручонках и кричали взапуски:

*Дедушка!* милый *дедушка*! еще что-нибудь!

Надо было видеть, как малютки внимали в благоговении повествованию о подвигах русских под Гуммельсгофом, устремив неподвижно глазенки свои на выразительное лицо старца. Сын Траутфеттера до того своевольничал с *дедушкой*, что скинул наконец с седовласой головы его треугольную шляпу, обложенную золотыми галунами, нахлобучил ею свою маленькую голову, с которой бежали льняные кудри, и, обезоружив старого воина, кричал ему:

— Шлиппенбах! сдайся или я тебя заколю!

За этим следовал такой хохот, что Густав принужден был погрозить на детей пальцем и указать им на экипаж государыни, ехавший впереди очень близко.

Было к семи часам вечера. Кареты поравнялись с Симоновым монастырем. Императрица, наслышавшись, что с площадки над трапезною церковью вид на Москву и окрестности очарователен, приказала остановить-

ся у ворот монастырских. Архимандрит, увидя государев экипаж, поспешил встретить высоких гостей.

Целью посещения монастыря была площадка над трапезною церковью. Екатерина туда поспешила. Архимандрит второпях потребовал было ключа у служки, следовавшего за ним; но тот доложил ему, что перед захождением солнца, как ему известно, вход в башню всегда отперт.

— По какому именно случаю всегда в одно время? — спросила государыня, вслушавшись в разговоры монахов.

— Вашему царск... ва...шему императорскому величеству, великой и матери отечества, имею благополучие рабски донести, — начал архимандрит, смешавшись в титуле, к которому русские еще не привыкли, и полагая, что прочие имена, данные Петру I, должны неминуемо, по законному порядку, идти к его супруге.

— Пожалуйте, без лишних церемоний, отец архимандрит! — усмехаясь, перебила Екатерина Алексеевна ласковым голосом.

— По великости вашего благоснисхождения доложу вашему величеству, что в здешней, спасаемой богом и нашими государями, вторыми по боге, обители обретается схимник, то есть монашествующее лицо, сиречь затворник, обитающий в сем мире единым скудельным своим составом, но бессмертным духом витающий за пределами гроба, яко на крылиях голубиных...

Государыня опять усмехнулась и, пожав слегка плечами, посмотрела на князя Вадбольского. Этот понял ее и своим обычно резким голосом прервал архимандрита:

— Поскорей к делу, отец! Верим, что твой схимник великий постник, молитвослов; да куда ж девал ты вопрос матушки государыни?

— А вот сей *момент!* — продолжал архимандрит, примешивая к своему риторству иностранные слова, чем думал угодить людям века своего, как мы любим угождать своему. — Мы, монашествующие, необычные к *конверсации* с такими высокими *персонами* и — да помилует нас всемилостивейше всещедрое сердце ее величества! — говорим по простоте нашего уразумения. И такожде изволите видеть, схимник этот, живу-

щий уже двадцать лет во ангельском образе и житии, единым своим услаждением имеет ежедневно, перед восходом солнца и западом сицевого, обретаться на площадке над трапезною, которая, как глаголет предание, была в древние времена *обсервационною* башнею. С нее-то, по всему вероятию, российские стражи, яко гуси капитолийские, или зоркие журавли, или, благоподобнее, орли, надзирали за посещением незваных гостей, крымцев, жаловавших к нам по каширской дороге.

— Что ж делает схимник всегда в одно и то же время на площадке? — спросил князь Вадбольский.

— Услаждает свое сердце и взор зрелищем здешних едемских окрестностей. Лик его, хотя благолепен, обыкновенно подернут сердечною мглою; очи его тусклы, яко олово; но когда он обретается на своей площадке, тогда лицо его просиявает, яко луч солнечный сквозь тучи, очи его ярко блестят, молнии подобно; а иногда, как по долгу нашему замечено, видали его проливающим обильные источники слез. Сколько усмотреть возможно по лицу, сему зерцалу души нашей, слезы сии имеют ключом своим избыток радостных чувствований. Единая в нем странность заключается, что он не дает никому своего благословения, какового, по святости его жизни, жаждут все православные, посещающие сию обитель. Ваше величество ужасом преисполнилось бы, узрев вериги, какие он носит; тяжесть таковых может выдержать разве великий государь, отец отечества, на исполинских раменах своих.

— И двадцать уже лет наложил он на себя тяжкий обет? — спросила государыня.

— В 1704 году, осенью, пришел он к нам в виде странника; постригся вскоре в монахи и через три года облачился телом и душою в схиму.

— Как его звали, когда он пришел к вам?

— Владимиром.

Государыня и князь Вадбольский невольно посмотрели друг другу в глаза, как бы искали в них разрешения темной задачи.

— А теперь как его зовут? — спросила императрица.

— В монахах его звали Василием, а в схиме нарицается он опять Владимиром. Не благоугодно ли будет вашему императорскому величеству, пока усталость вами не овладела, ибо и боговенчанные особы, яко и

мы, грешные человеки, подвержены немощам, взглянуть на другие редкости монастырские, как то на *тайник*, или подземный ход к реке, на тюремную башню-*дуру*...

У князя Вадбольского готово было уже словечко для прекращения словоохотливости архимандрита; но императрица предупредила *дедушку* (так обыкновенно звали князя она и близкие ей особы), потребовав, чтобы показали ей дорогу на сторожевую площадку. Требование это было произнесено таким твердым голосом, что архимандрит, не распложаясь далее, повел своих гостей, куда они желали.

Императрица, увидев, что лестница, ведущая на площадку, неудобна и трудна, предложила Вадбольскому остаться в трапезной комнате. Но старый солдат не любил казаться хилым и ни за что не соглашался отстать от других.

— Разве вам вспомнить Гуммельсгофскую гору? — сказала государыня, подарив его тою улыбкою, которою она умела так мастерски приветствовать и награждать. — Дети! — прибавила она, обратясь к великим княжнам. — Возьмите дедушку под руки; а если он заупрямится, то я сама его поведу.

И старец, с слезами радости на глазах, позволил себя поддерживать дочерям Петра I. Минуты эти были для него истинным торжеством.

Екатерина Алексеевна первая взошла наверх, восторженным взором заплатила мимоходом дань очаровательным видам, представляющимся с площадки, и устремила его потом на схимника, сидевшего спиною к ней на ветхой скамейке и облокотясь в глубокой задумчивости на перилы, лицом к полудню. Шорох, произведенный приходом следовавших за государынею, заставил схимника оглянуться. Он привстал; но лишь только взглянул на нее и Вадбольского, задрожал всем телом. Долго, очень долго смотрели на него императрица и князь Вадбольский испытующими глазами, в которых заблистали наконец слезы; долго и схимник смотрел на Екатерину и князя, и крупные слезы заструились также по бледным его щекам.

— Отец архимандрит, вы, также и маленькое общество наше, — сказала государыня, обратясь к генералу Траутфеттеру и жене его, — оставьте нас с князем одних. — Потом, обратясь к великим княжнам и показав им на схимника, присовокупила с особенным чув-

ством: — Анна! Елисавета! вглядитесь хорошенько в черты этого человека: удержите образ его в вашей памяти; пускай благодарность врежет его в сердцах ваших! Это благодетель русский и, может быть, первый благодетель вашей матери.

И великие княжны, тронутые выражением лица и голоса своей матери, с благоговением вглядывались в черты схимника.

Когда государыня осталась с теми, кого назначила, она подошла к затворнику, взяла его за руку и сказала:

— Мы, кажется, узнали друг друга!

— Государыня! — отвечал тронутый схимник. — Последний Новик мог ли забыть ту, которую знавал с десятилетнего ее возраста прекрасною и великою и которой высокое назначение тогда уже слышал из пророческих уст своего друга? Радостно следил я твое возвышение и теперь, видя тебя на другой день твоей *коронации*, в гостях у меня, столь же радостно приветствую твой приход словами вдохновенного слепца: *«И се на главе твоей лежит корона!»* Знаком мне и этот гость! — прибавил Последний Новик, прижимая к своему сердцу Вадбольского, который бросился его обнимать.

Спрашивали отшельника, почему не воспользовался он прощением Петра Великого, прощением, которое, вероятно, должно было дойти до слуха странника.

— Ах! — сказал Владимир. — Зачем спрашиваете меня о том, что я хотел бы забыть навеки, что отравляет лучшие часы моей жизни? Открою вам только, что прощение государя опоздало несколькими днями; узнав о нем, я, преступник вторично, не смел им воспользоваться. Я следил моего гонителя и нашел его!.. Кровь, кровь ближнего на этих руках, которых благословения жаждут православные; эти херувимы, рассыпавшиеся по моей одежде, секут меня крыльями своими, как пламенными мечами, вериги, которые ношу, слишком легки, чтоб утомить мои душевные страдания; двадцать лет тяжелого затворничества не могли укрыть меня от привидения, везде меня преследующего. Но поверите ли, и с этими муками я не променяю настоящего своего состояния на то, в котором находился до прибытия в мое отечество. Я здесь на родине: во всякие часы дня могу смотреть на места, где провел свое детство; там я родился, тут, ближе, Софьино, где

я воспитывался; здесь Коломенское, а здесь золотоглавая Москва с ее храмами и белокаменными палатами, с ее святынею и благолепием. Все тут, чего просил изгнанник, что он покупал ценою унижения и трудов необыкновенных! Мои соотечественники, православные, не откажут мне в могиле на общем кладбище, между ними. А там, — прибавил Владимир, взглянув на небо со слезами на глазах, — как неугасимую лампаду, повесил я мои надежды; там, может быть, отец всеобщий и судия-нечеловек взглянет милосердным оком на двадцать годов тяжкого раскаяния. Спаситель простил разбойника!..

Здесь схимник, потупив очи, замолчал. Государыня и Вадбольский старались излить в его сердце утешения и надежды, в которых оно нуждалось. Беседа оживилась мало-помалу красноречивым воспоминанием тех происшествий, которые имели столь сильное влияние на судьбу Екатерины и России.

Солнце давно скрылось. Москва и прелестные ее окрестности утопали в вечернем тумане.

Когда схимник прощался со своими гостями, впалые глаза его горели огнем вдохновения небесного, щеки его пылали.

— Да! — сказала Вадбольскому императрица Екатерина Алексеевна, прохлаждая опахалом разгоревшееся лицо свое и глаза, красные от слез, когда они сходили с лестницы. — По взятии Мариенбурга пророческие слова таинственного слепца так сильно врезались в моем воображении и сердце, что я... поверите ли?.. вскоре после того начала мыслить... *о короне. Да это было так!..*

Лучшие желания Последнего Новика исполнились. он умер в глубокой старости на площадке, устремив свой умирающий взор на Коломенское, им столько любимое. Его похоронили на общем кладбище Симонова монастыря. Ныне не сыскать там его могилы: новые мертвецы сдавили прах своих предшественников.

P. S. Некоторые особы, которым я читал свои роман в рукописи, спрашивали меня: что сделалось с прочими лицами его. Удовлетворяю любопытству их и других копотливых читателей: мнимая мать Новика Кро-

потова отдала богу душу, услышав о смерти своего мужа; девица Горнгаузен до пятидесяти лет все ждала своего рыцаря-жениха; Блументрост сделался лейб-медиком Петра I; Бир был достойным членом Российской *академии*; баронесса занималась до смерти политикою и, как видно по списку важных лиц, присутствовавших при коронации императрицы, находилась тогда в числе штатс-дам. А прочие?.. Уф! прочие жили, женились, плодились и умирали, как миллионы им подобных.

Еще вопрос, господин сочинитель, кто была особа, ехавшая за Саарамойзой в колымаге и назвавшая Вольдемара по имени?

— Разумеется, Катерина Скавронская! Она же посылала Новику, через Мурзенку, богатый подарок, на котором вырезано было «5-е Апреля» — день ее рождения и день, в который слепец в первый раз предсказывал ее высокую участь.

*Конец четвертой и последней части*

## СОДЕРЖАНИЕ

### Часть 1



### Часть 2



### Часть 3

## Часть 4

**Лажечников И. И.**

Л16 Последний Новик: Роман/Худож. М. Пинкисевич.— М.: Худож. лит., 1990.— 510 с. (Классики и современники. Рус. классич. лит-ра).

ISBN 5-280-01007-3

Историческое содержание романа И. И. Лажечникова «Последний Новик» связано с Северной войной, с борьбой Петра I со шведами за обладание Прибалтикой, за необходимый для России выход к берегам Балтийского моря.

**Л $\frac{4702010101\text{-}209}{028(01)\text{-}90}$ 9-90** **ББК 84Р1**

КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ

---

*РУССКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА*

ИВАН ИВАНОВИЧ
ЛАЖЕЧНИКОВ

Последний Новик

*Роман*

Редактор
И. Парина

Художественный редактор
А. Моисеев

Технические редакторы
А. Кашафутдинова, Г. Морозова

Корректоры
Л. Волкова, А. Ошанина

ИБ № 5711

Сдано в набор 02.02.89. Подписано в печать 29.11.89. Формат 84×108 1/32.
Бумага кн.-журн. № 2. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 26,88. Усл. кр.-отт. 27,3. Уч.-изд. л. 28,61.
Тираж 750 000 (1 зав. 1 — 250 000) экз. Изд. № I-3517.
Заказ № 2841. Цена 2 р. 40 к.

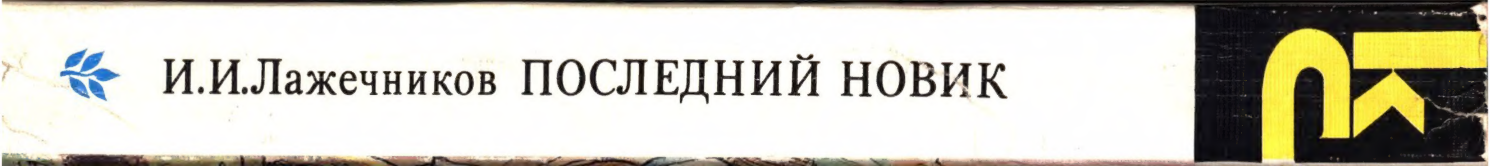
Набрано на ПЭВМ в ордена Трудового Красного Знамени
издательстве «Художественная литература».
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
Диапозитивы изготовлены в МФЦ издательства «Юридическая литература».
121069, Москва, ул. Качалова, 14.
Отпечатано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного
Знамени МПО «Первая Образцовая типография»
Государственного комитета СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28

2 р. 40 к.



*Русская классическая литература*




И.И.Лажечников ПОСЛЕДНИЙ НОВИК